4
В-49

Г. О. ВИНОКУР

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

www.ruslang.ru

54987

4
B-49



Русск. язык.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

Профессор
Г.О.ВИНОКУР

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

*Государственное
учебно-педагогическое издательство
Министерства просвещения РСФСР
Москва — 1959*

4/В-49
Библиотека
Института
Языкознания
А.Н. СССР
54987

Издание осуществляется под наблюдением Комиссии по истории филологических наук при Отделении литературы и языка Академии наук СССР.

Работа по отбору текстов и редактированию их выполнена *С. Г. Бархударовым.*

Григорий Осипович Винокур
Избранные работы по русскому языку

Редакторы *Л. А. Чешко* и *О. Г. Шикина.*
Художник *С. Я. Нодельман.* Художественный редактор *М. Л. Фрам.*
Технический редактор *Н. П. Цирульницкий.* Корректор *Х. Н. Ахтамзян.*

Сдано в набор 9/X 1958 г. Подписано к печати 24/I 1959 г. 60×92¹/₁₆.
Печ. л. 30³/₄+¹/₈ вкл.. Уч.-изд. л. 32.35+0.02 вкл. Тираж 7000 экз.
А00933. Заказ № 5327.

Цена без переплета 8 р. 80 коп., переплет 1 р. 50 к.

Учпедгиз. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано с матриц Первой Образцовой типографии
в типографии издательства «Горьковская правда»
г. Горький, ул. Фигнер, 32.

Г. О. ВИНОКУР

17 мая 1947 года в расцвете творческих сил скончался выдающийся советский языковед доктор филологических наук проф. Григорий Осипович Винокур.

Г. О. Винокур родился 5 ноября 1896 года в Варшаве.

В 1904 году семья его переехала в Москву. В 1915 году он окончил гимназию Страхова, откуда вынес основательное знание классических и новых западноевропейских языков. Интерес к вопросам языкознания у Г. О. Винокура проявился уже на школьной скамье: еще учеником он твердо решил посвятить себя изучению языков, и с этой целью сверх обычной школьной программы добровольно занимался древнегреческим языком.

В 1916 году Г. О. Винокур поступил в Московский университет, где он получил широкую и основательную языковедческую подготовку и усвоил лучшие традиции московской лингвистической школы. Своим образованием Г. О. Винокур главным образом обязан Д. Н. Ушакову и М. Н. Петерсону — двум своим учителям. У первого он занимался историей русского языка и диалектологией, у второго — литовским языком, санскритом, семасиологией, общими вопросами синтаксиса.

Благодаря содействию и рекомендации Д. Н. Ушакова Г. О. Винокур, будучи еще студентом первого курса, начинает принимать участие в работах Московской диалектологической комиссии. Славистике Г. О. Винокур учился у проф. В. Н. Щепкина, у которого он прослушал курсы старославянского, польского, словенского, полабского языков, а также палеографию. У проф. М. М. Покровского Винокур занимался сравнительной грамматикой индоевропейских языков, готским языком, исторической грамматикой латинского и греческого языков.

В университете Г. О. Винокур занимался почти исключительно лингвистикой. Вопросами литературоведения его заинтересовал студенческий «Московский лингвистический кружок», в деятельности которого принимали участие и ученые-литературоведы, в том числе и широко образованный, блестящий филолог и замечательный лектор проф. П. Н. Сакулин. В этом кружке в сознании молодого Винокура оформилась идея филологии как энциклопедии

наук о культуре — идея, которая живо волновала Григория Осиповича до последних лет жизни. Так, в 1944/45 учебном году в Московском университете и в Московском городском педагогическом институте он читал специальный курс «Введение в изучение филологических наук». (Первая часть этого интересного и оригинального курса, подготовленная автором к печати, находится в его рукописном архиве.)

В студенческие годы Г. О. Винокур близко познакомился с деятелями и теоретиками футуризма — с Бурлюками, Хлебниковым, В. Каменским, Н. Асеевым и самим Маяковским, поэзию которого он очень высоко ценил. Г. О. Винокур становится активным сотрудником журнала «Леф», на страницах которого он опубликовал ряд статей по языку. Характерно, что первая печатная работа Г. О. Винокура — короткая и очень восторженная рецензия, опубликованная на страницах сборника «Московские мастера» (1916), была посвящена поэме Маяковского «Облако в штанах».

В 1920 году, прервав ученье в университете, Г. О. Винокур поехал на работу в качестве переводчика Бюро печати советского полпредства сначала в Эстонию, а затем в Латвию.

В 1922 году он вернулся в Москву и окончил курс ученья в Московском университете. После окончания университета Г. О. Винокур работал переводчиком-редактором в ТАСС и одновременно занимался научно-литературным трудом. С 1924 года стал принимать близкое участие в работах Государственной академии художественных наук, в серии трудов которой в 1927 году он опубликовал свои первые две книги: «Биография и культура» и «Критика поэтического текста». Уже в этих книгах ярко определились характерные черты творческой деятельности Г. О. Винокура: хорошая осведомленность в научной литературе, самостоятельность мысли, тонкий литературный вкус и увлекательное изложение.

С 1930 года Г. О. Винокур начал свою педагогическую деятельность в высших учебных заведениях Москвы — в Московском городском педагогическом институте, в Московском институте истории, философии и литературы и в Московском университете. В течение семнадцати лет он читал различные курсы: общее языкознание, современный русский литературный язык, историческую грамматику русского языка, историю русского литературного языка, русскую стилистику, русскую диалектологию, старославянский язык, славянскую палеографию, специальные курсы по словообразованию, по языку пушкинской эпохи, по введению в изучение филологических наук.

С Академией наук СССР Г. О. Винокур, помимо участия в работах Диалектологической комиссии, был связан с 1933 года как член Пушкинской комиссии постоянным участием в работах по изданию собрания сочинений Пушкина. Сначала (с 1935 г.) он состоял старшим научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, а затем (с 1938 г.) в Институте мировой литературы руководил работой по созданию картотеки для словаря

языка Пушкина. В 1941 году Г. О. Винокур был переведен в Институт языка и письменности АН СССР, где занимался в качестве одного из составителей и члена Главной редакции словарем русского языка (в одном томе), изданным позднее (в 1949 г.) под редакцией акад. С. П. Обнорского. После организации в составе Академии наук СССР Института русского языка Г. О. Винокур стал одним из его активных сотрудников и до самой смерти руководил работой по составлению словаря языка Пушкина.

С юных лет до конца своей жизни Григорий Осипович интенсивно и плодотворно занимался научно-исследовательской работой и много сделал для развития советского языкознания. Основательные знания в области русского языка во всем его объеме, свободное владение почти всеми славянскими языками, прекрасная осведомленность в мировой лингвистической науке, за успехами которой он неустанно следил, острое чувство языка, яркая даровитость ученого — исследователя языкового материала, широта научных интересов, самостоятельность и независимость мысли, любовь к труду и преданность избранной специальности — таковы основные черты творческой деятельности проф. Г. О. Винокура.

Занимался ли Григорий Осипович вопросами исторической грамматики русского языка или словообразованием в современной русской технической терминологии, изучал ли он стиль художественного произведения или историю русской орфографии, составлял ли он словарь современного русского языка или исследовал язык старых русских памятников — всюду он вносил свои свежие и оригинальные мысли, плодотворные наблюдения, свое живое слово. Яркая и содержательная личность ученого-языковеда сказывается в каждой его работе.

В центре лингвистических интересов Григория Осиповича всегда стояла история русского литературного языка и примыкающая к ней проблема изучения языка и стиля художественного произведения. Смело можно утверждать, что относящиеся сюда работы его принадлежат к числу лучших исследований, опубликованных в этой области советскими языковедами в течение последних двадцати пяти — тридцати лет.

Проф. Г. О. Винокур имел все данные для разработки актуальных и сложных вопросов в молодой лингвистической дисциплине — истории русского литературного языка, в особенности XIX века: он был хорошим знатоком и подлинным ценителем русской художественной литературы, внимательно следил за достижениями советской литературоведческой науки, свободно владел приемами тонкого текстологического анализа и, главное, владел острым чувством русского слова.

Заслугой Г. О. Винокура можно считать то, что он четко определил предмет и задачи изучения стилей литературного языка в их историческом развитии в отличие от изучения стиля художественного произведения, индивидуального стиля (языка) писателя.

Изучение стилей общелитературного языка он считает проблемой чисто лингвистической, вопросы же исследования стиля художественного произведения, равно как и языка и стиля писателя, он относит к числу проблем литературоведения.

Как известно, вопрос этот до сих пор не получил окончательного и общепринятого разрешения ни в программах, ни в учебниках, ни в специальных исследованиях по истории русского литературного языка. Поэтому мысли Григория Осиповича о разграничении вопросов лингвистической стилистики от вопросов изучения стилей художественных произведений и языка писателя сохраняют свою актуальность и в настоящее время.

Наиболее последовательно и полно свои мысли по этому вопросу Г. О. Винокур изложил в статье «О задачах истории языка» (1941).

Орфография письменных памятников, преимущественно древнейшего периода, изучалась историками русского языка почти исключительно с точки зрения интересов исторической фонетики. Таковы, например, известные работы А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, Л. Васильева.

Один из принципиально важных выводов из этих работ заключается в том, что не все орфографические различия, наблюдаемые в памятниках, свидетельствуют о соответствующих произносительных различиях, потому что бывают такие орфографические варианты, которые не имеют никакого звукового значения.

Из этого положения русские языковеды сделали общий вывод, что при изучении орфографии памятника прежде всего необходимо выяснить, какие написания свидетельствуют о фонетических явлениях, а какие носят чисто графический характер и потому не имеют значения для исторической фонетики.

Однако чисто орфографические различия, хотя бы они ничего не давали для разрешения задач исторической фонетики, заслуживают самостоятельного исторического изучения, так как и они представляют собой известное явление истории письменного языка и складываются в особого рода языковую традицию. На эту сторону дела обычно не обращалось должного внимания.

Заслугой Г. О. Винокура является то, что он наметил принципы изучения орфографии в ее собственном содержании как вполне независимый и самодовлеющий факт истории русской письменной речи (см. статью «Орфография как проблема истории языка»).

В соответствии со своими научными интересами Г. О. Винокур изучал орфографию XVIII и начала XIX века. См. его содержательные статьи «Орфографическая теория Тредиаковского» и «Орфография и язык Пушкина в академическом издании его сочинений».

Г. О. Винокур жил и творил в сложных противоречивых условиях роста советской науки о языке. Различные течения узкоформалистического и вульгарно-социологического характера в течение продолжительного времени господствовали в нашей филологической науке и, в частности, в нашем языкознании.

Однако Г. О. Винокур, рано интеллектуально созрев, не поддавался разным модным, но поверхностным направлениям и, оставаясь верным лучшим традициям московской лингвистической школы, стойко шел своим путем, путем подлинной науки.

Благодаря этому исследования его, написанные лет двадцать — двадцать пять тому назад, сохраняют свою свежесть и актуальность в наши дни.

Работы его отличаются не только высокой научной ценностью, но и художественностью изложения. Он прекрасно владел стилем научного рассуждения, имел особый дар в увлекательной форме говорить на самые узкие и специальные лингвистические темы.

Г. О. Винокур был предан науке всем своим существом, был полон горячей веры в свое дело, в свое призвание. За десять дней до смерти он набросал план будущей своей книги «Лекции по истории русского литературного языка». Книгу эту объемом в ... листов он хотел подготовить к печати в течение полутора лет, к концу 1948 года. Но неожиданная, ранняя смерть Г. О. Винокура лишила советских языковедов этого интересно задуманного руководства.

Однако самый проспект этой книги, которой не суждено было появиться на свет, представляет определенную научную ценность, так как в нем кратко сформулированы последние мысли большого ученого, в течение пятнадцати лет напряженно работавшего в области изучения истории русского литературного языка. Поэтому считаю необходимым привести этот конспект с некоторыми незначительными сокращениями.

История русского литературного языка — дисциплина очень молодая, а потому в ней еще много неисследованного. Очень неравномерно изучен сырой материал памятников русского литературного языка, нет единства во взглядах на самый предмет этой науки, которая называется **историей** этого языка. При теперешнем состоянии этой науки написать полную, систематическую историю русского литературного языка, которая хотя бы приближалась к идеалу, — вещь непосильная не только для отдельного специалиста, но даже для группы их. Но именно для того, чтобы такая задача в более или менее близком будущем стала бы посильной, необходимо сделать достоянием общества то, что накопилось и обобщалось по этому вопросу у отдельных исследователей, и чему может быть придан в известной мере цельный и законченный вид. Мои «Лекции» представляются мне одним из таких начинаний.

Разумеется, здесь речь идет о нуждах не самой по себе науки, а о тех ее нуждах, которые теснейшим образом связаны с задачами высшей школы. Называя свой труд «Лекциями», я тем самым подчеркиваю, что в моих собственных глазах эта книга первенствующим образом педагогического характера и не только по ее внутреннему назначению, но также и по изложению, чему я придаю особенно большое значение. Вместе с тем форма «Лекций», указывая на действительное происхождение книги, естественно подсказывается и невозможностью изложить все отделы курса с той равномерностью и одинаковой полнотой, к которой хотелось бы в дальнейшем приблизиться. Для примера хотя бы укажу, что безусловно невозможно представить сейчас с одинаковой полнотой в истории русского литературного языка отделы морфологии, с одной стороны, и синтаксиса — с другой.

Мои «Лекции» охватывают всю историю русского литературного языка с древнейших времен до наших дней. Сознаю смелость такого **первого** опыта построения курса, но считаю, что такая попытка непременно должна быть сделана, тем более что в этом же направлении идет и действующая программа (оговорюсь, что эту программу я считаю крайне несовершенной). Таким образом, весь курс делится

на отделы соответственно периодам, которых у меня семь: 1) древнейший, 2) поздне-средневековый, 3) конец XVII — начало XVIII в., 4) вторая половина XVIII в. («ломоносовский»), 5) конец XVIII — начало XIX в. («карамзинско-пушкинский»), 6) XIX и начало XX в., 7) советский.

Предпосылаемый вводный отдел выясняет основные понятия, связанные с курсом, и трактует о методах изучения литературного языка и т. д.

Каждый отдел курса строится по одинаковому принципу: I. Вводные замечания о языке эпохи. II Орфография. III. Фонетика. IV. Морфология и синтаксис (или просто — «Грамматика»). V. Лексика. VI. Примерный анализ избранного текста. VII. Библиография.

Настоящий сборник работ Г. О. Винокура по русскому языкознанию, издаваемый через десять лет после его кончины, не может, естественно, охватить всех главнейших работ ученого. Такой, например, самостоятельный раздел его научных разысканий, как проблемы культуры языка (науки о технике речи, или иначе — лингвистической технологии), в разработку которых он внес так много принципиально нового, оригинального, творческого, по условиям места не мог быть совсем представлен в данном сборнике. И остальные разделы сборника могли бы быть показаны полнее и богаче.

Однако и то, что содержится в сборнике, дает достаточный материал для показа творческого метода и практических достижений одного из замечательных советских языковедов — Григория Осиповича Винокура.

С. Бархударов.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

РУССКИЙ ЯЗЫК*

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
УШАКОВА

Глава первая

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ

Русский язык есть один из обширной группы славянских языков, на которых в общей сложности говорит около 200 миллионов человек. Из них немногим меньше половины пользуется языком русским. Все славянские языки, в зависимости от большей или меньшей степени близости между ними, делятся на три группы: западную, южную и восточную. К западным славянским языкам относятся: чешский, словацкий, лужицкий (верхние лужичане в Саксонии, нижние — в Пруссии), польский, кашубский (в польском Поморье) и язык полабских славян, к концу XVII в. онемеченных, сохранившийся в нескольких памятниках письменности. К южным славянским языкам относятся: болгарский, сербо-хорватский и словинский. К восточным: русский, украинский и белорусский.

При всех многочисленных различиях, которые наблюдаются между отдельными славянскими языками и внутри трех указанных их групп, грамматическая структура и словарный состав славянских языков обнаруживают такое глубокое сходство, что объяснить его нельзя иначе, как их общим происхождением из одного источника. На основании всей совокупности исторических данных

---

* Работа опубликована в 1943 г. В предисловии к ней Г. О. Винокур писал, что книга «написана не для специалистов и не для самообразования,— вообще без всяких исследовательских или педагогических намерений. Поэтому она совершенно лишена обычного ученого аппарата, в ней нет ни длинных рассуждений, ни сложных доказательств. Это просто «книжка для чтения», содержащая рассказ профессионала о том, что должно представить интерес для всякого способного воспринимать Россию не только в ее исторических деяниях, но и в ее языке». Автор указывал далее: «Принятый характер изложения лишил меня возможности заниматься на страницах этой книжки собственно лингвистическим анализом. Его я заменяю непосредственной демонстрацией русского языка в разные эпохи его существования путем извлечений из памятников разного времени и разного содержания и назначения. Орфография в цитатах из древних текстов упрощена. Начиная с XIX в. тексты цитируются в современной орфографии».

В настоящем издании «Русский язык» публикуется с некоторыми сокращениями, преимущественно в главе первой. Не помещена также глава двенадцатая.

можно полагать, что славянские языки еще в начале нашей эры представляли своеобразное единство, хотя и с отчетливыми признаками внутренней дифференциации. Более или менее положительные и достоверные сведения о славянах начинаются только с VI в. нашей эры. Источники этого времени говорят уже о трех группах славянских племен и, следовательно, языков. Но еще и в IX—X вв., в пору возникновения и первоначального распространения славянской письменности, славянские языки сохраняли такую большую близость, в особенности со стороны их грамматического строя, что отдельные группы славян могли без труда пользоваться одним и тем же письменным языком, так называемым старославянским или древнецерковнославянским языком, о котором подробнее будет речь ниже.

Славянские языки входят как один из важнейших членов в многочисленную группу языков индоевропейских. К числу индоевропейских языков, кроме славянских, относятся: греческий, латинский с современными романскими (французский, итальянский, испанский, румынский и др.), германские (английский, немецкий, голландский, шведский и др.), кельтские (ирландский, бретонский и др.), балтийские (литовский, латышский, албанский, армянский), некоторые языки Индии (с древнеиндийским литературным языком санскритом), древние и новый языки Ирана и открытые в новейшее время мертвые языки хеттский и два тохарских. Подобно тому как славянские языки между собой, так и все члены индоевропейской группы языков представляют каждый своеобразное развитие и изменение одной и той же системы языка, очертания которой раскрываются при их сравнительно-историческом изучении. Между современными языками английским и албанским, персидским и идиш (он относится к германской группе), ирландским и русским нет почти ничего общего. Тем не менее, как с несомненностью доказывает прошлое каждого из этих языков, все они порознь не что иное, как каждый раз новое и самостоятельное продолжение одного и того же языкового начала, изменившегося до неузнаваемости во всех этих отдельных случаях. Точно так же как все славянские языки имеют своим источником один язык, так называемый язык праславянский, все индоевропейские языки восходят к одному языку, так называемому праиндоевропейскому.

Ни тот, ни другой праязык как цельные организмы нам, разумеется, неизвестны и никогда не могут стать известны. Они не запечатлены ни в каких текстуальных памятниках, и об их строе и составе мы можем судить только путем сравнительно-исторического изучения тех индоевропейских языков, которые дошли до нас в каких-нибудь документах или продолжают употребляться и сейчас. Но так как разные индоевропейские языки и разные их группы известны нам в их древнейшем состоянии не на одинаковой ступени их исторического развития, то отдельные выводы из сравнительного изучения тех или иных особенностей их строя и состава хронологически сопоставлять очень трудно. Поэтому мы имеем возможность

оперировать только отдельными, разрозненными и разновременными следами известного языкового механизма, в его цельности не восстановимого. Мало того, это механизм который быть может, никогда и не заключал в себе открываемые наукой его черты одновременно, а потому мы не имеем права рассматривать его как конкретное культурно-историческое явление. Поэтому и самое выражение «праязык», которое когда-то романтики понимали в его буквальном смысле, как конкретный язык с цельной и законченной структурой, так что даже пытались составлять на реконструируемом праязыке связные литературные тексты, для современной лингвистики есть не более как термин с очень условным содержанием. Этим термином теперь принято обозначать известный фонд закономерных соответствий, устанавливаемых сравнительно-историческим изучением языков данного круга и закрепляемых в соответствующих формулах. Так, например, выражение «праиндоевропейский среднеязычный согласный *k*» есть формула, покрывающая собой соответствие латинского и греческого *k*, немецкого *h*, славянского и иранского *s*, литовского *š*, санскритского *ç*, как например в словах, обозначающих число 100: греческое *hekaton*, латинское *centum* (*c* первоначально в латинском означало звук *k*), немецкое *hundert*, русское *сто*, древнеиранское *satəm*, литовское *šimtas*, санскритское *çatam*. Все это, несомненно, одно и то же слово, получившее разный вид в разных языках в разное время, причем звуковое соответствие между этими разными видами данного слова закономерно, то есть повторяется в других случаях, например в словах, обозначающих число 10: греческое *deka*, латинское *decem*, немецкое *zehn* (из более древнего *zehan*), русское *десять*, древнеиранское *dasa*, литовское *dešimtas*, санскритское *daça* и т. д. Однако ка́к именно звучало это слово со значением «сто» или «десять» в индоевропейском праязыке, в точности установить нельзя, а главное, если бы это даже и было возможно, то все равно невозможно решить, соотносителен ли «первоначальный» вид данного слова с «первоначальными» словами, которые устанавливаются в других случаях.

Тем не менее самый факт генетической связи индоевропейских языков по группам и внутри групп остается вполне доказанным и несомненным. Славянские языки в целом — это типичные индоевропейские языки...

Тем не менее есть некоторые своеобразные черты, выделяющие славянские языки в целом в ряду прочих индоевропейских языков. В области звуков речи сюда относятся в особенности два явления. Во-первых, строгое и систематически проведенное противопоставление передних и непередних гласных, то есть умягчающих и неумягчающих предшествующие им согласные звуки. Во-вторых, устранение исконных закрытых слогов, то есть слогов, кончающихся согласным звуком, и позднейшее развитие новых закрытых слогов на другой основе.

Противопоставление передних и непередних гласных в особенности ярко сказалось на судьбе заднеязычных согласных *г*, *к*, *х*.

Эти согласные дважды во всех славянских языках, еще в доисторический период их развития, пережили изменение в положении перед передними гласными. Сначала все *г*, *к*, *х* в положении перед гласными типа *е*, *и* изменились в шипящие звуки *ж*, *ч*, *ш* соответственно (все три шипящие первоначально произносились мягко, а в русском *ж* и *ш* отвердели значительно позднее). Этим объясняются в современном русском языке чередования *г—ж*, *к — ч*, *х — ш* в таких случаях, как *нога — ножище*, *пеку — печень*, *мох — мшистый* и т. п. Позднее, но также еще до эпохи распространения письменности, те же звуки *г*, *к*, *х* в положении перед передними гласными нового происхождения (из дифтонга *oi*) изменились соответственно в свистящие *з*, *ц*, *с*. Этим объясняются характерные для древнерусского языка чередования *г — з*, *к — ц*, *х — с*, как например *нога — нозъ*, *рука — руцъ*, *грѣхъ — грѣси* (позднее эти чередования в русском устранены); ср. и современное русское: *цена*, которому соответствует литовское *kaina* с тем же значением. Важным следствием противопоставления двух типов гласных явилось и то различие между парными твердыми и мягкими согласными, как например в словах: *дань — день*, *волка — вилка* и т. д., которое до сих пор хорошо сохраняется в русском и польском языках и так затрудняет усвоение русского и польского произношения для представителей германского или романского языкового мира.

Устранение исконных закрытых слогов выразилось в том, что первоначально слог во всех славянских языках мог заканчиваться только гласным звуком. Следовательно, не могло быть также ни одного слова, которое кончалось бы согласным звуком. В современных славянских языках дело обстоит уже не так, но сравнительно редкие скопления согласных звуков в них, а также и то обстоятельство, что граница между минимумами произносительной силы двух соседних слогов внутри слова приходится в славянских языках обычно после гласного, например *се-стра*, *вну-три*, а не *сес-тра*, *внут-ри* и т. д. есть след былого отсутствия закрытых слогов во всех языках славянской группы. Этим же, как его называют, законом открытых слогов объясняется целый ряд своеобразных соответствий между славянскими языками и прочими индоевропейскими, а также и соответствий внутри самой славянской языковой группы, о чем скажем несколько погодя.

В области грамматической славянские языки до сих пор сохраняют многие особенности утраченные в других индоевропейских языках. Так, почти во всех славянских языках (исключением здесь является болгарский) сохраняется древняя структура склонения имен. Из восьми индоевропейских падежей всеми славянскими языками утрачен только один так называемый отложительный (ablativus), функции которого перешли к родительному. В современном русском языке нет также звательного падежа, но он утрачен сравнительно поздно, а в большей части славянских языков сохраняется до сих пор Зато двойственное число, хорошо известное по древним памятникам славянской речи, сейчас известно лишь в сло-

винском и лужицком языках, да и то в полуразрушенном состоянии. Оригинальная черта славянских языков заключается в том, что большинство из них развило в формах склонения категории лица и нелица, или одушевленности и неодушевленности. Это выражается в том, что в известных условиях исконная форма винительного падежа заменяется иной, совпадающей с формой родительного (*купить вола* вместо древнего *купити волъ*). Другая оригинальная черта славянской грамматики, общая у славянских языков с языками балтийскими,— развитие класса так называемых сложных прилагательных (*добрый, -ая, -ое*) путем присоединения местоименного элемента к более древнему классу именных прилагательных (*добръ, -а, -о*). Этот параллелизм форм прилагательных послужил основой для своеобразной дифференциации их синтаксического употребления, в силу которой в современном русском литературном языке именные формы употребляются лишь в роли сказуемого, а сложные — как в роли определения, так и в роли сказуемого (ср., с одной стороны, *отец добр*, а с другой — *добрый отец* и *отец добрый*). В большинстве современных славянских языков старые именные формы прилагательных уже вышли или выходят полностью из употребления. Много новообразований содержится и в формах славянского глагола. Помимо отдельных форм спряжения, это в особенности касается образования глагольных основ с парными видовыми значениями при помощи приставок и суффиксов (*писать — подписать — подписывать, забыть — забывать* и т. д.). В синтаксическом отношении упомянем употребление родительного при отрицании вместо винительного (*найти книгу — не найти книги*), развитие так называемого творительного предикативного (*быть воином*), отсутствие связки в формах настоящего времени (*он был студент — он студент*).

Наконец, и в своем словарном составе славянские языки имеют некоторые своеобразные черты, выделяющие их в кругу прочих индоевропейских языков. Лексический состав индоевропейских языков отличается крайней пестротой, и почти в каждом из них можно указать целые пласты слов неиндоевропейского происхождения... Интересно, что в словарном составе славянских языков находят относительно малое число слов, которые можно было бы отнести к заимствованиям древнейших эпох из неиндоевропейских языков или к какому-нибудь неиндоевропейскому субстрату. В целом основные группы древнейших общеславянских культурных терминов представляют собой воспроизведение общего индоевропейского фонда. Сюда относятся, например, названия важнейших степеней родства: *мать, дочь, сестра, сноха, деверь* и т. д., наименования различных технических процессов: *писать* (первоначально означало: чертить, красить), *тесать, шить, вить, печь*, наименования жилищ и селений: *дом, двор* и др., наименования различных видов скота: *овца, свинья* и т. д. Но есть и некоторые специфические славянские слова менее ясного происхождения. Так, ни в одном из славянских языков нет индоевропейских названий лошади и собаки,

а общеславянские обозначения этих животных: *конь* (или *комонь*) и *пес* — не имеют соответствий в других индоевропейских языках. Интересно, что русский язык как раз для этих же двух животных употребляет особые, не известные у других славян, названия *лошадь* и *собака*, оба заимствованные в более позднее время с востока. Специфически славянскими словами считают также слова *вол*, *поле*, *племя*, *староста* и ряд других.

Таковы в общих чертах отличительные особенности, принадлежащие славянским языкам как известному целому. Но, как было сказано, ко времени появления славянской письменности, во второй половине IX в., славянские языки были уже заметно дифференцированы. Нет сомнения, что и русский язык к этому времени обладал уже некоторыми своими важнейшими чертами, отличающими его от других славянских языков. Эти специфические свойства русской речи, возникшие еще в доисторический период, легче всего улавливаются в области фонетики. Основные явления этого рода следующие:

1. Первоначальные сочетания *tj*, *dj* в отличие от других славянских языков в русском заменились звуками *ч* и *ж* соответственно. В польском вместо *tj*, *dj*, находим *c*, *dz*, в чешском — *c*, *z*, в сербском — *ђ*, *ћ*, в болгарском *шт*, *жд*. Например, русское *свеча*, *сажа* (ср. *свет-ить*, *сад-ить*), польское *swieca*, *sadza*, чешское *svice*, *saze*, сербское *свијећа*, *саћа*, болгарское — *свъшта*, *сажде*. Так же, как *tj*, изменилось сочетание *kt* перед передними гласными, например русское *печь* (из *пек-ти*, ср. *пеку*), польское *piec*, сербское *пећи* и т. д.

2. Сочетания: гласный и плавный согласный между двумя согласными по формуле *tort*, *tolt*, *tert*, *telt*, где *t* есть символ любого согласного, вследствие упоминавшегося тяготения к открытым слогам, заменились в русском сочетаниями *torot*, *tolot*, *teret* — это так называемое русское «полногласие». В прочих славянских языках уничтожение закрытого слога в данных сочетаниях происходило иначе. В болгарском, сербском и чешском вместо названных сочетаний находим *trat*, *tlat*, *tret*, *tlet* (с *е* долгим), в польском *trot*, *tlot*, *tret*, *tlet* и т. д. Так, например, литовскому *gardas* (плетень) соответствуют русское *город*, болгарское и сербское *град*, чешское *hrad*, польское *gród*; литовскому *galva* соответствуют русское *голова*, болгарское и сербское *глава*, чешское *hlava*, польское *głowa* и т. д.

3. По-видимому, незадолго до появления письменности у славян русский язык утратил носовые гласные *о*, *е*, существовавшие в известную пору у всех славян, а сейчас сохраняющиеся только в польском и в некоторых говорах Македонии. В русском языке вместо *о* носового находим *у*, вместо *е* носового — *а*, перед которым мягкий согласный или *j* (на письме — *я*). Так, польскому *ząb* (знак *ą* обозначает *о* носовое) соответствует русское *зуб*, польскому *pięć* — русское *пять* и т. д.

Три упомянутые приметы вместе с рядом других, менее значительных, являются у русского языка общими с украинским и белорусским языками. Иными словами — это общие восточнославян-

ские приметы, возникшие во всех живых восточнославянских говорах еще до того, как появилась славянская письменность.

Не раз задавался вопрос, какое место занимают восточнославянские языки в целом в отношении двух других основных славянских языковых групп. Чаще на этот вопрос отвечали, что восточнославянские языки генетически ближе к южным, чем к западным славянским языкам. Такое мнение основывается преимущественно на двух явлениях, развившихся в дописьменный период как на юге, так и на востоке славянского языкового мира, но неизвестных на западе. Во-первых, на востоке и на юге звуки *г*, *к* изменялись в *з*, *ц* и тогда, когда они были отделены от последующего гласного переднего ряда, возникшего из *oi* (это был гласный *ѣ* в данном случае), согласным звуком *в*, например русское *звезда*, сербское *звијезда*, но польское *gwiazda*, чешское *hvězda*; русское *цвет*, сербское *цвијем*, но польское *kwiat*, чешское *květ*. Во-вторых, первоначальные группы согласных *tl*, *dl*, сохранившиеся на западе, упростились на юге и на востоке в одно *l*, например русское *плету — плела* (из «плетла»), *веду — вела* (из «ведла»), сербское *плела*, *вела*, но польское *pliotła*, *wiodła*. Однако этим общим южно-восточным явлениям можно противопоставить и некоторые западно-восточные, то есть такие, которые совместно отличают западные и восточные славянские языки от южных. Важнейшее из них — изменение исконных сочетаний *or*, *ol* перед согласным в начале слова в западных и восточных славянских языках в *ra*, *la* при одних условиях и в *ro*, *lo* при других, в то время как на юге на месте этих сочетаний всегда находим только *ra*, *la*. Ср., например, русское *локоть*, польское *łokieć*, но сербское *лакат*; русское *ровный*, польское *równy*, но сербское *равни* (русское *равный* есть церковнославянизм). Следовательно, языки восточных славян имеют точки ближайшего соприкосновения с южнославянскими языками в одних случаях, и с западнославянскими — в других, а в целом внутренние генетические отношения между разными группами славянских языков сложнее различных попыток уложить их в простую и однозначную схему.

54987

Глава вторая

РУССКИЕ ДИАЛЕКТЫ

Общим именем «русский язык» мы называем русский литературный язык, с одной стороны, и многочисленные местные русские говоры, с другой. Литературным языком принято у нас называть общерусский национальный язык, язык русской культуры, то есть язык государства, науки, печати и т. д. Наиболее отчетливые его образцы содержатся в письменности (в широком смысле слова), но с ним близко соприкасается и во многом совпадает также бытовая речь культурного слоя, интеллигенции.

www.ruslang.ru

Местные городские говоры представляют собой ту или иную форму взаимодействия между общим литературным языком и местными говорами деревни. Говоры же русской деревни в зависимости от тех сходств и различий, которые можно между ними установить, объединяются в группы большего или меньшего объема. Таких наиболее общих групп русских говоров считают три: севернорусская, южнорусская и среднерусская.

Севернорусская диалектная группа включает в себя говоры новгородские, олонецкие, архангельские (поморские), вологодские, вятские, говоры Верхнего и Среднего Поволжья, уральские, многие говоры Сибири. Все они объединяются некоторыми общими признаками, но в то же время им свойственны и некоторые разноместные приметы.

В области произношения русские северные говоры характеризуются следующими двумя общими свойствами. Во первых, на севере, как общее правило, произношение гласных не зависит от того, находится ли гласный под ударением или в безударном положении, или во всяком случае зависит гораздо меньше, чем это наблюдается на юге. Это свойство северного произношения лежит в основе так называемого оканья, то есть различения звуков *о* и *а* в безударном положении, например, *водá*, но *травá*. Иначе говоря, северяне произносят *о* как *о*, *а* как *а* и под ударением, и в положении без ударения. Во-вторых, в северном произношении качество гласного в очень сильной степени оказывается зависимым от того, какими согласными этот гласный окружен — твердыми или мягкими. Так, во многих северных говорах гласный *а* после мягкого согласного, а в особенности между мягкими согласными, заменяется гласным *е*, так что произносят, например: *зеть*, *опеть*, *мечик* вместо *зять*, *опять*, *мячик*; *грезь*, но *грязный*, *петь*, но *пятый* и т. п. Во многих говорах (например, олонецких, вологодских) наблюдаем в таких же условиях чередование гласных *е* и *и*, например, *хлеб*, но *хлибец*, *сено* — *на сине*, *вера* — *к вире* и т. п. В словах этого рода звуки *е* и *и* заменяют собой гласный *ѣ* древнего времени. Вообще следует заметить, что в отличие от южных говоров в большинстве северных говоров древние гласные *ѣ* и *е* не совпали в своей судьбе. Очень часто на месте древнего *ѣ* до сих пор на севере произносят особый закрытый звук, среднего образования между *е* и *и*, вроде французского закрытого *е* (*é*), например; *сéно*, *лéто*. Такое произношение известно, например, в вятских, поморских говорах. В некоторых случаях на месте старого *ѣ* произносят *и* во всяком положении, то есть *сино*, *на сине*. Это наблюдается в новгородской группе говоров. И лишь в меньшей части случаев, например в некоторых говорах Поволжья, на месте старого *ѣ* теперь слышится просто *е*. Во всех северных говорах наблюдаем, далее, исчезновение междугласного *j* с последующим стяжением соседних гласных в один, например вместо *знает* произносят *знаэт* и потом *знат*, с более или менее протяжным *а*. Точно так же говорят *работаэм* — *работам*, *Сысоэв* — *Сысов* и т. п. Отсюда же объясняются прилагательные, напоминающие со-

бой древние именные (так называемые краткие) формы, но на самом деле ими не являющиеся, вроде: *но́ва изба, така́ хоро́ша книга, село Ильинско* и т. п. В области согласных звуков общими признаками северного произношения служит, во-первых, *г* взрывное, то есть как *g* в латыни и западноевропейских языках, совпадающее с литературным произношением, и, во-вторых, так называемое цоканье и чоканье, то есть неразличение звуков *ц* и *ч*, так что вместо обоих произносят или *ц* мягкое, например *цярь, цяшка*, или *ч*, например *чарь, чашка* (возможны и некоторые иные варианты).

В грамматическом отношении севернорусские говоры характеризуются, например, формами *меня, тебя, себя* в отличие от южнорусских *мене, тебе, себе*, окончанием *т* твердое в третьих лицах глаголов: *идет, идут*, а не *идеть, идуть*, неразличением формы дательного и творительного падежей множественного числа, например: *обзавестись сапогам, гулять с девушкам*, сравнительной степенью на *-яе*, например; *красняе, скоряе*, постпозитивной частицей, например: *дом-от, изба-та, село-то, люди-те* (или *люди-ти*), безличными оборотами со страдательными причастиями, вроде: *у них хожено* (они ходили), деепричастными оборотами вроде: *он вышедши*, конструкциями типа: *принести книга, напоить корова* и др. Есть также немало специфических северных явлений и в лексике, например: *орать* в значении пахать, но *пахать* в значении подметать, *зевать* в значении «кричать, реветь», *лонись* — в прошлом году, *баско* — красиво, *бороновать*, а *не скородить, ухват*, а не *рогач* (как на юге) и многое другое.

Южнорусские говоры — это говоры тульские, калужские (граничащие с белорусскими), орловские, курские, донские, воронежские, южная часть рязанских, говоры Нижнего Поволжья. Наиболее существенные приметы южнорусской речи такие. В произношении — различие в качестве гласного в зависимости от того, находится ли он под ударением или в безударном положении. На этом принципе основано так называемое аканье, то есть неразличение гласных *о* и *а* в положении без ударения. Вместо обоих гласных в безударных положениях произносятся различные звуки — более или менее чистое *а*, звук средний между *а* и *ы* и т. д., в зависимости от целого ряда специальных условий, причем в разных группах говоров по-разному. Существенным для всех этих разновидностей аканья остается, во всяком случае, отсутствие в произношении безударного гласного *о* и непременное его совпадение с гласным *а* в одном и том же заменителе. Таким образом, на юге произносят то *вада, трава*, то *въда, тръва* (если обозначить буквой *ъ* указанный звук, средний между *а* и *ы*) и т. д., в каждой группе говоров по-своему, притом — по-разному в разных безударных слогах. Рядом с аканьем следует упомянуть так называемое яканье, то есть подобное же неразличение и совпадение в одном звуке гласных *а* (орфографическое *я*) и *е* после мягких согласных в безударном положении. Так, в одних говорах произносят *висна, бида*, в других — *вясна, бяда*, в третьих — *висна, бида*, но *вясны, бяды*, в четвертых — *вяс-*

на, бяда, но *висне, биде* и т. д., в зависимости от различных специальных условий, но каждый раз так, что нет разницы между звуками *а* и *е* после мягких согласных в положении без ударения. Другой важнейшей фонетической приметой южнорусских говоров служит *г* длительное (фрикативное), то есть звук, представляющий собой *х*, но только произносимый с голосом, звонкий: *hара* (гора), *hорат* или *hорът* (город) и т. д. В грамматическом отношении южнорусское наречие характеризуется окончанием *т* мягкое в третьих лицах глаголов: *идеть, идуть*, формами: *мене, тебе, себе*, частым по говорам отсутствием среднего рода, так что говорят: *моя ведро, свежей маслы*, почти полным вытеснением из употребления кратких форм прилагательного и др. Для южнорусского словаря характерны слова *скородить*, а не *боронить, рогач*, а не *ухват, лошадь*, а не *конь* и др.

Наконец, среднерусские говоры, занимающие пограничное положение между северными и южными и простирающиеся лентой с северо-запада на юго-восток, примерно от Псковщины через Московскую область к Нижнему Поволжью, характеризуются своеобразным совмещением северных и южных примет. Это говоры, представляющие собой очевидный продукт смешения носителей обоих основных русских диалектов в одно этнографическое целое. Одна из типичных форм этого диалектного скрещения в среднерусской полосе — говоры, характеризующиеся южнорусским произношением гласных и севернорусским произношением согласных, то есть аканьем, но звуком *г*, а не *h*, *т* твердым в третьих лицах глаголов и т. д., например среднерусское *гара* при северном *гора* и южном *hара*. Именно эта система произношения характерна для московского говора и легла в основу русского литературного языка. Достоверно известно, что московский говор был в прошлом окающим. Таким образом современное среднерусское произношение московского типа исторически есть севернорусское произношение, в котором оканье заменилось аканьем, пришедшим с юга.

Все русские говоры в целом, независимо от различий между их крупными и мелкими группами, отличаются некоторыми общими особенностями от говоров украинских и белорусских. Такой специфически русской особенностью является, например, развитие звуков *о* и *е* из старых *ы* и *и* в положении перед *й*, например *слепой, мой, пей* при украинском *сліпий, мий, пий*, белорусском *сляпы, мый, пій*. Другое такое специфически русское явление, уже упоминавшееся выше, устранение древних форм с свистящими звуками на месте заднеязычных, например *ноге, руке, сохе* вместо древнерусских *ногъ, рукъ, сохъ*; в украинском и белорусском в этих формах до сих пор сохраняются свистящие согласные (*нозі — назе* и т. д.). Сюда же надо отнести утрату звательного падежа в русском языке, появление в русском языке форм множественного числа типа *города́*, неизвестных украинцам и белорусам, и некоторые другие явления. С другой стороны, украинские и белорусские говоры характеризуются некоторыми общими новообразованиями, отсут-

ствующими в русских говорах, например украинское *кривавый, дрижати*, белорусское *крывавы, дрыжаць*, русское *кровавый, дрожать*; украинское *суддя*, белорусское *суддзя*, русское *судья* и др. Все явления этого рода, касающиеся как взаимоотношений внутри русских говоров, так и их отношений с говорами украинскими и белорусскими, должны учитываться при попытках исторического объяснения той системы, какую представляет собой вся восточнославянская языковая область в ее современном состоянии.

Как сложилась эта система? С сожалением приходится констатировать, что вполне обстоятельного и ясного ответа на данный вопрос наука о русском языке пока не может еще представить. Очень интересный и относительно подробно аргументированный ответ на поставленный вопрос в новейшее время давал гениальный русский ученый Шахматов. Его концепция происхождения русских диалектов, в последний раз изложенная им с большим блеском и в увлекательной форме в 1916 г., сводится в существенных чертах к следующему.

В эпоху, предшествовавшую возникновению Киевского государства, восточнославянские говоры составляли три группы: северную, южную и восточную. Носители северных говоров — это ильменские словене и занимавшие смежную с ними территорию кривичи. Носители южных говоров — поляне, древляне и сидевшие от них на запад и юго-запад волыняне, бужане, дулебы, тиверцы, уличи. Носители восточных говоров — вятичи, сидевшие в бассейне Оки, но отдельными поселениями, как считал возможным думать Шахматов, заходившие далеко на юг, вплоть до нижнего течения Дона. Западные территории Европейской России, лежавшие между областями поселения южной и северной групп, как полагал Шахматов, были заняты первоначально ляшскими племенами. Именно ляхов Шахматов видит в летописных дреговичах и радимичах. Военно-политические потрясения, которые рано стала испытывать Киевская Русь и источником которых были повторные движения кочевников, вторгавшихся с востока и юго-востока, привели к различным перемещениям указанных восточнославянских племенных группировок и их взаимным смешениям. Так, некоторые южные племена принуждены были перейти свою естественную границу — реку Припять, и вследствие этого вошли в соприкосновение с сидевшими там ляшскими племенами. С другой стороны, в том же направлении передвигались некоторые группы восточных племен, спасавшиеся от печенежского, половецкого и татарского разорения. Таким образом, на территории будущей Белоруссии в результате одновременных воздействий с юга и востока возникло обрусение живших здесь ранее ляшских племен. В современном белорусском языке Шахматов соответственно различал три пласта явлений: 1) пережитки ляшского состояния — это так называемое дзеканье и цеканье (например, *цёплы, дзень*); 2) черты, общие у белорусов с украинцами (например, белорусское *суддзя*, украинское *суддя*); 3) черты, общие у белорусского языка с современными южнорус-

скими (по происхождению — вятицкими) говорами, то есть аканье. Те же южные племена, места поселения которых лежали к западу и юго-западу от центральных областей Киевщины, колонизировали впоследствии киевские земли, запустевшие после Батыева погрома, и явились этнической средой развития современных юго-западных украинских говоров, широко отразившихся и в теперешнем литературном украинском языке. Наконец, восточные племена передвигались не только на запад, но также и в северном направлении. Здесь они вступали в соприкосновение с кривичами и словенами, и это послужило основой для развития современного русского (великорусского) языка с его двумя основными наречиями — северным и южным, и полосой среднерусских говоров в пограничной области между первым и вторым.

В изложенном мнении Шахматова многое основано на смелых и далеко не очевидных допущениях. Не раз подвергалось справедливой критике явно преувеличенное представление Шахматова о роли ляшских элементов в судьбах русского языка дописьменного периода. С другой стороны, если даже принять все положения этой концепции Шахматова, то все же она остается слабо связанной с конкретными событиями политической и этнографической истории русского народа, с теми многочисленными изменениями в составе и поселении отдельных групп носителей русской речи, которыми полна русская история в течение не только всего средневековья, но и нового времени. Тем не менее исключительно ценной и безусловно верной следует признать мысль Шахматова о том, что современный русский (великорусский) язык в его наречиях есть продукт не распада первоначально единого целого на две обособившиеся диалектные группы, а, наоборот, скрещения двух ранее самостоятельных диалектных групп, начавших жить общей жизнью в результате цепи исторических событий, которые сделали центр Европейской России жизненным центром будущего русского государства. Здесь, на стыке древних севернорусской и восточнорусской диалектных территорий, завязались первые узлы общерусской лингвистической жизни в виде среднерусских переходных говоров, с их двойственной, скрещенной структурой. Расширение среднерусской диалектной области в дальнейшем явилось выражением крепнущих связей между составными частями нового лингвистического образования, история которых характеризуется отчетливыми центростремительными тенденциями. Результатом этого сложного процесса явился также московский говор, который в качестве говора столицы и основного культурного центра Русского государства получил особенно важное значение и в истории русского литературного языка. Таким путем устанавливается в истории русского языка то чрезвычайно существенное положение, по которому черты сходства между северным и южным наречиями современного русского языка исторически моложе и новее, чем черты различия между ними. Например, отсутствие в современных русских наречиях старого звательного падежа или звуковые комплексы *-ой*, *-ей* в словах вроде *слепой*, *пей*, то есть особенности,

которые характеризуют все русские диалекты в отличие от украинских и белорусских, возникли позднее, чем, например, такие расхождения между северным и южным наречиями, как разное произношение *г*, оканье и аканье и т. д.

События, которые изменили диалектные соотношения древнейшего времени, как они реконструируются Шахматовым, и привели к современной группировке восточнославянских диалектов, развивались в течение X—XIII вв. В это время отдельные группы восточнославянских говоров частично продолжали еще переживать общие для всех говоров процессы, частично же вырабатывали те свои частные особенности, которые служат для нас теперь важнейшими отличительными признаками трех современных восточнославянских языков. Таким образом, в термине «русский язык» надо различать два значения, соответственно двум основным фазам лингвистической истории восточного славянства. В применении ко времени до XIII—XIV вв. этим термином обозначается язык всех восточных славян как известное, дифференцированное внутри единство, определяемое общей политической жизнью в рамках древнерусского Киевского государства. Как известно, самый термин «Русь» возник первоначально в применении именно к государству Рюриковичей и только впоследствии закрепился для обозначения нового государственного образования и новой народности на северо-востоке. Для времени после XIV в. термин «русский язык» равнозначен термину «великорусский» и отличает русский язык в современном смысле от языков украинского и белорусского.

В описанном до сих пор процессе становления восточнославянских языковых групп не нашло себе пока объяснения происхождение русского литературного языка. О нем нужно говорить отдельно.

Глава третья

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Письменная речь является у восточных славян относительно поздно, только в X в., в результате сложных культурно-исторических и политических событий, с которыми связано распространение христианства в славянской среде. Есть несомненная закономерность в том, как учреждение христианской церкви сказывалось возникновением письменности в разных частях средневекового мира. Мейе в превосходном сочинении, посвященном истории греческого языка, формулирует эту закономерность следующим образом: «Со времени возникновения христианства греческий язык стал языком христианской церкви только там, где говорили по-гречески. В то время как на Западе латынь, язык империи, стала официальным языком церкви, единственным языком, употреблявшимся в судебной процедуре, единственным языком, служившим только для подготовки священников и распространения науки, на Востоке создалось

столько ученых языков христианства, сколько было национальностей, достигших самосознания; священное писание было переведено на готский, на армянский, на коптский, на славянский, для каждого из этих языков был создан хорошо приспособленный алфавит и письменный язык на который переводились греческие сочинения и на котором даже составлялись сочинения оригинальные. Таким образом, в то время как на Западе Европы латынь оставалась единственным языком религии и высокой интеллектуальной культуры, на Востоке сложились языки национальных цивилизаций, которые частично сохранились до сих пор». Как указывает далее Мейе, все эти национальные языки, естественно, многое заимствовали из греческого, потому что они возникали там, где христианство было получено именно из греческого, а не римского источника.

С этими интересными выводами современного французского ученого можно сопоставить то, что было сказано в 1755 г. Ломоносовым о значении славянского перевода священного писания с греческого для истории русского языка сравнительно с ролью, которая выпала на долю латыни в католических странах. Ломоносов писал: «Ясно сіе видѣть можно вникнувшимъ въ книги церьковныя на Славенскомъ языкѣ, коль много мы отъ переводу ветхаго и новаго завѣта, поученій отеческихъ, духовныхъ пѣсней Дамаскиновыхъ и другихъ творцевъ каноновъ видимъ въ Славенскомъ языкѣ Греческаго изобилія, и оттуду умножаемъ довольство Россійскаго слова, которое и собственнымъ своимъ достаткомъ велико и къ пріятію Греческихъ красотъ посредствомъ Славенскаго сродно... Справедливость сего доказывается сравненіемъ Россійскаго языка съ другими ему сродными. Поляки преклонясь издавна въ Католицкую вѣру, отправляютъ службу, по своему обряду, на Латинскомъ языкѣ, на которомъ ихъ стихи и молитвы сочинены во времена варварскія, по большей части отъ худыхъ авторовъ, и потому ни изъ Греціи, ни отъ Рима не могли снискать подобныхъ преимуществъ, каковы въ нашемъ языкѣ отъ Греческаго пріобрѣтены. Нѣмецкой языкъ по то время былъ убогъ, простъ и безсиленъ, пока въ служеніи употреблялся языкъ Латинской. Но как нѣмецкой народъ сталъ священныя книги читать и службу слушать на своемъ языкѣ, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели».

В обеих приведенных выдержках, столь сильно разъединенных и временем и самим способом рассуждать, содержится тем не менее одна и та же мысль о благодетельной для восточноевропейских славян, и, следовательно, русских, зависимости их письменного языка от древнего перевода христианской литургической литературы с греческого на славянскую речь. Язык этого перевода принято называть старославянским или древнецерковнославянским языком. Возник он при следующих обстоятельствах.

В IX в., после смерти Карла Великого, в западноевропейской среде возникло мощное государственное образование, известное под именем Великоморавского княжества. Во главе этого княжества стоял даровитый государственный деятель Моймир, который при-

нужден был вести постоянную борьбу с немцами и в 846 г. был побежден ими. Но преемник Моймира Ростислав продолжал эту борьбу и добился в ней значительных успехов. Ростислав противопоставил немецкому натиску не только силу оружия, но также средства культурной политики. Одним из его мероприятий было посольство к византийскому императору Михаилу III, отправленное около 863 г. с просьбой прислать в Моравию миссионеров, которые могли бы проповедовать христианство местному населению на его родном языке. Этим путем Ростислав пытался парализовать влияние немецкой (по языку — латинской) церкви на политическую и культурную жизнь Моравии. Результатом этого начинания Ростислава явилась миссия братьев Константина и Мефодия, составляющая одну из самых знаменательных дат в истории культуры и просвещения всего славянства.

Константин (перед смертью принявший монашество с именем Кирилла) и Мефодий были сыновьями византийского вельможи Льва, родом из Солуня (Салоники). В то время Солунь был окружен болгарскими поселениями, и братья были поэтому практически знакомы с речью солунских болгар, представлявшей собой один из древних болгарских говоров македонского типа. Как рассказывают источники, император Михаил, назначая братьев в великоморавскую миссию, обратился к ним с следующими словами: «Вы бо еста селоунянина, да селоуняне вьси чисто словѣньскы бесѣдоуютъ», то есть: вы родом из Солуня, а солуняне все хорошо говорят по-славянски. Это свое практическое знакомство с языком солунских болгар братья и сделали основанием своей миссионерской деятельности. Еще до выезда в Моравию Константин, славившийся своей ученостью и занявший руководящее положение в миссии, составил славянскую азбуку и начал переводить так называемое недельное Евангелие, начинающееся словами: «В начале было слово». Завершение переводческой деятельности Константина и Мефодия произошло уже в Моравии, где они занимались также подготовкой служителей национальной славянской церкви. После смерти обоих братьев (Константин умер в 869 г., Мефодий — в 885 г.) при преемнике Ростислава Святополке славянская литургия в Моравии прекратилась. Ученики Константина и Мефодия, изгнанные Святополком, перенесли свою деятельность в Болгарию. Здесь, в особенности в начале X в., при болгарском царе Симеоне, переводы Константина и Мефодия были подвергнуты новой обработке, причем дальнейшее свое развитие получила зародившаяся славянская письменность вообще. В X же веке она стала известна также восточному славянству.

Славянские языки, при всех различиях, которые должны были уже существовать между ними в IX—X вв., были все же настолько еще близки друг к другу, в особенности со стороны своего грамматического строя, что письменный язык, созданный Константином и Мефодием на болгарско-солунской основе, оказался вполне применимым и в западнославянской среде — в Моравии, а вслед за тем

также и в среде восточных славян. Язык переводов, созданных братьями, стал, таким образом, как бы международным письменным языком славянства в раннефеодальную пору его истории, тем более, что в его лексическом составе, наряду с болгарскими элементами, есть очень много элементов западнославянских, не говоря уже о грецизмах, некотором числе латинизмов и т. д. Этот, как его называют, старославянский или древнецерковнославянский язык был язык исключительно книжный, то есть никто им не пользовался в обиходной речи. В известной мере он отличался от местных живых говоров в каждой из тех славянских земель, где он применялся, сначала в качестве языка церкви, а почти сейчас же вслед за тем и в качестве общего учено-литературного языка. Эти отличия, однако, были не настолько велики, чтобы мешать его усвоению в каждой местной среде. Наоборот, знакомство со старославянским языком в Моравии, а затем в Болгарии, в Сербии, в древней Руси создавало в каждой из этих областей грамотных людей и профессионалов книжного дела и, таким образом, клало начало самостоятельной местной письменности. Именно так, в процессе усвоения и переписки старославянских текстов, возникла и древняя русская письменность.

Переводы Константина и Мефодия, несмотря на отдельные, не вполне удачные частности, в целом отличаются значительными литературными достоинствами (они дошли до нас не в подлинниках, а в более поздних списках и обработках, относящихся к X—XI вв.). Громадное культурное значение их для славян заключалось, помимо прочего, в том, что они приобщали славянство к византийской культуре речи, сохранявшей, хотя и в своеобразной форме, прочную связь с античным преданием. Словарные, фразеологические и синтаксические грецизмы, переполняющие старославянские тексты, не нарушая национальной природы древнейших письменных языков славянства, делали их в то же время законными участниками международной языковой культуры средневековья и служили могущественным средством их собственного литературного развития. Как мы видели, это хорошо понимал уже, в применении к русскому языку, Ломоносов. Позднее превосходно развивал ту же мысль Пушкин, писавший в 1825 г.: «Как материал словесности язык славянорусский (то есть письменный язык, развившийся в России на почве усвоения старославянского — действительная история последнего Пушкину и его времени еще не была известна) имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность».

В дальнейшем мы сделаем попытку проследить судьбу старославянского языка на русской почве и выяснить его роль в развитии русского литературного языка. Но наш отчет о самом возникновении

старославянского языка был бы неполон, если бы мы не отметили выдающегося исторического значения, которое принадлежит первому шагу, сделанному Константином в его деятельности на поприще славянской культуры, именно — созданному им славянскому алфавиту. В изобретении азбуки для славян Кирилл, по общему признанию современных специалистов, обнаружил замечательное лингвистическое чутье и справился со своей задачей мастерски. Лучшим доказательством удачи его служит то, что созданная им алфавитная система,— разумеется, с неизбежными позднейшими наслоениями и поправками,— сохраняется до сих пор как основа письменности русской, болгарской и сербской и отражается также, в большей или меньшей мере, в письменности ряда неславянских народов (например, в новейших алфавитах многих национальностей СССР). Следует, однако, знать, что самая форма букв, из которых состоят современные славянские алфавиты, по всей вероятности, восходит не к той азбуке, которую изобрел Кирилл. Древнейшие из дошедших до нас текстов на старославянском языке писаны двумя азбуками — «глаголицей» и «кириллицей». Первой, например, писаны Зографское и Мариинское Евангелия XI в., второй — Остромирово Евангелие 1056 г., Супрасльская рукопись XI в. и др. Кириллица, основанная на парадном греческом письме VIII—IX вв., так называемом унциале, сама лежит в основе теперешней русской, болгарской и сербской азбук. Глаголица, сейчас сохраняющаяся лишь в культовом обиходе у католиков-хорватов, как думают, восходит к греческому скорописному письму той же эпохи. По своему внешнему виду она сильно отличается от кириллицы, и только специальный анализ позволяет открыть в ее знаках генетическое родство с кириллицей и общеизвестными начертаниями греческих письмен. Интересно, что вполне совпадают между собой знаки кириллицы и глаголицы главным образом тогда, когда они восходят не к греческому, а какому-то иному источнику (как полагают — коптскому, может быть — еврейскому), например, в знаке Ш. Вопрос о том, какая из двух славянских азбук древнее и изобретена Кириллом, до сих пор еще не имеет единогласного решения в науке. Однако подавляющее большинство ученых как в славянских, так и в неславянских странах давно уже склонилось к мнению, что это была глаголица, а кириллица возникла только в X в., в Болгарии, в среде выучеников Мефодия, создавших новую редакцию самых переводов первоучителей. На эту более молодую и графически более совершенную азбуку, сохранявшую, однако, в большинстве случаев принципы первой, уже позднее было перенесено имя первоначального изобретателя славянской азбуки, но есть некоторые данные, позволяющие догадываться, что когда-то кириллицей именовалась именно глаголица. Так, в 1047 г. новгородский поп Упырь Лихой в послесловии к списанной им рукописи Пророков с толкованиями говорит: «Слава тебе господи царю небесный, яко сподоби мя написати книгы сия ис коуриловицѣ». Подлинная рукопись Упыря Лихого не сохранилась, но в списках с нее, относящихся к XV в.,

содержатся слова, писанные глаголицей. Это делает вполне правдоподобным предположение, что Упырь Лихой называл кириллицей то, что мы теперь называем глаголицей.

Вообще же следует сказать, что в древней Руси глаголица имела небольшое применение. Древнерусских рукописей, которые целиком были бы писаны глаголицей, не существует. Но есть отдельные глаголические слова и строки в русских рукописях, писанных кириллицей — сюда относятся и упомянутые списки с рукописи Упыря Лихого. Есть также несколько глаголических надписей на стенах древних русских храмов. Таким образом, можно думать, что непосредственным источником русской письменности, поскольку об этом приходится судить на основании сохранившегося древнерусского рукописного материала, были тексты не моравского, а более молодого, болгарского периода истории старославянского языка. Существует, впрочем, очень интересная концепция Н. К. Никольского, согласно которой периоду византийско-болгарских воздействий на русскую культуру предшествовал период непосредственных ее связей с моравскими традициями, но следы этих традиций впоследствии, начиная с XI в., из тенденциозных побуждений намеренно уничтожались книжниками новой формации. Так или иначе, но старославянские тексты, проникая вместе с христианством в восточнославянскую среду, становились здесь образцами для списывания и подражания. При списывании старославянских текстов и при составлении оригинальных текстов по старославянским образцам древнерусские литераторы иногда невольно, а иногда и сознательно допускали отступления от норм старославянского языка в пользу параллельных явлений своей родной речи. Этим путем вносились восточнославянские черты в орфографию, грамматическую систему и словарный состав старославянских оригиналов. В результате возникал своеобразный и новый письменный язык, в котором скрещивались книжные старославянские и живые восточнославянские элементы. Этот скрещенный язык, то есть старославянский язык русской редакции, и был первым письменным языком восточных славян. Соответствующие явления наблюдаем также в болгарской и сербской письменности XI—XII вв., которая также характеризуется местными наслоениями на языке более древнего типа, восходящем к первоначальным кирилло-мефодиевским текстам. В связи с этим, наряду с русской, различаются еще болгарская и сербская редакции старославянского языка. В нескольких древнейших рукописях находят также отдельные следы моравской редакции старославянского языка, то есть такие особенности языка, которые были занесены в кирилло-мефодиевскую речь солунско-македонского типа из живых моравских говоров.

Есть известные внешние признаки, по которым можно отнести тот или иной памятник древней славянской письменности к одной из перечисленных разновидностей по его языку. Отметим здесь два таких признака. Во всех славянских языках дописьменного периода были носовые гласные *о* и *е*. Для обозначения этих гласных в славян-

скую азбуку были введены особые знаки, так называемые «юсы», юс большой (в кириллице ѫ) для обозначения *о* носового и юс малый (в кириллице ѧ) для обозначения *е* носового. Далее, во всех славянских языках той же поры было два так называемых редуцированных гласных звука, то есть произносившихся с крайней степенью краткости и, вероятно, с ослабленным дрожанием голосовых связок, приглушенно (их так и называют часто: «глухие» гласные). Для обозначения этих гласных на письме в славянскую азбуку были введены знаки «ер» для редуцированного непереднего (в кириллице ъ, то есть наш теперешний «твердый знак») и «ерь» для редуцированного переднего (в кириллице ь, то есть наш теперешний мягкий знак). К тому времени, к какому относятся древнейшие из сохранившихся славянских рукописей, то есть к концу X — началу XI в., обе категории упомянутых гласных в разных славянских языках претерпели известные изменения, в результате которых возникали различные колебания в написании соответствующих знаков. Орфография «юсов» и «еров» в древнейших памятниках и дает возможность отнести их к определенной славянской территории. Так, для (болгарской редакции старославянского языка характерно смешение юсов и смешение еров в определенных положениях; для сербской — смешение юса большого с буквой *у*, юса малого с буквой *е* и употребление ь вместо ъ. Для русской редакции старославянского языка характерно, во-первых, правильное в целом различение букв ъ и ь и, во-вторых, смешение юса большого с буквой *у*, а юса малого — с буквами *а* и так называемым *а* йотированным (ꙗ) в зависимости от положения. Таким образом, например, старославянское ѧзыкъ (ср. польское *język*) может встретиться в болгарской рукописи в виде жзыкъ, в сербской — в виде езикь, в русской — в виде ꙗзыкъ и т. д.

Вот для образца небольшой отрывок из так называемого Архангельского Евангелия — русской рукописи, по крайней мере часть которой писана около 1092 г. Это тот текст, который в несколько иной редакции отразился в знаменитом эпиграфе к «Бесам» Достоевского (при передаче древних текстов здесь и ниже несколько упрощена орфография и раскрыты сокращенные написания под так называемыми титлами. Вместо ѧ и ꙗ всюду для простоты поставлена буква *я*):

«Въ оно врѣмя пришьдъшю іисоусови въ страну гергесиньскоу. сърѣтоста и дъва бѣсьна. от жялии исходящя. лютѣ зѣло. яко не можяше никто же миноути поутьмь тѣмь. и се възъписта. глаголюща. что есть нама іисоусе и тебе сыне божии. пришьлъ еси сѣмо прѣже врѣмене моучитъ насъ. бѣ же далече отъ нею стадо свинии мъного пасомо. бѣси же моляахоути и глаголюще. аще изгониши ны. повели намъ ити въ стадо свиное. и рече имъ идѣте. они же шьдъше идошя въ свиния. и абие оустрьми ся вьсе стадо по беregoу. въ море и оутопошя въ водахъ»[1].

---

[1] *Перевод*: В то время, когда Иисус пришел в Гергесинскую страну, встретили его двое бесноватых, выходящие из могил, очень свирепые, так что никто

Для характеристики этого отрывка как памятника русского языка отметим, к примеру, что здесь *въ страноу* написано вместо стоявшего в оригинале «*въ странѫ*, *по берегоу* вместо стоявшего в оригинале *по брѣгоу*. На подобных простейших примерах и выясняется скрещенная, амальгамная природа древнерусского письменного языка, в который, следовательно, в определенной пропорции входили два начала: старославянское книжное и восточнославянское живое. Но доля участия каждого из двух основных элементов этой амальгамы в разных случаях бывала разная. Это зависело от характера составляемого текста, его содержания и стиля, от степени начитанности и культуры составителя, его литературных намерений и т. д. Возникавшие таким путем различные типы, или стили, древнерусского письменного языка нам и следует теперь рассмотреть более подробно. Но предварительно скажем несколько слов о тех документах, какими мы располагаем для восстановления истории русского языка и, в частности, начальных эпох его развития.

Глава четвертая

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Из числа памятников истории русского языка самое большое значение принадлежит рукописям. Памятники других категорий — надписи на камнях, монетах, утвари и т. д.— от начальной поры письменности сохранились в ничтожном количестве, а от более поздних эпох, по краткости своих текстов, не могут соперничать с богатыми данными, содержащимися в рукописях. Из надписей древнейшего времени особой известностью пользуется надпись на так называемом Тмутороканском камне 1068 г. Это кусок белого мрамора, найденный в 1792 г. около Тамани, на котором высечено сообщение о том, что в 1068 г. князь Глеб мерил расстояние от Тмутороканя до Керчи по замерзшему проливу, причем расстояние оказалось равным четырнадцати тысячам саженей. Камень хранится в настоящее время в Эрмитаже, в Ленинграде. Больше датированных русских надписей XI в. нет, но по косвенным признакам к этой поре относят еще четыре надписи. Всего к XI—XIV вв. относят около ста восьмидесяти надписей. Вот для примера текст надписи на серебряной позолоченной чаре черниговского князя Владимира Давыдовича (умер в 1151 г.), хранящейся в Московской Оружейной палате (некоторые слова в этой надписи не дописаны):

не мог пройти этим путем. И вот они возопили, говоря: что нам, Иисус, до тебя, сын божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас. Вдалеке от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, говоря: если ты изгонишь нас, то повели нам войти в свиное стадо. И он сказал им: идите. И они, выйдя (из бесноватых), вошли в свиней. И вот устремилось все стадо по берегу в море и утонуло в водах.

А се чара кня Володимерова Давыдовча кто
из нее пь тому на здоровье а хваля бога
своего осподаря великого кня

Древних рукописей гораздо больше. Самые древние из них относятся к XI в. Общее число рукописей, относящихся к допетровскому времени, исчисляется десятками тысяч, но главная их масса падает на время после XV в. К XI—XIV вв. относится всего около тысячи рукописей, из них к XI в.— более двадцати. Все русские рукописи до середины XIV в. писаны на пергаменте, а с XV в. уже преобладает бумага — сначала привозная, а потом появляется и своя.

По внешнему виду древние рукописи делятся на книги и грамоты. Книги — это рукописи на писчем материале, сложенном тетрадями и заключенном в переплет. Грамоты — рукописи на отдельных листах. Различаются несколько основных стилей почерка: это — устав, полуустав и скоропись. Уставом называют более или менее крупный почерк торжественного характера, в котором каждая буква вычерчена отдельно и строится по известной архитектурно-геометрической модели. Этот почерк в древнейших рукописях является единственным. С середины XIV в. появляется так называемый русский полуустав, в XV в. вытесняемый из русской рукописной практики полууставом балканским, заимствованным у сербов и болгар, как и все модное этого времени. Полуустав — почерк менее строгий и не так каллиграфичен, как устав, прямые линии часто в нем уступают место наклонным, в нем больше сокращений и т. д. Наконец, скоропись, появляющаяся у нас в XV в., но достигающая широкого распространения только в два следующих столетия, это — почерк, название которого говорит само за себя. Этот почерк характеризуется связным написанием соседних букв, разнообразием начерков одной и той же буквы, свободным выходом букв за пределы строки вверх и вниз, выносными буквами, лигатурами и сокращениями разного рода и т. п. От нашей современной скорописи древняя отличается меньшей индивидуальной свободой почерка, так как описанные ее свойства были подчинены определенным требованиям стилизации. Отдельные виды скорописи, особенно конца XVI или XVII в., представляют собой памятники сложного и тонкого каллиграфического искусства. Наконец, со стороны своего содержания, древние русские рукописи представляют три основных разряда: 1) памятники церковной письменности; 2) памятники юридической и бытовой письменности; 3) собственно литературные памятники. Экземпляры первых известны с XI в., вторых — с XII в., третьих— главным образом с XIII в., но есть единичные рукописи литературного содержания и старше.

Началась русская письменность не позднее второго десятилетия X в. Сохранился русский перевод договора 912 г. между Олегом и Византией, включенный в состав летописи. Однако летописные списки, в составе которых дошел до нас этот перевод,— не старше XV в. Ни одна рукопись X в. до нас не дошла. Что касается дре-

внерусской литературы, в собственном смысле этого термина, то она, несомненно, существовала уже в XI в., как переводная, так и оригинальная. Но древнейшие памятники русской литературы опять-таки известны нам только по спискам более позднего времени: летописные списки, которыми мы располагаем, не старше XIV в., «Слово о полку Игореве», составленное в конце XII в., известно нам только по печатному изданию 1800 г. со списка XV—XVI вв. и т. д.

Назовем некоторые наиболее известные и ценные рукописи древнего времени. Рукописи XI в.— это преимущественно памятники богослужебной письменности или таких литературных родов, которые близко связаны с церковностью. Все русские рукописи XI в. представляют собой копии со старославянских оригиналов и потому могут рассматриваться как памятники русского языкового строя преимущественно в своих отступлениях от языковых норм подлинников. Старейшая из них, датированная 1056—1057 г., носит название «Остромирова Евангелия», по имени заказчика рукописи, новгородского посадника Остромира. Это роскошная рукопись большого формата, содержащая 294 листа, писанная в два столбца парадным крупным уставом несколькими писцами. Главная доля труда принадлежала дьякону Григорию, от имени которого написано традиционное послесловие, так называемая запись, где содержится обычное обращение к читателю не укорять писца за допущенные им ошибки: «Да иже горазнѣе сего напише. то не мози зазьрѣти мьнѣ грѣшьникоу... молю же вьсѣхъ почитающихъ, не мозѣте кляти, нъ исправльше почитаите». Из этой записи мы узнаем также историю возникновения рукописи и дату ее написания. По содержанию это недельное евангелие, переписанное большей частью непосредственно с болгарского оригинала, а в меньшей, как можно предполагать, с какой-то посредствующей русской книги. Язык книги отличается глубокой архаичностью и часто отражает состояние старославянского языка кирилло-мефодиевской эпохи лучше других старославянских памятников. Но есть в тексте и отчетливые следы живой восточнославянской речи. Рукопись, всего вероятнее, писана в Киеве, но несомненных диалектных признаков в ее языке разглядеть невозможно. Надо добавить, что эта рукопись имела выдающееся значение в самой истории русского и славянского языкознания. Опираясь именно на ее текст, знаменитый Востоков в начале XIX в. опубликовал свои основополагающие работы в этой области. Он же в 1843 г. сделал превосходное печатное издание этой рукописи, снабженное словоуказателем и сводом грамматических форм.

В хронологическом порядке далее должны быть названы два так называемых «Изборника Святославова», один — 1073 г., другой — 1076 г. Называются они так по имени киевского великого князя Святослава, библиотеке которого принадлежали. По содержанию это сборники различных произведений византийской письменности, преимущественно просветительного и назидательного характера, переведенные в X в. для болгарского царя Симеона. Русские списки

«Изборников» восходят к этим симеоновским болгарским переводам. Не лишено значения, что в первом из этих «Изборников» есть особый трактат о «творческих образах», содержащий некоторые положения византийской поэтики, на которых, следовательно, могли воспитываться и первые русские литераторы. Далее назовем упоминавшееся уже выше «Архангельское Евангелие» 1092 г., найденное в восьмидесятых годах прошлого столетия в Архангельске, откуда и принятое название памятника. Вопрос о месте написания этого памятника не решен до сих пор, но более вероятно мнение о его южном происхождении. Это снова недельное Евангелие, писанное двумя писцами, которые, однако, гораздо чаще отступали от строгих норм старославянского языка в пользу живой русской речи, чем дьякон Григорий. Памятнику принадлежит первостепенное лингвистическое значение. В 1912 г. в Москве была издана великолепная имитация этой рукописи, полиграфическими средствами передающая все важнейшие особенности ее внешнего вида. Наконец, к числу датированных памятников XI в. относятся еще «Новгородские Служебные Минеи» 1095 и следующих годов, изданные до сих пор только частично. Это снова копии с болгарских оригиналов, представляющих собой переводы с греческого. Для истории русского языка «Служебные Минеи» XI в. представляют тот специальный интерес, что в них отразились важные местные особенности древнего новгородского говора, прежде всего — так называемое цоканье. Именно в тексте «Миней» находим постоянное смешение букв *ц* и *ч*, например: *письчьꙗличе* вместо *письць, лице*, но: *црѣвъ, пецали* вместо *чрѣвъ, печали*. Эта орфография с несомненностью выдает такой тип произношения, в котором звуки *ц* и *ч* не различаются (см. гл. 2-ю).

Из церковных памятников XII в. важнее других «Мстиславово Евангелие», писанное до 1117 г. Далее — два древнейших памятника так называемого галицко-волынского говора: «Галицкое Евангелие» 1144 г. и «Добрилово Евангелие» 1164 г. В последнем замечательная интуиция Соболевского в восьмидесятых годах прошлого века открыла некоторые специфические признаки украинской фонетики, вследствие чего он особенно важен для истории украинского языка. Запись этого памятника сохранила другой распространенный мотив древних произведений этого рода, свидетельствующий об особой психологической атмосфере, в которой протекал самый процесс писания книг: «А братья и отьци, аже вы кде криво а исправивъше чьтѣте а не кльнѣте яко же радуеться женихъ о невѣстѣ тако радоуеться писець видя послѣдьнии листъ». (Ср. к этому и такой вариант записи, заимствуемый здесь из Лаврентьевского списка летописи 1377 г.: «Радуется купець прикупъ створивъ. и кормьчии въ отишье приставъ и странникъ въ отечьство свое пришедъ. такоже радуется и книжный списатель. дошедъ конца книгамъ» и т. д.). XII век дошел до нас также в виде нескольких рукописей с оригинальными, а не списанными русскими текстами. Так, мы располагаем двумя небольшими грамотами XII в. Одна из них написана около 1130 г. и представляет собой дарственную запись новгородскому Юрьев-

скому монастырю от имени великого князя Мстислава и его сына Всеволода. Другая написана в самом конце XII в. и представляет собой такую же дарственную запись Хутынскому монастырю от имени основателя монастыря, инока Варлаама. В последней, несмотря на ее краткость, много ярких диалектизмов севернорусского типа. Наконец, от XII в. мы располагаем также списками русских оригинальных литературных произведений. Здесь прежде всего должен быть назван «Сборник московского Успенского собора», относящийся к девяностым годам XII в. и содержащий, среди прочего, древнейший список популярного «Сказания о Борисе и Глебе», а также «Житие Феодосия Печерского». Общее число сохранившихся рукописей XII в.— свыше пятидесяти.

XIII и XIV вв. дают уже значительное число рукописей из разных культурных центров древней Руси. Таковы грамоты смоленско-полоцкие (древнейшая 1229 г.), новгородские (древнейшая 1262 г.), московские (древнейшая — духовная Ивана Калиты 1328 г.), рязанские (древнейшая 1356 г.) и т. д. От XV в. сохранилось много очень ценных грамот, писанных в области Северной Двины. Из крупных юридических памятников XIII в. особенно важное значение принадлежит древнейшему из сохранившихся списков «Русской правды», относящемуся к 1282 г. и писанному в Новгородской области (сложилась «Русская правда» гораздо раньше и, несомненно, распространялась в списках уже в первой половине XI в.). Возможно, что к концу XIII в. относится первая часть древнейшего из сохранившихся списков древней летописи, именно так называемого Синодального списка I Новгородской летописи. Но большая часть этого списка, несомненно, писана не раньше XIV в. К концу XIV в. относится и знаменитый Лаврентьевский список летописи, имеющий дату 1377 г. Он переписан в Суздальской области и содержит, кроме сложившейся к XII в. на юге «Повести временных лет», еще и местную, Суздальскую летопись. Уже к XV в. относятся другие ценнейшие списки древней летописи, в том числе Ипатьевский, Радзивилловский или Кенигсбергский и др. В списках XIII в. сохранились и некоторые произведения древнейшего периода истории русской литературы, например блестящие проповеди Кирилла Туровского, переводная «Хроника Георгия Амартола». Многие другие древнейшие памятники русской литературы дошли до нас только в поздних списках, например «Слово Илариона», относящееся к XI в., но известное в полном виде лишь в копии XVI в., «Слово о полку Игореве» и др. Это очень затрудняет изучение этих произведений со стороны языка.

Начиная с XV в. положение гораздо легче. Крупнейшие произведения русской письменности эпохи Московского государства вроде, например, «Задонщины», «Хожения Афанасия Никитина за три моря», переписки Курбского с Иваном Грозным, «Домостроя», «Стоглава», записок Котошихина, сочинений Аввакума, «Уложения 1649 г.», различных повестей и сказаний, как переводных или представляюших собой разного рода адаптации чужого материала, так

и оригинальных, известны в списках, более или менее близких ко времени возникновения самих произведений, а с XVII в. мы располагаем уже и некоторыми печатными изданиями. Книгопечатание у нас началось во второй половине XVI в. Первоначально печатались лишь церковные книги. Но в 1647 г. была напечатана в Москве книга «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», в 1648 г.— церковнославянская грамматика, в 1649 г.— «Уложение», а с конца XVII — начала XVIII в. печатание книг светского содержания становится постоянным явлением. Рукописи как источник для истории русского языка сохраняют свое значение и для последующего времени, но с ними в этом отношении все более успешно конкурируют и печатные книги. В частности, для истории литературного русского языка за рукописями преимущественно сохраняется значение контрольного материала по отношению к печатным памятникам русской письменности.

В течение всего древнерусского периода наблюдаем в памятниках русского языка борьбу центростремительного и центробежного начал. Черты живой местной речи то всплывают на поверхность текста, то затушевываются в нем более или менее последовательным соблюдением унифицированной нормы церковнославянской грамотности. Эта особенность древнерусского языка в его письменном обличии значительно затрудняет построение русской исторической диалектологии, и не удивительно что у нас нет до сих пор вполне отчетливой и полной картины эволюции древнерусских диалектов в ее последовательных этапах. Но нам хорошо известны отдельные яркие приметы различных областных говоров древней Руси. Выше уже сказано было, что Соболевский установил некоторые специфические языковые черты в галицко-волынских текстах начиная с XII в. Ему же принадлежит честь первоначального описания памятников псковской письменности, язык которых отличается рядом оригинальных особенностей. Самой яркой приметой древнего псковского говора служит взаимное неразличение свистящих и шипящих согласных, что сказывается на письме смешением букв *с* — *ш*, *з* — *ж* вроде: *сапозникъ* вместо *сапожникъ*, но *сапожи* вместо *сапози* (именительный падеж множественного числа), *объдавсю* вместо *объдавшю*, но: *еши* вместо *еси* и т. п. Известное место в «Слове о полку Игореве» «шизымъ орломъ подъ облакы», где *шизымъ* вместо ожидаемого *сизымъ* дает некоторым исследователям повод думать, что мусин-пушкинский список «Слова», сгоревший в Москве в 1812 г., но послуживший оригиналом издания 1800 г., был писан в Псковской области. Указанная особенность сближает древний псковский говор с мазурующими говорами польского языка, и, вероятно, в том и другом случае есть какой-то иноязычный субстрат. В последнее время Селищевым была высказана гипотеза, что это черта ополяченных или обрусевших носителей древнего прусского языка (вымерший язык балтийской группы, родственной литовскому и латышскому). К этому же источнику Селищев возводил и другую оригинальную черту древнего псковского говора, именно сочетания *гл*,

кл, являющиеся вместо современного *л* в формах прошедшего времени, например *блюглися* вместо *блюлися*, *чкли* вместо *чли*. В современных псковских говорах ни та, ни другая черта неизвестны.

Существуют аналогичные диалектные приметы и в текстах рукописей смоленско-полоцких, двинских, рязанских, московских и т. д. В частности, в московских документах очень поздно появляются следы акающего произношения. Их еще нет, например, в писаниях Ивана IV, но в письмах Алексея Михайловича постоянно находим написания вроде: *по палямъ*, *десять утакъ*, и обратно: *вытощили*. Надо думать, что крупные социальные потрясения конца XVI и начала XVII в. сильно изменили говор господствующего слоя москвичей и что именно к этому времени относится превращение московского говора из окающего севернорусского в акающий среднерусский.

Глава пятая

СТРОЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

В языке древнейших памятников русской письменности, независимо от диалектных и стилистических различий и степени соответствия нормам старославянского языка, отразились некоторые общие явления восточнославянской языковой системы. Изучением памятников в хронологической последовательности можно установить, как эта древняя языковая система превратилась в современную. Не вдаваясь в подробности, отметим важнейшие черты восточнославянского звукового и грамматического строя, восстанавливаемые изучением памятников древнейшего периода.

Система гласных звуков в этот период отличалась от современной русской наличием звуков, которые изображались на письме буквами *ѣ*, *ъ*, *ь*. Буква *ѣ* (ять) обозначала звук типа *е*, но отличавшийся от того *е*, который мы произносим теперь в словах вроде *лес*, *мел*, *дева*, во-первых, его долготой (рано утраченной), а во-вторых, более узким характером его образования, то есть более высоким положением спинки языка при его произнесении, так что это был звук, переходный от *е* к *и*. По-видимому, ближе всего к древнему *ѣ* тот звук, который слышится теперь на его месте в поморских или вятских говорах русского Севера (см. главу 2-ю). В некоторых русских говорах на месте старого *ѣ* под ударением слышится сейчас особого рода смешанный звук, звучащий вначале как *и*, а затем переходящий в *е*, то есть нечто вроде *лиес*, *миел*, *диевка* и т. д. Есть исследователи, полагающие, что именно так звучал *ѣ* в русских говорах первоначально. Так или иначе, но дальнейшая судьба *ѣ* в русском языке была такова, что по большей части этот звук отожествился или с *е* (как в белорусском языке или в нашем литературном произношении), или с *и* (как например в украинском языке, в определенных случаях в северных говорах, о чем уже сказано во 2-й гла-

ве). Очень важно помнить, что в древней письменности буквы *ѣ* и *е* обозначали звуки, разность которых была достаточна для различения смысла слов, в остальном тожественных по звуковому составу. Так, например, такие пары слов, как *ѣли — ели*, *сѣла — села*, *рѣчи́* (предложный падеж) — *рече́и* (инфинитив), внутри различались единственно тем, что в первом слове пары был *ѣ*, а во втором — *е*.

Звуки, изображавшиеся в древней письменности знаками *ъ* (ер) и *ь* (ерь), были очень краткие, так называемые редуцированные гласные звуки, звучавшие — первый, как очень краткий звук, средний между *о* и *у*, а второй — как очень краткий звук, средний между *е* и *и*. Как уже сказано в главе 3-й, эти гласные, вероятно, произносились еще и приглушенно. Оба эти звука встречались в языке древнейшей поры очень часто, и есть немало древнерусских слов, в которых нет других гласных, кроме *ъ* и *ь*, например: *сънъ* (сон), *сънъмь* (сном), *съньмъ* (теперешнее *сонм*), *ръпътъ* (ропот), *дьнь* (день), *жьньць* (жнец), *жьрьць* (жрец) *съмьрть* (смерть), *кръшькъ* (крошек) и т. д. Современному читателю необходимо привыкнуть к мысли о том, что это были знаки гласных звуков и что, следовательно, буквы *ъ* и *ь* выговаривались и в конце слов, а потому слова *кръшькъ*, *жьрьць*, *жьньць* и т. п. были слова трехсложные, а, например, творительный падеж единственного числа *жьрьцьмь* — четырехсложное и т. д. В дальнейшем звуки *ъ*, *ь* в одних положениях в слове заменялись звуками *о*, *е*, в других — утрачивались, причем перед утратившимся гласным, который обозначался знаком *ь*, согласный сохранялся мягким, а потому этот знак часто сохранялся и на письме, но уже в значении не гласного, а так называемого мягкого знака. Например, древнерусское двусложное слово *дьнь* превратилось в современное односложное *день*, но в первом из этих слов *ь* означает гласный звук, а во втором это лишь знак того, что предшествующий согласный *н* произносится мягко.

Исчезновение гласных *ъ*, *ь* в одних случаях и переход их в *о*, *е* в других привели, в частности, к характерному для современного русского языка явлению — так называемой беглости гласного. Именно в современном русском языке очень часты случаи, в которых одна форма какого-нибудь слова содержит гласный *о* или *е*, а другие формы того же слова не имеют гласного, например: *сон — сна*, *крошек — крошка*, *силен — сильна* и т. д. Вообще утрата древних редуцированных гласных и замена их гласными *о*, *е* (процесс этот происходил в восточнославянских говорах в XI—XII вв.) коренным образом изменили всю звуковую систему русской речи. Именно в результате этого процесса в русском языке стали снова возможны закрытые слоги, устраненные во всех славянских языках еще в дописьменный период (см. главу 1-ю): ср. хотя бы древнее *сънъ*, где два слога, из которых каждый заканчивается гласным звуком, и теперешнее *сон*, где один слог, заканчивающийся согласным. Стали возможны также невозможные ранее звукосочетания, как например в современном языке: *пчела*, *жбан*, *трижды* из древних *бьчела*, *чьбанъ*, *тришьды* и многие другие.

Носовые гласные *о*, *е*, существовавшие некогда в восточнославянских говорах, как и во всех других славянских языках, к началу письменности восточными славянами были утрачены: *о* носовое заменилось звуком *у*, *е* носовое — звуком *а*, при мягкости предшествующего согласного (см. главу 1-ю). Это сказалось в древнейших русских рукописях явлениями, характерными для описанной в главе 3-й русской редакции старославянского языка. Создатели русской письменности, не имевшие в своем собственном языке носовых гласных, поневоле читали в старославянских текстах знак ѫ как знак для звука *у*, который по-старославянски изображался на греческий манер двумя буквами оу, а ѧ — как знак для звука *а* после мягких согласных, а этот последний изображался в старославянском буквой *а* или ꙗ (*а* йотированное). Поэтому писцы древних наших рукописей были лишены твердого критерия для различения знаков ѫ—оу, ѧ —ꙗ (*а*) и, переписывая старославянские тексты, легко подменяли один знак другим. Так, например, в Остромировом Евангелии находим *водоу* вместо правильного старославянского *водѫ*; но *дрѫже* вместо правильного *дроуже*, *глаголꙗ* вместо *глаголѧ*, но *морѧ* вместо *морꙗ* и т. д. Понимание знаков ѫ — оу, ѧ — ꙗ (а) как графических вариантов с одинаковым звуковым значением стало, таким образом, постоянным свойством древнерусской орфографической психологии. С середины XII в. знак ѫ, однако, исчезает из русской рукописной практики, но позднее, в эпоху так называемого второго южнославянского влияния (XV в.), на некоторое время возрождается в употреблении. Что же касается знака ѧ, то он сохранился в употреблении (в изменившейся форме буквы *я*) до наших дней.

Из прочих особенностей древнерусской фонетики следует упомянуть еще о сочетаемости заднеязычных согласных *г*, *к*, *х* с гласным *ы* (например, *гыбель*, *кысьлыи*, *хытрыи*) при несочетаемости этих согласных с гласным *и* — как уже говорилось (глава 1-я); перед гласным *и* согласные *г*, *к* *х* в очень глубокой древности во всех славянских языках заменились свистящими и шипящими. Начиная с XII в. встречаем в рукописях следы того, что вместо *гы*, *кы*, *хы* сначала в отдельных областях, а потом и повсюду установилось произношение *ги*, *ки*, *хи*. Так, находим написания вроде *книгини* вместо *книгыни*, *паки* вместо *пакы*, *Киевъ* вместо *Кыевъ* и т. д. Следует далее иметь в виду, что согласные *ж*, *ш*, *щ*, *ч*, а также звук *ц* в древнем языке все звучали первоначально мягко. Из них *щ* и *ч* остаются в русском литературном произношении мягкими до сих пор, а *ж*, *ш*, *ц* стали произноситься твердо примерно с XIV—XV вв. Встречающееся в настоящее время в отдельных русских говорах мягкое произношение *ж*, *ш* (например, перед *и*, *е* в вятских говорах) есть остаток старины. Прочие согласные могли являться как в твердом, так и в мягком виде. При этом первоначально согласные были мягки в положении перед передними гласными и тверды — в положении перед непередними гласными. Исключение составляют *н*, *р*, *л*, которые могли быть мягки также перед *а*, *у*.

Отсюда, между прочим, следует, что первоначально в русском языке не могло быть сочетания мягкий согласный плюс гласный *о*. Иными словами, в таких случаях, как *желоудь*, *женъ* и т. п., буква *е* обозначала действительно звук *е*, а не *о*, как в нашем теперешнем произношении. Но вслед за тем в положении перед твердым согласным, при несколько различных условиях для разных восточнославянских групп, вместо гласного *е* стал произноситься гласный *о*. Это касается и таких случаев, как например *медъ*, *селъ* (от *село*), где прежний гласный *е*, находившийся в положении между мягким и твердым согласными, уступил место гласному *о*. Однако изменение произношения в большинстве этих случаев не повлекло за собой изменения в орфографии, и писать продолжали *желудь*, *женъ*, *медъ*, *селъ*, хотя произношение стало иным: *жолудь*, *жон*, *м'од*, — *с'ол* (знаком апострофа над согласным означаю здесь его мягкость). В XVIII в. одно время пытались писать вместо буквы *е* в таких положениях особый знак *iô* (ср., например, название известного сатирического журнала «И то и сiô»), но этот знак в практике не удержался. В 1797 г. Карамзин напечатал в своем альманахе «Аониды» стихотворение «Опытная соломонова мудрость». Здесь в стихе «Тамъ бѣдный проливаетъ слёзы» он впервые употребил в русской печати букву ё, сделав к этому месту примечание: «Буква *е* съ двумя точками на верьху замѣняетъ *iô*». Так появилась в нашем алфавите буква для обозначения гласного *о*, возникшего вместо *е* после мягких или бывших мягких согласных. Но употреблялась эта буква очень непоследовательно и нерегулярно, и это — один из наиболее капризных случаев в истории русского правописания.

Немало отличий от современного языка находим и в древнерусских грамматических формах. Древнерусское склонение и спряжение отличались от современных тем, что в них было не два, а три числа — единственное, множественное и двойственное. Последнее употреблялось тогда, когда речь шла о двух предметах или их признаках. Особенно часто употреблялись формы двойственного числа при обозначении парных предметов, как например: *руцѣ* (обе руки), *нозѣ* (обе ноги), *рукама и ногама* (обеими руками и ногами) и пр. Современные формы *очи*, *уши*, *плечи*, *колени* — старые формы двойственного числа от слов, обозначающих парные предметы. Вот как взывает к памяти своих убитых братьев Ярослав Мудрый в «Сказании о Борисе и Глебе»: «О брата моя! аще и тѣлъмь ошьла еста, нъ благодатию жива еста и господеви предъстоита и молитвою помозѣта ми»[1]. Здесь *брата*, *ошьла*, *еста*, *жива*, *предъстоита*, *помозѣта* — всё формы двойственного числа.

Сверх сохраняющихся до сих пор шести падежей древнерусское склонение знало еще седьмой, звательный, падеж. Ср. в том же «Сказании» мольбы Глеба: «Спаси ся милыи мои отьче и господине Василие, спаси ся мати и госпоже моя, спаси ся и ты брате Борисе

[1] *Перевод*: О братья мои! Хоть вы и ушли телом, но благодатью живы и предстоите господу, и молитвой помогите мне.

старѣишину оуности моея, спаси ся и ты брате и поспешитѣлю Ярославе, спаси ся и ты брате и враже Святопълче» и т. д. Пережитками этой категории в современном языке являются слова *боже, господи* уже с иной функцией.

Самых типов склонения первоначально было больше. Так, слова мужского рода распределялись по трем типам склонения. Например, слово *рабъ* склонялось так: *рабъ, раба, рабу, рабъ* (или *раба*), *рабъмь, рабѣ, рабе* (звательный падеж); слово *конь*, принадлежавшее к мягкой разновидности того же склонения, так: *конь, коня, коню, конь* (или *коня*), *коньмь, кони, коню*. Но, например, слово *волъ* первоначально имело такое склонение: *волъ, волу, волови, волъ* (или *вола*, по образцу *раба, коня*), *волъмь, волу, волу*. Образцом третьего из упоминаемых типов может служить слово *гусь*, которое склонялось: *гусь, гуси, гуси, гусь, гусьмь, гуси, гуси* (остатком этого склонения теперь является слово *путь*). Соответствующие различия были и во множественном числе. Вот, например, склонение множественного числа слов *рабъ* и *волъ*: *раби — волове, рабъ — воловъ, рабомъ — волъмъ, рабы — волы, рабы — волъми, рабѣхъ — волъхъ* (звательного падежа во множественном числе и в словах среднего рода не было). Позднейшее слияние этих различных типов в один общий тип склонения слов мужского рода сказалось в современном языке многочисленными вариантами форм отдельных падежей. Например, в родительном падеже единственного числа многие слова мужского рода могут иметь в известных случаях, наряду с окончанием *-а*, также окончание *-у*. Сравни: *вывоз табака — пачка табаку*; *одного рода — без роду, без племени*; *из темного леса — из лесу* и т. д. Окончание *у* есть древнее окончание родительного падежа слов вроде *волъ*, получившее в позднейшем языке специализированное употребление. Другой пример такого же рода — родительный падеж множественного числа. Наряду с окончанием *-ов*, как например в словах *столов, пиров, шагов* и т. д., восходящим к тому типу склонения, образцом которого служит склонение слова *волъ*, в современном языке в данном падеже возможна и иная форма, например: *пара сапог, эскадрон гусар* и т. п., восходящая к форме родительного падежа множественного числа слов того типа склонения, к какому принадлежало, например, слово *рабъ*. В современном языке в склонении множественного числа родовые различия в падежных окончаниях совсем незначительны. Не так было в древности, где, например, дательный, творительный и предложный падежи в основных типах склонения резко различались: например, *рабомъ*, но *женамъ*, *рабы*, но *женами*, *рабѣхъ*, но *женахъ*. Окончания *-амъ, -ами, -ахъ* с течением времени вытеснили собой соответствующие окончания других разрядов склоняемых слов, но еще и в письменности Петровской эпохи, например, не редкость такие исконные формы, как «того ради ко всѣмъ *курфірстомъ* писано», «была конференція съ *депутаты* генераловъ статъ» (то есть с депутатами генеральных штатов), «о уготовленіи воіны въ *нідерландѣхъ*» (примеры из «Ведомостей» 1711 г.),— здесь старинные окончания *-омъ, -ы, -ѣхъ* в новых, западноевропейского происхож-

дения словах. Остаток древнего дательного падежа множественного числа видим сейчас в выражении *поделом*, отдельные случаи употребления старой формы творительного падежа множественного числа находим, например, в пушкинских стилизованных строчках: «За дубовыми, тесовыми *вороты*» («Сказка о рыбаке и рыбке»), «Hugo с *товарищи*» («Домик в Коломне»).

В области прилагательных самое важное событие в истории русского грамматического строя — утрата склонения старых именных прилагательных. Прилагательные вроде *добр*, *добра*, *добро*, *добры* сохранились только в формах именительных падежей и употребляются сейчас исключительно в роли сказуемого. В таких выражениях, как *на босу ногу*, *от мала до велика* и т. п., видим случайно уцелевшие обломки склонения этого рода прилагательных.

Очень значительно отличается от современного и древнерусский глагол. Главное отличие касается форм прошедшего времени. Первоначально в русском глаголе было четыре раздельных категории для выражения различных оттенков действия, имевшего место в прошлом. Это, во-первых, так называемый аорист (например, в 1-м лице единственного числа *идохъ*, *читахъ*, *молихъ*), которым выражалось первоначально действие, произошедшее в прошлом, без отношения к его законченности или длительности. Аорист употреблялся преимущественно в рассказе или упоминании о том, что случилось, просто как обозначение самого процесса. В следующей фразе из «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку все сказуемые — аористы: «В лѣто 6479 приде Святославъ в Переяславець, и затворишася Болгаре в градѣ. И излѣзоша Болгаре на сѣчю противу Святославу и бысть сѣча велика». Но далее текст продолжается: «и одоляху Българе», что надо перевести «одолевали». Форма *одоляху* есть так называемый имперфект, образующий вторую из названных четырех категорий древнерусского глагола для выражения действия в прошлом. Имперфект (в 1-м лице единственного числа *идяахъ* или *идяхъ*, *читаахъ* или *читахъ*, *моляахъ* или *моляхъ*) обозначал действие, протекавшее в прошлом как длящийся или повторяющийся процесс. В-третьих, существовала в древнерусском языке составная форма перфекта (например, *шьлъ есмь*, *читалъ есмь*, *молилъ есмь*), означавшая законченный процесс с результатом в настоящем. Например, под 6453 г. в «Повести временных лет» рассказывается о том, как дружинники Игоря требовали от него новых военных предприятий, следующим образом: «Отроцi Свѣньлъжи изодѣлися суть оружьемъ и порты, а мы нази; поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы». Здесь перфект *изодѣлися суть* следует перевести «одеты», «обзаведены», то есть об отроках Свенелда говорится, что они совершили в прошлом известный акт и теперь являются носителями результата этого акта. Поэтому *пришьлъ есмь* означало «я нахожусь здесь», *слыхалъ есмь* — «мне известно», «я знаю нечто, услышанное мною», и т. д. Наконец, существовала еще составная форма давнопрошедшего времени (плюсквамперфекта), имевшая двоякий вид: *шьлъ бѣхъ* или *шьлъ былъ есмь*, *читалъ бѣхъ* или *читалъ былъ*

есмь, *молилъ бѣхъ* или *молилъ былъ есмь*, обозначавшая результат законченного процесса не в настоящем, а в прошлом. Все эти тонкие оттенки значений потеряли впоследствии свои особые формальные приметы и сейчас передаются не особыми формами, а средствами словоупотребления и синтаксиса. Из четырех прошедших времен древнерусского глагола современный русский язык сохранил лишь одну форму перфекта в общем значении прошедшего времени, причем упростил ее в том отношении, что в ней перестала употребляться глагольная связка *есмь*, *еси* и т. д., и употребляется только причастная часть старой составной формы. Вместо *шьлъ есмь*, *читалъ есмь*, *молилъ есмь* теперь говорим просто: *шел*, *читал*, *молил* для всех трех лиц, но изменяем прошедшее время (некогда — причастие) по родам: *шла*, *шло* и т. д. Следом древнего плюсквамперфекта является в нашем фольклоре выражение *жили-были*, восходящее к старому *жили были суть*, то есть опять-таки утерявшее глагольную связку.

Заслуживает, наконец, упоминания одна важная особенность в системе и употреблении древнерусских причастий. В отличие от современного языка, древнерусские причастия действительного залога были возможны как в сложной (полной), так и в именной (краткой) форме, например: *сѣдяи* (теперешнее *сидящий*) — *сѣдя*, *сѣдѣвый* (теперешнее *сидевший*) — *сѣдѣвъ*. Именные формы подобных причастий могли употребляться как члены составного сказуемого, например: *есмь сѣдя* (я сижу в данную минуту), *мужь бысть сѣдѣвъ* (сидел в ту минуту), а также: *пишу сѣдя* (пишу, являясь в это время сидящим), *мужь писа сѣдѣвъ* (написал, будучи сидевшим) и т. д. В дальнейшем именные причастия в подобных синтаксических оборотах, первоначально относившиеся, как всякие причастия, к подлежащему в качестве особых предикативных определений к нему, стали пониматься как слова, относящиеся к сказуемому, то есть как предикативные обстоятельства. Это выразилось в том, что именные причастия действительного залога утратили свое словоизменение, то есть перестали склоняться, превратились в неизменяемые слова. В современном языке они составляют разряд так называемых деепричастий, например: *пишу*, *сидя*; *написал*, *посидев* и т. д. Итак, наши теперешние деепричастия представляют собой по происхождению древние именные формы действительных причастий.

Здесь не место вдаваться в более подробное описание звукового и формального строя древнерусской речи и сложной истории превращения этого строя в современный. Нужно все же заметить, что, несмотря на огромную сложность процесса, составляющего содержание истории русского языкового строя, древнерусские тексты вовсе не трудно научиться понимать и современному русскому человеку, которому для данной цели нужна лишь самая общая и небольшая предварительная подготовка. Разумеется, здесь речь идет о понимании внешнем, а не о глубокой и точной интерпретации, доступной знатокам дела. Но общий дух русского языка, при всех сложных событиях, которыми запечатлена его биография с XI по XX

век, все же не испытал метаморфозы столь решительной, чтобы древнерусские памятники, по крайней мере определенные виды этих памятников, не могли служить и сейчас еще чтением для любознательного и живущего литературными интересами читателя. В этом отношении популяризация древнерусской литературы в ее лучших образцах оставляет еще желать очень многого.

Приведем для примера один отрывок древней летописи, содержащий легенду о смерти Олега, хорошо известную русскому читателю по замечательной обработке Пушкина, который узнал ее по изложению Карамзина в его «Истории». В древнейшем своем виде этот текст дошел до нас в относительно позднем, так называемом Кенигсбергском или Радзивилловском списке «Повести временных лет» конца XV в., откуда и берем текст (с исправлением описок, упрощением орфографии и расстановкой знаков препинания, как и в других случаях ниже): «И живяше Олегъ миръ имѣа ко всемъ странамъ, княжа въ Киевѣ. И приспѣ осень. И помяну Олегъ конь свои, иже бѣ поставилъ кормити, и не вседати нань. Бѣ бо въпрашалъ волхвовъ и кудесникъ: отъ чего ми есть смерть? И рече ему кудесникъ одинъ: Княже, конь егоже любиши и ѣздиши на немъ, отъ того ти умрети. Олегъ же приимъ въ умѣ си рѣче: Николи же всяду нань, ни вижю его боле того. И повелѣ кормити и не водити его к нему. И пребы нѣколико лѣтъ, не видѣ его, дондеже на грекы иде. И пришедшу ему Кыеву, и пребывьшю 4 лѣта, на пятое лѣто помяну конь, от негоже бяхуть рекли волсви умрети. И призва старейшину конюхомъ, рече: Кде есть конь мъи, его же бѣ поставилъ кормити и блюсти его. Он же рече: умерлъ есть. Олегъ же посмеася и укори кудесника, река: То ти неправо глаголють волъсви, но вся ложь есть, а конь умерлъ есть, а я живъ. И повелѣ оседлати конь, а то вижю кости его. И прииде на мѣсто идѣ же бѣша лежаще кости его голы, и лобъ голъ. И ссѣде с коня, и посмеяся рече: Отъ сего ли лба смьрть было взяти мнѣ? и въступи ногою на лобъ. И выникнувши змиа зо лба, уклюну в ногу, и с того разболѣся и умре» [1].

Не требует особых объяснений, что важнейшим посредником между древнерусским языком и языковым сознанием современного

---

[1] *Перевод*: И жил Олег в мире со всеми странами, княжа в Киеве. И настала осень. И вспомнил Олег о своем коне, которого поставил кормить, чтобы больше не садиться на него. Потому что он спрашивал волхвов и кудесников: «От чего я умру?» И сказал ему один кудесник: «Князь, ты умрешь от коня, которого любишь и на котором ездишь». Олег, рассудив, сказал себе: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к себе. И в течение нескольких лет он не видел его, пока не пошел на греков. И придя в Киев, по прошествии четырех лет, на пятое лето он вспомнил о коне, от которого, как сказали волхвы, он должен был умереть. И позвал старшего конюха и сказал: «Где мой конь, которого я велел кормить и хранить?» Тот сказал: «Умер». Олег же рассмеялся и укорил кудесника, сказав: «Неправду говорят волхвы, и все это ложь, конь умер, а я жив». И велел оседлать себе коня: «Посмотрю на его кости». И приехал на место, где лежали голые кости и голый череп коня. И слез с коня, и, смеясь, сказал: «Не от этого ли черепа я умру?» И наступил ногой на череп. И змея, вылезшая из черепа, ужалила его в ногу, и от этого он заболел и умер.

русского читателя служит русский народный язык и больше всего фольклор, в котором сохранилось очень много старины, преимущественно в фразеологии и синтаксисе.

Глава шестая

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В ПЕРВУЮ ЭПОХУ ПИСЬМЕННОСТИ

Русский письменный язык уже и в древнейших его памятниках предстает перед нами в относительно богатом стилистическом разветвлении. Можно сказать, что каждый из трех основных разделов древней русской письменности (см. главу 4-ю) имеет свой особый стиль речи. Соответственно этим разделам можно говорить о церковно-книжном, деловом и собственно литературном стилях письменного языка древнейшей поры как его основных типических разновидностях.

Материальная основа этих стилистических разветвлений создавалась разной пропорцией скрещения двух начал древнерусской письменной речи: книжного, имевшего свои корни в старославянской традиции, и обиходного, имевшего источником живые говоры восточного славянства. Ни то, ни другое начало древнерусского письменного языка, разумеется, не оставалось неизменным в течение древнего периода истории русской культуры, и это соответствующим образом отразилось в стилистических функциях отдельных средств речи. Все же можно наметить три наиболее типичные формы скрещения указанных двух основных начал — книжного и обиходного. Первая форма характеризуется односторонним преобладанием книжного начала, а обиходное присутствует в ней лишь слабой примесью, обычно появляющейся не вследствие свободного выбора, а механически и принудительно. Вторая, наоборот, характеризуется столь же односторонним преобладанием обиходного начала, и здесь уже книжное выступает как принудительная и механическая примесь или заимствование извне. Всего интереснее третий случай, именно такая форма скрещения книжных и обиходных средств речи, при которой и те и другие совмещаются как более или менее равноправные участники единого и цельного акта речи. В отличие от первых двух случаев в последнем, следовательно, имеем дело с таким актом речи, который уже внутри себя стилистически разнообразен и неоднозначен. Остановимся несколько на каждом из указанных трех случаев.

Первый характеризует то, что можно назвать церковно-книжным стилем древнерусской письменной речи. Образцы его, оставляя в стороне списки со старославянских оригиналов (чаще всего болгарской редакции), содержатся в таких произведениях древнерусской письменности, которые отмечены со стороны своего жанра печатью учености или торжественности, а по теме и заданию более или менее близки к культурной атмосфере церковности. По понят-

ным причинам сюда относятся и переводы, исполненные самими русскими, так как для переводов естественно было прибегать к языку ученому и обработанному, а не бытовому. Из памятников XI в. в числе образцов, содержащих церковно-книжный стиль речи, в особенности должно быть упомянуто «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, изощренного стилиста и оратора, владевшего всеми тонкостями византийской риторики и искусства «извития словес». Старославянский язык Илариона, насколько можно судить по поздним спискам, в которых сохранилось его «Слово» (основная редакция его известна лишь в списке XVI в.), безупречен. Его приверженность к книжному началу в языке характерно сказалась в таком его признании: «Не къ невѣдущимъ бо пишемъ, но преизлиха насыщшемся сладости книжныя». Следующие отрывки из «Слова» могут дать некоторое представление об этом типе древнерусского письменного языка:

«Вся страны, и грады, и людіе чтутъ и славятъ коегождо ихъ учителя, иже научиша православной Вѣрѣ. Похвалимъ же и мы, по силѣ нашей, малыми похвалами — великаа и дивнаа сътворшаго нашего учителя и наставника, великаго Кагана нашеа земля, Владимера, внука стараго Игоря, сына же славнаго Святослава, иже, въ своа лѣта владычьствующа, мужствомъ же и храбърьствомъ прослушя въ странахъ многахъ, и побѣдами и крѣпостію поминаются нынѣ и словутъ. Не въ худѣ бо и не въ невѣдоми земли владычьствовашя, но въ Русской, яже вѣдома и слышима есть всѣми концы земля... Добръ послухъ благовѣрію твоему, о блаженниче, святаа церкви Святыа Богородица Маріа, юже създа на правовѣрнѣй основѣ, идеже и мужьственое твое тѣло нынѣ лежитъ, ожыдаа трубы Архангеловы. Добръ же зѣло и вѣренъ послухъ сынъ твой Георгій, егожь створи Господь намѣстника по тебѣ твоему владычеству, не рушаща твоихъ уставъ, нъ утвержающа, ни умаляюща твоему благовѣрію положеніа, но паче прилагающа, не казяща, нъ учиняюща, иже недокончаннаа твоа доконча, акы Соломонъ Давыдова, иже домъ Божій великый святый Его Премудрости създа на святость и освященіе граду твоему, юже съ всякою красотою украси, златомъ и сребромъ и каменіемъ драгыимъ, и съсуды честныими, яже церкви дивна и славна всѣмъ округныимъ странамъ, якоже ина не обрящется въ всемъ полунощи земнѣмъ, отъ встока дъ запада, и славный градъ твой Кыевъ величьствомъ, яко вѣнцемъ, обложилъ, предалъ люди твоя и градъ Святѣй всеславнѣй, скорѣй на помощь Христіаномъ, святѣй Богородици, ейже и церковь на великыихъ вратѣхъ създа... Встани, о честнаа главо, отъ гроба твоего, встани, отряси сонъ! Нѣси бо умерлъ, но спиши до общаго всѣмъ встаніа. Встани, нѣси умерлъ, нѣсть бо ти лѣпо умрети, вѣровавшу въ Христа, живота всему міру. Отряси сонъ, взведи очи...» [1] и т. д.

---

[1] *Перевод:* Все страны, и города, и люди чтут и славят каждый своего учителя, который научил их православной вере. Прославим же и мы посильно малыми похвалами нашего учителя и наставника, совершившего великое и дивное.

Яркие образцы того же рода содержатся и в произведениях другого замечательного древнерусского оратора, епископа Туровского Кирилла, жившего во второй половине XII в. Вот отрывок из «Слова въ новую недѣлю по Пасцѣ», хорошо отражающего и характер языка, и общую литературную манеру Кирилла:

«Днесь весна красуеться, оживляющи земное естьство; бурніи вѣтри, тихо повѣвающе, плоды гобьзують и земля сѣмена питающе зеленую траву ражаеть. Весна убо красная вѣра есть Христова, яже крещеніемъ поражаеть человѣчьское пакыестьство; бурніи же вѣтри грѣхотвореній помысли, иже покаяніемь претворшеся на добродѣтель душеполезныя плоды гобьзують: земля же естьства нашего, акы сѣмя Слово Божіе пріимши, и страхомь его присно болящи, духъ спасенія ражаеть. Ныня новоражаеміи агньци и уньци, быстро путь перуще, скачють, и скоро къ матеремъ възвращающеся веселяться, да и пастыри свиряюще веселіемь Христа хвалять. Агнеца, глаголю, кроткыя отъ языкъ люди, а унца кумирослужителя невѣрныхъ странъ, иже Христовомь вѣчеловѣченіемь и Апостольскымь ученіемь и чюдесы, скоро по законъ емъшеся, къ святѣй церкви възвратившеся, млеко ученія ссуть... Ныня ратаи слова, словесныя уньца къ духовному ярму приводяще, и крестьное рало въ мысленыхъ браздахъ погружающе, и бразду покаанія почертающе, сѣмя духовное въсыпающе, надежами будущихъ благъ веселяться...» [1] и т. д.

великого кагана нашей земли Владимира, внука старого Игоря и сына славного Святослава, которые, владычествуя в свое время, прослыли во многих странах мужеством и храбростью, да и ныне поминаются и слывут своими победами и силой. Ведь они владычествовали не в бедной и безвестной стране, а в Русской, о которой известно и слышно во всех концах земли... Славный свидетель твоего благоверия, о блаженный,— святая церковь святой богородицы Марии, которую ты создал на правоверном основании, в которой лежит ныне и мужественное твое тело, ожидая трубы архангела. Также славный и верный свидетель сын твой Георгий [Ярослав Мудрый], которого Господь сделал преемником твоего владычества, не разрушающим твоих уставов, но утверждающим, не умаляющим плодов твоего благоверия, но еще более умножающим, не портящим, но приводящим в устроение, который докончил недоконченное тобой, как Соломон докончил дело Давида, который создал на святость и освящение твоему городу великий и святой божий дом его премудрости (храм Софии), украсив его всякой красотой, золотом и серебром и драгоценными камнями, и священными сосудами, и церковь эта дивна и славна для всех окружных стран, так что не найдется другой такой на всем земном севере, от востока до запада, и славный город твой Киев обложил величием, как венцом, и вручил твоих людей и твой город всеславной, быстро подающей помощь христианам, святой Богородице, построив ей и церковь у великих врат... Восстань, досточтимый вождь, из своего гроба, восстань, отряси сон! Ведь ты не умер, но только спишь, пока все не встанут. Восстань, ты не умер, не следует тебе умереть, тебе, веровавшему в Христа, жизнь всего мира. Отряси сон, возведи очи...

[1] *Перевод*: Ныне красуется весна, оживляя естество земли; бурные ветры, тихо вея, умножают плоды, а земля, питая семена, порождает зеленую траву. Красная весна — это вера Христова, которая крещением дает людям возрождение; бурные ветры — это грешные помыслы, которые, претворяясь в добродетель покаянием, умножают душеполезные плоды, а земля нашего естества, приняв в себя как семя слово божие, и всегда болящая страхом его, порождает дух спасения. Ныне вновь рождаемые агнцы и тельцы, быстро топча путь, скачут,

(Нельзя, кстати, не отметить любопытную черту этого аллегорического стиля; каждая аллегория тут же в тексте немедленно комментируется и разъясняется: весна — христианская вера, ветры — греховные помыслы, агнцы — кроткие люди из язычников, тельцы— кумирослужители неверных стран и т. д.)

Полярную противоположность этому стилю древнерусской письменной речи составляет ее деловой стиль, основанный на обиходных средствах языка. Его образцы находим главным образом в юридических документах, и именно в тех частях их текста, которые имеют не церемониальное, а собственно бытовое содержание. Историки русского языка уже давно признали памятники русского юридического быта лучшим материалом для восстановления фактов древнерусской живой речи. Крупнейший памятник такого рода начального периода русской письменности есть «Русская правда». Опираясь именно на анализ языка «Русской правды» С. П. Обнорский впервые высказал свое мнение о том, что первоначально русский литературный язык вообще был свободен от зависимости по отношению к языку старославянскому. Связь со старославянской традицией, если оставить в стороне тожество письма и орфографии, здесь, действительно, совсем незначительна и практически равна нулю. Приходится, однако, считаться с очевидным стилистическим разнообразием памятников древнейшей русской письменности, в которой, как мы видели, есть и иные типы речи. Вот образцы текста «Русской правды» по древнейшему из сохранившихся списков (1282):

«Оже придеть кръвавъ моуже на дворъ, или синь, то видока емоу не искати, нъ платитi емоу продажю 3 гривны. Или не боудеть на немь знамения, то привести емоу видокъ, слово противоу слова, а кто боудеть началъ, томоу платити 60 коунъ. Аче же и кръвавъ придеть, или боудеть самъ почалъ, а выстоупять послоуси, то то емоу за платежь, оже и били. Аже оударить мечемь а не оутнеть на смерть, то 3 гривны, а самому гривна за раноу, оже лѣчебное. Потънеть ли на смерть, то вира. Или пьхнеть моужь моужа любо къ собѣ, любо от себе, любо по лицю оударить, или жердью оударить а видока два выведоуть, то 3 гривны продаже».

«Аже холопъ оударить свободна моужа, а оубѣжить въ хоромъ, а господинъ его не выдасть, то платити за нь господиноу 12 гривнѣ, а за тѣмъ, аче кдѣ налѣзѣть оудареныи тъ своего истьча, кто же его оударилъ, то Ярославъ былъ оуставилъ и оубити, нъ сынове его оуставиша по отьци на коуны, любо и бити розвязавше или взяти гривна коунъ за соромъ».

и вскоре, возвращаясь к матерям, веселятся, а пастухи, играя на свирели, веселием хвалят Христа. Агнцами называю я кротких людей из числа язычников, а тельцами — идолопоклонников из неверных стран, которые, недавно узнав закон силою Христова вочеловечения и апостольского учения и чудес и вернувшись к святой церкви, сосут молоко учения... Ныне пахари слова, приводя словесных тельцов к духовному ярму и погружая крестный плуг в борозды мысли, начертая борозду покаяния и сея духовное семя, веселятся в надежде на будущие блага.

«Аже зажьжеть гоумно, то на потокъ и на розграбежь домъ его. Переди пагоубоу исплатить а въ прочи князю поточити и. Тако же оже кто дворъ зажьжеть. А кто пакощами порежеть конь или скотиноу, то продаже 12 гривне а за пагоубоу гривноу оурокъ платити» [1].

Для сопоставления приведем небольшой отрывок из договорной грамоты смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригой и Готским берегом (о. Готланд) 1229 г. Язык этой грамоты, отмеченный яркими диалектизмами смоленско-полоцкого типа, по стилистическим особенностям близко напоминает «Русскую правду»:

«Кто биеть дроуга дѣревъмь, а боудѣте синь любо кровавъ, полоуторы гривны серебра платити емоу. По оухоу оударите 3 четвърти серебра. Послоу и попоу что оучинять, за двое того оузяти два платежя. Аже кого ouранять, полоуторы гривны серебра, аже боудѣте без вѣка. Тако платити оу Смолѣнеске и оу Ризе и на Гочкомь берьзѣ» [2].

К концу XIII в. относится следующее брачное соглашение (складьство), заключенное в Пскове при князе Довмонте (умер в 1299 г.) между Тешатой и Якимом:

«Се поряди ся Тѣшата съ Якымомь про складьство про первое и про задьнее. И на дѣвцѣ Якымъ серебро взялъ, а мониста Тѣшатина у Якымовы жены свободна Тѣшатѣ взяти. И рощетъ оучинила промежи себе, а болѣ не надобѣ Якыму Тѣшата, ни Тѣшатѣ Якымъ. А на томь послоуси Давидъ попъ Дорожка, Домославъ Вѣкошкынъ Боянъ, Кузма Лоиковичь, Жидило Жихновичь, Иванъ Смолня-

---

[1] *Перевод*: Если человек придет на княжеский двор окровавленный или в синяках, то ему не надо искать свидетеля, но надлежит заплатить ему три гривны продажи (вид штрафа). Если же на нем не будет следов (побоев), то надлежит ему привести свидетеля, и кто, после очной ставки, окажется зачинщиком, тот должен заплатить 60 кун. Если даже придет окровавленный, но сам окажется зачинщиком, что подтвердится свидетелями, то штрафу подлежит он сам, хотя бы его и избили. Если кто-нибудь ударит мечом другого, но не насмерть, то он платит 3 гривны, а пострадавшему за рану гривна на лечение. Если же убьет насмерть, то платит виру. Если кто-нибудь толкнет другого к себе или от себя, или ударит по лицу, и будут выведены два свидетеля, то платить три гривны продажи.

Если холоп ударит свободного и убежит в господский дом, а господин его не выдаст, то господин должен заплатить за холопа 12 гривен. А на тот случай, если пострадавший найдет где-нибудь ответчика, который его ударил, Ярослав установил право убить его, но сыновья Ярослава после своего отца заменили это право денежным штрафом, либо подвергнуть его побоям, развязав, либо взять 40 кун за оскорбление.

Если кто-нибудь подожжет гумно, то подлежит изгнанию, а имущество его конфискуется. Сначала возмещается убыток, а затем князь присуждает виновного к изгнанию. То же в случае, если будет подожжен двор. Если кто-нибудь злодейски порежет коня или скотину, то платит 12 гривен продажи, а за убыток платит гривну штрафа.

[2] *Перевод*: Если кто-нибудь ударит другого до синяков или крови, то должен заплатить полторы гривны серебра. Если ударит по уху, то платит 3 четверти серебра. Если будет что-либо причинено послу или попу, то штраф берется в двойном размере. Если кого-нибудь ранят, но без увечья, то полторы гривны серебра. Так платить в Смоленске и в Риге и на Готском берегу.

нинъ. А кто сии рядъ переступить, Якымъ ли, Тѣшата ли, тотъ дасть 100 гривенъ серебра. А псалъ Довмонтовъ писець» [1].

В промежуточной области между двумя указанными типами древнерусской письменной речи, прямолинейно и односторонне воспроизводящими одну из двух возможных манер изложения, наблюдаем тот стиль речи, который может быть назван древнерусским литературным языком в узком смысле этого понятия. Этот стиль речи, как уже сказано, создается совмещением и взаимопроникновением книжного и обиходного начал языка, так что одно из них дополняет другое и оба вместе сливаются в своеобразное синтетическое единство, или по крайней мере обнаруживают тенденцию к такому слиянию. Можно наблюдать различную степень осуществления этого синтеза,— важно отметить самое появление его, хотя бы в зародыше. Далее увидим, что такое синтезирование двух начал в языке есть самое характерное явление истории русского литературного языка в целом. В древнейшую пору наблюдаем его преимущественно в тех явлениях древнерусской письменности, которые могут быть названы собственно л и т е р а т у р н ы м и.

Специфическим признаком л и т е р а т у р н о г о произведения в кругу прочих явлений письменности следует считать его предназначенность для чтения, а не только для той или иной практической надобности — памятной, правовой, богослужебной и т. д. Среди того, что читалось в эпоху Киевской Руси, помимо наиболее популярных книг священного писания (их предназначенность для чтения чаще всего не прямая, а вторичная), вроде, например, «Псалтыри», можно выделить довольно широкий круг текстов с функциями беллетристического характера: повествовательными, поэтическими, назидательными и т. д. Это литература путешествий, житий, поучений, поэтические памятники вроде «Слова о полку Игореве», повествовательные части летописи и т. д., то есть именно то, что составляет основное и наиболее ценное ядро оригинальной древнерусской литературы. У этого круга явлений письменности есть свои особые связи и с древнерусским народным эпосом. Именно здесь и сказалась наиболее отчетливо общая историческая природа русского литературного языка как своеобразного продукта скрещения двух разнохарактерных начал. Некоторое представление о сказанном можно составить себе по приводимым ниже небольшим образцам разного рода. Вот отрывок из «Поучения» Владимира Мономаха (конец XI — начало XII в.), сохранившегося в составе Лаврентьевского списка летописи:

«Тура мя 2 метала на розѣхъ и с конемъ, олень мя одинъ болъ,

---

[1] *Перевод*: Вот Тешата и Яким сговорились о брачном соглашении, на теперешнее время и на будущее. Яким получает за невестой серебро, а Тешатины ожерелья Тешата сохраняет право отобрать у Якимовой жены. И учинили расчет между собой, так, что больше ничего не следует ни Якиму с Тешаты, ни Тешате с Якима. А свидетелями были (следуют имена). Если кто-нибудь, Яким или Тешата, нарушит этот договор, то виновный платит 100 гривен серебра. Писал Довмонтов писец.

а 2 лоси, одинъ ногами топталъ, а другый рогома болъ, вепрь ми на бедрѣ мечь оттялъ, медвѣдь ми у колѣна подъклада укусилъ, лютый звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже; и Богъ неврежена мя съблюде. И с коня много падахъ, голову си розбихъ дважды, и руцѣ и нозѣ свои вередихъ, въ уности своей вередихъ, не блюда живота своего, ни щадя головы своея. Еже было творити отроку моему, то самъ есмь створилъ, дѣла на войнѣ и на ловѣхъ, ночь и день, на зною и на зимѣ, не дая собѣ упокоя; на посадникы не зря, ні на биричи, самъ творилъ, что было надобѣ, весь нарядъ, и в дому своемь то я творилъ есмь; і в ловчихъ ловчій нарядъ самъ есмь держалъ и в конюсѣхъ, и о соколѣхъ и о ястрябѣхъ; то же и худаго смерда и убогыѣ вдовицѣ не далъ есмъ сильнымъ обидѣти, и церковнаго наряда и службы самъ есмъ призиралъ. Да не зазрите ми, дѣти мои, нъ инъ кто, прочетъ, не хвалю бо ся ни дерзости своея, но хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя грѣшнаго и худаго селико лѣтъ сблюдъ отъ тѣхъ часъ смертныхъ, и не лѣнива мя былъ створилъ, худаго, на вся дѣла человѣчьская потребна. Да сю грамотицю прочитаючи, потъснѣтеся на вся дѣла добрая, славяще Бога с святыми его. Смерти бо ся, дѣти, не бояче ни рати, ни отъ звѣри но мужьское дѣло творите, како вы Богъ подасть...» [1]

Далее приводится несколько строк из «Моления» Даниила Заточника (XIIIв.), сохранившегося, к сожалению, в списках не ранее XVI в.:

«Луче бы ми видети нога своя в лычницы в дому твоемъ, нежли в черленѣ сапозѣ в боярстемъ дворѣ. Луче бы ми тобѣ в дерузѣ служити, нежли в багряницы въ боярстемъ дворѣ. Не лѣпо бо усерязь златъ в ноздри свініи, ни на холопехъ добрыи портъ. Аще бы котлу золоты кольца во ушию, но дну его не избыти черности, и жженія его, такоже и холопу. Аще паче мѣры гордѣливъ и буявъ, но укора ему своего не избыти холопия имени. Луче бы мі вода пити в дому твоемъ, нежли пити медъ в боярстемъ дворѣ. Луче бы ми воробеи

---

[1] *Перевод*: Два тура метали меня на рогах с конем, олень меня бодал, а также и два лося — один ногами топтал, другой рогами бодал, вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь у меня у колена чепрак откусил, лютый зверь вскочил мне на бедра и повалил со мною коня, и бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, и голову дважды разбил себе, и руки, и ноги себе повреждал в юности, не щадя своей жизни. Что надлежало делать моему отроку, я делал сам, на войне и на охоте, ночью и днем, в зной и холод, не давая себе отдыха; несмотря на посадников и бирючей, сам делал, что было надобно, и в доме своем исполнял весь распорядок, и за ловчих ловчий распорядок исполнял, и за конюхов, и что касается соколов и ястребов; также не позволял сильным обижать слабого смерда и бедную вдовицу, и сам наблюдал за церковным устроением и службой. Но не укорите меня, дети мои, и кто-нибудь другой, прочтя это, я не хвалю ни себя, ни смелость свою, но хвалю бога и прославляю милость его, сохранившего меня грешного и ничтожного в течение стольких лет от смертного часа и сделавшего меня, ничтожного, не ленивым на все нужные человеческие дела. Прочитав это писание, подвигнитесь на все добрые дела, славя бога и его святых. Не боясь, дети, смерти, ни войны, ни зверя, делайте свое мужеское дело, как вам бог даст.

испеченъ пріимати отъ руки твоея, нежли плеча боранья отъ руки злыхъ государь... Не море потопляетъ корабль но вѣтры. Тако и ты княже не самъ впадаеши в печаль, но введутъ тя думцы. Не огнь творитъ ражженіе желѣзу, но надменіе мѣшьное.

Уменъ мужь не велми на рати хоробръ бываетъ, но крѣпокъ въ замыслехъ...» [1]

В начальной летописи под 992 г. содержится следующий рассказ о единоборстве русского богатыря с печенегом, очень показательный в качестве образца древней литературы и древнего литературного языка (приводится по Лаврентьевскому списку):

«И ста Володимеръ на сей сторонѣ, а Печенѣзи на оной, и не смяху си на ону страну, ни они на сю страну. И приѣха князь Печенѣжьскый к рѣкѣ, возва Володимера и рече ему: «выпусти ты свой мужь, а я свой, да ся борета; да аще твой мужь ударить моимь, да не воюемъ за три лѣта; аще намъ мужь ударить, да воюемъ за три лѣта»; и разидостася разно. Володимеръ же приде въ товары, и посла бирічи по товаромъ, глаголя: «нѣту лі такого мужа, иже бы ся ялъ с Печенѣжиномь?» и не обрѣтеся никдѣже. Заутра приѣхаша Печенѣзи и свой мужь приведоша, а у нашихъ не бысть. И поча тужити Володимеръ, ся по всѣмъ воемъ, и пріде единъ старъ мужь ко князю и рече ему: «княже! есть у мене единъ сынъ меншей дома, а с четырми есмь вышелъ, а онъ дома, отъ дѣтьства бо его нѣсть кто имъ ударилъ: единою бо ми и сварящю, и оному мьнущю усние, разгнѣвався на мя, преторже череви рукама». Князь же се слышавъ радъ бысть, и посла по нь, и приведоша и ко князю, и князь повѣда ему вся; сей же рече: «княже! Не вѣдѣ, могу ли со нь, и да искусять мя: нѣту ли быка велика и силна?» И налѣзоша быкъ великъ и силенъ, и повелѣ раздраждити быка; возложиша на нь желѣза горяча, и быка пустиша, и побѣже быкъ мимо и, и похвати быка рукою за бокъ, и выня кожю с мясы, елико ему рука зая; и рече ему Володимеръ: «можеши ся с нимъ бороти». И наутрия придоша Печенѣзи, почаша звати: «нѣ ли мужа? се нашь доспѣлъ». Володимеръ же повелѣ той нощи облещися в оружие, и приступиша ту обои. Выпустиша Печенѣзи мужь свои, бѣ бо превеликъ зѣло и страшенъ; и выступи мужь Володимерь, и узрѣ и Печенѣзинъ и посмѣяся, бѣ бо середний тѣломь. И размѣривше межи обѣма полкома, пустиша я къ собѣ, и ястася, и почаста ся крѣпко держати, и удави Печенѣзина въ рукахъ до смерти, и удари имь о землю; и кликнуша, и Пе-

[1] *Перевод*: Лучше бы мне видеть ногу свою в лапте в твоем доме, чем в красном сапоге в боярском дворе. Ведь не годится золотая серьга в свиной ноздре, как и дорогая одежда на холопе. Если вдеть котлу в уши золотые кольца, то этим не уничтожится чернота его дна и копоть на нем,— так же и с холопом. Как бы ни был он горделив и дерзок, не избавится он от попрека холопьим именем. Лучше бы мне воду пить у тебя в доме, чем мед в боярском дворе. Лучше бы мне принимать из твоих рук печеного воробья, чем бараньи плечи из рук злых государей... Не море топит корабли, но ветры. Так и ты, князь, не сам впадаешь в печаль, но вводят тебя в нее твои советники. Не огонь разжигает железо, но раздувание мехов. Умный человек и не очень храбрым может быть на войне, но силен в замыслах.

ченѣзи побѣгоша, и Русь погнаша по нихъ сѣкуще, и прогнаша я»[1].

В чем же заключаются материальные основания стилистических различий, непосредственно ощущаемых при сопоставлении трояких образцов подобного рода? Эти различия проходят через всю систему языка, но преимущественно касаются области лексики и синтаксиса. Прежде всего нетрудно заметить стилистическое значение лексических вариантов фонетического происхождения, то есть таких параллельных разновидностей одного и того же слова, которые возникали еще в доисторическую пору на почве разного разрешения того же фонетического процесса в болгарских говорах, с одной стороны, и в восточнославянских — с другой. Сюда относятся, например, такие дублеты, как *градъ — городъ*, *свѣшта — свѣча*, *надежда — надежа* и т. п. Слова с фонетической структурой типа *градъ*, *глава* и т. п. совершенно свободно входили в употребление восточнославянской письменности, потому что в этой структуре не было ничего такого, что противоречило бы восточнославянскому языковому строю. У русских было немало своих собственных слов с сочетаниями *-ра-*, *-ла-* между согласными, например: *трава*, *плавать*, а потому и *градъ*, *глава* легко находили себе место в русском языке наряду с туземными вариантами *городъ*, *голова*. Но полного отожествления обоих лексических рядов все же не произошло. Они были дифференцированы или стилистически, или по значению. Так, например, выбор между словами *градъ* или *городъ* зависел от того, что первое отличалось книжным оттенком, а второе — обиходным, или же оставалось словом, стилистически нейтральным. Вот почему в

---

[1] *Перевод*: И стал Владимир по эту сторону, а печенеги по ту, и не осмеливались пойти эти на ту сторону, а те на эту. И приехал печенежский князь к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «выпусти своего мужа, а я своего, и пусть поборются, и если твой муж одолеет моего, то не будем воевать три года, если же наш одолеет твоего, то будем воевать три года»; и разошлись в разные стороны. Владимир же пришел в стан и послал бирючей по стану, говоря: «нет ли такого мужа, который схватился бы с печенегом?» И нигде не нашлось такого. Назавтра приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не было. И начал тужить Владимир, посылая по всем воинам, и пришел один престарелый муж к князю и сказал ему: «Князь, есть у меня младший сын дома, с четырьмя я вышел на войну, а тот дома, с детства не было никого, кто мог бы его одолеть. Однажды, когда я его бранил, а он разминал кожу, он, разгневавшись на меня, разорвал кожу руками». Услышав это, князь обрадовался, и послал за ним, и привели его к князю, и князь рассказал ему все; и тот сказал: «Князь, не знаю, могу ли я с ним (бороться), пусть меня испытают: нет ли большого и сильного быка?» И нашли большого и сильного быка, и он велел раздразнить быка; положили на быка раскаленное железо и пустили его, и побежал бык мимо него, а он схватил быка рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила рука, и сказал ему Владимир: «можешь бороться с ним». На утро пришли печенеги и стал звать: «Здесь ли ваш муж? наш готов». Владимир велел ему ночью вооружиться, и вот начался поединок. Печенеги выпустили своего мужа, он был громадного роста и страшный; и выступил муж Владимиров, увидел его печенег и рассмеялся, потому что тот был среднего сложения. И размеривши место между обоими войсками, пустили их друг на друга; и они схватились, и стали они крепко держать друг друга, и удавил печенега руками до смерти, и бросил его на землю; раздался клич, и печенеги побежали, а русские погнались за ними, рубя их, и прогнали их.

приведенных выдержках из Илариона и Кирилла Туровского находим только: *страны, грады, владычьствующа, храбъръствомъ, златомъ, драгыимъ, вратѣхъ, главо* (звательный падеж), *възвращающеся, млеко, браздахъ* и т. д., и ни разу не встречается ни одного слова, в котором вместо болгарского *-ра-, -ла-, -рѣ-, -лѣ-*между согласными звучало бы русское *-оро-, -оло-, -ере-, -ело-*. С другой стороны, по той же причине застаем прямо противоположную картину в отрывках из памятников юридических. Здесь видим только *холопъ* (ср. *хлап*, как название валета в старинной карточной терминологии), *хоромъ, соромъ, передн, дѣревъмь, берьзъ* (то есть *береге*) и т. д.

Но в памятниках собственно литературных мы сразу же замечаем параллельное употребление слов того и другого рода. Так, в «Поучении» Мономаха видим *невредена* при *вередихъ*, в «Молении» Даниила Заточника — *усерязь златъ* при *золоты кольца*, в летописном рассказе о единоборстве русского с печенегом — *на сей сторонѣ*, а рядом: *на ону страну, на сю страну*. Очень часто выбор того или иного из возможных вариантов кажется делом случая, словно составителю текста было совершенно все равно, как написать — *злато* или *золото, страна* или *сторона* и т. д. Действительно, очень трудно угадать, почему в «Слове о полку Игореве» в одном месте сказано: «Ярославна рано плачеть Путивлю городу на *заборолѣ*», а вскоре после того, в совершенно таком же месте: «Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на *забралѣ*». Самое интересное, что такое безразличие, по-видимому, имеет свою особую закономерность. Например, в русском переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия на протяжении двух листов читаем, во-первых: «раставляя съсоуды ратныа по *забраломъ*», а во-вторых: «и ставше по *забороломъ* огнь метаху». В Ипатьевском списке летописи читаем то «бысть ранено стоящихъ на *забралѣхъ* сто и шестьдесятъ», то «взлезше на *заборола*» и т. д.

Нет сомнения, что очень часто мы действительно находимся перед результатом чистейшей случайности, в котором обращает на себя внимание лишь то, что составители древних литературных текстов не считали такую пестроту лексики предосудительной и во всяком случае не избегали ее. Но есть основания утверждать и большее. В литературных памятниках древнейшей поры нередко можно наблюсти и сознательный выбор именно того, а не другого из возможных дублетов лексики, в зависимости от определенных стилистических условий.

Примером может служить употребление некоторых таких дублетов в «Повести временных лет». Так, в Лаврентьевском списке читаем: «Олегъ нача *городы* ставити», но несколько выше, в рассказе о завоевании Киева, в уста Олега влагаются слова: «Се буди мати *градомъ* русьскимъ». В рассказе о завоевании Корсуня читаем: «Посла Володимеръ ко царема Василью и Костянтину, глаголя сице: «Се градъ ваю [1] славный взяхъ». Может быть, не лишено основания мнение, что слово *градъ* здесь употреблено иронически. Если это

[1] Ваш.

так, то перед нами один из древнейших случаев иронического применения славянизма в русской литературной речи, что вполне обычно в языке XIX—XX вв. Слово *ворогъ* встречаем в фразе: «Тъ есть *ворогъ* нама и Русьстѣи земли», но стилистически понятно употребление варианта *врагъ* в фразе: «яко Господь избавилъ ны есть отъ *врагъ* нашихъ, и покори *врагы* наша». Непосредственно вслед за этим читаем: «и скруши *главы* змиевыя», но понятен обиходный вариант в передаче ропота дружинников: «зло есть нашимъ *головамъ*, да намъ» ясти деревяными лъжицами [1], а не сребряными». В сказании о призвании варягов читаем: «Поидѣте... *володѣти* нами», но в «Поучении» Владимира Мономаха, в стереотипной религиозной формуле: «Господь нашь, *владѣя* животомъ и смертью». В библейской цитате сохраняется старославянский вариант *чрево*: «изъ *чрева* преже денница [2] родихъ тя», но богатырь-воевода Буды «задирает» ляшского короля Болеслава перед боем такими словами: «Да то ти прободемъ трѣскою [3] *черево* твое толъстое» и т. д.

Такая стилистическая дифференциация своего и старославянского вариантов того же слова при определенных условиях начинает осложняться дифференциацией собственно смысловой. Например, слово *храмъ*, за редкими исключениями, употребляется только в значении божьего дома, то есть церкви, а дом вообще обозначается словом *хоромъ*, например: «а приставимъ вы *хоромовъ* рубити нашихъ». Неприятель, смотря по контексту, может означаться как словом *врагъ*, так и словом *ворогъ*, но дьявол как ненавистник и погубитель рода человеческого обозначается только словом *врагъ*. Ср. в летописи предсмертный возглас изменнически убитого Ярополка (под 1086 г.): «Охъ, тотъ мя *враже* улови», где слово *враже* означает «дьявол» в применении к убийце. Все это ведет и к чисто смысловым противопоставлениям вроде *хранити — хоронити*, *власть — волость* и т. п., уже издавна складывавшихся в русском языке, преимущественно на почве литературного его употребления. В «Повести временных лет» можно еще встретить, с одной стороны, «*похорони* вои в лодьях», то есть спрятал воинов в ладьях, а с другой — «*схранише* тѣло его», то есть похоронили тело его. Но это уже редкость, обычно же слова *хранити — хоронити* дифференцированы по смыслу, как в современном языке. Наконец, наблюдается в известных случаях употребление только одного члена параллели. Это случаи, в которых второй член параллели или очень рано вытеснен из употребления, или, может быть, практически и не существовал никогда в языковом обиходе восточных славян или болгар. Так, например, при словах *владыка*, *блаженъ*, *огласити*, *сладъкъ*, *зракъ* обычно не находим русских параллелей, при словах *вóлокъ*, *колода*, *сорочька*, *узорочье*, *скоморохъ* не находим совсем или по большей части параллелей старославянских.

То, что сказано до сих пор о параллелях типа *градъ — городъ*

[1] Ложками.
[2] Перед рассветом.
[3] Жердью, дубиной.

и т. п., с бóльшими или меньшими вариациями может быть применено к прочим противопоставлениям, образовавшимся в русской письменной речи на почве совместного употребления своих и параллельных старославянских языковых средств. Подробный обзор этих явлений здесь невозможен, но следует указать, что самая область таких параллельных средств языка была в древности достаточно широка. Так, например, старославянские тексты принесли с собой восточным славянам очень большое число слов, представлявших собой или синонимы, или омонимы к соответствующим восточнославянским, независимо от фонетического вида тех и других. Например, при своем обиходном слове *правьда* русские книжники имели возможность ввести в свой язык из старославянских текстов однозначное слово *истина*, ср. церковное выражение *во истину*. То же отношение между словами *щека — ланита*, *лъбъ — чело*, *грудь — пьрси*, *шия — выя*, *губы — устьны* (обычно в форме двойственного числа — *устьнъ*), *плугъ* (германизм) — *рало*, *женьчюгъ* (тюркизм) — *бисьръ* (арабизм), *уксусъ* (грецизм) — *оцьтъ* (латинизм), *плотьникъ — дрьводѣлъ* и многие другие. Стилистическое различие между словами того и другого рода поверяется, между прочим, их употреблением в различных фразеологических контекстах. Так, например, у Кирилла Туровского старославянское *рало* употреблено в символическом выражении: «крьстное *рало* въ мысленыхъ браздахъ погружающе». Ср. с этим обиходное в древней Руси обозначение земельной площади при помощи выражения: «куда *плугъ* ходилъ», встречающегося в юридических документах.

Разнообразна и омонимия древнерусской лексики, возникавшая в результате скрещения обиходного и книжного языка. Так, слово *животъ*, обозначавшее в обиходной речи «имущество», «пожитки» (например, в I Новгородской летописи: «овы огнемъ погорѣша въ дворѣхъ надъ *животы*»), в книжной имело значение «жизнь» (ср. там же: «Стати всѣмъ любо *животъ*; любо смерть за правду новгородскую», ср. у Владимира Мономаха: «не блюда *живота* своего»; ср. также до сих пор сохраняющееся выражение *борьба не на живот, а на смерть*). Слово *буи* (откуда наше *буйный*) в обиходной речи означало *дерзкий, отважный, храбрый*, в книжной — *глупый, тщеславный, грешный*. Ср., с одной стороны, в «Слове о полку Игореве»: «Раны Игоря, *бугего* Святъславлича», с другой, с оттенком осуждения, в проповеди Кирилла Туровского: «*буе* слово». Вспомним и у Даниила Заточника: «паче мѣры гордъливъ и *буявъ*». Так и Мономах обращается к богородице с просьбой: «отими отъ убогаго сердца моего гордость и *буесть*». Слово *цѣловати* в обиходном употреблении означало то же, что и сейчас (ср. книжное *лобъзати*), а в церковнокнижном языке — приветствовать («Приде в Печерьскый монастырь и братья *цѣловаша* и съ радостью» — в «Повести временных лет»). Другие примеры подобных же омонимов: *страдати* — работать и терпеть, *лаяти* — брехать и подстерегать в засаде, *вьрста* — мера длины и возраста, *пиво* — хмельной напиток и напиток вообще, *сѣно* — сухая трава и трава вообще и т. д.

Далее, и со стороны синтаксиса наблюдаем в древнерусском литературном языке своеобразное совмещение двух разноприродных способов построения речи — устного, с характерной для него слабой связью между отдельными звеньями речевого потока, и книжного, в котором речевой поток более или менее успешно укладывается в обдуманную синтаксическую схему. Для древнерусского литературного языка типичен именно такой синтаксис, в котором под литературно обработанной внешностью легко различаются обороты живой народной речи с их непосредственностью и своеобразной «нескладицей», хаотичностью словорасположения, предпочтением конструкций, состоящих из равноправных независимых величин, конструкциям подчинительным, в которых соединение двух членов создает неразложимое и цельное единство, словом — отсутствием того, что когда-то Потебня назвал очень удачно «синтаксической перспективой». Вот как, например, описывается путь из Варяг в Греки в начальной летописи: «Поляномъ же жившимъ особъ по горамъ симъ, бѣ путь изъ Варягъ въ Греки и изъ Грекъ по Днѣпру, и верхъ Днѣпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити въ Илмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и вътечеть в озеро великое Нево, и того озера внидеть устье в море Варяжьское, и по тому морю ити до Рима, а отъ Рима прити по тому же морю ко Царюгороду, а от Царягорода прити въ Понтъ море, въ неже втечеть Днѣпръ рѣка». Несколько ниже опровергается мнение, будто основатель Киева был простым перевозчиком, в следующих выражениях: «Аще бо бы перевозникъ Кий, то не бы ходилъ Царюгороду; но се Кий княжаше в родѣ своемь; и приходившю ему ко царю, якоже сказають, яко велику честь приялъ отъ царя, при которомъ приходивъ цари» [1]. Отсутствие того логически расчлененного построения речи, которое так привычно для теперешних носителей литературного языка, оставляет часто от древнерусской литературной речи впечатление перескакивания от одной мысли к другой, или такого изложения, в которое постоянно вторгаются побочные замечания, например: «И стояше Володимеръ обрывся [2] на Дорогожичи, межи Дорогожичемъ и Капичемъ, и есть ровъ и до сего дне». Или (из «Поучения» Мономаха): «Первое [3] к Ростову идохъ, сквозѣ Вятичѣ; посла мя отець, а самъ иде Курьску».

Древнерусская литературная речь совсем не знает так называемой косвенной речи, а только прямую, причем прямая речь нередко присоединяется к предшествующему повествованию как бы без всякого предупреждения, например в приведенной выше легенде о смерти Олега: «И повелѣ осѣдлати конь, а то вижю кости его». Но бывает и так, что прямая речь присоединяется при помощи союза, так же, как косвенная, например: «И присла въ Новгородъ, *яко* не хощю у васъ княжити» (I Новгородская летопись) — это конструк-

[1] То есть: и когда приходил к царю, ему, как говорят, была оказана великая честь царем, при котором царе приходил.

[2] Окопавшись.

[3] Сначала.

ции, известные и в позднейшие периоды истории русского языка в речи некнижной, полуграмотной, ср. например, в «Ревизоре» Гоголя: «Вот теперь трактирщик сказал, *что* не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее». Для той рассредоточенности отдельных частей фразы, которая характеризует этот синтаксис более примитивного вида, показательна возможность сказать: «поставилъ церковь святаго Николу», а не «Николы», «кто можетъ послу словесамъ его отвѣтъ дать», а не «словесамъ посла», то есть употребление двух одинаковых равноправных падежей вместо нынешней цельной падежной конструкции. Все подобные, как их называют, «паратактические» переживания, вправленные внутрь литературной синтаксической схемы византийского образца, и придают древнерусской литературной речи ее специфическую внешность со стороны синтаксиса.

Существовали и отдельные типы словосочетаний, характерные для разных стилей древнерусской письменной речи. Таковы, например, некоторые синтаксические грецизмы в книжном языке вроде употребления субстантивированных прилагательных среднего рода во множественном, а не в единственном числе: «*потрѣбьная* имъ даяхъ», то есть давал им нужное. Особенно частой, излюбленной приметой древнерусского литературного синтаксиса является оборот так называемого дательного самостоятельного, народной русской речи совсем не известный. Например, в легенде о смерти Олега читаем: «И пришедшу ему Кыеву», что переводится: «И когда он пришел в Киев». Наряду с дательным самостоятельным существовал также именительный самостоятельный, наоборот, характерный для народной речи, например: «а вы плотници суще, а приставимъ вы хоромовъ рубити нашихъ», то есть: «так как вы плотники, то приставим вас рубить нам хоромы» (буквально: вы являющиеся — или являясь — плотники, приставим вас и т. д.).

Глава седьмая

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В XV— XVII вв.

Описанные до сих пор стилистические соотношения претерпели существенные изменения в более поздний период русского средневековья, в той культурно-исторической обстановке, которую мы застаем в эпоху роста и расцвета Московского государства. Эти изменения могут быть описаны следующим образом.

Известно, что в культуре Московской Руси очень многое связано преемственными отношениями с культурой Киевской Руси. К числу самых важных культурных достояний, полученных Московской Русью по наследству от Киевской, принадлежит письменный язык, как он сложился в первый период русской письменности. Одним из элементов этого языка, как выяснено в предшествующей главе, были живые восточнославянские говоры соответствующей эпохи их развития. За время, отделяющее эпоху возвышения Москвы от эпохи

зарождения русской письменности, в живых говорах восточного славянства произошло очень много изменений. Кроме того, к тому времени, о котором у нас идет речь сейчас, определились уже основные отличия говоров великорусских, украинских и белорусских, причем именно великорусские говоры являются той естественной средой, к которой должен был приспособиться традиционный письменный язык для того, чтобы стать органом нового культурно-политического образования. Все это ведет к тому, что многие элементы письменного языка старшей поры, входившие в него на правах элементов обиходной речи или, по меньшей мере, стилистически нейтральных, для Московской Руси XV—XVII вв. были уже элементами вполне книжными. Например, в X в. как в бытовой, так и в письменной речи восточного славянства дательный падеж единственного числа от слов *рука*, *нога* звучал одинаково: *руцѣ*, *нозѣ*. Однако в XV в. в основных областях Московского государства живая речь уже утрачивала эти древние формы, и вместо *руцѣ*, *нозѣ* все чаще говорили *рукѣ*, *ногѣ*. В письменной же речи по-прежнему сохранялась возможность, а нередко и потребность, писать *руцѣ*, *нозѣ*, как в старину. Именно таким путем обиходные или нейтральные элементы старого письменного языка в описываемую эпоху приобретали характер элементов книжных. Итак можно сказать, что письменный язык, сложившийся в Киевской Руси, в эпоху Московской Руси для деятелей великорусской культуры должен был звучать более книжно, чем он звучал для создателей русской письменности в первый период ее развития.

Таких новых книжных категорий в письменной речи XV—XVII вв. было немало. Сюда относятся, например, звательный падеж, двойственное число, в формах глагола — аорист и имперфект (так называемые простые прошедшие) и ряд других форм, существовавших некогда в живой речи восточных славян, но к эпохе XV—XVII вв. превратившихся для грамотного населения Московского государства в архаизмы, известные только из книг. Очень важно понять, что вследствие сказанного практически утрачивалось всякое различие между такими фактами книжной речи, которые по происхождению восходили к старославянскому вкладу в русский язык, как например *градъ*, *нощь*, и превратившимися в факты книжной речи древнерусскими словами или формами, вышедшими из живого употребления, в котором они некогда свободно обращались (вроде *руцѣ*, *ногама* и т. п.). Факты речи и того и другого рода представляли собой стилистически полное тожество, все это были факты языка ученого, церковного, отчетливо противостоящие фактам повседневного живого языка. Такие факты языка, как *градъ*, *нощь*, *руцѣ*, *ногама*, независимо от их происхождения, для времени после XV в. с стилистической точки зрения одинаково являются славянизмами. В дальнейшем число славянизмов в этом стилистическом смысле слова будет возрастать, по мере того как будут выходить из живого употребления, сохраняясь в употреблении письменном, те или иные элементы древнерусской речи. Так, к началу XVIII в. славянизмом

становится, например, дательный падеж множественного числа *столомъ*, потому что в живой речи в это время уже говорят *столам*, и т. п.

Существовали своего рода славянизмы и в области произношения. Если в результате живых фонетических процессов создаются более или менее заметные противоречия между письмом и произношением, то в грамотной среде обычно возникает стремление произносить слова не так, как они произносятся в живой речи, а так, как они пишутся, по буквам. При этом в известные эпохи развития письменной речи ореол письменного языка, как языка грамотного и ученого, заставляет переживать такое буквенное произношение именно как произношение правильное и образцовое. Эту психологию должна отчасти напоминать психология теперешнего школьника, усваивающего произношение *его* вместо живого произношения *ево*, после того как он сделал некоторые первоначальные успехи в чтении. Так и в эпоху Московского государства существовала особая книжная произносительная традиция, в основании которой лежит чтение по буквам. Эта традиция сказывалась, например, в том, что букву *е* старались выговаривать всегда как *е* даже и в тех случаях, где живое произношение соответственно требовало гласного *о*, как например в словах *женъ*, *медъ* и т. д. (см. главу 5-ю). Этим объясняется, почему у нас до сих пор многие слова, в которых, согласно со сказанным в главе 5-й, вместо гласного *е* должен был бы звучать гласный *о*, сохраняют все же гласный *е*, ср., например, *небо* при народном *нёбо* (*нёбо* как анатомический термин есть то же слово в живом русском произношении), *крест* при *крёстный*, *вселенная* при *вселённый* и многие другие. Все это — славянизмы произношения, уцелевшие в современном языке, но некогда бывшие обязательными в соответствующем стиле речи. К числу явлений того же рода следует отнести сохранение оканья как произношения высокого стиля, после того как в обиходной столичной речи установилось аканье, стремление сохранить различие между *ѣ* и *е*, утраченное в живом произношении столицы, вероятно, в течение XVII в. Наконец, книжное произношение характеризовалось еще выговором буквы *г* как знака фрикативного, а не взрывного звука. Фрикативное *г* (*ɦ*) вошло в книжную традицию из южнорусского произношения как след той территории, где сложилась традиция русской книжной речи вообще. Такое произношение *г* считалось образцовым еще и в XVIII в., по крайней мере — в определенных словах. Писатель Петровской эпохи Посошков писал, например, *хрѣхъ* вместо *грѣхъ*, по-видимому, выдавая этим произношение *ɦ* в начале этого слова. Сейчас эта традиция доживает в произношении *бох* (бог) и уже в очень редком произношении *блаɦо*, *боɦатый* и др.

Очень большое значение для истории русской письменной речи с конца XIV в. имело так называемое второе южнославянское влияние. Этим термином принято называть своеобразный процесс, возникший в связи с перемещением главного центра православной культуры из балканских славянских государств в Москву, в связи с ту-

рецкими завоеваниями. Указанному перемещению предшествовал период интенсивной литературной жизни у балканских славян, характеризовавшийся, между прочим, архаизаторскими и декадентскими тенденциями на византийский манер. Эту любовь к архаике и к стилистическим вычурам и занесли в Москву балканские эмигранты XIV—XV вв. Русская письменность запестрела разного рода архаизмами и болгаризмами в орфографии: снова стали употреблять букву юс большой (ѫ), по характерному признанию тогдашних грамотеев, «красоты ради, а не истинно»; стали избегать йотации при букве *а* и писать *копіа, всеа, возглашаа* вместо *копія, всея, возглашая*; смешивать ъ и ь, писать по старинному старославянскому образцу *плъкы, врьху* вместо *полкы, верху* и т. д. Но эта орфографическая мода в большинстве случаев оказалась скоропреходящей. Более заметный след второе южнославянское влияние оставило в самом письменном языке — в лексике, фразеологии, синтаксисе. Именно на почве второго южнославянского влияния пышным цветом расцветает то «извитие» и «плетение словес», которое иные из авторов данного времени были даже не прочь поставить себе в особую заслугу. Так, например, писатель XV в. Епифаний Премудрый в составленном им житии Стефана Пермского говорит о себе, между прочим: «Но доколѣ не остану много глаголати, доколѣ не оставлю похваленію слова, доколѣ не престану предложенаго и продлъжнаго [1] хвалословіа? Аще бо и многажды въсхотѣлъ быхъ изъоставити бесѣду, но обаче любы его [2] влечетъ мя на похваленіе и на плетеніе словесъ». А вот и самые образцы «хвалословіа», которые мотивируются преклонением перед героем повествования:

«Коль много лѣтъ мнози философи еллинстіи събирали и составливали грамоту греческую и едва уставили мнозѣми труды и многыми времены едва сложили; перьмскую же грамоту единъ чрьнець сложилъ, единъ составилъ, единъ счинилъ, едінъ калогеръ [3], единъ мнихъ, единъ инокъ, Стефанъ глаголю, приснопомнимый епископъ, едінъ въ едино время, а не по многа времени и лѣта, якоже и они, но единъ инокъ, единъ вьединеный и уединяася, едінъ, уединеный, едінъ у единого бога помощи прося, единъ единого бога на помощь призываа, едінъ единому богу моляся и глаголя: «боже и господи, иже премудрости наставниче и смыслудавче, несмысленымъ казателю [4] и нищимъ заступниче: утверди и вразуми сердце мое и дай же ми слово, отчее слово, да тя прославляю въ вѣкы вѣкомъ».

Или в другом месте:

«Тебе же, о епископе Стефане, Пермскаа земля хвалитъ и чтитъ яко апостола, яко учителя, яко вожа [5], яко наставника, яко наказателя, яко проповѣдника, яко тобою тмы избыхомъ [6], яко то-

[1] Пространного.
[2] Однако любовь к нему.
[3] Монах.
[4] Наставник (звательный падеж).
[5] Вождя.
[6] Благодаря тебе избавились от тьмы.

бою свѣт познахомъ. Тѣмъ чтемъ тя яко дѣлателя винограду Христову, яко терніе востерзалъ[1] еси, идолослуженіе отъ земля Пермьскіа, яко плугомъ, проповѣдію взоралъ[2] еси, яко сѣменемъ ученіемъ словесъ книжныхъ насѣялъ еси въ браздахъ сердечныхъ, отнюду же възрастають класы[3] добродѣтели, ихъ же, яко серпомъ вѣры, сынове пермстіи жнутъ радостныя, и яко сушиломъ воздержаніа сушаще, и яко цѣпы терпѣніа млатяще [4], и яко въ житницахъ душевныхъ соблюдающе пшеницу, тии тако ядять пищу неоскудную...»

Из числа отдельных признаков этого пышного риторического стиля следует указать, во-первых, на пристрастие к сложным словам, состоящим не только из двух основ, вроде *доброутѣшенъ*, *краснсмотрителенъ*, *языковредный*, но также из трех, например: *храбродобропобѣдный*, *каменнодельноградный*; во-вторых, на пристрастие к плеонастическим построениям, вроде: *злозамышленное умышленіе*, *скорообразнымъ образомъ*, *смиренномудростью умудряшеся*, *обновляху обновленіемъ*, *паденіемъ падоша* и многие другие. Автор известного «Временника», описывающего события Смутного времени, дьяк Иван Тимофеев, определявший такую манеру изложения словами: «многократно по тонку рещи», так, например, рассказывает о разделении страны на земщину и опричнину при Иване IV:

«От умышленія же зѣлныя[5] ярости на своя рабы подвигся толикъ, яко возненавидѣ грады земля своея вся и во гнѣвѣ своемъ раздѣленіемъ раздвоенія едины люди раздѣли и яко двоевѣрны сотвори, овы усвояя, овы же отметашася, яко чюжи отрину [6], не смѣющимъ отнюдъ именемъ его мнозѣмъ градомъ нарицатися запрещаемомъ имъ, и всю землю державы своея, яко сѣкирою, наполы [7] нѣкако разсѣче».

Но это — крайние примеры. Обычный повествовательный язык эпохи проще и спокойнее, но все же в большинстве случаев по составу форм и слов значительно расходится с живой великорусской речью, просачивающейся в литературу не часто и в небольших дозах. Типичный литературный язык этого времени встречаем, например, в макарьевских «Великих Четьих Минеях» излюбленном чтении древнерусского читателя. Вот отрывок из жития Иуара (19 октября).

«Утро же игемонъ[8] повелѣ привести мученикы і, единому оставшю въ темницы і отъ ранъ изнемогше [9], и рече имъ князь: се шесть, где седьмый? Тогда Иуаръ, разгорѣвся духомъ святымъ, ставъ предъ княземъ, и рече: тотъ бо умерлъ есть, азъ в него мѣсто хощю пострадати за Христа. И рече князь: не прельщайся Иуаре; аще ли,

[1] Вырвал.
[2] Распахал.
[3] Колосья.
[4] Молотя.
[5] Сильной.
[6] Одних делая своими, других же, отказываясь, как чужих отринул.
[7] Пополам.
[8] Начальник.
[9] Так как один остался в темнице в изнеможении от ран.

то многыми муками живота гоньзнеши [1]. И рече Иуар: твори, еже хощеши. Разгнѣвавъ же ся царь, повелѣ на древѣ повѣсити. И біахуть по всему тѣлу палицами. По семъ ногты желѣзны [2] драхуть тѣло его по ребромъ. И по семъ повелѣ стремглавъ пригвоздити его на древѣ, и съдрати кожю съ хребта [3] его. И повелѣ суковатыми древы бити его и пробити утробу его, дондежа испадоша вся внутренняя его на землю».

Состав языка сохраняется примерно тот же и в таких случаях, в которых сдержанный библейский тон повествования сменяется более экспрессивным. Типичны в этом отношении воинские повести и родственные им виды литературных произведений. Хорошим примером могут служить выдержки из повести Катырева-Ростовского, посвященной событиям Смутного времени (относится к 1626 г.). Интересен в этой повести пейзаж:

«Юже [4] зимѣ прошедши, время же бѣ приходитъ, яко солнце творяше подъ кругомъ зодѣйнымъ теченіе свое, въ зодею же входитъ Овенъ, въ ней же нощь со днемъ уровняется и весна празнуется, время начинается веселити смертныхъ, на воздусѣ свѣтлостію блистаяся. Растаявшу снѣгу и тиху вѣющу вѣтру, и во пространные потокы источницы протекаютъ, тогда ратай раломъ погружаетъ и сладкую брозду прочертаетъ и плододателя Бога на помощь призываетъ; растут желды [5], и зеленѣютца поля, и новымъ листвіемъ облачаютца древеса, и отовсюду украшаютца плоды земля, поютъ птицы сладкимъ воспѣваніемъ, иже по смотрѣнію Божію и по Ево человѣколюбію всякое упокоеніе человѣкомъ спѣетъ на услажденіе».

Вот стандартное описание военных действий:

«Той же прозванный царевичь повелѣ войску своему препоясатися на брань и повелѣ врата граду отворити и тако спустиша брань велію зѣло. Царевы же воеводы мужески ополчахуся противу враговъ царевыхъ, и тако брань плитъ [6] велія, падутъ трупіе мертвыхъ сѣмо и овамо. Царевы же воеводы силу восхищаютъ и усты [7] меча гонятъ, людіе же града того, хотятъ ли, не хотятъ ли, поля оставляютъ, и во градъ входятъ и врата граду затворяютъ; и тако отъ нихъ мнози на празѣ [8] вратъ градныхъ умираху, и велiе паденіе бысть имъ».

Отрывок из знаменитого письма Курбского Ивану IV, талантливо обработанного Алексеем Толстым в его балладе «Василий Шибанов», может послужить образцом публицистического жанра:

«Что провинили предъ тобою, о царю! и чимъ прогнѣвали тя христіанскіе предстатели? Не прегордыя ли царства разорили и подручныхъ во всемъ тобѣ сотворили, мужествомъ храбрости ихъ,

[1] Если же (прельстишься), то лишишься жизни от многих мук.
[2] Железными крюками.
[3] Со спины.
[4] Уже.
[5] Травы.
[6] Шумит, кипит.
[7] Острием.
[8] На пороге.

у нихъ же прежде въ работѣ быша праотцы наши? Не претвердые ли грады Германскіе тщаніемъ разума ихъ от Бога тобѣ даны бысть? Сія ли намъ бѣднымъ воздалъ еси, всеродно погубляя насъ? Или безсмертенъ, царю! мнишись?[1] Или въ небытную ересь прельщенъ, аки не хотя уже предстати неумытному Судіи. богоначальному Іисусу, хотящему судити вселеннѣй въ правду, пачеже прегордымъ мучителемъ, и не обинуяся истязати ихъ и до власъ прегрѣшенія, яко же словеса глаголютъ?.. Не испросихъ [2] умиленными глаголы, ни умолихъ тя многослезнымъ рыданіемъ, и не исходатайствовахъ от тебя никоеяжъ милости архіерейскими чинами; и воздалъ еси мнѣ злыя за благія и за возлюбленіе мое непримирительную ненависть! Кровь моя, якоже вода пролитая за тя, вопіетъ на тя ко господу моему!..»

Такова письменная речь эпохи расцвета Московского государства в наиболее распространенных литературных ее функциях. В ней по-прежнему скрещиваются книжные и обиходные средства языка. Но сравнивая приведенные отрывки с отрывками из литературных произведений более древнего времени, нетрудно заметить, что книжное начало стало выдерживаться в литературной речи более строго и последовательно, а обиходное, во всяком случае, не расширило область своего применения. Прежние границы церковно-книжного и литературного стилей речи становятся поэтому неотчетливыми. В области произношения и некоторых разрядов грамматических форм литературный язык XV—XVII вв., разумеется, не избег более, или менее значительных воздействий со стороны живой речи. Но в лексике и синтаксисе он несомненно стал последовательнее и однообразнее, что становится особенно заметно к концу XVI—началу XVII в. Так, например, в тексте «Сказания о Борисе и Глебе» по списку XII в. слов с неполногласными сочетаниями (типа *градъ* и т. п.) вчетверо больше, чем слов с полногласными сочетаниями (типа *городъ* и т. п.). Но в повести Катырева-Ростовского 1626 г. их больше в 10—12 раз, и вообще во всей этой довольно обширной повести из числа слов с полногласными сочетаниями только и встречаются, что *городокъ* (исключительно редко *городъ* при постоянном *градъ*), *хоромы*, *перемиріе*, *напередъ*, *шеломы*. Этому противостоит громадный список слов, употребляемых исключительно в старославянском виде, как например *власы*, *врата*, *глава*, *гладъ*, *младъ*, *мразъ* и т. д. При этом, что особенно интересно, заметно стремление избежать одновременного употребления обоих вариантов того же слова.

К сказанному надо добавить, что литераторы XV—XVII вв. обладали рядом новых лексических дублетов, по сравнению с литераторами древнейшего периода. Из числа этих новых дублетов, возникших различными путями, особенно важны противопоставления, вроде *жажа—жажда*, то есть те русские и соответствующие им болгарские слова, в которых находим *ж* и *жд* на месте доисторических

[1] Считаешь себя бессмертным.
[2] Упросил.

сочетаний *dj* (см. главу 1-ю). Дело в том, что в эпоху зарождения русской письменности в русском языке невозможно было сочетание звуков *жд*: слова *ждать*, *трижды* тогда звучали *жьдати*, *тришьды*, но не было ни одного своего слова, в котором *ж* и *д* находились бы рядом. Поэтому старославянские слова с сочетанием *жд* русским языком не усваивались. Вот почему даже у таких писателей, как Кирилл Туровский, находим *поражаеть*, а не *пораждаеть*, *жажа*, а не *жажда* и т. п. А, например, в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку нет просто ни одного слова, в котором было бы болгарское сочетание *жд*. Однако к XV в. вместо *жьдати*, *тришьды* стали уже говорить по-русски *ждати*, *трижды*. Появилась в языке самая возможность слов с сочетанием *жд*, и именно эта возможность послужила питательной почвой для проникновения соответствующих болгаризмов в русский язык после эпохи второго южнославянского влияния. Слова с *жд* начинают мелькать уже с XV в., но обычными они становятся только к концу допетровского периода (Катырев-Ростовский знает уже *между*, *услажденіе*, но также еще и *расуженіе*, *гражане*, *вожь* и т. д.).

Примерами других языковых вариантов более нового происхождения могут служить, например, *вѣтръ — вѣтеръ*, *возлюбити — взлюбить* и др.

Рядом с описанным здесь литературным стилем письменного языка Московская Русь знала и другой его стиль — деловой. Этот стиль речи принято называть приказным языком, так как наиболее типичные его образцы находятся в приказном делопроизводстве XVI—XVII вв. Это, следовательно, язык канцелярских бумаг, юридических актов, хозяйственных записей, официальной и частной переписки, то есть таких явлений письменности, в которых нет стремления к литературности изложения. Вот текст жалованной грамоты великого князя Василия Ивановича (1505 г.):

«Се язъ князь велики Василеи Ивановичь всея Русіи пожаловалъ есми Бориса Захарьича Бороздина да сына его Ѳедора, в Новоторжскомъ уѣздѣ, въ Жалинской губѣ, селомъ Гавшинымъ съ деревнями, что было то селцо и деревни за Ондреемъ за Слизневымъ въ помѣстьѣ, и съ оброкомъ съ денежнымъ и съ хлѣбнымъ, и съ хлѣбомъ съ земнымъ съ селѣтнимъ, и со всѣмъ съ тѣмъ, что къ тому селу и къ деревнямъ из старины потягло: и кто у нихъ въ томъ селѣ и въ деревняхъ живетъ людей, и намѣстници мои Новоторжскіе и ихъ тіуни Бориса да сына его Ѳедора и тѣх ихъ людей не судятъ ни въ чемъ, опричь душегубства и розбоа съ поличнымъ, а праветчики и доводчики поборовъ у нихъ не берутъ, ни въѣзжаютъ ни всылаютъ къ нимъ нипочто; а вѣдаетъ и судитъ Борисъ да сынъ его Ѳедоръ своихъ людей сами во всемъ, или кому прикажутъ; а случится судъ смѣсной [1] тѣмъ ихъ людемъ съ городскими людми или съ волостными, и намѣстници мои Новоторжскіе и их тіуни судятъ, а Борисъ да сынъ его Ѳедоръ, или ихъ приказщикъ, съ ними жь судитъ,

[1] С судьями смешанного состава.

а присудомъ дѣлятся по половинамъ; а кому будетъ чего искати на Борисѣ да на его сынѣ Ѳедорѣ, или на ихъ приказщикѣ, ино ихъ сужу язъ князь велики или мой бояринъ введеной. А дана грамота на Москвѣ лѣта 7014 Декабря 20 день».

Далее приводится отрывок из царской грамоты 1623 г.:

«И какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бъ на Устюжнѣ на посадѣ и около Устюжны которые люди вино курятъ и привозятъ къ Устюжнѣ на продажу, а иные люди и корчмы держатъ, или которые люди пива варятъ безъявочно, и ты бъ у тѣхъ людей то корчемное, продажное и не явленое питье и питуховъ, и винные суды, котлы и кубы велѣлъ выимати, не боясь никого... А у кого корчемное продажное питье вымутъ вдругорядъ, и на тѣхъ людехъ велѣлъ имати заповѣди по пяти рублевъ, а на питухѣхъ по полтинѣ на человѣка, а тѣхъ людей, у ково продажное питье вымутъ въ другіе, велѣлъ метати въ тюрьму дни на два и на три, а ис тюрьмы вынявъ, велѣлъ ихъ бити батоги нещадно, чтобъ стоило кнутья, а бивъ батоги, велѣлъ ихъ подавати на крѣпкіе поруки з записьми въ томъ, что имъ впередъ продажного питья не держати и никакимъ воровствомъ не воровати».

Из других разделов деловой письменности этой эпохи приведем еще образцы крестьянских писем XVII в. В 1639 г. боярину Ф. И. Шереметеву была подана следующая челобитная:

«Государю Ѳедору Івановичю бьетъ челомъ стольника Алексѣя Никитича Годунова, вотчины ево, села Никольскаго харчевничишко Сергунька Артемьевъ сынъ Торховъ, жалоба, государь, мнѣ на твоево, государева на бобыля, вотчины твоей, государевы села Покровскаго на Казарина Михаілова сына: в нынѣшнемъ, государь, в 147-мъ году[1], декабря въ 18-й де. в ночи и покралъ, государь, тотъ Казаринъ оу меня сироту [2] а спровался было оу меня ночевать, а оукралъ, государь, манисто, а манисту цена полтора рубли, да серги, цена сергамъ сорокъ алтынъ, да каѳтанъ свитноі, цена дватцать алтынъ, да рукавицы барановые с вареги, да на два алтына колачеі, да три рубли денегъ... Оумилостивися государь Єедор Івановичъ, пожалуй, вели, государь, на того своево бобыля дать своі праведноі судъ и оуправу в тоі гибели. Государь,смилуйся, пожалуй».

К 70-м годам XVII в. относится следующая челобитная, поданная преемнику Ф. И. Шереметева по владению селом Покровским (в Галицком уезде, в пределах будущей Костромской губернии) князю Н. И. Одоевскому и его сыну:

«Государю, князю Никитѣ Ивановичю и государю, князю Якову Никитичю биетъ челомъ сирота вашъ, государевъ Галицкие вотчины, села Покровского, деревни Карпова Ульянко Кириловъ: судомъ Божиимъ, по грѣхомъ своимъ, овдовѣлъ по другому году и сталъ без пристрою, а женатъ былъ двема, а третьево не молитвятъ[3], а трое

[1] То есть в 7147 (1639) году — летосчисление «от сотворения мира», разнящееся с нашим на 5508 лет.

[2] По-видимому, вместо *сироты*.

[3] В третий раз не венчают.

ребятишекъ, и живучи животъ свой мучю, робятишки малы, другъ другу не пособитъ, а земли подо мною десетіна съ четью, а живота одна клеченко, а больше того живота нѣтъ ничево, і пить, ѣсти нѣчево, хлѣбъ не родился» и т. д.

Нетрудно видеть, что язык в приведенных отрывках из грамот и челобитных очень сильно отличается от показанных выше образцов литературного языка эпохи в его различных оттенках. Язык грамот весь состоит из обиходного материала — в нем нет старославянской лексики, в нем нет архаизмов морфологии; например, во втором отрывке находим *на питухъхъ*, вместо чего в книжном языке, если бы там было употреблено это слово, следовало бы ждать *на питухъхъ*; прошедшее время в обеих грамотах только такое же, как в современном языке, синтаксис в них необработанный, рассредоточенный без закругленных предложений, без дательного самостоятельного и т. д. Резкая противоположность двух описанных типов письменной речи и их отчетливое размежевание по функциям и есть то, что выразительно характеризует языковую жизнь эпохи, о которой здесь говорится. Надо иметь в виду, что размежевание обоих типов речи было действительно функциональное, то есть выбор того или иного типа речи для составления данного текста определялся главным образом жанром и характером составляемого документа, но, например, не степенью образованности пишущего, не его социальным положением или профессией и т. д. Все это в лучшем случае могло иметь только побочное значение. Но, как общее правило, одно и то же лицо свободно переходило от изысканной литературной речи к речи деловой, как только это подсказывалось обстоятельствами. Мы видели, каким языком писал Курбский свое письмо Ивану IV. А вот каким языком написано одно из его деловых писем, адресованное в Печерский монастырь:

«Вымите бога ради положено писаніе подъ печью, страха ради смертнаго. А писано въ Печеры, одно въ столбцѣхъ, а другое в тетратяхъ; а положено подъ печью в ызбушке въ моеи въ малои; писано дѣло государское. И вы то отошлите любо къ государю, а любо ко Пречистои въ Печеры. Да осталися тетратки переплетены, а кожа на нихъ не положена, и вы и тѣхъ бога ради не затеряите».

Деловым языком писаны не только грамоты и письма, но в отдельных случаях и более пространные тексты, если назначение и содержание документа подсказывало это. Крупным памятником приказного языка, к тому же напечатанным типографски, является известное «Уложение» 1649 г. Некоторый налет книжности на языке этого памятника имеет специальное объяснение в особых условиях его появления и, в частности, в том, что ему была придана типографская печатная форма. Зато совершенно лишены всякой книжной примеси пространные хозяйственные главы «Домостроя», в которых содержится, например, «оуказъ ключнику какъ держати на погребе запасъ просолнои и в бочкахъ, и в кладахъ и в мѣрникахъ и во тчанахъ и в ведерцахъ, мясо, рыба, капуста, огурцы, сьливы, лимоны, икра, рыжики, грузди», или говорится «о том же

коли што коупитъ оу кого селъ нѣтъ и всякои домашнеи обиходъ в лѣте и зимѣ и какъ запасати в годъ и дома животина всякая водить, и ѣства и питие держати всегды» и т. д.

По сравнению с первой эпохой письменности в показанной стилистической системе недостает среднего члена, то есть такого стиля письменной речи, который представлял бы собой результат скрещения двух описанных. Действительно, почва для такого скрещения появляется в Московском государстве не сразу. Однако еще во вторую половину XVII в. оно становится реальностью и сказывается в русском письменном языке важными изменениями, которые кладут рубеж между древним и новым периодами в истории русского языка и связаны с зарождением общерусского национального языка, то есть того именно языка, которым мы и сейчас пользуемся как нашим национальным достоянием, который служит языком нашей науки, нашей письменности, нашего государства.

Глава восьмая

ЗАРОЖДЕНИЕ ОБЩЕРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

В течение всего древнерусского периода в русской письменной речи происходила борьба областного и централизованного принципов развития. Между отдельными древнерусскими диалектами, судя по всему, не было таких глубоких и коренных различий, какие исключали бы или сильно бы затрудняли взаимопонимание. Кроме того, в значительной мере способствовало поддержанию единства в письменной речи то, что один из двух ее важнейших источников, церковнославянский язык, имел свойства как бы над- или междиалектные. Тем не менее необходимо помнить, что язык древнерусской письменности, какими бы стилистическими приметами он ни отличался, это в принципе язык диалектный. Можно поэтому говорить о письменном языке Киева, Новгорода, Рязани, Пскова, Москвы. Однако без дальнейших пояснений понятно, что централизация государственной жизни должна была повлечь за собой и победу центростремительных начал в языке. Поэтому возникновение и упрочение Московского самодержавного государства на развалинах феодальной раздробленности должно было создать почву и для возникновения единого, централизованного, общенационального русского языка.

Территориальная и культурная почва общерусского языка там же, где территориальный и культурный центр созданного русскими государства, то есть в говоре города Москвы и в языке московских царских канцелярий. По мере того как областные канцелярии усваивали московскую орфографию и терминологию, а московские дьяки и подьячие допускали в свой языковой обиход известные областные элементы, язык московских приказов приобретал свойства языка общегосударственного. (В устной речи процесс централизации в это время, разумеется, был еще совсем слабым.) Однако общее культур-

ное и политическое развитие России во второй половине XVII в. создавало нужду в языке, который был бы общим не только в территориальном смысле, но также и в функциональном, то есть в общем языке письменности. Для того чтобы ответить этой потребности, общегосударственному приказному языку нужно было приобрести такие качества, которые ему могло дать только сближение с языком литературным. На этой почве возникает тот сложный и длительный процесс конкуренции и взаимного приспособления основных разновидностей древнерусской письменной речи, который и дал в результате современный русский литературный язык.

Этот процесс, помимо прочего, порождался крупными событиями, которые происходили в это время в самой русской письменности, как отражение общих политических, экономических и культурных перемен в русской жизни на рубеже XVII и XVIII вв. В это время появляются и становятся мало-помалу привычными такие виды письменности, для которых прежняя система двух основных стилей языка оказывалась недостаточной. Здесь в первую очередь должны быть упомянуты книги хозяйственные, ремесленные, научные, литература деловая в широком смысле слова, которая в определенном отношении действительно была л и т е р а т у р о й, то есть требовала обработанности изложения, годного для печати и для чтения. Громадное значение имело то обстоятельство, что в этом отделе письменности было множество произведений переводных. Приходилось приспособлять старую деловую речь сразу и к требованиям литературности изложения и к языковым привычкам западноевропейской цивилизации. В результате деловая речь конца XVII в. и в ссобенности начала XVIII в. значительно отличается от старого языка приказных документов. Она гораздо литературнее, она впитала в себя известные элементы книжности, широко употребляет международную греко-латинскую и западноевропейскую терминологию и даже порой щеголяет ею.

Одним из ранних образцов этого олитературенного делового языка может служить язык «Записок» Котошихина (1667 г.), содержащих яркие картины государственного и частного быта времени Алексея Михайловича. По большей части «Записки» Котошихина писаны старинным деловым языком, например:

«ѣствы ж обычай готовить попросту, безъ пріправъ, безъ ягодъ и сахару и бесъ перцу и инбирю и иныхъ способовъ, малосолны и безуксусны. А какъ начнутъ ѣсті, і въ то время ѣствы ставятъ на столъ по одному блюду, а иные ѣствы приносятъ съ поварни и держатъ въ рукахъ люді ихъ, і въ которой ѣствѣ мало уксусу и соли и перцу, і въ тѣ ѣствы прибавливаютъ на столѣ, а бываетъ всякихъ ѣствъ по 50 и по 100».

Или:

«И после того зговору женихъ провѣдаетъ про тое невѣсту, или кто съ стороны, хотя тоѣ невѣсту взять за себя илі за сына, нарочно тому жениху розобьетъ, что она в дѣвствѣ своемъ нечиста, или глуха, или нѣма, или увѣчна, и что нибудь худое за нею провѣдаетъ,

или скажутъ, и тотъ человѣкъ тое невѣсты за себя не возьметъ, тое невѣсты отецъ или мать бьютъ челомъ о томъ патриарху, что онъ по заговору своему и по заряду тое невѣсты на срокъ не взялъ, і взяті не хочетъ, и тѣмъ еѣ обесчестилъ... А ежелі за того человѣка невѣста придетъ дѣвства своего не сохранила, и тотъ женихъ, вѣдая свою жену, къ царю челомъ ударить не ѣздитъ, потому что ужъ царю до его приѣзду объявятъ, и онъ его к себѣ на очи пустить не велитъ».

Но можно подметить в отдельных частях «Записок» Котошихина и иные стилистические тенденции, например:

«А лучитца царю мысль свою о чемъ объявиті, и онъ имъ объявя, приказываетъ, чтобъ они, бояре и думные люді, помысля, къ тому дѣлу дали способъ: и кто исъ тѣхъ бояръ поболши и разумнѣе, или кто і изъ меншихъ, и они мысль свою къ способу объявливаютъ; а иные бояре брады свои уставя, ничего не отвѣщаютъ, потому что царь жалуетъ многих въ бояре не по разуму ихъ, но по великой породе, и многие изъ нихъ грамотѣ не ученые и не студерованные, однако сыщется и окромѣ ихъ кому быті на отвѣты разумному изъ болшихъ и изъ меншихъ статей бояръ».

Как эволюционировал в дальнейшем новый деловой язык, можно видеть хотя бы из сравнения приведенных отрывков с отрывками из «Ведомостей» петровского времени. В № 4 за 1704 г. помещено, между прочим, следующее сообщение:

«На Москвѣ салдатская жена родила женска полу младенца мертва о дву главахъ, и тѣ главы отъ другъ друга отдѣлены особь, и со всѣми своими составы и чувствы совершенны, а руки и ноги и все тѣло такъ, какъ единому человѣку природно имѣти. И по анатомии [1] усмотрены в немъ два сердца соединены, двѣ печени, два желудка и два горла. О чемъ и отъ ученыхъ многіе удивляются».

В № 14 за 1719 г. помещена следующая корреспонденция из Рима:

«Въ прошлой вторнікъ прінцесса Собіеская вступя въ свое 17 лѣто, компліментована была о томъ отъ многіхъ знатныхъ особъ обоіхъ половъ; О томъ же отправілі торжественную обѣдню въ церквѣ Урселінскои съ концертомъ sѣло увеселітельнои сімѳоніи на гласахъ і інструментахъ; Папа послалъ къ неи презентъ состоящеи въ 1000 золотыхъ талерахъ. Кардіналъ Аквавіва также трактовалъ богато за обѣдомъ многіхъ Аглінскихъ Господъ и дамъ, а послѣ обѣда оная прінцесса ѣзділа веселітіся на загороднои дворъ зовомои Лодовізія, гдѣ она принята была отъ Дуцессы Фіано и княжны Полестріны дщери княгіни Піомбіны».

Образцом нового ученого слога, который вырастал наряду с светски-официальным, в деловой письменности изучаемого времени может послужить следующее характерное предисловие к переводу «Географии» Варения, выпущенному Федором Поликарповым в 1718 году. Переводчик здесь говорит:

[1] Вскрытии.

«Моя должность объявити, яко преводихъ сію [книгу] не на самый высокій славенский діалектъ противъ авторова сочиненія и храненія правилъ грамматическихъ, но множае гражданскаго посредственнаго употреблялъ наръчия, охраняя сенсъ [1] и речи оригинала иноязычнаго. Реченія же терминальная греческая и латинская оставляхъ не преведена ради лучшаго въ дълѣ знанія, а ина преведена объявляхъ, заключая въ паранѳеси» [2].

В этом предисловии глубоко поучителен не только язык, которым оно написано, но также и самый взгляд автора на тот язык, каким он пользуется. Он считает его языком не «славенским», а «посредственным гражданским». «Славенский язык», начиная с эпохи Петра, постепенно начинает обозначать язык церковный. Это результат той эмансипации светской русской культуры от церкви, какая впервые в русской истории стала внушать русскому обществу взгляд на деловой и литературно-ученый языки прежнего времени как на два разных языка в буквальном смысле этого термина. Уже гораздо позднее, в XIX в., развитие и углубление такого взгляда породило термин «церковнославянский язык» в применении к традиционному языку церковных книг и близкой им по духу древнерусской литературы. Этот же взгляд лежал и в основании реформы русской азбуки, которую осуществил Петр I, отделивший церковную печать от гражданской.

Что же касается «гражданского посредственного наречия», которое противопоставляется Поликарповым «высокому славенскому языку», то, как нетрудно убедиться уже и по приведенной выдержке, оно гораздо ближе к языку церковному, чем к старому приказному. Это — новая деловая речь, основанная на скрещении обеих старых разновидностей письменной речи, в которой, однако, самые пути и пропорции скрещения установились только с течением времени. Эта новая деловая речь, в которой участие книжного элемента могло быть то менее, то более заметным, в зависимости от обстоятельств принципиально отличается от старой тем, что она по своему устремлению есть речь г р а м о т н а я, тогда как ранее понятие грамотности соединялось только с языком церковных книг и основанных на нем литературных произведений. Не случайно поэтому в Петровскую эпоху говорили иногда о «славенском языке нашего штиля», понимая под этим термином язык не церковный, а гражданский, но основанный на той же грамотности, что церковный.

Вопрос о грамотном языке, то есть о таком способе письменного изложения, которое руководствуется известными правилами, есть чрезвычайно важный вопрос для понимания процесса, в результате которого возникает общенациональный язык. Русская грамотность выросла на почве языка церковного, и именно эта грамотность легла в основание языковой деятельности русского общества в послепетровское время. В этом процессе очень значительная роль принадле-

[1] Смысл.
[2] В скобки.

жала языковой культуре юго-западной Руси, в которой значительно раньше, чем в Москве, церковнославянский язык стал предметом школьного попечения и обдуманной литературной обработки. И в чисто персональном отношении нельзя забывать значительного вклада, внесенного в русскую письменность и образованность конца XVII — начала XVIII в. целой плеядой деятельных представителей Украины, отчасти же и Белоруссии. В 1648 г. в Москве была издана типографским способом грамматика, представлявшая собой перепечатку с некоторыми переделками грамматики Мелетия Смотрицкого, вышедшей в Литве в 1619 г. Эта грамматика, естественно, была построена на материале языка церковного. В 1721 г. она была переиздана. Именно по этой грамматике учились грамоте в России почти до конца XVIII в. Откровенная вражда Петра I к церкви не помешала ему правильно почувствовать громадное регулирующее значение церковнославянской грамотности для русского письменного языка. Разумеется, не может быть и речи для петровского времени о полной грамотности в нашем теперешнем смысле слова. Документы частные, домашние отстают еще очень значительно в это время от документов официальных, и в особенности от печатных книг, в общем движении к урегулированному, среднему типу грамотного письменного языка. Сам Петр в своем языковом обиходе отстает от своих канцелярий и пишет еще скорее в духе прежних традиций в орфографическом отношении, например (из собственноручного указа 25 апреля 1707 г.):

«В добавъку. Кромѣ пѣшихъ еще двѣ тысячи человѣкъ собрать конныхъ, а сколкихъ дворовъ іли інакимъ образомъ, о томъ разверстать с савѣту, а собраныхъ зачесть в указное число, толко худыхъ і зело старыхъ выкинуть, также чтобъ отнюдь із кресьянъ не было, но всѣ із дваровыхъ, под казнью... С посатскихъ тысяча двѣсте человѣкъ, і брать на нихъ жалованья по тринатцати рублеѣъ человѣку на годъ».

Тем не менее общее состояние красноречиво засвидетельствовано наблюдательным чужеземцем Вильгельмом Лудольфом, автором русской грамматики, изданной в Оксфорде в 1696 г. на латинском языке, где, между прочим, читаем : «Большинство русских, чтобы не казаться неучами, пишут слова не так, как произносят, а так, как они должны писаться по правилам славянской грамматики, например, пишут *сегодня* (segodnia), а произносят *севодни* (sevodni)». Нетрудно видеть, что это положение сохраняет силу до сих пор, несмотря на то, что еще в 1748 г. против него очень решительно и талантливо восстал Тредиаковский в своем замечательном «Разговоре об ортографии старинной и новой». В этом трактате, навеянном Тредиаковскому французскими образцами XVI—XVII вв., содержится призыв к полному разрыву с традицией церковнославянской грамотности в пользу такого письма, которое непосредственно отражало бы живую речь. Писать надо, учит Тредиаковский, не «по кореню» и «произведению», а «по органу», «по звонам». В забавных выражениях предрекает Тредиаковский будущую победу своего

мнения (сохраняем подлинную орфографию Тредиаковского, им нарочито придуманную): «Я не отчаяваюсь, чтобъ въ нѣкоторое время не сталі всѣ у насъ пісать, ешче і учоныі, ізъ которыхъ катоноватѣйшіі, позвольте учоное слово, наібольше хорохорятся противъ своновъ. Нѣжный дамскій выговоръ давно уже у насъ своны наблюдаетъ. А дамы кого себѣ не заставятъ, не прісілівая впрочемъ, послѣдовать? Ібо і господа учоныі веть не деревяныі». В частном быту эта «дамская орфография» держалась долго. В рукописи известных «Записок» Натальи Долгорукой (1767 г.). читаем, например, *канешна, пожмеіотъ* (пожмет), *сщастия, где глупь, где мель и где мошна пристать, ничего нихто не знаитъ* и т. д. Тем не менее программа Тредиаковского оказалась совершенно утопичной, да и сам он ее осуществлял робко и непоследовательно, так как, помимо прочего, несомненно следовал произношению книжному, а не живому. Счастливый соперник Тредиаковского, великий Ломоносов, в вопросах грамотности решительно стал на сторону традиции, и именно этот путь, независимо от многочисленных частных случаев, где происходили колебания и перемены, оказался единственно жизненным в историческом смысле.

Посмотрим теперь, какая роль принадлежала собственно литературному разделу письменности в этом движении к общему языку среднего типа. На первых порах это была роль не руководящая, а подчиненная. Конец XVII и начало XVIII в.— время чрезвычайно глубокого кризиса в русской литературе и русском литературном сознании. Здесь не место касаться этого большого вопроса в его полном объеме, но надо отметить последствия этого кризиса в области письменного языка. Литератор предшествовавшего времени мог быть в большей или в меньшей степени грамотен, мог более или менее строго соблюдать предписания господствующей языковой нормы или же уступать время от времени внушениям своей обиходной речи, но всегда знал, что такая норма есть, что изучают ее по «Часослову» и «Псалтыри», что ее литературное выражение можно наблюдать в «Четьих Минеях» и других подобных книгах. О том, как переживалась эта норма в психологии допетровского книжника, можно составить себе некоторое понятие по предисловию к грамматике 1648 г. или по предисловию к «Псалтыри», изданной в Москве в 1645 г., в котором содержится специальное наставление учителям и учащимся. Здесь, между прочим, читаем:

«Подобаетъ убо вамъ о учителіе вѣдѣти, како вамъ младыхъ дѣтей учити божественнымъ письменемъ, первое бо въ началѣ буквамъ, сирѣчь азбуцѣ, потомъ же часовники и псалтыри, и прочія божественныя книги; и паче же убо всего, еже бы вамъ наказати и изучити ученикомъ азбука чисто и прямо по существу, како которое слово рѣчію зовется, и неспѣшно. А и самимъ бы вамъ знати же естество словесъ, и силу ихъ разумѣти и гдѣ говорити дебело и тоностно, и гдѣ с пригибеніемъ устъ и гдѣ с раздвиженіемъ, и гдѣ просто».

Далее подробно говорится о том, что нельзя смешивать *ѣ* и *е*,

о правилах постановки ударений и т. д. Язык книг, на текстах которых основывалась эта схоластическая методика, был канонизирован и на будущее, в особенности после деятельности патриарха Никона и издания исправленного текста библии в 1663 г., и может рассматриваться нами как своего рода классический церковнославянский язык. Именно этот язык имел в виду Ломоносов, когда писал свое знаменитое сочинение «О пользѣ книгъ церьковныхъ въ Россійскомъ языкѣ». Но литература конца XVII и начала XVIII в. в гораздо большей степени представляла уклонение от этих образцов, чем соответствовала им. Даже в опытах духовного красноречия и диалектики мы находим или настолько крайние формы «извития словес», что даже тогдашние профессионалы вроде Поликарпова вынуждены были жаловаться на «необыкновенную славенщизну» и «еллинизм» таких сочинений, или же, наоборот, уклон в сторону новизн — то есть латинские и западноевропейские слова и выражения, переход от книжных средств языка к обиходным и т. п. Соответственно встречаем, например, у Стефана Яворского, в обращении к псалмопевцу Давиду, фразу: «Поклони только уши въ глаголы устъ человѣческихъ: колику славу имаши за твое мужество, крѣпость и труды *кавалерскіе*». В другой проповеди читаем: «Видиши ли сію жену; а что жъ ту Спасителю мой, въ той женщинѣ зрѣнія достойно; не вижу я въ ней ничто же удивительно; аще тому велишъ присматриватися, что хорошо устроилася, червленицею и бѣлиломъ лицо умастила, *чело свое, что кожу на барабанъ, вытянула...*» В проповедях Феофана Прокоповича постоянны обороты речи вроде: «А ты, новый и новоцарствующий граде Петровъ, не высокая ли слава еси фундатора твоего», или: «Не довлѣютъ [1] воистину преславной оной викторіи тисяща устъ риторскихъ, и не престанутъ славити вѣки многія, донелѣже міръ стоитъ», или: «Перегринація едина все тое какъ на дланѣ показуетъ, и живую географію въ памяти написуетъ, так что человѣкъ не иначе свѣданные страны въ мысли своей имѣетъ, аки бы на воздусѣ летая имѣлъ оные предъ очима». Интересен переход к бытовому языку в «Похвальном слове о флотѣ» (1720 г.):

«А въ первыхъ, понеже не къ единому морю прилежитъ предѣлами своими сія монархія, то какъ не бесчестно ей не имѣть флота. Не сыщемъ ни единой въ свѣтѣ деревни, которая, надъ рѣкою или езеромъ положена, не имѣла бы лодокъ... Стоимъ надъ водою и смотримъ, как гости къ намъ приходятъ и отходятъ, а сами того не умѣемъ. Слово въ слово такъ, какъ въ стіхотворскихъ фабулахъ нѣкій Танталъ стоитъ въ водѣ, да жаждетъ. И потому и наше море не наше...»

Но высокое красноречие, генетически восходящее к старинному «извитию словес», которое усилено модными западноевропейскими выражениями ученого толка, все же преобладает. Вот один из более поздних отзвуков этого стиля речи — небольшой отрывок из слова архимандрита Кирилла Флоринского в день рождения Елизаветы Петровны 18 декабря 1741 г.:

---

[1] Недостаточны.

«А врагъ всѣявый таковыхъ плевелоплодцовъ, той есть діаволъ, который до днешнихъ дней въ покои уже небеснѣмъ нынѣ торжествующія истинно благочестивѣйшія Екатеріны Самодержицы Всероссійскія утаевалъ, и хитрокозненно скрывалъ, тестаментъ, въ немъ же тако: О крайняго и верьховнѣйшаго твоего благополучія доселѣ скрываемаго отъ очію твоею Россіе? изображено и запечатлѣно, по смерти Петра великаго самодержавствовати въ Россіи благовѣрной Государынѣ Великой Цесаревнѣ, яже съ Христомъ уже, изгнана отъ отечества своего, въ небеснѣмъ отечествіи царствуетъ, Аннѣ Петровнѣ съ своими десцендентами...» и т. д.

Это язык литературы отживающей, обращенной в прошлое. Но рядом с ней существовала, крепла и мало-помалу становилась излюбленным видом чтения другая литература, посвященная светскому содержанию, изобилующая любовными и авантюрными мотивами. Она по-своему способствовала разложению старого литературного языка, растворяя его книжный элемент в обиходном, причем в данном случае именно обиходный элемент украшался модной западноевропейской фразеологией. Одно из характерных произведений этого рода литературы есть «Гисторія о россійскомъ матросѣ Василіи Коріотскомъ и о прекрасной королевнѣ Ираклiи Флоренской земли». Повесть написана языком, который можно оценить в его своеобразии хотя бы по следующему небольшому отрывку:

«Минувшу же дни по утру рано прибѣжалъ отъ моря есаулъ ихъ команды и объявилъ: «Господинъ атаманъ, изволь командировать партію молодцовъ на море, понеже по морю ѣдутъ галеры купецкія съ товары». Слышавъ то, атаманъ закричалъ: «Во фрунтъ!» То во едину чесá минуту всѣ вооружишася и сташа во фрунтъ».

В этом отрывке — бытовой язык начала XVIII в., в котором уже были вполне употребительны, хотя, вероятно, не утратили еще аромата модной новизны, такие слова и выражения, как *командировать*, *партия*, *во фрунт*. Но этот бытовой материал здесь перемешан с книжным, не образуя с ним прочного единства. Древней литературной традицией объясняется дательный самостоятельный (*минувшу же дни*), аорист (*вооружишася*, *сташа*). Из старого книжного языка идет и *понеже*, упрочившееся в традиции приказного языка; этой последней традицией, вероятно, поддерживалась в начале XVIII в. и форма творительного падежа множественного числа *с товары* — некогда живая, но теперь переходящая уже на роль славянизма. Таким образом, язык авантюрно-галантной повести, представляющей собой один из путей перехода от древней литературы к новой, представляется своеобразным разложением прежнего литературного языка, стихийно движущимся в общем направлении по пути скрещения разнородного стилистического материала. Характерные образцы этой любопытной галантности в языке новой беллетристики могут быть извлечены из обширной «Истории о Александре, российском дворянине». Вот диалог героя и героини:

www.ruslang.ru

«Тогда Александръ обрадовался сердцемъ і не могъ [1] долее терпети просилъ в собливую полату і говорил сице: «Дивлюся вамъ, государыня моя, что медикаментовъ не употребляешь, а внутреннеи болезни такь искусна ісцеляти, якоже свидетелствуюсь, что ни под солнцом не имеется такоі дохтурь, никакими мидикаменты возмогль бы такую неисцелимую болезнъ такь скоро сокрушитъ, якоже ты со мною во единъ маментъ часа улучила! коеи чести тя подобну удостою? і как могу за такое твое великое милосердие услышити, еи не дознаюсъ! разве повелишь мне корету свою вместо коней возитъ? разве темъ заслужу?» «Элеонора усмехьнуласъ Александрову шпынству [2] і отвещала: «не дивис, Александре, скорому изцелению,— еще бо не имашъ прямои надежды ко здравию притти, разве будешь до 3 часа пополуночи беспокоиствовать і по окончани того ко мне чрезь заднее крылцо придешь? обещаюсъ ти написати резептъ, чрезь которо конечно можешь болезни свободитися і паче прежняго здравие получить!»

Беллетристика Петровской эпохи и ближайших к ней лет вся полна такими явлениями стилистического перерождения письменной речи. Не эта беллетристика явилась тем основанием, на котором выросла великая русская литература послепетровского времени. Но все же она выполнила важную роль в зарождении русского национального языка, так как способствовала замене древнерусской книжной речи такой другой книжной, в которую отдельные элементы старинной книжности вошли лишь составной частью в смешении с элементами обиходными. В этой стилистической атмосфере продолжались поэтому процессы, начало которых относится к глубокой древности, то есть те самые процессы стилистического и семантического размежевания двух начал языка, которые мы наблюдали в главе 6-й на примере летописного языка. Нет сомнения, что к началу XVIII в. в общем уже приходил к концу тот процесс, вследствие которого в нашем языке словесные пары вроде *глава — голова, страна — сторона, невежа — невежда, горячий — горящий* и многие другие семантически разобщены. Отличие, однако, было в том, что было еще возможно чисто стилистическое противопоставление слов с тожественным значением вроде *град — город, отвещать — отвечать* и т. п. Но к этому мы еще вернемся. Здесь обратим только внимание на начало того процесса, в ходе которого понятие к н и ж н о г о языка перестало непременно совпадать с представлением о языке церковнославянском — появился н о в ы й русский книжный язык.

Вторая половина XVII в. отмечена также и другого рода литературными явлениями, своеобразно преодолевавшими традицию древнерусской церковно-книжной речи. Рядом с авантюрно-галантной беллетристикой западноевропейского пошиба, зарождавшейся в эту эпоху, у нас осталось от этого времени несколько круп-

[1] Деепричастие: не имев силы.
[2] Замашкам, шуткам.

ных литературных памятников, отмеченных яркой печатью народности, непосредственно связанных и содержанием, и языком с деревней, с фольклором. Бесспорно самым замечательным из этих памятников могут быть названы произведения протопопа Аввакума, в особенности его знаменитое «Житие». Вот образец этого типа речи, в котором старинное сложное начало соединяется уже не с канцелярским деловым, а непосредственно с крестьянским языком:

«И за сіе меня бояринъ Василѣй Петровичъ Шереметевъ, едучи в Казань на воеводство, в суднѣ браня много, и велѣлъ благословить сына своего брадобритца. Азъ же не благословилъ, видя любодѣйный образъ. И онъ велѣлъ меня в Волгу кинуть, и, ругавъ много, столкали с судна. Таже инъ начальникъ, на мя разсвирѣпѣвъ, пріѣхавъ с людьми ко двору моему, стрелялъ из луковъ и ис пищалей с приступомъ. А я в то время, запершися, молился ко Владыкѣ: «Господи, укроти ево и примири, ими же вѣси судбами!». Онъ же побѣжалъ от двора, гонимъ Святымъ Духомъ. Таже в нощь ту прибѣжали от него, зовутъ меня к нему со слезами: «батюшко-государь! Евѳимей Стеѳановичь при кончинѣ и кричитъ не удобно, бьетъ себя и охаетъ, а самъ говоритъ — дайте батька Аввакума! за него меня Богъ наказуетъ!» И я чаялъ, обманываютъ меня; ужасеся духъ мой во мнѣ. А се помолилъ Бога сице: «Ты, Господи, изведый мя из чрева матере моея и отъ небытія в бытіе мя устроилъ! А аще меня задушатъ, причти мя с митрополитомъ Филиппомъ московскимъ; аще ли заръжутъ, и Ты, Господи, причти мя з Захаріею пророкомъ; аще ли посадятъ в воду, и Ты Владыко, яко и Стефана Пермскаго паки свободиши мя!» И молясь, поѣхалъ в домъ к нему Евѳимію. Егда же привезоша мя на дворъ, выбѣжала жена ево Неонила ухватила меня под руку а сама говоритъ: «поди-тко государь нашъ батюшко, поди-тко всѣтъ нашъ кормилецъ!» И я сопротивъ: «чюдно! давеча былъ блядинъ сынъ, а топеръва: батюшко миленькой Болшо у Христа-тово остра шелѣпугата: скоро повинился мужъ твой!» Ввела меня в горницу, вскочил с перины Евѳимей, палъ пред ногама моима, вопитъ неизреченно: «прости, государь, согрѣшилъ пред Богомъ и пред тобою!» А самъ дрожитъ весь И я ему сопротиво: «хощеши ли впредь целъ быти?» Онъ же лежа отвѣщалъ: «ей, честный отче!». И я реклъ: «востани! Богъ проститъ тя!» Онъ же наказанъ гораздно, не могъ самъ востати. И я поднялъ, и положилъ ево на постелю, и исповѣдалъ и масломъ священнымъ помазалъ; и бысть здравъ».

Здесь книжный элемент ограничен цитатным и ритуальным назначением а в остальном подсказывается, несомненно, не литературными намерениями а профессиональной привычкой. Но живая, идиоматическая русская речь, какой вообще написано это произведение, очень долго не могла получить права литературного гражданства. Ее путь в литературу — окольный и сложный, а в XVIII в. русской письменной речи пришлось приспосабливаться к тем очередным задачам, которые поставила перед ней литература русского классицизма.

Глава девятая

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА

Начальный период в истории русского литературного классицизма связан с борьбой двух тенденций, из которых первая нашла себе выражение в деятельности прекрасного филолога и теоретика, но слабого поэта Тредиаковского, а вторая — в деятельности гениального русского самородка Ломоносова. В истории русского письменного языка это противоречие сказалось в том, что первый из названных деятелей неудачно повел язык литературы по пути полного его отожествления с бытовым языком «лучшего общества», а второй с редкой удачей и блеском, наоборот, создал традицию более или менее сильного разобщения литературной и бытовой речи в зависимости от жанровой задачи произведения.

Удача Ломоносова доказывает, что он проницательно угадал основную линию объективного исторического развития русской литературной речи, ухватил его главный нерв. Именно Ломоносов сделал прочным приобретением русского культурного сознания взгляд на русский литературный язык как на продукт скрещения начал «славенского» и «российского». Между тем молодому Тредиаковскому одно время казалось, что можно обойтись совсем без первого. В знаменитом предисловии к своему переводу французского романа Поля Тальмана «Езда в остров любви» (1730) Тредиаковский уверяет читателя, что он перевел этот роман не «славенскимъ» языком, но «почти самымъ простымъ Рускимъ словомъ, то есть каковымъ мы межъ собои говоримъ». Действительно, в тексте этой книги попадаются слова и выражения обиходного стиля речи, как например «бѣжалъ все грунью даже до одного мѣстечка» (*грунью* — значит, собственно, мелкой рысью), «вздѣть уборъ», «присовѣтовалъ чтобъ поитить оттуду въ одинъ городъ», и т.п. Но живой элемент в языке этого романа во всяком случае гораздо слабее, чем в вышеназванных повестях о Василии Кориотском и дворянине Александре, а общий тип языка, каким сделан перевод Тредиаковского, достаточно ярко проступает хотя бы в таком отрывке:

«Можетъ быть, любезныи мои ЛІЦІДА, что вы немало нынѣ удивляетеся, для того что я сіе вамъ объявляю надчаяніе ваше; но вы имѣете познать то, что мнѣ къ премѣнѣ сеи моего нрава подало прічіну увѣдомляяся чрезъ сіе писмо о моихъ вторыхъ похожденіяхъ, которыя поистиннѣ больше васъ имѣют увеселить, нежели какъ первыя. И хотя я нынѣ весма немышлю о любви, однако я вамъ признаваюсь, что очюнь мнѣ охотно желается сказать вамъ гісторію о моеи страсти прешедшеи».

Вряд ли можно поверить, чтобы даже «изрядная компания» пользовалась таким вязким канцелярским языком, как своей будничной простой речью. Нетрудно догадаться, что Тредиаковский пытался механически перенести в Россию те языковые отношения, которые он наблюдал во Франции. Он думал, что, подобно тому как сущест-

вует во Франции язык версальского двора, так и в России должен существовать отличающийся строгим изяществом и чистотой язык избранной среды как образец для литературного языка. Отсюда учение Тредиаковского о «лучшем употреблении», заимствованное им у французских теоретиков вроде Вожла, автора известных «Заметок о французском языке, полезных для желающих хорошо говорить и хорошо писать». По словам Вожла, есть употребление дурное, свойственное большинству, и употребление хорошее, свойственное лучшей части придворной сферы и лучшим авторам-современникам. Все это было очень далеко от той действительности, которую должен был застать Тредиаковский по возвращении из Парижа в Россию. Очевидно, бытовая речь начала и середины XVIII в. также и в придворном русском обществе, которое никогда не было у нас руководящей культурной силой, не обладала свойствами, прямолинейное воспроизведение которых в литературе способно было решить проблему литературного языка. Скорее наоборот: не литература от общества, а общество от литературы должно было ждать указаний в этом отношении. Так оно и было на самом деле. И когда наступили для этого нужные условия, то, что не удалось Тредиаковскому, в конце века с замечательным успехом оказалось осуществлено школой Карамзина, но удалось именно потому, что между Тредиаковским и Карамзиным был пройден поучительный путь, воплотившийся в богатом опыте русского классицизма.

В языковой доктрине русского классицизма, как она отразилась в известных рассуждениях Ломоносова и разнообразной практике писателей второй половины XVIII в., важнее всего отметить признание основного «славенороссийского» ядра в русской литературной речи. Речь идет о том, что язык церковных книг и язык «обыкновенный российский», согласно этой точке зрения, имеют много общего, совпадающего и что именно этот общий материал обоих типов речи есть движущее начало русского литературного языка. К указанному «славенороссийскому» ядру, смотря по обстоятельствам, в практике художественной литературы добавляются то чисто «славенские», то чисто «российские» материалы из круга средств, не совпадающих в обоих типах речи. Эти добавления имели громадное практическое значение для решения специфических поэтических и беллетристических задач, так как создавали языковую почву высоких и низких жанров, позволяли различать, с одной стороны, язык оды или трагедии, а с другой — язык басни или комедии. Но создание высокого и низкого слогов было, собственно заслугой перед русской литературой соответствующего периода, а по отношению к самому русскому языку оказалось полезным скорее косвенно. Именно оно оставляло свободный путь для развития так называемого среднего слога, предназначавшегося преимущественно для литературы не художественной, а научной и публицистической, то есть именно такого рода письменности, где особенно успешно мог продолжаться процесс скрещения книжной и обиходной речи в единый и цельный общеписьменный русский язык.

Достаточно самого беглого сравнения между тремя основными стилями речи в литературе эпохи классицизма, чтобы убедиться, что будущее русского литературного языка вырастало именно в пределах среднего стиля, каковы бы ни были собственно литературные достоинства двух остальных в применении к соответствующим литературным жанрам. Вот один из типичных образчиков высокого слога:

Князь Курбскій возопилъ, алкая с нимъ схватиться:
Не стыдно ль множеству съ единымъ купно биться?
Храните рыцарскій, герои, в бранѣхъ чинъ;
Оставьте насъ, хощу съ нимъ ратовать единъ.
Услышавъ Гидромиръ отважну рѣчь толику,
Висящу вдоль бедры взялъ палицу велику;
Онъ ею въ воздухѣ полкруга учинилъ,
Часть Муромскихъ дворянъ на землю преклонилъ.
И князя бъ разразилъ шумящей булавою,
Но онъ къ главѣ коня приникъ своей главою,
И тако угонзнулъ [1] не поврежденъ ни чѣмъ;
Но Гидромира въ пахъ поранилъ онъ мечемъ,
Разсвирѣпѣлъ злодѣй, болѣнію не внемлетъ,
Как мачту палицу тяжелую подъемлетъ,
И Муромскихъ дворянъ, и Курбскаго разитъ,
Там шлемы сокрушилъ, тамъ латы, тамо щитъ.

Это из «Россияды» Хераскова. Образец простого или низкого слова заимствуем из текста комедии Сумарокова «Опекун»:

«Намнясь видѣлъ я, какъ честной то по вашему и безчестной, а по моему разумной и безумной принималися. Безчестной атъ, по вашему, приѣхалъ, такъ ему стулъ, да еще въ хорошенькомъ домѣ: все ли въ добромъ здоровьи? какова твоя хозяюшка? дѣтки? Что такъ запалъ?[2] ни къ намъ не жалуешь, ни къ себѣ не зовешъ; а всѣ вѣдаютъ то, что онъ чужимъ и неправеднымъ разжился. А честнова та человѣка дѣтки пришли милостины просить, которыхъ отецъ ѣздилъ до Китайчетава царства и былъ во Камчатномъ государствѣ, и объ етомъ государствѣ написалъ повѣсть; однако сказку то ево читаютъ, а дѣтки то ево ходятъ по міру; а у дочекъ то ево крашенинныя бостроки [3], да и тѣ въ заплатахъ».

Так как в области среднего слога материал в жанровом отношении более разнообразен, то приведем ниже два образца. Один заимствуется из журнала «Всякая всячина» 1769 г.:

«Вельможа одинъ приговорилъ ко смерти одного своего невольника, который не видя уже надежды ко спасенію своего живота, зачалъ бранить и проклинать вельможу. Сей не разумѣя языка невольнича, спросилъ у около стоящихъ своихъ домашнихъ: что невольникъ говоритъ? Одинъ вызвался, говоря: государь, сей безщастный сказываетъ, чай рай приуготовленъ для тѣхъ, кои уменьшаютъ свой гнѣвъ, и прощаютъ преступленія. Вельможа простилъ невольника. Дру-

[1] Спасся, убежал.
[2] Запропастился.
[3] Род телогреи.

гій изъ ближнихъ его вскричалъ: не пристойно лгать передъ Его Сіятельствомъ, и поверняся къ лицу вельможи сказалъ: сей преступникъ васъ проклинаетъ великими клятвами, мой товарищъ вамъ объявилъ ложь непростительную. Вельможа отвѣтствовалъ: статься можетъ; но его ложь есть человѣколюбивѣе, нежели твоя правда; ибо онъ искалъ спасти человѣка, а ты стараешься двухъ погубить».

Другой заимствуем из переводного сочинения Василия Левшина «Чудеса натуры или собраніе необыкновенных и примѣчанія достойныхъ явленій и приключеній въ цѣломъ мірѣ тѣлъ» (1788 г.):

«Въ 1779 году показывали въ Парижской Академіи Наукъ сохраняемую въ спиртѣ ящерицу съ двумя головами, и обнадеживали, по свидѣтельству вѣроятія достойныхъ особъ, что эта тварь въ жизни своей обѣими головами дѣла свои изправляла; она ѣла обоими ртами, и смотрѣла всѣми четырмя глазами. Особливѣйшее обстоятельство при томъ было сіе, что когда клали хлѣбъ съ обѣихъ сторонъ таковымъ образомъ, чтобъ ящерица находящійся съ правой стороны кусокъ видѣла только правымъ глазомъ правой головы, а на лѣвой сторонѣ только лѣвымъ глазомъ лѣвой стороны; слѣдовала она законамъ равновѣсія, не такъ какъ Буридановъ оселъ терпѣлъ въ семъ случаѣ голодъ, но двигалась прямо впередъ до тѣхъ поръ, какъ движеніе это закрывало видъ хлѣба у одной головы, тогда уже шла она прямо къ одному куску».

Если учесть, что это — перевод, то простое сопоставление данного текста с вышеприведенными образцами переводных текстов петровского времени покажет, какие громадные успехи были достигнуты русским общенациональным языком в его письменном выражении в течение XVIII в. Оба последние отрывка написаны языком, отличия которого от русского языка XIX—XX вв. сводятся к почти незаметным мелочам: в первом отрывке — *животъ* в значении «жизнь», *зачалъ* вместо нашего *начал*, *поверняся* вместо *повернувшись*, во втором — язык не совпадает с современным главным образом со стороны синтаксиса. Книжное и живое начала в этом языке пришли уже к ощутимому равновесию, и в том именно смысле, что они участвуют в данном типе речи как равноправные члены одной и той же речевой системы, избавившиеся от своих стилистических двойников и параллелей. В языке среднего слога к концу XVIII в. уж если употребляется слово *голодъ*, то не употребляется *гладъ*, а если употребляется *надежда*, то не употребляется *надежа* и т. д., а слова *страна* и *сторона* употребляются только в разных значениях. Разумеется, это не непреложный закон, из которого невозможны исключения, но общая тенденция. Таким образом, к концу XVIII в. взаимное размежевание «славенских» и «русских» элементов, с одной стороны, а с другой — их слияние в одно целое можно считать процессом завершенным.

Указанный процесс особенно ярко сказался в «Российской грамматике» Ломоносова (1755 г.). Сочинение этой «Грамматики» есть главное право Ломоносова на признание его великим деятелем в

истории русского языка. «Грамматика» Ломоносова — первая русская грамматика на русском языке. Только она впервые стала вытеснять из учебного обихода перепечатки Смотрицкого и приучать к мысли, впоследствии отстаивавшейся, например, Радищевым, о необходимости первоначального обучения на русском, а не церковнославянском языке. Но вместе с тем «Грамматика» Ломоносова не есть, конечно, грамматика обиходного языка, «простых разговоров». Она отражает нормы новой книжной речи, как она сложилась в традиции «среднего слога», на почве слияния «славенского» и «русского» элементов в одно целое. В этом отношении достойна наблюдения борьба, которую объявляет «Грамматика» Ломоносова некоторым употребительным в его время формам, находившимся в противоречии с его основной концепцией русской литературной речи. Так, Ломоносов протестует против употребления формы *учрежденіи* вместо *учрежденія* в именительном падеже множественного числа, *истинныи извѣстіи* вместо *истинныя извѣстія*, то есть против форм, подсказываемых навыками обиходной речи. Но вместе с тем он не поместил в своей «Грамматике» почти ни одной такой формы, которая в его время по своей архаичности должна была переживаться как славянизм вроде простых прошедших, исконных форм склонения слов мужского рода во множественном числе (*рабомъ, рабы, рабѣхъ*) и пр. Чрезвычайно интересно полное его единодушие в этом вопросе с Тредиаковским, в своих грамматических советах также отражающим среднюю линию развития новой книжной речи. Так, Тредиаковский, с одной стороны, осуждает, подобно Ломоносову, формы *разсужденіи, повелѣніи* вместо *разсужденія, повелѣнія. прімѣчаніевъ. склоненіевъ* вместо *прімѣчаній, склоненій*, а с другой — тут же возражает тем, кто пишет *по торгомъ і рынкомъ, въ рядѣхъ і на площадѣхъ* вместо *по торгамъ і рынкамъ, въ рядахъ и на площадяхъ*.

Но язык художественной литературы явно отставал в этом процессе, и это отставание есть характерная черта в истории русского литературного языка в XVIII веке. Общая причина этого отставания ясна из предыдущего. Русский классицизм знал преимущественно жанры высокие или низкие как жанры художественной литературы. Высокие жанры заставляли писателей прибегать к таким книжным элементам речи, которые общей, генеральной линией развития русского литературного языка уже были отсеяны. Соответственно то же наблюдалось в литературе низких жанров в применении к средствам языка обиходного. Поэтому ода или трагедия XVIII в. отзывается библейской книжностью, а комедия или басня — «простонародностью» и провинциальным колоритом речи. Одописцы любили пышные эллинизмы вроде *елей, кринъ, нектаръ, понтъ*, сложные слова эллинского стиля вроде *быстротекущій, огнедышущій, злосердый, златострунный, свѣтоносный*. Из языка церковных книг они выбирали высокие слова и выражения вроде *воспящать, вперить, вотще, ложесна, лѣпота, помавать, стогна* (площадь), *угобзить* (умножить), *ликовствовать*, а также и такие слова, которые в обыкновенном языке имели другое значение, как

например *животъ* в значении «жизнь» (у Сумарокова: «И во злобѣ устремленныхъ на драгой животъ Петровъ»), *теку* в значении «иду», «двигаюсь» (например, у В. Петрова: «Геройства Россъ на подвигъ текъ»), *хребетъ* в значении «спина» (например, у Капниста: «Я зрю васъ, устрашенных и обращающихъ хребетъ») и многие другие. Одна из подробностей этого стиля речи состоит в пристрастии к старинным словообразовательным вариантам глагольных основ вроде *снити, внити* при *сойти, войти*; *пожерти, стерти* при *пожрать, стереть*; *предписовати, испытовати* (настоящее время *предписую, испытую*), в особенности же к такому архаичному образованию основы настоящего времени, как *зижду* от *здать, емлю* от *имать, жену* от *гнать*, ср., например, в «Россияде»: «Четыре храбрые героя ихъ женутъ». Сюда относятся далее архаические формы причастий вроде *сѣдяй* (сидящий), *создавый* (создавший), *явльшійся* (явившийся) и многие другие частности грамматического строя и лексического состава. Надо еще добавить, что и в области произношения, судя по всей совокупности наших сведений, в течение XVIII в. сохранялась традиция книжного, высокого произношения, не допускавшая аканья, пытавшаяся искусственно различать *ѣ* и *е*, признававшая произношение *г* взрывного простонародным и требовавшая, наоборот, произношения *h* и точно так же не допускавшая *ё* вместо *е*. Это последнее наглядно свидетельствуется рифмами вроде *чѣмъ— мечемъ, села — дѣла, озеръ — пещеръ* и т. д.

Следует сказать, что первые образцы одического и вообще высокого слога, которые были даны Ломоносовым, отличаются значительной простотой языка по сравнению с тем, как этот язык сложился в последующей традиции. Современники Ломоносова, соперничавшие с ним, нередко упрекали его за чрезмерную выспренность образов, гиперболизм сравнений, но собственно к языку это относится мало. В некоторых местах трагедий Сумарокова, в «Россияде» Хераскова, в одах В. Майкова или, особенно, В. Петрова язык гораздо более замысловат, труден и богат библеизмами, чем в произведениях Ломоносова. Но вместе с тем сложившаяся традиция высокого слога вследствие резкой ее разобщенности с «обыкновенным» языком причиняла и затруднения, особенно, когда речь шла о прозе. Большой интерес в данном отношении представляет предисловие Фонвизина к переведенному им «Иосифу» Битобе 1769 г. Вот что говорит здесь Фонвизин о языке своего перевода:

«Всѣ наши книги писаны или славенскимъ, или нынѣшнимъ языкомъ. Может быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что въ переводѣ такихъ книгъ, каковъ Телемакъ, Аргенида, Іосифъ и прочія сего рода, потребно держаться токмо важности славенскаго языка: но при томъ наблюдать и ясность нашего; ибо хотя славенскій языкъ и самъ собою ясенъ, но не для тѣхъ, кои въ немъ не упражняются. Слѣдовательно, слогъ долженъ быть такой, каковаго мы еще не имѣемъ... Множество приходило мнѣ на мысль славенскихъ словъ и реченій, которыя, не имѣя себѣ примѣра, принужденъ я былъ оставить, бояся или возмутить ясность, или тронуть нѣжность слуха. Прихо-

дили мнѣ на мысль наши нынѣшнія слова и реченія, и весьма употребительныя въ сообществѣ, но не имѣя примѣру, оставлялъ я оныя, опасаясь того, что не довольно изобразятъ они важность авторской мысли».

Здесь очень точно указано на возникшую у русской литературы потребность в таком языке, который, с одной стороны, не был бы так тривиален и фамильярен, как язык повседневный, но, с другой, не очень бы сильно отличался от повседневного языка своей высотой и книжностью. Естественно, что в применении к прозе эта потребность стала находить свое выражение раньше, чем в применении к стихам. Помимо того, что высокая поэзия, как само собой понятно, в большей степени, чем проза, нуждалась в книжном языковом материале, существовало еще одно особое обстоятельство, способствовавшее тому, что всякая вообще стихотворная речь отставала в общей эволюции русской письменной речи в сторону сближения с обиходной. Дело в том, что с самых же первых шагов русского стихотворства, на рубеже XVII и XVIII вв., отсутствие выработанной версификационной техники заставляло стихотворцев прибегать к разного рода «поэтическим вольностям» для того, чтобы легче было справиться с требованиями ритма и рифмы. Речь идет здесь не о случайных уклонениях от правильного языка у отдельного писателя, а о целой системе узаконенных традиций и даже специальными теоретическими рассуждениями вольностей, которые, по большей мере, представляли собой допускаемые к употреблению архаизмы языка и тому подобные параллельные языковые средства. В особенности велика в этом отношении была роль различных морфологических славянизмов, отличавшихся от параллельных средств обыкновенного языка тем, что они были на слог короче или длиннее и потому были очень выгодны в ритмическом хозяйстве стихотворца, как например *всякъ* вместо *всякій*, *Петре* (звательный падеж) вместо *Петръ*, *писати* вместо *писать*, *морь* вместо *морей* и пр. Сюда же относятся и неравносложные варианты в области самой лексики, как например *иль* вместо *или*, *градъ* вместо *городъ* и многие другие. Антиох Кантемир писал по этому вопросу так: «Все сокращенія рѣчей, которыя славенскій языкъ узаконяетъ, можно по нуждѣ смѣло принять въ стихахъ русскихъ; такъ, напримѣръ, изрядно употребляется *вѣкъ*, *человѣкъ*, *чистъ*, *сладкъ*, вместо *вѣковъ*, *человѣковъ*, *чистый*, *сладкій*». Разумеется, к этого рода вольностям, то есть разного рода архаизмам в которых нужда была не стилистическая только, но также и чисто техническая, охотно прибегали как в высокой, так и в низкой поэзии. Нетрудно, например, обнаружить ряд таких узаконенных сокращений и растяжений в следующей басне Сумарокова

СТРЕКАЗА

Въ зимнѣ время, подаянья
Проситъ жалко стреказа,
И заплаканны глаза,
Тяжкова ея страданья,

Представляютъ видъ.
Муравейникъ посѣщаетъ,
Люту горесть извѣщаетъ,
Говоритъ:
Стражду;
Сжалься, сжалься муравѣй,
Ты надъ бѣдностью моей,
Утоли мой алчъ и жажду!
Разны муки я терплю:
Голодъ,
Холодъ;
День таскаюсь, ночь не сплю.
Въ чемъ трудилася ты въ лѣто?
Я скажу тебѣ и ето:
Я вспѣвала день и ночь.
Коль такое ваше племя;
Так лети отсель ты прочь:
Поплясати время.

Традиция вольностей держалась очень долго, и только к середине XIX в., уже после Пушкина, преодолевается окончательно.

Соответственно отставал от общего развития и язык низких жанров. Уже к концу XVIII в. этот язык должен был представляться вульгарным, грубым, провинциальным. В нем то и дело встречаем такие слова и выражения, как *стибрить*, *подтяпать*, *калякать*, *кобениться*, *дать стрѣлка*, *заварить брагу*, *остаться въ голяхъ*, *кто бабъ не внукъ*; в нем много таких слов, которые сейчас приходится разыскивать в специальных областных словарях, как например *куромша* (ветреник), *набитой братъ* (ровня), *похимистить* (украсть), *взабыль* (в самом деле), *врютить* (впутать), *притоманное* (заработанное). Любопытным памятником этого стиля являются знаменитые «Записки» Болотова, в известном отношении, по-видимому, хорошо отражающие живую речь автора, его времени и его круга. Здесь, между прочим, находим: «*узгъ* топора» (острие), «*промололъ* я ее всю» (выучил всю книгу), «подъ караулъ *подтяпали*», «сколько-нибудь *понаблошнился* и много кое-чего знал» (то есть понабрался сведений), «покуда онъ еще не *оборкался*» (не привык), «*колты* и хлопоты», «слѣдовалъ за нами *назиркою* (наблюдая) до самого Ревеля», «жена его была старушка самая *шлюшечка*», «буде бы онъ сталъ слишкомъ *барабошить*» (спорить, упираться)», «около замка́ *шишляю*» (вожусь) и т. д. С этой лексикой связаны и грамматические явления того же стиля, как например постпозитивные частицы *-атъ*, *-сте*, *-стани*, формы склонения, вроде «сто *рублевъ*», «три *дни*», «изъ *стремя*» «*яйцы*», «*укрепленьевъ*», изобилие глаголов на *-ыва* вроде *ночевывалъ*, *купывались*, *ужинывалъ* и многие другие. Это был обиходный язык общества, еще не сделавшего для себя книжную речь привычным элементом повседневного цивилизованного быта.

Таковы в существенных чертах свойства русской литературной речи в эпоху классицизма Итог ее развития к последним двум десятилетиям XVIII в. может быть определен в следующих двух основных положениях:

1. На почве среднего слога окрепла традиция общенациональной русской речи, представлявшая собой новую, высшую ступень в процессе скрещения книжного и обиходного начал. Но эта традиция пока была еще ограничена в своем применении рамками деловой (научной, публицистической и т. п.) речи и с художественной речью соприкасалась мало.

2. Специфические задачи, которые диктовались в применении к языку развитием русской художественной литературы, классицизм превосходно разрешил, создав традиции высокого и низкого («простого») слога. Однако чем ближе к концу века, тем сильнее обнаруживалось противоречие между общей линией развития русской письменной речи и наличным ее состоянием в основных жанрах художественной литературы. Здесь язык постоянно представлялся то слишком «высоким», то слишком «низким».

Оба указанных противоречия оказалась призвана разрешить та новая эпоха в истории русской литературы, начало которой положила деятельность Карамзина.

Глава десятая

СОЗДАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ НОРМЫ

Как нетрудно убедиться, естественный путь к устранению указанных противоречий заключался в том, чтобы язык, сложившийся на почве среднего слога, сделать языком не только деловым и теоретическим, то также и художественным. Именно в этом, в своем существе, и состоит та «реформа слога», которая была произведена Карамзиным и вызвала такой громкий отголосок в русском обществе конца XVIII и начала XIX в. Но это стало возможно только тогда, когда изменилась и начала ставить себе новые задачи сама художественная литература. Вот почему борьба между «старым и новым слогом российского языка» в конце XVIII в. есть не что иное, как прямое следствие борьбы между литературой классицизма и новым литературным направлением, неудачно позднее названным именем «сентиментализма».

В своей известной статье 1803 г. «От чего в России мало авторских талантов» Карамзин, между прочим, говорил, что, в противоположность французским писателям, русские лишены возможности учиться хорошему языку в обществе; как видим, у Карамзина уже не было тех иллюзий, какие управляли мыслью молодого Тредиаковского. Поэтому, заключает Карамзин, «Французы пишут, как говорят, а Руские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом». Это было совершенно правильно не только как формулировка задачи писателя, но и как наблюдение над тем, что уже реально существовало в действительности.

В конце XVIII в. русское общество, в отношении своего обиходного языка, находилось уже в состоянии глубокого расслое-

ния. Правда, еще и в первые десятилетия XIX в. в известных кругах русского барства сохранялись привычки «простонародной» русской речи, что засвидетельствовано, например, в «Горе от ума», в частной переписке этого времени, в мемуарах. Так, даже и Чацкий говорит еще: «вы *ради*, *давиче*, *спосылать* за делом», Пушкин в своих письмах пишет: *покаместь*, *ярмонка*, *брюхата*, *на квартере* и т. д. Но, с другой стороны, уже в «Недоросле» (1782 г.) отчетливо проступает языковое расслоение, о котором здесь говорится. Достаточно сопоставить речь отрицательных и положительных героев комедии, чтобы это увидеть,— вторые все говорят книжно, согласно с языком тех книжек, на которых воспитаны их мысли и чувства. Вот один образец:

«С о ф ь я. Ваше изъясненіе, дядюшка, сходно съ моимъ внутреннимъ чувствомъ, которова я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честнова человѣка, и ево должность.

С т а р о д у м ъ. Должность! А! Мой другъ! какъ это слово у всѣхъ на языкѣ, и какъ мало ево понимаютъ! Всечасное употребленіе этова слова такъ насъ съ нимъ ознакомило, что выговоря ево человѣкъ ничево уже не мыслитъ, ничево не чувствуетъ, когда естьлибъ люди понимали ево важность, никто не могъ бы вымолвить ево безъ душевнаго почтенія. Подумай, что такое должность. Это тотъ священный обѣтъ...» и т. д. Слово *должность* здесь означает общественный долг и есть одно из модных книжных слов этого времени, которые, как заметил когда-то Ключевский, «не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали мысль к опрятности». Стиль речи, к которому принадлежали этого рода слова, в конце XVIII в. для определенной общественной среды стал явлением повседневности, привычкой. Это были предтечи русской интеллигенции, и они понемногу начинали говорить так, как писались их любимые книжки.

Помимо всяких других различий, какие существовали между новым книжным языком «среднего стиля» и предшествовавшими состояниями развивавшегося русского общенационального языка, он отличался еще тем, что это был язык европеизированный. Как уже указывалось, в его истории очень большая роль принадлежала переводам с западноевропейских языков. В процессе этих переводов русский язык должен был приобретать средства, нужные для передачи соответствующих понятий западноевропейской цивилизации. Эта цель достигалась двумя путями. Из них более простой — заимствование термина. Заимствовались преимущественно элементы международной ученой терминологии, построенной из материала античных языков. В результате привычными и своими для русского языка становились слова вроде *амфитеатр*, *атмосфера*, *горизонт*, *инструмент*, *натуральный*, *регулярный*, *практика*, *пропорция*, *температура*, *трактат*, *формула* и т. д. Второй путь сложнее. Он состоял в приспособлении русских слов к буквальным переводам соответствующих слов иноязычных, в так называемых кальках. Очень важно иметь в виду, что материал, при помощи которого каль-

Кировались иноязычные ученые слова, брался исключительно из церковнославянской традиции. Когда в 1752 г. возникли сомнения по поводу допустимости терминов, которыми Тредиаковский пытался передать по-русски философские термины, принятые на Западе, вроде *естественность* или *сущность* (essentia), *разумность* (intelligentia), *чувственность* (sensatio) и т. п., то Тредиаковский с полным основанием мог сослаться на церковный язык как источник его словоупотребления. «Оныи термины,— писал он,— подтверждаются всѣ книгами нашими церковными, изъ которыхъ я оныи взялъ». Но таким путем могли возникать и совершенно новые слова, как например *предрассудок* первоначально — *предсужденіе* и *предразсужденіе*, точно слепленное из церковнославянского материала по образцу французского préjugé. Таким путем возникали и русские соответствия многим общеевропейским научным терминам вроде *преломление*, *опыт*, *истолкование* и многие другие. Громадное значение в этом процессе принадлежит языку научных сочинений Ломоносова. У всего этого круга лексических средств в том употреблении, какое сложилось для него к концу XVIII в., внешность была национальная, русская, существо же — общеевропейское, международное. Именно так и совершалось вдвижение русского языка в общий круг европейских языков нового времени.

Но рядом с этим терминологическим обогащением письменной речи своим чередом шел процесс бытового усвоения западноевропейских слов, которые начиная с петровского времени оседали в обиходном языке правящих классов вместе с привозными образцами платья, еды, утвари и т. д. Это слова вроде *суп*, *фрукты*, *сюртук* (сначала — *сюртут*), *сервиз* (ср., например, в повести М. Чулкова «Пригожая повариха»: «Купилъ мнѣ новой сервизъ, или попросту посуду») и т. д., по слову Пушкина:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет.

Однако во второй половине XVIII в. дворянское русское общество стало переживать настоящую лихорадку подражательности Европе, особенно — Франции, во всех внешних формах жизни, а также и в языке. Внешнее усвоение французской культуры привело в известной части дворянского общества к кристаллизации типов петиметра и щеголихи, язык которых был неоднократно пародирован в комедиях XVIII в., и к которому может быть применен сатирический ярлык Грибоедова: «смесь французского с нижегородским». В комедии Сумарокова «Мать совмѣстница дочери» мать, отбивающая возлюбленного у дочери, говорит ему так: «Да неужъ ли вамъ безъ женитьбы и любить не капабельно, будто только и кариспанденціи какъ мужъ и жена!» Или: «Я имѣю честь имѣти къ вашему патрету, или къ вашей персонѣ отличной решпектъ, и принимала васъ безо всякой церемоніальности и безъ фасоній». В «Бригадире» Фонвизина Советница говорит мужу: «Я капабельна

съ тобою развестися, ежели ты меня еще такъ шпетить [1] станешь». Это, понятно, карикатуры, но они имели, очевидно, свое основание в действительности. То, что употребление западноевропейских заимствований часто было делом не терминологической потребности, а стилистической моды, нетрудно видеть хотя бы на примере «Записок» Болотова, где встречаем такие фразы: «выслушивать таковыя ея предики и нравоученія»; «онъ былъ мужъ, или паче сказать, носилъ только имя мужа полковничей метресы или любовницы»; «дѣло, о которомъ я теперь расскажу, основалось на мошенническомъ комплотѣ или заговорѣ между чухнами»; «имѣвшій съ покойнымъ родителемъ моимъ... небольшую суспицію или досаду» и т. д. Эта мода была преимущественно достоянием отсталой, а не передовой части общества, не Стародумов и Правдиных, а Иванушек и Советниц, но тем не менее налагала отпечаток на русскую речь того времени в целом. Привычка читать и говорить по-французски — а с конца века обучение французскому языку с детства стало в дворянских домах почти обязательным — приучала и думать по-французски, и в этой подлинно двуязычной атмосфере повседневным явлением стали разного рода галлицизмы, то есть обороты речи, буквально переведенные с французского или построенные по образцам французского синтаксиса. Так, о детях говорили, что они «делают зубки»; появились выражения вроде «взять терпение». Правдин в «Недоросле» говорит: «Радуюсь, сдѣлавъ ваше знакомство»; вместо «заплатить за книгу» можно было услышать: «заплатить книгу»; «дают себе воздухи» вместо «принимают вид», «требуют» в значении «утверждают» (prétendre) и т. д.

Нет ни одного русского писателя, который поощрял бы эту языковую галломанию как таковую, просто как известное увлечение. Наоборот, борьба с галломанией есть общий признак русской литературы в течение всего XVIII в., начиная Ломоносовым и кончая Карамзиным. Иногда она принимала даже совсем наивные и вместе с тем трогательные формы. В комедии Лукина «Мотъ, любовію исправленный» одно из действующих лиц произносит слово *туалетъ*. К этому месту автор сделал примечание: «Слово чужестранное говоритъ кокетка, что для нея и прилично, а ежели бы не она говорила, то конечно бы русское было написано». Это тот самый Лукин, который другую свою комедию назвал диковинным областным словом «Щепетильникъ», потребовавшим длинного объяснения в предисловии (оно значит «галантерейщик»), для того чтобы избежать заимствования с французского, в бытовой речи, как признает сам Лукин, в это время уже существовавшего. Но не все ведь в этом процессе сближения русского языка и западноевропейских было только скоропреходящей модой. Новой литературе, которая с конца XVIII в. стала вытеснять собой классицизм и которая ярко отразила переход «среднего слога» из книг в быт образованной части дворянского общества, надлежало, помимо прочего, помочь

[1] Шпынять, упрекать

русскому языку в отборе жизненно необходимого и полезного в том потоке заимствованных и офранцуженных средств речи, которые проникали в него на рубеже XVIII и XIX столетий. Как раз с выполнением этой задачи и связана историческая заслуга русского сентиментализма и его вождя Карамзина.

В статье 1802 г. «О любви к отечеству и народной гордости» Карамзин между прочим писал: «Я осмелюсь попенять многим из наших любителей чтения, которые, зная лучше Парижских жителей все произведения Французской Литературы, не хотят и взглянуть на Рускую книгу. Того ли они желают, чтобы иностранцы уведомляли их о Руских талантах? Пусть же читают Французские и Немецкие критические Журналы, которые отдают справедливость нашим дарованиям, судя по некоторым переводам. Кому не будет обидно походить на Даланбертову мамку, которая, живучи с ним, к изумлению своему услышала от других, что он умный человек. Некоторые извиняются худым знанием Рускаго языка: это извинение хуже самой вины. Оставим нашим любезным светским Дамам утверждать, что Руской язык груб и не приятен, что charmant и séduisant, expansion и vapeurs не могут быть на нем выражены, и что, одним словом, не стоит труда знать его. Кто смеет доказывать Дамам, что они ошибаются? Но мущины не имеют такого любезнаго права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокаго красноречия, для громкой, живописной Поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богатее гармониею, нежели Французской, способнее для излияния души в тонах, представляет более аналогических слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски, и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре... Язык важен для Патриота; и я люблю Англичан за то, что они лучше хотят *свистать* и *шипеть* по-английски с самыми нежными любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным почти всякому из них».

Эта выдержка, характеризующая отношение Карамзина к русскому языку и к проблеме его литературного развития, вместе с тем характеризует и самый язык, каким пользовался Карамзин. Очевидно, что искренняя, патриотическая любовь к русскому языку вполне уживалась с употреблением в русском тексте ученых терминов западноевропейского происхождения и с построением фраз на европейский манер. Признавая высокие качества русской речи, Карамзин вместе с тем зовет к «обработыванию» ее, то есть к тому, чтобы сделать ее надлежащим и достойным органом современной русской культуры. Это должен был быть язык, пригодный в одинаковой степени и для книги, и для беседы,— разумеется, в кругу лиц образованных, читающих, которые и говорить-то хотят не как попало, а хорошо и чисто, как мы сказали бы сейчас: «культурно». Это должен был быть язык не домашний, а тот, с ка-

ким представитель культурного слоя являлся в обществе, обработанный и вычищенный по литературным образцам, но все же язык разговора, а не только академической речи и печатного рассуждения. Карамзин не скрывал от себя, что на деле эта функция в его время и в его среде принадлежала языку французскому, и именно с этим он и боролся. «Руской Кандидат Авторства,— пишет он,— недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-Французски!» Но тот идеал языка, о котором мечтал Карамзин, и должен был вытеснить собой французскую речь из русского образованного быта. Этим объясняется и изобретение новых слов и выражений, на что Карамзин был очень счастлив. Он привил русскому языку такие слова, как *промышленность*, *будущность*, *влияние*; выражения вроде *убить время* (переведено дословно с французского *tuer le temps*) и т. д. Образцы такого языка, способного конкурировать с французским, и содержатся в «Письмах русского путешественника», в повестях и критических этюдах Карамзина, в его публицистике. Они оказывали мощное воздействие на передовую часть дворянского общества, проникали в его частную переписку, а затем и в устное общение, и, таким образом, процесс, начавшийся еще в середине XVIII в. на почве «среднего слога», получал свое дальнейшее продолжение. Круг лиц, подпадавших такому воздействию, первоначально был невелик. Привычка к французскому языку, как языку мыслей и чувств, так глубоко укоренилась, что еще и столетие спустя в известных кругах давала себя знать. Не только пушкинская Татьяна писала свое письмо Онегину по-французски, так как

...выражалася с трудом
На языке своем родном,

но еще и героиня повести Боборыкина «Без мужей», страдающая от неумения заинтересовать собой возможного жениха, охарактеризована следующим образом: «Ей стало досадно, что по-русски она говорит бесцветно: не хватает слов. Просто она глупеет. Будь это по-французски, она бы ему в четверть часа показала, как она умеет говорить и думать. На том языке готовые фразы. Ими играешь, как шариками. А тут надо заново составлять фразы. И в салонах их никогда не произносят». Для истории русского языка существенно все же то, что уже и в эпоху Карамзина был хотя бы небольшой круг лиц, которые могли считать вполне своим язык «Писем русского путешественника», как, например, в следующем отрывке:

«Отдохнувъ въ трактирѣ и напившись чаю, пошелъ я далѣе по берегу озера, чтобы видѣть главную сцену романа, селеніе Кларанъ. Высокія густыя дерева скрываютъ его отъ нетерпѣливыхъ взоровъ. Подошелъ, и увидѣлъ — бѣдную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы горъ, покрытыхъ елями. Вмѣсто жилища Юліина, столь прекрасно описаннаго, представился мне ста-

рый замокъ съ башнями; суровая наружность его показываетъ суровостъ тѣхъ временъ, въ которыя онъ построенъ. Многіе изъ тамошнихъ жителей знаютъ Новую Элоизу, и весьма довольны тѣмъ, что великой Руссо прославилъ ихъ родину, сдѣлавъ ее сценой своего романа. Работающій поселянинъ, видя тамъ любопытнаго пришельца, говоритъ ему съ усмѣшкою: баринъ конечно читалъ Новую Элоизу. Одинъ старикъ показывалъ мнѣ и тотъ лѣсокъ, въ которомъ, по Руссову описанію, Юлія поцѣловала въ первый разъ страстнаго Сен-Прё, и симъ магическимъ прикосновеніемъ потресла въ немъ всю нервную систему его.— За деревенькою волны озера омываютъ стѣны укрѣпленнаго замка Шильйона; унылый шумъ ихъ склоняетъ душу къ меланхолической дремотѣ».

Вопрос о том, что в данном типе языка донесено из старинной книжной традиции и что исконно принадлежит обиходному языку (ср., с одной стороны, *главную, работающій, прикосновеніемъ*, с другой — *берегу, деревеньку* и т. д.), что в нем свое и что идет с Запада, в сущности, уже не имел никакого практического значения и мог интересовать только староверов, продолжавших стоять на точке зрения теории трех слогов. В языке, который постепенно начинал получать преобладание с началом XIX в., элементы, восходящие по своему происхождению к разным источникам, стали стилистически неразличимы и растворились в скрещенном, но цельном единстве.

Аналогичный процесс происходил и в стихотворном языке новой литературы, в языке Батюшкова, Жуковского, их предшественников и преемников. Как уже указывалось в предыдущей главе, в стихотворной речи книжная традиция вообще была более сильна, и потому даже так называемая легкая поэзия начала XIX в. изобилует славянизмами, не втянутыми процессом скрещения в общий, средний фонд русской лексики. Но в этой поэзии у славянизмов уже совсем иная роль — они употребляются здесь не ради их «высоты», а ради новых стилистических задач, которые разрешались столько же при помощи славянизмов, сколько при помощи слов иного происхождения. *Ланиты* и *перси* в этой поэзии были стилистически равноценны со словами вроде *камелек* или *ручеек, розы* или *арфа*. Например, у Батюшкова:

Стану всюду развевать
Легким уст прикосновеньем,
Как зефира дуновеньем,
От каштановых волос
Тонкий запах свежих роз.
Если лилия листами
Ко груди твоей прильнет,
Если яркими лучами
В камельке огонь блеснет,
Если пламень потаенный
По ланитам пробежал,
Если пояс сокровенный
Развязался и упал,—
Улыбнися, друг бесценный,

Это я! — Когда же ты,
Сном закрыв прелестны очи,
Обнажишь во мраке ночи
Роз и лилий красоты,
Я вздохну... и глас мой томный,
Арфы голосу подобный,
Тихо в воздухе умрет.

(Обращает на себя внимание безразличное употребление слов *глас* и *голос* в конце приведенного отрывка, вызванное условиями стихосложения.) Конечный результат оказывался тот же, что и в прозе.— происхождение слова само по себе перестало определять его стилистический вес.

Ср. у Жуковского:

И старец зрит гостеприимной,
Что гость его уныл,
И светлый огонёк он в дымной
Печурке разложил.
Плоды и зелень предлагает
С приправой добрых слов;
Беседой скуку озлащает
Медлительных часов.
Кружится резвый кот пред ними;
В углу кричит сверчок...

И далее:

Трепещут перси; взор склоненный;
Как роза, цвет ланит...
И деву-прелесть изумленный
Отшельник в госте зрит.

Но наряду с легкой поэзией значительное место в русской литературной жизни начала XIX в. занимал и новый вид высокой поэзии, посвященный национально-гражданской теме. Эта традиция, воспитавшая, например, гражданскую лирику Пушкина и поэзию декабристов, нуждалась еще в славянизмах, как обособленном риторическом средстве, при помощи которого достигалась не только необходимая «высота» слога, но и его патриотический тон. Однако еще более важное значение получает в это время иное, ранее мало применявшееся средство, именно — архаизмы словаря и фразеологии в точном смысле этого слова, непосредственно отвечавшие появившейся потребности изображения старины и придававшие патриотическую выразительность рассказу. Для русской художественной речи первой половины XIX в. громадное значение должны были иметь опыты такого применения архаизмов в «Истории Государства Российского» и в исторических повестях Карамзина. Именно отсюда пошли в широкое литературное употребление слова и выражения, как *гривна*, *вече*, *отроки дружина*, *подручники*, *бить челом*, *опоясать мечом* и т. п. Карамзин нередко комментирует употребляемые им древнерусские слова и выражения, как например: «*ходить в дань*» значило тогда «объезжать Россию и собирать налоги», или «*стояли* всю ночь *за щитами*», т. е. «вооруженные

в боевом порядке» и т. п. Нетрудно видеть отражение этих лексических и фразеологических явлений в таких произведениях, как например «Думы» Рылеева, баллады Кюхельбекера, в романах Загоскина и т. п.

Реформированный литературный язык был явлением глубоко жизненным, потому что прямо отвечал потребностям литературы и среды, его создавшей. Помимо всего, его внедрение в письменный и устный обиход образованного слоя должно было в значительной степени содействовать уничтожению морфологических и произносительных отличий литературной речи от обиходной. Из литературного употребления постепенно исчезают формы вроде *рублевъ*, *въ пламѣ* и пр., но зато все труднее становится употреблять и формы вроде *явльшійся* вместо *явившійся*. Аканье к этой поре перестает уже быть приметой низкой речи; все чаще наблюдаются рифмы вроде *розы — слёзы*, ранее невозможные, так как в слове *слёзы* под ударением произносился гласный *е*; произношение *h* на месте нашего *г* мало-помалу ограничивается всего несколькими словами вроде *богатый*, *благо*, *бог*.

Однако прежний литературный язык с его разновидностями, разумеется, не сразу уступил место новому. Он сохранялся в употреблении наряду с новым, пока продолжали сохраняться виды письменности, нуждавшиеся в нем. Так, например, сами же новаторы литературы вроде Карамзина и Жуковского продолжали писать оды и сходные произведения. Разумеется, эти оды писались в соответствии с правилами классицизма. Да и вообще старина в языке не уступала своего места новизне без боя. Борьба по вопросу о «старом и новом слоге российского языка», разгоревшаяся с выходом в 1803 г. известного «Рассуждения» Шишкова, произвела глубочайшее впечатление на тогдашнее мыслящее общество, и отзвуки ее слышны в русской литературе еще много лет спустя. Но собственно в истории русского языка вся эта знаменитая полемика не имела почти никакого значения. Интерес ее не лингвистический, а гораздо более широкий, мировоззрительный. В горячем и искреннем, но в значительной мере безотчетном патриотизме Шишкова находили себе опору носители убежденного и сознательного патриотизма из среды литературной молодежи, идеологи будущего декабризма, испугавшиеся космополитической внешности карамзинизма, совсем не пугавшей, например, Пушкина. Но что касается самого по себе вопроса о языке, то Шишков, придерживавшийся теории трех стилей, в то же время грубо искажал сущность учения Ломоносова, так как высоким слогом считал не скрещенный «славенороссийский» язык с добавлением отдельных элементов из языка церковных книг, а именно сам по себе церковный язык. Своим критикам, указывавшим, что языки «славенский» и «русский» — это разные языки, Шишков упрямо возражал, что это не два разных языка, а два разных слога одного и того же языка, что, может быть, имело бы смысл в допетровской Руси, и предлагал ввести в литературное употребление слова вроде *лысто*, *любопрѣніе*, *неп-*

щевать, *углѣбать*, *уне*, *усыренный* и т. п. Разумеется, никто так не стал писать, в том числе и сам Шишков, и все это была чистая утопия, очень далекая от идеи Ломоносова, именем которого клялся Шишков. Гораздо ближе к Карамзину, чем им самим казалось, были по языку и молодые шишковисты вроде Кюхельбекера. Их полемика с арзамасцами по вопросу о языке была производной от полемики по вопросу о предмете поэзии и выражалась в противопоставлении «важной» поэзии, с высоким гражданским содержанием, расплодившимся в школе Карамзина и Дмитриева «безделкам» (ср. остроумные возражения Пушкина в IV главе «Евгения Онегина»). А образцовость слога Карамзина впоследствии признавал тот же Кюхельбекер.

Выступление Шишкова против нового слога имело отчасти то практическое значение, что заставило литераторов начала века несколько строже отбирать слова западноевропейского происхождения для употребления в литературе. Но и в данном отношении не следует преувеличивать роль Шишкова. Дело в том, что Карамзин уже в 1797 г., за шесть лет до выступления Шишкова, во втором издании «Писем русского путешественника» устранил громадное число заимствованных слов по сравнению с первопечатным текстом «Писем» 1791 — 92 г. Так, вместо «о моемъ *вояжѣ*» во втором издании «Писем» поставлено «о моемъ *путешествіи*», вместо «потомъ *публикуетъ* о васъ» читаем «потомъ *объявитъ* о васъ», вместо *натурально — как водится*, вместо «искусство въ *балансированіи*» — «искусство въ *прыганіи*» и т. д. Между тем Шишков требовал решительного отказа от европеизации русской речи и протестовал против употребления даже таких слов международного характера, как *моральный*, *эстетический*, *эпоха*, *сцена*, *гармония*, *интерес*, и укоренившихся в русском обиходе фразеологических галлицизмов, как *тонкий вкус*, *трогать душу* и т. д. В целом можно сказать, что излишества, допускавшиеся в данном отношении писателями конца XVIII — начала XIX в., обнаружились и были отвергнуты русской литературной речью независимо от того, что̀ писали по этому поводу Шишков и его сторонники.

Но было в новом слоге одно действительно серьезное противоречие. На него указывал отчасти и Шишков, но только он не мог указать путей к его разрешению. Дело в том, что обработанный, чистый и элегантный язык, какой насаждали литературные новаторы в книгах и обществе, был лишен аромата живой повседневности и подлинной народности. Это делало его бедным и вялым в художественном отношении, но в то же время он оставался слишком элегантным для надобностей деловых. Носители этого «очищенного», «благородного» языка боялись занести в него дух «простонародности» и тривиальности и потому избегали употребления слов, по своему вещественному значению или стилистическому колориту не свойственных обиходу светского салона. Карамзин считал невозможным употребление в литературе слов вроде *квас* или *парень*. Крылова осуждали за то, что он не выдерживал правила:

«изъясняться всегда правильно и особливо избегать слов, употребляемых чернью», как например *не моги, стеречи, гуторя вздор, глядит-ко* (А. Измайлов). Вообще Крылову предпочитался как баснописец Дмитриев и именно потому, что слог его был более «чист». Разница языка в произведениях того и другого видна, например, из сравнения текста принадлежащих им одноименных басен. Дмитриев начинает свою басню «Дуб и трость» так:

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры.

А Крылов так:

С тростинкой Дуб однажды в речь вошел.

У Дмитриева:

Легчайший ветерок, едва струящий воду.

А у Крылова:

Чуть легкий ветерок подернет рябью воду.

У Дмитриева:

— Ты очень жалостлив, Трость Дубу отвечала:
Но право, о себе еще я не вздыхала.

А у Крылова:

— Ты очень жалостлив, сказала Трость в ответ,
Однако не крушись: мне столько худа нет,

и т. д. Язык дмитриевской басни, действительно, чист и прост, но лишен тех живых красок народности, какими отличается язык в баснях Крылова. Понятно, что эпигоны карамзинизма еще утрировали эту боязнь «простонародности», и они-то и создали ту тираническую традицию языка «хорошего общества» и «людей со вкусом», которая вызывала такое раздражение Пушкина и давала повод иной раз для очень метких и забавных пародий вроде следующего места из «Российского Жиль-Блаза» Нарежного:

«Вместо того, чтобы сказать, как и было прежде: «Матушка, мне пора накрывать на стол? уже батюшка пришел с гумна», она говорила: «Ma chère maman! Я имею думать, что уже время ставить на стол куверты на пять персон; mon chèr papa изволил возвратиться из вояжа, во время которого изволил он осмотреть хозяйственные заведения касательно хлебопашества».

Так стала говорить Катерина после того, как стала невестой знатного и светского человека. Таким образом, для того, чтобы русский литературный язык стал подлинно национальным языком, надлежало еще разрушить ту преграду, которая возникла между языком образованного круга, как он воплощался в обиходе салона и литературы, и языком русской народной повседневности. Это было осуществлено в 20—30-х годах XIX в. писателями послекарамзинского периода, во главе с Пушкиным, имя которого и стало

для последующих поколений символом общерусской национальной языковой нормы.

То, что обычно подразумевается под ролью, которая принадлежит Пушкину в истории русской литературной речи, есть новый и последний акт скрещения книжного и обиходного начал нашего языка. Книжное начало для Пушкина было воплощено в наиболее крупных и ярких достижениях карамзинской школы, например в «Истории Государства Российского», в поэзии Батюшкова и Жуковского, обиходное — в творениях Крылова или Фонвизина, то есть в том идиоматически-народном языковом материале, на каком построены басни Крылова, из которого состоит речь Простаковых, Еремеевны и т. д. Язык Пушкина в его наиболее зрелых произведениях есть объединение этих двух традиций, и именно такое объединение, в котором отдельные элементы уже не могут быть изящными или грубыми сами по себе, а непосредственно подчинены данному контексту в его конкретной цельности. Поэтому простонародные и повседневные выражения, в той мере, в какой они вообще были свойственны домашней бытовой речи русского культурного слоя, сохранившего связь с народной почвой, находят себе место и в самых «важных», по прежней терминологии, произведениях Пушкина, например:

Когда за городом, задумчив я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах.
По старом рогаче вдовицы плач амурный
Ворами со столбов отвинченные урны:
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут —
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть, да бежать...

Или в другом стихотворении:

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать.
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать.

Или в «Медном Всаднике»:

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.

Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку,
Он к ней бежит, как на находку,
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

Общеизвестны «простонародные» слова и бытовые прозаизмы в самых задушевных лирических стихотворениях Пушкина, в его байронических поэмах, в таких наиболее совершенных его созданиях, как маленькие трагедии, поэма о Тазите и т. д. Например, в стихотворении «Осень»:

Теперь моя пора: я не люблю весны,
Скучна мне оттепель, вонь, грязь — весной я болен...

И далее:

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной...

Ср. в поэме о Тазите:

Поди ты прочь — ты мне не сын.
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин.
Будь проклят мной. Поди — чтоб слуха
Никто о робком не имел,
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно,
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волчонка затерзали,
Чтоб ты... беги.. беги скорей,
Не оскверняй моих очей!

Нечего и говорить о таких произведениях Пушкина, в которых изображается живая речь простых людей, вроде «Бориса Годунова», «Капитанской дочки» и т. д.

Защитникам хорошего вкуса и вылощенного светского языка Пушкин неоднократно указывал на мнимость, фальшивость их идеала. Друг Пушкина Вяземский очень метко однажды сказал, что только лакей постеснялся бы в обществе произнести слово вроде

воняет, но что «порядочный человек смело скажет это слово и в великосветской гостиной и перед дамами». Совершенно в том же духе Пушкин писал в одной из отброшенных строф «Евгения Онегина»:

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.

Решительно борясь с условностью светских приличий в литературной полемике, Пушкин подкреплял свое мнение и здесь ссылкой на обычаи языка: «В обществе вы локтем задели соседа вашего, вы извиняетесь — очень хорошо.— Но гуляя в толпе под качелями, толкнули лавочника — вы не скажете ему: mille pardons. Вы зовете извозчика — и говорите ему: *пошел в Коломну*, а не — *сделайте одолжение, потрудитесь свезти в Коломну*». Во всех подобных полемических и критических замечаниях отчетливо проступает твердое убеждение Пушкина в ненужности и невозможности твердых границ между живой речью русского повседневного быта и литературной нормой языка.

Уже сказано, что в литературе точкой опоры были для Пушкина в этом его убеждении басни Крылова, комедии Фонвизина и другие памятники русского национально-языкового колорита в письменности. Но Пушкин не мог бы так успешно воплотить в жизнь тот замысел, который он ставил себе в отношении литературной речи, если б он питался только литературным преданием русского просторечия. Пушкин черпал силы для своего подвига непосредственно в источнике народной речи, в языке народной поэзии, в народной русской психологии, в мире национальных преданий и привычек, в прошлом русского народа и русского государства. Его жадный интерес ко всему, что отмечено печатью народности в русской действительности, общеизвестен. Здесь можно ограничиться только указанием на то, что если бы не эта кровная и прочная связь Пушкина с русским народом, его бытом, историей и психологией, то великий синтез литературного и народного начал в русской речи, возникший в результате деятельности Пушкина и его современников, никогда не был бы достигнут. Ко всему следует еще добавить, что в пушкинское время, и прежде всего в произведениях самого Пушкина, значительно сокращается употребление различных «поэтических вольностей», произносительная сторона речи в стихах становится еще более близкой к произношению общеупотребительному и т. д. Шишков еще продолжал требовать, чтобы в «важном» слоге произносили слово «гора» на «о» и с звуком *h* вместо *г*, но это был уже в полном смысле слова вчерашний день для 20—30-х годов XIX в. Вообще Пушкин был не столько реформатор, сколько великий освободитель русской речи от множества сковывавших ее условностей.

Простота, естественность, чувство меры и полной внутренней свободы в подборе языковых средств характеризуют художествен-

ную речь Пушкина как со стороны ее словарного состава, так и в отношении композиционного построения. Изящно отделанный, но нередко кудрявый и растянутый синтаксис Карамзина под пером Пушкина сменился энергичным и точным лаконизмом, сжатой деловитостью изложения. Вот для сравнения отрывки из «Рыцаря нашего времени» Карамзина и «Дубровского» Пушкина.

Первый:

«На луговой стороне Волги, там, где впадает в нее прозрачная река Свияга, и где, как известно по Истории Натальи, Боярской дочери, жил и умер изгнанником невинный Боярин Любославский — там, в маленькой деревеньке, родился прадед дед, отец Леонов; там родился и сам Леон, в то время, когда Природа, подобно любезной кокетке, сидящей за туалетом, убиралась, наряжалась в лучшее свое весеннее платье; белилась, румянилась... весенними цветами; смотрелась с улыбкою в зеркало... вод прозрачных, и завивала себе кудри... на вершинах древесных — то есть...» и т. д.

Второй:

«Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев».

Более близкое изучение этого стиля принадлежит уже не истории русского языка, а истории русского литературного искусства. Однако связь между этой удивительной и зрелой простотой построения речи у Пушкина, между его стремлением к «прелести нагой простоты» и его враждой к искусственным перегородкам, отделявшим литературную речь от живой остается очевидной. Поэтому именно в художественном языке Пушкина и нашел русский национальный язык ту воплощенную норму, которая была целью всех сложных событий, происходивших в нем с конца XVII в.

Глава одиннадцатая

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В XIX—XX вв.

Из изложенного следует, что на конечном пункте движения русского языка к общенациональной норме решающая роль выпала на долю русской художественной речи. Это объясняется тем, что именно в художественной литературе пушкинского времени возникли задачи, осуществлению которых мешали искусственные перегородки между языком «лучшего общества» и языком повседневной жизни. Нетрудно видеть, что это было движение к художественному реализму, с такой ясностью обозначившееся в середине

литературного пути Пушкина. В этом кульминационном пункте развития русской национальной письменной речи задачи художественной и внехудожественной письменности оказались чрезвычайно близки. Однако после того как уже возникла национальная норма, языковые интересы художественной литературы и русской письменности вообще снова разошлись, что соответственно отразилось и в истории русского языка.

Как указано в предшествующей главе, тот тип письменного языка, который стал господствующим в начале XIX в., был слишком хитер и элегантен для общих нужд письменности, зато очень беден, худосочен с точки зрения требований художественности. Но пушкинская эпоха, подняв знамя народности в языке, тем самым нашла и истинный источник художественности для письменной речи. Следовательно, она освободила язык предшествующего развития от обязанности преследовать эстетические цели и оставила ему только его общенациональные функции. Стало ясно, что общенациональный язык — это не непременно художественный язык, но что, с другой стороны, специфически художественные задачи должны решаться вовсе не одними только непременно средствами общенационального языка. Вот почему история русского языка в течение XIX и XX вв.— это в значительной мере есть раздельная история общерусского национального языка и языка русской художественной литературы.

Начнем с последней. Так как основным материалом великой русской реалистической литературы XIX—XX вв. была реальная русская действительность в ее жизненной подлинности, то писатели-реалисты неминуемо должны были включить в число своих задач также воспроизведение живой русской речи в многообразных ее профессиональных, социальных и диалектных проявлениях. В особенности после замечательных достижений гоголевской школы одним из постоянных и прочных интересов русского писателя стали характерологические подробности и нюансы языка различных групп русских людей. С другой стороны, интерес к подробностям живого языка в его предельной непосредственности диктовался писателям и громадными завоеваниями в области психологического анализа, какими отмечены вершинные явления русской литературы в произведениях Льва Толстого, Достоевского и их преемников. Все это послужило основанием того, что в русскую литературу, начиная с эпохи Гоголя, широким потоком влились разнообразные внелитературные языковые материалы, имеющие свой источник то в крестьянских говорах, то в языке ремесленников или купцов, то в своеобразных состояниях душевной жизни мелкой или, наоборот, глубокой натуры и т. д. Весь этот пестрый материал стал для писателей-реалистов одним из важнейших средств в создании художественного типа, пластической массой для лепки образов и прежде всего для построения д и а л о г а.

Рамки языковых средств писателя поэтому раздвинулись очень широко. Внелитературный материал вливался в литературное упот-

ребление как явлениями произношения, так и грамматическими, а в особенности словарными и фразеологическими фактами. Особенно большое значение имел при этом материал крестьянской речи. Одним из самых замечательных мастеров изображения крестьянской речи в русской литературе бесспорно должен быть признан Лев Толстой. Крестьяне в произведениях Толстого говорят точным языком деревни — в той мере, в какой это вообще возможно и допустимо в печатном литературном произведении, но в то же время тактично,— то есть Толстой не превращает свои произведения в этнографическую выставку. Выдающийся интерес представляет в этом отношении «Власть тьмы». Здесь в полном почти пренебрежении оставлена фонетическая сторона, но словарь и синтаксис строго выдержаны, например:

«М а т р е н а. Ну, новости сказала! А тетка Матрена и не знала. Эх, деушка, тетка Матрена терта, терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка! под землей-то на аршин видит. Всё знаю, ягодка! Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надоть. Принесла... Чего надо-то вижу, а чего не надо, того знать не знаю, ведать не ведаю. Так-то. Тоже и тетка Матрена молодая была. Тоже с своим дураком, ведашь, умеючи прожить надо. Все 77 уверток знаю. Вижу, ягодка, зачиврял, зачиврял твой-то старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, на весну похоронишь. Принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок чем не мужик. Не хуже людей. Так что же мне за корысть сына-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг?»

В других случаях Толстой воспроизводит и произносительную сторону речи своих персонажей. Например, в «Севастопольских рассказах» один солдатик говорит «у сердце гхорить». Здесь показано южновеликорусское *у* вместо *в* перед гласным в начале слова и заднеязычное фрикативное *h* вместо литературного *г*, а также мягкое *т* в окончании третьего лица настоящего времени. Там же читаем: *нынче так бьеть, что бяда*; *вот она аж через несеть*; *большущая такая ядро*. Во «Власти тьмы» наблюдаем: *слыхамши*, *куфарка*, *правов нет*, *силом*, новые звательные падежи вроде *Микит*, *Акуль* и т. д. Вообще, независимо от степени искусства или языкового такта отдельных писателей, это тот именно процесс, который сроднил читателя русской беллетристики XIX—XX вв. с такими явлениями произношения, грамматики и словаря, как *ён*, *маненько*, *теперя*, *вчерась*, *завсегда*, *баить*, *гутарить*, *лядащий* («как говорят у нас в Орле» — поясняет это слово Тургенев), *нешто*, *оченно*, *болезный*, *должнó* и многие другие. Известны также злоупотребления, допускавшиеся в данном отношении отдельными беллетристами, тонувшими в своем этнографическом материале и терявшими чувство художественной меры. Именно в результате подобных явлений и появлялись протесты вроде протеста Чехова, который в известном письме к брату (1889) писал: «Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. Лакеи должны говорить просто; без *пущай* и без *таперича*». В целом, однако, надо сказать, что

произведения писателей, хорошо знавших деревню и чутких к языку, содержат очень большой диалектологический материал, которым еще не воспользовались в должной мере ученые-лингвисты.

Один из очень важных вопросов в истории русского беллетристического языка XIX—XX вв.— это язык персонажей, тронутых полукультурой, то есть совершенно внешне прикоснувшихся к городской цивилизации, но оставшихся на примитивной стадии духовного развития. Это своеобразный гнилой продукт капиталистической цивилизации, порождавшей отщепенцев, которые потеряли свое место в народной массе, но не нашли себе места и в рядах носителей национальной культуры. Это мир русского мещанства и купечества в тех красочных его зарисовках, какие встречаем в произведениях Гоголя, Островского, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького. В беллетристике конца XIX и начала XX в. с замечательным искусством воспроизводится уродливый, исковерканный язык этого социального мира, в котором цельная и яркая народная речь заменена бессмысленными обрывками худо переваренной книжно-интеллигентской речи. Один из примечательных образов этого рода — чеховский Епиходов в пьесе «Вишневый сад». Он говорит так:

«Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа».

Отличительная черта этого языка есть обилие вводных слов и разрушенная фразеология: *с точки зрения* — неизвестно какой, *в состоянии духа* — неизвестно какое и т. д. Притом сам Епиходов объясняет совершенно точно происхождение этого языка:

«Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне, или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер».

Язык лиц, которые, как телеграфист Ять в чеховской «Свадьбе», «хочут свою образованность показать», проявляется многообразно и не сводим к единой формуле. Сюда принадлежит и пьяный купец-самодур, кричащий в клубе: «прошу мне не претикословить», и переехавший в город крестьянский сын, посылающий оттуда родителям фунт чаю «для удовлетворения их физической потребности», и приказчик, житейская мудрость которого отлилась в формулы: «соответствие жизни по амбиции личности» или «все зависимо от волнения кредита», и заказывающий половому в трактире язык в следующих словах: «Дай-ка нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре» и т. д. Соответствующий материал нашей беллетристики очень важен для изучения тех процессов концентрации и расслоения, которые происходили в языке широких масс России по мере развития в ней капиталистических отношений.

Совсем особый интерес представляют «языковые маски», какими наделяют своих персонажей русские беллетристы с целью создания

индивидуальных психологических портретов или изображения особых душевных состояний. Например, Гоголь пользовался в известных случаях особым как бы междометно-местоименным языком, в котором нет никакого вещественного содержания и угадываются лишь некоторые совершенно смутные душевные движения, как, например, в знаменитом присловии Акакия Акакиевича *того*. Ср., например:

«Да, конечно, нельзя сказать, чтоб не было того в своем роде... Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было... Где ж, так сказать, а впрочем... да, да».

Или:

«Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет! нет! Совсем не понимаю... А однако же при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то и другое и третье, может даже... ну, да и где не бывает несообразностей... а все однако ж... есть что-то...»

Этот стиль речи вызывал многочисленные подражания, например в «Петушкове» Тургенева и др. К той же области явлений относятся и такие портретные характеристики, в которые вплетаются языковые приметы, так что персонаж описывается автором не только со стороны своей внешности, костюма, но также со стороны своей речи. Ср. о молодом Верховенском в «Бесах» Достоевского:

«Выговор у него удивительно ясен, слова его сыплются, как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должен быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком».

В другом роде характеристика речи Кириллова:

«Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составлять фразу подлиннее».

Вот образец того, как говорит Кириллов:

«Старушка свекровь приехала; нет, сноха... всё равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком, по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячом. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить: укрепляет спину. Девочка».

В особых условиях развивался язык стихотворной поэзии. Он только отчасти был затронут подобными характерологическими устремлениями, а в лирике — самом значительном явлении русского стихотворства — почти совсем свободен от них. Поэтому язык стихотворной поэзии в начале и в конце XIX в. разнится неизмеримо меньше, чем язык художественной прозы в те же периоды. Уже в XX в. и в этой области происходят известные перемены, преимущественно связанные с футуризмом, с поэзией Маяковского, но здесь нет возможности останавливаться на этом вопросе отдельно.

Здесь названы только некоторые проблемы истории русского литературно-художественного языка из числа целого их множества. Как нетрудно видеть, это такие лингвистические проблемы, которые перерастают в проблемы искусствознания. Но рядом с этой историей художественного употребления русского языка, как в его общенациональной форме, так и в прочих его частных, территориальных, социальных и индивидуальных разновидностях, продолжалась своим чередом история самого национального русского языка как орудия общерусской культуры и государственности. В течение XIX—XX вв. эта история сводится преимущественно к следующему.

Указанная пора русской истории была порой окончательного упрочения фонетических и грамматических норм, а параллельно этому — больших, хотя и не окончательных успехов в распространении орфографической грамотности. В главе 10-й было, между прочим, указано, что еще и в начале XIX в. в языке культурного слоя удерживались отдельные элементы, противоречившие средней норме книжного языка. Сюда относится, например, русифицированное произношение некоторых заимствований с диссимиляцией носового и неносового губного, как например *анбар* вместо *амбар*, *шанпанское* вместо *шампанское*, *ры* вместо *ри* в положении между согласными, как например *скрыпка*, *грыбы*, сочетание *шн* на месте *чн* в большем числе случаев, чем слышится теперь, как например *свешной* вместо *свечной*, такие формы, как *ребяты*, *кольцы*, *к темю* (вместо *к темени*), *три дни*, *к ему*, *к стате* и т. д. В течение второй половины XIX в. эти запоздалые признаки «простонародности» исчезают из языка образованных кругов общества под воздействием школы и грамматик Греча, Востокова и др., отражающих уже упрочившуюся общенациональную норму книжной речи. Одновременно происходит процесс унификации орфографии. Среди самых блестящих представителей русской культуры еще в первые десятилетия XIX в. можно указать много лиц, орфография которых, с нашей, теперешней, точки зрения должна казаться безграмотной. Грибоедов писал *лезитъ* (вместо *лъзетъ*), *кормановъ*, *давиче*, *на еву* (вместо *наяву*), *старичьковъ*; Пушкин писал *каляска*, *окуратный*, *голинькой*, *прозьба*, *завяски* и т. д. Не случайно Карамзин жаловался, что даже в Москве «с величайшим трудом можно найти учителя для языка русского, а в целом государстве едва ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание». К концу века, вследствие значительного усиления общественной роли школы, положение стало уже другим. Было, разумеется, множество спорных и неясных вопросов орфографии,— их и сейчас еще, даже после реформы 1917 г., остается немало,— и эти вопросы так или иначе решались в органах просвещения и в педагогических кругах. Важнейшая такая попытка упорядочения орфографии принадлежит академику Я. Гроту (1886 г.). И хотя широкие народные массы оставались по-прежнему неграмотными, а гротовская орфография была для человека средней степени куль-

турности не очень проста и легка, все же лица, стоявшие на высоте образованности своего времени, в конце XIX в. достаточно хорошо писали «по Гроту». Дальнейшие успехи распространения грамотности относятся уже к нашей революционной эпохе. Два акта новой власти: реформа орфографии, то есть исключение из нее ненужных и устарелых букв и написаний, и введение обязательного начального обучения — сделали грамотность действительно общенародным делом.

Одновременно продолжалось обогащение национального русского языка в терминологическом отношении. Развитие русской публицистики, философии, успехи истории и естествознания создавали потребность в новых словах или в приспособлении старых для обозначения соответствующих понятий умственной жизни и науки. Из различных путей, какими шло это обогащение словарного состава русского языка, нужно указать три основных. Во-первых, словопроизводство по книжным образцам. Сюда относится, например, много слов на *-ние*, и на *-тель* вроде *рукоплескание*, *голосование*, *деятель*, *вдохновитель*, далее слова вроде *научный*, *даровитый творчество*, *действительность*, *влиятельный* и т. п. Во-вторых, немало появилось новых калек, слепков с иноязычных моделей,— в середине века, в эпоху распространения немецкой идеалистической философии, здесь были продуктивны некоторые немецкие образцы, нередко в свою очередь восходящие к латинским или греческим. Таковы новые слова вроде *прекраснодушие* (*Schönseligkeit*), *мировоззрение* (*Weltanschauung*); другие слова получили новые значения, применяясь к значениям соответствующих иноязычных образцов, как например *призвание* — ср. «чувствовать призвание к науке» и «приди на дружное призванье» у Пушкина, или *односторонний* в переносном значении ограниченного, узкого и т. д. В-третьих, продолжалось интенсивное усвоение русским языком международной терминологии, как специальной научной, так и общественно-политической, состоящей из античного языкового материала (преимущественно латинского), как например: *факт*, *результат*, *прогресс*, *солидный*, *солидарный*, *формулировать*, *вотировать*, *резюмировать* и т. д. На этой почве возникают в русском общенациональном языке и новые суффиксы, отвлеченные от иноязычных слов, вроде *-изм* (*аскетизм*, *мистицизм*, *обскурантизм*), *-изация* (*поляризация*, *пауперизация*) и т. д. Ср. такие слова, как *царизм*, наше современное *военизация* и др.

Разумеется, и здесь на первых порах, как это происходило и в начале века, встречалось злоупотребление и модничанье новыми терминами, в особенности не у тех, кто вел литературу и культуру вперед, а в среде подражателей и эпигонов. О характере этой моды дают представление насмешки и пародии, в каких не было недостатка в литературе середины века. Например, в «Мертвых душах» Чичиков в библиотеке полковника Кошкарева наталкивается на шеститомный труд с таким заглавием: «Предуготовительное вступление к теории мышления, в их общности, совокупности и в приме-

нении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». И далее говорится:

«Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице — проявленье, развитье, абстракт, замкнутость, сомкнутость, и чорт знает, чего там не было».

Ср. с этим в одной из повестей Некрасова:

«У них только на языке Гегель да Шлегель. Примутся толковать Грибоедова, а заговорят о сотворении мира; поверьте — в их индивидуальностях, единичностях, в их нормальностях и абстрактностях — просто ничего, как бессмыслица, грандиозная (как говорят они) бессмыслица».

Вспоминается и рассказ об «отчаянном гегелизме» в «Былом и думах» Герцена, по словам которого, «люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности» и о ее по себе бытии». Далее читаем:

«Молодые философы приняли... какой-то условный язык; они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще для большей легкости оставляя все латинские слова in crudo, давая им православные окончания и семь русских падежей. Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же, да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это «птичьим языком». Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских».

Но вот тот же Герцен в пору своей литературной зрелости дает такие образцы публицистического языка — точного и ясного, но впитавшего в себя все необходимое и полезное из новейшей терминологии и фразеологии:

«Нельзя не разделять здоровый, реалистический взгляд, который в последнее время, в одном из лучших русских обозрений, стал выбивать тощую моральную точку зрения на французский манер, ищущую личной ответственности в общих явлениях. Исторические слои так же худо, как геологические, обсуживаются уголовной палатой. И люди, говорящие, что не на взяточников и казнокрадов следует обрушивать громы и стрелы, а на среду, делающую взятки зоологическим признаком целого племени, например, *безбородых русских*, совершенно правы. Мы только и желаем, чтоб николаевские лишние люди состояли на правах взяточников и пользовались бы привилегиями, дарованными казнокрадами. Они это тем больше заслужили, что они не только лишние люди, но почти все — люди умершие, а взяточники и казнокрады живут, и не только в довольстве, но и в историческом оправдании. С кем тут сражаться, над

кем смеяться? С одной стороны, упавшие от утомления, с другой — помятые машиной; винить их за это так же невеликодушно, как винить золотушных и лимфатических детей за худосочие их родителей».

Нельзя не заметить, что, в противовес предшествовавшему примеру, в этом последнем латинские слова звучат совершенно как русские. То же скажем и относительно такого типа речи, в котором изложение может быть названо собственно научным, как например в следующем отрывке из Писарева:

«Для древних обществ, построенных на рабстве, эта возможность не существовала. В этих обществах свободный гражданин, обеспеченный в своем существовании, мог, не роняя своего достоинства, заниматься только или политикой, или философией, или свободными художествами. Когда водворялся военный деспотизм, тогда политика отнималась прочь. Оставались философия и художества. Но философия имела какой-нибудь смысл только тогда, когда она готовила человека для деятельной и общеполезной жизни, то есть все-таки для политической карьеры. Когда философия лишалась этой единственной цели, она живо превращалась в бессмысленное фразерство или в болезненную мечтательность. Вместо мыслящих граждан, она начинала формировать риторов или мистиков. Что же касается до художеств, то они, по своей известной гибкости, применялись ко всему и, находясь в деморализованном обществе, становились немедленно ревностными пропагандистами низости и нелепости. Так как при рабском труде прикладные науки не могли ни возникнуть, ни развиваться, то понятно, что в обществе, подчинившемся военному деспотизму, должны были с изумительной быстротой атрофироваться или искажаться умственные способности, лишенные всякого правильного и здорового упражнения».

В последних двух примерах нет уже почти ничего, что не могло бы и в наше время быть выражено точно теми же словами, взятыми в точно том же значении. И в грамматическом и в словарном отношении здесь эти тексты представляют такой материал, что только действительно глубокий знаток предмета может заподозрить их принадлежность к эпохе, отделенной от нашей семью-восемью десятилетиями. Разумеется, это не следует понимать так, будто русский язык с того времени остался вполне неизменным. Наоборот, мы хорошо знаем, что за эти семьдесят-восемьдесят лет он не только продолжал эволюционировать по проложенным уже ранее линиям своего развития, но испытал также сильную встряску в связи с событиями мировой войны 1914 г. и Октябрьской революции. За это время появились и новые слова вроде *комсомол*, *колхоз*, и новые значения старых слов вроде *бригадир*, *ударник*, и новые области применения для прежних слов вроде *комиссар*, и новые явления словопроизводства, как например *агитка*, *избач*, и множество различных сложносокращенных слов, употребляющихся преимущественно для обозначения новых явлений послевоенной и

революционной действительности и т. д. Но вместе с тем,— и в этом очень существенная черта жизни русского языка в указанное время,— общеписьменный язык, сложившийся во второй половине XIX в., весь, целиком вошел в сегодняшнюю, советскую культуру, и это делает русский язык советской эпохи языком традиционным в лучшем и самом точном значении этого слова.

Этой традиции угрожала некоторая опасность в связи с вторжением в нее известных элементов местного и профессионально-просторечного характера. Но русский язык советского времени легко справился с этой опасностью, причем громадная историческая заслуга в этом принадлежит безукоризненно точной и далеко рассчитанной политике советской власти. Борьба за высокую и всеобщую грамотность, за чистоту и точность речи как одно из важнейших условий культурного роста есть устойчивая черта многообразных мероприятий Советского правительства и большевистской партии...

Мемуарист * рассказывает о Ленине:

«Когда Владимиру Ильичу приходилось работать над какими-нибудь сочинениями, декретами или заявлениями, которые должны были обращаться к широким массам, он всегда помнил сам и требовал такой же памяти от других, что всё что идет именно в массы, должно быть особенно тщательно просмотрено, особенно популярно, но отнюдь не вульгарно, написано... Он терпеть не мог... усвоенный у нас газетный язык, который часто был настолько беден, труден, скучен и непонятен, что Вл. Ильич не однажды восклицал при чтении газет: «На каком языке это написано? Тарабарщина какая-то. Волапюк, а не язык Толстого и Тургенева».

Особенно беспощаден был Ленин в осуждении щеголяния ученой терминологией, засорения русской речи совершенно не нужными иноязычными заимствованиями. В знаменитой записке «Об очистке русского языка» Ленин объявляет решительную борьбу той полуученности, полукультуре, которая хватается за модные слова, как за средство прикрыть свою духовную наготу. Ленин здесь пишет:

«Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французско-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-француз-

* [В. Бонч-Бруевич, Как работал Владимир Ильич. «Читатель и писатель», 1928, № 2.]

ски учился, но, во-первых, не доучился, а, во-вторых, коверкал русский язык» (т. XXIV, стр. 662)[1].

Известны насмешки Ленина над учеными претензиями в языке его современников. По поводу слова *лимитируются*, которое употребил Бухарин вместо *ограничиваются*, Ленин комически восклицал: «О, академизм! О, ложноклассицизм! О, Тредьяковский!» (Ленинский сборник, XI, стр. 385). Но Ленин решительно возражал против попыток говорить с массами на каком-то особом, упрощенном языке, считая это даже оскорбительным для них. «Да говорите же вы о серьезных вещах выпрямившись, и предоставьте педагогию педагогам, а не политикам и не организаторам!» — говорил Ленин (т. IV, стр. 462). В своей собственной литературной работе Ленин всегда стремится поднять читателя до себя, сделать и его носителем языка общенационального, а не только местного, литературно-ученого, а не только бытового. Не раз, например, отмечалось обыкновение Ленина разъяснять тут же в тексте употребляемые им термины иноязычного происхождения, относящиеся к общественно-политической жизни, экономической науке и т. д. Например: «...в делах купцов и фабрикантов наступила *заминка*, так называемый кризис» (т. I, 367), или: «...организация (то есть объединение, союз) мирского крестьянства колоссальна (то есть огромна, необъятна)» (т. V, стр. 277), «...нивелировка (выравнивание) условий жизни в больших городах всего мира» (т. XVIII, стр. 112) и т. д.

Эта средняя линия употребления письменного языка, с одной стороны удерживающая язык на высоком уровне современной культуры, а с другой — не допускающая отрыва его от народной почвы, и есть руководящая линия языковой политики советской власти...

Представителем этой же линии развития письменной речи в художественной литературе был Горький. После периода критических событий, пережитых русской художественной литературой в начале XX в., в современной литературе, по-видимому, становится все более авторитетным и притягательным такой способ употребления языка, при котором, независимо от задач изображения речи персонажей в их жизненной правдивости и характерности, сам автор в своем собственном повествовании, во всяком случае, отказывается от имитации языка своих героев и придерживается общенациональной языковой нормы. Горький настойчиво пропагандировал необходимость следовать этой норме, одинаково вооружаясь как против языка чересчур книжного и кудрявого, так и против злоупотребления вульгарным и областным языком в художественном употреблении. «Почему нужно писать «вечерняя серина»? «скукожился»? Это у Панферова такое же любимое словечко как у Гладкова — «сбычился». Почему «трясогузку» нужно переименовывать в «трясуху»?.. Панферов пишет, как слышал: «проклит» вместо «проклят»... Пристрастие к провинциализмам, к местным речениям так же мешает ясности изображения, как затрудняет нашего читателя втыкание

[1] В. И. Ленин цитируется по третьему изданию.

в русскую фразу иностранных слов. Нет смысла писать «конденсация», когда мы имеем свое хорошее слово — «сгущение».

Разумеется, советская литература далека от механического и прямолинейного следования этим советам. Их истинная ценность — принципиального, а не частного значения. Невозможно было бы, например, с этой точки зрения дать надлежащую оценку поэзии Маяковского, которая невыразима не на своем языке, уходящем корнями в пеструю, нервную и фамильярную речь повседневности с ее грубоватой развязностью и живописностью. Систематическое употребление определенного круга диалектизмов (*ажник*, *гутарить*, *зараз*, *трошки*, и т. д.) есть неотъемлемая черта стиля, созданного Шолоховым. Но в той мере, в какой язык художественной литературы имеет все же общие основания с языком письменности вообще, он и в наше время развивается по исконно наметившемуся пути слияния обиходной и книжной речи в одно плотное и прочное целое. Это столько же язык народных будней, возведенный в литературное достоинство, сколько литературно-ученая речь, ставшая неотторжимым достоянием русской повседневности. Не приходится доказывать, что именно этой своей живой и прочной связью с традициями классической поры его развития современный русский литературный язык обязан и тому, что он выполняет сейчас не только функцию общего языка для русских, но также общегосударственного языка для всего содружества народов, входящих в состав СССР. И в этом отношении русский язык в наше время продолжает в новых, более благоприятных, условиях выполнять роль, которая выпала на его долю в связи с тем, что в течение XIX—XX вв. он постепенно становился в т о р ы м (а нередко и п е р в ы м) родным языком для интеллигенции различных нерусских народностей, населявших Россию.

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА*

1

Вместе со всей русской культурой на рубеже XVII—XVIII вв. стал сильно меняться и русский литературный язык. Общее значение этого переломного момента в истории русского литературного языка в общих чертах можно определить так. В допетровской России существовало два письменных языка, резко противопоставленных один другому по своим культурным функциям. Один, так называемый церковнославянский язык, представлял собой ту разновидность древнерусского письменного слова, которой пользовались книжники эпохи Московского государства, претендовавшие на литературность изложения, и которая получила грамматическую обработку в руководствах по языку XVI—XVII вв. Другой, так называемый приказный язык, служил почти исключительно для деловых надобностей и представлял собой канцелярскую обработку обиходной речи с некоторыми, в общем незначительными, заимствованиями из книжной традиции. В основе этого языка, постепенно вытеснявшего собой местные разновидности деловой речи и, таким образом, получившего в известный момент значение языка общегосударственного, лежал московский говор XVI—XVII вв. Надо думать, что в допетровское время это были, собственно, не два разных я з ы к а, в точном смысле термина, а скорее два разных с т и л я одного языка. Вероятно, только к концу древнерусского периода, когда литературная речь в некоторых жанрах письменности стала отличаться особенной вычурностью и щегольством, «прежние оттенки слога одного и того же языка, — как писал М. И. Сухомлинов, — переродились в сознании употреблявших его как бы в два особенные языка».

Различия между обеими системами письменной речи касались как области словаря, фразеологии и общих приемов построения связной речи, так и внешнего вида грамматических форм и состава грамматических категорий. Так, например, в литературной речи этой поры в именительном падеже единственного числа прилагательных мужского рода преобладало окончание *-ый,- ій*, в противовес окончанию *-ой, -ей*, преобладавшему в деловой речи, например

* [«История русской литературы», т. III, М.— Л., 1941.]

добрый, синій при *доброй, синей*. Родительный падеж единственного числа прилагательных мужского и среднего рода в литературном языке оканчивался преимущественно на *-аго, -яго*, а в женском роде на *-ыя, -ія*, например, *добраго, синяго, добрыя* и т. п., а в деловом языке соответственно на *-ово, -ево* (или *-ова, -ева*) и *-оѣ* (*-ые*), *-еѣ* (*-іе*), например *доброво, синево, доброѣ* и т. д. В литературном языке продолжали употребляться формы древнейшего периода с свистящими звуками *з, с, ц*, на месте задненёбных перед *ъ* и *и*, типа *нозъ, грѣси, человѣцѣхъ*, вместо которых в деловом языке обычно встречаем формы с восстановленными по грамматической аналогии задненёбными вроде *ногъ, грѣхи, человѣкѣхъ*, отражающими новообразование великорусских говоров. Яркими приметами литературного языка, в отличие от делового, служат широко употребляющиеся в нем древние формы аориста и имперфекта, звательная форма, а также относительно правильно выдерживавшиеся в нем формы двойственного числа, а из синтаксических конструкций — оборот дательного самостоятельного, т. е. такие категории, которые в деловой речи или вовсе не встречаются, или встречаются в ней только в качестве застывших трафаретов в канцелярских и юридических формулах. С другой стороны, приказный язык гораздо свободнее литературного отражал грамматические процессы, происходившие в ту пору в живых говорах Московского государства, и потому именно в памятниках приказного языка наблюдаем развитие таких форм, как именительный падеж множественного числа слов мужского рода на *-а* ударяемое (типа: *городá, лѣсá*), широкое употребление родительного и местного падежей единственного числа слов мужского рода на *-у* (типа *отъ бéрегу, на берегý*), постепенное распространение форм дательного, творительного и предложного падежей множественного числа от слов мужского и среднего рода на *-амъ, -ами, -ахъ* вместо первоначальных *-омъ, -ы, -ѣхъ* и т. д. Памятники приказного языка содержат также богатый материал для истории русского синтаксиса, во множестве фактов отражая различные древние стадии в развитии предложения. Ср., например, широко распространенное в актах и грамотах повторение определяемого слова в конструкции относительного подчинения вроде: «хто в его земле в Онисимле селе и в деревнях, *кои деревни* истарины потягли к Онисимлю...» (1463 г.); или «А по отписям, *каковы отписи* положил в Володимерской чети перед дьяком перед Михайлом Огарковым...» (1614 г.) Ср. паратактическое выражение условной связи между предложениями в таком тексте из розыскного дела о Берсене Беклемишеве (1525 г.): «велят мне Максима клепати; и мне его клепати ли?», что означает: «если мне велят оговорить Максима, то оговорить ли мне его?» Разумеется, очень богато отражена также в памятниках приказного языка юридическая, хозяйственная и бытовая терминология Московского государства (ср., например, различные слова для обозначения имущества и пожитков, вроде *рухлядь, собина, живот*; (в церковнославянском языке *живот* означало «жизнь», ср. в одном завещании 1566 г.: «что моего *живота* после моего *живо-*

та останетца денег и платья и рухледи, и тот весь *живот* моей жене Омелфе») и т. п. Зато литературные тексты пестрят различными проявлениями книжного построения речи и многочисленными славянизмами в лексике и фразеологии. Следующие два образца могут послужить наглядным примером той розни, которая существовала в допетровское время между обеими основными разновидностями русского письменного языка:

«И потом утвердися рука его на всем Московском царстве, и нападе страх и трепет велий на вся люди, и начаша ему верно служити от мала даже и до велика. А подаде ему бог время тихо и безмятежно от всех окрестных государств, мнози же ему подручны быша, и возвыси руку его бог, яко и прежних великих государей, и наипаче. Той же царь Борис помрачися умом, отлошши велемудрый свой и многоразсудный разум и восприемши горделивое безумие, сииречь ненависть и проклятое мнение, якоже и выше о сем рехом: не усрами же ся и славна роду, но и паче в завещателном союзе дружбы имеху им, и сих не помилова, напрасно оболгати повеле, и безчестне влечаху по улицам грацким, и мучителем предает, и в заточение посылает, и смерти горкия сподобляет. От сего же ужасни быша людие царствующаго града и оскорбеша зело» (из повести Катырева-Ростовского, 1626 г.).

«Се яз Мелентей Макарьев сын порадился есми Успения Пречистые Богородицы Кирилова монастыря у старца Леонида: поставити мне Мелентию двор на монастырской земле, во Твери, на Волге на берегу, за онбары монастырскими, клети да изба, да около двора городба, и онбаров мне Мелентию беречи монастырских; а оброку мне Мелентию давати на год полтина, да своего мне промыслу, чем яз стану промышляти, и мне давати в монастырь томъга да и монастырская служба служити, как моя братия прежние служат. А не поставлю яз Мелентей двора на монастырской земле и не учну жити, ино на мне Мелентеи по сей записи десеть рублев денег. А живуче мне Мелентию не воровати никаким воровством... [следуют имена поручителей] а учну яз воровати каким воровством, ино на нас на порутчиках пеня, что игумен с братиею пеню укажет» (из порядной грамоты 1581 г.).

Однако уже в последние десятилетия XVII в. традиционный литературный язык, овеянный атмосферой церковной культуры, оказывается все менее пригодным в качестве орудия литературного творчества, в котором начинают преобладать светские мотивы. Появление новых жанров (вроде виршей и школьной драмы), распространение переводных повестей западноевропейского происхождения и разного рода подражаний им приводит к тому, что церковнославянский язык в литературных произведениях конца XVII и начала XVIII в. содержит много грамматических ошибок, все чаще вступает в гротескное соединение с западноевропейскими заимствованиями, а граница, отделяющая его от языка деловых документов, становится все менее отчетливой. В чистом виде этот язык сохраняется лишь в канонических церковных книгах, и здесь он дейст-

вительно становится особым языком, отличным от нового русского литературного языка. С другой стороны, заметно обновляется в это время и деловая письменная речь. Она наглядно отражает начинающуюся европеизацию русской научно-технической и бытовой культуры. Ранее деловая речь только в единичных случаях получала печатное выражение (например, «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», М., 1647; «Уложение» 1649 г.). Теперь деловая письменность получает широкое распространение в форме многочисленных печатных пособий и руководств, представляющих собой преимущественно переводы с западноевропейских языков. Этого рода письменность создает для себя язык нового типа, сильно отличающийся от старинного языка приказов. Новый деловой язык гораздо литературнее, в нем много книжных черт и западноевропейских заимствований. Деловая письменность также становится литературой.

Таким образом, основным событием в жизни русского литературного языка в начале XVIII в. было начавшееся разрушение прежней системы письменного двуязычия и зарождение единого национального литературного языка, пока еще, разумеется, в его первоначальных, примитивных формах. Старый приказный язык был языком не национальным, а только государственным. В России, как это отчетливо показано в работах Сталина по национальному вопросу, образование государства предшествовало образованию национальных связей в собственном смысле слова, но они начинают становиться исторической реальностью с Петровской эпохи. XVIII в. в России и есть эпоха образования национального языка, который в своем окончательном виде сложился только в первые десятилетия XIX в. В этом сложном историческом процессе громадная роль принадлежала деловому языку петровского времени. Но этот перелом в судьбе русского литературного языка осуществился, разумеется, не сразу и не так быстро, как аналогичные процессы в прочих областях культуры. Мы знаем, сколько тяжелых препятствий пришлось преодолевать переводчикам Петровской эпохи, приспособлявшим по мере их умения наличную традицию литературного языка для общедоступной передачи западноевропейских научных и технических понятий. Относясь к своему труду, как к труду литературному, они прибегали к испытанному литературному орудию, завещанному им стариной в виде церковнославянского языка, но вследствие его несоответствия стоявшим перед ними задачам оказывались вынужденными деформировать и модернизировать этот язык. Уже самый склад традиционного литературного языка делал его малопригодным для целей популяризации, которую постоянно имел в виду главный заказчик переводов Петр I. Этим объясняются его постоянные напоминания переводчикам о том, что переводы должны быть удобопонятны. Таково, например, распоряжение Федору Поликарпову, переводившему «Географию генеральную» В. Варения, вместо «высоких слов славенских» употребить «посольского приказу слова». Для уяснения

взглядов Петра на русский язык его времени существенное значение имеет то определение, которое Петр дает этому языку в письме к переводчику Конону Зотову 24 января 1715 г., предлагая ему разыскать книги, касающиеся мореплавания, и перевести их на «славенский язык нашим штилем». Исследователи (Будде Виноградов) не раз обращали внимание на то, что как сам Петр, так и его литературные работники называли свой язык «славенским». В таком наименовании, вероятно, сказывалась не только старая привычка, но и определенный взгляд на вещи. Эта сторона дела хорошо выяснена П. Житецким, правильно поставившим этот вопрос в связь с общей политикой Петра в области книжной грамотности.

Житецкий правильно указал, что Петр, как организатор русской государственной жизни, сознавал нужду в таком языке, который служил бы для всего Русского государства «органом правительственной власти» и «символом государственного единства». В силу этого Петр и его эпоха не могли отказаться от того «регулирующего начала речи», которое заключалось собственно не в формах церковнославянского языка, а в «сохранении на письме этимологического состава слов по церковнославянскому типу». Вопрос, таким образом, упирается в принципиальное значение орфографии, как основы грамотного книжного письма. Сам Петр писал так, как говорил, «без всякой орфографии», но это тем не менее не вызывало с его стороны никаких попыток реформировать орфографию, регламентированную схоластической грамматической традицией XVI—XVII вв., даже и тогда, когда это, казалось бы было особенно удобно, например при реформе русской азбуки. Реформа кириллицы, осуществленная Петром, оставалась исключительно алфавитно-графической, но не орфографической реформой. Рукописная орфография XVII—XVIII вв. отличается крайней пестротой и дает богатый материал для суждения о живом произношении этой эпохи. Но печатный станок снимал эту пестроту. В печатных книгах орфография оставалась п р а в и л ь н о й, этимологической, т. е. по-прежнему отвечала церковнославянской грамматической традиции. Только в 1748 г., с запозданием почти на полвека и потому совершенно одиноко, прозвучал голос Тредиаковского, пытавшегося порвать с указанной традицией и решительно приблизить письмо к живому произношению. Подобная идея не только не могла прийти в голову деятелям петровского времени, но и, вероятно, была бы ими сознательно отвергнута. Вильгельм Лудольф, автор русской грамматики 1696 г., вышедшей в Оксфорде на латинском языке, красноречиво свидетельствует: «Большинство русских, чтобы не казаться неучами, пишут слова не так, как произносят, а так, как они должны писаться по правилам славянской грамматики, например, пишут *сегодня* (segodnia), а произносят *севодни* (sevodni)». Новый книжный язык, освобождаясь от своей зависимости по отношению к церкви и приобретая, как говорит Житецкий, «великорусскую физиономию», все же должен был сохранить свою «сла-

вянскую основу», то есть внешние формы языка, его п р а в и л а, должны были следовать традиции. Для писателей начала XVIII в., как и вообще для культурных деятелей этой эпохи, церковнославянский язык целиком сохранял ореол языка «правильного», «грамматического», и это необходимо постоянно иметь в виду при изучении судеб литературной речи в Петровскую эпоху и даже в более позднее время.

Литераторы этой эпохи не раз заявляют о своем намерении пользоваться в своем изложении «просторечием», которое они противопоставляют «славенскому высокому диалекту». Но, как показал уже Житецкий, фактически в их письменных трудах гораздо больше второго, чем первого. Заслуживает пристального внимания тот факт, что деловой язык нового типа с самого же начала стал развиваться по пути скрещения обеих разновидностей старого письменного языка. 19 апреля 1724 г. Петр предписывал синоду составить «краткие поученья людем» и велел эту книжку «просто написать, так, чтоб и поселянин знал». Еще ранее того, в «Духовном регламенте» (1721), было сказано: «Книга исповедания православнаго немалая есть, и для того в памяти простых человек неудобь вмещаема, и писана не просторечно, и для того простым людем не вельми внятна». Соответственно этому предлагалось составить три небольшие «книжицы» популярного содержания, из которых первой явилось «Первое учение отроком», выпущенное уже за год до того (1720) Феофаном Прокоповичем. В предисловии к этой книге Феофан жалуется на то, что «славенский высокий диалект» мешал до сих пор широкому распространению закона божия и нравственности, и обещает писать «просторечием». Но на самом деле в этой книге Феофан обильно пользуется не только архаическими формами склонения (*мнози*, *отроцы*, *лестцы*, *проклятии*, *людем*) и лексическими славянизмами (*млеко*, *брада*, *власы*), но также, например, формами аориста (*явишася*, *пронесоша*, *случися*) и т. п., отсутствие которых в старом деловом языке, если не считать некоторых трафаретных формул, было его ярким отличием от языка книжно-литературного. Правда, материя книг, вроде упомянутой, оставалась все же священной. Но примеры подобного своеобразного «просторечия» встречаем и в книгах чисто светского содержания. Ср. заявление Поликарпова в предисловии к переводу «Географии» Варения, где то же «просторечие» выступает еще и в европеизированном виде: «Моя должность объявити, яко преводих сию [книгу] не на самый высокий славенский диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических, но множае гражданскаго посредственнаго употреблял наречия, охраняя сенс и речи оригинала иноязычнаго. Речения же терминальная греческая и латинская оставлях не преведена ради лучшаго в деле знания, а ина преведена объявлях, заключая в паранфеси» и т. д. Конечно, не всегда деловой язык печатных книг в начале XVIII в. был таким книжным и искусственным. Он достаточно витиеват, но более искусен, чем у Поликарпова, в «Рассуждениях» Шафирова (1722), который, например, характеризует со-

стояние просвещения в Петровскую эпоху в следующих выражениях: «Аще обратимся к наукам другим, то хотя прежде сего кроме российского языка книг читания и писма никто из российского народа не умел, и боле то в зазор, нежели за искусство почитано, но ныне видим и самого его величество немецким языком глаголющаго, и несколько тысящеи подданных его россиискоrо народа, мужеска и женска полу искусных разных европеиских языков, якоже латинского, греческого, французского, немецкого, италианского, англинского, и галанского, и такого притом обхождения, что непостыдно могут равнятися со всеми другими европеискими народы, как в том, так и в других многих поведениях». Шафиров, как и другие писатели его времени, уснащает свою речь многими иностранными словами, которые тут же переводятся на русский язык, вроде: «никакой рефлексии и разсуждения не имели», « с такою аппликациею [рачением]» «ко опровержению тех калумнии и поносов», «на немецком языке штилизованы [сочинены]», «для внушения всем переложены, и дивулгованы [разглашены]» и пр. Значительно проще, но все же отличается заметной книжностью язык в переведенном Гавриилом Бужинским сочинении Пуфендорфа «Введение в гисторию европейскую» (1718), ср., например, такое место: «Во утверждение сего Людовик разговор (коллоквиум) хотяше имети, и сам на оное приити первее не усумнелся... И тако Едвард ниединаго же дела славно сотворивши, безчестно, гневающуся нань бургунду, в Англию возвратился». В относительно чистом виде традиция старой приказной речи представлена в печатных «Ведомостях», но и здесь оказались неизбежными некоторые книжные черты языка и западноевропейские заимствования. Например, в № 4 «Ведомостей» за январь 1704 г. читаем: «В нынешнем же генваре месяце против 25-го числа. На Москве салдатская жена родила женска полу младенца мертва о дву главах, и те главы от друг друга отделены особь, и со всеми своими составы и чувствы совершенны, а руки и ноги и все тело так, как единому человеку природно имети, и по анатомии усмотрены в нем два сердца соединены, две печени, два желудка и два горла, о чем и от ученых многие удивляются». Близко напоминает язык старую приказную речь в таких книгах, как например «Юности честное зерцало» (1717), но и здесь встречаем: «Не сопи егда яси», «пий и яждь, сколько тебе потребно», «в страсе содержит», «перстом в носу чистит», «мзду наемничу» и т. п. Ср. такое место: «Украснение девиц, и младых невест, также и замужних есть достохвальная фарба, или цвет, и о сем Диоген пишет: что украснение есть признак к благочестию». Таково просторечие петровского времени, даже при сознательном к нему стремлении. Но ведь не всегда существовало самое это стремление.

2

Такое стремление, по-видимому, особенно редко являлось сначала у авторов тех произведений, которые можно относить к области

собственно художественной литературы. И если, тем не менее, в подобных произведениях церковнославянский литературный язык является деформированным или даже вовсе иногда уступает место языку с сильной бытовой окраской, то это не столько результат сознательного задания, сколько естественное следствие нового содержания, внесенного в разные жанры русской литературы новой эпохой русского культурного развития. Вместе с тем сопоставление приведенных образцов просторечия с языком собственно литературных произведений эпохи дает возможность в некоторой степени ориентироваться в вопросе о том, что же именно понимали под «просторечием» те, кто делал его своим лозунгом. Так, например, совершенно ясно, что «просторечию» нет места даже в намерении в произведениях, относящихся к высокому, торжественному красноречию. Об этом больше всего свидетельствует синтаксис подобных произведений, построенный на обширных периодах и искусственной расстановке слов, изобилующий книжными оборотами вроде дательного самостоятельного, двойного винительного, винительного с инфинитивом и т. п. Например, Гавриил Бужинский, уподобляя царевну Софью Гере, а Петра — Гераклу, в своем панегирике Петру по поводу поднесения царю вырезанного на меди плана Петербурга говорит: «Вторых [София возбудила на Петра] гонителей Авессаломов, толико лютейших, елико мняху себе непобедимейших быти, и вся в руках своих содержащих, яже не на колыбель Ираклиеву, но на самые царския нападоша палаты, настоящей везде полунощи страха и забвения, в нощи смущения и безразумного суровства, всем оберегателям аки спящим и иным разбегшимся, другим избиенным, иным к бунтовщикам приставшим». Совершенно очевидно, что «высота» этого витиеватого славословия меньше всего основана на морфологических признаках. Архаические формы склонения и спряжения здесь встречаются действительно очень часто. В сборнике проповедей Гавриила находим, например, частые случаи аориста: *нападоша*, *воздаде*, *увенча*, *возмогохом*, *восприят*, *взят*; имперфекта: *мняху*, *желаше*, *стеняху*; перфект со связкой во 2-м лице ед. ч., равносильный аористу, вроде *создал еси* и т. п. В формах склонения находим: «*еллинстии мудрецы*» *в христианех*, *очима*, «по всем *правилом*», «преизящными *подвиги* и *труды*», *о гресе*, *в книзе*, звательные формы, притом от чужих слов, вроде *короно* и т. п. Но все эти формы употребляются Гавриилом далеко не последовательно, в смешении с формами нового происхождения. Так, например, встречаем у него и формы вроде *оберегателям*, *бунтовщикам*, *градам*, *долгами*, *в долгах*, *трудники* (им. мн.), частое прошедшее на *-л* в одинаковом видовом значении с простыми прошедшими и т. п. Кроме того, как уже указано, подобные архаические формы сами по себе представляют нередкое явление и в тех произведениях, авторы которых ставят себе целью писать «просторечно». Чисто количественное различие в употреблении этих форм в «высоком» и «посредственном» наречии в лучшем случае могло иметь только побочное значение.

Другое дело синтаксический склад речи. Можно думать, что отказ от сложных и искусственных синтаксических средств традиционного схоластического витийства, пережившего в середине XVII в. новую волну подъема, для деятелей петровского времени был одним из критериев «просторечия» в отличие от «высокого диалекта». Немалое значение в этом отношении принадлежало также, как можно думать, искусственным сложным словам и специфическим библеизмам вроде употребляемых тем же Гавриилом Бужинским *неудобоверительнее*, *великознаменитый*, *златолучный*, *скимень* (львенок), *язвина* (нора) и т. п. В деловом языке, по понятным причинам, такие слова избегались. Но все же и высокий панегирический язык не уберегся от действия времени в новой обстановке. Так, например, церковнославянский язык проповедей начинает пестреть западноевропейскими лексическими заимствованиями, которые несут на себе далеко не только терминологическую функцию, но также и стилистическую. Ср., например, следующее место из «Слова о победе у Ангута», произнесенного Гавриилом Бужинским 27 июля 1714 г.: «Но понеже в мимошедшем месяце благодарствующе богу триипостасному при воспоминании Полтавской виктории богодарованной, елико по силе нашей, а не по достоинству о благодарении слышахом, ныне за благо сотворим, слышателие, паче же во всех тех баталиях подвизавшиися трудники и доблии победоносцы, егда о матери всех побед и родительнице всех торжеств, не слово, или рассуждение, но краткий дискурс в нынешний день представим». Или: «О собственных убо, приватных и партикулярных врагов люблении, а не о вразех всего общества оная словеса разумети подобает». Чтобы сократить свое изложение, сошлюсь на старые интересные наблюдения К. Аксакова, касающиеся языка проповедей Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. В особенности в языке первого Аксаков констатирует «странную смесь» церковнославянского лексического материала с «тривиальными выражениями» и иностранными словами, носящими на себе «печать яркую текущей современности». Множество иностранных слов в проповедях Феофана — факт общеизвестный. Но как раз в речах этого проповедника бытовые положения и подробности частной жизни занимают такое большое место, что очень часто его язык переходит в действительное просторечие. Замечательны, кстати сказать, увещания, с которыми обращается «Духовный регламент» к не в меру патетичным ораторам этого времени: «Не надобно проповеднику шататься вельми, будто в судне гребет. Не надобно руками всплескивать, в боки упираться смеятися, да ненадобе и рыдать, но хотя бы и возмутился дух, надобе елико мощно унимать слезы. Вся бо сия лишняя и неблагообразна суть и слышателей возмущают».

Таким образом, и в той области литературного языка, где традиции старины были наиболее устойчивы, к концу Петровской эпохи с исторической неизбежностью обозначились резкие и острые противоречия.

Сходные признаки перерождения старого литературного языка наблюдаются и в других областях литературы начала XVIII в., по мере того как обновлялось их содержание и изменялись вкусы эпохи. И здесь в XVIII в. наблюдается обострение тех противоречий, которые в известной мере существовали уже и в допетровское время. Наиболее консервативным жанром в отношении языка среди прочих главных жанров были вирши. Это была литература специфически ученая. Авторы виршей — в большинстве случаев ученые монахи, высшие представители схоластической грамотности, заботливо соблюдающие все предписания строгого грамматического чина. Симеон Полоцкий, узаконивший силлабические вирши в русской литературе, в предисловии к «Рифмологиону» сам рассказал о том грамматическом искусе, который он прошел, прежде чем возмог «образная в славенском держати». Эта грамматическая выучка сказалась, между прочим, в том, что в виршах конца XVII и начала XVIII в. гораздо точнее, чем в других областях художественной литературы, соблюдаются правила церковнославянской морфологии, закрепленные тогдашней грамматической традицией. Морфологической выдержанности языка виршей при этом нисколько не мешают ни украинские черты фонетики, ни отдельные, сравнительно малочисленные лексические полонизмы и латинизмы, заносившиеся в этот язык представителями украинско-белорусской образованности и приобретавшие характер некоторой традиции. Даже в таких стихотворениях, которые написаны на социально-бытовые темы или приближаются по характеру к басне, грамматические формы оставались вполне традиционными. Ср., например, в стихотворении Симеона Полоцкого «Купецство» такие формы, как *обыче*, *в купцех*, *в вещех*, *на брезе морстем*, *давый* и т. п., притом — ни одного случая обратного характера. В более или менее строгом соответствии с выдержанным употреблением церковнославянских форм находится в старых виршах и лексический состав их языка. Так, безусловным предпочтением у виршеписцев пользуются такие слова, которые были очевидными церковнославянскими вариантами русских слов, т. е. слова без полногласия, со звуком *щ* вместо *ч* и т. п. Этому типу языка всецело еще соответствует, например, «Епиникион» Феофана Прокоповича, написанный в Киеве в 1709 г. Здесь множество украинизмов, например неразличение *ы* и *и* (*с высоти*, *песны*), *зменник*, *поощрати* и т. п., но грамматические формы — все церковнославянские: *победихом*, *сотре*, *объят* (аорист), *бяше*, *звах*у, *повергл еси*, *победил еси* (напомним, что в грамматиках XVI—XVII вв. формы 2-го лица ед. ч. аориста заменялись описательными); *славо*, *студе* (зват.), *под нозе*, *о воех и вождех*, *ко врагом*, *своима очима*, *внуци* и т. п. Но более поздние вирши Феофана, относящиеся к 30-м годам, заметно уже отступают от указанной нормы. В них исчезают формы аориста и имперфекта (в известных стихотворениях Феофана этого периода встречаем только прошедшее на *-л*), появляются формы склонения, соответствующие системе живого языка (*врагам*, *плодами* и т. п.) и даже слова вроде *дураков*, *вракать*, *здоры*,

теска, слова с полногласием и т. п. Мало похож на язык старых виршей и язык ранних произведений Тредиаковского, относящихся к 20-м годам. Церковнославянские формы в них относительно редки и встречаются по преимуществу в стихотворениях, в которых идет речь о важных предметах. Такова «Элегия о смерти Петра Великого», в которой находим аорист (*увяде*, *помрачися*, *огорчися*), звательные формы («увы *цвете* и *свете*»), дательный самостоятельный (*како возмогу стерпети*, *тебе не сущу*, *в слезах чтобы не кипети*), формы вроде *во градехъ* и т. п. При оценке морфологических архаизмов в стихах этого периода нужно еще считаться с практикой «поэтических вольностей», о которых ниже. С другой стороны, обращает на себя внимание пестрый лексический состав ранних стихотворений Тредиаковского, в котором наряду с традиционными элементами и полонизмами (например, *слично*, *надея*) есть также областные элементы вроде *сайдак*, *сипко* и много слов западноевропейского происхождения (например, *компания*, *флейдузы*, *манер*). Характерны для индивидуального стиля Тредиаковского, с его обычным безвкусием, формы фамильярно-бытовой речи в самых неожиданных местах, как напр. *Меркура улещать*, *Купидушки* в «Стихах эпиталамических».

Результаты общей эволюции видим также, например, в языке виршей Михаила Собакина, особенно тех, которые написаны тоническим стихом, уже после реформы Тредиаковского. Например, в стихотворении 1742 г. «Радость столичного града Санктпетербурга» находим: *пороги*, *голову*, *город*, *голос*, но: *гласов*, по всем *странам* (в значении «сторонам»), *кричат*, *на заборах места нет*, *окны*, *другова*, но тут же: «взрослые не только *ю*, но младенцы знают». В более ранних произведениях Собакина есть еще и аорист — *показа*, *дадеся* и т. п. С другой стороны, в стихах Петра Буслаева (1734) современного исследователя И. Н. Розанова язык «поражает смешением церковнославянских слов с иностранными», хотя с морфологической стороны еще многое связывает их со стариной, соблюдаемой, впрочем, далеко не всегда, как и у Собакина. Ср. в «Умозрительстве душевном» Буслаева, с одной стороны: *инструменты*, *элементы*, *факалы*, *церковны концерты*, а с другой: *приде*, *возмятеся*, *достяже*, *прильпе*, *ко ангелом*, но также, например, *унять* (не *уняти*), *крылами* и т. п. Ср. еще слова вроде *донелиже*, а с другой стороны: «у иних *чай* память пропала». Не приходится уже говорить о Кантемире, вирши которого по существу были совсем новым жанром в русской литературе.

Живое общественное содержание сатир Кантемира и их художественная острота обусловили их непринужденную, бытовую, даже фамильярную фразеологию (ср. выражения, вроде *пяля глаза*, *голы враки*, *лепит горох в стену* и пр.), а также и то обстоятельство, что, как указано было С. П. Обнорским, с грамматической стороны церковнославянское влияние сказалось на сатирах крайне слабо. Язык сатир Кантемира (но не других его стихотворных произведений) обращен в будущее в гораздо большей степени, чем любое иное литературное явление его времени. Он мог бы быть началом

совершенно нового периода в истории русского литературного языка, если бы сатиры Кантемира создали какую-нибудь традицию. Но они появились в печати только в 1762 г., в эпоху, когда элементы фамильярного просторечия пришли в русскую литературу совсем иными путями, а морфологическая проблема была уже разрешена более или менее окончательно.

Своеобразную разновидность литературного языка начала XVIII в. представляет собой язык тогдашнего повествовательного жанра, именно язык модной авантюрно-любовной беллетристики, по-видимому, ближе всего отразившей новые вкусы европеизированной дворянской, а затем и мещанской среды. В большинстве случаев в языке этой беллетристики не только нельзя обнаружить стремления к «просторечию», но даже наоборот: этот язык заставляет говорить об активном отталкивании от повседневного языка и о несомненно намеренном «высоком диалекте». Но только это совсем не тот высокий диалект, о котором речь шла до сих пор. В повестях высота слога уже не схоластической, а скорее салонной природы. Церковнославянские элементы языка повестей внесены в него не ученостью и грамматической культурой их составителей, а стилистическим щегольством, желанием сделать свою речь изысканной и замысловатой. Уже одна орфография, в которой до нас дошли соответствующие тексты, свидетельствует об уровне книжной культуры в среде, где данная литература находила себе главных потребителей. В «Русских повестях XVII—XVIII вв.», изданных В. В. Сиповским, можно найти множество примеров вроде *счесливъ*, *обрасцы*, *удчивствомъ*, *умелениемъ*, *познатца*, *бѣзъ*, *наперьодъ*, *верте* (пов.), *хкоролеве*, *таво* и т. п. Церковнославянизмы в повестях однообразны и трафаретны. Одним из таких трафаретов этого вульгарно-литературного языка, как его иногда называют, были простые прошедшие, употребляемые, например, в отстоявшихся повествовательных формулах, а то и совершенно некстати, например, в прямой речи, что нарушает всякую естественность языка, потому что живые лица в обычной обстановке так говорить между собой не могли. Ср. обязательное *рече*, *реша* в качестве введения к прямой речи, что встречается даже в такой безыскусственной по языку повести, как «История о Фроле Скобееве». Ср., далее, начало повести о Василии Кориотском: «В Российских Европиях некоторый дворянин, имяше имя ему Иоанн», а также начало повести о купце Иоанне и девице Элеоноре: «В Новгородском уезде Российского государства, во граде Старой Русе живяше некий купец, именем Иоанн Евдокимов, имеяше жену именем Евдокию». Ср., далее, в прямой речи в повести о Василии Кориотском: «Того ради к вам *приидох* и прошу, чтоб вы меня в товарищи приняли» или: «Всех гребцов у нас побили и девиц в море побросали, мене едину в сей остров *уведоша* и держат по сие время». Любопытны также случаи вроде *сташа во фрунт*. Интересно, что некоторые повести, злоупотребляющие простыми прошедшими, как например повесть о Василии Кориотском, в то же время не употребляют, как правило, архаических форм склонения,

что особенно наглядно подчеркивает стилистическую условность форм простых прошедших в таких текстах. К числу других трафаретных явлений этого рода относится дательный самостоятельный, отдельные выражения, вроде *семо* и *овамо*, приказные слова вроде *аз, понеже, точию* и т.п.

Но это только одна сторона дела. Более существенным элементом своеобразного высокого слога повестей являются западноевропейские лексические заимствования, употребляемые в них в очень большом числе случаев, притом в таком деформированном виде, который говорит против книжного усвоения этих заимствований, или, во всяком случае, о состоявшемся уже их переходе из книг в живую речь, например: в *диспорате, мадел, флед* (флейта), *куризети, флаки, куранды, конпас, ария на миновет* и т. п. Дело при этом не ограничивается простым усвоением известного количества терминов и выражений, как бы оно велико ни было. Важно, что соответствующая фразеология употребляется с намерением придать всему рассказу и собственно языку изысканно галантный тон, т. е. участвует в самом стилистическом замысле повествования. Это сказывается в причудливой витиеватости эпизодов вроде следующего: «Дивлюся вам, государыня моя, что медикаментов не употребляешь, а внутреннеи болезни так искусна исцеляти, якоже свидетелствуюс, что ни под солнцом не имеется такои дохтурь, никакими медикаменты возмогль бы такую неисцелимую болезн так скоро сокрушит, якоже ты со мною во един мамент часа улучила!» Смешение обращений на *ты* и на *вы*, отразившееся в этой выписке, обычно для петровского и даже послепетровского галантного быта. Ср. еще в «Гистории королевича Архилабона» (1750): «Госпожа Афродита! Моя несносность отгорячеи ктебе любви недала болше скрывать мое всовести повас мучение». Ср. еще в той же повести письмо, будто прямо списанное из «Прикладов, како пишутся комплименты разные»: «Милостивейший государь королевичь, мой государь король ливкус мною вашему величеству объявляет дружество ипочтение, прося усердно, чтобвысвоим присудствием вьего дворе одолжили; самбы его величество, слышав персону вашего высочества всвоем владений, встрече собственною персоноюжь показал, какое он вашим меритам сильнейшее имеет почтение» и т. д. Ср. в «Гистории о гишпанском шляхтиче Долторне», хронологически более старой и написанной очень книжно: «И как пришел день обручения, о чем слышит и Долторн, и не хотел печали своея и никому открыть. Забежал на верх полат под кровлю и пал яко мертв, приносил единой кровле свое жалостное рыдание, почем обрел ярко изумненный некую старою цытру, схватил оную, вбежал в портомент и просил волнодомца, чтоб позволил ево на той цытре у окна сидя играть вспаметовав с королевною Элеонорою положенные марши». Возникающая на почве этого стиля хаотическая смесь разнородных элементов языка могла бы быть иллюстрирована множеством примеров. Надо еще добавить, что в этом отношении с повестями сходствует любовная лирика мещанского стиля

начала XVIII в. Материалы и наблюдения В. Н. Перетца, Л. Н. Майкова, В. В. Виноградова показывают, что европейское влияние в языке любовной литературы этого времени отразилось не только в усвоении терминов, выражений и оборотов речи, но также и в том, что своими средствами авторы данных произведений создавали фразеологию, соответствующую их галантному содержанию европейского типа. Существенно подчеркнуть, что материалом для такой фразеологии часто служили церковнославянские слова и формы, например: «Радость моя паче меры, утеха драгая», но тут же *краля*, *бралиант*, *лапушка* и т. п.

Крайней пестротой и неупорядоченностью характеризуется также язык драмы начала XVIII в., в особенности прозаической. Пестрота драматического языка с самого же начала была обусловлена следующими двумя причинами. Во-первых, большая часть репертуара XVII—XVIII вв. — это переводы или переделки соответствующих западных образцов. Отсюда множество иноязычных терминов, а кроме того и кальки в текстах в основе своей церковнославянских. Например, в «Юдифи» находим полонизмы, вроде *коруна*, *клейноты* (с нем.), *монарха* (им. ед.), откуда и звательный *монархо*. Ср. там же отмеченные акад. Тихонравовым германизмы вроде *живи благо* (*lebe wohl*), *безпохвальный народ* (*unlöbliches Volk*), *отомщуся над сими псами* и т. п. Ср. в шутовской комедии петровского времени слова и выражения вроде: «ты меня учинишь корнутом» (рогоносцем), «война есть всех справедливых кавалеров стихия», «хотел я охотно, чтоб ты, мой господине, архитектом или строителем брака моего был» и т. п. Во-вторых, в прозаической драме язык хотя бы некоторых персонажей, например комических, в какой-то мере непременно должен отражать живую речь, пусть и не реальную, а стилизованную. Это порождает грубое, часто звучащее почти пародийно, соединение книжных и обиходно-фамильярных элементов речи, ярко проявляющееся, например, в вульгаризмах или бытовых словах, имеющих архаическую грамматическую форму, и т. п. явлениях. Например, в «Юдифи»: «Что ты, собако, еще глаголеши?» или: «Аз ти пару колбас ужарити велю». Ср. в «Принце Пикель-Гяринг»: «Когда ты видал лисиц в кафтанных станех?» Ср. в драме «Сципио африкан»: «Кто тебе велел твоим черным свинячьим рылом белую, подобием алабастру, Софонизбу лобзати?» Большой интерес в этом отношении представляет упомянутая шутовская комедия, в которой действующие лица сами называют свой язык «славенским» и в которой в то же время книжная и обиходная стихии языка перемешаны причудливым образом. Ошибочно все же было бы видеть в драмах этого времени подлинное изображение современной живой речи. Вульгаризмы комических персонажей в значительной степени обусловлены их театральным назначением. Зато очень часто действующие лица тогдашней драмы говорят неестественно претенциозным языком, употребляя давно исчезнувшие в живой речи формы, щеголяя модными словами и книжными оборотами речи. Вот речь Алоизии из драмы «Честный изменник»: «О дражайший супруже! Аз есмь жива

и мертва: жива есмь, зане вы мне животом подарили; а мертва для того, чтоб я сама себя от милости вашей отлучила». Вот речь капитана из той же драмы: «Приказ имеем маркиза или жива, или мертва привесть, а зане ведаем, что дорогу свою сюда емлет, того ради стань всякий на своем месте и держи ружье свое готово». Вот речь гишпанца из шутовской комедии: «Умолчевая о всех протчих великих и благознаменитых пременениях, которые от начала света в королевствах, в землях и в городах случишася, воспомяну аз ныне токмо о своем любезном отечествии, Гишпании». Ср. бесконечное число редких, а также искусственных, сочиненных для перевода, отглагольных существительных на *-ние*, например в «Пикель-Гяринге»: *издевание*, *притворение* (притворство), *злополучение*, *прогневание*, *непщевание*, *благоподание*, *завтракание*, *услугование*, *помирение*; в «Честном изменнике»: *вонение*, *помешание* и т. д. Ср. постоянные *аз*, *понеже*, *аки*, *аще* даже в шутовской комедии; в той же комедии выражения вроде «*пражнее* дворовое житие», *стрежения*, *обещавает*, но тут же *за потеху места* и т. п. Драматический жанр, может быть, в более сильной степени, чем остальная литература, отразил в своем языке глубокий культурный перелом эпохи. Несоответствие наличных средств литературного языка новым требованиям обнаруживается здесь с полной наглядностью. Но это скрещение разных стилей прежней письменной речи в разных формах, но с общим схожим результатом, осуществлявшееся в различных отделах литературы начала XVIII в., было только первым шагом в процессе образования общенационального литературного языка и еще не удовлетворяло само по себе тех требований по отношению к языку, которые возникали со стороны литературы в процессе ее собственного развития.

3

В течение 20-х и 30-х годов XVIIIв. развитие старых литературных жанров, унаследованных новой эпохой от предшествующего столетия, прекращается. Эти жанры или отмирают вообще, или переходят в лубок и соприкасаются с фольклором. Книжная литература переживает недолгий, но в высшей степени своеобразный период поисков и попыток, который явился свидетелем того, что для русской литературы настала уже пора дать свой положительный ответ на вызов, брошенный всей русской культуре преобразованиями петровского времени. Окончательным результатом этих поисков явилась литература русского классицизма. Указанный путь развития русской литературы в эти годы отразился соответствующими явлениями и в жизни русского литературного языка.

Со всей остротой перед представителями передового литературного сознания встает вопрос о том, каким языком следует писать литературные произведения, порожденные уже состоявшейся, хотя и не пустившей глубоких корней в народе, европеизацией русской литературы. Одним из наиболее выразительных документов этой критической минуты в истории русского литературного языка яв-

ляется известное предисловие Тредиаковского к «Езде в остров Любви» (1730). Здесь Тредиаковский просит доброжелательного читателя не погневаться за то, что он свою книжку «неславенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим». Три основания, по словам Тредиаковского, руководили им в решении отказаться от традиционного и хорошо ему известного литературного языка: во-первых, это язык церковный, в светской книге неуместный; во-вторых, он стал «очень темен» и многие его не понимают; в-третьих, говорит Тредиаковский, «язык славенский ныне жесток моим ушам слышится», то есть не удовлетворяет писателя и с чисто эстетической стороны. Но недаром Тредиаковский считает нужным тут же оговориться: «Ежели вам, доброжелательный читателю, покажется, что я еще здесь в свойство нашего природного языка не уметил, то хотя могу только похвалиться, что все мое хотение имел дабы то учинить; а коли же не учинил, то бессилие меня к тому не допустило, и сего, видится мне, довольно есть к моему оправданию».

Здесь слышится попытка оправдать уже осознанную личную неудачу. И действительно, язык книги Тредиаковского очень далек от простого русского слова и своими запутанными, тяжеловесными конструкциями, и книжно-чиновничьей лексикой, и даже отдельными частностями морфологической стороны речи. Достаточно хотя бы такого примера: «Однако я уповаю что сие мне имеет быть к великому моему утешению, ежели я учиню вам наилучшему от моих другов ведение о моих печалех, и о моих веселиях».

На пути к созданию нового литературного языка стояла прежде всего морфологическая проблема. По разным основаниям можно думать, что в области морфологии граница между «славенским» языком и «простым русским» обнаруживалась нагляднее всего. Простые прошедшие времена, окончания вроде *-ѣхъ* в предложном падеже множественного числа, или *-омъ* в дательном падеже множественного числа мужского и среднего рода, формы именительного падежа единственного числа причастий мужского рода без суффиксального звука *щ* в настоящем времени и звука *ш* в прошедшем времени типа *даяй, давый* и т. п. для русского человека первой половины XVIII в. были наделены гораздо более сильно экспрессией старины и церковности, чем церковнославянские слова, из которых многие стали уже вполне привычными и, главное, могли даже не иметь своих русских эквивалентов в бытовом языке. Вовсе не случайным поэтому является следующее интересное утверждение, содержащееся в русской грамматике, приложенной к немецко-латинско-русскому словарю Вейссмана 1731 г.: «Ныне всякий славянизм, особливо в склонениях, изгоняется из русского языка». Так и Тредиаковский в своем трактате об орфографии 1747 г. считает непростительным, когда пишут: «*по торгомъ і рынкомъ, въ рядѣхъ і на площадѣхъ*» вместо «*по торгамъ і рынкамъ, въ рядахъ і на площадяхъ*». Иронизируя по поводу того, что церковнославянская грамматика чисто графически, при помощи различия букв *о* и *ѡ* различает

творительный падеж единственного числа слов мужского рода (*человѣкомъ*) от дательного падежа множественного числа (*человѣкѡмъ*), Тредиаковский пишет: «Но сіи дательныі точно славенскіі, а мы і нынѣ проіsносімъ і пишемъ чрезъ (*а*) так: *человѣкамъ*». Нет уже совершенно подобных форм в «Российской грамматике» Ломоносова. С другой стороны, в запасе средств живого русского языка были такие формы, которые, совпадая вполне с церковнославянскими и нисколько потому не противореча представлению о «славенском» книжном языке, имели при себе противоречившие этому представлению варианты вроде родительного падежа единственного числа на *-у* в словах мужского рода, вроде формы *селы* при *села* и т. п. Вполне понятно, что такие варианты, несмотря на их широкое распространение в письменном языке XVIII в., осуждались теоретиками, хотя и продолжали удерживаться на практике. Так, Тредиаковский жестоко нападает на Сумарокова за то, что тот пишет *селы*, а не *села*. По мнению Тредиаковского, писать *по торгомъ* і *рынкомъ* так же нехорошо, как писать *прімѣчаніевъ*, *рассужденіі* вмсето *прімѣчаній*, *рассужденія*. Однако существовало и еще одно специальное условие, придававшее большое значение именно морфологическому вопросу при выработке основ нового литературного языка во второй половине XVIII в. Это условие заключается в том преимущественном значении, которое принадлежало стихотворной литературе в формировании всего литературного стиля этого времени. Мы имеем дело с эпохой кризиса русского стихосложения. Реформа стихосложения, начатая Тредиаковским и оправданная блестящими опытами Ломоносова, очень остро ставила вопрос просто об у м е н и и писать стихи, то есть подчинять требованиям метрики грамматически оформлѐнное слово. Поэтому для стихотворцев того времени громадное практическое значение приобретают всякого рода н е р а в н о с л о ж н ы е морфологические варианты, предоставлявшие возможность известного выбора языкового материала в соответствии с требованиями стиха. Попытка приспособить формы русского языка к требованиям стихосложения с тем, чтобы облегчить стихотворную практику и вместе с тем удержать ее в рамках «природного» русского языка, отразилась, между прочим, в теории так называемых поэтических вольностей, изложенной Тредиаковским в его «Новом и кратком способе сложения российских стихов» (1735), в главе «О вольности в сложении стиха употребляемой». «Я разумею чрез вольность в стихе, — пишет здесь Тредиаковский,—которая у латин называется licentia, а у французов licence, некоторые слова, которые можно в стихе токмо положить, а не в прозе. И хотя российский стих мало таковых вольностей имеет, однако надобно из них некоторыя главныя здесь объявить». Далее следуют 14 пунктов вольностей. Здесь, например, поэту разрешается по усмотрению пользоваться окончаниями *-ши* и *-шь* во 2-м лице ед. ч. настоящего времени, окончаниями *-ти* и *ть* в инфинитиве, окончаниями *-ою* и *-ой* в творительном падеже ед. ч. существительных и прилагательных ж. р., формами *меня* и *мя*, *тебя* и *тя*. окончаниями *-ие* и- *ье* в соответствующих

словах среднего рода, далее такими вариантами, как *вспою* при *воспою*, *счиняю* при *сочиняю* и т. п. Заслуживает отдельного упоминания пункт VIII, в котором говорится, что звательные падежи, совпадающие в русском языке по форме с именительными, в стихах иногда могут «образом славянским кончиться», например вместо *Филот* можно сказать *Филоте*. Этот пример непосредственно отражает связь проблемы стихосложения с проблемой размежевания русской и церковнославянской грамматической системы. В одном пункте (XIII) затронут и синтаксический вопрос; именно здесь разрешается употреблять винительный падеж при отрицании вместо преобладающего в таких случаях родительного. В двух пунктах речь идет о лексике. В пункте IX говорится о возможности употребления в стихах слов вроде *рыцарь*, *ратоборец*, *рать*, *витязь*, *всадник*, *богатырь*, «ныне в прозе не употребляемых»; в пункте XIV говорится о возможности пользоваться вариантами типа *берегу*—*брегу*, что, конечно, снова связано с техникой стихосложения. Очень важной является здесь следующая оговорка Тредиаковского: «Вольности вообще таковой надлежитъ быть, чтоб речение по вольности положенное, весьма распознать было можно, что оно прямое россйское, и еще так, чтоб оно несколько и употребительное было». Следовательно, в слове *брегу* нет ничего противоречащего представлению о «прямом российском языке», то есть разграничение русских и церковнославянских лексических вариантов подобного рода представлялось делом не столь существенным, а может быть и не нужным Легко видеть, что такие славянизмы, как например *с гладу* у Кантемира (сатира V, 559), объясняются не чем иным, как требованиями метрики. Соответствующие параграфы трактата Кантемира 1742 г. — «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских» — во многом совпадают с изложенной теорией поэтических вольностей Тредиаковского В пятой главе этого трактата, озаглавленной «О вольностях в мере стихов», Кантемир спрашивает: «для чего вольности нужны?» и отвечает, что когда нужно составлять «порядочные» стихи, то «трудность немалая встречается так в соглашении здраваго смысла с рифмою, как и в учреждении слогов». Очень точно далее формулируется общий закон «вольностей»: «Все сокращения речей,— читаем в § 69, — которые славенской язык узаконяет, можно по нужде смело принять в стихах русских; так например изрядно употребляется *век*, *человек*, *чист*, *сладк* вместо *веков*, *человеков*, *чистый*, *сладкий*». Обращает здесь на себя внимание допускаемая искусственная форма *сладк*. Такие формы иногда встречаются в поэзии XVIII в. Например, у Тредиаковского: «*Красн* бы ты была цвет из всех краснейших. *Честн* бы ты была цвет из всех честнейших» («Ода в похвалу цвету Розе»). Ср. у Державина в «Осени во время осады Очакова»: «То *черн*, то *бледн*, то *рдян* Эвксин». Интересно, что в число вольностей Кантемир включает и параллель окончаний *-ами* и *-ы* в творительном падеже множественного числа мужского и среднего рода. Тредиаковский этого вопроса не упоминает, но в собственных стихах еще

пользуется формой на *-ы*, например: «Любовь правит всеми гражданы» («Стихи о силе любви»); «Российски небеса с светилы» («Ода 1742 г.»).

Наблюдения над самими текстами 1730-х и 1740-х годов позволяют несколько уточнить границы морфологических вольностей, практически употреблявшихся в стихотворной литературе того времени. Одной из важнейших вольностей этого рода является так называемое «усечение» прилагательных и причастий, о котором Тредиаковский глухо говорит только следующее: «Не для чего, кажется, упоминать о прилагательных сокращенных, которые понеже и в прозе часто употребляются, то в стихах могут употреблены быть, ежели надобно будет, и чаще». Действительно, соответствующие формы встречаются иногда и в прозе, особенно торжественной (они есть еще в «Путешествии» Радищева), но особенно охотно культивировала их как специальную принадлежность стихотворного слога поэзия XVIII в. Теоретики XVIII в. отожествляли эти формы с нечленными (краткими) формами прилагательного и причастия живого языка, а их атрибутивное употребление считали принадлежностью «славенского» языка. Но на самом деле «усечения», вопрос о происхождении которых должен быть исследован отдельно, по своему значению и роли в предложении совпадают не с нечленными, а с членными (полными) формами прилагательного и должны рассматриваться как своеобразный их морфологический вариант. «Усечения» не имеют своего особого полного склонения и употребляются лишь в тех падежах, где они слогом короче членных форм, например невозможен поэтому усеченный предл. ед. м. р. Они образуются не только от качественных, но и от относительных прилагательных, в том числе и субстантивированных; они не подчиняются общим законам ударения, действующим в пределах нечленных форм, они сохраняют в причастиях страдательного залога прошедшего времени два *н* (*нн*) и т. п. Вот несколько примеров «усечений» из Тредиаковского: «всех радостей дом и *сладка* покоя»; «*греческа* сестра моя»; «все *животны* рыщут», «дни нам нада *красны*, *приятны* и *ясны*: на престол седша *увенчанна*». Отмечу еще, что в изложенных рассуждениях о поэтических вольностях не упоминается широко распространенная не только в стихах, но и в прозе форма родительного падежа ед. ч. прилагательных и местоимений женского рода на *-ыя*, *-ия* (ср. в упоминавшемся предисловии к «Езде в остров Любви»: «сия книга есть сладкия любви»). Можно думать, что эта форма в то же время представлялась еще не вольностью, а нормальной принадлежностью литературного языка, несмотря на ее церковнославянское происхождение. Не случайно, что эта форма значится в парадигмах «Российской грамматики» Ломоносова.

Основной исторический смысл явления «вольностей» заключается в том, что в нем обнаружилось серьезное противоречие между процессом развития общенационального языка и интересами стихотворной литературы: ради этих интересов писатели, стремившиеся полностью освободить литературу от церковнославянского языка,

вопреки своим собственным стремлениям, удерживали в стихотворном языке церковнославянские формы.

В течение 1730-х—1740-х годов морфологическая проблема была в общем разрешена. Это не значит, что в морфологическом отношении русский литературный язык с тех пор стал совершенно единообразным. Борьба между литературно правильными, не противоречащими грамматической традиции и живыми формами устной речи продолжалась в литературном языке еще долгое время и после указанной даты. Но пути этой борьбы определились в общих чертах еще в первой половине XVIII в., причем тогда же определилась и судьба морфологических церковнославянизмов в русском литературном языке. Обратимся теперь к другой важнейшей проблеме, связанной с развитием литературного языка в это время, к проблеме терминологической.

Обновление и обогащение русской специальной и отчасти бытовой терминологии в начале XVIII в. давно уже привлекли внимание исследователей, и в этом отношении собран уже довольно богатый материал, правда, недостаточно глубоко пока освещенный. Отсылая читателей к этому материалу, остановлюсь здесь лишь на проблеме научно-философской, вообще отвлеченно-книжной терминологии, развитие которой ближайшим образом связано с развитием новой русской литературы. В этом отношении представляют особый интерес не изученные до сих пор терминологические опыты Кантемира, связанные с его различными прозаическими переводами. Усвоение иноязычной терминологии возможно двоякое: заимствуется ли самое слово или же только его значение. В последнем случае дело может быть решено также двояким способом: заимствованное значение прикрепляется к уже существующему и фактически употребляющемуся слову, как его дополнительный смысловой оттенок (это то, что можно назвать семантической калькой, например *трогать* в смысле «приводить в душевное волнение», в соответствии с фр. toucher; уже Сумароков в своем ответе на критику Тредиаковского по поводу выражения *тронуть сердце* заявляет, что «так говорит весь свет»); или же для этого нового значения изобретается новое слово из наличного словообразовательного материала, например путем буквального перевода отдельных морфем, из которых состоит соответствующее иноязычное слово (так называемая морфологическая калька, например введенное Карамзиным *сосредоточить*, в соответствии с фр. concentrer). В разных исторических условиях каждый из этих способов имеет разное общественное и культурное значение. Например, искусственные, безобразные кальки, которыми отсталые литературные круги начала XIX в. пытались заменить ходячие иноязычные термины, были безусловно явлением реакционным. Надворный советник Михайло Карлевич, издатель книги «Приступ к ежемесячному изданию под названием любитель отечества (отчелюбец)» (СПБ., 1816) хотел, например, заменить слово *медицина* словом *лечезнание*, слово *физика* — словом *телообразие*, слово *математика* — словом *сомерочетие*, слово *химия* — сло-

вом *споятело* (?), слово *музеум* — словом *храновид* и т. п. Это была своеобразная и неумная форма протеста против глубокой европеизации русской культуры и русского языка, к тому времени ставшей уже совершившимся фактом. Другой смысл имели сходного рода опыты в эпоху зарождения русского литературного языка (в первой половине XVIII в.). Их главное значение в это время состояло в том, что они явились практической проверкой того, в какой мере русский язык способен обслужить новые терминологические потребности при помощи своего собственного материала и в какой мере вообще следует заменять своими эквивалентами элементы международной терминологии. Не говорю уже об их значении как сдерживающего начала по отношению к болезненным крайностям тогдашней моды на все европейское. И вот для того общего направления, по которому развивался русский литературный язык, чрезвычайно важно, что в огромном большинстве случаев западноевропейские слова и выражения калькировались русскими писателями при помощи словообразовательных средств или просто готовых слов церковнославянского языка. Когда в 1752 г. у Мюллера возникли сомнения относительно допустимости ряда терминов, придуманных Тредиаковским, тот отвечал с недвусмысленной ясностью: «Правда, может г. ассесор сомневаться о терминах, как человек чужестранный; но оныи термины подтверждаются все книгами нашими церковными, из которых я оныи взял».

Совершенно независимо от того, насколько удачными оказывались те или иные частные опыты этого рода на практике и как они фактически влияли на словарный состав русского литературного языка, нельзя не отметить, что самое намерение наших первых писателей научиться передавать иностранные понятия средствами русского языка было проявлением их горячей веры в будущее русского языка. «Прекрасный наш язык способен ко всему», — писал Сумароков в 1747 г. Именно этими свойствами отмечены, в частности, упомянутые опыты Кантемира. В предисловии к своему переводу 1729 г. «Таблица Кевика философа или изображение жития человеческого» Кантемир говорит: «Я нарочно прилежал сколько можно писать простее, чтобы всем вразумительно». Этого Кантемир, между прочим, пытается достичь тем, что после каждого почти употребленного им иноязычного термина он ставит в скобках его русский эквивалент, например: *глобус* (*шар*), *фортуна* (*щастье*), или обратно: *разум* (в французском génie, что инако по-русски сказать не можно)». В своем нашумевшем переводе «Разговоров о множестве миров» Фонтенеля (1730) Кантемир в предисловии сообщает: «Приложил я к ней [книжке] краткие примечания, для изъяснения так чужестранных слов, которые и не хотя принужден был употребить, своих равносильных не имея, как и для русских, употребленных в ином разумении, нежели обыкновенно чинится». Под словами, употребленными «в ином разумении», Кантемир понимает свои многочисленные пробы применить способ кальки в тексте перевода. Например, в тексте перевода читаем: «Мне захотелося писать

о философии образом некаким философским, тщался ея привести в такую меру, чтоб была не весьма жеска для всех общества людей, ни гораздо шутлива для ученых». К слову *жеска* сделано примечание: «По-французски в оригинале стоит séche, что в сем месте значит свойство неприятное, не дающее никакой забавы». Сейчас мы в этом смысле употребляем слово *сухой*, точно совпадающее с французским. К слову *идея* Кантемир в примечании говорит: «Я бы *идею* назвал по-русски *понятием*». К слову *система*: «по-русски назвать бы можно *состав* или *составление*». К слову *противоположение*: «чужестранным словом мы обыкновеннее *объекциею* называем». К слову *украшения*, встречающемуся при описании театра: «чужестранным словом *декорации* называется все то, что в опере и комедиях служит для украшения феатра». К слову *акция*: «Продажа публичная, в которой тот купец, кто больше дает. *Вязка* по-русски». К слову *предсуждение*: «Prejugé, значит мнение предъидущее о каком деле, которое столько в уме нашем утвердилося, что не допущает нас беспристрастно о том рассуждать». К слову *плотность*: «Solidité». В других местах я тож изобразил речью *твердости*». Особенно интересно примечание к слову *вихрь*, примененному для передачи французского tourbillons, со ссылкой на то, что такой перевод был уже применен в трудах Академии наук, причем особо оговаривается, что это слово в таком значении «вновь в российском языке введено». Можно согласиться с мнением биографа Кантемира В. Я. Стоюнина, что перевод «Разговоров» отражает начальную стадию в развитии русского литературно-философского языка. С опытами Кантемира могут быть поставлены в связь аналогичные попытки Тредиаковского, относящиеся к несколько более позднему времени. Ср., например, его «Слово о премудрости, благоразумии и добродетели», опубликованное в 1752 г. и давно уже обратившее на себя внимание Буслаева. Большой интерес в данном отношении представляет также перевод книги А. Делейера «Analyse de la philosophie du Chancelier François Bacon», выпущенный Тредиаковским в 1760 г. и недавно обследованный с точки зрения терминологии И. В. Шаля́.

Значение терминологической работы первой половины XVIII в. не только, и даже не столько, реальное, сколько принципиальное. Результаты этой работы, во-первых, вряд ли были обширны, а во-вторых, не всегда оказывались вполне пригодными как по своей неуклюжести, так и по неполному соответствию с содержанием передаваемых понятий. Но и более удачливые преемники Кантемира и Тредиаковского, как например в конце века Карамзин, в существенных чертах следовали их методу в освоении западноевропейской терминологии на русской почве. Худо или хорошо, но Кантемир и Тредиаковский сумели практически обслужить реальные потребности современной им теоретической прозы, которой принадлежало такое большое значение в истории русского просвещения.

4

Между тем в начале 40-х годов XVIII в. в развитии русской литературы обозначился важный переворот, заново поставивший вопрос о литературном языке и придавший ему совершенно новое значение. Это был поворот к тому иерархическому распределению различных литературных жанров, которое является основной чертой литературного развития классицизма во вторую половину XVIII в. и которое на первых порах сказалось в обособлении жанров высокой поэзии как господствующих. В течение предшествующего времени, в 20-х и 30-х годах XVIII в., вырабатывался общий тип литературного языка и отбирались материальные средства, которыми этот язык должен был располагать. Здесь наметилось разграничение церковнославянских и русских грамматических форм, а также общее направление терминологической обработки языка. Теперь наступила очередь для постановки более глубоких вопросов, касающихся судьбы литературного языка как органа новой литературы и ее отдельных областей, то есть прежде всего вопроса о стилистическом применении наличных средств языка, отчасти уже отобранных предшествующим литературным развитием, для нужд разных видов литературного творчества. Решение этого вопроса как теоретическое, так в значительной мере, в особенности в применении к высокому жанру, и практическое, было дано Ломоносовым. Оно стало впоследствии одним из краеугольных камней литературной теории классицизма. Но Ломоносов действовал не на пустом месте, и у него были предшественники.

Уже тогда, когда Тредиаковский в предисловии к «Езде в остров Любви» заявлял, что он переводил свою книгу почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим», он не мог не задумываться над вопросом о том, что означает в данной связи слово «мы». Нет сомнения, что в эти годы обиходная речь русского общества была уже в известной мере дифференцирована. Обиходный язык придворных кругов и тогдашней передовой интеллигенции должен был заметно отличаться от языка крестьянства, но также и от языка чиновничества и мещанства как язык более книжный, облагороженный, искусный. «Мы» Тредиаковского — это, несомненно, та «изрядная компания», «щеголевитости речений», которой, по словам Пушкина, Тредиаковский советовал следовать Ломоносову. Это общество избранное, высшее, к которому Тредиаковский естественно причислял и себя, конечно, не по своему социальному положению, а по праву своей учености и культурности. Именно так следует понимать смысл известной тирады из речи Тредиаковского в Российском собрании 1735 г., в которой культурная миссия двора Анны Иоанновны обрисована в чертах мало реальных, но подсказанных аналогией с Версалем: «Украсит его [язык] в нас двор ее величества в слове учтивейший и великолепнейший богатством и сиянием. Научат нас искусно им говорить и писать благоразумнейшии ее министры, и премудрыи священноначальники...

Научит нас и знатнейшее и искуснейшее благородных сословие. Утвердят оный нам и собственное о нем рассуждение, и восприятое употребление от всех разумных». Центральное и практическое значение здесь несомненно принадлежит «восприятому от всех разумных употреблению», то есть употреблению не всякому, а культурно оправданному, поставленному под контроль разума, учености и вкуса. Вполне гармонирует с этим заявление Тредиаковского в его «Разговоре об ортографии» 1748 г.: «Разве все равно, что говорить на час, и ярлык какой нибудь написать, то и книгу сочинить, или какую речь». И еще: «И понеже мужицкий и гражданский язык некоторыи также мною одним употреблением неправо называют; то я объявляю, что то токмо употребление, которое у большия и искуснейшия части людей, есть точно мною рожденное; а подлое, которое не токмо меня, но и имени моего не разумеет, есть не употребление, но заблуждение, которому родный отец есть незнание». Когда в 1750 г. в своем известном памфлете против Сумарокова Тредиаковский, осуждая его за формы типа *селы*, иронически писал: «У автора и сельское употребление есть правильное и красное: его жерновы, по присловию, толь добры, что все мелют», то он и здесь оставался верным себе, последовательно осуждая употребление «подлое» и «площадное». Вот почему и в орфографии, отстаивая фонетический принцип (писать «по звонам»), Тредиаковский даже не пытается подчинить этому принципу вокализм: аканье, произношение звука *о* на месте старого ударяемого *е* не перед мягкими (типа *села*, или, как тогда пытались писать, *сїола*),— все это для Тредиаковского употребление низкое, не искусное.

Но литературные события, ярким историческим символом которых является «Ода на взятие Хотина», присланная Ломоносовым в конце 1739-го или в начале 1740 г. в Петербург из Германии и немедленно послужившая образцом для подражаний, сделали необходимой более глубокую и новую дифференциацию понятия «употребление». Ода нового типа как одно из высших воплощений высокой поэзии не могла довольствоваться общим, хотя бы и «разумным», употреблением. Она требовала в чисто практическом смысле известной модификации общеупотребительного языка, именно она требовала языка у к р а ш е н н о г о и приподнятого. С т и л ь оды мог быть различным: он мог отличаться большей или меньшей степенью гиперболизма в образах, большей или меньшей сложностью фигур. Все это мы и наблюдаем потом в одах второй половины XVIII в. Но я з ы к оды (конечно, не шутливой) во всяком случае не мог совпадать с языком обычным, повседневным. Нет поэтому ничего более естественного, чем тот факт, что первые же русские торжественные оды еще до всяких теорий (появившихся уже потом, как известное обобщение практики) обнаруживают тяготение к славянизмам, как к такому источнику украшенной речи, обращение к которому напрашивалось само собой. Доказывая, что русские стихи, в отличие от французских, могут быть хороши и без рифм, Кантемир в 1742 г. писал («Письмо Харитона Макентина»): «Язык французский не имеет

стихотворного наречия: те же речи в стихах и в простосложном сочинении принужден он употреблять... Наш язык, напротиву, изрядно от славенского занимает отменныя слова, чтоб отдалиться в стихотворстве от обыкновеннаго простаго слога и укрепить тем стихи свои». Вполне закономерно поэтому и Тредиаковский в своем памфлете против Сумарокова заявляет: «Помнит ли почтенный автор, что он оду сочинил, то есть самый высокий род стихотворения? Но положим, что он в твердой был памяти, то для чего ж не старался он в выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей, она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чего б ради ему не положить *воззри* вместо *взгляни*?» Здесь нет никакого противоречия с программой «простого русского слова», заявленной Тредиаковским в предисловии к «Езде в остров Любви»: новые условия развития литературы порождают новое отношение к языку и новые способы его применения. Там шла речь о романе — здесь речь идет об оде. В этом свете нужно понимать и полемическое замечание Сумарокова о повороте Тредиаковского в более позднюю пору его деятельности к «славенщизне», которую он сам в молодости осуждал, замечание, некритически усвоенное и выдаваемое за чистую монету многими исследователями. Вообще следует сказать, что развитие литературного языка должно рассматриваться в самой тесной зависимости от развития самой литературы. Последняя есть та ближайшая среда, в которой совершается опосредствование общих исторических процессов в применении к языку как орудию литературы. Убеждения же и вкусы самого писателя в области языка, его склонность к тем или иным «принципам» сами по себе, вне историко-литературного контекста, не имеют никакого значения.

Итак, новая поэтическая практика, нашедшая свое выражение в «Оде на взятие Хотина», сразу же породила новое понимание проблемы языка, как литературного орудия. Из чего же состояла сама эта практика? Язык оды Ломоносова — это русский язык своего времени, отраженный в призме разумного и искусного употребления (что еще не означает впрочем, полной свободы от диалектизмов), но язык, во-первых, стихотворный, то есть с «вольностями», а во-вторых, украшенный, то есть уснащенный известной дозой славянизмов в лексике и фразеологии. В оде Ломоносова немало морфологических архаизмов и условностей. Например, инфинитив на *-ти* неударяемое: *покрыти, склонити*, но вместе с тем, например, *избежать*; далее случаи вроде *встока*, много усеченных прилагательных и причастий, например: «*лавровы* вьются там венцы», «*на долгу* тень», «*всходящу* денницу» и т. п. К этому роду условностей относится, конечно, и *морь* (род. пад. мн. ч.). Все эти условности для литературного сознания эпохи уже не были собственно «славянизмами», а сверх того их не следует относить непременно за счет высокого слога. В тех или иных комбинациях эти специфические приметы стихотворного языка XVIII в. встречаются в самых разнообразных жанрах поэзии, вплоть до басни, бурлеска и иных низких жанров.

Есть в оде Ломоносова немало также черточек живого языка, которые в последующем развитии литературной теории были отнесены к «простым» стилям, но тоже без достаточных оснований, так как они возможны и в высоких жанрах; например, им. п. ед. ч. прилагательных м. р. на *-ой*: *конской*, *багряной*, *странной*, *целой*, *грозной*; род. п. ед. ч. м. р. на *-у*, например: «от грозного *звуку*», «от *реву*», «стыдилась *сраму*». Нет в оде Ломоносова ни одного случая род. п. ед. ч. прилагательных ж. р. на *-ыя*, *-ия*, то есть формы, которая для Тредиаковского, по-видимому, была обязательной. Нет сомнения, что сам Ломоносов считал язык своей оды «природным» русским языком. Но в то же время в оде отчетливо проступает убеждение ее автора в том, что для стихотворений этого рода необходимо пользоваться избранными лексическими средствами, отмеченными печатью великолепия и высокости. Вот почему в оде наряду с полногласными словами *голов*, *болот*, *берегов*, *полон* встречаются (но вовсе, как видим, не в обязательном порядке) слова без полногласия, например: *брег*, *чрез*, *странам* (в значении «сторонам»), *премену*. Наряду с *хочет* встречаем *отвещает*. В оде вообще много специфически книжных слов: *зрю*, *теку* (в значении «иду»), *лику* (в значении «собранию»), *дерзает*, *свирепство*, *отверзлась*, *десницу*, *презорство*, *перст*, *торжествованье* и т. д. Все это слова церковнославянского происхождения, но перешедшие в русский язык XVIII в. как его законный составной элемент, и сохранившие в составе русского языка оттенок высокости и великолепия. По меткому выражению К. Аксакова, это не были уже слова, употребляющиеся как цитаты из чужой речи, а слова, получавшие «права гражданства» в русском языке. Таким образом, мы имеем здесь дело с русификированием некоторых запасов церковнославянской лексики и фразеологии для нужд высоких, украшенных жанров русской поэзии. В той мере, в какой это русификирование оказывалось практически удачным и соответствующие слова действительно входили в повседневный обиход литературы и образованных классов общества, язык высокой поэзии с о в п а д а л с основными тенденциями складывавшегося русского общенационального языка. Но очень часто подобная русификация оказывалась не полной, и многие одические слова, заимствованные из старой церковно-книжной традиции, останавливались в своем употреблении на той границе, которая отделяет речь поэзии от языка общеупотребительного. В этих случаях высокая поэзия оказывалась п р е п я т с т в и е м на пути к созданию общенационального языка и противоречила основным тенденциям его развития. Это препятствие преодолевалось в процессе перерождения самой русской литературы и роста в ней элементов народности. Но одновременно церковнославянская традиция продолжала сохранять для литераторов середины века и другое свое значение, именно значение источника для построения п р а в и л и соблюдения внешних норм литературной речи. Упрек Тредиаковского Сумарокову в том, что тот, «не имел в малолетстве своем... довольнаго чтения наших церьковных книг», предвосхищаю-

щий известные положения Ломоносова, объясняется не только отсутствием у Сумарокова «обилия избранных слов», но также (что никогда не следует упускать из виду) отсутствием у него навыка «к правильному составу речей между собою», то есть прямо предполагает грамматическую сторону дела. Тот же Сумароков советует типографским наборщикам учиться грамматике и правописанию по «древним переводам греческих книг», но в то же время (и в этом он, несомненно, п о з а д и Тредиаковского и Ломоносова) называет исчезновение аориста в русском языке «порчей» языка. Что касается Тредиаковского, то в области морфологии, как видно из ранее приведенных цитат, он оставался на почве грамматической традиции и в своем «Разговоре об ортографии»: отсюда его протесты против форм вроде *известиев*, *селы* и т. п. Но от своей теории письма «по звонам» ему пришлось отказаться.

Таков был путь, на котором оказалось развитие русского литературного языка к середине XVIII в. Оставалось до конца осмыслить этот путь и дать ему надлежащее теоретическое обоснование. Это было сделано великим Ломоносовым в разработанной им теории трех стилей языка, которая изложена в известном рассуждении «О пользе книг церьковных в российском языке» и своеобразно преломилась также в его «Грамматике». Но эти труды Ломоносова, имевшие поистине гигантское значение не только для истории русского литературного языка, но и для всей русской филологической культуры, были написаны и опубликованы уже во второй половине XVIII в.

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА *

1

Отправным пунктом развития русского общенационального языка в первой половине XVIII в. было скрещение двух исконных начал русского письменного слова — книжного и обиходного,— своеобразно осуществлявшееся в различных отделах послепетровской русской письменности, в том числе и художественной литературы. К середине XVIII в. благодаря усилиям теоретиков литературного языка, каковы Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, в этот процесс в значительной мере было внесено нормализующее начало, особенно заметно и плодотворно сказавшееся в литературной практике и теории второй половины века. Громадное значение в этом отношении принадлежит языковой доктрине русского классицизма, популяризация которой связана с именем Ломоносова и его основополагающими трудами по русскому языку. Ломоносов лучше других деятелей этого времени понял, каким путем объективно совершается развитие русской литературной речи, и именно он сделал прочным приобретением русского культурного сознания взгляд на русский литературный язык как на результат скрещения начал «славенского» и «российского». В его учении о русском литературном языке главное значение, несомненно, должно быть придано указаниям на «славенороссийский» элемент, состоящий из таких фактов языка, которые «употребительны в обоих наречиях», то есть и в обычном русском языке, и в языке церковных книг. К этому «славено-российскому» ядру, в зависимости от литературных условий и художественных целей, добавляются то собственно «славенские» материалы, если только они «россиянам вразумительны» и «не весьма обветшали», то собственно «российские», «которых нет в славенском диалекте». Таким путем закреплялось право художественной литературы выходить за рамки все более прочно складывавшегося общеупотребительного русского языка в разных направлениях и создавалась возможность различать не только со стороны поэтики, но и со стороны языка основные жанры классицизма, например оду и эпопею, с одной стороны, басню и комедию — с другой. Понятно, насколько

* [«История русской литературы», т. IV, М.— Л., 1947.]

высока была практическая полезность подобной концепции в чисто литературном отношении для той поры, когда литература вообще представлялась системой соподчиненных, но обособленных жанровых явлений — высоких, средних и низких. Но так как так называемый средний, или посредственный, слог практически осуществлялся по преимуществу в литературе не художественной, а публицистической и деловой (научной, прикладной и т. д.), то в то же время разграничение трех стилей русского языка оставляло свободный путь для дальнейшего успешного развития языка общенационального на указанной почве соединения языков «славенского» и «российского» в одну цельную структуру.

Не случайно Ломоносов ничего не говорит о трех стилях тогда, когда ведет речь не о языке художественной литературы, а просто о русском языке. В его «Российской грамматике» (1755) есть различные стилистические замечания, но они касаются только таких возможных вариантов языкового употребления, которые не выходят за рамки «славено-российского» ядра русской речи. Такое значение имеют, например, предостерегающие указания относительно причастий на *-щий* которые, как учит Ломоносов, «производятся от глаголов славенского происхождения: *венчающий, пишущий, питающий*; а не весьма пристойно от простых Российских, которые у Славян неизвестны: *говорящий, чавкающий*». Разумеется, слова *венчающий, пишущий, питающий* в данном случае для Ломоносова слова не «славенские», а «славено-российские». Вообще грамматика Ломоносова основным образом имеет в виду язык «славено-российский»,то есть книжный русский язык новой, уже не церковнославянской формации. Поэтому несмотря на нередкие упоминания о «штиле» вроде: «*Ее* в просторечии, *ея* в штиле употреблять пристойнее», никаких форм, которые для этой эпохи были собственно церковнославянскими, в «Грамматике» нет. Так, в ней не даются формы простых прошедших, формы склонения вроде *руцѣ*, *нозѣ* и т. д. С другой стороны, в полном единодушии с Тредиаковским Ломоносов осуждает формы именительного падежа множественного числа вроде *известии*, *учреждении* вместо *известия*, *учреждения*, как формы, не согласующиеся с представлением о «славенском» вкладе в «славено-российскую» речь, то есть в то, что иначе именовалось *средним слогом*.

Как уже указано, образцы этого слога находим преимущественно в таких отделах письменности XVIII в., которые не входят в число основных и стойких жанров художественной литературы классицизма. Это сочинения научные, популярные, общеобразовательные, публицистические и т. д. В отношении морфологии это язык, одинаково чистый как от славянизмов, так и от бытовых элементов в той мере, в какой те и другие не втягивались в процесс скрещения обоих этих начал и потому не входили в складывавшийся общеупотребительный фонд средств русского книжного языка. Из двух «славенских» вариантов в этот общеупотребительный фонд попадал менее книжный и архаичный, например не

явльшийся, а *явившийся;* из двух просторечных — менее чуждый языку церковнославянскому; например, конкуренция форм типа *письма — письмы* решалась, по крайней мере, законодателями языка в пользу первой, а постепенно, хотя и на протяжении длительного периода, это отражается и в практике. В лексическом отношении развитие общерусского книжного языка новой формации отражается особенно наглядно в постоянном обогащении его терминологии все новыми словами, втянутыми в общее употребление (сначала письменное, а затем и устное) из церковнославянского языка, составленными по его образцам или представляющими заимствования из международного фонда общеевропейской лексики. Как легко убедиться из терминологического указателя к сочинениям Ломоносова, составленного в 1871 г. А. Будиловичем, Ломоносов пользовался обширнейшим кругом терминов западноевропейской науки, многие из них передавая соответствующими русскими словами, а другие оставляя в русском тексте непереведенными. Ср., с одной стороны, *безвоздушное место* (*vacuum spatium*), *влажность воздуха* (*humiditas aeris*), *воздушный насос* (*anthlea pneumatica*), *весы чувствительные* (*balanx exactissima*), *жидкое тело* (*liquidum fluidum*), *зрительная труба* (*tubus opticus*), *истолкование* (*explicatio*), *наклонение света* (*inflexio luminis*), *опыт* (*examen, experimentum*), *плоскость* (*planum*), *преломление* (*refractio*), *склонение* (*declinatio, inclinatio*), *явление* (*phaenomen*), а с другой — *амфитеатр, ареометр, атмосфера, барометр, глобус; горизонт; дирекция* (направление), *експедиция, идравлический, инструмент, конический, махина, натура, натуральный, нерегулярный, обелиски, практика, приватный, привилегия, пропорция, проэкция, сфера, термин* (предел), *трактат, фигура, формула* и многие другие. Разумеется, многие термины этого рода должны были попадаться на глаза читателю XVIII в. не только в специальных сочинениях по точным наукам и технике, но и в более популярной литературе. В большом числе случаев это переводные сочинения. Для примера можно назвать книгу «Диэтетика, или наука, предлагающая правила весьма нужныя и полезныя к сохранению здравия. Перевод с французского, М., 1791». Здесь встречаются слова, вроде *диэта, температура, аппетит, критический, меланхолический, холерический, сангвинический, флегматический, гистерический, периодический, натура, натурально, паралич* и пр. Здесь же встречаем и такие книжные образования, как *удобопресуществление, кровообращение, млекоподобнаго* соку, *удобосваримый* и т. д. Много терминов западноевропейского происхождения, ставших уже более или менее привычными для образованного и читающего слоя, находим, например, и в переведенной В. Левшиным с немецкого книге «Чудеса натуры, или собрание необыкновенных и примечания достойных явлений и приключений в целом мире тел» (ч. 1—2, М., 1788), представляющей чтение одновременно и развлекающее, и назидательное. Здесь часто встречаются выражения вроде *нервная система, органическое бытие, мелодические звоны, меланхолическое сложение, магнитная материя,*

атмосферный воздух, *критическия изпытания*, *симпатия и антипатия* и т. п. В особенности должны были содействовать популяризации западноевропейских слов, означающих теоретические понятия, сочинения гуманитарного содержания, касающиеся вопросов общественной жизни, морали, права, философии и т. п., вроде, например, сочинений Д. Аничкова, С. Десницкого, Я. Козельского. Круг читателей у таких авторов не мог быть велик, но те читатели, которые у них все же были, привыкали постепенно к таким словам и выражениям, как *аноним*, *инвенция*, *прожекты*, *натуральное право*, *юриспруденция*, *этика* и т. п., передавая их более широким кругам цивилизованной части тогдашнего общества, для которых они с течением времени стали вполне естественными и даже необходимыми терминами духовной жизни. Почти без исключений — всё это слова, составленные из греко-латинского материала и навсегда вошедшие в русский книжный язык.

Терминологический запас нового книжного русского языка, как уже сказано, постоянно обогащался также словами, составленными из национального словообразовательного материала, по истари известным книжным образцам или непосредственно из них заимствованным. Этот процесс очень ярко охарактеризован в замечательной статье В. О. Ключевского «Императрица Екатерина II», где, между прочим, читаем: «Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченной терминологией академического красноречия, выражающей нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова: *добронравие* или *благонравие*, *человечество*, *человеколюбие*, *попечение о благе общем*, *блаженство общее и частное*, *отечество*, *граждане и сограждане*, *чувствительность*, *чувствование человеческого сердца*, *добродетельные души* и т. п.» Ключевский правильно отметил и ту опасность, которая связывалась с популяризацией этих «красивых слов и неясных понятий». «Хорошие слова,— говорит он,— став ходячими, в непривычном обществе скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их, «человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует», как говорил Стародум в «Недоросле» (по поводу «всечасного употребления» слова *должность*, т. е. обязанность). Такие слова не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали мысль к опрятности... С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 года, предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово *раб* словом *подданный*. Хорошие слова часто подобно костылям поддерживают слабеющие мысли». Вряд ли можно найти лучший пример живого употребления подобных «хороших слов», чем «Недоросль» Фонвизина. Здесь речь Правдина, Стародума, Милона, Софьи сплошь состоит из таких книжных выражений, передающих новые понятия общественной и духовной жизни, как например: «из собственного *подвига сердце* моего, не оставляю

замечать тех *злонравных невежд*, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло *безчеловечно*»; «с какой ревностью помогает он *страждущему человечеству*»; «пользуясь сиротством ея, содержат ее в *тиранстве*»; «*облегчать судьбу нещастных*»; «*служить отечеству*»; «поехал я немедленно, куда звала меня *должность*»; «*неправосудие растерзало мое сердце*, и я тотчас взял отставку»; «и *добродетель* также своих завистников имеет»; «возможно ль, дядюшка, чтоб такие истинны *не для всех сердец чувствительны были*»; «он *для пользы отечества* не устрашается забыть свою собственную славу» и т. д. Иноязычных слов в этой речи нет совсем, но в ней немало галлицизмов (*трогать сердце, делать должность, сделать знакомство, не знали еще заражать людей, подвергать жизнь* и пр.) и вся она построена очень книжно.

Очень важно обратить далее внимание на общие приемы построения связной речи, какими характеризуется новый русский общеупотребительный книжный язык в сравнении со старым деловым языком. Поиски равнодействующей между примитивным фразовым строем с характерными для него неотчетливыми границами между отдельными звеньями речевого потока и запутанной, риторической, ученой конструкцией ораторского искусства на церковнославянском языке с течением времени привели, не без помощи западноевропейских образцов, к выработке логически стройной, расчлененной конструкции, которая является сейчас общей для различных национальных языков новой Европы. Эволюция, которую в данном отношении пережил русский язык среднего стиля за XVIII в., сразу же заметна при простом сопоставлении двух следующих одножанровых отрывков, каждый из которых типичен для своего времени и в прочих отношениях. Сначала приводим отрывок из путевых записок графа Б. П. Шереметева, относящихся к 1697—1699 гг. (изданы только в 1773 г.):

«Потом сторожевые увидели в далекости четыре корабля турецких, о чем и сказали, и того ж часа ни мало не мешкав, подняв парусы на всех галерах и греблею, гнали не малые часы, построяся в ордер баталии и уже не в великой далекости были, как при том же явилась тартана, которая бежала из Александрии до Барбарии до города Туниса: и они Мальтийцы, знатно видя, что тех кораблей не догнать, поворотились за тою тартаною, и в скорости ее почали догонять, а как приближились, стреляли по той тартане из пушки с генеральской галеры, и на той тартане выставили флак французского короля, и те галеры, оный французский флак увидя, отвернули, и сказали боярину, что та тартана французская, везут-де французы турецких купцов в Тунис, и повернув оныя галеры пришли к тому урочищу, откуда погнали, на вечер не обедав: и тут генерал чинил боярину и братьям его во всем всякое удовольствование, и со всех галер капитаны и знатные кавалеры приезжали на генеральскую галеру, и витався отдавали уклон боярину, и поздравляли боярина, приписуя то прогнание и страх неприятелям его счастию, и ужинав говорил генерал боярину, яко бы прося соизволения,

итти с вечера через канал до Мальта: и за час до вечера, подняв парусы, побежали, и ту ночь бежали всю великою погодою, от которой погоды на галерах были в великом страхе; а фелюки, на которых ехал боярин, были привязаны к двум галерам, и едва их не потопило».

Для сравнения приводится отрывок из заграничных писем Фонвизина. В письме к П. И. Панину из Парижа от 20/31 марта 1777 г. читаем, между прочим, следующее:

«Обращусь теперь к описанию двух происшествий, кои по приезде моем занимали публику. Первое, поединок Дюка де Бурбона с Королевским братом Графом...; а второе, прибытие сюда Г. Вольтера. Граф в маскараде показал неучтивость Дюшессе де Бурбон, сорвав с нее маску. Дюк, муж ея, не захотел стерпеть сей обиды. А как не водится вызывать формально на дуэль Королевских братьев, то Дюк стал везде являться в тех местах, куда приходил Граф, чем показывал ему, что его ищет и требует неотменно удовольствия. Несколько дней публика любопытствовала, чем сие дело кончится. Наконец Граф принужденным нашелся выдти на поединок. Сражение минут с пять продолжалось, и Дюк оцарапал его руку. Сие увидя один стоявший подле них Гвардии Капитан, доложил Дюку, что Королевский брат поранен, и что как драгоценную кровь щадить надобно, то не время ль окончать битву? На сие Граф сказал, что обижен Дюк и что от него зависит продолжать или перестать. После сего они обнялись и поехали прямо в спектакль, где публика, сведав, что они дрались, обернулась к их ложе и апплодировала им с несказанным восхищением, крича: *браво, браво, достойная кровь Бурбона!* Я свидетелем был сей сцены, о которой весьма бы желал видеть мнение Вашего Сиятельства».

Таковы были, в общих чертах, судьбы среднего слога, выросшего с течением времени из «славено-российского» языка в общерусский письменный стандарт, в том смысле этого термина, как он иногда применяется к обозначению национальных языков в их общих культурных функциях. Но собственно художественная литература принимала небольшое, скорее — косвенное участие в выработке этого стандарта в течение XVIII в. Вплоть до эпохи Карамзина и Пушкина русская художественная литература, как общее правило, по своему языку оказывалась или «выше» или «ниже» описанной средней нормы. В практике тех литературных жанров, которые имели особенно важное значение для русского литературного развития после 40-х годов XVIII в., как это отразилось и в учении Ломоносова, на основной грунт «славено-российских» языковых средств наслаивались обильными отложениями собственно «славенские» речения, то есть такие церковнославянские слова, выражения, формы, которые к тому времени не были усвоены развивавшимся общеупотребительным письменным языком и потому ощущались как нечто, чему принадлежит выразительная функция «высокости». В том, что неассимилированные общим употреблением славянизмы были признаком именно в ы с о к о г о, а не в с я к о г о

грамотного, ученого письменного языка, как было когда-то, естественно сказались результаты общего процесса демократизации и популяризации письменной речи в России. Но, с другой стороны, это означало, что художественная литература в ее наиболее важных, господствующих разделах в известной мере оказывала противодействие означенному процессу, образуя своеобразное препятствие на его пути. Так создавалось движущее противоречие в стилистической истории русского языка той поры. Но все же очевидно, что судьба неассимилированных славянизмов в русском литературном языке стала всецело зависеть от судьбы «высокого» в самой литературе.

2

Церковнославянская письменность давала высокой поэзии XVIII в. не только грамматический и словарный материал, но также материал для поэтических сюжетов и образов. Она поддерживала в употреблении некоторые жанры, например переложения псалмов, а также известный круг мотивов и картинных представлений вроде, например, образа реки, текущей медом и млеком, рукоплещущих берегов, вопиющих камней и т. п. Известно, в частности, пристрастие Ломоносова к ветхозаветным образам, столь характерное для некоторых проявлений его одического стиля. Все это могло служить лишним поводом для употребления славянизмов в поэтическом языке, но существенного значения для истории самого русского поэтического языка не имеет. Когда у Ломоносова бог говорит: «Моя десница мещет гром, Я в пропасть сверг за грех Содом, Я небо мраком покрываю»,— то каждое слово из этой ветхозаветной картины, в том числе *десница*, *мещет*, вполне возможно у Ломоносова и иного писателя тех лет в любом ином одическом контексте и ничего специально «библейского», именно как слово, не заключает. Ср. в оде 1741 г.: «Твоя *десница* в первой год Поля багрит чрез кровь противных», где речь идет о военных трофеях никогда не воевавшего и не царствовавшего младенца — «императора и самодержца» Иоанна III. Выбор слов здесь обусловлен не конкретной темой, не данным поэтическим образом, а самим жанром произведения. С точки зрения истории русского поэтического языка, для установившегося с 40-х годов литературного словоупотребления это-то и представляется самым существенным. Высокая поэзия получила возможность, а в известном смысле и должна была пользоваться «славенской» лексикой и фразеологией как средством украшения речи, для любых собственно литературных заданий, вообще возможных в «высоком роде стихотворения».

В результате во второй половине века застаем в русской поэзии закрепленный круг лексических средств церковнославянского происхождения или колорита, в различных вариациях и пропорциях постоянно употреблявшихся в произведениях высокой поэзии разных писателей этого времени. Подробное рассмотрение этого материала могло бы осветить многие частные проблемы истории рус-

ского поэтического языка не только в XVIII, но также и в XIX и даже в XX вв. Но так как в данном случае это сделать невозможно, то ниже приводится для образца лишь небольшой список наиболее обычных слов этого рода, составленный по произведениям Ломоносова, Сумарокова, В. Майкова, Петрова, Хераскова, Кострова и других поэтов второй половины XVIII в. и способный дать общее, хотя и очень элементарное, представление об упомянутой лексике. Оставляя в стороне те церковнославянские параллели к собственно русским по происхождению словам, которые создавались иным звуковым видом того же корня (вроде *брада* при *борода*, *нощь* при *ночь*, *елень* при *олень* и т. п.), можно характеризовать эту лексику словами вроде *алкать* (также *алчный*, *алчба*), *багряница*, *брань*, *брашно*, *весь* (селение), *вертоград*, *внушить* (услышать, ср. еще у Жуковского: «*внуши* мой глас, созданье!»), *воспящать*, *вотще*, *вперить*, *выспрь*, *выя*, *вещать*, *вящщий*, *глагол*, *година*, *гонзать*, *угонзнуть* (избежать, скрыться; Херасков: «и тако *угонзнул* не поврежден ни чем»), *гряду* (инфинитив и прошедшее время не употребляются), *денница*, *дерзать*; *десница*, *длань*, *днесь*, *довлеть* (быть достаточным, а затем и быть нужным, надлежать), *живот* (жизнь; например, Сумароков: «И во злобе устремленных на драгой *живот* Петров»; Херасков: «стонают души те, которые мучимы в их были *животе*»), *злачный*, *зрак*, *зреть*, *кой* (также *кий*; например, Петров: «*Кий* звук я слышу издалеча»; Костров: «Но *кий* предмет смущает очи»), *коль*, *купно*, *ланиты*, *ликовствовать* (Сумароков: «Тобою всякое дыханье *ликовствует*»; В. Майков: *Возликовствуй*, Екатерина!»), *лепота*, *лета* (годы, возраст), *лик* (собрание), *лобзать*, *ложесна*, *мета*, *мечта*, или *мечтание* (призрак, видение; например, у Хераскова: «Багрово облако к Герою приближалось, *мечтание* чудное исходит из него»; у Державина: «*Мечту* стоящу я спросил»), *мнить*, *мышца* (рука; например, Петров: «При *мышцах* горлицы криле»; В. Майков: «И гордых *мышцы* сокруши»), *ниже* (Майков: «Младенцев сущих не жалеешь, *ниже* прекраснейших девиц»), *одр*, *око*, *оный*, *отверзать*, *паки* (очень часто у Сумарокова, Майкова, редко у Ломоносова), *перси*, *персть*, *перст*, *позор* (зрелище), *помавать*, *претить* (препятствовать), *пря* (спор; Ломоносов: «решу нелицемерно *при*»), *рамена*, *се* (вот), *скудель*, *сретать-срести* (ср. Костров: «где образ твой, богиня, *срящу*»), *сонм*, *стогна* (Херасков: «*по стогнам* светлого не видно торжества»), *стопы*, *течь* (идти, бежать; например, Майков: «велит к оружию им *течь*»; Петров: «Геройства Росс на подвиг *тек*»), *тщиться*, *уста*, *устне* (губы), *ущедрить* (реже в сходном значении *угобзить*), *хлябь*, *хребет* (спина; например, Капнист: «Я зрю вас устрашенных и обращающих *хребет*»; Херасков: «на коня... садился, щитом *хребет* покрыв»), *чадо*, *чело*, *человеки* (род. п., мн. ч. обычно *человеков*), *чертог*, *чрево*, *чресла*, *яко* (часто у Сумарокова) и т. д. Легко убедиться, что большая часть слов этого списка держалась в русском поэтическом употреблении очень долго, вплоть до середины XIX в., и затем снова появляется в поэзии начала XX в., хотя в разное

время и у представителей разных поэтических школ этот материал имел неодинаковый объем и обладал разной стилистической выразительностью. Можно думать, что разную экспрессивность подобные ходячие славянизмы могли приобретать в разных поэтических школах уже и в пределах XVIII в. По-видимому, именно в этом направлении можно воспользоваться для целей истории языка наблюдениями Г. А. Гуковского в области литературной борьбы между «ломоносовцами» и «сумароковцами». То, что в поэзии Ломоносова и последующих приверженцев его поэтического стиля служило для создания эффектов пышности и великолепия, в поэзии «сумароковцев» могло служить той рассудочной устанавливаемой иерархии высоких и низких жизненных ценностей, которая, согласно выводам Гуковского, характеризует собой литературный стиль русского классицизма. Таким образом, один и тот же языковой материал мог обслуживать разные стили поэзии, но существенно не забывать, что материал здесь все-таки один и тот же, одинаково употребляемый для выражения «высокого», хотя само «высокое» понималось разными писателями по-разному. Иначе говоря, лингвистически не представляется возможным оперировать такими величинами, как «язык Ломоносова» или «язык Сумарокова», а тем более противопоставлять их одну другой на том основании, что Сумароков в своих «Вздорных одах» пародировал поэтический стиль Ломоносова. Язык высокой поэзии XVIII в. повсюду представляет один и тот же языковой уклад, стилистически выделившийся из общих материалов русского языка, но способный приобретать разную экспрессивную окраску в зависимости от того, что означает «высокое» именно в данной поэтической системе. Нужно еще упомянуть о том, что на фактическом составе языка различных од не могли не отражаться значительные тематические отличия, существовавшие между хвалебно-торжественной одой и той медитативно-элегической одой, образцы которой встречаются у Сумарокова или Хераскова. По отношению к одам последнего образца не лишен был бы даже основания вопрос, имеем ли мы в данном случае дело с подлинно высоким жанром.

Язык высокой поэзии XVIII в. имел и ряд других специфичных особенностей. Разумеется, вполне равноценны упомянутым церковнославянским словам были полученные через церковнославянское посредство грецизмы вроде *елей*, *крин*, *нектар*, *понт* и т. д. В большом ходу были сложные слова, составленные в греческом вкусе, вроде *быстротекущий*, *громогласный*, *злосердый*, *златострунный*, *огнедышащий*, *светоносный*, *тьмочисленный* и т. д. Высокую экспрессию создавали и известные из старого книжного языка словообразовательные варианты глаголов вроде *снити*, *внити* при *сойти*, *войти*; *пожерти*, *стерти* при *пожрать*, *стереть*; *предписовати*, *испытовати* (наст. время *предписую*, *испытую*), *двигнуть* при *двинуть*; такие архаизмы в образовании основ настоящего времени, как *зижду* (от *здать*), *жену* (от *гнать*), (*н*)*емлю* [от (*н*)*имать*] и т. д. Ср. в «Россияде» Хераскова не только «*женут* врагов, разят, и

в бегство обращают», но и гиперславянизмы вроде «*не отженил* совета» вместо «не отогнал». Высокая поэзия очень широко пользовалась всеми теми морфологическими архаизмами, которые считались допустимыми в стихотворном языке «вольностями», вроде энклитических форм местоимений (*мя, тя, ся* и т. п.), инфинитивов на *-ти* безударное, зват. падежа и т. д., причем нет сомнения, что все подобные формы, помимо своего чисто версификационного значения, могли приобретать также в рамках соответствующих жанров значение элементов языка высокого и торжественного. Интересно, как частность, что Ломоносов совершенно не пользуется такими формами, как *мя, тя, ся*, и очень редко прибегает к инфинитиву на *-ти* безударное, тогда как в стихах Сумарокова эти языковые условности представлены в изобилии. Но и помимо «вольностей», в высокой поэзии XVIII в. встречаем немало морфологических архаизмов, которые употреблялись, по-видимому, из чисто стилистических побуждений. Сюда относятся, например, сложные формы причастия мужского рода в именительном падеже единственного числа без суффиксального согласного *щ* и *ш* вроде *седяй, создавый*, нередко употреблявшиеся в функции, не отличимой от функции деепричастия (например в «Россияде» Хераскова: «Но бог развратные сердца *познавый* в них, лик светлый отвратил, *отрынув* прозьбы их»), далее причастия прош. времени архаического образования от глаголов с тематическим гласным *и* вроде *явльшийся, избавльший, рождший*. К числу этого рода признаков высокого стиля, надо думать, относились также архаические формы косвенных падежей от слов среднего рода с исконной основой на *-с* вроде *с небеси, очеса, древеса*; им. п. мн. числа типа *раби, ангели*; далее *матерь, дщерь* вместо *мать, дочь*; окончание *-ьми*, в твор. п. мн. числа не только в словах женского рода на *-ь* вроде *хоругвьми*, но также мужского, вроде *мечьми, неприятельми*, и даже среднего, например у Кострова: «И сон, сын черного Морфея, летит с *мечтаньми* от очей». Очень долго держались в поэтическом употреблении формы дат. и предложн. пад. ед. числа: *земли*, например у Ломоносова: «И жертву ныне возжигают пред Солнцем *на земли* светящим» или у Сумарокова: «Нет тебя, Елисавета, нет уж больше *на земли*». Изредка на протяжении XVIII в. в особенно возвышенных тирадах можно встретить также архаические формы склонения мн. числа слов мужского и среднего рода вроде *со враги, в путех, в мужех* (Сумароков, Ода на победы Петра Великого), даже на *облацех* (Костров, Ода на день рождения Екатерины II, 1779). Надо, однако, признать, что перечисленные здесь особенности морфологии не образуют грамматической основы поэтического языка, а являются в ней именно «узорами», хотя бы обильными в отдельных случаях. Морфологическим же фундаментом поэтической речи, от которого наблюдаются отдельные отступления у тех или иных писателей, была «правильная» система форм, исключавшая из употребления те факты русского просторечия, которые не совпадали с фактами, известными из церковнославянского пре-

дания, в отличие от фактов, совпадавших в обеих областях языка. Таким образом, церковнославянская грамматика полностью вообще сохранила и в это время свое значение регулятивного орфографического и морфологического принципа по отношению к русскому литературному языку.

О синтаксических нормах высокого стиля говорить в кратком обзоре трудно. Обычно по этому поводу говорится о разного рода инверсиях. Среди них наблюдаются иногда очень резкие отклонения от норм живой речи, вплоть до отделения предлога от управляемого им имени. Тредиаковский порицал Сумарокова за строку: «Не преклони к *их* ухо *слову*», а Сумароков выговаривал за аналогичные построения Ломоносову (ср. у Ломоносова: «В другой *на* Финских раз *полях*»). Вообще же не мешает отметить, что инверсии далеко не всегда порождались версификационными условиями; например, у Ломоносова в строке : «нагреты *нежным* воды *югом*»— ритм не препятствует перестановке слов *нежным* и *воды*. Употреблялись также отдельные типы синтагм, усвоенные из церковнославянской традиции, вроде конструкции *да* с настоящим или будущим временем в значении нашего *чтобы* с инфинитивом или с прошедшим временем (*да придет* в значении *чтобы прийти* или *чтобы пришел*), дательного самостоятельного, винительного с инфинитивом и т. п. Наконец, разного рода косвенные свидетельства говорят о том, что существовала и произносительная норма высокого слога, требовавшая отличного произношения *ѣ* от *е* (вопрос о том, как фактически осуществлялась эта норма, несмотря на ряд исследований, остается до сих пор не вполне ясным), произношения *г* фрикативного, а не взрывного, и не допускавшая аканья и произношения звука *о* на месте прежнего *е* под ударением не перед мягкими согласными. Церковное происхождение всех этих орфоэпических норм очевидно. Последняя из этих норм засвидетельствована также рифмами вроде *озер — пещер*, *лед — след*, *сел* (род. п. мн. числа) — *дел* и т. п., но нужно тут же отметить, что в текстах XVIII в. нередко встречаются также рифмы, противоречащие этой норме, особенно тогда, когда ударяемому гласному рифмы предшествует шипящий, то есть согласный не парный по мягкости — твердости, ср. такие написания в рифмах Ломоносова, как *предпочол — зол*, *чужою — хвалою* и т. д.

Таков приблизительно круг средств высокого слога. «Сим штилем,— говорит Ломоносов,— преимуществует Российский язык перед многими нынешними Европейскими, пользуясь языком Славенским из книг церьковных». Очень важно, однако, помнить об ограничениях, которые Ломоносов устанавливает для употребления славенских слов в русском языке, именно о его указаниях на то, что даже и в высоком стиле не должно быть места словам «неупотребительным» и «весьма обветшалым» вроде *обаваю*, *рясны*, *овогда*, *свене*. Это указание Ломоносов делает дважды, и оно лучше всего показывает, что для Ломоносова «славенские речения» — это не основа, а только стилистический узор высокого слога. Кстати

будет заметить, что одно из осужденных здесь Ломоносовым слов, именно слово *рясны* (бахрома, вышивки), однажды употреблено им самим, но еще в 30-х годах в переводе оды Фенелона. Таким образом, и в этом отношении Ломоносов опирался на практический литературный опыт. Сделанное Ломоносовым обобщение русского поэтического опыта 40—50-х годов, как раз вследствие своей прочной связи с объективной литературной действительностью, стало вслед за тем одним из самых могущественных факторов закрепления исторически сложившихся стилистических навыков, и в этом отношении значение ломоносовской теории для последующей истории русского языка в поэтическом употреблении было поистине громадно. Стилистическая система «высокого слога» и основанная на ней теория Ломоносова потеряли свое жизненное значение и стали, наоборот, тормозом дальнейшего литературного развития только тогда, когда противопоставление высокого и низкого, лежавшего в основе прежней практики, стало бессодержательным пережитком прежде всего для самой литературы, но ликвидация этого противопоставления сама по себе уже означала ликвидацию проблемы славянизмов как признаков обособленного стиля языка. Следовательно, и по отношению к позднейшим задачам литературной обработки языка теория Ломоносова сохраняла свое историческое значение необходимой предуготовительной работы, потому что ничто лучше этой теории не доказывало, что вне рамок «высокого» славянизмы не образуют самостоятельной и живой стилистической категории в русской литературной речи.

Множество славянизмов в поэзии сентименталистов и романтиков — факт очевидный, но если Батюшков или Жуковский предпочитали писать в стихах *ланиты*, а не *щеки*, *чело*, а не *лоб*, то для них это были уже слова, в поэтическом отношении ничем не отличавшиеся от таких совершенно не «славенских» слов, как например *розы*, *мирты*, *арфа*, *меланхолия* и т. п. Таким образом, теория Ломоносова сыграла также и свою положительную роль в борьбе за новый тип литературно-художественного языка, порожденного разложением русского классицизма, хотя бы сами участники этой борьбы далеко не всегда сознавали, чем они в действительности были обязаны Ломоносову.

Но раньше чем наступило это время, русский классицизм успел построить прочное литературное здание на той основе, которую он нашел как в практических опытах, так и в теоретических рассуждениях Ломоносова. В области высоких жанров успехи классицизма преимущественно связаны с созданием трагедии и эпопеи. Эти два жанра вместе с унаследованной от прежнего литературного развития одой создавали надежные условия для разработки впервые оформленного Ломоносовым высокого поэтического языка. Классическая трагедия, первый образец которой был дан Сумароковым в 1750 г., и классическая эпопея, значительно позднее, только в 1779 г., впервые в полном объеме осуществленная Херасковым в «Россияде», дают достаточный материал для общего озна-

комления с историей высокого стиля языка в эпоху расцвета русского классицизма. Грамматический и лексический материал в этих произведениях всецело соответствует указанному выше стандарту, что, разумеется, не исключает возможности частных и индивидуальных несовпадений. При оценке таких несовпадений нельзя поддаваться соблазну переоценки известных теоретических положений, встречающихся в литературе того времени. Именно не следует представлять себе дело так, словно фактическое употребление языка в точности соответствовало тому, что требовалось в теории. Например, Ломоносов в своей «Грамматике» учит, что в «славенских» словах, род. п. ед. числа м. р. непременно должен оканчиваться на *-а*, а не на *-у*, и что, следовательно, нужно писать *ангельскаго гласа*, хотя можно писать *птичья голосу*. Но это не мешало самому Ломоносову писать: «От *гладу* завсегда бледнеет их лице», «И *мраку* их не знал» и т. д. Не следует также преувеличивать объективное значение тех замечаний о языке, которые возникали в ходе полемики между отдельными писателями и их приверженцами. Так, Сумароков заявлял, что слово *етот* он считает вольностью, допустимой в трагедии, но не в оде. Это как будто согласуется с позднейшим по времени указанием Ломоносова на то, что театральные сочинения пишутся «средним стилем», но, во-первых, и сам Ломоносов не исключал совершенно высокого стиля из трагедии, а во-вторых, и фактически никакой существенной разницы между языком трагедии и оды или эпопеи установить невозможно, если не прибегать к натяжкам и не придавать преувеличенного значения третьестепенным мелочам. В ответ на упрек Тредиаковского за употребление в трагедии слова *опять* вместо *паки* Сумароков писал: «Но прилично ли положить в рот девице семьнадцати лет, когда она в крайной с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *паки*, а *опять* слово совершенно употребительное». Речь здесь идет, очевидно, о реплике Офелии в «Гамлете» (действие V явление 5): «Когда ты совершиш намерение грозно, Тогда моим *опять* любовником быть позно». Но принимать объяснение Сумарокова за чистую монету было бы неосторожно, потому что слово *опять* находим, например, и в реплике наперсницы Астрады в «Хореве» (действие I, явление 1), так что здесь дело не в молодости и не в страстности героини, а скорее именно в общеупотребительности данного слова, а главное потому, что те же семнадцатилетние героини Сумарокова обычно без всякого труда изрекают тирады, сплошь состоящие из славянизмов и архаизмов, нисколько не более естественных в их устах, чем слово *паки*. Та же Офелия говорит (III, 3): «Какой преступок мой, иль паче кая злоба, Понудила тебя сей пламень истребить», или: «Всегдашнее мя зреть желанье отменя». Оснельда в «Хореве» говорит: «Отверзи мне врата любезныя темницы», «Живот мечтание и преходящий сон», Ксения в «Дмитрии Самозванце» говорит: «Но кая красота мне язву подала, Что мя соделати неверной предприемлешь» и т. д. В том-то и дело, что классическая трагедия исключала возможность индивидуальной

или хотя бы общепсихологической характеристики героев по языку. Царь, вестник, героиня, наперсница, боярин, раб — все говорят здесь совершенно одинаковым языком, именно — языком ж а н р а, а не характера, языком вообще трагедии, а не данного социального положения, возраста или пола. То же находим и в трагедиях Княжнина. Например, в «Росславе» шведская княжна Зафира говорит: «Великия души твоей я гласу внемлю», в «Вадиме» Рамида, дочь героя трагедии, говорит: «Коль мало лютых мук, которы предприемлю» и т. п. Этой твердой норме жанрового языка трагедии серьезный удар был нанесен только Пушкиным в «Борисе Годунове».

Что касается «Россияды» Хераскова, то подробное рассмотрение заключающихся в ее тексте фактов языка могло бы представить очень большой интерес с той стороны, что здесь норма высокого стиля выражена очень цельно и ясно. Объяснение этому следует искать прежде всего в самом жанре эпопеи, принудительно диктующем строгую выдержанность стиля, а также и в факте позднего появления «Россияды», отразившей, таким образом, громадный опыт целых четырех десятилетий в области обработки и шлифовки высокого поэтического языка. Большинство «правил» в «Россияде» соблюдается неукоснительно. В поэме почти не встречается полногласие, а только такие слова, как *град*, *власы*, *класы*, *брег*, *глава* (одним из редких исключений является слово *голос*), слово *ночь* встречается, как правило, только в рифме (*очи — но́чи*, *в ночи́ — ключи*), а обычно имеет вид *нощь*; слова вроде *алчба*, *вещать*, *лепота*, *грядет*, *зреть*, *рещи*, *стогна* и пр. почти никогда не заменяются их обиходными параллелями, архаические формы вроде *с небеси*, *изшедый* и т. п. встречаются постоянно. Существенно, что Херасков употребляет оборот дательного самостоятельного, например: «Еще *не кончившу* теченья солнцу *дни*, достигли мирного убежища они», то есть оборот, о неупотребительности которого Ломоносов сожалеет, но который сам вводить в употребление не решался. Ср. и в прозе Хераскова «*Звуку умолкшу*, жрица возникла, и Полидору тако рекла» и др.

3

Высокому слогу как языку известных жанров литературы классицизма противостоял низкий, или простой, слог, обслуживавший другие жанры литературы, именно те, которые имели своим предметом не идеальную, а конкретную, «низкую» действительность. Эта вторая разновидность литературно-художественного языка второй половины XVIII в. возникла на почве тех средств русской речи, которые имели повседневное употребление в общественной среде, создававшей литературу того времени. В некоторой мере, в зависимости от предмета изображения и художественных намерений, в указанных литературных жанрах привлекались к делу и элементы языка низших слоев общества. Нужно, однако, сказать, что различия в повседневном, домашнем языке высших и низших общественных групп, независимо от различий чисто диалектных, во вто-

рой половине XVIII в. были гораздо менее значительны, чем это наблюдается в XIX и XX вв. Обиходный русский язык господствующей общественной среды в течение всего XVIII в., в особенности же в последние его десятилетия и далее — в XIX в., постепенно уступал место новому общеупотребительному языку, который складывался на почве описанного выше среднего слога.

Этот процесс переустройства обиходной речи господствующей среды был естественным выражением общего культурного перерождения самой этой среды, выделявшей в своем составе все более значительные, передовые слои носителей русской национальной культуры. По мере того как язык среднего слога оседал в бытовой, повседневной речи носителей русской национальной культуры, превращаясь, таким образом, из языка книжно-письменного в язык общий, в прежней бытовой речи русского дворянства совершалось расслоение, аналогичное тому, какое совершалось в церковнославянском языке. Известные элементы этой речи вытеснялись из употребления, отходя в область употребления вульгарного, провинциального и т. п., другие, наоборот, закреплялись в употреблении общем, сливаясь там в одно целое с элементами книжного происхождения. Следовательно, в какой-то момент русской истории формы, слова, выражения живого просторечия, из числа тех, которые не закреплялись в общем употреблении, приобретали значение художественных узоров на среднем фоне нового общеупотребительного языка, совершенно так же, как это происходило с соответствующими разрядами славянизмов. Но в середине XVIII в. подобное характерологическое, специфически художественное назначение элементам живой речи принадлежало, вероятно, в относительно редких случаях. От исследователя художественных свойств языка в произведениях низких жанров во всяком случае требуется очень большой такт для того, чтобы не принять общеупотребительное за сознательно отобранное.

В языке басен, комедий, мемуаров, сатирической журнальной литературы второй половины века то и дело встречаются слова и выражения, как *стибрить*, *подтянать*, *калякать*, *кобениться*, *сволочь* (в значении «толпа, сброд»), *рыло*, *брюхо*, *нахлюстаться*, *дать стречка*, *заварить брагу*, *остаться в голях*, *кто бабе не внук*, *в мошне ни пула* (или *ни шелега*). Ср. в баснях Сумарокова слова вроде *сертят* (шляются, мотаются), *куромша* (ветреник), *потазал* (побранил, побил), «*рожу смуру*», «*свербит* спина», «боярам был *набитой брат* (ровня)», *припехнулся* (с речью, т. е. обратился), «*заткни себе за глотку*», «кашу *встюрила* лисица», «*врютился* олень по самы в лужу уши». В комедиях того же писателя: *двойнишник* (двойник) *крашенинныя бостроки* (телогреи), «*шильническим* ремеслом питаться», «*намнясь*, матушка твоя *колобродит*» и т. п.; в «Сбитенщике» Княжнина находим: «*похимистил* (украл), *взабыль* (в самом деле), «я его так *врючу* (запутаю)»; в «Ябеде» Капниста: «*зетит* он далеко, *щечит* за пропуск дел», «не горазд читать, писать и *поготовь* (подавно)», «*запазушны* друзья», «тебя как черта *окарнашу*»,

«на лестницу *вздеруся*»; в «Моте, любовию исправленном» Лукина: «своего *притоманнаго* (т. е. заработанного) попросить не можно».

Разумеется, в комедиях речь отдельных персонажей часто не совпадает: положительные герои обычно говорят в них языком несколько облагороженным, свободным от крайностей фамильярной речи и без резкого «простонародного» колорита. Особенно резким и наглядным становится это противопоставление положительных и отрицательных персонажей по языку к концу века (например, в «Недоросле» Фонвизина), но следы его заметны и ранее. В некоторых случаях отталкивание от «простонародной» речи выражается и в прямых признаниях действующих лиц. Например, в комедии Сумарокова «Рогоносец по воображению» Ниса, жалуясь на свою судьбу, говорит, что ей «должно еще ожидати такова жениха, которой будет говорить: чаво табе сердецуско надать? байста со мной, и другия подобныя этому крестьянские речи», а действующую в этой комедии помещицу Хавронью автор с явным намерением заставляет говорить не только *табе*, *сабе*, но и *табя*, *сабя*, что в действительности вряд ли было возможно. Хавронья говорит: «такой пригожий, преузорочный и обходительной, что *вось табе*»; коверкает иностранные слова, например: в *прозументах*, какую-то *интермецию* и т. д.

И все-таки, даже принимая во внимание все подобные явления стилизации, приходится думать, что обиходная речь тогдашнего дворянства, в особенности провинциального, не отделилась еще во второй половине XVIII в. окончательно от крестьянских диалектов. Исключительно интересные данные этого рода можно найти в известных «Записках» Болотова, как показывают следующие немногие примеры: «*узг* топора (острие)», «*промолол* я ее всю (книгу)», «*закуркал*, нашла такая *шаль*», «под караул *подтянали*», «ни *куклешь*», «сколько-нибудь *понаблошнился* и много кое-чего знал», «покуда он еще не *оборкался* (привык)», «*стрякотки-блякотки*», «навлечет на вас *колты* и хлопоты», «следовал за нами *назиркою* до самого Ревеля», «*обострожиться*» (устроиться)», «она *встрянулась* меня», «во время *сутормы* и перваго замешательства (суеты)», «ненавидел всякое коварство, *шильничество* и мытарство», «жена его была старушка самая *шлюшечка*», «буде бы он стал слишком *барабошить*», «около замка *шишляю* (вожусь)», *тазать* (выговаривать, наказывать), *гузать* (медлить), *жустарить* (жевать, грызть); ср., далее, выражения вроде: «*крутить* и *юрить* отъездом», «*сам с себя не сколок*», «всем и *не уми было* взглянуть», «поскакал *во всю пору*», «что ни есть *поры мочи*», «приехали мы *не в голос* и уже за полночь», «все сшито было на *чортов клин*», «ехали мы *себе в прохвал*», «*бежать благим матом*» и т. д.; ср. в «Трутне» Новикова: «отцовского то у тебя именья *стрень-брень с горошком*» (ничего не осталось), «*перекрапывает на свой салтык*», «полно де ево *отпряла* Всякая всячина очень хорошо» и пр.

Из грамматических особенностей, которые признавались «низкими» в теории, но довольно часто в течение XVIII в. употребля-

лись и не в низких жанрах, надо отметить формы склонения, как «*сто рублев*», «три *дни*», *из стремя* (на *стреме* и т. д.), *яйцы*, *тенеты*, *письмы*, *укрепленьев*, *сородичев*, *здоровьев*. Теснее связаны именно с низкими жанрами встречающиеся в изобилии глаголы на *-ыва*, среди которых особенно важны непрефиксальные, например у Болотова: *правливал*, *ужинывал*, *ночевывал*, *купывались*; *гащивал*, *ползывал*, *заставливал*, *не переваживалась*. Особо надо упомянуть постпозитивные частицы *-ста*, *-сте*, *-стани*, а также частицы *-ат*, *-та*, *-то*, на которые в свое время обращал внимание М. Г. Халанский. Важно подчеркнуть, что в комедиях, в которых, очевидно, по условиям передаваемой в них разговорной речи, эти частицы особенно часто встречаются, их можно найти и в речи таких персонажей, которые не наделены специальными приметами носителей простонародной языковой стихии, а потому можно думать, что эти частицы были более или менее обыкновенным явлением тогдашней разговорной речи. Ср. речь кредитора Докукина в комедии Лукина «Мот, любовию исправленный»: «Желаю-*сте* здравствовать, Василий Матвеевич. Не прогневайся пожалуйста, что я так рано забрел к вам. Мне-*стани* по дороге идти случилося... Скажи-*сте* пожалуй!.. Такая в них нужда, что-*сте* и промолвит стыдно». Ср. в «Опекуне» Сумарокова: «Нельзя ли-*ста* твоей милости подумать как бы перевод-*то* денежный принять в свои руки?— Для чего бы-*ста* не подумать» и пр. В комедиях Плавильщикова Халанский отмечал случаи вроде: «ин *тово-стани* с тобою мы сладим иным чередом»; «статимо ли дело-*ста*», «хорошее ли-*сте* дело» и т. п. Ср. в новиковских «Письмах к Фалалею»: «перевелись-*ста* старые наши большие бояре»; «нет-*ста*, что ни говори, а старая воля лучше новой». Частицу *-ат*, представляющую собой отражение постпозитивного *-от* в акающем произношении, находим в громадном количестве случаев в комедиях Сумарокова, без всякого различия между персонажами. Например, благородный Валерий в «Опекуне» говорит: «Нет, сударь, плут-*ат* ты, а не мы». Также и низкий (в моральном отношении) герой комедии Чужехват: «Однако кафтан-*ат* на тебе не по простоте природы зделан». Ср. у Аблесимова: «Дворянин-*ат* вить хороший дочь-*ту* нашу не возьмет» и т. д. Ср. в баснях Сумарокова «Каков бишь ваш-*ат* мост»; у Новикова: «хлеб-*ат* мы и здесь едим» и пр.

В частности, язык комедий XVIII в. представляет еще тот специальный интерес, что он был для писателей этого времени одним из узаконенных приемов литературного изображения живой речи. На комедийные тексты XVIII в. с некоторыми основаниями, разумеется, следует смотреть, как на ценный источник для познания обиходного языка соответствующих общественных слоев того времени. Но не следует забывать и того, что язык в этих текстах подчинен известной литературной традиции и отражает установившуюся манеру передавать диалогическую речь, особенно в репликах отрицательных персонажей и персонажей низкого социального положения. Заслуживает внимания тот факт, что лица,

редактировавшие текст ранних комедий императрицы Екатерины II, вносили в него частое употребление постпозитивных частиц, в автографическом тексте отсутствующих. Другое любопытное явление того же рода представляет язык щеголих и петиметров, сатирические отражения которого находим во многих комедиях, сатирических журналах и т. д. В этих литературных произведениях язык щеголих и петиметров предстает в виде своеобразного модного жаргона, в котором обычная русская речь как бы растворена в бессмысленном нагромождении арготических терминов галантного быта, иноязычных, преимущественно французских, заимствований, калькированных слов и оборотов речи, макаронических сочетаний и т. д. Много внимания уделяет этому жаргону «Живописец», в котором, между прочим, находим и особый «Опыт модного словаря щегольского наречия». Интересно, что образцы модного жаргона, опубликованные «Живописцем» в 1772 г., в ряде случаев в точности совпадают с появившейся в том же году комедией Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной», причем в одном из номеров «Живописца» (лист 9) в тексте сатирического письма щеголихи и прямо упоминаются персонажи названной комедии. Эта литературная перекличка по поводу щегольского наречия обнаруживает своеобразную литературную подкладку в самом факте воспроизведения образцов модного жаргона в печати. Вот некоторые из этих образцов: «*беспримерно*, как они смешны»; «*беспримерно*, как *славна*»; «сидеть *разбросану*»; «быть совсем *развязану*»; «*развязан в уме*»; «меня за это называют *резвым ребенком*»; «мужчина, *притащи себя* ко мне»; «держу ее своим *болванчиком* (болванчик означает возлюбленного или возлюбленную»; «Живописец» указывает и на французский источник этого слова: *idole de mon âme* — «кумир моея души, так как это употребляется во всех французских романах и любовных письмах»); «*строить дворики*» (*faire la cour*); «бросаю на нее *гнилой взгляд*»; *махаться* (ухаживать за кем-нибудь, иметь с кем-нибудь любовную интригу, например в «Именинах г-жи Ворчалкиной»: «Я знаю, что у них великое *махание*; только мне кажется, что он в *болванчики* ей не годится»; *теснота в голове*; *ужесть*, *радость*, «*как он не ловок выделан*»; «влюблен до *дурачества*»; «*фельетирую* их (листы журнала) без всякой *дистракции*»; «как привяжется он ко мне со своими *декларасьонами*» и т. д. Ср. в «Именинах г-жи Ворчалкиной»: «Как смешны Спесов и другие, которые *дают себе воздухи*» (т. е. которые важничают — *qui se donnent l'air*); «Как могут люди *азардовать свой живот*, поверяя его скотине» (т. е. рисковать своей жизнью, доверяясь лошади — о езде верхом). Тут же находим образцы макаронической речи вроде заявления Фирлифюшкова: «Лег me coucher в шестом часу après minuit» и т. д.

Жестоким преследователем макаронической щегольской речи был Сумароков. Уже в 1759 г. Сумароков напечатал свою известную статью «Об истреблении чужих слов из русского языка», положения которой им еще раз были развиты через пятнадцать лет в сатире «О французском языке». В своих комедиях Сумароков дал

немало острых образцов пародического изображения смеси «французского с нижегородским». В комедии «Пустая ссора» встречаем: «вы мне так *флатируете*»; «я вас *адорирую*»; «вы *дистре*»; «из *одоратера* зделали своим *амантом*»; «*пардонабельно* любить мужа»; «имею *интенцию* ваш *диспут финировать*»; «я тебе нос *кассирую*»; «*опре де* вас всегда в *конфузии*» и т. д. Особенно интересна в данном отношении комедия «Мать совместница дочери», где подобным макароническим языком говорит Минодора, мать, отбивающая жениха у дочери. Она, например, говорит: «Да неуж ли вам без женитьбы и любить не *капабельно*, будто только и *кариспаденции*, как муж и жена». Или: «Я имею честь имети к вашему *патрету*, или к вашей *персоне* отличной *решпект*, и принимала вас безо всякой *церемонияльности* и без *фасоний*». Ср. соответствующие места в тексте «Бригадира» Фонвизина: «Я *капабельна* с тобою развестись, если ты меня еще так *шпетить* станешь», «ваш *резонеман* справедлив» и т. д. Все это, разумеется, карикатура, но она сохраняет большое историческое значение, свидетельствуя о наличии особого стиля разговорной речи во второй половине XVIII в., в котором иноязычные модные слова имели чисто стилистическую, а не терминологическую функцию. Эта функция достаточно наглядно проступает хотя бы в таких примерах из «Записок» Болотова: «выслушивать таковые ея *предики* и *нравоучения*»; «он был муж, или, паче сказать, носил только имя мужа полковничей *метресы* или *любовницы*»; «дело, о котором я теперь расскажу, основывалось на мошенническом *комплоте* или *заговоре* между *чухнами*»; «имевший с покойным родителем моим... небольшую *суспицию* и на него *досаду*»; «получать... *выговоры* и *репреманты*» и пр. Ср. в «Пригожей поварихе» Чулкова: «Купил мне новый *сервиз*, или попросту *посуду*».

Следует далее упомянуть и о том, что в письменности XVIII в. предметом изображения изредка служила и крестьянская диалектная речь. Как следует из сделанной выше ссылки на комедию Сумарокова «Рогоносец по воображению», литературным показаниям этого рода не всегда можно придавать подлинное диалектологическое значение. Роль подобных диалектизмов — чисто театральная. Но XVIII в. оставил нам и более интересные опыты изображения крестьянской речи. Уже давно в этом отношении обращено внимание на комедию Лукина «Щепетильник», в которой действуют двое рабочих, родом из Галича Костромской губернии. Их реплики заключают в себе явления местной фонетики, в историко-диалектологическом отношении вполне достоверные, например переход *ъ* в *и*, цоканье, дзеканье: *ниту*, *роцимой* (то есть родимый), *посмотрець*, *я цаю*, *двадчать* и т. п. Еще более любопытным памятником литературного изображения диалектной речи в XVIII в. является книжка Василия Березайского «Анекдоты древних пошехонцев» (1798), в которой очень последовательно и цельно, большими тирадами, передана прямая речь пошехонских персонажей с ее фонетическими, грамматическими и лексическими приметами.

Таковы, между прочим, смешение *ц* и *ч*, дзеканье, смешение *с* и *ш*, исчезновение интервокального йота и т. д. Вот небольшой образец: «Давайцѣ ребяци его прицалимъ и сбуркамъ [выбросим] его въ велико ци насе озеро, а то іонъ не токмя сцо росъ [рожь], да и головы наси подтоцыць». Или: «Тото циво [диво] ребяци! у нас въ Посехоньѣ раздобаривали они, домовой ходиць только по ноцамъ до пѣуновъ, а и то невицимкой, ва тутъ окоянной поосерець бѣла дня, и люцѣй [людей] не полохатца.— Да мышь ево цосно отпотцывали» и т. д.

4

Не приходится пространно доказывать, что нормы языкового употребления в том виде, как они слагались в теоретических воззрениях и в психологии второй половины XVIII в., вовсе не всегда отражаются в текстах последовательно. В течение всей второй половины века продолжаем наблюдать значительные колебания в языке, в особенности со стороны орфографии и морфологии. В «Душеньке» Богдановича в соответствии с условиями жанра широко представлена лексика низкого стиля вроде: «*режет* правду в слух»; «иные *хлипали* иные громко выли»; «поехала она на щуке *шегардой*»; «подлый *шпынь*» и пр. Но это не препятствует употреблению в том же тексте таких, несомненно, книжных форм, как *горестьми*, *напастьми*; «старших *сестр* своих»; «когда размножилось повсюду *царско* племя»; «и малой меры и *большия*», или таких рифм, как *де ла Фонтен* — *имен* и др. В значительной мере такие книжные элементы удерживались в произведениях низких жанров на правах версификационных «вольностей». С другой стороны, и, по-видимому чаще, находим обиходные варианты в языке высоких жанров, как например формы вроде *уважаючи*, *стенаючи*, *блаженствы*, *от молниев*, *растениев* и пр. в «Россияде» Хераскова. Обилие подобного рода противоречий в текстах XVIII в. как стихотворных, так и в прозаических, означает, что нормализующие тенденции, шедшие от теоретиков языка и литературы, не могли подчинить себе целиком живые процессы, совершавшиеся в языке этого времени. Не случайно по различным поводам подобного рода происходили и литературные дискуссии. Но помимо прочего, прочному внедрению провозглашаемых норм в языковую практику препятствовали также те явления собственно литературной жизни XVIII в., которые не вмещались в иерархическую жанровую схему, выработанную классицизмом.

Примером могут служить некоторые произведения Державина. В той мере, в какой Державин пользовался традиционными литературными формами классицизма, высокий слог остается нетронутым и цельно выдержанным и в его произведениях. Это легко наблюдать на его религиозных или хвалебно-торжественных одах. Но, продолжая культивировать подобные жанры, традиционная схема которых не мешала ему и в них проявлять свою яркую поэтическую индивидуальность. Державин одновременно создает и

такие литературные формы, которые в узаконенных росписях классицизма не значились. В результате в русской литературе стали появляться стихотворения, которые, совпадая по ряду мотивов и внешних признаков композиции с одами, тем не менее были написаны откровенно низким слогом. Сам по себе низкий слог был для 80-х годов вовсе не новостью и успел уже к тому времени получить достаточно богатое литературное выражение. Новшество Державина заключалось не в самых формах языка, а в новости применения этих форм. Дело было не в том, что Державин в иных случаях писал «низко», а в том, что его «низко» написанные стихотворения претендовали на такое литературное значение и обладали такими литературными функциями, которых у собственно низкой литературы быть не могло. Это был «забавный русский слог», но им все-таки воспевались «добродетели» императрицы. Такие произведения Державина, как «Фелица», «На счастье», «Вельможа» и т. д., функционировали не как басни или «увеселительные эпиграммы и песни», а именно как оды, то есть были «большой» литературой, а потому их низкий слог должен был производить эффект острой новизны. С другой стороны, так как это были все-таки оды, то указанный жанр не был свободен и от известных одических трафаретов, имевших свое узаконенное, высокое языковое выражение. Поэтому в некоторых произведениях Державина, например в оде «На счастье», давно уже выделенной в этом отношении Я. К. Гротом, возникало парадоксальное столкновение двух стилей языка, не создававшее никакого нового единства. Например, начало оды, выдержанное в обычном тоне:

Всегда похвально, препочтенно
Во всей вселенной обоженно
И вожделенное от всех,
О ты, великомощно щастье,

и следующие за тем выражения вроде: «в сердцах их зиждут алтари», «на шаровидной колеснице», «во след блистающей деннице», «куда хребет свой обращаешь, там пепел в грады претворяешь», точно соответствующие норме высокого слога, не дают неподготовленному читателю никакого повода предполагать в дальнейшем тексте оды такие яркие образцы низкого слова, как например знаменитая пятая строфа:

В те дни, как всюду скороходом
Пред русским ты бежишь народом
И лавры рвешь ему зимой,
Стамбулу бороду ерошишь,
На Тавре едешь чехардой;
Задать Стокгольму перцу хочешь
Берлину фабришь ты усы;
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол Варшаве раздуваешь,
Коптишь Голландам колбасы,

и нижеследующие выражения: «вселенну в трантелево гнут», «и припевает хем, хем, хем», «и так, и сяк нахмуря рожи, тузят инова иногда» и т. д. Все это мотивировано Державиным как масленичное произведение, «написанное под хмельком». Но от этого ода не теряла своей литературной функции, а ее язык не становится

глаже, оставаясь в решительном противоречии с заповедью Ломоносова, учившего «разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слога». Таким образом, новые литературные явления конца XVIII в. создавали такие условия, при которых претендующая на значительность литература в известных случаях уже не подчинялась традиционной стилистической схеме. Эта схема здесь еще не отменена и не замещена никакой новой, но строгое соблюдение ее уже не удовлетворяет некоторым, по крайней мере, литературным потребностям.

Несоответствие заданной стилистической схемы с живыми потребностями литературы конца века еще более ярко обнаруживается в языке некоторых произведений Радищева, прежде всего в его «Путешествии». Как известно, Радищев был очень склонен к высокому книжному стилю языка, превосходя в этом отношении многих своих современников. В «Путешествии» Радищева — нередкость такие архаизмы склонения, как *во градех*, *по чадех*, *на крылех*, в сущности в это время литературе уже неизвестные. У него встречаем не только формы типа *телеси*, чему можно приискать параллели и у других писателей эпохи, но также *забвени*, *рождени*, что значительно труднее встретить в других текстах. Причастия архаического образования вроде *носяй*, *вещаяй*, *предваряяй*, *невозмогаяй*, *взалкавый*, *возмнивый* — у Радищева попадаются буквально на каждом шагу. Радищев употребляет даже формы аориста, что, несомненно, является архаической крайностью для конца XVIII в., например в «Путешествии»: «Не ведаете вы, колико *согреших* пред вами»; в «Вольности»: «*Превзыде* зло твою главу». «Но не *приспе* еще година». По-видимому, крайностями надо признать также *рекл* вместо обычного *рек*, формы нетематических глаголов вроде *есте*, *веси*. Оборот дательного самостоятельного встречается в радищевских текстах безусловно чаще, чем можно было бы ожидать на основании общей нормы, например: «*Вещавшу* сие *старцу*, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его», «Возмущенные соки мыслию, стремилися, *мне спящу*, к голове, и тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение», «Если *едущу мне*, нападет на меня злодей», «*представшим им* пред него, первой вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну». Обращает на себя внимание множество употребляемых Радищевым отвлеченных существительных на *-ние* вроде: *возседение*, *воспоминовение*, *гремление*, *зыбление*, *кривление*, *проницание*, *прохождение*, *прошение* (милостыни), *раздавание*, *шумление*. Постоянными для Радищева являются не только такие слова, как *внезапу*, *возкраие*, *воспрядать*, *вождаемый*, *кормило*, *досязать*, *отишие*, *прободать*, *соглядать*, или сложные слова вроде *зерцаловидный*, *ужасоносный*, но также и такие подьячески-церковные трафареты, как *аможе*, *егда*, *еже*, *елико*, *дондеже*, *николи*, *паки*, *тако*, *сице*, *яко*, *убо* и пр., например: «бди убо да паки не удалюся от тебя», и т. д. Но в «Путешествии» легко отслоить страницы, написанные высоким сло-

том, от страниц написанных слогом низким и средним, причем всякий раз выбор слога стоит в прямой зависимости от жанрово-стилистических особенностей соответствующих страниц как отдельных звеньев литературного произведения. Высокий слог находим по преимуществу в главах назидательных и проповеднических, в тех местах книги, где содержится ораторски, кафедрально построенное изложение философских и морально-политических идей; ср., например, описание сна в главе «Спасская полесть», монолог идеального дворянина в главе «Крестьцы» и т. п. Естественно, находим высокий слог и в высокой поэзии Радищева, прежде всего в самом ее ярком образце — в оде «Вольность». «Низкий», или «простой», слог находим чаще всего в передаче диалогов, например в разговоре сводницы Ш. и ее приятельницы Н. из главы «Зайцово», в передаче речи Анюты из главы «Едрово» и пр. Средний слог находим преимущественно в чисто повествовательных отделах «Путешествия». Любопытным примером перехода от одного стиля языка к другому может служить в «Путешествии» короткая глава «Любани», начинающаяся передачей диалога барина и крестьянина («по грибы да по ягоды», «перьвинькому то десятой годок», «дело то и споро»), затем переходящая в авторский комментарий к этой беседе, где естественно появляется речь книжная и отвлеченная («Член общества становится только тогда известен правительству его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей»), заканчивающаяся патетически формулируемыми выводами из этих размышлений («Сия мысль всю кровь во мне возспалила... Вдруг почувствовал я быстрый мраз протекающий кровь мою, и прогоняя жар к вершинам нудил его разспростирается по лицу»). Во всем этом нет никаких отступлений от стилистических норм классицизма, если не считать отступлением соединение разных литературных стилей в одном переплете, вследствие новости самого жанра, и язык Радищева с этой точки зрения есть вполне язык своей эпохи. Три стиля речи, заповеданные русской литературе Ломоносовым, нигде не сливаются у Радищева в одно целое, и каждый раздельно несет свою особую функцию. Новость, как и у Державина, заключалась только в их совмещении в пределах одного произведения, а это зависело от требований самого жанра «Путешествия». С этой точки зрения далеко не безразличными представляются некоторые места диалогов Радищева, в которых морализующий автор отвечает носителям «просторечия» на таком языке, который его собеседникам, очевидно, недоступен. Ср. разговор с Анютой: «Кабы батюшка жив был и ето видел, то бы даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею.— Неоскорбляйся моя любезная Анютушка, неоскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности... Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был изторгнут восхищением глубоко тронутыя души».

Однако действительный удар той системе литературного языка, которая сложилась на почве литературы классицизма, был нанесен только тогда, когда литературе трех стилей оказалась проти-

вопоставлена литература одного, о б щ е г о стиля. Язык этой литературы нового типа, вождем которой был Карамзин, есть дальнейшее развитие среднего слога, но только перенесенного с деловой и теоретической почвы на почву беллетристики. По своему морфологическому строю — это правильный книжный язык своего времени, за отдельными частными исключениями соответствующий примерно нормам «Грамматики» Ломоносова. Но с синтаксической стороны эта новая стадия среднего слога значительно отличается от прежней, так как она приспособлена к нуждам светской беллетристики, ориентированной на западноевропейские образцы. Что касается лексического состава среднего слога в этой его новой формации, то церковнославянские слова, не вошедшие в общее употребление и не слившиеся с общим фондом русских слов, сохраняют выразительное художественное значение теперь только в поэзии, где употребляются, однако, как слова уже не «высокие», а именно — п о э т и ч е с к и е, в духе сентиментализма и романтизма. За пределами поэтического языка в употреблении, как правило, сохраняются только такие славянизмы, которые вошли в общий язык и слились в нем со словами собственно русскими. «Низких», «подлых» и «простонародных» слов в этом языке не может быть уже потому, что темы и сюжеты, которыми предполагалось бы употребление таких слов, в новой, так называемой «легкой» поэзии (элегия, баллада), в светской повести и других родственных жанрах не имеют места и даже избегаются. Исключением остаются лишь домашние свободные жанры литературной шутки, пародии, эпиграммы и т. д., но и здесь низкая лексика освобождается от провинциализмов и «простонародных» элементов, отражая, таким образом, процесс чистки разговорного языка, происходивший в узком кругу образованных слоев дворянства под влиянием литературы и насаждаемых ею п р а в и л в к у с а. Терминологические средства старого среднего слога в литературном языке конца XVIII и начала XIX в., если можно так выразиться, беллетризуются и тем самым популяризуются в среде читателей; слова вроде *амфитеатр*, *готический*, *натура*, *фантом*, *феномен* и пр. употребляются в повестях и журнальных статьях уже не только как термины, но и как слова общелитературные. Все эти процессы и составляют содержание той реформы русского литературного языка, которая стала в представлении современников и потомков соединяться с деятельностью Карамзина. Но основной смысл и результат этих процессов был тот, что языком литературы стал общенациональный русский литературный язык, соединивший в общем синтезе «славенское» и «российское» начала, а различные уклонения от его общей нормы в ту или другую сторону в лучшем случае сохранили только характерологические функции, вообще же — превратились в пережиток.

К ИСТОРИИ НОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА В КОНЦЕ XVIII ВЕКА*

(СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ, 1789—1794)

Письменные памятники двояко отражают историю языка, на котором они написаны,— пассивно и активно, или объективно и субъективно, в зависимости от того, дают ли они историку материал только для воссоздания соответствующей языковой системы, или же, сверх того, так или иначе свидетельствуют также об о ц е н к е употребляемых фактов языка со стороны составителя текста. Этот субъективно-активный, оценочный момент может проявляться в тексте в самой разнообразной форме, и почувствовать его — дело исследовательского такта. Но нередко он и прямо обнаруживается в догматически-нормативной форме, как это видим, в первую очередь, в грамматических руководствах и словарях. Именно этой своей открыто нормативной стороной грамматики и словари и привлекают обычно внимание историков языка. В этих источниках историк языка ищет преимущественно ответа на вопрос о том, как переживались факты языка в известную пору его развития носителями и законодателями языкового употребления. Такого рода исследования обладают большой ценностью, однако лишь при том непременном условии, что нормы, утверждаемые законодателями языка, составителями грамматик и словарей, не отожествляются без должной критики с объективным состоянием языкового употребления, как оно устанавливается прямым анализом засвидетельствованных фактов языка. С этой стороны, как мне кажется, значительный научный интерес представило бы такое изучение памятников названного рода, которое избрало бы себе целью сопоставить языковые нормы, устанавливаемые составителем памятника, с его же собственным языковым употреблением, то есть проверить, в какой степени предписания грамматик и словарей гармонируют с их собственным языком и обратно. Небольшой опыт такого рода в применении к выдающемуся памятнику русской лексикографии — Словарю Академии Российской и предлагается здесь вниманию читателей.

---

* [Вестник МГУ», 1947, № 5.]

Словарь Академии Российской тем более заслуживает именно такого изучения, что он явился в эпоху, особенно ярко характеризующуюся поисками языковой нормы и общим стремлением к регламентации языкового употребления. XVIII век в России есть пора выработки книжного языка нового типа, который должен был заменить собой старую книжную речь, имевшую своим основным источником язык церковных книг. Книжный язык естественно тяготеет к единообразию, в особенности в области внешних форм, и в первую очередь — в области правописания. Общеизвестно, что устойчивого правописания у нас в XVIII в. не было. Между тем стремление к такой устойчивости несомненно существовало. Отразилось ли, и в какой степени, это стремление в Словаре Академии Российской, этом монументальном труде, в составлении которого приняли участие, без сомнения, лучшие представители тогдашней русской образованности? Какое вообще место можно отвести этому Словарю в истории создания внешних норм русского книжного языка послепетровского времени? Вот вопросы, для решения которых, может быть, небесполезными будут сообщаемые ниже данные.

Составители Словаря, несомненно, сознавали, что предпринятый ими труд должен иметь практически-нормативное значение. Правда, основное внимание составителей было обращено на собственно лексическую сторону языка, на выбор слов, помещаемых в Словаре, на надлежащее истолкование значений слова, на установление словопроизводных связей между словами и т. д. Но их, несомненно, занимали также вопросы словоизменения и произношения, а тем самым и правописания, что нашло себе отражение как в продолжительных порой спорах в их среде по данному кругу вопросов (см. Сухомлинов, История Российской Академии, VIII, 146—148), так и в самом тексте Словаря. Нужно тут же заметить, что составители Словаря отнеслись к этой стороне своей задачи с большим тактом и сумели избежать претенциозного догматизма, в который, казалось бы, так легко было впасть в предприятии подобного рода в обстановке общей неустойчивости письменных норм языка того времени. Но, с другой стороны, это сообщило всему их труду известные противоречивые свойства, в значительной степени еще и потому, что в среде членов Российской Академии в это время не было профессиональных языковедов (ср. Сухомлинов, 141), составители Словаря отказались от попыток прямого вмешательства в систему внешних норм литературной речи. Они предпочли положиться в данном отношении на авторитет Ломоносова, избрав его грамматику и, соответственно, правописание церковных книг отправным моментом своей работы в надежде, что именно их работа и выяснит основания для более обстоятельного решения вопроса в будущем. В предисловии к Словарю (I, XIII) поэтому читаем: «Хотя Россійское правописаніе въ краткихъ содержится правилахъ, однако много въ ономъ зависитъ отъ употребленія. Часто мѣшаютъ *а* съ *я* (так!), *з* употребляют вмѣсто *с* и *с* вмѣсто *з*, и проч.: то Академія почла за нужное слѣдовать въ Сло-

варъ своемъ правописанію книгъ церковныхъ, пока сей же самый трудъ откроетъ ей довольные способы къ утвержденію единожды навсегда правилъ правописанія». Сходным образом говорится и о произношении: «Различное произношеніе и удареніе словъ по разности областей Академія тщилася сообразить по выговору въ столицахъ употребляемому, наблюдая удареніе въ книгахъ Славенскихъ принятое, доколѣ не будутъ открыты точныя и на сие правила» (ib.)

Несмотря на содержащееся в приведенных выдержках признание необходимости установить общую правописно-произносительную форму, здесь в то же время отчетливо проступает осторожное отношение к объективному состоянию наличного употребления. «Не правила языкъ раждаютъ,— говорится в другом месте предисловия (стр. VI),— но изъ употребленія онаго извлекаются правила». Таким образом, позиция составителей двойственная и осмотрительная: они хотели бы вывести норму из наличного употребления, но не решаются взять на себя ответственность законодательной работы, заменяя ее ссылкой на известную традицию авторитета. Именно в этом — особый интерес текста Словаря для историко-лингвистического изучения. В нем нет прямо и открыто провозглашаемой нормы. Но в нем есть возможность угадывать тот идеал языкового употребления, по направлению к которому движутся составители Словаря сквозь богато отражаемые ими языковые противоречия своего времени. Изучение этих противоречий и намечающегося из них выхода на нескольких примерах и составят предмет дальнейшего изложения. Для этой цели избираются некоторые явления правописания, связанные, с одной стороны, с фактами фонетики, а с другой — с фактами морфологии. Изучению было подвергнуто несколько сплошных кусков текста Словаря (в отдельных случаях до 100 и более столбцов подряд) на протяжении всех шести его томов. Так как в дальнейшем придается большое значение тому, в какой части текста находится наблюдаемая форма, то при ссылках ставятся пометы: *т.*— для форм, извлекаемых из объяснительного текста Словаря, *з.*— из заголовков словарных статей, *п.*— из иллюстративных примеров.

1. В ограниченном числе случаев в правописании Словаря наблюдаются колебания между буквами *а*, *о* в безударных слогах, большей частью — предударных. Некоторые из относящихся сюда случаев производят впечатление опечатки, например *дабавляемая* I70 т. наряду с *добавка*, *добавляю*, *добавочный* и т. д. ib. з. или *фіалетоваго* 129 т. рядом с *фіолетоваго* 177 т., *фіолетовый* VI 491 з., хотя не исключена также возможность того, что здесь сказалось влияние слова *фіалка*. Может быть, опечаткой следует считать также *раскошныя* III 1135 т., ср. *роскошный* и другие слова того же гнезда V 165 з. Но и самые опечатки этого рода имеют своей почвой, несомненно, акающее произношение, которым объясняются также и те случаи колебаний в употреблении букв *а*, *о* в безударных слогах, где нет повода для предположения опечатки. В частности,

акающее произношение создавало неуверенность в этимологии слова, а, кроме того, облегчало смешение русского и церковнославянского вариантов слов известного рода. Так, в некоторых случаях в Словаре уже и заглавное слово словарной статьи приводится в двояком написании, например *каблукъ или коблукъ* III 351, *канатъ или конатъ* III 424, *стоканъ или стаканъ* V 740, *таваръ или товаръ* VI 5. Интересно, что при слове *каблукъ* или *коблукъ* уменьшительное в заглавии статьи приводится только в написании *каблучекъ*, но в примере тут же читаем: *Сапоги, башмаки на каблучкахъ, на коблучкахъ*. Далее производные от этого слова в заглавиях статей приводятся в написаниях через *а*: *каблучокъ, каблучный, закаблучье*, но: *коблучки* (*по обстоятельствамъ надѣваю или снимаю съ птицъ коблучки, дабы сдѣлать ручными*), и в этой последней статье слово *коблучокъ* трижды употреблено только в написании с буквой *о*. В этом случае, следовательно, трудно усмотреть какую-нибудь руководящую линию орфографической практики составителей Словаря. Но все же интересно, что при двойственном написании заглавного слова *стоканъ* или *стаканъ* уменьшительное *стаканчикъ* и пример: *стаканъ хрустальной, золотой, серебряной* выдержаны в написании только с *а*. При таком же двойственном написании слова *таваръ* или *товаръ* (ср. в примерах: *мѣлочной товаръ*, но: *яловочной таваръ, разкласть тавары на прилавокъ*) производные приведены только в написаниях с *а*: *таварный, таварищъ, таварищевъ, таварищескій, таварищество, таварищески, сотаварищъ* и т. д. В написании же основного слова продолжаются колебания и за пределами самой статьи, посвященной этому слову: ср. *тавaровъ* I 487 т. при *товаръ* ib. т. п. Ср. *тарелка или торелка* V 28, но в производных и примерах только написания с *а*. При написаниях *ладонъ, ладонный* в заглавиях словарных статей III 1127, вне текста самых статей, посвященных этим словам, наряду с *ладонъ, ладону* III 357 т. можем найти и *ладаномъ* III 356, 357 т.

Особенно отчетливо сказалась разная орфографическая установка составителей Словаря в зависимости от того, находится ли данное слово в составе статьи, именно ему посвященной, или же в тексте Словаря вообще, в правописании слов, производных от *норовить*. На протяжении текста Словаря эти слова обычно пишутся с *а*, например *снаравливаю* II 5 т., *снаровка* II 6 т.; *принаровка* ib., *принаравливаю* III 1130 т., *принаравливаюсь* III 1131 т., *принаровленный* III 1132 т., *принаравливаться* IV 558 т. Однако в своем собственном словарном гнезде, вслед за словом *норовъ* IV 561, все эти слова как в заглавиях, так и в примерах последовательно пишутся только с *о*: *норовлю* з., *онъ ему все норовитъ* п., *изноравливаю* з., *изноровивши время* п., *изноровка, поноровить, поноровка, поноровщик, поноравливаю, приноравливаюсь, сноравливаю, сноровка, уноровка*. В этом случае объективно имеем дело с закреплением известного орфографического варианта, который с течением времени оказался вошедшим в общенациональную норму. То же отношение

наблюдаем между *салдатскіе мундиры* I 30 т.; s. v. *аммуниція*, и *солдатъ, солдатовъ, солдатскій, солдатчина* V 639 з. п. Несколько иного характера колебание между *аладья* I 19 и *оладья* VI 627. В обоих написаниях это слово помещено в соответствующих алфавитных местах, но толкование дано при первом из них, а при втором находим лишь ссылку на первое, из чего с некоторым правом можно заключить, что более свойственным норме Словарь считает написание этого слова с *а*.

В других случаях, как уже сказано, колебания написаний с *а*, *о* имеют своим дополнительным источником двоякую языковую традицию — народную русскую, с одной стороны, и церковнославянскую — с другой. Однако большого значения этой стороне дела в объяснении описываемых орфографических колебаний придавать не следует. Например, при заглавном слове *ла́коть* III 1135 находим помету: *Сл.* [*авенское*], *просто же локоть*. Уменьшительное, как и ожидаем, дано в написании *локотокъ*. Соответствуют ожиданиям и производные в написаниях: *налакотникъ*, *облокачиваюсь*. В примерах же s. v. *ла́коть — локоть* находим: *опереться на локоть*; *стѣна, столпъ имѣет столько то лактей въ вышину*. То обстоятельство, что написание с *а* встречаем как раз в безударном положении, а под ударением находим здесь написание с *о*, не позволяет прямолинейно заключать, что эта разница написаний была разницей русского и церковнославянского вариантов слова для самих писавших. И это тем более, что данное соотношение повторяется и в других местах Словаря, например: *стволъ длиною въ локоть* I 80 т., s. v. *бадан*, но: *рыболовная снасть... шириною... до двухъ лактей* I 63, s. v. *аханъ*. Последние два примера, помимо прочего, показывают, что эта разница написаний не сводится и к разнице двух значений слова *локоть — лакоть* (анатомического и как меры длины). Уже совсем нет оснований применять критерий различия между русским и церковнославянским вариантами слова по отношению к таким параллелям, как *расту* или *росту* V 73, *равно* или *ровно* V 13 (ср. и в выражении: *Все равно, ровно* з., при: *для меня все ровно* п., *равность* и *ровность* ib., *равнина*[1] и *ровнина* V 14, *разница* и *розница* V 63 и т. д., в каковых случаях даже в заглавиях статей составители Словаря не показывают, что одно из приводимых параллельных написаний принадлежит славенскому языку, а другое — простому. В самом тексте Словаря оба типа написаний употребляются безразлично, например: *растущих*, но *ростетъ* I 80—81 т., *растутъ*, но *ростетъ* V 74 п., *врастаю*, но *вырастаю, дорастаю, зарастаю, израстаю, нарастаю, обрастаю, перерастаю, прорастаю, разрастаюсь, срастаюсь* V 77—82 з. При слове *разница — розница* V 63 даны примеры: *Между вещами сими разница состоитъ въ томъ. Между братьями есть великая розница*[2].

---

[1] В подлиннике опечатка: *равнивна*.

[2] Ср. у Карамзина: «По берегу Гафа считается до Кенигсберга 18 миль, а черезъ Тильзитъ 30: большая розница!» Соч., II, 24, 1820.

Однако при втором значении слова (иногда означает вообще различные, неодинаковые вещи), а также в выражениях: *въ розницу продавать и порознь* в примерах находим только написания с *о*. Таким образом, только последняя частность отражает известную стадию в дифференциации вариантов *разница — розница* по лексическому значению. Но такие случаи в данной категории, как известно, вообще редки. Ср. еще: *развязка. То же что розвязываніе* I 1125, но тут же: *развязываніе* в заголовке.

Отмечу также, что в известном числе случаев в тексте Словаря колеблются написания с безударными *а, о* в основах несовершенного вида глаголов, образованных посредством суффикса *-а-*, например, *возраждающаяся* II 388 т., III 46 т., но *возрождающаяся* III 48 т., *выраждаюсь* V 41 з., но *зарождаюсь* V 42 з., ср. *загарающееся* III 50 т., но *поглощаетъ* I 921 т. Попытки осмыслить эти колебания при помощи тех или иных семантических или стилистических соображений, по-видимому, не могут быть удачны. Так, например, при *поклоняюсь* III 626 з. приведены примеры из священного писания, в которых находим естественные для этих случаев написания с *а*: *покланяйтеся подножію ногу его*; *не имутъ покоя день и нощь покланяющіися звѣрю*. Но это не высокий стиль в языке XVIII в., а точная орфография цитируемых источников — «Псалтыри» и «Апокалипсиса», потому что рядом с приведенными примерами находим и такие: *Язычники поклонялись ложнымъ богамъ*; *поклоняемого твоего истиннаго и единороднаго Сына* (*Послѣд. молебн. пѣнія*), а, с другой стороны, в самом тексте толкований читаем: *...въ отношеній къ язычникамъ покланявшимся богамъ ложнымъ*.

Для полноты обзора отмечу еще, что в некоторых случаях написания, не совпадающие с теми, которые утвердились в качестве общепринятых в более позднее время сравнительно с эпохой составления Словаря, проведены в его тексте очень последовательно, как например *алифа* с производными, *арава, калбаса, мамантъ* и производные, *тварогъ*. Сюда относится и фамилия президента Российской Академии, многократно упоминаемая на вводных страницах к отдельным томам Словаря и печатающаяся только в виде *Дашкава*. Обратным примером может служить хотя бы *постила* V 727 з.; IV 20 п. и др.

2. Довольно строго в Словаре употребление буквы *ѣ*, что на фоне большой пестроты в данном отношении в правописании книг конца XVIII в.[1] производит впечатление сознательных усилий к упорядоченному, грамотному письму. Однако об абсолютно упорядоченном письме и здесь говорить нельзя, так как в некоторых, правда не очень многочисленных, случаях наблюдаем в Словаре коле-

[1] В качестве одного только примера сошлюсь на «Почту духов» Крылова (1789), вышедшую в один год с первым томом Словаря и изобилующую написаниями вроде *брѣдни* 248, *придвѣрьникъ* 260, *придверникъ* 270, *увѣрткою* 61, даже *кстате* 119 и т. п. (примеры взяты из 2-й части).

бания между употреблением букв *ѣ*, *е*. Все эти случаи, естественно, относятся не к окончаниям, а к употреблению этих букв в составе непроизводных основ. Так, например, при *надмеваю, надменный, надменность* II 687—8 зз. вне текста статей, посвященных данным словам, встречаем и *надмѣнность* I 948 т.; *надмѣнный* I 950 т.; при *мекаю, домекаюсь, намекаю, намеки, смекаю* IV 83—84 зз., вне текста данных статей находим и *домѣкаюся* II 6 т.; *въ домѣкъ* II 8 т.; при *зеліе* III 51 з. встречаем *зѣлій* (в том же значении) II 409 т.; при *звеню* III 27 з.— *въ ушах зазвѣнѣло* II 20 п.; при *хлебаю, похлебка* VI 548—550 зз. и даже *похлiобки* II 20 т.,— *въ похлѣбках* III 618 т.; при *одежда* II 861 з.,— *одѣжде* III 981 т., *одѣжда* и в словоуказателе II тома, несмотря на заглавное *одежда*; при *пѣгій* IV 1253 з.,— *вороно-пегая* III 947 т., ср. в близком расстоянии *пѣгіе* III 964 т.; при *боленъ* I 279 з.,— *болѣнъ* III 1162 т.; при *трещу, разтрескаться* VI 259—262 зз. — *растрѣскалась* III 1136 п.; ср. ib. *истрѣскался* п. Ср. еще *растеніе* V 74 з., но *растѣніе* III 1175 т; *произрастѣніе* IV 17 т., *растѣній* V 441 т.; *звено* II 25 з., но *звѣньями* I 111 т.; *лента* III 1174 з., но *лѣнтами* I 130 т.; *лѣзу* III 1347, но *полезъ* I 62 п. Во всех подобных случаях замечательно распределение колеблющихся написаний таким образом, что написания, не вошедшие в сложившуюся впоследствии общенациональную норму орфографии, встречаются, наряду с будущими нормативными, только вне текста статей, содержащих толкование соответствующих слов, а в заглавных словах, причем обычно и в примерах к ним, встречаем только написание с позднейшей точки зрения нормативное. Разумеется, как и в других случаях с колеблющимися написаниями, это объясняется ослаблением внимания составителей Словаря к орфографической стороне языка при обработке текста, не относящегося к данному слову в специфически словарном отношении. В силу этого при составлении текстов последнего рода находим проявления непроизвольного письма авторов Словаря, отражающие обычную орфографическую практику конца XVIII в. вне ее установки на нормативность. Вместе с тем общее движение Словаря к этой нормативности ярко запечатлелось в обработке статей, прямо относящихся к соответствующим словам.

Интересно, что подобное приближение к будущей норме сказалось и в таком случае, в котором орфографическая практика этого времени, и даже значительно более позднего, вплоть до середины XIX в., решительно расходилась с известной нам нормой, причем и с исторической точки зрения это неподчинение норме имело за себя все основания. Речь идет о слове *мелкій*, которое именно в этой орфограмме с *е*, а не с *ѣ*, в противоречии с историей языка утвердившееся в нашем правописании позднее, помещено в Словаре во главе соответствующего словопроизводного гнезда IV 84. Так, с *е* напечатаны в своих нормативных положениях и прочие слова этого гнезда, как например *мелковатый, мелочный, мелочь* и пр., причем в этой орфографии выдержаны здесь и все примеры к этим словам. Между тем в остальном тексте Словаря слова этого гнезда чуть ли

не чаще напечатаны с *ѣ*, например *мѣлкой* IV 999, *мѣлкия* II 589; III 338, *мѣлче* I 129; III 46, *измѣлчить* III 975, *измѣлчиваюсь* III 976 и др., хотя и здесь порой встречаем написания с *е*, как *мелкими* III 338, *мелкаго* III 291 и пр.

Отдельно оговорю колебание между *е*, *ѣ* в слове *летать* и производных, где *ѣ* может иметь этимологическое основание. В нормативном положении это слово помещается в Словаре с *е* III 1183, то есть снова по норме будущего, но вообще в тексте Словаря есть примеры обратного характера, ср. *прилѣтаетъ* III 1143 т., *лѣтаютъ* III 1187 т. и даже *прилѣтная птица* III 1150 т.

На том, что описанная орфография предполагает неразличение *ѣ*, *е* в произношении, останавливаться, по-видимому, нет надобности.

3. Очень большой интерес представляют данные, которые можно извлечь из Словаря относительно употребления в его орфографии букв для означения гласного *о* после мягких и непарных по мягкости и твердости согласных в подударном, отчасти и в безударном положении. Таких букв в Словаре три: *е*, *о*, *îо*. Из них вторая употребляется только после непарных, но очень часто в тех же морфологических положениях и даже тех же словах, в которых употребляется также буква *е*, но никогда не *îо*. В составе непроизводных основ такие колебания не часты, но все же они есть и здесь, причем, как и раньше, наблюдаем показательную дифференциацию написаний в нормативном и свободном положении одного и того же слова. Так, например, при *счетъ*, *счетный*, *счеты* VI 817 зз. обычно в тексте Словаря находим *щот* I 23—42, *въ щотѣ* I 451, но есть и *щетѣ* III 345, *щета* р. ед. III 114.

Интересно, что здесь дифференциация написаний с *е—о* сочетается с дифференциацией написаний с *сч—щ*. Впрочем, в соответствующем месте алфавита находим и ссылку: *щитаю*, *щоты*, *щетный*. *Зри при глаголѣ чту* VI 966, причем уже в самом тексте этой ссылки видим противоречие между написаниями *щоты* и *щетный*. В других случаях уже и в заглавном положении приводятся оба написания, например *щолок* или *щелокъ* VI 969, но в примерах (*сварить щолокъ*, *крѣпкой щолокъ*, *стирать бѣлье въ щолокѣ*) и в производных (*щóлочный*, *щóлочность* и даже *щолочнáя соль*, с сохранением *о* в безударном положении, ср. еще *щелочýй* или *щолочýй*) господствуют написания с *о*. Ср. и в других местах Словаря, например, *щолокъ* II 404, но *въ щелоку* IV 50 (очевидно, с ударением на окончании). Ср. еще *щекá* или *щока*, *щéчка* и *щóчка* VI 942 з. Интересна орфография в примерах к этому слову: *Ударить въ щоку* (вероятно... ударение на основе), *по щекѣ*, *правая*, *лѣвая щека*, *румяныя щеки*. Вообще же в Словаре в именительном падеже мн. числа находим и *щоки*, например III 260; IV 568, и *щеки* III 1190. Слово *щока* (*мѣсто*, *гдѣ надъ рѣками съ обѣихъ сторонъ крутыя каменья*, *горы*) помещено в написании с *о* VI 969. Ср. далее *жéлоб*, *жóлобъ*, *умал*, *желобóкъ* и *желобóчекъ* III 1092 з., что не мешало составителям Словаря вообще писать

жолобовъ I 141, *жолобкомъ* I 41; IV 764 с сохранением *о* и в безударном положении. Ср. далее *жёлтый* или *жóлтой* III 1094 з., причем в ненормативных положениях на этот раз преобладает *желтый* в разных формах, как например I 63; I 80; I 89; IV 49 при редком *жолтымъ* I 62 и др. Наоборот, при обычном в тексте *жолудь*, например IV 49, в заглавном положении дано только *желудь* II 1098[1]. Нередки также колебания в написании форм прошедшего времени от *иду*. Ср., с одной стороны, *нашел* I 137, *дошелъ* I 481, *пришелъ* II 7; III 1145, *пошелъ* II 11, а с другой стороны — *пошолъ* I 925, *ушолъ* I 926, *прошолъ* I 932, *дошолъ* II 395. Но в нормативных положениях находим только написания с *е*, например *шелкъ* III 206 п., *дошелъ* III 236—237 з. п., *зашелъ* III 238 з. п., *нашелъ* III 242 з. п., *подошелъ* III 253—4 з. п. и т. д.

Общее впечатление от приведенного материала такое, что как нормативное составителям в подобных случаях представлялось написание с *е*. Не решаю здесь вопроса о произношении всех слов этого рода, то есть вопроса о том, свидетельствует ли параллелизм подобных написаний о возможном параллелизме и в произношении данных форм в зависимости от характера речи. В отдельных случаях на возможность такого параллелизма указывают и сами составители Словаря. Ср., например. *жёрновъ*, *въ просторѣчіи говорятъ и жóрновъ* III 1111 з. Замечательно, однако, что как раз в этом случае во всех примерах на данное слово в орфографии последовательно выдержано написание с *е*, причем такое написание встречаем и за пределами текста данной статьи, например *мельничный вал, жерновъ* IV 89 п. Отсюда, как будто, имеем право заключить, что двоякое произношение было возможно и в некоторых таких словах, в которых Словарь придерживается только написаний с *е*. С другой стороны, так как в массе случаев подобных указаний на принадлежность произношения с *о* к просторечию в Словаре не дается, возникает возможность предположить, что самое произношение этого рода в известных случаях могло рассматриваться и как общеупотребительное. Составители Словаря считали просторечным произношение *жорновъ*, но это еще не значит, что таким же было для них и произношение *щоки*. Есть основания думать, что для эпохи Словаря произношение *щеки* было лишь возможным вариантом общеупотребительного *щоки*, причем, может быть, даже не произносительным, а чисто орфографическим. Интересна, например, противоречивая терминология составителей Словаря, согласно которой существует выговор, употребляемый в письме (см. Сухомлинов, 87). Надо думать, что по крайней мере в части случаев это действительно было только письменное обыкновение, а не произносительное.

Относительно написаний с *е*, *о* в суффиксах надо заметить сле-

---

[1] Кстати, здесь *желудь* употреблено как слово женского рода: *величиною с дубовую желудь*, тогда как в заглавном положении оно показано как слово мужского рода.

дующее. Написание с *о* особенно часто встречается в суффиксе *-ок* и его варианте *-шок*, однако с ним и в этом случае конкурирует написание с *е*. В некоторых случаях оба написания приводятся уже в заглавном положении, например *бережекъ* и *бережокъ* I 126, но это единственный пример такого рода, замеченный мною. Несомненно, найдутся еще такие случаи, но можно быть уверенным, что их очень мало. Можно еще процитировать *каблучекъ* как *умалительное* при *каблукъ*, но *каблучокъ* как заглавие особого слова-омонима III 351. Зато мною отмечено очень много случаев, в которых в заглавном положении слова на *-ок*, *-ек* приводятся то в одном, то в другом из этих написаний, без видимых оснований для такого различия. Ср., например, *гребешокъ* III 326, *клочокъ* III 619, *клычокъ* III 638, *кружокъ* III 1005, *мужичокъ* IV 324, *пучокъ* IV 1177; сюда же причислим и слова с омертвевшим суффиксом, как например *вершокъ* I 629, *горшокъ* II 259, *мѣшокъ* IV 429, *порошокъ* IV 999, а с другой стороны — *башмачекъ* I 112, *барышекъ* I 106, *кабачекъ* III 346, *колпачекъ* III 732, *корешекъ* III 814, *крючекъ* III 1044, *рожекъ* V 149. При этом, как и можно было ожидать, находим противоречия между написаниями этих слов в заглавном и в свободном положении. Именно слова, приведенные в заглавиях в написании с *е*, нередко встречаются в самом тексте Словаря и в написании с *о*; *корешокъ* II 388 з., *рожокъ* III 353 т.; V 153 п., *крючокъ* III 1044 п. в разных значениях (например, *повѣсить на крючокъ*, *приказной крючокъ*). Отмечен мною и один обратный случай, именно *порошекъ* III 1133 т., но *порошокъ* IV 338 т.; VI 2 т. При сплошном изучении всего текста Словаря, вероятно, найдутся и еще такие случаи.

Так как все приведенные слова стилистически ничем не разнятся, то отмеченная пестрота их написаний еще более способна укрепить в высказанном предположении, что по крайней мере в части случаев никаких произносительных вариантов за этой пестротой написаний не скрывается. Все эти слова, надо думать, произносились в общем употреблении с *о*, и написания их с *е* представляли собой всего только орфографические варианты нового книжного языка. Добавляю, что ни в одном случае я не нашел написаний с *о* в уменьшительных образованиях второй степени на *-ечекъ*. Здесь постоянно в Словаре встречаем только написания вроде *бережечекъ* I 126, *мѣшечекъ* III 349, *мѣшечкъ* IV 313, *клочечекъ* III 619, *кружечекъ* IV 338, *горшечекъ* II 259 и т. д. Вряд ли можно сомневаться, что в таких образованиях ударяемый гласный звучал именно как *е* и заменился через *о* уже в дальнейшем развитии литературной речи под влиянием соответствующих образований на *-ок* и *-шок*.

Что касается положения в окончаниях, то здесь можно отметить колебания написаний в следующих случаях. Во-первых, в окончании именительного падежа ед. числа слов среднего рода с основой на *ц*, например *лице* I 134 п.; III 360 т. 1195 з. п., но *крыльцо* I 89 т.; III 1029 з. п., *кольцо* I 466 т.; III 717 з. п., *яйцо* I 469 т.; VI 1042 з.п., и даже в безударном положении *бе́рдцо* I 122 з. Интересно, что среди примеров на употребление одного и того же слова

здесь нет орфографических разноречий. Следовательно, все дело сводится к тому, что среди всех слов этого рода только *лице* пишется с *е* в окончании. Это нетрудно поставить в связь с обособленным стилистическим положением этого слова. Впрочем, в форме творительного падежа рядом с *лицемъ* III 626 т. мною отмечено и *лицомъ* III 1196 п. в значении *фасадъ дома*. В прочих случаях *о* в окончании творительного единственного от слов с основой на *ц* есть правило, из которого исключения редки—у меня отмечено только *скопцемъ* III 359 при *копьецомъ* I 75, 123, *съ дохлецомъ* I 469, *рѣзцомъ* I 474. Однако в словах с основой на другие согласные, непарные по мягкости—твердости, постоянно в этом окончании находим букву *е*, например: *платежемъ* I 95, *барышемъ* I, 111, *падежемъ* I 121, 137, *плащемъ* II 395, *ножем* III 974, *сивучемъ* III 115, все это независимо от нормативного или свободного положения. В основах на *ц* буква *о* преобладает и в других падежных окончаниях, например: *огурцовъ* I 80, *квасцовъ* I 84, *зубцов* II 387 и в безударном положении: *колѣнцов* I 900, *пальцовъ* I 133, *месяцовъ* IV 32, *младенцовъ* IV 758; ср. также *бездѣлицой* III 1132. Противопоказаний на пространстве изученных отрывков текста Словаря я не нашел. Отмечу также постоянное написание с *о* в *большой* в значении разных падежей I 112, 483, 945 и многих других. Одна подробность здесь несколько затрудняет истолкование: именно при наличии написания *по большей части* II 13, 18 и др. нередко находим *по большой части* I 82, 88, 136, 467 и др., что встречается и в других книгах XVIII в.[1]. Возможно, что в эпоху Словаря был в ходу и такой вариант этого выражения, в котором вместо *большей* говорилось *большой*. Рядом со словом *большой* надо упомянуть еще *чужой* I 467; III 1145 также в разных падежных формах, в том числе в именительном мужского рода. Правда, в заглавном положении здесь находим *чужій* VI 831, но окончание *-ей* в данном положении в Словаре, как кажется, вообще невозможно. Упомяну еще о единично отмеченном *лжотъ* III 1149 п. при обычном *лжешь*, например, III 1146 з., *течетъ* I 921 т. и др.

Остается отметить случаи употребления буквы *ѣо*. Она встречается преимущественно в непроизводных основах, но также и в составе некоторых суффиксов и в окончаниях. В последних двух случаях, как ясно само собой, употребление буквы *ѣо*, вообще употребляющейся только после мягких согласных, имеющих твердую пару, есть очень редкое отступление от общего правила, по которому здесь употребляется буква *е*. В известной части случаев наблюдаем колебание между употреблением *ѣо* и *е* в этих положениях в одних и тех же словах, например: *вру, врешь* I 930, но в примерах тут же: *онъ всѣо тебѣ врѣотъ ты всему вѣришь, что онъ тебѣ ни врѣотъ; знаешь ли ты, что онъ про тебя врѣотъ* ср. еще: *наврѣотъ* I 931 п., *переврѣотъ* I 932 п., *один врѣот, а другой повираетъ* ib. п., *онъ какъ разо-*

[1] Ср., например, *по большей части* в соч. Муравьева, III, 164, СПБ, 1820.

вріотся, такъ ни чѣм не уймешь (ib. п.); *бывало придетъ, да что нибудь совріотъ* I 933 п. Из числа многих других отмеченных мною колебаний этого рода приведу: *я его звалъ съ собою, но онъ нейдетъ* III 206 п., но: *въ ротъ нейдіотъ* V 168 з. s. v. *ротъ*, *дѣлежъ* при *дѣліожъ* II 869 з. и тут же *дѣліожъ* 870 п., *дѣліожный* (только так!) 870 з. Ср. далее *валекъ*, *въ просторѣчии валіокъ* I 485 з., *одежда, въ просторѣчии и одіожа* II 861 з.; ср. тут же: *по одіожкѣ протягай и ножки* 862, а в других случаях без вариантов: *паренiокъ* IV 715 з., *перстенiокъ* IV 775 з., но, например, *пенекъ* IV 760.

Иллюстрациями для подобных колебаний не в аффиксах могут служить *побасенка* или *прибасiонка* I 115 з., но тут же в примере и *прибасенка*. S. v. *близна* I 225 читаем в примере: *въ семъ холстѣ много близенъ*, но в I 122 приводится пословица: *смотри по берду не будет ли близiонъ*. При обычных написаниях *медъ*, *меду* III 955, *медомъ* IV 19 встречаем и *мiод* III 347 т., *мiоду* III 356 п., причем уже и в заглавном положении находим оба варианта: *медъ или мiод* IV 78, но в примерах здесь только *медъ*. Рядом с *ледъ* III 1159 находим *подлiодный* III 1161 з. п., при *легкое, аго* III 1155 з. находим *лiогкія* III 355 т., при слове *легкій* и производных с тем же написанием *е* III 1154 з., в особом выражении, отмеченном как просторечное, находим *на лiогку руку* III 1156 з. п. Целую гамму совершенно не мотивированных колебаний находим в гнезде *лечу* III 1182 сл., в заглавных положениях производных слов: *залiотъ*, *залiотный*, *излiотъ*. *на излiотъ*, *съ налiоту*, но *налетный*, *отлiотъ*, *отлiотный*, но *перелетъ*, *перелетный*, *полетъ*, *на полетъ*, *пролетъ*, *на пролетъ*. Выше упоминалось уже о написаниях *похлiобка*, *похлебка*, *похлѣбка*. Любопытно, что при *припiока* IV 754 з. п., в свободном положении, рядом с *на припiокахъ* IV 45 нашлось и *на припекахъ* IV 49. В заглавном положении находим только *небо* IV 476 для обоих членов омонимной пары, но в свободном положении встретилось и *нiобо palatum* III 1173 т. Употребление буквы *iо* отмечено мною еще в случаях *берiожая* (*о сужеребой кобылицѣ*) I 124 з., *клiокъ* III 617 з., *клiоцки* II 20 т. и III 618 з., *смышлiоный* IV 372 з.; II 7 п., *масклiонки* (*оливки*) IV 51 з., *мерiожа*, *мерiожка*, *мерiожный* IV 305 з., приводимые как просторечные варианты к славенским *мрежа* и т. п., в выражении *пень, пнiомъ* IV 760 и, наконец, в иноязычных заимствованиях, как например *галiотъ*, *гальiотчикъ* (так!) II 18. В этом случае встречаем букву *iо* и после гласных, как например *маiор* IV 16; но эта буква после гласных, а также в начале слова иногда встречается и в русских словах, ср. *емкій*, *просто же iомкій* (не: *iомкой*!) II 956 з., в примерах оба варианта; *заемъ или займъ*, *просто же заiомъ* II 964 (п.

только *заемъ*), *наемъ*, *наемный*, *просто же наiомный* II 968—9 з., *отъемъ*, *просто же отъiомъ* II 974, *приемщикъ или просто приiомщикъ* 988, *ершъ*, *просто же iоршъ* II 1016 з., *ежъ*, *просто же iожъ* II 947 з., но только *iожусь* II 948 з., и т. д.

Оценивая весь этот материал, легко устанавливаем, что, за исключением слов иноязычного происхождения, буква *iо* употребляется в Словаре почти в одних только словах, которые должны были принадлежать к так называемому простому слогу. Исключения очень редки, ср., например, слово *медъ* — *мiодъ*, несомненно, общее в стилистическом отношении, и *нiобо*, которое вряд ли также можно считать не общим (независимо от того, как оно фактически произносилось). В последнем из этих двух случаев буква *iо* явно продиктована стремлением к внешней дифференциации обоих членов омонимной пары, а в первом (и других подобных), вероятно, отразилось то, что живое произношение этого слова было по меньшей мере равноправным с произношением книжным.

Добавлю еще, что в ходе работы над Словарем составители, по-видимому, отказались от предполагавшейся ранее более последовательной регистрации орфографических вариантов, связанных с данным фонетическим положением. Так, например, первоначально предполагалось отмечать данный вариант в формах прошедшего времени, как *брелъ* — *брiолъ*, с мотивировкой, согласно которой первое «пишется», а второе «говорится» (Сухомлинов, 87). Но в самом Словаре это намерение не осуществлено, что, несомненно, должно было укрепить в будущем обыкновение передавать гласный *о* после мягких парных на письме буквой *е*.

4. Переход звонких в глухие перед глухими и глухих в звонкие перед звонкими отражен в орфографии Словаря слабо. Написания, отражающие этот процесс, находим в ограниченном числе слов на границах между морфемами, причем большей частью в невыдержанном употреблении. Строгое постоянство в такого рода написаниях я подметил только в префиксальных образованиях на *с-* от *бор* — *бир*, причем без противоречий, между заглавным и свободным положениями соответствующих слов, например: *зборъ* I 142 з. п., I 96 п., *збора* I 108 т., *зборы* I 134 т., *зборщикъ* I 142 з. п., I 108 т., *збираю* I 140 з., *збиралище* I 141 з., *зборище* ib., *збираютъ* I 475 т., *збираемая* I 479 т. и т. д. Такая же орфография встречается порой также и в написании других образований с той же приставкой, преимущественно в заглавных положениях, ср. *збавляю*, *збавилъ*, *збавка* I 71 зз., *зберегаю*, *збереженiе*, *зберегатель* I 124—5 зз., *збродъ* I 331 з., *збѣгаю* I 418—9 з. Одинаково пишется также, как в заглавиях, так и вне заглавий: *прозба* III 1103 з. п., *прозбу* III 369 т. п., *прозбы* III 622 т., *прозьбы* I 110 п., *прозьбахъ* III 370 т. В других случаях наблюдаем разноречие, состоящее в том, что по большей части в заглавных положениях помещено написание этимологическое, а в свободных встречается как этимологическое, так и

фонетическое. Например, чрезвычайно часто в Словаре попадаются написания *здѣланный* I 69, 100, 486; II 18, 19, *здѣлать* I 456, 465, 471; II 6, 10, 11, 15, 400, *здѣланное* I 480, 935, *здѣланы* I 482, *здѣлаю* I 922, *здѣланнаго* I 929, *здѣлалъ* II 7, *здѣланная* IV 305 и т. д., во множестве случаев. Но не менее часто встречаем и написания с буквой *с*, например: *сдѣланному* I 929, *сдѣланную* I 942, *сдѣлать* I 943; III 365, 1140, *сдѣланный* III 365, 1145; IV 20 и т. д. Однако именно с таким написанием встречаемся и в заглавных положениях (см. II 903, 927 з. п.). Ср. далее: *гузка* II 425 з.; III 1143 и 1161 т., но *гуска* II 4 т., *связка* I 1127 з. п., также *развязка* I 1125 з., *повязка* I 1121 з., но *свяска* I 453 т., *бумажка* I 382 з., но *барашекъ въ бумашкѣ* I 98, *замазка* IV 8 з., но тут же в тексте толкования — *замаски*, в примере — *замаска*, ср. рядом *обмазка* IV 10 з., *смазка* IV 14 з. Ср. еще *узкій* VI 424 з., но *ускогорлый* I 18 т., *тетрадка* VI 113 з., но *тетратка* I 12 т. Впрочем, не во всех случаях для заглавного положения избирается этимологический вариант написания. Так, например, *сдаю* II 520 помещено со ссылкой на *здаю* II 491, где и дано толкование слова. С таким написанием выдержаны и все производные, в числе которых находим и *зданіе* (!) II 493, что, может быть, до некоторой степени объясняет предпочтение написаний с буквой *з* в словах, как *здаю, здача* и пр., ср., например, *здачѣ* III 983. Но впечатление полного беспорядка производит орфография в некоторых других случаях, например: *скольскій* V 484 з., *скольскіе* III 1175 т., *скольскія обстоятельства* V 484 п., но: *это мѣсто весьма скользко, дорога скользка бываетъ* ib. пп., *скользко* ib. з., *вскользь* ib. з., ср. *слизкій* ib. т. Ср., далее, *грысть* II 389 з., *изгрысть* II 391 з., *надгрысть* II 391 з., *сгрысть* II 393 з., но *выгрызть* II 390 з., *догрызть* ib. з., *нагрызть* II 391 з., также *огрызть, обгрызть, отгрызть, перегрызть, прогрызть, разгрызть, угрызть* в продолжающейся части этого гнезда. Вероятно, написания с буквой *с* в этой группе слов поддерживались морфологическим фактором, то есть приравнением к глаголам на *-сть, -сти*, как *весть — вести* и т. п.

5. Двоякие написания в словах, заключающих в себе результат развития древней группы *-ьр-* между согласными, из которых второй — губной или заднеязычный, представлены в Словаре в очень незначительном числе случаев. Все они касаются только трех слов (по крайней мере, их нет больше в изученных частях Словаря) с ближайшими производными, именно: *первый — перьвый, церковь — церьковь* и *верхъ — верьхъ*. Написание *сумерьки* I 137 я не принимаю во внимание вследствие возможности того, что здесь мягкость *р* объяснима воздействием позиционно мягкого *к*. Другие слова этого типа вроде *верба, серпъ, стерва* мне в написании с *рь* не встретились ни разу. Что же касается указанных трех слов, то в заглавных положениях все они помещены в написании без *ь*, именно *верхъ* I 626, *первый* IV 762, *церковь* VI 625. Это касается и всех производных, кроме одного слова в гнезде: *верхъ*, где написание с *ь* явно случайного происхождения: *верьховье* I 628, ср. рядом

ове́рьшье I 631, ср. написания *верховье* и *овершье* тут же в примерах. Вообще же в тексте Словаря написания с *ь* в этих словах попадаются время от времени, но явно в ничтожном числе случаев по сравнению с написаниями без *ь*. Например, на протяжении столбцов 20—120 I части встречаем *съ верьху* 20, *къ верьху* 81, *въ церькви* 28, *посреди церькви* 28, *въ перьвый* 50, *спервьа* 84, всего 6 случаев при 31 случае обратного написания. На протяжении столбцов 450—485 той же части не встретилось ни одного случая с *ь* при 7 случаях без *ь*; на столбцах 917—953— один случай *въ верьхъ* 948 при 18 случаях без *ь* и т. д. В нескольких случаях противоречивые написания находятся в самом близком соседстве, например: *верхомъ* III 620 при *еерьхи* ib. в цитате из Ломоносова и в примере S. v. *клонюсь* или *первомъ* III 356 при *Андрея Перьвозваннаго* (интересен этот пример в такой орфографии!) III 352. Ср. еще *въ верьхъ* и *съ верху* III 947, *верьхъ* III 980, но *верхняя* III 981. Но это нисколько не меняет общего впечатления, которое остается от наблюдений над орфографией указанных трех слов в тексте Словаря. Мне кажется, мы имеем право предположить, что руководящая линия составителей Словаря в данном отношении заключалась в стремлении избежать написаний с *ь*, которые, однако, спорадически ускользали от их внимания, появляясь на страницах Словаря вопреки их намерению. Причина этого, надо думать, состояла в том, что произношение *р* мягкого в таких случаях (вероятнее всего, хорошо известное их речевой практике) или же, что не исключено, лишь орфографическое выражение этой мягкости не совпадало с той нормой, к которой шел и которую подготовлял, может быть, и не всегда при полной сознательности самих составителей, их Словарь.

6. Аналогичные заключения подсказываются и наблюдениями над вариантами написаний *чн* — *шн* в положениях известного рода. И здесь явно преобладающими следует признать написания с *чн*, хотя есть немало примеров, очень интересных для истории данного явления, и написания с *шн*. Например, на протяжении столбцов 65—150 I части встречаем: *азбучномъ* 65, *бабочный* 68, *плотничной* 68, 89, *добавочный* 70, *збавочный* 72, *прибавочный* 74, *убавочный* 75, *сочныхъ* 81, *баночный* 94, *карточный* 94, *оконничные* 99, *барочникъ* 103, *барочный* 103, *мѣлочной* 107, *поперечныхъ* 122, *поединочной* 136, *скучны* 149, всего 19 случаев, из которых 4— с общей основой, при *набалдашникъ* 88 (здесь *шн* находится, разумеется, уже не на границе морфем), *висошной кости* 96, и затем *башмашникъ*, *башмашничій*, *башмашный*, *башмашничаю* I 112 зз. и пп., то есть в сущности в двух словах с производными от второго да еще в одном слове с омертвевшей словообразовательной формой. На протяжении столбцов 450—485 той же I части при 10 случаях написаний с *чн* встретилось всего одно написание с *шн*, именно *поперешной* 454, в слове, которое здесь же встречается в обратном написании *поперечная* 485. На протяжении столбцов 920—950 той же части при 12 случаях написаний с *чн* не встретилось ни одного с *шн*, и т. д. Однако главный интерес данной группы примеров заключается в другом.

Распределение тех и других написаний в данной группе случаев отличается от рассмотренных до сих пор тем, что здесь сравнительно редко встречаем параллельные написания в одних и тех же словах, чаще же то и другое из этих написаний прикреплено к определенным словам, так что наблюдается своеобразная лексическая дифференциация. Вот все замеченные мною случаи с параллелизмом написаний в одних и тех же словах. Это случаи двоякого рода. Во-первых, отмечено два случая, в которых оба написания приведены рядом как равноправные варианты в заглавном положении, именно: *мучный* или *мушный* IV 326, но все производные имеют только *шн*: *мушню, мушникóвъ, мушникъ, мушнистый; печникъ* и *пешникъ*, также *печниковъ — пешникóвъ adj.* IV 750, но только *печный*, ср. в свободном положении *печной* IV 330. Во-вторых, есть несколько случаев, в которых в заглавном положении находим написание с *чн*, тогда так в свободном встречаются те же слова в написании с *шн*, именно: *височный* I 714 з., но *висошной кости* I 96 т., упоминавшееся уже *поперечный*, как и *поперечникъ* IV 1079 зз., ср. *поперечныхъ* I 222, *поперечная* I 485, *поперечными* I 946 bis, *поперечными* III 1161; IV 765, 767 и др., но *поперешнымъ* I 19, *поперешной* I 454; *перепоночный* IV 812 з., но *перепоношныхъ* III 1155; *пшеничный* IV 1229 з., ср. *пшеничной* I 485 т., *пшеничнаго* II 20, *пшеничная* IV 326 п., но *пшенишная* IV 326 т.; *карточный* III 453 з., ср. I 94 т., но *картошной* I 419 т.; *яблочный* VI 1021 з., но тут же в примерах: *яблошныя зерна, яблошная кожа*, при *яблочной вкусъ, яблочной квасъ, яблочная постила*, однако ср. *яблошная постила* V 727 п., *мороженое яблошное* IV 293 п., ср. и в заглавии *яблошникъ, -ница* VI 1021. Ср. еще *подсвѣщникъ* и *-чникъ* V 383 з., но *подсвѣшниками* III 358 т. Подмечен и один случай обратного характера, в котором при написании с *шн* в заглавном положении, именно *грешневый, грешневикъ* II 343 зз., повторяющемся и в других местах Словаря, например *грешневаго* II 20 т., *грешневая* IV 326 п., в свободном положении встретилось *гречневая* IV 14 .

Все прочие слова этого разряда наблюдены только в одном каком-нибудь написании. Именно, кроме перечисленных слов, взятых из текста ст. 65—150 I части, с *чн* пишутся: *привычный* I 462, 944, также *привычно, карточной* I 472; IV 33, *карточныхъ* III 980, *пушечными* I 480, 920, *пушечной* III 1144, *безпорядочно* I 481, *войлочный* I 486, *войлочникъ* ib., *солнечнымъ* I 922, *солнечномъ* I 303, *вѣчно* I 924, *вторичный* и *вторично* I 934, *вторичный* I 935, *обычный* I 941, *папороточныя* II 3; III 973, *шуточныя* II 12, *приличный* ib., *безлично* II 389, *кабачный* III 347, *ручными* III 351, *каблучный* III 351, *кадычный* и *закадычный* III 356, *кадочный* III 356, *клубничникъ* и *клубничный* III 637, *восточный* III 955, *кричный* III 957, *опричник* III 965, *крошечный* III 975, *крышечный* III 983, *вскрывочный* III 984, *больничный* III 1133, *цвѣточной* III 1137, *остроконечной* III 1138, *лежаночная* III 1163, *наличный* III 1163, *ленточный* III 1174, *выморочный* IV 309, *паморочный* IV 304, *маковичный* IV 18, *сывороточный* IV 46, *защечными* IV 48, *муфточный* IV 337, *нарочно*

IV 49, *масличный* IV 50, *масленичный* IV 51, *мрачный* IV 299, *наперсточный* IV 775, *персчаточный* и *персчаточникъ* IV 775—6, *сердечный (сердечная боль, сердечный друг)* V 425, *табакерочный* VI 3, *кумачный* III 1063, *калачный, калачникъ, калачня,* III 397, *крючникъ* III 1046, *яловочный* VI 5. В противовес этому с *шн* пишутся, кроме указанных выше: *галеношный* II 17, *галстушный* II 19, *подгалстушникъ* ib., *криношный* III 955, *лодошникъ* и *лодошный* III 1139, *молошный* и *молошникъ* IV 175—6, ср. *молошная* III 1139, *ларешный* III 1140, *платошный* и *платошникъ* IV 864, *табашникъ* (при варианте *табатчикъ)* и *табашный* VI 2, но *табачница* ib., *яшница* при *яичникъ, яичный* VI 1043, *цъвошникъ* и *цъвошный* VI 632—3, *соляношный* и *селяношный* V 651. Прибавлю еще *перешный, перешница* IV 768, хотя в отдельно выделенном в заглавную строку термине — *перечная трава* (ib.), и *подсолнешникомъ* IV 321, что не удалось сопоставить с заглавным положением, так как на своем месте слово это в Словаре не находится (по-видимому, оно ошибочно пропущено, что вообще в Словаре встречается не раз).

Свидетельствуемый, как мне кажется, приведенным материалом процесс частичной лексикализации орфографических вариантов с *чн* и *шн*, вероятно, имел параллель и в соответствующем фонетическом процессе с самого же начала, по меньшей мере в языке грамотных людей. Можно думать, что к концу XVIII в. в языке круга, к которому принадлежали составители, этот процесс сопровождался еще параллельным процессом постепенной нормализации на основе сочетания *чн* сначала в орфографии, а затем, вероятно, и в самом произношении. Получается вывод, очень похожий на тот, к которому позволило прийти изучение фактов, относящихся к судьбе написаний *верхъ — верьхъ* и т. п.[1]

Перехожу теперь к изложению своих наблюдений относительно орфографических колебаний, имеющих морфологическое значение. При этом, как и прежде, орфографическими вариантами буду считать любые два написания, между которыми мы вправе предположить отсутствие разницы в произношении, то есть, по крайней мере самую возможность такого отсутствия. Так, например, историк языка обязан считаться с возможностью того, что варианты написаний *верхъ — верьхъ* или *яблочный — яблошный* —это варианты только орфографические, а не произносительные, каково бы здесь ни было фактическое произношение. Тем же критерием будем пользоваться и при наблюдении таких написаний, которыми характеризуются известные морфологические положения.

7. Известна в истории русского письменного языка факультативная замена сочетания *иj* одним *j* в положении перед гласным, что на письме принимает вид чередования букв *и, ь* в положении перед следующей гласной буквой. Обычно такое чередование имеет

---

[1] Ср. С. П. Обнорский, Сочетание *чн* в русском языке, «Труды комиссии по русскому языку», т. 1, 1931, особенно стр. 107 и сл. Данные из САР здесь приведены только по заглавным положениям.

место в определенных морфологических позициях. Здесь рассматриваются два случая такого рода, именно: 1) вариант окончаний *ію* и *ью* в творительном падеже ед. числа женского рода на мягкий согласный и 2) вариант конца основы в словах среднего рода на *іе* и *ье*. Разумеется, под различием написаний *смертію — смертью* или *воспоминаніе — воспоминанье* может предполагаться также различие произносительное, и тогда перед нами вопрос уже не орфографический. Нет нужды, однако, подробно доказывать, что с разницей таких написаний может и не быть связано какой-либо разницы произношения, и в этом случае будем иметь собственно орфографические варианты, но, в силу положения этих вариантов на границах морфем, содержание их будет также морфологическим[1].

В первом из названных положений наблюдаем решительное господство окончания *-ію*, например: *ласковостію* I 453, *вещію* I 489, *милостію* I 924, *довѣренностію* I 924, *честію* I 949, *неосторожностію* II 15, *совѣстію* II 390, *завистію* II 390, *влажностію* II 410, *цѣлію* III 621, *кровію* III 960, *частію* III 1156, *мастію* IV 6, *милостію* IV 24, *страстію* IV 302, *напухлостію* V 154 и мн. др. На протяжении текстов, откуда выписаны приведенные примеры, число которых могло бы быть увеличено во много раз, окончание *-ью* встретилось всего в следующих случаях: *шерстью* I 487; III 1152, *хитростью* I 947 (в цитате из стихотворения Ломоносова), *грязью* II 410, IV 39; *кистью* IV 4, *мазью* IV 4, 5, 7, *болью* V 154. В заглавных положениях Словарь не приводит достаточных указаний на формы словоизменения, а потому в данном случае мы лишены возможности извлечь что-либо из противопоставления написаний регламентированных нерегламентированным. Но и без того ясно, что для составителей нормой, и теоретически и практически, было написание *-ію*. Может быть, не случайно в числе слов, в формах склонения которых отмечено окончание *-ью*, нет ни одного книжного слова (*хитростью* I 947, взятое из стихотворного текста, конечно, не в счет), тогда как в разряде слов с окончанием *-ію* попадаются слова разного стилистического колорита. Во всяком случае нельзя не подчеркнуть значение того факта, что при просмотре довольно большой части текста Словаря мне не попалось ни одного факта с колебанием окончаний *-ію* и *ью* в одном и том же слове.

Приблизительно такое же отношение наблюдаем и в словах среднего рода на *-іе* и *-ье*. Здесь также совершенно несомненным следует признать господство форм с наличием «беглого *и*» в окончании основы, причем отсутствует это, и главным образом, в словах некнижных. Конечно, все, что говорится здесь по данному поводу, относится к безударному положению обсуждаемого явления. Например, при *почтеніе* VI 734 з., *почтеніи* I 454[2], *медлѣнія* I 455, *увѣщаніем*, *предпріятіи* I 456, *убѣжденію*, *уваженіе*, *злорѣчіе*,

[1] Понятие орфографического факта я пытаюсь определить в статье «Орфография как проблема истории языка» [см. стр. 463 настоящей книги.— *Ред.*].

[2] Это и все следующие слова в заглавных положениях имеют в им. ед.— *іе*. Сознательно цитирую здесь материал не из заголовков.

вжденіе, *клеветаніе* I 457, *къ чтенію* I 462, *вареніе* (*каши*) I 466, *печеніе* (*хлѣба*) ib., *нещастіе* I 467, *отверстіе* I 470, *изъятія* I 477, *благосостоянія*, *вредословія*, *злословіе*, *поношеніе* I 917, *зрѣніе* I 920, *теченіемъ* I 922, *безгодіе* I 925, *названіе* I 933, *употребленіе* I 940, *бреханіе* II 1, *гаданіе* II 4, *упражненіе* II 5, *желанію* II 7, *предлаганія* II 9, *строенія* II 19, *врачеванія* II 389, *грызеніе* II 390, *укушеніе* II 394, *въ просторѣчіи* II 402 и многие другие. Окончание *-ье* находим в отглагольных образованиях, обозначающих разного рода неблагозвучные шумы, как *гавканье* II 1, *лаянье* ib., *гарканье* II 20, *чавканье* VI 655, *хрюканье* V 358, или вообще принадлежащих к простому языку, вроде *важничанье* I 455, и в других немногих некнижных словах, как например *платье* II 11, 12, *ненастье* I 920, *повѣрье* I 940, *веретье* I 929, *каменье* I 482, ср. 471, 472, *запястье* IV 1261 з., ср. *запястьемъ* III 1135 т., *ожерелье* II 1111 з., I 103 т., *очелье* I 103 и т. п. Не останавливаюсь особо на словах с наконечным ударением вроде *вранье* I 930, *жилье* II 1149 и т. п. Редко встречаются оба варианта в одном и том же слове, например *стеганіе* и *стеганье* V 713 з., но пример при втором значении, относящемся к стеганому изделию, дан в написании с *-ье*; то же в II з., т. Это же находим в случае *вареніе* и *варенье* I 495 з., где пример к третьему значению (*закуски*, *заѣдки* и пр.) дан в написании с *-ье: варенье из малины*, *вишенъ*. Интересно, что при слове *печеніе* IV 748 нет варианта с *-ье* , но здесь не показаны иные значения слова, кроме действия по глаголу. В нескольких случаях оба варианта снабжены указаниями на стилистическую дифференциацию, например *безвременіе*, *въ просторѣчіи же безвремянье* I 925 з. п., где вариант окончания сочетается с вариированием основы; особенно выразительно же в случаях типа *здравіе*, *просто же здоровье* II 42 з., ср. *здравія* I 916, 918 пп., но *здоровья* I 916 (в цитате из Ломоносова). В некоторых случаях такой параллелизм окончаний находим и при ударении на окончании, например *питіе* и *питье* IV 1244 з., ср. *довалиться до питья* I 470 п., но: *говоря о пищѣ и питіи* I 472 т., *вода есть безвредное питіе для здравія* I 918 п.; далее: *копіе*, *сл.*, *просто же копье* III 801 з. Ср. и такие случаи, как *свинія*, *просто же свинья* V 173 з.. Но замечательно, что беспорядочного смешения написаний *-іе* и *-ье* внутри одного и того же слова почти не встречаем. Вот один такой замеченный случай: *бѣганіе* I 413 з. и *бѣганьемъ* II 402 т., но здесь имеем дело с разницей нормативного и свободного положений. Такие случаи, вероятно, найдутся в незначительном количестве и в других местах Словаря, но общая картина ясна и без того. В целом мы имеем право заключить, что в области написаний с «беглым» *и* и без него правописание Словаря строго нормализовано, причем в творительном падеже ед. числа слов женского рода на мягкий согласный норма *-ію* с течением времени превратилась в архаизм, а в словах среднего рода соотношение написаний с *-іе* и *-ье* в существенном сохранилось до наших дней.

8. Еще строже правописание Словаря в некоторых формах именного склонения, в которых, вообще говоря, тексты XVIII в. знают

немало колебаний. Так, например, в окончании именительного-винительного мн. числа среднего рода в безударном положении в Словаре безраздельно господствует окончание *-а*, в противовес столь частому в XVIII в. *-ы*, державшемуся в практике, особенно рукописной, вплоть до второй половины XIX в. В Словаре постоянно видим только *творила* I 68, *ядра* I 89, *перила* I 93, *лѣкарства* I 120, *бревна* I 140, 481; III 1171, *правила* I 940, *прясла* III 957, *лица* III 963, *яица* III 635; IV 291, *полотна* I 30, *пятна* III 1133; IV 39; *доказательства* III 1147, и лишь однажды я встретил *вороты* III 1044 п. при *ворота* I 884 з.

9. Несколько менее строг Словарь в отношении безударного окончания дательного и предложного падежей ед. числа слов женского рода на мягкий согласный. Рядом с обычным и господствующим окончанием *-и* иногда в Словаре встречаем здесь характерное вообще для XVIII в. и частично еще для начала XIX в. окончание *-ѣ*. Это окончание употребляется в Словаре очень часто в адвербиализованном сочетании: *къ статѣ* см., например, I 115 bis, 923 bis, 925, ср., однако, и *не къ стати* I 454, 455, а также и в некоторых других случаях, а именно: *въ Севастопольской гаванѣ* I 101, *въ нѣкоторой артелѣ* I 48, *все принадлежащее къ артелѣ* I 49, *принадлежащій ладонѣ* III 1127 (вряд ли все же можно предполагать здесь мужской род), *въ церквѣ* I 37 (здесь надо считаться с просторечным *церква* III 358), *въ Астраханѣ* I 41, 43, 47, ср., однако, еще у Пушкина: «Торговый Астрахань открылся» (Путешествие Онегина, черновая редакция). Особенно часто встречаем *въ Сибирѣ* I 29, 43, 50; III 350, 1175; IV 48, ср. *свойственная полуденной Сибирѣ* I 129, при, по-видимому, более редком *въ Сибири* I 68, 80 bis; IV 321. Окончание *-и* остается, впрочем, безусловно господствующим.

10. Чрезвычайно большой интерес представляет изучение материала, относящегося к правописанию окончания имени прилагательного в именительном падеже ед. числа мужского рода. В тексте Словаря находим множество примеров употребления обоих возможных здесь окончаний, именно *-ый* (после *г*, *к*, *х*(*-ій*) и *-ой* как в безударном, так и в подударном положении, а также и соответствующих окончаний мягкого различия *-ій* и *-ей*. Распределение этих окончаний в тексте Словаря свидетельствует о том, что стилистическая теория, отражавшаяся еще в некоторых руководствах XIX в., будто *-ый* есть окончание, свойственное высокому слогу, а *-ой* — простому, очень плохо оправдывается фактическим языковым употреблением[1]. Отвлеченно, вероятно, и составители Словаря отправля-

[1] Вспомним полемические замечания Греча по поводу утверждений академической грамматики 1819 г., будто «нехорошо было бы сказать» *маленькій домикъ*, вм *маленькой ветхій сарай*, вм. *ветхой* «Почему жъ нехорошо, если смѣемъ спросить?— спрашивал Греч.— . По нашему мнѣнію, всѣ имена прилагательныя должно писать въ окончаніи *-ый* или *-ій*, кромѣ тѣхъ, кои имѣютъ удареніе на послѣднемъ слогѣ» Ср. Сухомлинов, 200—201. Такова же фактическая идеальная норма Словаря.

лись от такого формулирования этой теории. Это видно из таких их указаний, как, например, *вершеный и вершоной* I 630 или, еще более ясно, *кравій, сл., просто же коро́вей* III 891. Но, во-первых, указания эти нечасты, а, во-вторых, самому смыслу этих указаний противоречит фактический материал текстов Словаря, ср. хотя бы *коровей войлокъ* III 891 п.. s. v. *кравій — коровей*, но *войлокъ коровій* I 486 s. v. *войлокъ*. Этот пример свидетельствует о том, что окончание *-ый*, по-видимому, могло соединяться и с церковнославянским и с русским видом слова как окончание общее и стилистически нейтральное. О том же говорят многие другие указания Словаря, в которых, несмотря на подчеркиваемую разницу стилей между двумя вариантами одного слова, окончание в обоих вариантах остается одинаковым, например: *насажде́нный, просто же наса́женный* V 314, *острый, просто же вострый* IV 656, *овчій сл., просто же овечій* IV 611, *единакій, просто же одинакій* II 941, ср. *одинакой* I 83, *драгій, дорогій, гой* II 737—8. Сюда же присоединим и такие орфограммы в заглавных положениях, как *смышліоный* IV 372 з. при *смышліоной* II 7 п. и т. д.

Совершенно очевидно, что если составители Словаря и различали в теории стилистический вес данных окончаний так, как это было принято обычно, то очень худо применяли это различение к делу. Более близкое ознакомление с текстом Словаря позволяет установить следующее. Окончание *-ой* (соответственно *-ей*) встречается в Словаре постоянно, и в принципе может быть употреблено почти от каждого слова. Сравнительно редко оно употребляется только в формах причастия, где явно преобладает окончание *-ый* (соответственно *-ій*); но все же можно привести немало примеров также и причастных форм с окончанием *-ой, -ей*, как страдательных прошедшего времени, которые, как правило, помещаются в Словаре как отдельные слова, вероятно, в силу особой легкости их адъективного употребления, так и страдательных настоящего времени, а также действительного залога, которые в Словаре отдельными словами, за редкими исключениями, не считаются. Ср., например, *вяжущій* I 1111 з., но *вяжущей* I 80 т., *выжатый* и *выжатой* II 1173 з., но *выжатой* I 23 п., *неудобовосходимый* III 225 з., но *неудобь восходимой* I 128 т., *валявшейся* I 476 т., *дъланной* I 62, 80 тт. при постоянном *здъланный*, например I 29, 30, 35, 69, 82, 84 и многие другие; но есть иногда и *здъланной, как например* I 68, 105, *задержанный* I 45 т., II 617 з., но и *задержанной* II 617 п., *заваленный* I 471 з., но *заваленной* ib. п., *даемой* III 347 т., *набранной* I 68 т., *обсыпанной* I 485 т., *перегоненной* I 21 т., *прикръпленной* I 75, 466, *составленной* I 146; II 3, но *составленный* I 23, 30, 35, 66. При постоянном *употребляемый*, например, I 21, 23, 42, 71, 81, 85 и т. д., нередко встречаем и *употребляемой*, например, I 75, 76, 87, 90, 94, 466; ср. еще *укръпляемой* I 454, 464 и др. Окончание *-ой* встречаем иногда и в таких книжных словах, как *благовонной* I 47 т., *драгоцънной* VI 645 п., *необыкновенной* I 939 п., *ощутительной* I 916 п., *претн-*

тельной I 20 т., *предложной* (*падеж*) I 475 т., *шарообразной* I 94 т. и др. Однако не только в таких книжных словах и причастных формах, но и почти во всех других случаях, в которых является окончание *-ой*, *-ей*, мы встречаем наряду с ним и окончание *-ый*, *-ій*. Из множества собранных мною примеров только в единичных случаях я не нашел параллели с *-ый*, это — *покляпой* III 653 з., I 133 т., *приборчивой* I 155 з., *барабанщичей* I 97 з., *завальной* I 487 з. п., причем, разумеется, нельзя поручиться, что в неисследованной мною части текста не нашлось бы искомого варианта, равно как что таких примеров не нашлось бы там еще некоторое число. Написания вроде *покляпой* или *барабанщичей* производят впечатление пережитков более ранней эпохи в языке Словаря, если только смотреть на эти написания как на такие, при которых вариант с *-ый* (*-ій*) действительно невозможен.

Есть, однако, одно положение, в котором окончание *-ой*, *-ей*, по-видимому, и для Словаря представляет собой норму. Это — субстантивированное употребление прилагательного или причастия, независимо от того, известно ли прилагательное только в таком употреблении или же оно субстантивировано только для передачи какого-нибудь одного из своих значений. Об этом свидетельствуют случаи, вроде *бáгрильщикъ*, *ка* и *багрячей*, *чаго* I 76 з., *бережáтой* I 123 с отметкой: *вышедшее из употребления*, *верховый*, *-вáя*, *-вóе*, *прил.*, но рядом *верховóй*, *-вáго*, с. I 628 зз., *выборный*, *-ная*, *-ное*, прил., но *выборной*, *-наго*, с. I 137 и 136 зз., *малый*, *прил.*, но *малой* с. IV 22 зз.[1], *приказный* прил., но *приказной* с. III 378 зз., *ларешный* прил., но *ларешной* III 1140, *кравчей* III 891, *стряпчей* V 918 и т. д. Ср. и в причастиях — *наказуемой* I 461 т. и т. п. Тексты не содержат противоречий этим указаниям заглавий, но иногда попадаются маловыразительные исключения из этого правила, например: *поддьячей* (так)) и *подьячій* II 851 з., но в примере только первое, *пѣвчий* IV 1029 в значении как прилательного, так и существительного, но все же *пѣвчей* I 27 в значении существительного. В III 100 читаем: *Значковый товарищъ. Военный чиновникъ въ Малороссіи, который и просто называется значковый.* Вот и все замеченные мною исключения из правила, согласно с которым субстантивированные прилагательные в данной форме всегда пишутся с *-ой*.

За исключением этого особого случая, да еще отмеченной выше тенденции преимущественного употребления окончания *-ый* в причастных формах, текст Словаря, особенно при сопоставлении заглавного положения со свободным, дает яркую картину вытеснения окончания *-ой*, *-ей* окончанием *-ый*, *-ій*, входящим в общую норму и этим в корне подрывающим существовавшее на этот счет стилистическое осмысление. Заглавные написания прилагательных в Словаре, за редчайшими исключениями, можно отнести к одному из

[1] Символичной в этом отношении может служить выходная страница комедии Загоскина «Добрый малой», СПБ, 1820.

следующих трех разрядов: 1) в заглавии помещены оба варианта окончания, причем только в меньшинстве случаев при варианте с *-ой* содержится указание на принадлежность такой формы к простой речи, а при варианте с *-ый* указание на принадлежность к славенскому языку обычно встречается только при наличии каких-нибудь дополнительных церковнославянских признаков в данном слове, например неполногласного сочетания и т. п.; 2) гораздо чаще в заглавии находим только окончание *-ый*, но при этом в следующих тут же примерах то же слово встречается и в написании с *-ой*; 3) как в заглавии, так и в находящихся в заглавной статье примерах находим только вариант с *-ый*, хотя вообще такое слово в тексте Словаря и может быть найдено в обратном написании. Сказанное касается как безударного, так и подударного положения окончаний, и это тот пункт, в котором последующая история русского письменного языка внесла поправку в норму, отразившуюся в Словаре. Ниже привожу фактические данные, из которых выведено изложенное заключение.

Первую из трех намеченных категорий наблюдаем в случаях, как *алый* или *алой*, причем в примерах: *алой кафтанъ* I 26, ср. *алой цвѣтъ* I 101 т., *аленькой, или -кій* ib., в примере: *аленькой цвѣтокъ, бабій* и *бабей* I 66, *бѣлужій, лужей*, п.: *бѣлужей пузырь* I 438, ср. *балыкъ бѣлужей* I 91 п., *бараней* и *бараній* п.: *бараній рогъ* I 98, *барсучей, -чій*, п.: *барсучій тукъ* I 105, *бархатной* и *бархатный* п., *бархатный кафтанъ* I 105, *барышничей* и *барышничій* I 107, *выжатый, -той*, п.: *выжатой сокъ* II 1173, *всякій, -кой*, п.: *всякой день, разъ* I 666, *валкий, -кой* I 466, *вторый* и *второй* I 934, *гладкій* и *гладкой* II 57, *другій* и *другой* II 764, *дикій* и *дикой* II 667, *женскій* и *женской* II 1105, *журавлиной* и *журавлиный* II 1197, *заказанный, -ой* III 365, *каждый* и *каждой* III 358, *кабаней* и *кабаній* III 349, *кротовый, -ой* III 973, *навальной, навальный*, I 473, *маркій, -кой* IV 40, *рабочій, -чей* V 6 и многие другие.

Для второго случая примеров особенно много. Вот часть из них: *алтынный* I 24, *аптекарскій* I 42, *арбузный* I 44 (примеры: *алтынной калачь, аптекарской сосудъ, арбузной сокъ*, далее примеров и ссылок не привожу), *бабочный, багровый, бакаутовый, басистый, баталіонный, батистовый, башмашный, важный, валяный, винный, военный, вредоносный, врытый, вскрывочный, высокій, гадкій, глиняный, головный, голый, гончій, горный, горячій, громкій, грушевый, грязный, гуртовый, густый, дворянскій, деревянный, длинный, добрый, долгій, драгоцѣнный, дутчатый, забавный, заваленный, зборный, избалованный, избирательный, изкусный, кичливый, клубничный, кожаный*, ср. *коженой* I 67, 112 т. п., *который, красивый, красный, крапаный, крашеный, краткій* и *короткій, крикливый, криношный, критическій, кричный, кроватный, кровопролитный, кровопускательный, кровный, крошечный, круглый, крѣпкій, крѣпостный, курчавый, легкій, ложный, лѣнивый, маіорскій, маленькій, маловажный, маловременный, малый, маркій, мертвый, набережный, накрошенный, нарядный, немаловажный, необыкновен-*

ный, несклонный, одинакій, острый, отмороженный, плотный, подушный, преждевременный, прелестный, примѣтный, разумный, ржаный, рекрутскій, роскошный, рыбный, рыхлый, сверхобыкновенный, сильный, смазливый, такій и *таковый* (замечательно, что даже при этих словах нет в заголовке вариантов, хотя в примере есть: *он поднялъ такой шумъ*... и т. д., и при слове *такій же*, выделенном в особый заголовок, находим *такой же*, см. VI 17, *табашный, тяжелый, толстый, удобный, цѣлый, черный* и т. д. Не оговариваю специально, что большинство из этих слов вне текста статей, которые им именно посвящены, многократно встречаются и в написаниях с *-ой*; ср. хотя бы *высокой* I 128, 950, *головной* I 142, *дутчатой* I 20, *легкой* I 944, *рекрутской* I 145 и много других примеров, исчислять которые нет смысла. Укажу еще, что обратные случаи, то есть такие, при которых в заглавии было бы окончание *-ой*, а в примере окончание *-ый*, вроде *алмазной*, но *алмазный перстень, складень* I 22, исключительно редки.

Приведу теперь часть собранных случаев третьего рода, то есть таких, в которых даже в примерах при заглавном слове нет случаев с *-ой*, хотя это окончание в данных словах вообще в Словаре и встречается в свободном положении. Сюда относятся, например, *ароматическій, веселый, вяжущій*, но ср. *вяжущей* I 80 т., *великій, вѣтвистый, горькій*, ср., однако, выделенное: *горькой пьяница* II 242, *горьковатый, денежный, желтоватый, зеленоватый, изрядный, колючій, каштановый, металлическій, мужескій*, но ср. *мужской* I 112, *мшистый, надѣтый, народный, несносный, нижній, оный, осетрій, отводный, пріятный, рыболовный, рытый, самый, узенькій* и многие другие. Разумеется, и многие из этих слов нетрудно обнаружить за пределами заглавной статьи в написании с *-ой, -ей*, например: *ароматической* I 120, *колючей* I 119, 918, *нижней* I 464, *насажденной* I 76, *оной* I 80, 98, *осетрей* I 91 и т. д. Отмечу еще, что в нескольких случаях в варианте с *-ой* встречаются выделенные терминологические сочетания, например *мушкатной орѣхъ, мушкатной цвѣтъ* IV 345—6 при отсутствии этого прилагательного вне этих сочетаний, или *мужеской корень* IV 321, несмотря на *мужескій* IV 323, и др. Обратные случаи, то есть такие, в которых заглавное слово напечатано только с окончанием *-ой*, а в варианте с *-ій*, известны только вне основной статьи вроде *морской* IV 252, но *морскій* I 945 т., опять-таки исключительно редки.

Дополнительно обращу внимание на несколько случаев, особенно интересных со стороны тех противоречий, которые в них вскрывались бы с точки зрения прямолинейного и ригористического прикрепления каждого из двух обсуждаемых вариантов к высокому и простому слогу. Например, под словом *желѣзный* II 1101 в числе примеров находим без всякой тени мотивировки *желѣзный рядъ, заводъ*, но *желѣзной рудникъ*. Под словом *изкусный* III 1108— *изкусный художникъ*, но *изкусной ораторъ*, под словом *наборный* I 146— *наборный хомутъ* и т. п. Интересны примеры под словом *крикъ* III 951. Здесь находим: *великой, ужасной, пронзительной*

крикъ; *радостной, печальной крикъ*; но *крикъ ослиный*. Не лишено значения, что во втором издании Словаря (ч. III, 1814, стр. 413) во всех этих примерах проведено единообразное окончание *-ый* в прилагательных. Почти рядом читаем в числе примеров III 958—959: *кроватный тюфякъ*, но *кровопролитной бой*; постоянно попадаются сочетания вроде: *симфонія на ветхой, новой завѣтъ* V 449 п., *имѣющее благовонной и проницательной запахъ, и вкусъ пряный, горячій* I 47.

Разумеется, есть в Словаре и обратные примеры, но не они указывают тот путь, по которому шел Словарь как памятник русской национально-языковой нормы в ее историческом развитии и становлении. Объективный смысл этого развития, как с непреложностью вытекает из всего сказанного выше, заключается в том, что в известную пору истории русской книжной речи нового типа в ее системе любое прилагательное приобретало возможность в своем письменном обличье оканчиваться на *-ый* при обособлении окончания *-ой* как специфического признака субстантивированного прилагательного, обособлении, потерявшем свою силу несколько позднее. Несомненно, это соотношение для истории русской письменной речи надо признать относительно молодым. Для начала XVIII в. можно было бы указать известное число прилагательных, никогда не имевших на письме окончания *-ый*, но тогда, наоборот, при известных условиях почти всякое прилагательное могло иметь окончание *-ой*. Оставляю открытым вопрос о том, лежат ли в основании этого процесса какие-нибудь явления живой речи. Скажу лишь, что, на мой взгляд, этого не было. Вытеснение окончания *-ой* окончанием *-ый*, как я уверен, совершалось чисто книжным путем, независимо от произношения, существовавшего в данном окончании (в безударном, понятно, положении) в литературном диалекте с его возможными вариациями. Ведь, например, в московском произношении еще в начале XX в. произношение безударного окончания прилагательного в именительном-винительном падеже ед. числа мужского рода, как *-эj*, было совершенно живым и единственно возможным явлением, которое, можно сказать, только на наших глазах перешло на роль вытесняемого произношением книжным, с гласным типа *ы*[1].

11. В окончании родительного падежа ед. числа прилагательных мужского и среднего рода в тексте Словаря почти безраздельно господствует написание *-аго*. Окончание *-ого*, как и следует ожидать, не употребляется вовсе, но изредка встречаем здесь написание *-ова* (в местоименных формах с наконечным ударением *-овó*). Обычно

---

[1] Имея в виду приведенные данные петербургского Словаря второй половины XVIII в., я никак не могу видеть, как этого хочет С. П. Обнорский, в этом победном шествии окончания *-ый* влияние южнорусской диалектной струи на литературный русский язык в его московской разновидности. Конечно, это окончание книжное, а явление — чисто орфографическое. См. статью С. П. Обнорского «Пушкин и нормы русского литературного языка» в «Трудах юбилейной научной сессии» ЛГУ, секция филологических наук, 1946, стр. 89 и след.

это второе окончание встречаем в составе выражений, идущих из народной или бытовой, фамильярной речи, которые, однако, вовсе не непременно требуют именно такого окончания. Ср., например, *бацъ ево въ рожу* I 112, *береженова* и *Богъ бережетъ* I 124, *отъ домашнева вора не убережешься* I 126, *отъ лихова человѣка уберечься трудно* I 126, *изъ старова портища выбралъ камзолъ* I 135, *грѣхъ да бѣда на ково не живетъ* II 395 и др. Ср., сверх того, единично попадающиеся *доброва* I 145, *худова* ib., *другова* I 453; II 7, *какова* VI 17, *такова* ib., *цвѣта блѣдножаркова* I 38, *изъ коровьева молока* IV 50 и др. Ср., с другой стороны, *багрячаго* s. v. *багрячей* 175, *говяжьяго* I 458, *собачьяго* II 1, *грешневаго* II 20 и т. д. Окончание *-аго* употребляется и в подударном положении, например *другаго* I 114, 122, 146, *худаго* I 139, *гнилаго* I 149, причем интересно, что иногда оно переносится и в местоименное склонение, например *какаго* I 48; II 7; III 352; III 1156, *такаго* IV 14, при *какого* I 135, *такого* III 1166. В безударном положении в местоимениях обычно также *-аго*, например *онаго* I 84, 466, но при ударении на конечном гласном окончания в род. ед. от *один*, находим *одного* I 122. В целом, правописание Словаря в данном отношении не отличается от норм XIX в., во всяком случае его первой половины.

12. В заключение считаю не лишним заметить, что в формах именительного-винительного падежа множественного числа прилагательных Словарь неукоснительно следует правилу Ломоносова, согласно которому в мужском роде в окончании пишется *-ые*, *-іе*, а в женском и среднем *-ыя*, *-ія*. На сотни примеров такого правописания я нашел всего пять-шесть исключений вроде *связаныя чулки* I 488, *болячки и прочіе признаки въ проказѣ бываемыя* III 360, *соблазнительныя поступки* II 396 и др.

Какое же общее заключение можно сделать из предложенного материала? Оно, на мой взгляд, сводится к следующему.

Словарь Академии Российской представляет собой действительно замечательный памятник истории русской письменной речи, и именно в том отношении, что, очень широко отражая противоречия, существовавшие в языковом употреблении своего времени, он в то же время ярко обнаруживает движение к единой общенациональной языковой норме, поиски которой составляют основное содержание истории русского письменного языка, начиная примерно с 30-х годов XVIII в. Самое интересное при этом заключается для нас в том, что составители Словаря не обладали какой-нибудь законченной орфографически-грамматической теорией, во всяком случае не следовали догматически тем учениям и предписаниям, которые они могли бы отыскать в своем культурном обиходе, и вместе с тем в большинстве случаев шли как раз теми путями, на которые выводился русский письменный язык объективным ходом его исторического развития. В этом отношении нельзя не видеть в словаре не оцененного еще в должном смысле предшественника тех деятелей русской литературы и русского просвещения, которые успешно закрепляли начала общенациональной нормы русской письменной

речи в течение конца XVIII в. и начала XIX в., и в числе которых в первую очередь нужно назвать великое имя Карамзина. Именно в школе Карамзина разного рода орфографические разноречия фонетического и морфологического содержания стали особенно наглядно терять былые искусственные стилистические осмысления и сливаться в единые п р а в и л а общеупотребительной русской речи. Словарь Академии Российской во многих отношениях своей орфографией как бы предвозвещает то направление, по которому пошло в ближайшие к эпохе его составления десятилетия развитие и закрепление этих правил.

ПУШКИН И РУССКИЙ ЯЗЫК*

I

Пушкин — одно из самых замечательных явлений русского художественного слова, крупнейший мастер языка и стиля в русской литературе. Пушкин как мастер слова принадлежит не только истории, но и нам, современникам столетней годовщины его смерти. «Правительство великой страны чествует память Пушкина как создателя русского литературного языка. Это значит, что русский литературный язык стал достоянием миллионов трудящихся, важнейшим орудием дальнейшего культурного роста и развития» («Правда» от 17 декабря 1935 г.). Вполне понятным является обостренный, жадный интерес к языковому мастерству Пушкина в наши дни, когда вопросы культуры речи приобрели такое большое общественное значение, когда борьба за хороший, чистый, действительно народный язык становится знаменем культурной революции. Но для того чтобы оценить значение Пушкина для языковой культуры современности, нужно изучить язык Пушкина исторически.

Изучение языка отдаленной эпохи, например такого вопроса, как система склонения в эту эпоху, удобнее всего вести, исходя из сравнения с языком современности. Но при этом необходимо соблюдать два условия: 1) наблюдаемые несовпадения с теперешним языком нельзя без достаточных оснований объяснить капризом, прихотью или неосведомленностью изучаемого писателя, сразу же называть их ошибками против языка или «поэтической волностью»; 2) нельзя отрывать язык изучаемого писателя от его исторической обстановки, смотреть на него, как на изолированное единичное явление. При слабой распространенности сведений по истории русского литературного языка часто приходится слышать и читать утверждения, представляющие собой нарушение того или другого из этих условий. Так, нередко поэтической вольностью Пушкина называют то или иное ударение в его стихах, отличающееся от современного, например в «Деревне»:

Дворовые *толпы* измученных рабов,

* [Сб. «А. С. Пушкин. 1837—1937», М., 1937. Печатается с незначительными сокращениями.]

тогда как такое ударение в существительных женского рода без переноса на основу во множественном числе является совершенно обычным в стихотворном языке пушкинской эпохи и более старых периодов. В современном русском языке также известны многочисленные случаи колебания ударения в этой категории слов, преимущественно в косвенных падежах. Мы, например, говорим то *вода́м*, то *во́дам*, то *толпа́м*, то *то́лпам*, то *стра́нам*, то *страна́м*; мы иногда говорим: *сёстрами*, *жёнами*, *ко́сами*, но *слеза́ми*, *волна́ми*, *доска́ми* (возможно также: *во́лнами*, *до́сками*, но такое ударение звучит менее литературно) и т. д. (Смотри об этом Л. Булаховский, Курс русского литературного языка, 1935, стр. 132 и Я. Грот, Филологические разыскания, стр. 335). В живом языке пушкинского времени эти колебания были известны также и в именительном падеже множественного числа, а кроме того, значительно шире был самый круг слов этой категории, способных иметь ударение на флексии. Поэтому в стихотворном языке XVIII и XIX вв. мы теперь находим очень много случаев с непривычным для нас ударением отмеченного типа. Ср. другие примеры из Пушкина:

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые *страны́*.

(«Евгений Онегин», I, LI.)

Дробясь о мрачные *скалы́*,
Шумят и пенятся валы.

(«Обвал»).

Не зная в страхе, что сулили
Им тайные *судьбы́*...

(«На выздоровление Лукулла».)

Где бедные простых татар *семьи́*.

(«Кто видел край...»)

Природы перед ним открыты *красоты́*

(«Безверие»)

Парнаса блещут *высоты́*.

(«Напрасно ахнула Европа».)

и др. Ср. в косвенном падеже:

Опять пошла с *сестра́ми*
Сидеть за воротами.

(«Жених».)

И это не личная особенность языка Пушкина, а явление, широко известное в старой русской поэзии. Ср. у Ломоносова:

Тебя, богиня, возвышают
Души и тела *красоты́*.

(I, 186)

Но что *страны́* вечерни тмятся
И дождь кровавых каплей льют?
(I, 89).

У Державина:

А то, чему весь мир свидетель:
Твои дела суть *красоты́*.
(«Видение мурзы»)

У Крылова:

Досуг мне разбирать *вины́* твои, щенок.
(«Волк и Ягненок».)

У Жуковского:

Чтобы бродить по *высота́м* пустынным.
(«Орлеанская дева», пролог.)

У Грибоедова:

Вам, людям молодым, другого нету дела,
Как замечать девичьи *красоты́*.
(«Горе от ума», I, 456—457.)

У Языкова:

Змеи́ ужасные шипят.
(«Послание к Кулибину».)

У Лермонтова:

Уж проходят караваны
Через те *скалы́*.
(«Спор».)

Что вам *судьбы́* дряхлеющего мира.
(«На буйном пиршестве».)

и много других.

Следующий пример еще показательнее как ошибка против требований исторического отношения к изучаемому материалу. Когда-то проф. Будде, найдя в лицейских стихах Пушкина выражение «любви не зная бремя», выводил отсюда следующее правило для индивидуального пушкинского языка: «Винительный падеж одинаково употребителен при глаголах с отрицанием, как и без отрицания» (Пушкин, Собрание сочинений под ред. Венгерова, т. V, 243). Но на самом деле *бремя* здесь вовсе не винительный падеж, а родительный, как и следует ожидать в данном случае при отрицании. Дело в том, что слова на *-мя* в литературном языке конца XVIII — начала XIX в. склонялись, как в живом просторечье, без изменения основы, по образцу именительного падежа. Это относилось даже к таким книжным словам, как *бремя*. Вот несколько примеров:

Но чтобы свободить себя любви от *бремя*.
(Княжнин, Хвастун.)

Когда от *бремя* дел случится
И мне свободный час иметь.
(Державин, Благодарность Фелице.)

Ср. примеры на слово *пламя*:

В водах и в *пламе* помышляет
Иль умереть иль победить.
(Державин, Осень во время осады Очакова.)

И се—зрю зарево кругом,
В дыму и в *пламе* грозну сечу.
(Дмитриев, Освобождение Москвы.)

Из *пламя* и света
Рожденное слово.
(Лермонтов, Есть имя.)

Ср. примеры на *темя*:

То к *темю* их прижмет, то их на хвост нанижет.
(Крылов, Мартышка и очки.)

Взгляните на шатер Тавриды,
Раскинутый на *теме* гор.
(А. Муравьев, Чатыр-даг.)

И т. д.

Даже и сейчас мы иногда в просторечье говорим: «У меня *нет время*» вместо *нет времени*. Но во время Пушкина это было хотя и убывающее, но все же еще широко распространенное явление литературного языка. Таким образом, прямой ошибкой против требований исторического изучения языка Пушкина является рассмотрение особенностей этого языка как особенностей, принадлежащих лично Пушкину, не связанных с литературным языком его эпохи и среды.

II

Можно спросить себя: если бы Пушкину в момент, когда он написал *любви не зная бремя*, какой-нибудь грамматист сказал, что это ошибка, то как отнесся бы к этому указанию Пушкин? Поправил бы он *бремя* на *бремени* или же просто не понял бы поправляющего, потому что, как сказано выше, такие факты, как *бремя* в значении родительного падежа, были для Пушкина вполне привычным явлением? Очень возможно, что как раз по отношению к данному случаю Пушкин последовал бы указанию грамматиста. Более того, положительно известно, что по указанию критики Пушкин исправил в «Руслане и Людмиле» стих, заключавший аналогичный случай. Именно при переиздании «Руслана и Людмилы» в 1828 г. Пушкин исправил стих:

На *теме* полунощных гор.

заменив его следующим:

На *темени* полнощных гор.

В своих черновых критических заметках Пушкин приводит этот случай как одну из ошибок в языке, на которые ему указала критика. Таким образом, с точки зрения нормативной книжной грамматики родительный падеж *бремя* вместо *бремени* и в пушкинское время считался ошибкой. Но живое употребление в данном случае расходилось с требованиями грамматического книжного стандарта, и хотя Пушкину кто-то и указал на ошибку, но одновременно множество таких же ошибок в литературе того времени не обращало на себя никакого внимания.

Это противоречие объясняется тем, что в пушкинское время влияние нормативной грамматики на литературный язык было гораздо более слабым, чем впоследствии. Поэтому в литературный язык свободнее проникали и легче в нем удерживались такие явления, которые представляют собой уклонение живого разговорного языка от схем книжной грамматики и которые в наше время уже не только на письме, но и в устной речи оставляют впечатление «нелитературности». Это касается в некоторой степени и словарного запаса языка. В начале XIX в. в литературном языке находили себе место некоторые такие слова, которые нам теперь кажутся недостаточно литературными, областными и т. д. Но не все нелитературное с нашей точки зрения было нелитературным с точки зрения языковой практики пушкинского времени.

За столетие, отделяющее нас от Пушкина, русский литературный язык пережил ряд изменений, общий смысл которых можно определить приблизительно так: во-первых, более строгое разграничение между литературно правильными и нелитературными формами языка; во-вторых, постепенное устранение резких противоречий между «высоким» и «простым» слогом внутри собственно литературного языка. Из литературного языка изгоняются разного рода архаизмы и специфические элементы старой книжной речи, но вместе с тем литературный язык становится гораздо более строгим по отношению к таким фактам языка, преимущественно фонетическим и морфологическим, но в некоторой мере также и лексическим, которые начинают относиться к категориям «областных», «простонародных» и т. д. Иначе говоря, процесс опрощения литературного языка, процесс приближения книжного языка к живой разговорной речи сопровождался словарно-грамматической чисткой языка, внедрением в литературную речь грамматического единообразия и нормативной правильности. Так, в литературном языке второй половины XIX в. уже трудно встретить такое слово, как *позор* в значении «зрелища», как например в «Деревне» Пушкина:

Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный *позор*.

Здесь слово *позор* означает «вид», «зрелище», «картину», как и в следующих стихах «Руслана и Людмилы»:

Но между тем какой *позор*
Являет Киев осажденный.

Ср. такое словоупотребление, очень частое в XVIII в., в стихотворении Державина «Евгению»:

Благодарю, что вновь чудес, красот *позор*
Открыл мне в жизни толь блаженной,

а из сверстников Пушкина, например, в «Последней смерти» Баратынского:

Величествен и грустен был *позор*
Пустынных рек, долин, лесов и гор.

Точно так же в послепушкинское время уже трудно встретить в литературном языке такой морфологический архаизм, как *-ыя, -ия* в родительном падеже единственного числа прилагательных женского рода вроде пушкинских:

Где ток уединенный
Сребристыя волны.
(«О Делия драгая».)

«Жало *мудрыя* змеи» в «Пророке». Ср. еще у Лермонтова, в юношеской драме «Испанцы»:

Сын на краю *позорныя* могилы

Но вместе с тем в послепушкинской литературе становится невозможным без специальной мотивировки употребление и таких народных слов, как *вечор* в значении «вчера вечером»; ср., например, у Пушкина в стихотворении «Морозное утро»:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

или в «Евгении Онегине» обращение Ольги к Ленскому:

Зачем *вечор* так рано скрылись
(VI, XIV),

или в «Скупом рыцаре»:

Цвел юноша *вечор*, а нынче умер

и т. д. Равным образом в течение XIX в. из литературного языка отодвигаются в категории «областных» и «простонародных» фактов языка такие явления, как например *испужать* вместо *испугать*, ср. в «Горе от ума», I, 101: «Я помешал? я *испужал*?» (в Словаре Академии Российской, IV, 1793, строка 1170, *пугаю* и *пужаю* показаны как равноправные формы); *ради* вместо *рады* (см. в «Горе от ума», I, 318, слова Чацкого: «Вы *ради*, в добрый час». Ср. у Пушкина в «Сказке о мертвой царевне» по-видимому, уже с особой фольклорной мотивировкой: «Взять тебя мы все бы *ради*»); *допущать* вместо *допускать* у Пушкина в «Анджело»: «И благо верное достать не *допущают*» и т. д. Все подобного рода явления, которые были общими для живого языка дворян-помещиков и крестьян-

ского языка и характеризовали собой известные остатки «патриархальных» отношений между барином и крепостными, исчезли из русского литературного языка в эпоху развития русского капитализма.

III

В произведениях Пушкина немало таких элементов живого языка его эпохи, позднее получивших привкус «простонародности» или «нелитературности» и постепенно оказавшихся вытесненными из границ литературного языка. Вот некоторые типичные случаи этого рода.

У русских писателей XVIII в. очень часто встречается написание *-ы* в окончании именительного и винительного падежа множественного числа слов среднего рода в положении без ударения вместо грамматически правильного *-а*, например: *гнезды*, *чернилы*, *чувствы*, *блюды*, *бревны*, *заревы*, *обстоятельствы*, *румяны*, *яйцы*, *солнцы*, *светилы*, *кольцы*, *письмы* и др. Соответствующие случаи без труда можно найти на любой странице сочинений Сумарокова, Державина, Фонвизина, Карамзина и др. Ограничусь поэтому одним-двумя примерами. В «Недоросле» Фонвизина (д. II, явл. 2) Милон говорит о Митрофане: «Я воображаю все его *достоинствы*». В «Письмах русского путешественника» Карамзина находим: «Трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские *вороты*» (письмо из курляндской корчмы 1 июня 1789 г.). У Державина в стихотворении «Утро» находим: «И блещут *чуды* чрева белизной». Окончание *-ы* в этой форме (в мягком различии соответственно *-и*, например *сокровищи*, *бедствии*) возникло в живой речи по аналогии с мужским и женским склонением, причем эта аналогия облегчалась неясным произношением гласной в безударном конечном слоге. В пушкинское время отражение такого произношения на письме встречается еще очень часто, преимущественно в словах без специфической книжной окраски. Например, у Грибоедова: «Помилуйте, мы с вами не *ребяты*» («Горе от ума», III, 215). У Пушкина нельзя встретить такое окончание в книжных словах вроде *чувство* или *достоинство*, но в словах обиходных *-ы* в окончании слов указанной категории у Пушкина является очень частым как в стихах, так и в прозе, причем в большинстве случаев в соответствующих словах Пушкин пишет последовательно *-ы*, и параллельные написания с *-а* представляют собой очень редкое исключение. Вот несколько примеров из «Евгения Онегина»:

И за столом у них гостям
Носили *блюды* по чинам.

(II, XXXV)

Мелькали *селы;* здесь и там
Стада бродили по лугам.

(II, I)

Закрыты ставни, *окны* мелом
Забелены...

(VI, XXXII)

Обманы, сплетни, *кольцы*, слезы.

(IV, VIII)

Иль длинной сказки вздор живой,
Иль *письмы* девы молодой.

(VIII, XXXVI)

Ср. в Дубровском :«*Окны* во флигеле были загорожены деревянною решеткою» (гл. I). «Живописец представил ее облокоченною на *перилы*» (гл. VI). «Несколько троек, наполненных разбойниками... приезжали в *селы*, грабили помещичьи дома и предавали их огню» (гл. VII). «Дубровский велел запереть *вороты*» (гл. XIX). Ср. в «Цыганах»:

Железо куй, иль песни пой,
И *селы* обходи с медведем.

В «Бахчисарайском фонтане»:

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И *селы* мирные России...

Такого рода формы встречаются на всем протяжении творчества Пушкина и являются в нем очень устойчивыми. В печати друзья — редакторы и корректоры Пушкина часто заменяли это *-ы* на *-а*, и в этом им следуют иногда печатные издания сочинений Пушкина до сих пор. Однако пушкинские рукописи непреложно свидетельствуют, что сам Пушкин не замечал в своем языке этого отступления от нормативной грамматики и во всяком случае не пытался от него избавиться.

Подлинные рукописи Пушкина дают возможность установить в его языке также ряд других нарушений книжной грамматической правильности в склонении. Так, например, Пушкин пишет: «Семинаристом в желтой *шале*» («Евгений Онегин», III, XXVIII). «Хранил он в *памяте* своей» (т а м ж е, I, VI). «И я — при *мысле* о Светлане» (V, X). Во всех этих случаях в подлиннике на конце «ять». Ср. в «Дубровском»: «Маленький человек в кожаном картузе и фризовой *шинеле* вышел из телеги» (гл. I). «Молодой человек в военной *шинеле* и в белой фуражке вошел к смотрителю» (гл. XI). «Дубровский лежал на походной *кровате*» (гл. XIX). Это конечно не просто «орфографические ошибки», а написания, свидетельствующие о том, что в языковом сознании Пушкина склонение слов женского рода на *-ь* в предложном падеже подчинялось аналогии склонения на *-а*,*-я*, как это часто встречается в народных говорах.

Не менее устойчивой морфологической особенностью в языке Пушкина является употребление косвенных падежей личного местоимения 3-го лица без начального *н* после предлогов, например:

«Меж *ими* все рождало споры!..» («Евгений Онегин», II, XVI); «Между *ими* находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам» («Капитанская дочка», гл. VII); «По делу спорного имения между *им*, поручиком Дубровским, и генералом Троекуровым» («Дубровский», гл. I); «Высылать к *ему* моих людей с повинной» (т а м ж е); «Вдруг между *их* свиреп, от злости бледен, является Иуда Битяговский» («Борис Годунов») и многие другие. Как известно, подобное употребление косвенных падежей от *он* широко распространено в языке масс.

Не задаваясь целью исчерпать в этой статье соответствующие факты пушкинского языка, ограничусь приведением еще некоторых примеров таких явлений в языке Пушкина, которые сейчас представляются неправильными или по крайней мере недостаточно литературными. Так, слово *сосед* во множественном числе Пушкин часто употреблял в форме *соседы, соседов*. Например, в «Барышне-крестьянке»: «И стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке, в чем и не прекословили ему *соседы*, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками». Часто встречаем у Пушкина родительный падеж от слова *день* в форме *дни*, например: «Шабашкин... с того же *дни* стал хлопотать по замышленному делу» («Дубровский», гл. I) Ср. у Грибоедова («Горе от ума», II, 12): «Ешь три часа, а в три *дни* не сварится». Ср. у Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «*Дни* через четыре возвращаюсь в Женеву» и т. д. Встречается иногда у Пушкина употребление предиката в мужском роде при подлежащем *дитя*:

Но, шумом бала *утомленный*,
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши *дитя*.
(«Евгений Онегин», I, XXXVI.)

Ср. слова Савельича в «Капитанской дочке » (гл. I): «Кажется, *дитя умыт, причесан, накормлен*». Этот пример, следовательно, ошибочно было бы толковать как стилизацию речи крепостного. Очевидно, в ряде случаев речь самого Пушкина характеризуется такими же отступлениями от нашей нормы литературного языка, что и речь Савельича. Употребление предикативного слова в мужском роде при подлежащем *дитя* засвидетельствовано стихотворением Державина «Спящий Эрот»:

На полянке роз душистой
Спал прелестное дитя.

Этот пример особенно интересен тем, что рядом с предикатом в мужском роде стоит определение в среднем роде: *прелестное*. В числе других особенностей языка Пушкина того же характера укажу, например, на гораздо более широкое употребление, сравнительно с нашим современным языком, форм родительного падежа единственного числа слов мужского рода на *-у*, например: «Он был лет

сорока, *росту* среднего, худощав и широкоплеч» («Капитанская дочка», гл. II). Ср. : «Признаться *вкусу* очень мало у нас и в наших именах» («Евгений Онегин», II, XXIV). Ср. еще: «Однажды летом у *порогу* поникшей хижины своей» («Русалка», 1819). См. материал по этому вопросу у Будде «Опыт грамматики языка А. С. Пушкина» (вып. 1, 1901, стр. 37 и след.). Интересен следующий случай в «Евгении Онегине» (IV, XL). Сначала Пушкиным в чистовой рукописи было написано:

Но куча будет там *народа*
И всякого такого *сброда*...

Затем в обоих рифмующихся словах Пушкин поправил букву *а* на *у*. Укажу далее, что Пушкин постоянно писал *покаместь*, а не *покамест*, например: «*Покаместь* у нас будут исправники за одно с ворами, до тех пор не будет он пойман» («Дубровский», гл. XIII). Вместо *помощь* Пушкин часто писал, в соответствии с народным произношением, *помочь*, например: «*Помочь* нужна моим усердным воеводам» («Борис Годунов»); «Каким образом окажете вы мне *помочь*?» («Дубровский», гл. XV). Пушкин всегда писал *скрыпка*, *ярмонка*, *крылос* (клирос), *анбар* и т. д.

Этого материала достаточно для того, чтобы судить о степени зависимости Пушкина от живого языка своего времени и своей среды в отношении употребления таких форм, которые в настоящее время лежат за границами литературного языка, а по отношению к нормативной грамматике представляли собой большей частью отступления от нее и для своего времени. Но было бы совершенно ошибочно заключать на основании всех этих примеров, будто Пушкин, автоматически воспроизводя в своей речи привычные формы грамматически не обработанного и окончательно не утвердившегося языка, был равнодушен к самой необходимости выбора и шлифовки грамматических средств. В особенности же опасно было бы усматривать в приведенных примерах свидетельство того, что Пушкин вообще не считался с требованиями грамматики и не понимал их принудительности для литературного языка. На этом вопросе нужно остановиться подробнее.

IV

Дело в том, что у Пушкина есть такие строки, которые с первого взгляда могут быть поняты как оправдание грамматического «анархизма» в литературном языке. Кто не помнит знаменитой XXVIII строфы третьей главы «Евгения Онегина»?

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

Быть может, на беду мою,
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье:
Но я.. какое дело мне?
Я верен буду старине.

В своих письмах Пушкин не раз выступает за предоставление большей «свободы» русскому литературному языку. Особенно интересно в этом отношении письмо Пушкина к историку и драматургу Погодину по поводу написанной последним исторической драмы «Марфа-посадница». В этом письме (ноябрь 1830 г.) Пушкин пишет: «Одна беда: слог и язык. Вы неправильны до бесконечности — и с языком поступаете, как Иоанн с Новым-городом. Ошибок грамматических, противных духу его усечений, сокращений,— тьма. Но знаете ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более — разумеется сообразно с духом его — и мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность». Для правильного понимания этих заявлений Пушкина необходимо понимать их связь с литературной борьбой 20—30-х годов XIX в., в которой вопросам языка принадлежало исключительно большое место. Пушкин в этих заявлениях восстает не против правильности вообще, а против той «правильности», которая насаждалась в его время писателями определенной стилистической школы. Это были в отношении языка эпигоны карамзинизма, писавшие гладко и грамматически правильно, но стереотипным, вылощенным языком, в котором забота о внешней формальной безупречности поглощала все остальное.

Рецензируя одно из таких эпигонских произведений, «Литературная газета» (орган пушкинской литературной группы) в № 36 1830 г. писала: «Язык довольно чистый, но чистоты столь приторной, столь бесцветной, что готов был бы обрадоваться пятнышку, лишь бы найти в нем признак жизни». «Грамматические ошибки», о которых с такой симпатией говорит Пушкин в вышеприведенных заявлениях,— это те же «пятнышки», по которым заставляет тосковать «Литературную газету» аккуратный, прилизанный, мертвый язык эпигонской литературы 20—30-х годов. Совершенно ясно, что Пушкин и его группа борются не против правильного употребления грамматических форм, а против мнимой «правильности», основанной на узком, ограниченном понимании того, что является допустимым и что является недопустимым в литературном языке.

Пушкин прежде всего требовал для литературного языка свободы от стеснительных требований так называемого «хорошего тона», с его совершенно условными, произвольными нормами. В одной из своих критических заметок, не опубликованных при его жизни, Пушкин дает злую сатиру на эту «бонтонную» критику: «Если б «Недоросль»,— пишет Пушкин,— сей единственный памятник народной сатиры, если б «Недоросль», которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор, явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью*, а себя сравнивает с *сукою*!! «Что скажут дамы,— воскликнул бы критик,— ведь эта комедия может попасться дамам!» В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать!—

А дамы наши (бог им судья!) их и не слушают и не читают». Чрезвычайно важно отметить, что, по словам Пушкина, ни ему самому, ни светским дамам его времени этот нежный и разборчивый язык журналистов неизвестен. Об этом же речь идет в одной из пропущенных строф восьмой главы «Евгения Онегина»:

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.
(Чему наверно удивится,
Готовя свой разборный лист,
Иной глубокий журналист,
Но в свете мало ль что творится,
О чем у нас не помышлял,
Быть может, ни один журнал!)

«Великосветским» претензиям журналистики Пушкин противопоставляет понятие «просто хорошего общества». «Нашим литераторам,— пишет Пушкин в черновых заметках,— хочется доказать, что и они принадлежат высшему обществу... не лучше было бы им постараться по своему тону и своему поведению принадлежать просто к хорошему обществу... Но не смешно ли им судить о том, что принято или не принято в свете, что могут и чего не могут читать наши дамы, какое выражение принадлежит гостиной (или будуару, как говорят эти господа)... Почему им знать, что откровенные оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы только общую невольную улыбку». Ср. с этим следующее замечание Вяземского, единомышленника Пушкина, по вопросу о «приличии» в языке: «Порядочный лакей», то есть что называется — un laquais en dimanche[1] — точно может быть постыдится сказать: *воняет*, но п о р я д о ч н ы й ч е л о в е к, то есть благовоспитанный, смело скажет это слово и в великосветской гостиной и перед дамами. Известно, что люди высшего общества гораздо свободнее других в употреблении с о б с т в е н н ы х с л о в: жеманство, чопорность, щепетильность, оговорки — отличительные признаки людей, не живущих в хорошем обществе, но желающих корчить хорошее общество» (В я з е м с к и й, Собрание сочинений, т. II, 264—265)[2].

Итак, вооружаясь против «чопорности» и «мертвой правильности» в языке, Пушкин защищает свободу языка от условных классовых стеснений, налагавшихся на язык мещанскими и бюрократическими подражателями великосветских салонов. Было бы в корне не верно на основании приведенных замечаний Пушкина представлять себе дело так будто свобода которой требовал Пушкин для языка означала равнодушие отсутствие заботливости по отношению

[1] То есть наряженный по-праздничному.

[2] Это замечание Вяземского направлено против Булгарина, который возмущался по поводу слова *воняет* в «Ревизоре» Гоголя. Сам Гоголь отвечал Булгарину известной характеристикой провинциального дамского языка в «Мертвых душах» (гл. VIII) «Ни в каком случае нельзя было сказать «Этот стакан или эта тарелка воняет»; и даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того «этот стакан не хорошо ведет себя», или что-нибудь вроде этого» (Н. В. Г о г о л ь, Сочинения, изд. 10, т. III, 1889, стр. 157).

к языку, пренебрежение правильностью в языке. Пушкин всю свою сознательную жизнь звал писателей своего времени учиться хорошему и правильному русскому языку. Но в решении вопроса о том, в чем же именно заключается истинная правильность языка, Пушкин шел собственной дорогой и ближе всех своих современников стоял к той точке зрения, которая остается практически полезной и для нашего времени.

V

Свое отношение к грамматике Пушкин запечатлел в следующем известном афоризме: «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи». Этот тезис, сам по себе, конечно, бесспорный, для пушкинской эпохи имел большой практический смысл. Это было время очень слабого распространения грамматических знаний и одновременно очень строгой придирчивости к языку литературных произведений. Сохранился малоправдоподобный, но сам по себе очень характерный анекдот о Баратынском, который будто бы спросил однажды у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным падежом?» (А. П. Керн, «Воспоминания», 1929, стр. 286, 328). Вероятно, немало анекдотов в этом роде можно было бы собрать в то время, если бы кто-нибудь из мемуаристов задался этой целью. Во всяком случае, анализируя придирчивые замечания критики о языке «Евгения Онегина», критики, ссылавшейся на «старинные грамматики», Пушкин пришел к такому заключению: «Люди, выдающие себя за поборников старых грамматик, должны были бы, по крайней мере, иметь школьные сведения о грамматике и риторике и иметь хоть малое понятие о свойствах русского языка». Пушкин, как видим, не ограничивается указанием на необходимость знать школьную грамматику,— он хочет, чтобы критики имели «хоть малое понятие о свойствах русского языка», потому что именно этими свойствами должны определяться грамматические правила, а не наоборот.

В последнем замечании Пушкина речь идет о статье в журнале «Атеней» (1828, № 4), посвященной разбору четвертой главы «Евгения Онегина». В этой статье содержится множество мелких и большей частью неосновательных придирок к отдельным грамматическим формам и к отдельным выражениям, употребленным Пушкиным в четвертой главе «Евгения Онегина». Например, по поводу стиха:

Два века ссорить не хочу,

критик «Атенея» замечал: «Кажется, есть правило об отрицании *не*: а то вместо ссорить к о г о выйдет — м н о г о л и в р е м е н и». Критик хотел сказать, что несоблюдение правила о замене винительного падежа родительным при отрицании придает употребленному Пушкиным винительному падежу (*два века*) временно́е значение, то есть будто бы приведенный стих можно понять так: не хочу ссорить — неизвестно кого — в течение двух веков. Пушкин совершенно резонно отвечает на эту придирку: «Что гласит

грамматика? Что действительный глагол, управляемый отрицательной частицею, требует уже не винительного, а родительного падежа. Например: *я не пишу стихов*. Но в моем стихе глагол *ссорить* управляем не частицею *не*, а глаголом *хочу*. Ergo, правило сюда нейдет. Возьмем, например, следующее предложение: *Я не могу вам позволить начать писать стихи*, а уж, конечно, не *стихов*. Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном? — Не думаю».

Надо ли говорить, что в этом споре прав был Пушкин, а не его критик. Но не лишним будет заметить, что ссылка Пушкина на грамматику («Что гласит грамматика») была неточна. Популярная грамматика того времени в этом вопросе, несомненно, разбиралась хуже Пушкина. Так, в «Практической русской грамматике» Николая Греча (СПБ, 1834, стр. 266) сказано: «Падеж родительный полагается и тогда, когда наречие отрицательное находится перед глаголом, предшествующим управляющему глаголу, например: *не хочу читать книг; не люблю терять времени*». Как известно, современная грамматика не следует этим решительным формулировкам о замене винительного родительным при отрицании. Во всяком случае Пушкин совершенно верно заметил, что чем больше расстояние между отрицанием и дополнением, тем труднее поставить это дополнение в родительном падеже (ср. «Русский синтаксис в научном освещении» Пешковского, изд. 3, стр. 344). Таким образом, задавая свой вопрос: «Что гласит грамматика?», Пушкин апеллировал не столько к книге, сколько к живому языковому закону (в черновике этой заметки вариант: «Грамматика наша еще не пояснена»), выводил свое правило на основании эмпирического смыслового анализа, следуя примеру своих предшественников в обработке русского литературного языка — Ломоносова и Карамзина.

Не менее интересен ответ Пушкина на другое замечание его критика, относящееся к стихам:

Так одевает бури тень
Едва рождающийся день,

«Трудно понять,— писал критик по поводу этих стихов,— кто кого одевает: тень ли бури одевается днем, или день одевается тенью?» Ответ Пушкина гласит: «Там, где сходство именительного падежа с винительным может произвести двусмыслие, должно, по крайней мере, писать все предложение в естественном его порядке (sine inversione), то есть без инверсии». Этим замечанием, основанным на живом, эмпирическом чувстве законов языка, Пушкин снова опровергает долгое время державшееся, но неосновательное мнение, будто порядок слов в русском языке лишен всякого грамматического значения.

Обдумывая свой ответ критику из «Атенея», Пушкин, по-видимому, увлекся грамматическими соображениями. Он набросал ряд попутных заметок, которые проникнуты общим стремлением

вывести грамматический закон из эмпирического смыслового анализа фактов живого языка. Очень интересна следующая заметка Пушкина: «Многие пишут *юпка*, *сватьба* вместо «юбка», «свадьба». Никогда в производных словах *т* не переменяется на *д*, ни *п* на *б*, а мы говорим *юбочница*, *свадебный*». Эта заметка замечательна как образец правильного разграничения фактов истории языка от фактов языка в живом употреблении. С исторической точки зрения, конечно, более «правильными» написаниями были бы написания *юпка* через *п* (франц. *jupe*), *сватьба* (*сват*, *сватать*), и Пушкин, разумеется, это понимал. Но раз случилось так, что в производных словах по тем или иным причинам (по каким — сейчас неважно) возникли в основе звонкие согласные вместо первоначальных глухих (*юбочница*, *свадебный*), то сохранение этимологических глухих согласных в написании основных слов действительно шло бы вразрез с последовательно выдерживаемым русской орфографией морфологическим принципом. В своей заметке Пушкин и формулирует этот принцип, желая сказать, что корневой согласный в основном и производном словах во всяком случае должен писаться одинаково. Грамматические утверждения Пушкина — это не догматические предписания языку, основанные на каких-либо отвлеченных соображениях, а выводы из анализа живых фактов языка, взятых в их взаимной связи, в «системе», как сказали бы теперь.

Из всего этого следует тот вывод, что Пушкин не мог не придавать грамматической правильности того значения, которое ей в действительности принадлежит в литературном языке. Более того, в следующих замечательных строчках Пушкин и прямо формулировал принудительность требований грамматики для того, кто пользуется литературным языком: «Зачем писателю не повиноваться принятым обычаям словесности своего народа, как он повинуется законам своего языка? Он должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы».

Принятое им правило Пушкин неукоснительно применял и к самому себе. «Вот уже 16 лет,— пишет Пушкин в связи с предыдущими замечаниями,— как я печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо). Я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место». Одна из этих ошибок («На *теме* полуночных гор») указана уже выше. Другие ошибки следующие. В «Кавказском пленнике» первоначально Пушкин написал:

Останавлял он долго взор
На отдаленные громады.

По указанию критика Пушкин в следующем издании исправил и первый из этих стихов:

Вперял он неподвижный взор,

оправдав этим винительный падеж во втором стихе, хотя и получился галлицизм *вперять на*, вместо правильного *вперять в* (ср.

в «Горе от ума»: «В науки он вперит ум алчущий познаний»). В одном из примечаний к «Полтаве» первоначально читалось: «Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, *но был отказан*». Впоследствии Пушкин поправил: *но ему отказали*. В стихотворении «Буря» (1825) был стих:

И ветер *воил* и летал,

в котором Пушкин, следуя живой грамматической аналогии (*выть — вою*), поставил *воил* вместо *выл*. Впоследствии стих был исправлен так:

И ветер *бился* и летал.

Наконец, в «Борисе Годунове», известные стихи из монолога Пимена:

Он говорил *игумну* и всей братье...
А грозный царь *игумном* богомольным,—

и:

в рукописи были написаны так:

Он говорил *игумену* и братье.
А грозный царь *игуменом* смиренным...

По совету кого-то из друзей Пушкин поправил *игумену*, *игуменом* на *игумну*, *игумном*. Но этот совет был очень неудачен, потому что формы *игумену*, *игуменом* более правильны, чем варианты с беглой гласной. Академик Корш по этому поводу правильно указывал, приведя разбираемую заметку Пушкина: «Эта заметка поучительна тем, что дает нам мерку для оценки языка Пушкина сообразно с тогдашними понятиями о правильности русской речи: критики за целые 16 лет указали в стихотворениях Пушкина только пять ошибок, в числе которых значится *игумену* вместо *игумну*, а он верит этим судьям» («Известия 2-го отделения Академии наук», 1898, III, 707—708). Таким образом, стараясь писать всегда правильно, заботясь о правильности своего языка, Пушкин порой склонен был следовать даже неправильным указаниям своих критиков.

VI

Остается решить, где тот языковой материал, посредством анализа которого можно установить действительные «свойства» русского языка, найти истинный критерий для решения вопроса о правильности речи. Пушкин оставил ответ на этот вопрос и в своих теоретических заметках, и в своем собственном языковом творчестве. Но нужно правильно понимать смысл этого ответа. Пушкин писал: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований». «Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».

Неправильно было бы понимать эти заявления как призыв к превращению литературного языка в крестьянское или мещанское просторечие. Во-первых, такому пониманию противоречит язык самих произведений Пушкина. В языке Пушкина много демократических «простонародных» элементов, но нигде Пушкин не покидает целиком почву того литературного языка, который был дан ему его эпохой, средой и традицией, нигде Пушкин не подлаживается под речь «простого народа». В «Материалах для биографии Пушкина», собранных Анненковым (1885, стр. 106), сохранился любопытный вариант замечания Пушкина о языке московской просвирни. Анненков говорит о Пушкине: «Он советовал учиться русскому языку у старых московских барынь, которые никогда не заменяют энергических фраз: я была в девках, лечилась и т. п. жеманными фразами: я была в девицах, меня пользовал и пр...» Старая московская барыня Пушкина — тип хорошо нам известный по литературным изображениям Грибоедова (Хлестова в «Горе от ума»), Льва Толстого (Марья Дмитриевна Ахросимова в «Войне и мире») и пр Нет сомнения, что Пушкин живо чувствовал историческую связь между языком подобной старой московской барыни и языком московской просвирни.

Во-вторых, в приведенных заметках Пушкина в сущности вовсе не говорится о замене одного языкового уклада другим. Пушкин говорит: «Разговорный язык простого народа... достоин т а к ж е глубочайших исследований. Не худо нам и н о г д а прислушиваться к московским просвирням». Ограничительные нотки здесь слышатся вполне отчетливо. Товарищ Пушкина по литературной работе Вяземский указывал по поводу этих призывов Пушкина учиться русскому языку у просвирен: «Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтоб удержать то, что следует, и пропустить мимо то, что не годится». (В я з е м с к и й, Собрание сочинений, II, стр. 361). Не подлежит никакому сомнению, что так называемая «простонародная» стихия русского языка представляла собой для Пушкина лишь основу литературного языка, но не исчерпывала его целиком и не подменяла его собой. Пушкина влекло в народной речи не пристрастие к экзотике областной, «мужицкой» лексике и грамматике, а правильное убеждение в том, что основным материалом для создания о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о русского языка должна послужить речь н а р о д н а я. В этом отношении Пушкин был несомненным последователем Ломоносова и довел до конца начатое тем дело.

Ближайшие учителя Пушкина в области литературного языка, прежде всего Карамзин, сознательно порывали остатки своей связи с народом в языке, считая, что этим они способствуют европеизации русской культуры. Бессознательно они тоже пользуются многими так называемыми «простонародными» элементами в своем языке, но в своей языковой т е о р и и резко отмежевываются от всего «низкого», «грубого», «неизящного». Между тем Пушкин в своей языковой теории как бы делает сознательные выводы из того, что

ему было дано историей. По словам Плетнева, Пушкин и Дельвиг гордились тем, что родились в Москве, и утверждали, что «тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьею ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений»[1].

Но это московское просторечье, своей исторической связью с которым гордился Пушкин, не было для него самодовлеющей ценностью. Делая в 1825 г. беглый очерк истории русского языка, Пушкин писал: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и т а к о в а стихия, д а н н а я н а м д л я с о о б щ е н и я н а ш и х м ы с л е й».

В этой стихии, по мысли Пушкина, свободно умещались и лексические заимствования из западноевропейских языков, отражавшие процесс европеизации русской культуры и русского быта. Французский язык всегда оставался для Пушкина образцом делового языка образованности, и он понимал, что в этой области русский язык не может миновать влияния французского. По этому поводу Пушкин писал: «Дай бог ему (то есть русскому языку) когда-нибудь образоваться на подобие французского (ясного, точного языка прозы — то есть языка мыслей)». Пушкин даже поощрял галлицизмы Вяземского, оправдывавшего офранцуженные обороты речи в языке русской критики тем, что «новые набеги в области мыслей требуют и часто нового порядка». (Собрание сочинений, I, 197). Но все же Пушкин был очень строг к таким погрешностям в русском языке, которые возникали в результате механического перенесения иноязычных грамматических свойств на русскую почву. В языке самого Пушкина немало галлицизмов, но несомненно, что он старался от них освободиться. Так, в первом издании первой главы «Евгения Онегина», в строфе XXX, с примечанием автора: «непростительный галлицизм», было напечатано:

Грустный, охладелый
И ныне иногда во сне
Они смущают сердце мне.

При перепечатке эта нерусская конструкция (обособление, не относящееся к подлежащему) была устранена:

Грустный, охладелый
Я все их помню и во сне

и т. д.

Так, следовательно, понимал Пушкин задачу организации литературной речи на основе народного языка...

Языковая деятельность Пушкина, который сто лет тому назад, в совершенно другой культурной обстановке, со всей глубиной, присущей его замечательной личности, продуктивно ставил и разрешал спорные вопросы, приобретает в наши дни значение поучительного исторического примера и прекрасного образца.

[1] Переписка Грота с Плетневым, III, 400.

О ЗАДАЧАХ ИСТОРИИ ЯЗЫКА*

Вся совокупность современных лингвистических исследований может быть разделена на две группы. К первой относятся такие исследования, которые изучают факты различных языков мира для того, чтобы определить общие законы, управляющие жизнью языков. Исследования этого рода, по самому своему заданию, не могут иметь никаких хронологических и этнических рамок. Чем больше языков привлечено к исследованию и чем разнообразнее эти языки, тем больше гарантий, что установленный закон имеет всеобщий характер, а не является лишь обобщением тех отдельных и случайных фактов, которые на этот раз оказались доступны наблюдению. Все языки мира, существующие сейчас или существовавшие ранее, получившие литературную обработку или служащие только средством устного бытового общения, общенациональные, международные или являющиеся только местными диалектами, представляют для исследований этого рода совершенно одинаковую ценность, потому что всюду, где есть язык, существуют и те общие законы языковой жизни, познание которых составляет цель исследования. Бесчисленное множество человеческих языков для исследований этого рода представляет собой известное единство: разные языки здесь понимаются как разные исторически обусловленные, проявления одной и той же сущности — человеческого языка вообще. Цель такого исследования состоит не в том, чтобы установить наличность тех или иных явлений в том или ином языке или даже во многих языках, а в том, чтобы узнать, что всегда есть во всяком языке и каким образом одно и то же по-разному проявляется в разных языках. Конечные результаты подобных исследований учат нас, какие вообще в о з м о ж н ы языки, что б ы в а е т в языках, какие факты с л у ч а ю т с я в жизни языков, но при этом все такие возможности и случайности представляются научному рассмотрению не как разрозненные явления, возникающие на поверхности исторической жизни народов, а как следствия и проявления общих закономерностей. Таким путем мы узнаем, например, из каких звуков может состоять человеческая речь, как эти звуки бывают организова-

* [«Ученые записки Московского гор. пед. ин-та, кафедра русского языка», т. V, вып. 1, М., 1941.]

ны в языках разных типов, каким образом совершается переход одних звуков в другие в истории разных языков и т. д. В этом — конечная цель той области знания, которая во Франции именуется la linguistique générale и которая, на мой взгляд, заслуживает просто названия лингвистики, н а у к и о я з ы к е, в самом прямом и точном значении этого термина, если речь идет о лингвистике как самостоятельной науке со своим собственным и специфичным предметом.

Ко второй группе лингвистических исследований я отношу такие, предмет которых составляет какой-нибудь один отдельный язык или одна отдельная группа языков, связанных между собой в генетическом и культурно-историческом отношении. Принципиально безразлично, изучается ли один отдельный язык или несколько языков, взаимно связанных происхождением и культурной историей, потому что в последнем случае такая группа языков есть не что иное, как один язык в виде ряда диалектов. Исследование, посвященное группе славянских языков как таковых, т. е. выделенных в особую группу именно по этому признаку их общей принадлежности к славянскому языковому миру, естественно достигает своей цели только при том условии, что все славянские языки, живые и мертвые, устные и письменные, обиходные и литературные, исследуются как нечто целое и единое — иначе непонятно было бы самое объединение этих языков в особый и самостоятельный предмет изучения. Нет никакого сомнения в том, что, например, все индоевропейское языкознание есть наука об о д н о м языке и что это обстоятельство существенным образом, при том далеко не всегда положительно, отразилось на тех общих учениях о языке, которые возникали среди специалистов данной области. От исследований первой группы такие исследования, имеющие своим предметом отдельную идиому, отличаются тем, что познание именно этой избранной идиомы, в полноте ее конкретного исторического бытия, составляет для них конечную задачу. Эти исследования устанавливают не то, что «возможно», «бывает», «случается», а то, что реально именно в данном случае е с т ь, б ы л о, п р о и з о ш л о. Разумеется, никакое лингвистическое исследование, в том числе и такое, которое посвящено отдельному языку, не может не пользоваться общими положениями лингвистики и непременно должно исходить из того, что вообще возможно в человеческих языках. Но для собственно лингвистических исследований такие общие положения составляют их конечную цель, между тем как для исследований в области одного языка эти общие положения служат лишь руководящими методическими указаниями. Обратно, те законы, которые устанавливаются для отдельной идиомы, разумеется совсем не безразличны для лингвистики в собственном смысле этого термина. Но для нее такие законы служат лишь материалом ее собственных построений, потому что с точки зрения конечных задач науки о языке это только один из многих частных случаев, требующих совокупного анализа. Таким образом, на практике исследования обоих типов очень тесно

переплетаются, и часто между тем и другим направлением лингвистической работы невозможно провести отчетливую границу. Исследования в области отдельных языков питают собой общие лингвистические исследования и позволяют вносить все большую точность в формулирование общих лингвистических законов, а уточнение таких формулировок дает возможность и в отдельных языках увидеть то, что ранее оставалось в них незамеченным. В неизбежности этого вечного движения как раз и заключается залог бесконечного прогресса научного знания. Но все же от того, что одна наука направляет работу другой и в то же время сама пользуется материалом последней, обе науки не перестают быть р а з н ы м и науками и не теряют каждая своего особого индивидуального места в общей системе наук.

Совершенно очевидно, что так называемая общая лингвистика невозможна без исследований в области отдельных языков. Но это вовсе не значит, что задачи общей лингвистики исчерпываются составлением сводок из материалов разных языков, так как уже само по себе сопоставление подобных различных материалов рождает новые и специфичные проблемы, для возникновения которых исследование отдельных языков не представляет нужных условий. Точно так же ошибочно было бы думать, будто все значение исследований в области отдельных языков заключается в их служебной роли по отношению к задачам общей лингвистики. Доставляя последней необходимый материал, исследования в области отдельных языков в то же время решают такие проблемы, которые возникают только тогда, когда изучается какой-нибудь один язык и которые не стоят и не могут стоять перед наукой о языке в специфическом смысле этого термина. Конечно, никому нельзя запретить заниматься исследованием только одного языка с исключительной целью оказывать в такой именно форме посильные услуги языкознанию. В любой научной области существует необходимость в работах вспомогательных и предварительных. Но, оставаясь на таком вспомогательно-служебном посту, не только нельзя самостоятельно решать задачи, возникающие перед общей лингвистикой, но нельзя также просто увидеть те специфичные задачи, которые в действительности должны определять собой содержание исследований, посвященных отдельному языку. Я имею в виду те задачи, которые возникают в силу того, что изучение отдельного языка, не ограничивающее себя вспомогательными и служебными целями, а желающее быть вполне адекватным предмету, непременно должно быть изучением и с т о р и и данного языка.

Слово и с т о р и я в применении к языку может иметь разные оттенки значения, и в них необходимо разобраться. Обычным сделалось, например, утверждение, что всякое изучение языка должно и может быть только историческим. Это утверждение в своей общей форме правильно, но оно имеет разный смысл, смотря по тому, какого рода изучение языка будем предполагать — изучение языков, как частных, исторически известных, обнаружений челове-

ческого языка вообще, т. е. изучение, согласно с предыдущим, собственно лингвистическое, или же изучение отдельной идиомы как индивидуального и своеобразного явления человеческой истории. Язык есть условие и продукт человеческой культуры, и поэтому всякое изучение языка неизбежно имеет своим предметом самое культуру, иначе говоря — есть изучение историческое. Но общие законы, которым подчинено культурное развитие человечества, проявляются в разных концах земного шара, среди разных человеческих коллективов, в зависимости от местных условий настолько разновременно и своеобразно, что конкретная история каждой отдельной культуры так же мало похожа на все остальные, как мало похож на остальные и созданный данной культурой язык. С другой стороны, всякое явление культуры, и, может быть, именно язык в особенности, обладает способностью сохранять свою раз возникшую материальную организацию в качестве пережитка очень долгое время после того, как закончился породивший его этап культурного развития. Поэтому, если и можно говорить об общей истории человеческого языка вообще, то, очевидно, совсем не в том смысле, в каком мы говорим об истории турецко-татарских языков или одного османского. Нет сомнения в том, что каждая из засвидетельствованных исторически идиом представляет собой известную стадию в каком-то едином процессе формирования человеческого языка. Вполне понятно поэтому желание установить ту или иную связь между разными типами языковых структур и разными стадиями в развитии человеческой культуры, хотя бы практически эта задача часто представлялась невыполнимо трудной. Но так как смена культурных стадий вовсе не непременно предполагает смену языковых структур, потому что унаследованные от прошлого структуры очень легко приспособляются к новым условиям, то ни о какой конкретно-исторической и генетической преемственности между известными языковыми структурами в этом смысле думать не приходится. Предполагать иное было бы равносильно предположению о том, что, например, русский феодализм вырос из античного рабовладельческого общества, а английский капитализм — из китайского феодализма. Абсурдность таких предположений тем не менее ни в малой степени не колеблет той истины, что феодализм приходит на смену рабовладельческому строю и сам сменяется капитализмом. Очень возможно, — хотя и это еще нужно доказать точной интерпретацией точно установленных фактов, — что флективный строй языка пришел на смену тому строю, который представлен так называемыми языками яфетическими, но это еще не означает, что отдельные индоевропейские языки связаны с отдельными яфетическими языками реальной исторической преемственностью, что каждый из известных индоевропейских языков был когда-то яфетическим, а каждый из известных яфетических — будет когда-нибудь индоевропейским. В смешении этих двух понятий историзма и в неизбежно следующих отсюда безудержных насилиях над эмпирическим материалом различных языков, как мне кажется, заключается основ-

ное заблуждение так называемого нового учения о языке, разрабатываемого школой акад. Марра, хотя сама по себе идея единого глоттогонического процесса, вдохновлявшая покойного ученого, при ином к ней подходе могла бы быть не только увлекательной, но и безупречной с методологической точки зрения. Таким образом, связь языкознания с историей остается несомненной, и общие лингвистические законы — это, действительно, исторические законы, но только сфера их действия — это не конкретная история конкретных человеческих коллективов, а общие отношения культурно-исторической типологии.

Совсем другое дело историзм такого лингвистического исследования, которое имеет своим предметом отдельный язык или, что то же, отдельное семейство языков. Отдельный язык есть индивидуальное и неповторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной культурной системе, и он должен изучаться совершенно так же, как изучается всякий иной член этой системы, во всей полноте своих жизненных проявлений, отношений и связей. Как один из продуктов духовного творчества данного культурно-исторического коллектива, в общем случае — народа, язык стоит в одном ряду с письменностью, наукой, искусством, государством, правом, моралью и т. д., хотя и занимает в этом ряду своеобразное положение, так как одновременно он составляет и условие всех этих прочих культурных образований. Даже всецело оставаясь на почве одного языка, т. е. изучая данный язык исключительно ради него самого, а не для того, чтобы при помощи языка получить доступ к прочим явлениям культуры, находящим в языке свое выражение, мы уже изучаем тем самым соответствующую культуру, именно первую, и в известном отношении, может быть, самую важную, главу ее истории. Исследователь отдельного языка является историком вовсе не только потому, что он нуждается в широком историческом контексте для объяснения установленных им фактов, а прежде всего потому, что предмет его собственных исследований, язык, это тоже и с т о р и я, и уже сам по себе, наравне с другими историческими явлениями, участвует в создании этого общеисторического контекста. История народа без истории его языка в принципе так же не полна, как, например, без истории его государства или права. Таким образом, отношения между историей народа и его языком сложнее, чем предполагается ходячим афоризмом, по которому язык есть зеркало истории. Язык действительно отражает историю народа, но одновременно он и сам есть часть этой истории, одно из созданий народного творчества. Это значит, что изучение данного отдельного языка есть вовсе не только вспомогательная и техническая, но также прямая и непосредственная задача того, кто изучает вообще соответствующую культуру. Поэтому всякий языковед, изучающий язык данной культуры, тем самым, хочет он этого или нет, непременно становится исследователем той культуры, к продуктам которой принадлежит избранный им язык. Материальная организация отдельных продуктов культуры специфична, и заниматься изуче-

нием языка без общей лингвистической подготовки так же невозможно, как невозможно изучать правовые институты данного народа без общей юридической подготовки. Отсюда неизбежная специализация по отдельным областям культуры и разделение труда. Но поскольку обсуждаются общие принципы науки, со всей решительностью нужно настаивать на том, что и при разделении труда между разными специалистами, труд их остается все же о б щ и м. Поэтому общим должен быть и метод, хотя бы он и испытывал различные модификации, в зависимости от специфичности того материала, с которым имеет дело изучение отдельных явлений культуры. Общим, в частности, для всех глав науки о культуре является то условие, в силу которого мы говорим о них, как об отдельных главах действительно о д н о й науки, и при том такой, которая невозможна иначе, как именно и с т о р и я культуры. Разумеется, здесь речь идет об истории не в том понимании этого термина, которое объявляет историческим только то, что было и чего уже нет сейчас. Ведь если рассуждать последовательно, то все, случившееся секунду тому назад, есть тоже бывшее, и есть ли вообще при таких условиях какая-нибудь реальная возможность обозначить точную грань между бывшим и небывшим? Очевидно это возможно только в том случае, если небывшее, в точном соответствии с объективным значением этого выражения, понимать как будущее. Поэтому единственная реальная грань, с которой может иметь дело наука истории, — это грань между тем, что уже осуществилось, что имеет конкретное жизненное воплощение, что можно наблюдать и постигать, хотя бы и не просто на улице, а только в музее, и тем, что еще не осуществилось, к чему можно стремиться или относиться с какими-нибудь мерами предосторожности и что в лучшем случае можно только угадывать и предвидеть. Абсолютно неразрывная связь прошлого и настоящего легко уясняется из того простого соображения, что все существующее есть только видоизменение существовавшего. Только поэтому и возможно вообще историческое предвидение. То, что есть, не с неба свалилось, а подготовлено и рождено тем, что было, даже при том условии, если бывшее тем самым породило свое собственное отрицание. Вот почему никакое изучение наличного факта культуры не может не быть изучением генетическим, не может не ставить перед собой вопросов о т к у д а и п о ч е м у. Всякая попытка отнестись к своему предмету, как к чему-то такому, что существует само по себе и не заключает в самом себе неизбежно, хотя бы в качестве вполне отрицательного момента, того, чем это «что-то» было прежде, осуждает исследователя на изучение фикций вместо реальностей и потому ненаучна.

В применении к языку эта точка зрения требует некоторых специальных разъяснений. Во-первых, не мешает указать, что только по поводу отдельной идиомы ответы лингвиста на вопросы о т к у д а и п о ч е м у могут быть действительно реальными и конкретными, потому что на эти вопросы вообще можно отвечать только в том случае, если они предполагают какое-либо реальное

культурно-историческое содержание. У русского языка есть известные отношения не только к языкам сербскому или латинскому, но также, например, и к языкам банту. Но в последнем случае это отношения типологические, из изучения которых могут быть сделаны разнообразные выводы относительно закономерностей, существующих в области организации человеческих языков и относительно структурных связей между разными способами этой организации. Между тем отношения между русским языком и сербским или латинским это уже не только типологическая, но также реальная генетическая проблема, и сходства и различия в строении этих языков получают надлежащее научное освещение лишь после того, как они будут поняты не только структурно, но и как следствия определенных исторических событий. Из различных наблюдений над разнообразными языками, положим, известно, что звук *а* краткое может изменяться и фактически изменяется в звук *о* краткое открытое. Но в применении к отношениям между латинским языком и славянскими подобная формулировка непременно предполагает, что такое звуковое изменение действительно произошло, как реальное историческое событие, в определенную пору и в определенных исторических условиях, вследствие ли чисто физиологической эволюции данного звука или усвоения одного языка другим племенем, в обстановке ли переселения говорящих коллективов или какого-нибудь перелома в их бытовой или хозяйственной организации и т. п. Очень часто именно такого, реально-исторического комментария к истории отдельных фактов той или иной идиомы мы как раз и не имеем, но причины этого — просто в мере наших знаний и в трудности задачи, в том, что наука еще «не дошла» до этого, но вовсе не в том, что она и не обязана или не хочет доходить до подобных, конечно, очень далеких границ исследования. Но перед собственно лингвистическим исследованием, задача которого состоит в том, чтобы найти общие законы, регулирующие жизнь языков, и сопоставляющим, например, с этой целью русский язык и языки банту, подобные вопросы конкретного генезиса, действительно, даже и не возникают. Тут, действительно, можно сопоставлять все, что угодно, со всем, что угодно,— но т о л ь к о тут.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на естественно вытекающее из предыдущего следствие, состоящее в том, что изучение языка в его современном состоянии есть, в сущности, тоже историческое изучение. Этот вывод может показаться странным и противоречащим действительному положению вещей. Так, например, в русском языкознании на глазах нашего поколения изучение современного языка обнаруживает заметную тенденцию обособиться от изучения русского языка в его прошлом, в качестве особой научной специальности. Однако это противоречие мнимое. Это можно утверждать даже несмотря на то, что указанная тенденция к обособлению изучения современного языка от изучения прошлых состояний того же языка, при данном уровне нашего лингвистического развития, содержит в себе также и положительную сторону. Все дело в том,

что хотя изучение современного языка есть непременно тоже изучение историческое, изучение так называемой истории языка должно осуществляться в идеале как раз теми методами, которые наиболее отчетливое применение пока получают именно при изучении современного языка. Знаменитое учение де Соссюра о лингвистике «статической» и «диахронической» способно повести к очень большим недоразумениям, если следовать ему без должной критики и не отделить в нем зерно истины от ложных выводов. Совершенно неверно было бы думать, будто статическая лингвистика есть изучение непременно современного языка, а диахроническая — изучение истории языка. На самом деле и современный язык это тоже история, а с другой стороны, и историю языка нужно изучать не диахронически, а статически. Разумеется, так можно говорить только в том случае, если толковать самое содержание этих терминов де Соссюра на свой лад. Так называемый статический метод де Соссюра требует изучения языка как цельной с и с т е м ы; иными словами, он предполагает одновременный анализ всех фактов языка, одновременно присутствующих в данной языковой системе как реальном орудии общения. Так как факты языка соотносительны, и например, нет звука *а*, пока нет звуков *е*, *о* и т. п., и функции звука *а* в данном строе языка могут быть совсем различны в зависимости от того, какие другие звуки противопоставлены звуку *а*, то указанное требование, вытекающее из рассуждений де Соссюра, безупречно, и самое формулирование его останется вечной заслугой основателя женевской школы. Но если отнестись к этому требованию серьезно, то не трудно прийти к заключению, что оно сохраняет свою силу и тогда, когда мы изучаем язык не в его современном, а в прошлом состоянии. Очевидно, что и язык в его прошлом состоянии мы только тогда можем изучить как живую историческую реальность, когда будем видеть в нем цельную систему, в которой каждый отдельный элемент обладает известной функцией только в соотнесении с прочими элементами. И вот здесь-то самое слабое место традиционной истории языка. В целом разработка истории языков в европейском языкознании остается еще на той стадии, когда изучается история, точнее было бы сказать — внешняя эволюция отдельных, изолированных элементов данного языка, а не всего языкового строя в целом. Сама по себе история звука *а* остается фикцией, пока не показано, как изменения этого звука отражаются на объективных функциях других звуков данной системы и как изменения других звуков меняют функции звука *а*, хотя бы этот звук может быть и не менялся никогда в своем качестве. Звук *у* в русском языке не заменялся никакими звуками с доисторической эпохи, но одно дело звук *у* в VII в., а другое дело звук *у* в XX в., хотя бы он сохранился сам по себе неизменным в тех же словах, в которых произносился тринадцать столетий тому назад. Между тем, разумеется, ни в одном пособии по истории русского языка нет главы под названием «история звука *у*». Из всего этого с непреложностью следует, что подлинная история языка должна быть непременно историей «статической»,

в том смысле, который объективно принадлежит этому термину де Соссюра, хотя самый термин этот явно непригоден и не выражает существа дела. Но если это так, то, очевидно, в каком-то ином смысле должно быть истолковано также понятие «диахронической» лингвистики. Содержание этого понятия уясняется из того, что языковая система изменяется и что вся вообще история языка есть последовательная смена языковых систем, причем переход от одной системы к другой подчинен каким-то закономерным отношениям. Следовательно, мало открыть систему языка в один из моментов его исторического существования. Нужно еще уяснить себе закономерные отношения этой системы к той, которая ей предшествовала, и к той, которая заступила ее место. В этом смысле, если угодно, можно говорить о «диахронии» языка, но, с другой стороны, совершенно ясно, что самое противопоставление «синхронии» и «диахронии» в языке есть противопоставление мнимое и не имеющее никакой почвы в исторической реальности.

Итак, если история языка хочет быть адекватной своему предмету и изучать реальность, а не абстракции, то она должна формулировать свою задачу следующим образом. В том историческом процессе, который представляет собой существование данного языка, должны быть выделены известные стадии, на каждой из которых изучаемый язык представляет собой систему, отличную от предыдущей и последующей. Каждая такая система должна быть изучена как реальное средство общения соответствующего времени и соответствующей среды, т. е. в исчерпывающей полноте тех внутренних связей и отношений, которые в этой системе заключены. Но так как каждая подобная система есть лишь видоизменение предшествующей и предварительная стадия последующей, то сама по себе она не может быть вскрыта, пока не уяснены закономерные отношения, связывающие ее с хронологически смежными системами. Жизнь языка не останавливается ни на минуту, и потому в каждом данном состоянии языка есть такие факты, которые, с точки зрения более позднего состояния языка, представляются его зародышем. Следовательно, в практическом исследовании невозможно изучать систему языка в отдельности от элементов разложения, в ней неизбежно заложенных, и очевидно только такое исследование полностью будет отвечать своей задаче, которое окажется способно показать, как рождение одной языковой системы одновременно кладет начало превращению ее в другую, и так до бесконечности. Но при всем этом ни в коем случае нельзя забывать, что язык есть часть или отдельный член общей культурной истории и что, следовательно, системы действуют, рождаются и разлагаются не в безвоздушном пространстве, а в определенной общественной среде, жизнь которой регулируется общими законами исторического процесса. Язык повинуется этим общим законам исторического развития не пассивно, а активно, т. е. как и всякая иная идеологическая форма, и сам в известных отношениях воздействует на историю, например на историю письменности, историю идей и т. д. В частности, и у внутреннего меха-

низма языка есть свои собственные законы построения, от того или иного существа которых во многом зависят конкретные явления фактического развития языковой системы. Но движет этим механизмом все-таки не сам язык, как некая имманентная автоматическая сила, а человеческое общество, осуществляющее в своих действиях свое историческое назначение. Это значит, что к о н е ч н ы й ответ на вопрос о характере и причинах языкового генезиса может быть получен только от культурной истории данного коллектива и что, следовательно, изучение отдельного языка, иначе — история языка, есть наука культурно-историческая в абсолютно точном смысле этого термина.

Разумеется, все это только идеал и мало похоже на действительное состояние науки. Для осуществления этого идеала мало одного желания, а нужна еще громадная работа, которая вряд ли может быть сделана в короткое время и которая требует соответствующего общего лингвистического развития. Думаю все же, что это нисколько не мешает формулированию самого идеала, потому что как бы далеко ни находилась конечная цель пути, всегда нужно знать, куда идешь и куда хочешь идти. Самое важное заключается в том, что этот идеал — не беспредметная утопия и что фактическое развитие науки все равно с неизбежностью подготовляет его осуществление в более или менее отдаленном будущем, независимо от частных побуждений и намерений отдельных исследователей. В этом смысле нельзя, разумеется, ни одной минуты сомневаться в объективной научной ценности тех знаний и выводов, которыми наука истории языка, все равно какого, обладает уже и сейчас, так же как и в том, что без этих знаний и выводов вообще никакая будущая наука истории языка попросту невозможна. Однако и независимо от того приуготовительного значения, которым обладает современная история языка по отношению к ее идеальным задачам, ее положения, а также и методы, сохраняют самодовлеющее научное значение, но только, как мне представляется, не лингвистическое собственно. Ведь нельзя сказать, будто выяснение истории какого-нибудь отдельного звука или слова, взятого изолированно, не представляет само по себе известного научного знания, не говоря уже о том, что это необходимо знать для построения истории языковой системы в целом. Разумеется, и такое знание есть научное знание, имеющее самостоятельную ценность. Как знание языка, оно не может быть признано полноценным, потому что предмет этого знания асбтрактен. Но столь же безусловно, что таким путем мы узнаем совершенно полноценные приметы, в которых нуждается, например, историческая этнография. Очень легко понять возражения современных лингвистов против таких работ, которые строятся на описании особенностей того или иного языка или диалекта. Язык, действительно, невозможно изучать по его особенностям, но изучать этнографически носителей данного диалекта по особенностям их речи не только можно, но и должно. По-видимому, именно такое значение объективно принадлежит современной диалектологии, в ее тради-

ционных формах диалектографии и лингвистической географии, если отвлечься от их подсобного значения для истории языка. Современная диалектология, оставляя в стороне не получившие еще типического значения исключения, но включая и наиболее поздние ее достижения, как например диалектологический атлас, есть именно этнография, а поскольку она привлекает к делу исторические объяснения — историческая этнография, точно так же, как к области исторической этнографии славянства относится, например, учение об истории носовых гласных в славянских языках, взятое изолированно от других проблем славянского языкового развития. Но и тут полезно еще раз напомнить себе, что этого рода материал, особенно, например, в тех случаях, когда различные изменения носовых в различных славянских языках и диалектах понимаются как единый и цельный процесс, протекающий в определенных культурно-исторических условиях, объективно принадлежит к лингвистической истории языка, которая рано или поздно научится распоряжаться этим материалом в строгом соответствии со своими собственными и специфичными задачами.

Перехожу к вопросу о внутреннем построении истории языка как особой и своеобразной науки лингвистического и культурно-исторического содержания.

Вряд ли нужно доказывать, что в идеале история языка должна быть п о л н о й историей языка, т. е. излагать свой предмет всесторонне. Иначе говоря, история языка не может быть только историей звуков или только историей звуков и форм и т. д. Это невозможно не только с внешней, формальной стороны с точки зрения требований соблюдения полноты, но и по существу, потому что в реальной истории языковых систем история форм зависит от истории звуков, история слов зависит от истории звуков и форм и т. д. Так, например, для истории слов русского литературного языка громадное значение имели некоторые фонетические процессы, пережитые славянством в доисторическую эпоху. Ясно, что история звуков русского языка не будет вполне адекватна предмету до тех пор, пока не будут указаны те следствия, которые возникали из нее для словарного состава русского литературного языка. Нет сомнения, что история языка должна заключать все те отделы, которые вообще предполагаются изучением языка, сообразно отдельным членам его структуры. Таких основных отделов должно быть три. Во-первых, язык представляет собой совокупность знаков, передающих известные идеи, т. е. обладающих так называемыми вещественными значениями. Во-вторых, эти знаки представляют собой известного рода формы, т. е. обладают известным материальным устройством, проявляющимся в тех структурных взаимоотношениях, которые создаются между отдельными знаками и их внутренними членениями в связной речи. В-третьих, как знаки идей, так и образуемые ими формы материально различаются одни от других при помощи звуков речи, из которых они состоят. При изучении письменных языков

прибавляется еще проблема буквенных знаков, при помощи которых звуки речи изображаются на письме, и это существенным образом модифицирует фонетическую проблему,— но далее я этого не оговариваю, молчаливо предполагая в соответствующих пунктах возможность особой орфографической дисциплины. Соответственно сказанному изучение языка делится на изучение слов как знаков, т. е. носителей вещественных значений, на изучение слов как форм и изучение звуков, т. е. на семасиологию, грамматику и фонетику. Первый из этих отделов сам состоит из трех подотделов. Во-первых, в нем изучаются части слов, функционирующие как знаки частичных идей, т. е. такие знаки, которые сами по себе не передают еще цельной идеи и выражают лишь их составные части, элементы, оттенки и т. п., и становятся выразителями цельных идей лишь в известных сочетаниях, осуществляющихся по определенным законам. Этот подотдел может быть назван учением о словообразовании. Во-вторых, в первом из названных трех отделов изучаются отдельные знаки цельных идей, это лексикология. В-третьих, в нем изучаются законы сочетания знаков цельных идей, что можно назвать фразеологией. Второй из основных отделов, грамматика, также делится на три подотдела. Во-первых, здесь должны быть изучены общие принципы построения форм, существующие в данном языке, — это морфология. Во-вторых, здесь изучаются законы сочетания слов как форм в связной речи — это задача синтаксиса. Но так как в большинстве языков известные классы слов выделяют в своем составе особые элементы, служащие специальными механизмами для сочетания слов в связной речи, то синтаксису этих языков должно предшествовать изучение таких механизмов, — это учение о словоизменении. Наконец, третий основной отдел, фонетика, изучает звуки речи и все, что относится к их организации и функционированию в языке, как реального орудии общения. Разумеется, излагаться эти отделы должны в обратном порядке, т. е. сначала фонетика, затем грамматика и в последнюю очередь семасиология, а все предложенное построение в целом может быть сведено в такую схему:

I. Звуки — Фонетика (для письменной речи — также орфография).

II. Формы — Грамматика:
- а) Морфология (общее учение о словах как формах).
- б) Словоизменение (учение об элементах, служащих для сочетания слов как форм).
- в) Синтаксис (учение о законах сочетания слов как форм).

III. Знаки — Семасиология:
- а) Словообразование (учение о частях слов как знаках частичных идей).
- б) Лексикология (учение об отдельных словах как знаках полных идей).
- в) Фразеология (учение о законах сочетания слов как таких знаков).

Так как язык с внешней стороны представляет собой физическую материю (звуки), а своей внутренней стороной, вещественными значениями, отражает предметы и понятия исторической действительности, то у тех отделов лингвистики, которые имеют своим предметом эти пограничные области языкового знака, существуют еще свои пропедевтические отделы, в которых соответствующий лингвистический материал обследуется со стороны своих внешних (с лингвистической точки зрения) качеств. Для фонетики такими пропедевтическими дисциплинами служат физиология и акустика звуков речи, а для семасиологии — лексикография, т. е. регистрация наличных словарных средств в их отношениях к обозначаемым вещам и понятиям.

К предложенной схеме нужно теперь сделать три дополнительные примечания. Первое из них касается понятия морфологии. Обычно слово «морфология» употребляется как общее название, объединяющее проблемы словоизменения и словообразования. Но такое объединение придает внешность единого предмета явлениям, по своему содержанию совершенно разным, а с другой стороны, мешает рассмотреть за конкретным содержанием этих разнородных явлений то, что у них есть действительно общего, именно то, что дает право смотреть на всякий звук или совокупность звуков речи, обладающие известным значением, как на м о р ф е м ы вообще. Как явления словообразования, так и явления словоизменения содержат обильный материал, показывающий, как в данном языке создаются те отношения между морфемами разных типов, которые порождают слово с точки зрения его внутреннего устройства. Вот эти-то общие проблемы устройства слова и должны составить предмет особой грамматической дисциплины, которую удобнее всего называть морфологией. Но не трудно видеть, что морфология в таком смысле не есть еще учение о конкретных явлениях словообразования или словоизменения: так, она изучает не звуковой вид и значение различных морфем, а только возможные в данном языке отношения между морфемами, порождающие слово как известную ф о р м у (думаю, что, говоря так, употребляют этот термин в духе учения Фортунатова).

Во-вторых, сказанное делает понятным также и то, почему в предложенной схеме учение о словообразовании отнесено не к грамматике, а, вопреки традиции, к семасиологии. Существует все же вполне очевидное различие между значениями вещественными и формальными, и состоит оно в том, что формальные значения передают о т н о ш е н и я между знаками мысли, а не сами мысли. Между тем основные явления словообразования — аффикс, корень, основа и пр. — имеют непосредственное отношение именно к вещественным значениям и их оттенкам. Нетрудно понять, что заставляет традицию видеть в учении об этих элементах языка один из отделов грамматики. Причина этого несомненно заключается в том, что в словообразовании, как и в грамматике, речь идет не о цельных словах, а об известных элементах слов, а потому и словообра-

зование, подобно грамматике, учит тому, как строится язык. Но ведь и фонетика тоже изучает строй языка, и опять-таки именно строй языка должна изучать лексикология и фразеология, так как организация значений внутри слов и их сочетаний имеет свою технику. Вообще вся система дисциплин, представленная в приведенной схеме, в конце концов имеет своим единственным предметом именно строй языка. Это может казаться недостаточно ясным по отношению к лексикологии, но только тогда, если понимать под лексикологией простое собирание слов и их внешнее, словарное описание. Но если понимать лексикологию как науку о значениях слов в их истории, продолжающуюся в фразеологии, в которой изучаются законы сочетания значений слов в их истории, то распространенное представление о том, будто лексикология это, собственно, не лингвистика или «не совсем» лингвистика, сохранит для себя почву разве только в том факте, что явления лексикологии неисчислимы, в то время как число звуков, суффиксов и флексий для каждого языка может быть установлено с точностью до единицы. Но этого рода соображения лишены всякого принципиального значения. Другое дело, что фактическое состояние лексикологии, да и всего семасиологического отдела, остается пока плачевным. Но и здесь будем надеяться на лучшее будущее и активно содействовать тому, чтобы оно наступило.

В-третьих, для лучшего понимания приведенной схемы очень важно помнить, что все ее три основных отдела должны представляться связанными между собой самым тесным и непосредственным образом. Нет формы без звуков, но нет и идеи без формы и, следовательно, без звуков, а потому в практическом исследовании всегда возникает множество вопросов, имеющих одновременно значение, свойственное разным отделам схемы. Решение морфологических и словообразовательных вопросов обычно зависит от состояния наших знаний по фонетике, решение синтаксических и лексикологических вопросов связано с проблемами морфологии и словообразования, решение фразеологических вопросов невозможно без предварительной разработки вопросов синтаксиса и лексикологии. Таким образом, каждый из очередных отделов служит своего рода введением в следующий и только вместе с последним отделом уясняется до абсолютного предела и содержание первого.

Впрочем, дальнейшее рассмотрение взаимоотношений между разными отделами изучения языка, требующее более детального анализа самой структуры языкового знака, выходит за рамки этого рассуждения. Ясно, что внутреннее членение лингвистической дисциплины всегда должно оставаться одинаковым и не зависит от того, какие цели стоят перед исследователем — установление общих лингвистических законов или же выяснение истории отдельного языка. Поэтому ничего специфичного именно для истории языка предложенная схема лингвистических проблем не содержит. Однако у истории языка есть еще некоторые проблемы, правда не безразличные и для общей лингвистики, но особенно наглядно об-

наруживающиеся как раз в процессе исторического изучения отдельных языков, и вот для указания на эти особые проблемы необходимо было предварительно построить общую схему лингвистических дисциплин. Дело в том, что звуки речи, формы и знаки не исчерпывают еще собой всего того, что существует в реально действующем и обслуживающем практические общественные нужды языке. Как уже сказано было выше, языковой механизм приводится в движение не сам собой, а тем обществом, которому данный язык принадлежит. И вот для фактической жизни языка оказывается чрезвычайно существенным, как пользуется общество своим языком. Наряду с проблемой языкового строя существует еще проблема языкового у п о т р е б л е н и я, а так как язык вообще есть только тогда, когда он употребляется, то в реальной действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его употребления. То, что здесь названо употреблением, представляет собой совокупность установившихся в данном обществе языковых привычек и норм, в силу которых из наличного запаса средств языка производится известный отбор, не одинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются понятия разных с т и л е й языка— языка правильного и неправильного, торжественного и делового, официального и фамильярного, поэтического и обиходного и т. п. Все такого рода «языки» представляют собой не что иное, как разные манеры пользоваться языком. Одно и то же можно сказать или написать по-разному. Содержание, мысль могут остаться при этом вполне неизменными, но изменится тон и окраска самого изложения мысли, а это, как известно, существенно влияет на восприятие содержания и предопределяет разные формы реакции на услышанное или прочитанное. Следовательно, наряду с объективной структурой языкового знака, передающей идеи, в языке существует и своеобразное субъективное дополнение к этой структуре, причем самое важное заключается в том, что без подобного субъективного дополнения в реальной действительности язык вообще невозможен, потому что даже и вполне нейтральная речь, не имеющая никакой специальной окраски, воспринимается на фоне различных языковых вариантов, так или иначе окрашенных, как отрицательный по отношению к ним момент. Нечего и говорить о том, что эти различные манеры говорить и писать, рождающиеся из входящих в коллективную привычку способов пользования языком, имеют свою собственную историю и изменяются так же, как изменяются звуки, формы и знаки. Но нельзя забывать также и того, что от истории подобных привычек, фактическое содержание которой, разумеется, предопределено историей объективного строя языка, очень часто оказывается зависящей и сама объективная история звуков, форм и знаков. Таким образом, перед нами новая и очень важная проблема истории языка, без изучения которой история языка не может быть полной и в точности соответствующей своему предмету.

Эта новая проблема составляет содержание лингвистической дисциплины, которую следует называть с т и л и с т и к о й или,

поскольку речь идет об истории языка, исторической стилистикой. У истории языка поэтому не три, а четыре отдела — именно: фонетика, грамматика, семасиология и стилистика. Возникает важный вопрос о взаимоотношении трех первых отделов и четвертого. Для того, чтобы эти взаимоотношения были вполне ясны, необходимо сначала обратить внимание на то, что эта новая дисциплина может быть лингвистической дисциплиной только при том непременном условии, что она имеет своим предметом те языковые привычки и те формы употребления языка, которые действительно являются к о л л е к т и в н ы м и. Необходимо тщательно отличать экспрессивные качества речи, имеющие своим источником личные свойства и состояния говорящего или пишущего, от таких фактов языковой экспрессии, которые коренятся в общественной психологии и представляют собой проявления именно общественной реакции на принадлежащий данному обществу язык. Это важно потому, что в последнем случае экспрессивные качества речи становятся в сущности уже о б ъ е к т и в н о й принадлежностью самих фактов языка, переставая быть только свойствами носителей языка. В самом деле, когда говорят, например, *приговора́* вместо *приго́воры*, то для отнесения этого факта к числу тех, которые характеризуются как язык неправильный, или просторечие, и т. п., совершенно не существенно, кто именно так сказал, NN или NN′, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь из NN не заставит нас тем или иным способом изменить самую характеристику этого факта. Следовательно, субъективными соответствующие экспрессивные качества языка являются только по происхождению, с точки зрения их психологического генезиса, тогда как реально, в исторической действительности, они существуют как вполне объективные свойства тех или иных звуков, форм и знаков. Вот почему мы имеем право утверждать, что действительно в с а м о м я з ы к е, а вовсе не в психологии говорящих и пищущих, которая лингвиста непосредственно не интересует, кроме звуков, форм и знаков, есть еще нечто, именно э к с п р е с с и я, принадлежащая звукам, формам и знакам. Из всего этого следует, что одно дело с т и л ь языка, а другое дело стиль тех, кто пишет или говорит. Так, например, изучение стиля отдельных писателей, в котором обнаруживает себя своеобразие их авторской личности или конкретная художественная функция тех или иных элементов речи в данном произведении, всецело остается заботой истории литературы и к лингвистической стилистике может иметь разве только побочное отношение, как и другие проблемы культурной истории. Стиль Пушкина, или, как часто говорят, язык Пушкина в этом смысле имеет к проблемам лингвистической стилистики отношение нисколько не более близкое, чем его поэтика, мировоззрение или биография. Все это не мешает знать историку языка, но все это предмет не лингвистики, а истории литературы. Другое дело, если скажут, что в эпоху жизни Пушкина, может быть и не без его личного влияния, что существенно только во вторую очередь, звук *е* вместо *о* под ударением не перед мягкими согласными

перестал обладать экспрессией книжно-поэтического языка и сохранил на будущее время лишь экспрессию церковно-богослужебного стиля речи. Это, действительно, лингвистическая проблема, но она называется не язык Пушкина, а стилистика русского произношения в первые десятилетия XIX в. Еще хуже, когда под предлогом изучения тех или иных способов «отражения действительности в слове» исследователи языка и стиля того или иного писателя фактически изучают не слово и не его экспрессию, а только то, что о т р а ж е н о в слове, т. е. тему и отношение к ней. Такого метода здесь не стоит опровергать, но считаю не лишним указать на то, что и он тоже почему-то называется иногда лингвистическим.

Из сказанного следует далее, что в отличие от прочих лингвистических дисциплин стилистика обладает тем свойством, что она изучает язык по всему разрезу его структуры сразу, т. е. и звуки, и формы, и знаки, и их части. Таким образом, никакого «собственного» предмета у нее как будто не оказывается. Действительно, стилистика изучает тот же самый материал, который по частям изучается в других отделах истории языка, но зато с особой точки зрения. Эта особая точка зрения и создает для стилистики в чужом материале ее собственный предмет. В отличие от прочих отделов истории языка, стилистика имеет дело не с одной, а с многими системами, и в то время, как например для фонетики существенно знать, как противопоставлены друг другу все звуки данной звуковой системы, стилистика изучает вопрос о том, как противопоставлены друг другу отдельные, обладающие стилистической выразительностью, звуки разных систем, например для эпохи Московской Руси *г* взрывное обиходного языка столицы и *г* фрикативное церковно-книжного языка. Далее, для тех дисциплин, которые изучают строй языка, звуки — это одна система, формы — другая, вещественные значения — третья, и лишь более сложные взаимоотношения между этими отдельными системами в конце концов создают общую и цельную систему всего языка. Для стилистики, наоборот, отдельные структурные элементы сами по себе не создают еще системы, просто потому, что не все звуки, формы и знаки являются ее предметом, а лишь такие, которые, обладая особой стилистической окраской, противопоставлены звукам, формам и знакам с иной стилистической окраской. Но зато звуки той или иной стилистической окраски и формы и знаки той же окраски входят в одну стилистическую систему в противовес звукам, формам и знакам другой окраски, и из взаимодействия всех таких систем создается общая стилистическая жизнь языка. Все это говорит о том, что стилистическая система есть понятие вполне своеобразное и совершенно не соотносительное, хотя и тесно связанное с системой звукового, формального и семасиологического строя языка. Стилистика и вообще не соотносительна с прочими дисциплинами, изучающими историю языка. В области взаимоотношений между первыми тремя отделами истории языка можно было наблюдать известные логические переходы от одной дисциплины к другой, но непосредственного перехода к

устанавливаемому теперь четвертому отделу истории языка ни от одного из первых трех отделов обнаружить нельзя. Переход к стилистике существует не от фонетики, не от грамматики, не от семасиологии, а только от всех этих трех дисциплин, понимаемых как одно целое сразу. Поэтому эти четыре отдела истории языка лежат не на одной плоскости и не могут быть пронумерованы подряд цифрами от 1 до 4, а представляют собой следующее отношение:

А. Дисциплины, изучающие строй языка.
1. Фонетика (и орфография).
2. Грамматика.
3. Семасиология.

Б. Дисциплина, изучающая употребление языка.
Стилистика.

В итоге, следовательно, у истории языка не четыре отдела, а два основных, из которых первый сам делится на три части. Спрашивается, какие же внутренние деления существуют у второго из этих двух отделов?

Легко было бы соблазниться внешней аналогией и предложить также и для стилистики внутреннее разделение на фонетику, грамматику и семасиологию, тем более, что она, действительно, занимается всеми этими тремя проблемами. Но это было бы серьезной ошибкой, потому что, как вытекает из предыдущего, звук речи как стилистический факт не существует без соотнесенных с ним фактов грамматических и семасиологических. Иначе говоря, построение стилистики по отдельным членам языковой структуры уничтожило бы собственный предмет стилистики, состоящий из соединения отдельных членов языковой структуры в одно и качественно новое целое. Ясно, что способ изложения стилистической истории языка может быть только один — по отдельным стилям каждого исторического периода, выделяющегося в жизни языка. Внутри каждого такого периода описываются и анализируются в нужном порядке те стили языка, которые существовали в данное время, причем каждый стиль рассматривается как своеобразная система, противопоставленная другим системам, представляющая собой известное видоизменение соотвествующей системы в предшествующий период и заключающая в себе те противоречия, которые привели к ее перерождению в период последующий.

Последний вопрос, касающийся построения истории языка, заключается в том, в каком взаимном порядке должны излагаться обе основные части этой науки, т. е. учение о строе языка и учение о его употреблении — параллельно, перемежая проблемы соответственно историческим эпохам, или же в порядке последовательности, вторая часть целиком после первой. Фонетика и грамматика в современных компендиумах по истории языков излагаются по-разному (семасиология же обычно совсем не излагается): или по отдельным эпохам в жизни языка, или в порядке самих тем, т. е. сначала целиком фонетика, потом целиком грамматика. Не касаясь

собственно педагогических выгод той или иной системы, замечу, что с чисто теоретической точки зрения более правильным представляется объединение фонетических и грамматических фактов одной эпохи в одно целое, потому что тогда для каждой эпохи можно было бы говорить о языке как цельной и единой структуре. Правда, необходимым условием такого построения языка является такая трактовка звуков и форм, которая исходит из взгляда на язык как на нечто внутренне единое и связанное, но мы уже условились о том, что именно таков идеал нашей науки. И вот теперь спрашивается, где место стилистики в подобном изложении истории языка. Должен ли соответствующий рассказ о стилистической жизни языка заканчивать каждый из отдельных периодов, выделяемых в истории языка, после того, как рассказаны соответствующие фонетические, грамматические и семасиологические факты, или же сначала следует изложить всю фонетику, грамматику и семасиологию по всем эпохам, и только после этого приступить к изложению стилистической истории языка как параллельного непрерывного процесса? Представляется несомненным, что второе решение этого вопроса больше соответствует природе предмета. Дело в том, что самое содержание тех процессов, которые определяют, с одной стороны, развитие языкового строя, а с другой — эволюцию стилистических норм и практики языкового употребления, очень различно. История языка изображает, во-первых, самый механизм языка в его вечном становлении и, во-вторых, приемы, при помощи которых общество пользуется этим механизмом для различных целей. Вряд ли будет отвечать существу дела такой исторический рассказ, который станет прерывать изображение одного цельного процесса изображением отрывков другого, столь же цельного процесса. В этом случае получились бы действительно отрывки двух исторических процессов, перебивающие друг друга. Самые методы обеих составных частей истории языка и их материалы порой оказываются столь различными, что и с этой стороны их параллельное изложение представляется неестественным. Объединяются эти две части единой науки совсем иначе, просто-напросто тем, что, пока не сказано последнее слово второй части, полной исторической картины жизни данного языка еще нет. Но когда это слово сказано, то все сказанное до тех пор получает иное и подлинно историческое освещение.

В заключение несколько слов об отношении лингвистики к филологии, т. е. к тому научному понятию, которое до сих пор не упоминалось, но естественно предполагалось всем ходом предшествующего рассуждения. Самое слово «филология» имеет по меньшей мере два значения. Во-первых, оно означает известный метод изучения текстов. Это метод универсальный, и он сохраняет свою силу независимо от того, какую конкретную цель преследует изучение текста — лингвистическую, историческую, литературоведную и т. д. Во-вторых, слово «филология» означает известную совокупность или, как говорили когда-то, энциклопедию наук, посвященных изучению истории культуры в ее словесном, преимущественно, выраже-

нии. В первом отношении филология есть первооснова лингвистики так же, как и прочих наук, имеющих дело с текстами, потому что филологический метод истолкования текста, т. е. добывания из текста нужных сведений, как уже сказано, есть метод универсальный. Во втором отношении, наоборот, лингвистика, и именно изучение отдельного языка в его истории, есть первооснова филологической энциклопедии, ее первая глава, без которой не могут быть написаны остальные. Звеном, непосредственно соединяющим историю языка с историей прочих областей культуры, естественно служит лингвистическая стилистика, так как ее предмет создается в результате того, что язык, как факт культуры, не только служит общению, но и известным образом переживается и осмысляется культурным сознанием. Совершенно ясно, что вполне сознательное и активное творчество в области языка преимущественно, если не исключительно, направлено именно на стилистические качества языка. Здесь достаточно сослаться хотя бы на один факт существования так называемой правильной речи. Ввиду этого лингвистическая стилистика может быть названа филологической проблемой языкознания по преимуществу.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ЯЗЫК ПИСАТЕЛЯ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

[ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. НАПИСАНО В 1946 г.]

Современное состояние вопроса, которому посвящены эти заметки, характеризуется необычайно острым, широко распространенным к нему интересом и почти полным отсутствием таких исследований, которые могли бы быть признаны действительно удачным практическим разрешением его, которым могло бы быть придано значение стимулирующих образцов. Каковы бы ни были причины этого положения, по меньшей мере одной из них нельзя не признать недостаточную разъясненность самой проблемы, которую имеют в виду, когда говорят о языке «литературного произведения», о «литературном языке», о «поэтическом языке», о «языке писателя», о «стилистике», о «языке и стиле» и т. д. Вряд ли можно спорить против того, что все эти термины не имеют в текущем употреблении вполне ясного, установленного содержания, что очень часто остается неизвестным, одно ли и то же они означают, или же ими имеется в виду разное содержание, — словом, что они явно недостаточно определены в отношении того, какой п р е д м е т (или какие п р е д м е т ы) научного исследования они призваны обозначать.

Так, например, очень часто работы о языке писателей или отдельных литературно-художественных произведений именуются работами о «языке и стиле». Но я не знаю ни одной работы подобного рода, в которой членораздельно было бы разъяснено или же из содержания которой, по крайней мере, вытекало бы, что́ именно в этой работе относится к «языку» и что́ — к «стилю», или почему автор один раз называет «языком» то, что в другой раз он называет «стилем», а третий — «языком и стилем». Например, из предисловия к книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина» (1935), высокий научный интерес которой неоспорим, мы тем не менее узнаем, что две главы, не уместившиеся в этой книге по техническим причинам, автор перенес из этой книги в другую, называющуюся «Стиль Пушкина». Таким образом, создается впечатление, что содержание этих глав не зависит от того, какой теме — «языку» или «стилю» Пушкина посвящено соответствующее исследование. В интересах науки было бы в высшей степени желательно сделать все такого рода воп-

росы более ясными, а для этого необходимо отчетливо определить возможные ц е л и исследований, которые скрываются под такими именованиями. Цели эти, действительно, могут быть разные.

Если мы станем логически анализировать возможный смысл выражений вроде «язык Пушкина» или «язык «Евгения Онегина» и т. п., то в первую очередь придем к выводу, что слово «язык» в таких выражениях означает не что иное, как русский язык, язык русского народа. В этом случае родительный падеж имени *Пушкин* или названия «Евгений Онегин» получает значение указания на тот источник, в котором мы черпаем в данном частном случае наши сведения о русском языке. Иначе говоря, смысл означенных выражений мы толкуем так: данные русского языка, заключенные в произведениях Пушкина или, соответственно, в тексте «Евгения Онегина». В таком толковании взятые нами для примера выражения означают понятия, вполне аналогичные тем понятиям, которыми обычно оперируют историки языка, когда пишут исследования о языке «Остромирова Евангелия», о языке какой-нибудь древней купчей или духовной грамоты, о языке «Страсбургской клятвы» или древнегреческих надписей и т. д. Все такого рода исследования, основывающиеся на давней и прочной лингвистической традиции, имеют перед собой цель вполне ясную и отчетливую: выяснить строй и состав соответствующего языка в определенную эпоху его истории на основании того, что может быть для этой задачи извлечено из текста соответствующих памятников. Известно, что наука истории русского языка до сих пор преимущественно строилась на данных памятников древнейшего времени или на данных диалектологии, а богатейший материал текстов более молодых вовлечен в научный оборот в явно недостаточной степени. В частности, историки русского языка очень редко, и по случайным только поводам, пользуются и тем громадным материалом, который заключен в произведениях русской художественной литературы нового времени (XVIII—XX вв.). Вот почему мы и не обладаем пока такими прочными научными построениями, в которых была бы представлена в общей стройной схеме действительно полная история русского языка как цельного процесса. Однако историков русского языка несправедливо было бы упрекать в том, что они принципиально не хотят иметь дела с тем материалом, который могла бы предоставить в их распоряжение русская художественная литература. Можно было бы, например, указать на известное сочинение С. П. Обнорского «Именное склонение в современном русском языке» (т. I, 1927; т. II, 1931), построенное, с одной стороны, на данных русской диалектологии, а с другой — на фактах языка, извлеченных из текстов писателей XVIII и XIX вв. Дело, очевидно, заключается лишь в техническом состоянии науки, которая не развилась еще настолько, чтобы преодолеть несколько односторонний интерес к первоначальным стадиям развития русского языка и научиться ставить вопросы истории русского языка во всю их ширь, во всей их перспективе. Ясно, что при такой широкой постановке вопро-

сов истории русского языка русская художественная литература нового времени должна и может быть изучена исчерпывающим образом в лингвистическом отношении.

Художественные качества всего этого богатого материала, разумеется, не могут служить препятствием для его обработки с указанной целью. Но они не составляют также в указанном отношении и какого-нибудь его преимущества. «Пушкин», «Евгений Онегин» и т. п. обозначения в данном случае представляют собой просто названия документов, из которых извлекается потребный для изучения материал, извлекаемый также и из многих других документов, совершенно независимо от того, какой природы тексты содержатся в этих документах. Все вообще тексты, как художественные так и нехудожественные, в которых могут быть найдены указания на состояние данного языка в данную эпоху, в данной социальной среде и в пределах данной территории служат в этом смысле материалом для историка языка, ставящего себе цель нарисовать картину развития изучаемого им языка во всех подробностях этого сложного исторического процесса. Обнаруживающиеся при этом различия хронологического, местного, социально-этнографического и т. п. характера понимаются при этом как различия внутри общего целого и составляют не конечную цель исследования, а то, что должно быть объяснено в отношении места, занимаемого этими различиями в исследуемом общем процессе.

Однако углубляясь в этот материал, мы довольно скоро начинаем замечать, что языковые различия, засвидетельствованные памятниками различного содержания и назначения, не всегда могут быть признаны соотносительными, то есть принадлежащими к одной и той же языковой системе, без тех или иных оговорок. Прежде всего возникает вопрос о том, в какой мере языковые факты, сообщаемые нам письменными памятниками, могут быть признаны совпадающими с фактами живого языка соответствующей эпохи или среды. Этот вопрос сразу же создает возможность двоякого отношения историка языка к его письменным источникам. Во-первых, эти источники могут оцениваться им с точки зрения открываемых в них научной критикой указаний на живую речь. В этом случае письменные памятники приобретают значение не прямых, а косвенных источников изучаемых явлений действительности, и тогда задача исследования заключается в том, чтобы возможно тщательнее элиминировать в материале памятников все, что может быть заподозрено как специфическим образом принадлежащее речи письменной, а не живой. Во-вторых, предметом исследования могут быть сделаны как раз эти специфические явления письменной речи. Конечно, и в этом случае сопоставление данных письменных памятников с доступными сведениями о живой речи остается необходимым условием исследования, но объектом исследования здесь выступает все же именно письменная речь как явление sui generis, а письменные памятники приобретают значение прямого и непосредственного источника.

Но далее и письменная речь сплошь и рядом содержит указания на не соотносительные между собой факты языка. Открываемые в письменных памятниках языковые различия нередко оказываются различиями того, что принято называть «стилями речи», и в этом случае вопрос, например, о том, художественный перед нами текст или не художественный, приобретает громадное значение. Разные стили речи даже в пределах письменности, как например речь поэтическая, философская, эпистолярно-бытовая и т. д., могут иметь разную историческую традицию, а потому историк языка должен уметь различать специальные языковые средства отдельных видов социального общения через посредство письменной речи. Простейшим примером того, о чем здесь говорится, может служить употребление в русской литературной речи начала XIX в. некоторых славянизмов, из числа имевших при себе соответствующие русские дублеты, вроде *брег* вместо *берег*, *выя* вместо *шея*, окончания *-ыя* в родительном падеже ед. числа прилагательных женского рода вместо *-ой* и т. п. В первые два десятилетия XIX в. возможность употребления таких славянизмов, с теми или иными стилистическими оттенками, характеризует собой вообще речь художественную в отличие от светской эпистолярной или бытовой в ее письменном выражении. Но к 20—30-м годам того же века она начинает характеризовать собой не художественную речь вообще, а только стихотворную речь, в отличие от прозаической. Очевидно, что мы допустили бы ошибку, если бы стали смотреть на каждый факт языка, содержащийся в стихотворениях Пушкина, как на факт русского письменного языка того времени вообще, без учета особых условий, существовавших для употребления языка в различных видах тогдашней письменной речи. Это была бы такая же ошибка, как если бы мы стали утверждать, что русский язык XX в. характеризуется присутствием в нем слова *кефеликит*, означающего особый сорт глины, на том основании, что его можно найти в специальных технических руководствах, или отсутствием слова *простуда* на том основании, что медицинская ученая литература его не употребляет. Очевидно, такие факты характеризуют не вообще русский язык XX в., а разве что отдельные разряды русской специальной терминологии этого времени. Подобные специфичные приметы разных типов письменной речи могут интересовать исследователя не только потому, что их нужно выключить из рассмотрения в поисках общей языковой системы данной эпохи и среды, но также и сами по себе, как своеобразное историческое явление. Например, исследователь может задаться целью изучить не просто русский язык эпохи Пушкина, а именно стихотворный язык этой эпохи в его положительных признаках и в его взаимоотношениях как с живой речью, так и с прочими видами письменной речи этого времени. Легко видеть, что в этом случае смысл выражений вроде «язык Пушкина» или «язык «Евгения Онегина» становится иным в соответствии с изменившимся предметом исследования. Слово «язык» в этих выражениях начинает обозначать не просто русский язык, а искомое

соотношение разных видов русского письменного языка, как оно может быть обнаружено в пределах избранных для исследования текстов. Например, громадное значение для истории разных видов русского письменного языка имеет выяснение того, в каком соотношении в том или ином памятнике находятся факты языка, возможные в разных или во всяких других памятниках, и такие факты языка, которые возможны только в памятниках того типа, к какому принадлежит исследуемый. Так, соотношение слов *брег* и *берег* в «Евгении Онегине» значительно отличается от соотношения тех же слов в более ранних и более поздних памятниках русской поэзии.

«Пушкин», «Евгений Онегин» и теперь еще остаются для лингвиста названиями документов, то есть источниками сведений, а не целью, к какой направлено исследование. Но самый круг сведений, которых мы ищем в этих документах, не совпадает с прежними. Мы ищем в них теперь не тех сведений, которые дали бы нам возможность постичь общий процесс развития русского языка в его хронологических и местных различиях, а тех, которые нужны для построения истории стилей русского письменного языка в их взаимоотношениях. Это та проблема, которая составляет содержание университетского курса, именуемого курсом «истории русского литературного языка», и которая может быть названа одной из проблем русской исторической стилистики как особого раздела науки о русском языке.

Речь здесь идет о стилистике как науке лингвистической, то есть такой, которая имеет своим объектом самый язык, а не то, что выражено в языке, но только исследуемый в соотношении его разных стилей [1]. Слово «стиль» в этом употреблении нужно тщательно отличать от других значений этого слова. Об этих других значениях слова «стиль» и будет речь ниже, но пока необходимо подчеркнуть, что в данном случае понятие стиля применяется к самому языку, а не к тому, что выражено в языке, в частности — и не к находящей себе выражение в языке личности пишущего. Такие характеристики, как речь «книжная», «ученая», «поэтическая», «фамильярная» и т. п., приписываются нами именно языку и отдельным его элементам — словам, формам, звукам, а не тому, что стоит за языком, и они совершенно не зависят от того, кто и где употребил данное языковое средство. Различие стилей речи, разумеется, обусловлено различным характером и назначением сообщаемого в речи, различиями той социальной обстановки, в которой протекает акт речи и т. д. В результате возникает стилистическая потребность по-разному именовать в разных случаях одно и то же. Во «Фрегате Паллада» Гончарова, между прочим, читаем: «Боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле «приехали»: покраснеют! «Пришли», а не «приехали». Там же по дру-

[1] Ср. мою статью «О задачах истории языка» в «Ученых записках Московского городского педагогического института», 1941. [См. стр. 207 настоящей книги.— *Ред.*]

гому поводу: «Все это не деревья, не хижины; это древние веси, сени, кущи и пажити, иначе о них неприлично и выражаться». «Если не обращать внимания на эмоциональную значимость слова,— пишет А. Карнуа,— то можно дойти до гротеска». Карнуа иллюстрирует это положение стилистическими недоразумениями, которые возникли бы, если бы, например, в стихотворении было сказано «amener les vaches pour le sacrifice» или, наоборот, если бы консьержка сказала посетителю: «Ne foulez pas la fange avant de pénétrer sous ce toit» [1]. Точно так же, когда в «Капитальном ремонте» Леонида Соболева моряк смеется над штатским, который говорит *ми́чманы* вместо принятого в морской среде *мичма́на*, то речь снова идет об объективном стилистическом нюансе, присущем данной форме склонения, как известному элементу языковой структуры, и столь же мало зависящем от произвола отдельных лиц, как и сама эта структура.

От этого и с т о р и ч е с к о г о понимания стиля, всегда предполагающего некоторую систему, разнообразие стилей, следует отличать стиль в его н о р м а т и в н о м понимании. С ним мы встречаемся, когда слышим выражения вроде «прекрасный стиль или язык», «писать правильно, изящно, образно», «язык у него чистый или точный» или, наоборот, «небрежный, запутанный» и т. п. Все такие определения представляют собой качественные оценки данного применения средств национального языка в отношении к существующему в общественном сознании той или иной эпохи и среды и д е а л у пользования языком. Критерии подобных оценок, как всякому понятно, представляют собой категорию историческую и изменяются вместе с общественной жизнью. Тем не менее всякий, кто пользуется публичной речью, принужден так или иначе считаться с теми требованиями, которые, в форме этих оценок, обращает к нему общественная среда. Самая строгость и принудительность этих требований бывают различны в зависимости от рода речи, потому что общество относится с различными ожиданиями к речи ученого и писателя, учителя и оратора, к языку канцелярской бумаги и к языку фельетона и т. д. Но в той или иной форме, с той или иной степенью силы в обществе, достигшем достаточного уровня цивилизации, эти требования существуют всегда. Соответственно этому язык литературных произведений, «язык Пушкина», «язык «Евгения Онегина» возбуждает ряд новых вопросов перед наукой.

Один из таких вопросов заключается в необходимости установить самое содержание указанного языкового идеала и характер тех требований, которые из него вытекают. На этой почве возникает дисциплина, которая имеет своим предметом историю лингвисти-

[1] A. C a r n o y, La science du mot, traité de semantique, Louvain, 1927, p. 46. Стилистические противоречия, которые имеет в виду автор, по-русски примерно можно было бы передать так: «привести *телят* к жертве» (вместо *тельцов*) и «*отрясите прах* с ваших ног, прежде чем вступить под этот кров»(вместо *вытрите ноги*) и т. д.

ческих вкусов. Для исследования этого вопроса громадное значение имеет тот материал, который показывает, как в ту или иную пору истории данного народа учили языку с точки зрения существовавших в это время представлений о правильном или вообще постулируемом для различных случаев употребления языке. Это — словари, грамматики, отзывы литературной критики и прочие косвенные источники и свидетельства, которые, однако, получают свой действительный вес только в сопоставлении с тем, как содержащиеся в этих источниках требования выполняются в соответствующей языковой практике. В последнем отношении по понятным причинам преобладающее значение принадлежит практике тех писателей, которые пользуются общественным признанием, писателей образцовых, классических. Конечно, образ классика создается не только его языком, но в применении к языку понятие классика имеет свое собственное содержание. Например, из четырех наиболее значительных русских прозаиков XIX в.— Гоголя, Тургенева, Льва Толстого и Достоевского, в том смысле, в каком это понятие толкуется здесь, классиком может быть назван только Тургенев. Классик — это писатель, у которого нужно учиться образцовой речи, произведения которого представляются наиболее совершенным воплощением практических языковых идеалов, существующих в данной общественной среде. Таким образом, история лингвистических вкусов приобретает общественно-воспитательное, практически-педагогическое применение. С ней тесно связывается и из нее вырастает та практическая дисциплина, которую иногда именуют «искусством писать», то есть нормативная лингвистическая стилистика [1].

Однако, как сказано, языковые идеалы, как, впрочем, и всякие иные, получают свое значение жизненных факторов только в их посильных воплощениях. Но именно на них и может быть перенесен центр внимания исследователя. В этом случае его занимает не столько сам по себе языковой идеал, сколько вопрос о том, в каком отношении стоит к этому идеалу то или иное литературное произведение, тот или иной автор. Проблема языка писателя тогда снова получает новое содержание. Одна из господствующих тенденций в обществе с развитой цивилизацией, в обстановке, создающейся уже после окончательного сложения национального языка, без сомнения, состоит в стремлении к максимально унифицированному типу образцового письменного языка. С удивительной прямотой это высказал однажды Гете, радовавшийся, что «в Германии у лучших представителей науки выработался очень хороший стиль, так что при чтении цитаты нельзя отличить, говорит один или другой» [2]. Так возникает антиномия свободы и необходимости в отношении писателя к идеальным языковым устремлениям его времени

---

[1] На необходимости отличать «искусство писать» от объективно-исторической стилистики постоянно настаивает известный теоретик стилистики Ch. Bally. См. его книги: «Traité de stylistique française» (1921), «Le langage et la vie» (1926).

[2] Эккерман, Разговоры с Гете, М.—Л., 1934, стр. 578—9.

и среды. Интересные строки находим по этому поводу у Сепира: «Изумительно, сколько времени потребовалось европейским литературам для осознания того, что стиль не есть нечто абсолютное, нечто извне налагаемое на язык по греческим и латинским образцам, что стиль — это сам язык, следующий свойственным ему шаблонам и вместе с тем предоставляющий достаточно индивидуальной свободы для выявления личности писателя, как художника-творца, а не только акробата» [1]. История литературы знает немало случаев индивидуальной борьбы с общим стилистическим идеалом, борьбы, иногда принимающей даже крайние формы, как например в эпоху модернизма и футуризма. Но в своих наиболее созидательных образцах индивидуальный язык писателя не только не противоречит естественному идеалу языковой нормы, но даже и больше того: обнаруживает свойства этой нормы наиболее совершенным способом, так что стиль лучших писателей, как говорит Сепир, «свободно и экономно выполняет то самое, что свойственно выполнять языку, на котором они пишут». Это художники, которые «умеют подогнать или приладить свои глубочайшие интуиции под нормальное звучание обыденной речи, это Шекспир и Гейне. Читая, например, Гейне, мы подпадаем иллюзии, что весь мир говорит по-немецки»[2],

И тем не менее такие великаны литературы остаются властителями, а не рабами языка, потому что их прочная связь с историческим и общенародным в языке дает им возможность творить «чудеса» со словом. Эту мысль выразил когда-то, на заре своей научной деятельности, Буслаев в следующих замечательных словах: «Привычка обращаться к известным, литературою усвоенным выражениям, заключает нас со всем богатством современного мышления в тесном кругу, из которого иногда извлекает только высокое дарование писателя, воспитанного воззрениями и смыслом родного языка: ибо язык, пока живет в народе, никогда не утратит своей животворной силы, и всякое замечательное в литературе явление есть как бы новая попытка творчества в языке, есть возрождение той же самой силы, которая первоначально двинула язык к образованию»[3]. Идеалистическая неофилология XX в., возглавлявшаяся Фосслером и представляющая как бы конечный этап в развитии филологического романтизма, к начальной стадии которого принадлежит Буслаев, исповедует, как мы знаем, в этом вопросе прямо противоположное убеждение. Но ее учение об индивидууме как творце языка и примате индивидуального стиля по отношению к «застывшей грамматике» [4], есть, несомненно, крупный шаг назад в истории теоретического языкознания.

---

[1] Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 177—178.

[2] Там же, стр. 176—177. (У нас художником этого типа, несомненно, является Пушкин.)

[3] Ф. И. Буслаев, О влиянии христианства на славянский язык, М., 1848, стр. 1—8.

[4] K. Vossler, Positivismus und idealismus in der Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1904, S. 15—16.

Исследуя язык писателя или отдельного его произведения с целью выяснить, что представляет собой этот язык в отношении к господствующему языковому идеалу, характер его совпадений и несовпадений с общими нормами языкового вкуса, мы тем самым вступаем уже на мост, ведущий от языка как чего-то внеличного, общего, надындивидуального, к самой личности пишущего. Здесь первый пункт, в котором по ходу наших рассуждений мы встречаемся с понятием индивидуального языка, личного стиля. При этом временно остается несущественным, исследуем ли мы языковое своеобразие отдельного произведения или их совокупности, собрания сочинений. Но в дальнейшем и этот вопрос встает перед нами. Если в пределах собрания сочинений наблюдается повторяемость тех или иных отличительных примет словоупотребления, форм словосочетания и т. д., то эти приметы вызывают в нас представление о их едином и постоянном источнике, и именно он как цельная и конкретная культурная данность становится в центре нашего исследовательского внимания и интереса. И теперь в зависимости от того, с какой стороны мы будем подходить к исследованию отношений между языком и продуцирующей его личностью, проблема языка писателя будет приобретать для нас различные новые значения.

Во-первых, возможен путь от писателя к языку. Нам известен, положим, общий жизненный уклад Пушкина, внешние приметы его личности, история его личной жизни как известной совокупности переживаний и поступков. Одним из таких поступков Пушкина является и его язык. В его языке могут быть установлены известные своеобразия, например, такие привычные для его писем выражения, как «брюхом хочется», «пишу спустя рукава» (то есть без оглядки на цензуру) и т. п., по которым мы узнаем Пушкина точно так же, как мы узнаем его по манере мыслить, по его отношениям к людям и природе, по всей той множественности примет, которые в их общей совокупности и связи мы именуем словом «Пушкин». Изучение языка или стиля (оба слова здесь значат одно и то же) Пушкина в этом направлении превращается в одну из проблем б и о г р а ф и и Пушкина[1]. Если биография вообще имеет дело с личностью как с известной индивидуальностью, то ниоткуда не видно, почему она не должна изучать эту индивидуальность и в ее языковых обнаружениях. И разве в самом деле в наше общее представление о личности того или иного писателя не входит составной частью и то, что запомнилось нам относительно его языка со стороны его индивидуальных и оригинальных типичных свойств? Например, я прочел следующую тираду: «Хорошо было год, два, три, но когда это: вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически, выставляющие красоту тела, молодые и немолодые ухаживатели, все одинакие, все что-то как будто знающие, имеющие как будто право всем пользоваться и надо всем смеяться, когда летние месяцы на дачах с такой же природой, тоже только дающие верхи приятности

[1] См. мою книжку «Биография и культура», М., 1927, стр. 78 и след.

жизни, когда и музыка и чтение, тоже такие же — только задирающие вопросы жизни, но не разрешающие их, — когда все это продолжалось семь, восемь лет, не только не обещая никакой перемены, но, напротив, все больше и больше теряя прелести, она пришла в отчаяние, и на нее стало находить состояние отчаяния, желания смерти!» И я уверенно говорю, что это Лев Толстой, хотя я и не знаю из какого произведения Толстого взяты эти строки. Но важно, что я узнаю здесь Льва Толстого не только потому, что в этом отрывке говорится о том, о чем часто и обычно говорит этот писатель, и не только по тому тону, с каким обычно о подобных предметах он говорит, но также по самому языку, по синтаксическим его приметам, которые, независимо от всякого иного представляемого ими интереса, могут и должны быть изучены также и в интересах биографии Льва Толстого. Легко также видеть, какое большое практически прикладное значение имеет подобное изучение языка писателя в проекции на его биографию для различных проблем, так или иначе имеющих дело с писателем как личностью, как носителем тех или иных индивидуальных свойств. Достаточно здесь сослаться хотя бы на задачи филологической практики текста, в особенности — на те задачи, которые возникают перед ней, когда она устанавливает авторство в применении к какому-нибудь документу.

Но писатель может писать в разных случаях по-разному, и тогда разные виды его языка могут служить для биографа приметами различных его жизненных манер или душевных состояний. Так, например, Тургенев в своих письмах к Виардо переходит с французского языка на немецкий, когда касается более интимных предметов [1]. Возможны и многие другие осложнения проблемы языка писателя как проблемы биографической. Но если, как мы убеждаемся, языковая манера писателя действительно может служить внешней приметой личности писателя и ее жизненной манеры, то нельзя повернуть вопрос в обратном направлении и спросить себя, не может ли язык писателя служить также и источником наших сведений о личности писателя, своеобразным документом, содержащим данные о том, что представляет собой писатель как объект биографии? Так намечается второй путь в исследовании отношений между языком писателя и его личностью, путь от языка к писателю.

Разумеется, изучение языка писателя неспособно ответить на вопрос о том, где данный писатель обедал в тот или иной день и что он думал по тому или иному поводу. Однако с известным правом такое изучение может быть применено с целью раскрыть психологию писателя, его «внутренний мир», его «душу». Такое право основывается на том, что в языке говорящий или пишущий не только передает тем, к кому он обращается, то или иное содержание, но и показывает одновременно, как он сам переживает сообщаемое. Уже давно языкознание начало говорить о различии «коммуникативной», или «сигнификативной», и «экспрессивной» функций языка. В ста-

[1] И. Г р е в с, История одной любви, 1927, стр. 60.

рой лингвистической литературе это различие было очень ясно формулировано фон дер Габеленцем: «Язык есть расчлененное выражение мысли, а мысль есть связь понятий. Но человеческий язык хочет выражать не только связываемые понятия и их логические отношения, но также отношение говорящего к речи; я хочу высказать не только нечто, но также и себя, и таким образом к логическому фактору, многообразно пронизывая его собой, присоединяется психологический фактор» [1]. «Как бы ни пытался субъект добраться до объекта при помощи сигнификации, — говорит другой исследователь, — он никогда не может избежать того, чтобы не обнаружить часть самого себя»[2]. Именно на этом свойстве языка основана и возможность той «интерпретации поэта из его языкового окружения», которую с таким энтузиазмом уже много лет отстаивает в своих известных работах Лео Шпитцер [3]. Однако это направление в изучении языка писателя связано с опасностями, о которых необходимо здесь предупредить.

Шпитцер принадлежит к той лингвистической школе, в которой точно таким же биографическо-психологическим способом исследуются не только индивидуально-личные, но и национальные языки. В подобных случаях в национальных языках ищут источника сведений о «народной психологии», о «типе мышления», свойственном данному народу, его «мировоззрении» и т. п. Это проблема очень старая. В относительно новое время на нее обращал особенно большое внимание один из основателей «этнической психологии» Штейнталь, некоторые мысли которого по этому вопросу отразились отчасти в сочинениях нашего Потебни. В XX в., исходя из иных методологических предпосылок, такую идею пытался осуществить Фосслер в своем прославленном исследовании «Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung» (1913). Но не случайно горячий приверженец Фосслера и исследователь отражений «души писателя» в его языке Шпитцер должен был признать, что в этом исследовании Фосслер в целом ряде случаев «перефранцузил самих французов» [4]. Это значит, говоря проще, что Фосслер нашел во французском языке такие «особенности» французской «души», каких на деле не существует. И дело здесь не только в крайнем субъективизме, каким отличаются многие выводы фосслериан-цев и примеры которого в изобилии можно было бы привести из самых разных сочинений того же толка о литературном языке или языке отдельных писателей; дело заключается в неизбежности подобного бесплодного субъективизма в том случае, когда упускается из виду конвенциональная природа языкового знака,

---

[1] G. von der Gabelenz, Die Sprachwissenschaft, Leipzig, 1891, S. 82.

[2] Karl Schulz-Jahde, Zur Gegenstandsbestimmung von Philologie und Literaturwissenschaft, Berlin, 1928, S. 53.

[3] «Проблемы литературной формы», под ред. В. Жирмунского, Л., 1923, стр. 193. Ср. любопытную полемик Шпитцера и Л. Блумфильда в «Language» (1944, № 2 и 4).

[4] «Проблемы литературной формы», стр. 210.

произвольность его связи с соответствующими предметами мысли, и когда язык в целом и во всех своих подробностях толкуется как чистая экспрессия, прямое и естественное выражение тех или иных состояний сознания и психики. Так, например, по мнению Фосслера, называя своих персонажей maître renard, maître corbeau, Лафонтен «вступает в сознательное противоречие с философией его эпохи, которая вместе с Декартом считала животных машинами» [1]. Это совершенно тот же прием, который заставляет Фосслера по поводу исчезновения форм будущего времени в вульгарной латыни говорить так: «Как пророк в собственной стране, так и понятие будущего в народном языке обычно пренебрегается или так или иначе искажается» [2], как будто «формы будущего времени» и «понятие будущего» это одно и то же. Нельзя не признать вместе с критиками Фосслера, что подобное «втискивание духовных форм в языковое выражение» решительно расходится с действительным отношением языкового знака к содержанию и предлагает изучающим язык «камни вместо хлеба» [3]. Все это — или чистая метафизика, или какая-то дурная беллетристика, очень далекая от истинных целей науки.

Предупредить об опасности, связанной с изучением той или иной проблемы, не значит еще, однако, снять проблему по существу. Но для того чтобы поставить эту проблему на действительно научную почву, прежде всего следует решить далеко не очевидный вопрос о том, в каких именно фактах языка вообще может проявляться и угадываться соответствующая искомая психология. Вопрос этот очень трудный, и готового обстоятельного его решения я не знаю. Ясно, однако, что решение его невозможно без опоры на фундаментальное различие между такими фактами, которые образуют самую с и с т е м у языка, его как бы «анатомию», то есть то, что в нем остается после того, как он вынесен за скобки всякого данного частного акта речи, и такими фактами, которые характеризуют именно эти частные акты речи, в процессе которых указанная система приходит в действие и обрастает различными «физиологическими» функциями. Так, например, сюда относятся различные интонационные моменты речи в той мере, в какой интонация лишена чисто грамматических функций. Такие моменты речи, разумеется, вовсе не легко уловить в печатном тексте. Но все же в той мере, в какой они поддаются наблюдению, они, действительно, могут дать исследователю возможность проникнуть в душевное состояние писателя, угадать его настроение, почувствовать, с печалью или с радостью он говорит свое слово, с сочувствием или безразличием он рассказывает о событиях в жизни своих героев и т. д., причем все это может находиться в том или ином соответствии с прямым смыслом тек-

[1] K. V o s s l e r, Sprache als Schöpfung und Entwicklung, Heidelberg, 1905, S. 85.

[2] K. V o s s l e r, Geist und Kultur in der Sprache. Heidelberg, 1925, S. 67.

[3] O t t o F u n k e, Studien zur Geschichte der Sprachphilosophie. Bern, 1928, S. 101, ср. там же, S. 108.

ста. В тех языках, в которых порядок слов хотя бы относительно свободен, как в русском языке, то или иное словорасположение также может свидетельствовать об известных душевных склонностях и предрасположениях писателя, о его психологических привычках. Например, для стиля Леонида Леонова несомненно характерна склонность к такому отделению определения от определяемого, при котором между тем и другим помещается глагол, вроде: «воображением *дурашливая* овладевает *сумятица*», «в природе *торжественная* начиналась *ворожба*»; или местоимение вроде: «*могильная* у вас *тишина*» [1]. Легко видеть, что при таком словорасположении определение делается более заметным и ощутимым, хотя, собственно, значение его, по-видимому, не испытывает никакого изменения. Впрочем, иногда в этом можно и сомневаться. Именно можно поставить вопрос о том, не получает ли определение в таком предглагольном положении некоторого предикативного оттенка, который очевиден, например, в том случае, когда при определении есть свои зависимые слова, например: «*понурый*, как черный манатейный монах, выходил на дорогу *вечер*» (все примеры из первой главы «Соти»). Так или иначе, но во всяком случае у нас есть право усматривать в этой манере свидетельство склонности к качественному восприятию окружающего, такой «душевной привычки», которая побуждает видеть вещи прежде всего со стороны их признаков. Другое дело, выдержит ли такой вывод проверку в свете всей совокупности данных, которыми мы можем располагать об изучаемом писателе, но самая возможность такой проблемы и такого вывода, конечно, оспорена быть не может.

Есть также многие другие подробности речи, остающиеся за границами самой системы языка, допускающие индивидуальное их применение, а потому позволяющие заглядывать через них в обусловливающий их душевный мир. Например, для изучения синтаксической системы русского языка с собственно грамматической точки зрения представляется решительно безразличным, какой тип предложения каким другим сменяется в пределах больших отрезков речи, как абзац, глава и т. п. Но если перед нами три построения, из которых первое состоит из одних простых предложений, второе — из одних сложных, а третье из чередования простых и сложных в той и иной композиционной последовательности, то это не может не интересовать того, кто хочет увидеть в языке писателя отражение его внутреннего мира, так как разные построения этого рода могут оказаться связанными с разными типами психологии. Даже тогда, когда мы имеем дело с чисто грамматическим материалом, известные психологические закономерности могут открываться в том, в каком внеграмматическом соотношении, например количественном, находятся эти отдельные грамматические факты между собой.

---

[1] Это частные разновидности приема, который рассматривается под именем «замыкания» в сочинении И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» (1946, стр. 50 и след.).

Ясно, например, что преобладание какой-нибудь формы из числа двух равнозначных, более частая употребительность какой-нибудь формы у данного писателя сравнительно с другим при прочих равных условиях, вообще распределение различных синонимических средств языкового выражения — все это способно подсказывать важные и существенные выводы в области обсуждаемой здесь научной проблемы. Кратко можно сказать, что это область всего внеграмматического в языке.

Психологическая биография, в интересах которой могут производиться подобные лингвистические наблюдения, — лишь одна из возможных конечных целей исследований такого рода. Обратим внимание на то, что самое понятие личности по отношению к писателю, как и иному художнику, может толковаться различно. Рядом с реальной личностью писателя, которую мы познаем или изображаем в биографии на основании соответствующих исторических материалов, живет его иная, литературная личность, та, которая заключена в его произведениях. Во всяком тексте есть тот, кто говорит, субъект речи, хотя бы слово «я» в нем ни разу не встретилось. Не требует доказательств, что в художественном произведении субъект речи есть одно из явлений художественной фантазии, а потому не сводим без остатка к соответствующей реальной биографической личности. Поэтому «язык Пушкина» может означать не только язык той биографической личности, которая носит это имя, но также и те языковые свойства, которые характеризуют повествователя «Евгения Онегина» и «Повестей Белкина».

В этом случае характеристики, которые мы выводим из наблюдений над различными индивидуальными, внеграмматическими свойствами в языке литературных произведений, мы будем приписывать уже не биографической, а литературной личности писателя. Например, в произведениях Щедрина часто встречаем употребление некоторых глаголов без тех дополнений, которые нам кажутся нужными для полноты смысла. Ср., например, в «Помпадурах и помпадуршах»: «Старик увещевал нового быть твердым и не *взирать*» (не сказано, на кого—что взирать); или «тогда-то *усмирил*, тогда-то *изловил*» (не сказано, кого—что усмирил и изловил). Ср. в «Культурных людях»: «Я могу только содействовать. Содействовать — вот моя специальность», (не сказано, кому—чему содействовать). Ср. в письме к Воровиковскому 15 января 1885 г.: «Из общих знакомых я только двоих продолжаю видеть: Унковского и Лихачева. Из них первый — веселится, второй — *стремится*» (не сказано, к чему стремится) и т. д. В подобном употреблении эти глаголы приобретают обобщенный, символический смысл, лишаясь конкретного содержания, становятся своеобразными намеками, за которыми читателю уже самому приходится угадывать их возможное жизненное приложение. Эти глаголы обозначают не события, а типические положения. Таких социальных символов, масок, как мы знаем, и вообще много в так называемом эзоповском языке Щедрина, и мы вправе смотреть на них как на выражение и свидетельство той черты в ли-

тературной личности писателя, которая может быть названа сатирически-символическим ее устремлением. Специалисты будут решать вопрос, где здесь проходит граница между Щедриным-писателем и Щедриным-человеком, но это уж иной вопрос.

Как само собой разумеется, литературная личность писателя может выступать в разных формах в разных его произведениях в зависимости от условий жанровых, тематических и многих других. В конце концов образ автора определяется всей сложной совокупностью явлений, создающих ту или иную литературную обстановку, то есть его литературной школой, его эстетическими воззрениями и т. д. Громадное значение здесь принадлежит той общей эстетике языка, которой характеризуется творческий метод автора, то есть тому, например, относится ли он к слову, как к чистому знаку мысли (Пушкин), или же слово у автора «музыкальное» (Фет), «изобразительное» (Гоголь), «орнаментальное» (Лесков) и т. д. Понятие авторской индивидуальности может быть расширено до каких угодно историко-литературных пределов, то есть ее можно понимать не только в применении к одному отдельному автору, но и к целой плеяде авторов, к литературному направлению, эпохе и т. д. Но как бы ни усложнялась соответственно задача, в принципе она остается такой же: понять известные индивидуальные свойства речи, то, что называлось когда-то «слогом» в отличие от «языка» [1] как нечто, свидетельствующее и отражающее в себе те или иные историко-литературные категории.

Но занимаемся ли мы биографической, психологической или историко-литературной интерпретацией индивидуальных явлений языка, если только, действительно, цель наша состоит в раскрытии известной индивидуальности, мы всякий раз неизбежно выходим за границы лингвистики и имеем дело с проблемами, которые не могут считаться принадлежащими собственно языковедению. В свое время об этом очень хорошо говорил Буслаев, пытаясь наметить границы лингвистической стилистики (в объективном и в нормативном отношениях). «Стилистика,— писал Буслаев,— необходимо должна основываться на грамматике, ибо она есть не иное что, как та же грамматика, только в непрестанном применении к чтению писателя и к собственному сочинению... Только понятие о слоге индивидуальном или личном выступает из области филологии: ибо слог известного писателя определяется характером самого писателя... Притом слог индивидуальный видоизменяется по содержанию описываемых предметов: здесь, кажется, уже и предел стилистике» [2]. В самом деле, если верно, что границы науки определяются предметом, ц е л ь ю ис-

---

[1] Ср. у Грота: «Слог, в тесном смысле,— это характер изложения, это в отношении к речи то же, что походка в движении тела, почерк в письме, физиономия в чертах и выражении лица: язык писателя — это орудие мысли в распоряжении отдельного лица, употребляемое с большим или меньшим знанием и умением». «Труды Я. К. Грота», т. II, СПб, 1899, стр. 74.

[2] Ф. И. Б у с л а е в, О преподавании отечественного языка, 1941, стр. 168. (Под «филологией» Буслаев здесь понимает, конечно, языковедение.)

следования, то с лингвистикой мы имеем дело только до тех пор, пока такой целью остается именно язык. Но не может быть ц е л ь ю лингвистики изучение «души писателя» или его литературного образа. Лингвистика может для этой цели лишь подсказать ту часть потребного материала, который находится в ее ведении. Думать иначе—значило бы относить к языку многое из того, что на самом деле относится к содержанию, не к о з н а ч а ю щ е м у, а к о з н а ч а е м о м у, всю вообще действительность считать «языком», то есть стоять на чисто формалистической, метафизической позиции.

С другой стороны, нет ничего более естественного, чем тот факт, что такие науки, как биография, психология и история литературы, должны, помимо прочего, обращаться и к языковому материалу, так как и в нем может содержаться,— вернее, принципиально всегда содержится,—то, чего они ищут. Однако с в о и м и средствами упомянутые науки получить данный материал не могут, им его дает языковедение. А если так, то языковедение должно уже наперед обладать этим материалом как чем-то, в чем оно заинтересовано в силу своих собственных задач. И в самом деле, нетрудно убедиться, что исследование внеграмматических свойств речи, как они проявляются, помимо прочего, также в литературных произведениях, составляет вполне законную и необходимую задачу науки о языке в ее собственном содержании, независимо от того, как могут воспользоваться результатами этого исследования в применении к изучению индивидуального стиля, биография, психология, история литературы и другие науки.

Материал в обоих случаях будет тот же, но точка зрения на него разная. Раздвижение определения и определяемого глаголом или употребление известных глаголов без привычного при них дополнения интересуют языкознание не потому, что через анализ подобных фактов открывается какая-то подробность в биографической или творческой личности Леонида Леонова или Щедрина, а как возможные факты русской речи. Их можно исследовать не потому, что они встречаются у такого-то или иного писателя, а потому, что они встречаются в русском языке. В этом случае они как бы вынимаются из индивидуальных контекстов, они могут и (в принципе) должны изучаться сразу по различным источникам русской речи. Даже в том случае, когда в эмпирической работе перед нами только один такой источник, то все равно его данные оцениваются как такие, которые только совместно с такого же рода данными других источников служат материалом для ответа на возникший вопрос. Этот вопрос может быть формулирован, например, так: что получается в русской речи, если между определением и определяемым поставить глагол? Ведь совершенно ясно, что только после того, как будет решен этот вопрос в данной его постановке, можно спрашивать себя о том, что выражается в такой конструкции в пределах данного личного языкового мира. Здесь, как и прежде, вопрос заключается в том, на какой части выражения «язык писателя» мы будем делать логическое ударение. Если перед нами проблема «языка п и с а т е л я»,

то нужно иметь в виду, что писатель не проблема лингвистики, потому что она не умеет, а не то, что не хочет решать подобные проблемы. Но если мы задаемся вопросом о «языке писателя», то это не только законная, но и неизбежная задача языкознания, и в том понимании языка, о котором сейчас идет речь, то есть в применении к различным его внеграмматическим фактам, проблема того отдела языковедения, который, по почину женевской школы, именуется la linguistique de la parole в отличие от linguistique de la langue, лингвистической речи, в отличие от лингвистики языка.

Но пойдем дальше. О разновидностях языка можно говорить не только как о разных «стилях речи», то есть как о различных традициях языкового употребления, связанных с различными условиями общения через язык. О них можно говорить также в том отношении, что одна и та же система языка может иметь различное жизненное назначение, служить разным областям культуры, выражать различные модусы сознания. Например, можно говорить о поэтическом языке как об известной обособленной области языкового употребления, характеризующейся возможным присутствием в ней таких форм, слов, оборотов речи, которые в других областях употребления не встречаются. Но выражение «поэтический язык» может означать также язык в его художественной функции, язык как материал искусства, в отличие, например, от языка как материала логической мысли, науки. В этом случае речь будет идти уже не о «стиле речи», а об особом модусе языка, о предназначенности его для передачи смысла особого рода, именно того, какой искусство специфическим образом несет в жизнь, в той мере, в какой оно отличается от остальных областей культурного творчества. Что такое язык как посредник между поэтом и его аудиторией? Какое произведение искусства создано поэтом из его языкового материала? Поэтическое произведение, разумеется, содержит в себе не просто язык, но прежде всего — мысли и чувства, выраженные в языке. Но язык в поэтическом произведении, независимо от этого, сам представляет собой известное произведение искусства, и в этом качестве он составляет предмет особой научной проблемы.

О языке как искусстве в разное время написано очень много. Но и здесь у нас не создалось прочной традиции практической научной работы. В недавнее время эта тема была сильно скомпрометирована формализмом. Основной порок теории «Опояза» состоял в том, что в ней резко разобщались поэтический язык и практический, рассматривавшиеся как две взаимоисключающие области действительности. Между тем очевидно, что поэтический язык не существует без прочных корней в языке реальной действительности. В более раннее время верно оценить значение проблемы языка как искусства мешало учение Потебни, который, наоборот, в с я к и й язык склонен был считать искусством, так что в его учении общий язык целиком растворялся в языке поэтическом. Это вредно отражалось на грамматической концепции Потебни, а также и на его грамматической

репутации, хотя и придавало ему популярность в литературно-художественных кругах. Но как раз в вопросе о том, что такое язык как искусство, и современный лингвист может отнестись к учению Потебни с значительной долей доверия

Язык как произведение искусства прежде всего характеризуется тем, что он представляет собой в н у т р е н н ю ю ф о р м у, то есть нечто, само в себе, внутри себя обладающее некоторой содержательной ценностью. В общем языке, как орудии практического сознания, связь между словом и обозначаемым этим словом предметом совершенно произвольна и представляет собой результат сложной цепи исторических случайностей. Бесполезно спрашивать себя, да это практически и не приходит никогда в голову, пока мы не задаемся вопросами истории языка, почему рыба у нас называется словом *рыба*. Не так обстоит дело в словесном искусстве. Разумеется, когда мы в сказке, повести, стихотворении читаем: «Старик ловил неводом рыбу», — то и отсюда мы не можем узнать, почему рыба названа словом *рыба*. Но ведь за то самое слово *рыба* здесь означает вовсе не только рыбу, а ч е р е з нее также и нечто гораздо более общее. И разве, действительно, весь смысл пушкинской сказки «О рыбаке и рыбке» заключается в том, что там буквально говорится о рыбе? Но тогда это было бы не произведение искусства, а хроникерское известие, летопись, историческая справка и т. д. А раз перед нами действительно произведение искусства, то вопрос о том, почему соответствующее более общее содержание передано в данном случае словом *рыба*, становится совсем уже не праздным вопросом. Ведь в других случаях оно могло бы быть названо каким-нибудь совсем иным словом. Но назовите в сказке Пушкина это общее содержание не словом *рыба*, а каким-нибудь иным, и д а н н о е произведение искусства, во всяком случае, будет разрушено.

Потебня учил: «В слове мы различаем: внешнюю форму, т. е. членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание» [1]. Но в практическом языковом общении, цель которого — передать другому то, что я знаю, думаю или чувствую, нет никаких «ближайших этимологических значений» слова. Может быть, не лишне напомнить, что они в очень большом числе случаев неизвестны даже искушенным специалистам по языковедению. Но дело даже не в этом, а в том, что никакие «ближайшие значения» совершенно н е н у ж н ы для того, чтобы люди могли понимать друг друга. Правда, и в практической речи не все слова данного языка полностью разобщены. Например, всякий русский понимает, что *городской* означает «относящийся к городу», *лукавить* — «вести себя лукаво», *торговец* — «кто торгует» и т. д. Но и это все вовсе не «ближайшие этимологические значения», а смысловая связь по формам словообразования, очень далекая от того, что можно вкладывать в выражение «внутренняя

[1] А. П о т е б н я, Мысль и язык, СПБ, 1863, стр. 150.

форма» в качестве его содержания. Между тем в поэзии действительно есть нечто вроде «ближайших этимологических значений». Например, для того более общего содержания, которое в сказке принадлежит слову *рыба*, ближайшим, но только не этимологическим, а посредствующим значением будет обычное содержание этого слова. И когда Потебня пишет: «Хотя для слова звук так необходим, что без него смысл слова был бы для нас недоступен, но он указывает на значение не сам по себе, а потому, что прежде имел другое значение» [1], то это утверждение может иметь какой-нибудь смысл только при том условии, что оно применяется к словесному искусству и что слово *прежде* здесь указывает не на историю языка, а на то значение слова, которое ему принадлежало раньше, чем оно стало материалом искусства.

Смысл литературно-художественного произведения представляет собой известное отношение между прямым значением слов, которыми оно написано, и самым содержанием, темой его. Так, слово *хлеб* в заглавии романа Алексея Толстого представляет собой известный образ, передающий в художественном синтезе одно из крупных событий революции и гражданской войны. Для того чтобы это слово могло иметь такой образный смысл, создаваемый им образ должен в самом себе, в качестве снятого момента, сохранять еще и первоначальное, буквальное значение слова, потому что в противном случае не возникнет указанного отношения как специфически художественного момента. «Хлеб» в романе Толстого означает и то, что это слово означает всегда и то, что оно означает в содержании романа, одновременно, сразу, и вот это-то и подчеркивается в обозначении этого слова термином «внутренняя форма». Язык с своими прямыми значениями в поэтическом употреблении как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла, и вот почему художнику не все равно, как назвать то, что он видит и показывает другим. Когда поэт говорит:

На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней,

то для него дождь, разумеется, не перестает быть тем, чем он является для каждого человека, но в то же время это не дождь, а слезы, которые он видит своим художественным зрением.

Установление тех конечных значений, которые как бы просвечивают сквозь прямые значения слова в поэтическом языке,— задача для самого языковедения непосильная: это есть задача толкования поэзии. Но несомненно в задачу лингвистического исследования входит установление о т н о ш е н и й между обоими типами значений слова — прямым и поэтическим. Совершенно так же обстоит дело и в обычной лингвистической практике. Своими средствами лингвист не может установить, что вообще значит в русском

---

[1] А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, т. I, Воронеж, 1874, стр. 6.

языке слово *стол*. Однако, зная уже значения этого слова, лингвист исследует, в каких отношениях они находятся друг к другу, и так или иначе квалифицирует эти отношения, находит для них соответствующее место в общей системе языковых отношений, изучает их историю и т. д. Параллельные этим задачи возникают и в области изучения поэтического языка. Лексикология, как известно, вообще составляет самый отсталый участок языковедения, и потому здесь очень трудно ссылаться на какие-нибудь отчетливо установленные факты и обобщения. Но если ее задача (в чем нельзя сомневаться) состоит в исследовании отношений между словами и их значениями, то необходимо и возможно исследование соответствующих отношений и в области художественной речи. Разные поэтические значения слов *рыба*, *хлеб*, *плакать* и т. п., в их отношениях к прямым значениям соответствующих слов, могут представлять собой различные противопоставления общего и частного, абстрактного и конкретного, целого и части, расщепления на параллельные варианты или цепного выведения одного варианта из другого и т. п.,— словом, здесь возможны самые различные типологии, исследование которых существенно необходимо для науки.

Возникает также вопрос об отношениях между отдельными словами как цельными единствами со всей суммой заключенных в них значений. В общем языке мы различаем слова, связанные и не связанные между собой по значениям. Эти связи выражаются в формах словообразования. Так, например, слово *рыба* есть слово не мотивированное со стороны своего значения, то есть значение его нельзя вывести из какого-нибудь другого слова с общей основой. Но в словах *рыбный*, *рыболов*, *рыбачить* и т. д., то есть в словах с основой производной, значение мотивировано значением соответствующей первичной основы. Так выстраиваются известные словообразовательные цепи, между которыми могут быть устанавливаемы те или иные типологические или исторические отношения. В поэтическом языке, помимо таких словообразовательных цепей, могут возникать и иные словарные цепи, так как там значения отдельных слов могут представать мотивированными, независимо от их словообразовательной формы, и именно как формы внутренние: поэтическое значение слова *рыба* мотивируется его прямым значением и т. д. Слова *старик*, *рыбка*, *корыто*, *землянка* — это слова разных словообразовательных цепей, но в тексте пушкинской сказки они, несомненно, составляют отдельные звенья одной и той же словарной цепи, так как объединены своими вторыми, поэтическими значениями. Это, следовательно, новый круг отношений, исследование которых возлагается на науку о языке в его художественной функции.

Если художественный язык есть действительно внутренняя форма, то в нем вообще все стремится стать мотивированным со стороны своего значения. Здесь все полно внутреннего значения, и язык означает сам себя независимо от того, знаком каких вещей он служит. На этой почве объясняется столь характерная для языка искусства рефлексия на слово. Можно вообще сказать, что поэти-

ческое слово в принципе есть рефлектирующее слово. Поэт как бы ищет и открывает в слове его «ближайшие этимологические значения», которые для него ценны не своим этимологическим содержанием, а заключенными в них возможностями образного применения. Очень интересно в данном отношении следующее признание Фета: «Песня поется на каком-либо данном языке, и слова, вносимые в нее вдохновением, вносят все свои, так сказать, климатические свойства и особенности. Насаждая свой гармонический цветник, поэт невольно вместе с цветком слова вносит его корень, а на нем следы родимой почвы. При выражении будничных потребностей сказать ли: *Ich will nach der Stadt* или: *Я хочу в город* — математически одно и то же. Но в песне обстоятельство, что die Stadt steht, а город городится — может обнажить целую бездну между этими двумя представлениями»[1]. Точности этих формулировок мог бы позавидовать и сам Потебня, который пытался нас уверить, будто и вообще в русском языке, а не только в песне, «город городится», тогда как связь этих слов давно уже в русском языке утрачена.

Эта поэтическая рефлексия оживляет в языке мертвое, мотивирует немотивированное. Полемизируя с Бругманном, Потебня когда-то так доказывал, что грамматический род не потерял еще своего живого смысла и жизненной реальности: «О том, имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться, т. е. по произведениям поэтическим» [2]. Эта фраза может служить образчиком подлинно неграмматического и в то же время художественного языкового мышления. Объективное значение грамматических категорий не может основываться на возможном их рефлективном переживании, а только на их действительной роли в самом механизме речи. Но в поэтическом языке такая рефлексия и в самом деле может быть показательна. Так, если нам совершенно безразлично то обстоятельство, что слово *сосна* в русском языке — женского, а не мужского рода, и все значение этого факта исчерпывается соответственно присущими этому слову способностями словоизменения и согласования, то в поэзии, где сосна может служить образом женщины, женского начала, грамматический женский род этого слова способен обрести реальный и живой смысл. С полным правом поэтому тот же Потебня отметил несоответствие лермонтовского стихотворения «На севере диком стоит одиноко» тому, что стоит в оригинале Гейне, где вместо «сосна» читаем «ein Fichtenbaum» [3]. Еще ранее Потебни заметил это Аполлон Григорьев в одной из «Бесед с Иваном Ивановичем». Здесь цитируется стихотворение Случевского, в котором лето прощается с землею в следующих выражениях:

---

[1] Цитирую по книге «Русские писатели о литературе», т. I, 1939, стр. 450.

[2] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, т. III, Харьков, 1899, стр. 616.

[3] А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 69. Ср. замечание Л. В. Щербы в «Советском языкознании», т. II, Л., 1936, стр. 131.

Я уйду — ты скоро позабудешь
Эти ленты и цветные платья,
Эти астры, эти изумруды
И мои горячие объятия.

Я уйду, роскошная смуглянка,
И к тебе на выстывшее ложе
Низойдет любовница другая,
И свежей, и лучше, и моложе

По этому поводу собеседник Ивана Ивановича замечает: «Вредит, если вы хотите, еще то, что лето у нас среднего рода, а зима женского — как вредит, пожалуй, лермонтовской переделке известного гейневского стихотворения то, что сосна и пальма женского рода» [1].

В статье В. Н. Ярцевой «Длительные времена и проблема вида в английском языке», между прочим, приводится такой пример из Мередита: «He spoke as he thought: he was not speaking what he was thinking». Пример выразительно характеризует противопоставление форм *spoke — was speaking*, *thought — was thinking* в английском языке. Но перевести это место пришлось так: «Он говорил в общем так как он думал: он не говорил всего того, о чем он в действительности думал» [2]. Ясно, что в художественном переводе надо было бы придумать какое-нибудь построение, которое хотя бы приблизительно передавало художественный аромат, потенциально заключенный в указанном английском противопоставлении. В самом деле, не только отдельные слова или словосочетания, вообще не только те элементы языка, которые передают вещественное содержание, но также и грамматические средства языка в художественной речи могут служить предметом художнической рефлексии, как это несомненно в указанной фразе Мередита. В подобных случаях грамматическая форма сама по себе обладает сигнификативной способностью, тогда как в общем языке ее роль в этом отношении подчинена смыслу целого.

Таким образом, понятие внутренней формы распространяется и на область грамматики, и здесь во многих случаях возможны такие поэтические значения, которые мотивированы «ближайшими значениями», свойственными данной форме в языке общем. Форма единственного числа может означать множество, поэтически изображаемое как единичность, форма настоящего времени может означать прошлое или будущее, поэтически представленное как нечто, происходящее в момент речи, и т. д. Но в плане рассмотрения языка как искусства это будут не просто «стилистические фигуры», а воплощения второй, образной действительности, которую искусство открывает в действительности реальной. И здесь снова грамматическая форма означает сразу и то, что она означает обычно, и то, что за этим обычным значением раскрывается как художественное содержание данной формы. То, что такая актуализация потенциального, наполнение живым смыслом конвенциального в языке происходит в словесном искусстве не в каждом отдельном слове, не в каждом отдельном грамматическом факте, не имеет существенного

[1] Аполлон Григорьев, Воспоминания, М.—Л., 1930, стр. 98.
[2] «Ученые записки ЛГУ», серия филологических наук, вып. 5, 1941, стр. 19.

значения. Для поэтического языка существенна только самая возможность появления этого посредствующего звена между внешней формой языка и содержанием, так сказать, ежеминутная готовность языка стать внутренней формой. Эта готовность есть отличительная черта поэтического языка как с и с т е м ы, а в какой мере она реализуется в каждом отдельном тексте — это уже вопрос второго плана, подлежащий частным изучениям как нечто случайное и формирующее различные оттенки и разновидности, разные стили поэтической речи.

Вообще же следует сказать, что различные внеграмматические факты и отношения общего языка, все то, что в общем языке, с точки зрения е г о системы, представляется случайным и частным, в поэтическом языке переходит в область существенного, область собственно смысловых противопоставлений. La parole общего языка в тенденции превращается в la langue языка поэтического. Прямой и обратный порядок слов в общем языке, как сказано выше, очень часто не различается своими грамматическими значениями и потому составляет факт не «анатомии», а «физиологии» речи. Но в поэзии и это, для грамматики не существенное, различие способно стать различием поэтических смыслов, так как перестановка слов, не изменяя собственно грамматического отношения, какое между ними существует, может стать носителем своего особого, образного значения. «Щуркие от дремоты глаза» (еще один пример из «Соти» Леонова) и «глаза, щуркие от дремоты» — в чисто грамматическом отношении конструкции равнозначные. В художественной речи перемещение логических акцентов, ослабление акцента на обстоятельственном члене *от дремоты*, выдвижение прилагательного на первый план, одно фразовое единство вместо двух, соблюдаемые при переходе от второй конструкции к первой, создают новый образ, то есть новый поэтический смысл. Известно, что мы различаем сочетания слов свободные и тесные, то есть такие, которые не образуют или образуют фразеологические единства, например *железная лопата* и *железная дорога*. Для характеристики слова *железный* в первом из этих выражений безразлично, с каким существительным оно сочетается, потому что этих существительных может быть множество, хотя бы и относительное, что зависит уже от внеязыковых факторов. В художественном языке всякое сочетание слов в тенденции превращается в тесное, в фразеологическое единство, в нечто устойчивое, а не случайное. И здесь вовсе не все равно, какие именно предметы поэт назвал железными, так как это ограничивает и определяет поэтическое значение слова *железный*. Это особенно очевидно в том случае, если какое-нибудь словосочетание свободной структуры в данном поэтическом тексте неоднократно повторяется. Для самой структуры выражения с точки зрения общего языка представляется совсем несущественным, часто или редко фактически употребляются в речи словосочетание вроде *молодая дева*, *пламень любви*, *сладостный обман* и т. п., но то, что в языке Пушкина эти словосочетания повторяются каждую минуту, делает их с худо-

жественной точки зрения словосочетаниями тесными. Но также и обратно, единично встречающиеся сочетания вроде *насильственная лоза, готическая слава* и т. п., вследствие самого факта их единичности, также приобретают значение поэтических фразеологических единств. Каждый раз кажется, что иначе и сказать нельзя.

Мало того, в поэтическом языке приобретают свой смысл и такие явления, которые в обыденной речи вообще нельзя признать имеющими какое-либо отношение к языку. Так, например, те или иные созвучия или ритмические фигуры, случайно возникающие в тех или иных актах речи, не только не относятся, как всякому понятно, к грамматике, но даже и к тому, что можно было бы назвать внеграмматическими средствами языка, если только за ними действительно не стоит какое-нибудь сознательное намерение. Такое намерение может иметь художественный характер, и тогда уже исследователь поэтического языка не может их игнорировать. Факты ритмики и эвфонии, вообще говоря, представляют собой звуковую оболочку языка, отвлекаемую от ее языковой функции и превращающуюся в материю sui generis, лишенную всякого предметного содержания, но зато наделенную опосредственной экспрессивностью, совершенно так, как ритмы и созвучия в музыке. В стихотворном языке они и выполняют соответственно свою музыкальную функцию. Но они могут иметь также и свой с м ы с л, участвовать в передаче поэтических значений. Это зависит, например, от того, какие именно слова или грамматические категории рифмуют, каким образом рифмовка определяет композиционное членение речи и т. п. Так, в драматическом стихотворном языке может иметь существенное значение вопрос о том, принадлежат ли оба члена рифмы одной или двум репликам, потому что от этого зависит самый характер развертывания драматического действия, как оно определяется композицией речи. Привожу только один, но зато очень выразительный пример из «Горя от ума» (I, 301 и след.):

Л и з а.

Хотела я, чтоб этот смех *дурацкий*
Вас несколько развеселить *помог.*

С л у г а.

К вам Александр Андреич *Чацкий.*

Ч а ц к и й.

Чуть свет уж на ногах! и я у ваших *ног*![1]

Если бы можно было бы вообразить такой язык, в котором в определенных синтаксических положениях непременно должны были бы находиться созвучные слова, то это был бы, несомненно, факт грамматики этого языка. В рифмованном художественном

[1] Я подробно касаюсь этого вопроса в своей работе «Горе от ума» как памятник русской художественной речи» [см. стр. 257 настоящей книги. — *Ред.*].

стихотворном произведении это приобретает значение факта поэтической грамматики.

Отмечу еще и то, что самая единица, микрокосм художественного языка, в пределах которого и надлежит устанавливать его закономерности, есть нечто, что, с точки зрения собственно грамматической, представляется фактом несущественным, внеграмматическим. Для общего языка таким минимальным пределом или контекстом служит предложение. В художественном языке это непременно то, что иногда называют синтаксическим целым,— абзац, глава, произведение. Это поэтические аналогии предложений общего языка. Короче говоря, подводя некоторый итог сказанному о природе поэтического языка, можно утверждать, что в этом языке не только оживляется все механическое, но и узаконяется все произвольное. В этом смысле можно принять положение Рихарда Мейера: «Не существует вообще одного единственного правильного выражения, но существует вообще для каждого писателя одно вполне правильное выражение» [1].

Совсем особую проблему изучения художественного языка составляет то, что может быть названо «чужой речью» в тексте художественного произведения. Прежде всего — это вопрос о форме передачи самого по себе факта, что с известного момента текста начинается речь не автора, а имитируемого со стороны языка персонажа. Существуют две такие основные формы — прямая и косвенная. В первом случае это диалог или монолог, во втором — включение имитируемой речи в речь, формально принадлежащую автору. Это то, что принято называть несобственной прямой речью (erlebte Rede, style indirect libre). Ср., например, в «Мертвых душах»: «Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете; приглашала Чичикова в пустыню — оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом», где совмещена косвенная речь (*упоминала, что омочает...*) и несобственная прямая речь (*оставить навсегда город* и пр.— слова пушкинского Алеко, превратившиеся в элемент ходульной фразеологии в устах провинциалки). Вот еще несколько небольших примеров: «И вот не проходит и нескольких месяцев, как бывший властитель сих мест видит себя лишенным огня и воды и делается притчей во языцех. Рабочие к нему не идут, поля у него не родят, коровы его не доят, овцы чихают... дурррак» (Салтыков-Щедрин, Убежище Монрепо). «Позиция ли неудачна, или слишком огрызались кадеты,— *ладно, наложим в другой раз,* и пропускали Корнилова» (А. Н. Толстой, Хождение по мукам). «В одной руке — на отлете — он держал шляпу, в другой — трость и, смеясь вольно,— *сукин сын,*— говорил с царем... И все немцы стояли *бесстыдно вольно*» (А. Н. Толстой, Петр I; описание дано с точки зрения Василия Волкова.) Все эти примеры относятся к различным типам

[1] «Deutsche Stilistik», München, 1913, S. 26.

включения чужой речи в авторскую, и типов этих очень много. Но нередко наблюдаем такое полное переключение речи автора на речь персонажа, так что автор не столько уже имитирует речь изображаемого лица, сколько просто говорит за него. Ср. в «Евгении Онегине»:

Ужель та самая Татьяна...
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где все наруже, все на воле...
Та девочка... иль это сон?..

Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

Это слова не Пушкина, а Евгения Онегина, и здесь свободно слово *он* могло бы быть заменено словом *я*. Ср. в «Вазире-Мухтаре» Ю. Тынянова: «Обеды, обеды. Военные обеды, литературные обеды. Помилуй бог, он сыт». И здесь возможна такая подстановка слова *я* на место *он*. Все подобные факты возбуждают много интересных вопросов, которые объединяются в общем большом вопросе о тех «голосах», которые мы слышим, читая художественный текст, и тех взаимоотношениях, в которые эти голоса вступают между собой. Независимо от этого общего вопроса все элементы чужой речи, разумеется, нуждаются в анализе в своем собственном материальном качестве, как соответственные факты фонетики, морфологии, синтаксиса, словаря, в их отношениях к лежащим в их основе фактам живого языка. Достаточно упомянуть хотя бы о том, что в художественном языке диалектные приметы речи персонажей сплошь да рядом даются в таком их совмещении, которое с собственно диалектологической точки зрения не могут быть признаны реальными, например если какой-нибудь персонаж сразу произносит *г* фрикативное вместо взрывного и тут же употребляет какие-нибудь севернорусские формы и т. д.

Все это не исчерпывающий список задач, возникающих в процессе изучения поэтического языка, и не программа исследования, а лишь приблизительная характеристика поэтического языка как особой научной проблемы. Всякому понятно, что раскрытие этой проблемы может быть ориентировано и в направлении индивидуального стиля автора в биографическом, психологическом, историко-литературном и других отношениях. В таких случаях изучение поэтического языка будет приобретать значение одного из средств, с помощью которых указанные науки достигают осуществления их собственных целей. Индивидуальные различия здесь и в самом деле очень велики. Однако конечной целью таких наблюдений над индивидуальным художественным стилем, как он проявляется в языке, будет не самый этот стиль, а то, что открывается за ним как его источник и содержание,— личность художника, его идейный и художественный замысел, поэтика произведения или собрания произведений, как она обнаруживается в данных языка, сопоставляемых с данными другого рода. Но как и раньше, самое собирание этих данных, их анализ и интерпретация с точки зрения их собственного содержания составляют задачу лингвистики, которая и предо-

ставляет их затем в распоряжение различных наук, во всем этом заинтересованных. Таким образом, мы имеем право утверждать, что независимо от задачи научного постижения авторской личности в тех или иных отношениях, независимо от задачи раскрытия того идейно-художественного мира, который и составляет сердцевину и самую суть поэтического искусства, у лингвистики существуют свои интересы и обязанности по отношению к явлениям поэтического языка. Лингвистика вообще есть наука о в с я к о м языке, в том числе и о языке художественном. Ее задачи будут выполнены не полностью, пока они будут выполняться в отношении материала, хоть сколько-нибудь ограниченного со стороны его объема или природы. Нельзя дать действительно исчерпывающего и полного ответа на вопрос, что такое язык, без обобщения данных, извлекаемых из всех без исключения областей языковой жизни. Вот почему необходимо должен существовать в лингвистике особый отдел, посвященный изучению закономерностей, которые обнаруживаются в том, как функционирует в исторической действительности язык художественный.

Само собой разумеется, что обычные приемы лингвистической работы в применении к задачам изучения художественного языка должны соответствующим образом модифицироваться. Если вообще изучать язык может только тот, кто к этому способен, то нужны и соответствующие внутренние данные для того, чтобы успешно изучать язык художественный, то есть прежде всего умение устанавливать различия, существующие в области передачи поэтических смыслов посредством языковой формы. Но это уже вопросы исследовательской школы и техники, личных склонностей и дарований, и обо всем этом здесь можно и не говорить.

Если попытаться теперь подвести итог всему, сказанному в этой статье, то формулировать его, как мне кажется, можно следующим образом. Такие выражения, как «язык писателя», «язык литературного произведения», «язык и стиль» того или иного автора или его отдельного сочинения и т. п., неоднозначны. В анализе их возможных значений открывается не одна, а целая гамма проблем, находящихся между собой в известных логических отношениях. Основные лингвистические проблемы этой цепи следующие:

1. Извлечение из данного литературного памятника (или собрания памятников, что не меняет дела) материала для построения общей истории данного национального языка.

2. Освещение этого материала в свете интересов истории отдельных стилей речи в их внутренних взаимоотношениях.

3. Отыскание по данным памятников и различным косвенным показаниям идеальной языковой нормы, господствующего стилистического вкуса в ту или иную эпоху, в интересах общей истории языка в таком нормативном отношении.

4. Применение языковых данных памятника к интересам «лингвистики речи» в отличие от интересов «лингвистики языка».

5. Изучение художественной (поэтической) речи как особого модуса языковой действительности.

Изучение индивидуальных языковых отличий в третьем, четвертом и пятом отношениях дает, сверх того, возможность воспользоваться данными лингвистического анализа для целей педагогически-стилистических, биографических, текстологических, психологических, историко-литературных во всем сложном объеме проблем последнего рода и т. д. Постановка вопроса об индивидуальном стиле и составляет границу между лингвистикой и прочими науками, заинтересованными в данных языка.

Таковы общие выводы предложенного рассуждения. Я понимаю не меньше всякого иного, что наука строится не рассуждениями о ней, а практической работой над материалом. Но эта практическая работа в очень сильной степени облегчается, когда исследователь ясно представляет себе, какой именно материал и для какой цели он изучает.

«ГОРЕ ОТ УМА» КАК ПАМЯТНИК РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ*

В тексте «Горя от ума», как и всякого иного выдающегося произведения художественной литературы, язык отражен трояко — как живая речь, как литературная норма и как произведение искусства. Соответственно этому возникают три круга лингвистических проблем, исследователь каждой из которых вправе смотреть на текст «Горя от ума», как на свой материал. Так, в этом тексте давно уже с полным правом видят один из важнейших источников для истории живого московского говора, как он сказывался в обиходе московского барского круга в начале XIX века. С неменьшими основаниями мы смотрим на «Горе от ума» как на замечательный памятник истории русского литературного языка, наравне с баснями Крылова особенно ярко отразивший претворение известных фактов русского просторечия в составной элемент общерусской национальной языковой нормы. Наконец, «Горе от ума» есть также общепризнанный высокий образец русской художественной речи, одно из наиболее замечательных достижений русского языкового мастерства. Именно в последнем отношении изучается язык «Горя от ума» в настоящем опыте [1].

---

* [«Ученые записки МГУ». Труды кафедры русского языка, 1948, 128, кн. 1.]

[1] Из множества книг и статей, посвященных Грибоедову и его комедии, к этой теме примыкает только работа В. А. Филиппова, Проблемы стиха в «Горе от ума», М., 1826 (отдельный оттиск из журнала «Искусство», № 2), и отчасти книга Н. К. Пиксанова, Творческая история «Горя от ума», М.—Л., 1928, стр. 155 сл., ср. статью «Грибоедов — мастер» в книге того же автора «Грибоедов, исследования и характеристики», Л., 1934, стр. 281 сл. Вообще же литература по языку «Горя от ума» и его различным проблемам невелика и небогата содержанием. См. В. Н. Куницкий, Язык и слог комедии Грибоедова «Горе от ума», Киев, 1894; В. А. Истомин, Главнейшие особенности языка и слога произведений А. С. Грибоедова, «Русский филологический вестник», 1894, с. XXXI; П. Шаблиовский, Язык действующих лиц комедии «Горе от ума», «Русский язык в советской школе», 1929, № 4, стр. 64 сл.; В. Н. Каменев, Язык комедии Грибоедова «Горе от ума», М., 1930 (Научные труды Индустриально-педагогического института имени К. Либкнехта, Серия соц.-эк., вып. 12); проф. В. Ф. Чистяков, Словарь комедии «Горе от ума» Грибоедова, вып. 1, Смоленск, 1939 (отзыв И. Фалева в журнале «Русский язык в школе», 1939, № 5—6, стр. 146); В. Ф. Чистяков, Язык комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова. «Известия Воронежского педагогического института», т. VII, вып. 2, 1940, стр. 17 сл. В. В. Литвинов, Изучение языка комедии «Горе от ума» в школе,

I

Исходным пунктом такого изучения должен быть взгляд на язык «Горя от ума» как на язык произведения д р а м а т и ч е с к о г о, и притом с т и х о т в о р н о г о. Драматический язык в своем построении подчинен общим законам драматического искусства, которое есть прежде всего искусство, воплощаемое в формах сценического действия. Подобно тому как драматическое произведение вообще обладает своим истинным бытием только в его сценическом воплощении, так и язык драмы есть язык, в его подлинной сущности и полноте постигаемый нами только тогда, когда он формирует сценическое действие, вместе с ним развертываясь во времени. Основная единица сценической речи в последнем отношении есть р е п л и к а[1]. Актеры на сцене играют, разумеется, и тогда, когда сами не говорят, например когда слушают, как говорят их партнеры. Но общая окраска сценической речи и самый способ ее восприятия существенно зависят от того, какому именно персонажу и в какой последовательности принадлежат произносимые в каждую данную минуту слова, так как одно и то же слово в разных устах звучит по-разному, не говоря уже о том, что самый предмет речи и соответствующие средства выражения у различных персонажей могут не совпадать. Поэтому переход речи от одного персонажа к другому есть смена характера этой речи, сопровождаемая сменой сценических положений и новым поворотом в раскрытии сценического образа. Именно в этом смысле можно говорить о смене реплик как важнейшей пружине в развитии сценического действия.

Все это требует от исследователя пристального внимания к структуре реплики во всех подробностях ее внешней формы и ее внутреннего назначения. Это в особенности относится к реплике драматического произведения в стихах. Стихотворная речь состоит из так или иначе соизмеримых членений (стих, стопа, слог), и это делает реплики стихотворного драматического текста особенно ощутимыми со стороны их протяжения во времени. Реплики «Горя от ума» пред-

---

«Русский язык в школе», 1940, № 4, стр. 49 сл. Отзывы критиков и исследователей о языке «Горя от ума» полнее всего представлены в своде Н. К. Пиксанова в примечаниях к тексту комедии во втором томе Полного собрания сочинений Грибоедова, СПБ, 1913 (Академическая библиотека русских писателей, вып. 8-й).

[1] Под репликой здесь понимается цельное высказывание отдельного персонажа, не прерываемое словами других персонажей. Таких реплик в «Горе от ума» всего 685. Можно понимать реплику и иначе. Так, В. А. Филиппов в названной работе «Проблемы стиха в «Горе от ума» (стр. 20, прим. 23) ограничивает понятие реплики рамками явления, иными словами, считает, например, речь, начинающуюся в одном явлении, но кончающуюся в другом, за две реплики. Таких реплик в тексте «Горя от ума» Филиппов насчитывает 696. Так как заметные изменения сценических положений возможны и без смены явления, то для целей данного изложения удобнее было следовать такому пониманию реплики, которое не зависит от рамок явления. Но, как показывает самая незначительность в разнице общего числа реплик, существенного практического значения это различие во взглядах на реплику не имеет. О реплике вообще, как композиционной единице комедии, см. Н. П и к с а н о в, Творческая история «Горя от ума», стр. 299 сл.

ставляют в этом отношении очень богатое разнообразие форм. Мы наблюдаем здесь реплики, протяженность которых колеблется в границах от одного слога в стихе, разбитом между двумя или несколькими репликами, или даже цельного стиха в один слог, до обширных тирад, максимальной длительностью в 65 стихов (монолог Чацкого, заканчивающий собой III акт). Принимая пока различные формы неполного стиха за одно и оставляя до времени в стороне все разнообразие форм примененного в «Горе от ума» разностопного ямба, так называемого вольного стиха, в общем итоге находим в комедии пятьдесят шесть типов реплик, различающихся своей протяженностью. Понятно, что это число сильно возрастет, если учитывать бесконечное разнообразие подробностей, с которыми связана структура каждого отдельного стиха внутри реплики. Короткие реплики естественно преобладают. Самые частые — это именно реплики в неполный стих (200 из 685), затем следуют реплики мерой в один стих (134), затем в два (70), три (43) и четыре стиха (31). Чтобы легче было судить о том, как тщательно и умело воспользовался Грибоедов разнообразными средствами русской речи для своего художественного замысла, стоит указать, что среди самых коротких реплик его комедии есть несколько односложных, которые представляют собой с фонетической стороны не что иное, как шумные согласные в слоговой функции, имитирующие различного рода экспрессивные звуки-междометия бытовой речи. Это реплика Фамусова: «Тс!» (I, 56[1]), и дважды повторяющаяся в пределах одного стиха (III, 559) реплика: «Шш!» Первая из этих двух последних реплик приходится при этом на слабую долю стопы, именно: Наталья Дмитриевна. Вот о́н! Графиня-внучка. Шш! Все. Шш! Хлестова. Ну́, как с безумных глаз... и т. д. На слабую долю стопы приходится также слоговое «сс!» в двух репликах, занимающих стих и более (III, 299 и IV, 308) [2]. Встречаем и более удобное для стихотворного применения междометие «гм» (III, 572) с слоговым сонорным согласным, который забавно применен также в примечательных репликах Тугоуховского «о-хм- и-хм! а-хм!» (III, 304, 306, 486, 488). Реплики длительностью больше 15 стихов, за одним-двумя исключениями, встречаются не чаще одного раза каждая на всем протяжении комедии. Это и понятно, так как за известным пределом различия в длительности реплик воспринимаются непосредственным чувством только при их более или менее значительных размерах, а реплики с близкими протяженностями звучат одинаково. Однако все эти естественные свойства комедийного стихотворного языка, а именно обилие наиболее

[1] Текст цитируется по академическому изданию 1913 г. под ред. Н. К. Пиксанова, с подновлением орфографии, подлинный вид которой для данной статьи не имеет значения (указывается акт и стих).

[2] Ср. в «Борисе Годунове» Пушкина:

Молчать! молчать! дьяк думный говорит
Ш ш — слушайте!

кратких реплик и редкая повторяемость реплик с большой протяженностью, в подлинном произведении искусства проявляются не только механически, одной своей количественной стороной. Им, несомненно, принадлежит здесь также известная художественная функция, и как раз «Горе от ума» содержит много очень интересных примеров такого рода.

Прежде всего совершенно очевидно, что протяженность отдельных реплик, и даже отдельных систем реплик, мотивирована в «Горе от ума» характером персонажей, а также и ходом самого действия. Не удивительно, что самые длительные реплики принадлежат в комедии Чацкому и что персонаж, реплики которого ни разу не превышают двух слогов, это Тугоуховский. С последним соперничает лишь лакей Чацкого, единственная реплика которого (IV, 309) заключается в обрываемом на втором слоге слове «Каре...» (то есть, очевидно: «Карета Чацкого»). Каждое из главных действующих лиц драмы естественно должно, хотя бы только в отдельных случаях, выказать свой характер в более или менее пространной реплике. Но шестеро главных действующих лиц «Горя от ума» группируются в данном отношении так, что получается, может быть, и не предумышленная, но с объективной стороны вполне несомненная симметрия. Именно, длиннее всех говорят Чацкий и Фамусов, основные антагонисты всего действия, короче всех из числа шестерых — Молчалин и Скалозуб, лица, которым в центральной интриге драмы принадлежит или преимущественно (первому), или всецело (второму) страдательная роль, а середину занимают Софья — центральный персонаж, отношением к которому определяется весь ход действия, и ее наперсница Лиза. Пространные монологи-проповеди Чацкого не только характеризуют его как пылкого оратора — моралиста и сатирика, но, сверх того, естественно проистекают из функции этого персонажа, как выразителя авторской точки зрения[1]. Подобные же пространные реплики Фамусова мотивированы не только его театральной маской болтуна и сплетника, но также и тем, что он излагает антагонистический автору образ мыслей, чувствований и действий с наибольшей полнотой и тем дает повод и материал для филиппик Чацкого. С этой стороны нельзя не видеть следствия прямого композиционного задания в том, что центральное пространство второго акта занято двукратной полемикой Фамусова и Чацкого, причем в первом случае их монологи непосредственно сменяются один другим, а во втором следуют на очень близком расстоянии. Более случаен, но все же должен быть отмечен и тот факт, что вторые монологи в точности совпадают по протяженности, занимая по 57 стихов.

С другой стороны, немногословность речей Молчалина и Скалозуба также вполне соответствует сценическим характерам этих пер-

[1] Вспомним поражающее своей меткостью замечание Пушкина в письме к Бестужеву 25 января 1825 г. о том, что в «Горе от ума» умное действующее лицо — Грибоедов. На то же в сущности указывает и Белинский в своей статье о «Горе от ума» 1839 г.

сонажей. Из числа действующих лиц комедии, фамилии которых представляют собой живую внутреннюю форму, связанную с идеей речи, Молчалин в этом смысле наиболее прозрачен. В самом деле, есть сцены, в течение которых он вообще не произносит ни слова (I, явл. 3, то есть первое, в котором он вообще показывается зрителям, и II, явл. 10), а в подавляющем большинстве остальных реплики его обычно составляют неполный стих, затем один или полтора стиха, в редких случаях достигают трех стихов, один раз — шести стихов (в беседе с Чацким. III, 191—196) и только дважды, оба раза в объяснениях с Лизой, то есть в сценах наибольшей активности этого персонажа, вырастают в небольшие монологи[1]. Краткость реплик Скалозуба всецело гармонирует с грубоватой отрывистостью его речи и входит как существенная подробность в его сценическую маску. Что касается второстепенных персонажей, то краткость их реплик не нуждается в толковании, точно так же, как пространность реплик Репетилова, очевидно, формирует весь его сценический облик. По ходу действия Репетилов появляется в доме Фамусова уже в самое время разъезда гостей только для того, чтобы послужить каналом, через который до Чацкого доходит пущенная на его счет сплетня. Но со стороны своего собственного характера фигура Репетилова не вмещается в рамки фамусовского бала только вследствие своей многоречивости, и именно это дает Репетилову особое место в галерее гротескных образов III акта.

Очень выразительны в «Горе от ума» и отдельные скопления однотипных по протяженности реплик. Такими скоплениями в комедии являются только короткие реплики. Реплики протяжением в три стиха и свыше являются в «Горе от ума» не более двух раз подряд. Сюда отнесем и упомянутые два монолога Фамусова и Чацкого во II акте. Иными словами, в «Горе от ума» нет обмена длинными речами и монологами, хотя в комедийной традиции, как русской, так и французской, это встречается[2]. Однако и короткие реплики скопляются в «Горе от ума» в очевидной связи с развитием самого драматического действия, а не просто как комический прием, завещанный традицией. Обращу внимание на некоторые случаи скопления реплик в неполный стих. Первый случай такого рода встречаем в самом начале комедии (I, 15—17):

Голос Софьи. Который час? **Лизанька.** Всё в доме поднялось. **Софья** (из своей комнаты). Который час? **Л.** Седьмой, осьмой, девятый. **С.** (оттуда же). Неправда.

Здесь смена полустишных реплик находится в непосредственной

[1] Любопытно, что Белинский считал последний монолог Молчалина в IV акте художественной ошибкой Грибоедова.

[2] См., например, сцену Улиньки и Марины в «Чудаках» Княжнина (д. II, явл. 1), сцену графа и Лизы в «Говоруне» Хмельницкого (явл. 3), Агаты и Лизы в «Шалостях влюбленных» его же (д. I, явл. 1). У Мольера таким примером могут служить сцены Альсеста и Филинты (д. I, явл. 1) и в особенности Арсинои и Селимены (д. III, явл. 5) в «Мизантропе» и т. д. Вообще следует сказать, что традиция допускала гораздо большее количество пространных реплик и, что особенно важно, у большего числа персонажей, чем это мы находим в «Горе от ума».

связи с тем, что диалог происходит между персонажами, не видящими друг друга и, следовательно, не беседующими, а только обменивающимися необходимыми вопросами и ответами, причем вопросы тавтологичны, а это вызывает тожественность метрической формы не только вопросных, но и ответных реплик.

Иной характер имеет скопление подобных реплик в II, 408—411. Здесь шесть реплик в неполный стих, следующих подряд, причем вторая представляет собой конец одного стиха и начало другого. Это то место комедии, в котором на сцене с криком появляется Софья, испуганная падением Молчалина с лошади. Предшествующие два явления, занятые сценой Фамусова, Чацкого и Скалозуба, отличаются напряженностью идейной борьбы, но по внешнему действию статичны. В них вторая из упомянутых пар монологов Фамусова и Чацкого, каждый в 57 стихов, и всего несколько одиночных реплик в один стих и ни одной реплики в неполный стих на пространстве в 220 стихов. И вот, после такого спокойного и длинного эпизода, внезапное появление Софьи, ее громкие восклицания, ее обморок, волнение, которое порождает ее появление в Чацком, недоумение Скалозуба со стороны своего драматургического эффекта находят себе естественное выражение в серии коротких, быстро сменяющихся, как бы перебивающих одна другую, отрывистых реплик:

Софья (бежит к окну). Ах! Боже мой! упал! убился! (падает в обморок). **Чацкий.** Кто? Кто это? **Скалозуб.** С кем беда? **Ч.** Она мертва со страху. **Ск.** Да что? Откудова? **Ч.** Ушибся обо что?

Замечательно, что и начальная реплика Софьи, составляющая почти полный стих (в нем не хватает лишь одного заключительного ударного слога), состоит из одних отрывочных восклицаний, как если б это было четыре коротких реплики, произносимых подряд одним и тем же действующим лицом.

Опять по-другому обставлено скопление реплик в неполный стих в третьем случае, именно в сцене Софьи и г. N., кладущей начало появлению интриги против Чацкого (III, 436 и сл.):

Г. N. (подходит). Вы в размышленьи? **С.** Об Чацком. **Г. N.** Как его нашли по возвращеньи? **С.** Он не в своем уме. **Г. N.** Ужли с ума сошел? **С.** (помолчавши). Не то, чтобы совсем... **Г. N.** Однако есть приметы? **С.** (смотрит на него пристально). Мне кажется. **Г. N.** Как можно, в эти леты!

В этом случае смена реплик характеризуется замедленным темпом. Софья говорит неторопливо, сначала в задумчивости, затем — взвешивая каждое слово, осторожно обдумывая возможные последствия внезапно явившегося у нее плана мести Чацкому, причем такой характер ее речи только оттеняется еще резче возрастающей настойчивостью назойливых вопросов заинтригованного г. N. Несколько ниже игра на быстром чередовании кратких реплик возобновляется в диалоге г. N. и г. D., представляющем собою вторую стадию распространения сплетни. Стих, с которого начинается этот диалог (III, 477), разбит на целые четыре реплики, все — вопроси-

тельной интонации и, разумеется, очень короткие, не более трех слогов каждая:

Г. N. Ты слышал? **Г. D.** Что? **Г. N.** Об Чацком? **Г. D.** Что такое?

Быстрота смены этих вопросов и сжатость их сразу вводит зрителя в атмосферу того, что́ вслед за тем происходит на сцене, где в несколько мгновений многолюдная толпа оказывается охваченной пожаром сплетни, возникшим, как из искры, из случайной обмолвки Софьи. Общее напряжение поддерживается, помимо прочего, бессмысленным и упрямым спором Фамусова и Хлестовой о количестве крепостных душ у Чацкого (следует подряд шесть реплик в неполный стих и без перерыва четыре реплики в один стих, III, 533—556), и, наконец, при появлении Чацкого все затихает на трех максимально кратких междометных репликах, представляющих собою в двух случаях уже упоминавшийся слог из шумного согласного, и эффектно заключающих весь этот блестяще разработанный сценический эпизод:

«Вот он! — Шш!— Шш!»

Мы видим, следовательно, что те своеобразные фигуры, в которые складываются в «Горе от ума» скопления тожественных или однородных реплик, всякий раз мотивированы драматургически, с применением все новых, разнообразных средств драматургического искусства. К соответствующим заключениям приводит также анализ фигур иного рода, например анализ скоплений однострочных реплик (II, 129 и 154), реплик в стих с неполным стихом (III, 203) и др. Но еще интереснее то многообразие способов, какими осуществляется в «Горе от ума» соединение соседних реплик, как отдельных элементов, из сочетания которых слагается связное целое драматургического текста.

II

Всякая новая реплика так или иначе связана с тем, что ей предшествует, но эта связь может быть разной природы. Так, она может обнаруживаться просто в том, что происходит на сцене в момент произнесения данной новой реплики. Эта реплика может быть не чем иным, как введением в развитие действия известного нового мотива, что особенно часто имеет место с появлением на сцене лица, ранее на ней не находившегося, т. е. со сменой так называемого явления. Ср., например II, 188: **Фамусов.** Сергей Сергевич, к нам сюда-с, и т. д., что составляет начало 5 явления II акта; или начало 2 явления III акта, когда появляющаяся на сцене Лиза предупреждает Софью, что сейчас к ней придет Молчалин (III, 134). Но такой же поворот действия, выражающийся в появлении реплики, которая содержит новый мотив, возможен и без смены явлений. Так, диалог Софьи и Чацкого в 1 явлении III акта очевидно меняет свой характер со стиха III, 21, когда активность в ведении диалога переходит от Чацкого к Софье. До тех пор Чацкий руководил диалогом, «допрашивая» Софью, а с этого момента (Хотите ли знать истины два слова?) вопросы начинает задавать Софья. Новая реплика может слу-

жить также выражением такого поведения действующего лица, какое определяется тем, что данное действующее лицо в ходе сценического действия увидело, узнало, почувствовало что-нибудь новое. Словесная реакция персонажа на развивающееся из предшествующих новое сценическое положение снова возможна как в начале, так и в середине явления, например I, 447, **Фамусов.** Вот и другой! Или II, 409, **Чацкий.** Она мертва со страху! III, 385, **Чацкий.** Не поздоровится от этаких похвал... и многие другие. Нередко подобные реплики представляют собой явное или скрытое à parte, то есть выражение мысли и чувства по поводу узнанного, воспринятого, адресуемое не к присутствующим на сцене партнерам персонажа, а к самому себе, например II, 396: **Фамусов.** Уж втянет он меня в беду. Или: III, 219: **Чацкий.** С такими чувствами, с такой душою. Любим! и др.

Но гораздо чаще новая реплика так или иначе связана не просто с тем, что происходит на сцене, и с тем, что делают действующие лица, но также и с тем, что они г о в о р я т. Реплики, представляющие собой реакцию на сказанное партнером, чрезвычайно разнообразны по своим функциям. Это может быть ответ на вопрос, возражение, одобрение, разъяснение к сказанному, проявление эмоции по поводу сказанного и т. д. Ср., например I, 153: **Фамусов.** Что за история? **Софья.** Вам рассказать? **Ф.** Ну да. I, 316: **Чацкий.** ...И вот за подвиги награда! **С.** Ах! Чацкий, я вам очень рада. II, 415: **Л.** ... Он об землю и прямо в темя. **Скалозуб.** Поводья затянул, ну жалкий же ездок. II, 482: **Ск.** Так для поддержки ищет мужа. **С.** Ах, Александр Андреевич, вот. Явитесь вы вполне великодушны. III, 271: **Наталья Дмитриевна.** Все рюматизм и головные боли. **Чацкий.** Движенья более. В деревню, в теплый край... IV 60: **Репетилов.** ...Да разразит меня господь. **Ч.** Да полно вздор молоть, и т. д. Во всех этих случаях новая реплика представляет собой выражение того, что думает или чувствует персонаж по поводу услышанного непосредственно от партнера, с его слов, а иногда, как в последнем из приведенных примеров, и по поводу самого характера речи партнера. Очень часто эти реплики начинаются словами, обозначающими то или иное обращение к партнеру, особенно часто — именительный падеж в звательной функции и формы повелительного наклонения, например I, 96: **С.** Позвольте, батюшка, кружится голова. I, 200: **Ф.** Боюсь, сударь, я одного смертельно... IV, 86: **Ч.** Послушай, ври, да знай же меру. IV, 223: **Загорецкий.** Извольте продолжать ... и т. д. Здесь возникает много вопросов, очень важных для анализа драматургической техники и независимо от ее связи с данными языка. Сюда относится, например, вопрос о том, сколько лиц участвует в диалоге, и если, к примеру, их трое, то обращена ли новая реплика к лицу, произнесшему предшествующую реплику, или же к третьему из присутствующих, и т. п. Ср., например, в «Горе от ума» случаи параллельных реакций двух лиц на слова третьего (II, 408—9, 452, 502), а также обращения двоих сразу к одному (II, 150—2), приведенное уже выше обращение Софьи

к Чацкому по поводу слов Скалозуба (II, 483) и др. Не вдаваясь в подробное рассмотрение всего этого материала, здесь я не могу, однако, не коснуться такого вида новой реплики, какой она принимает, когда представляет собой продолжение предыдущей реплики того же персонажа, на время прерванной кем-нибудь из партнеров. Возникающие таким путем вставные реплики могут служить толчком для продолжения прерываемой реплики, как например, I, 343: **Ч.** ...Вы помните? Вздрогнем, чуть скрипнет, столик, дверь... **С.** Ребячество! **Ч.** Да-с, а теперь. В семнадцать лет вы расцвели прелестно... Или III, 202: **Молчалин.** ...Вот сам Фома Фомич, знаком он вам? **Ч.** Ну что ж! **М.** При трех министрах был начальник отделенья. Но это могут быть и такие реплики, которых прерываемый персонаж как бы вовсе не замечает, продолжая свою речь вполне независимо от слов партнера, причем здесь возможны совершенно различные мотивировки подобной формы диалога. Например, в III, 191 Молчалин продолжает говорить о Татьяне Юрьевне, ничем не реагируя на саркастическое замечание Чацкого: «Я езжу к женщинам, да только не за этим». В I, 275 Лиза продолжает свою сочувственную речь о Чацком («Где носится? в каких краях?»), игнорируя недоброжелательную его характеристику в предшествующей реплике Софьи. Комически мотивирована эта форма диалога во 2 и 3 явлениях II акта, где сначала Чацкий продолжает свою горячую проповедь, не обращая внимания не негодующую реакцию Фамусова, а вслед за тем роли меняются, и Фамусов продолжает твердить свое, не слушая берущего примирительный тон Чацкого и даже не замечая и не слыша слугу, явившегося с докладом о прибывшем с визитом Скалозубе[1]. Но совсем особый лингвистический интерес представляют такие соединения реплик, при которых в смежных частях сменяющихся реплик обнаруживаются факты языка, относящиеся к родственным или вообще сопоставимым языковым категориям. «Горе от ума» содержит очень богатый и разнообразный материал этого рода, лишний раз свидетельствуя о Грибоедове как вдумчивом и изобретательном мастере художественной сценической речи. Основные виды такой связи реплик следующие.

Прежде всего конец одной реплики и начало другой могут содержать одно и то же слово. В особенности здесь выделяются случаи, в которых повторение слова в начале новой реплики представляет собой чисто словесную ссылку на сказанное раньше партнером. Например, в I, 248 Лиза заканчивает реплику, содержащую первое упоминание о Чацком так: «Давно прошло, не воротить, А помнится...». Софья с раздражением прерывает Лизу: «Что помнится?». Разумеется, здесь слово *что* не может пониматься как

[1] В русской и европейской драме конца XIX в., например у Чехова, у Ибсена, такое разобщение реплик персонажей, при котором диалог превращается как бы в параллельно протекающие и взаимно не связанные цепи реплик, стало одним из существенных средств обновления драматургического стиля. Чрезвычайно интересные образцы такого диалога находим, например, во II акте «Вишневого сада».

подлежащее, и смысл слов Софьи приблизительно таков: что ты хочешь сказать этим словом *помнится?* Подобные ссылки на произнесенное партнером слово, повторение именно слова, а не мысли партнера, находим еще в нескольких случаях. Например, I, 26: **Л.** Нет, сударь, я... лишь невзначай... **Ф.** Вот то-то невзначай. III, 499: **Платон Михайлович.** Ну, все, так верить поневоле. А мне сомнительно. **Ф.** (входя). Чего сомнительно? Возможны и каламбурные построения этой формы, как например I, 52: **Л.** Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь: Всё слышут... **Ф.** Всё ты лжешь..., где Грибоедов воспользовался синтаксической омонимичностью слова *всё* как дополнения и как обстоятельства.

Независимо от указанного случая повторение сказанного слова в новой реплике может осуществляться также при условии изменения парадигматической формы слова, то есть изменения падежа, рода, времени глагола и т. п., с разнообразными оттенками в самом содержании этого приема. При этом может дублироваться и синтаксическая конструкция, в которую входит слово, но она может быть также совсем иной. Вот несколько примеров из числа многих. I,21: **Л.**... ...Ах, барин! **Ф.** Барин, да. I, 34: **Л.** Ну, кто придет, куда мы с вами? **Ф.** Кому сюда прийти? I,73: **С.** Счастливые часов не наблюдают. **Л.** Не наблюдайте, ваша власть. I,142: **С.** ...Шел в комнату, попал в другую. **Ф.** Попал, или хотел попасть? I, 317: **С.** ...Ах, Чацкий, я вам очень рада. **Ч.** Вы рады? В добрый час. I, 358: **С.** ...Где же лучше? **Ч.** Где нас нет. I,464: **Ф.** Не верь ей, все пустое... **Ч.** Я верю собственным глазам. II, 57: **Ч.** Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали? **Ф.** Сказал бы я, во-первых, не блажи... II, 228: **Ск.** Об деревне книги стал читать. **Ф.** Вот молодость! читать! II, 249: **Ск.** Об них как истинный философ я сужу; Мне только бы досталось в генералы. **Ф.** И славно судите... III, 168: **М.** Нет-с, свой талант у всех... **Ч.** У вас? **М.** Два-с: Умеренность и аккуратность. **Ч.** Чудеснейшие два. III, 217: **М.** Ведь надобно ж зависеть от других. **Ч.** Зачем же надобно? IV, 69: **Р.** Скажи, который час? **Ч.** Час ехать спать ложиться. Коли явился ты на бал, Так можешь воротиться. **Р.** Что бал? IV, 119: **Р.** Шумим, братец, шумим. **Ч.** Шумите вы, и только? Отдельные случаи применения этого приема особенно эффектны. Таково, например, повторение слова, первый раз сказанного в реплике того вставного типа, о котором упомянуто выше. В I, 387 Софья отвечает на моралистические сентенции Чацкого язвительным замечанием: «Вот вас бы с тетушкою свесть, чтоб всех знакомых перечесть». Чацкий не обращает никакого внимания на смысл реплики Софьи, но подхватывает ее слова *с тетушкой* и пользуется ими как поводом для продолжения своих сатирических выпадов, тем самым парализуя действие произнесенной по его адресу колкости: «А тетушка? все девушкой, Минервой? Все фрейлиной Екатерины Первой?» и т. д. Любопытны также некоторые случаи скопления таких реплик с лексическими репризами. В I,34 и сл. указанным примером связывается целая цепь коротких реплик, которыми обмениваются Фамусов и Лиза, что придает их диалогу особую живость и остроту.

Л. Ну, кто *придет*, куда мы с вами? **Ф.** Кому сюда *прийти*? [Ведь Софья спит? **Л.** Сейчас започивала. [**Ф.** *Сейчас! А ночь?* **Л.** *Ночь* целую читала. Для оценки этого места следует еще принять во внимание семантическую связь слов *спит — започивала*, а также параллелизм метрической формы обеих последних реплик Лизы и Фамусова в неполный стих, о чем еще будет идти речь ниже. В другом роде сцена Чацкого с супругами Горичами (III, 250 сл.), в течение которой Чацкий упорно всякий раз повторяет, словно в недоумении, слова своих собеседников. **П. М.** [Брат, женишься, тогда меня вспомянь! [*От скуки* будешь ты свистеть, одно и то же! [**Ч.** *От скуки!* как? Уж ей ты платишь дань?... **Н. Д.** Платон Михайлыч мой *здоровьем* очень *слаб.*] **Ч.** *Здоровьем слаб!* Давно ли?... **Н. Д.** Платон Михайлыч г о р о д любит [*Москву*, за что в глуши он дни свои погубит?] **Ч.** *Москву* и *город*... Ты чудак! Нетрудно видеть, что подобное придирчивое отношение Чацкого к репликам своих собеседников имеет прямую связь с его общим обликом безжалостного разоблачителя-моралиста, видящего неправду во всем, что его окружает. Не случайно и в предшествующей сцене с Молчалиным (явл. 3) наблюдаем такую же цепь лексических реприз, как описанного типа, так и описываемых ниже в репликах, которыми реагирует Чацкий на слова Молчалина. Во всяком случае, ни один другой персонаж «Горя от ума» не склонен прибегать в такой мере к постоянному повторению, нередко — передразниванию, слов своих партнеров, как Чацкий.

Однако простое повторение слова на границах смежных реплик есть лишь простейший случай той связи реплик средствами сопоставимых категорий языка, о которой здесь говорится. В порядке усложняющихся разновидностей этой связи следует теперь упомянуть о соединении реплик при помощи разных слов общего словообразовательного гнезда. При этом оба слова, скрепляющие таким способом соседние реплики, могут принадлежать к одному и тому же грамматическому классу, к различным разрядам слов того же класса и к словам различных грамматических классов, так что не остаются забытыми самые разнообразные средства внутреннего и внешнего словообразования, какими располагает русский язык. В следующих примерах оба скрепляющие слова — имена существительные: 1,28: **Ф.** Ой, зелье, баловница. [**Л.** Вы *баловник*, к лицу ль вам эти лица! II, 216: **Ф.** Однако *братец* ваш мне друг и говорил, [Что вами тьму отличий получил. [**Ск.** В тринадцатом году мы отличались с *братом*. В следующих примерах оба скрепляющие слова — глаголы, преимущественно различающиеся присутствием приставки в одном случае и отсутствием ее в другом: I, 45: **Л.** ...*разбудите*, боюсь. [**Ф.** Чего *будить*? Сама часы заводишь... I, 214: **С.** Ты можешь посудить... [**Л.** *Сужу-с* не по рассказам. Интересна связь трех глаголов в II, 60: **Ф.** А главное поди-тка *послужи* [**Ч.** *Служить* бы рад, *прислуживаться* тошно. В III, 160: **М.** *По-прежнему-с*. **Ч.** А *прежде* как живали? оба скрепляющие слова — наречия разных типов. Разные и дале-

кие друг от друга типы существительных представлены скрепляющими словами в I,30: **Ф.** Скромна, а ничего кроме [Проказ и *ветру* на уме. **Л.** Пустите, *ветреники* сами... Пример этот особенно интересен вследствие того, что содержит поэтический прием словообразовательного приравнения двух слов, связь которых в живой речи не представляется несомненной. Нередки в «Горе от ума» также примеры скрепления реплик при помощи слов с общей первичной основой, но принадлежащих к разным грамматическим классам. Например, I, 62: **Л.** ...До *света* запершись, и кажется все мало. [**С.** Ах, в самом деле *рассвело*! (Ср. дальше: И *свет* и грусть...) I, 161: **С.** Знаете, кто в *бедности* рожден... **Ф.** ...Кто *беден*, тот тебе не пара. I, 463: **Ф.** О ком ей *снилось*? что такое? **Ч.** Я не отгадчик *снов*. II, 338: **Ф.** Не я один, все также *осуждают*. **Ч.** А *судьи* кто? III, 175: **М.** Как *удивлялись* мы! **Ч.** Какое ж *диво* тут? III, 207: **М.** *Читали* вы? **Ч.** Я глупостей не *чтец*. IV, 188: **Р.** ...А во-вторых, таким вещам *научат*... **Ск.** Избавь. *Ученостью* меня не обморочишь, и др.

Очень интересен следующий вид рассматриваемой связи реплик, который можно было бы назвать собственно семантическим. Сюда относятся те случаи, в которых в роли скрепляющих слов выступают слова с родственными типами значений. Так, в известных случаях вторая реплика содержит местоимение, замещающее собой то или иное слово первой реплики, например I, 186: **М.** С бумагами-с, **Ф.** Да, *их* не доставало... или IV, 230: **Заг.** Как думаете вы об Чацком? **Р.** *Он* не глуп. К этому типу близко примыкает I, 415: **С.** Смесь языков? **Ч.** Да, *двух*.., что иллюстрирует известную близость в семантических функциях местоимения и числительного, которое в некоторых положениях способно замещать собой название предмета. Далее, особого внимания заслуживают чисто местоименные соединения реплик, то есть такие, при которых в смежных репликах находим разные местоимения одного класса, фактически обозначающие тот же предмет мысли, например, I, 78: **Ф.** Молчалин, *ты* брат? **М.** *Я-с*. Или 1,462: **Ф.** Вот *ты* задумал... **Ч.** *Я*. Ничуть. Ср. также III, 130: **Ч.** Лицом и голосом герой...] **С.** Не *моего* романа. [**Ч.** Не *вашего*? Кто разгадает вас? Сюда относятся далее случаи скрепления реплик синонимическими выражениями, как например II, 461: **Ск.** И что-ж? — весь страх *из ничего*. [**С.** Ах! очень вижу, *из пустова*... Или III, 437: **С.** Он *не в своем уме*. **Г. N.** Ужли с *ума сошел*?] Ср. также упоминавшийся выше пример I, 37: **Ф.** Ведь Софья *спит!* **Л.** Сейчас *започивала*. Есть в «Горе от ума» и несколько случаев скрепления смежных реплик средствами антонимии, например, II, 516: **М.** Нет, Софья Павловна, вы слишком *откровенны*.[**С.** Откуда *скрытность* почерпнуть? III, 316: **Графиня-внучка.** Вернулись *холостые*? [**Ч.** На ком *жениться* мне? Ср. еще II, 323: **Ф.** Дома и все на *новый* лад] **Ч.** Дома *новы*, но предрассудки стары.., где прием антонимии сочетается с лексическим повторением.

Наконец, очень важно отметить и некоторые способы синтаксического скрепления соседних реплик. Речь идет о тех специфических

явлениях диалогической речи[1], которые состоят в том, что вторая реплика содержит члены предложения, служащие восполнением синтаксического состава первой, или же вообще продолжает предшествующую реплику синтаксически. Так, например, в I, 417: **Ч.** По крайней мере не надутой..., помимо общей связи данной реплики с предшествующей по синтаксису, слово *надутой* имеет в виду слово *один* (то есть один язык), принадлежащее предшествующей реплике. Ср. III, 297: **3-я княжна**. Какой *эшарп* cousin мне подарил! **4-я княжна.** Ах! да,— *барежевый*. Соответствующее распределение между двумя репликами сказуемого и обстоятельства находим в II, 221: **Ф.** Имеет, кажется, в петличке орденок? **Ск.** За третье августа. Этот пример тем интереснее, что здесь присоединение обстоятельственного выражения служит вместе с тем и утвердительным ответом на вопрос. Несколько ниже (III, 225) видим любопытный пример присоединения второго и иными морфологическими средствами выраженного сказуемого к первому, находящемуся в предшествующей реплике, при помощи противительного союза: **Ф.** Прекрасный человек двоюродный ваш брат. [**Ск.** Но крепко набрался каких-то новых правил. Комически мотивирован прием завершения предложения другим персонажем в II, 542: **М.** Ее] По должности, тебя... (хочет обнять ее). **Л.** От скуки. Прошу подальше руки! Разновидность этого приема — продолжение другим персонажем такого предложения, которое уже и само по себе закончено; ср. III, 10: **Ч.** Я этого желал. **С.** (про себя). И очень невпопад.

Таковы способы соединения смежных реплик собственно лингвистическими средствами. При всем их разнообразии и при всем разнообразии достигаемых их умелым применением художественных эффектов их общая художественная функция одна, именно поддержание того драматического напряжения, которое есть необходимое условие развития сценического действия. Но «Горе от ума» написано в стихах, и было бы странно, если б для той же общей драматургической цели в комедии не были применены также средства стихосложения. И действительно, нередко в «Горе от ума» наблюдаем также тонкое применение средств рифмы и метрики как одного из способов такого развертывания сценической речи во времени, при котором отдельные реплики представляют собой не изолированные высказывания, а движущиеся передаточные механизмы с разнообразными формами сцепления между ними.

Рифма служит сцеплением такого рода трояко, и прежде всего со стороны своей каталектики, то есть метрической формы конца стиха. Грибоедов очень тщательно соблюдает то правило классического стихосложения, в силу которого женские рифмы с неуклонной строгостью сменяются мужскими и наоборот, так что во всем тексте комедии нет ни одного случая, где это правило было бы нару-

---

[1] По вопросу о диалогической речи есть интересная, однако слишком общего содержания, статья Л. П. Якубинского, см. «Русская речь». Сборники статей под ред. Л. В. Щербы, I, II, 1923, стр. 96 сл.

шено [1]. Поэтому, если цепь рифм в данной реплике замкнута, то следующая реплика начинается рифмами противоположной каталектики, так что разными персонажами произносится текст с сплошным и выдержанным каталектическим рисунком. Например, один из монологов Чацкого (I, 358) заканчивается так:

Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж пространствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен!

Последний стих — женский, а потому следующая после этого реплика Софьи имеет мужскую рифму:

Вот вас бы с тетушкою свесть,
Чтоб всех знакомых перечесть,—

а возобновляющийся вслед за тем монолог Чацкого начинается снова женскими стихами:

А тетушка? все девушкой, Минервой?
Все фрейлиной Екатерины Первой? И т. д.

Частные разновидности чередования каталектических форм на границах смежных реплик могут быть различны, в зависимости от самой системы рифмовки в каждом данном случае, но нет необходимости подробно на этом останавливаться вследствие полной прозрачности самого явления.

Более специальная функция рифмы, как способа соединения реплик, состоит в том,что рифмующие строки (или концы строк) разнесены по разным репликам. Здесь надо различать два случая. В первом оба члена рифмы находятся в двух репликах, произносимых одним и тем же лицом, но разъединенных вставной репликой партнера. Во втором случае две реплики, содержащие порознь по одному члену той же рифмы, принадлежат разным персонажам. Первые случаи встречаются, естественно, реже, например I, 14—15: **Л.** ...Да расходитесь. Утро.— *Что-с?* [**Голос Софьи.** Который час? **Л.** Все в доме поднялось. [**С.** (из своей комнаты). Который час? **Л.** Седьмой, осьмой, *девятый*. **С.** (оттуда же). Неправда. **Л.** (прочь от дверей). Ах! амур *проклятый!* Ср. II, 32—34: **Ф.** А! Александр Андреич! *Просим* [Садитесь-ка. **Ч.** Вы заняты? **Ф.** (слуге). Поди (слуга уходит). [Да, разные дела на память в книгу *вносим*. Или с двойной

[1] В интересах полной точности надо оговориться, что двустрочная реплика Графини-внучки на французском языке (III,325) не входит в общую цепь реплик по своей каталектической форме. Реплика эта имеет женское окончание (diligente — attente), но ей уже предшествует женское окончание в соседней реплике Чацкого (оригиналы *спискам*). Нельзя в то же время считать каталектику этой французской реплики мужской (что было бы вряд ли возможной для Грибоедова ошибкой во французском языке), так как за ней следует окончание мужское, в реплике Загорецкого (имеете *билет*). Таким образом, указанную французскую реплику просто нужно выключить из рассмотрения. Попутно следует отметить, что в другой реплике того же персонажа Je vous dirai toute l'histoire (III, 477) конечное слово, как и следовало ожидать, идет за женское, так как рифмует со словом *пожара* соседней реплики.

рифмой: I, 46—49: **Ф.** Чего будить? Сама часы *заводишь*, на весь квартал симфонию гремишь. [**Л.** (как можно громче). Да полноте-с! **Ф.** (зажимая ей рот). Помилуй, как *кричишь!* с ума ты *сходишь?* Или с перерывом в два стиха: I, 349—352: **Ч.** ...прошу мне дать ответ, [Без думы, полноте *смущаться*. [**С.** Да хоть кого смутят] вопросы быстрые и любопытный взгляд. [**Ч.** Помилуйте, не вам, чему же *удивляться?* Разумеется, две такие реплики одного и того же персонажа не могут отстоять далеко одна от другой. Однако при условии краткости промежуточных реплик их может быть и несколько, ср., например, III, 136—138. **С.** Простите, надобно идти мне *поскорей*. [**Ч.** Куда? **С.** К парикмахеру. **Ч.** Бог с ним. **С.** Щипцы простудит.] **Ч.** Пускай себе. **С.** Нельзя, ждем на вечер *гостей*. Здесь две рифмующие реплики Софьи разделены целыми пятью короткими репликами, принадлежащими ей же самой и Чацкому. Особого внимания требуют случаи, в которых встречаются и перекрещиваются две пары подобных реплик, принадлежащих попарно разным персонажам, например, II, 520—523: **С.** Смешно? — пусть шутят их; досадно?— пусть *бранят*. [**М.** Не повредила бы нам откровенность *эта*.] **С.** Неужто на дуэль вас вызвать *захотят?* **М.** Ах, злые языки страшнее *пистолета*. Здесь первая реплика Молчалина рассекает реплики Софьи, а вторая реплика Софьи рассекает реплики Молчалина, причем каждый из участвующих в диалоге имеет как бы «свою» рифму. Ср. еще III, 209—212: **М.** Нет, мне так довелось с приятностью *прочесть*. [Не сочинитель я... **Ч.** И по всему *заметно*.] **М.** Не смею своего сужденья *произнесть*. **Ч.** Зачем же так *секретно*? и т. д. Более подробное описание всех разновидностей такого попарного переплетения реплик при помощи рифмы здесь может быть оставлено в стороне [1], но необходимо обратить внимание на то, что таким путем не только подчеркивается самостоятельность каждого из голосов, участвующих в диалоге, но также достигаются и некоторые более тонкие драматургические эффекты. Выше сказано уже было о таких репликах, которые представляют собой по существу прямое продолжение предшествующей реплики того же персонажа, временно прерванного партнером. Естественно, что наличие общей рифмы у двух таких реплик одного лица еще сильнее подчеркивает связь, существующую между этими репликами по их содержанию. В подобных случаях наблюдаем такое совпадение внешней формы и внутренней сущности реплик, какое нельзя не признать полным глубокой художественной значительности. Поэтому, с точки зрения объективного художественного анализа, нельзя видеть простую случайность в том, например, факте, что описанная выше реплика Чацкого, в которой он парирует ироническое замечание Софьи «Ребячество!» в конце своего первого стиха (I, 343) содержит слово *теперь*, рифмующее с последним словом *дверь* его предшествующей реплики, прерванной восклицанием

[1] Подробные данные о рифме «Горя от ума» в связи с репликой содержатся в названной работе В. А. Филиппова, стр. 20 сл.

Софьи. Не случайно и упомянутая выше сцена комической распри Фамусова и Чацкого (II, явл. 2 и 3)изобилует такими рифмами, переплескивающимися из одной реплики персонажа в его же другую. Фамусов (II, 143) говорит: «Добро, заткнул я *уши*», и действительно как бы не слышит далее реплик партнера, потому что в своих ближайших репликах по преимуществу придерживается только «своей»рифмы,вынуждая к тому же и собеседника, именно:**Ф.** Вот рыскают по свету, бьют *баклуши*, [Воротятся, от них порядка *жди*!] **Ч.** Я перестал. **Ф.** Пожалуй, *пощади*, и далее: Тебя уж *упекут* [Под суд, как пить *дадут*.] **Ч.** Пожаловал к вам кто-то *на дом*. [**Ф.** Не слушаю, *под суд*! **Ч.** К вам человек с *докладом*.] **Ф.** Не слушаю, под суд, *под суд*! Примечательная подробность этой сцены заключается в том, что фамусовские рифмы на *-ут* находят себе продолжение еще и в середине стихов, вследствие частого повторения выражения *под суд*, а так как стих в «Горе от ума» по своей длине колеблется от одной ямбической стопы до шести, то нет никаких объективных способов различить *два* (как написано) или *три* (как может прозвучать) стиха в реплике: «Тебя уж *упекут*] Под *суд*; как пить *дадут*.»

Другая любопытная подробность в применении описываемого приема заключается в том, что такие рифмы, связывающие две реплики одного персонажа, приходятся порою на слова, так или иначе характеризующие собой данное действующее лицо в его сценическом поведении и особенностях речи. Так, Наталья Дмитриевна надоедает мужу не только своей преувеличенной заботливостью, но и сплошной цепью рифм, замыкающейся в пределах ее же собственных реплик, причем первая такая рифма состоит из уменьшительно-ласкательных слов, несомненно, составляющих одну из черточек ее сценического портрета (III, 277): **Н. Д.** Ах! мой *дружочек*! [Здесь так свежо, что мочи нет]. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет. [**П. М.** Теперь, брат, я не тот. **Н. Д.** Послушай-ся *разочек*.] Мой милый, застегнись *скорей*. [**П. М.** (хладнокровно). Сейчас. **Н. Д.** Да отойди подальше от *дверей*.] Сквозной там ветер дует *сзади*! [**П. М.** Теперь, брат, я не тот... **Н. Д.** Мой ангел, *бога ради*] и т. д. Несколько ниже (III, 300) встречаем в рифме, связывающей две реплики княгини Тугоуховской, такое же подчеркивание характерной для нее языковой приметы. Она состоит в особом интонировании слов, которое Грибоедов хотел передать разделением слова на слоги при помощи черточек, именно: **Н. Д.** Приезжий, Чацкий. **Княгиня.** От-ставной? **Н. Д.** *Да*, путешествовал, недавно воротился. [**Кн.** И хо-ло-стой? Ср. другие случаи такого же выговора в репликах княгини: *бо-гат* (снова в рифме, III, 309), *педа-го-гический* (может быть, здесь присоединяется мотивировка непривычностью для княгини этого нового иноязычного слова). Подобные же рифмы по краям коротеньких реплик г. N. *(в размышленьи? — по возвращеньи? — есть приметы? — в эти леты!* III, 436 сл.) снова создают гармонию внешней экспрессии этих вопросов и той любопытствующей назойливости, какой они характеризуются в своем существе. Нельзя, наконец, не отметить мастерского штриха в образе Платона

Михайловича, штриха, состоящего в том, как этот персонаж произносит последние несколько слов своей роли (IV, 20): Ведь сказано ж иному *на роду*... **Лакей** (с крыльца). В карете барыня и гневаться изволит.] **П. М.** (со вздохом). Иду, *иду*. Здесь не только от слов, но и от ритма заключительной строчки и образуемой ею рифмы, призванной заменить собой недосказанную мысль, веет той тоскливой и вместе с тем комической безнадежностью, в духе которой выдержан весь этот образ.

Как уже отмечено, чаще встречаются в «Горе от ума» другого рода разрозненные по репликам рифмы, именно такие, составные части которых объединяют реплики, принадлежащие не одному, а двум персонажам, то есть, например, I, 73—74: **Л.** ...*А* в доме стук, ходьба, метут и *убирают*. [**С.** Счастливые часов не *наблюдают*. I, 258—259: **Л.** Бедняжка, будто знал, что года через *три*... **С.** Послушай, вольности ты лишней не *бери*... II, 337—338: **Ч.** ...И похвалы мне ваши *досаждают*.] **Ф.** Не я одни, все также *осуждают*. III, 327—328: **Заг.** На завтрашний спектакль имеете *билет*? [**С.** *Нет*. IV, 66—67: **Ч.** Вот странное *уничиженье*!] **Р.** Ругай меня, я сам кляну свое *рожденье*, и многие другие. Эти рифмы не должны непременно быть парными, то есть могут находиться и не непосредственно в смежных стихах, например I, 144—147: **Ф.** ...Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы *случайно*. [**С.** Вот в чем, однако, случай весь:] давече вы с Лизой были здесь, [Перепугал меня ваш голос *чрезвычайно*. Так распределяться по разным репликам могут и по два рифмующих стиха, например, III, 123—126: **С.** ...Чужих и в кривь и вкось не *рубит*! [Вот я за что его *люблю*! **Ч.** (в сторону). Шалит! она его не *любит*.] (Вслух.) Докончить я вам *пособлю*, и т. д. Реплики, содержащие рифмующие стихи, могут разделяться также промежуточными репликами, как например, II, 494: **Ск.** Явлюсь, но к батюшке зайти я обещался,] Откланяюсь. **С.** Прощайте. **Ск.** (жмет руку Молчалину). [Ваш слуга. (Уходит.) **С.** Молчалин, как во мне рассудок цел *остался*! [Ведь знаете, как жизнь мне ваша *дорога*! Ср. еще III, 167—169: **Ч.** Взманили почести и *знатность*?] **М.** Нет-с, свой талант у всех... **Ч.** У *вас*? [**М.** *Два-с*.] Умеренность и *аккуратность*. Одним словом, и здесь, как вообще в «Горе от ума», находим пестрое изобилие вариантов известного художественного приема.

Есть, однако, некоторые из этих вариантов, заслуживающие отдельного упоминания. Так, в известных случаях наблюдаем в «Горе от ума» такое построение из трех реплик, при котором крайние две принадлежат одному персонажу, а средняя — второму, причем эта средняя рифмует сразу с обеими крайними, например III, 403—406: **Хлестова** [(сидя): Вы прежде были здесь... в полку... в том... *гренадерском*?] **Ск.** (басом): В его высочества, хотите вы *сказать*, [Новоземлянском *мушкетерском*.] **Х.** Не мастерица я полки-та *различать*. Такое же построение находим в I, 60—63, II, 132—135, IV, 363—366 и некоторых других случаях. Таким образом, здесь достигается скрепление уже не двух, а трех реплик с помощью рифмы. Различные способы охвата трех реплик общими рифмами

в особенности наглядно свидетельствуют о высоком драматургическом искусстве автора «Горя от ума». Один из самых замечательных образцов этого искусства — конец 5-го, затем 6-е и начало 7-го явлений I акта (I, 301 сл.): **Л.** Хотела я, чтоб этот смех *дурацкий* [Вас несколько развеселить *помог*. Явление 6. Софья, Лиза, Слуга, за ним Чацкий. **Слуга.** К вам Александр Андреич *Чацкий*. (Уходит).] Явление 7. Софья, Лиза, Чацкий. **Чацкий.** Чуть свет уж на ногах! и я у ваших *ног*. Таким образом, пятое явление заканчивается двумя стихами в реплике Лизы, с первым из которых рифмует реплика являющегося с докладом о Чацком слуги, а со вторым — первый стих реплики стремительно появляющегося на сцене вслед за слугой Чацкого. Именно о стремительности первого появления главного героя комедии перед зрителем, о стремительном характере всей вообще смены этих явлений с присущим ей высоким напряжением драматического действия свидетельствует описанная рифмовка, захватывающая сразу реплики трех персонажей, из которых двое при этом находятся в движении. Из числа тонких эффектов, достигаемых таким способом рифмовки на три реплики, надо упомянуть еще о замечательной сцене III акта (ст. 505 сл.), в которой сначала двое персонажей отвечают рифмующими концами своих реплик одному, а вслед за тем, наоборот, один персонаж дает в своей реплике рифмы к предшествующим репликам двух персонажей сразу. Вот это место: **Х.** Туда же из *смешливых*; [Сказала что-то я: он начал *хохотать*.] **М.** Мне отсоветовал в Москве служить в *архивах*. [**Гр.-вн.** Меня модисткою изволил *величать*. Отсюда начинается обратное движение. **Н. Д.** А мужу моему совет дал жить в *деревне*,] **Заг.** Безумный по всему. **Гр.-вн.** Я видела из *глаз*. [**Ф.** По матушке пошел, по Марье *Алексевне*;] Покойница с ума сходила восемь *раз*. Обнаруживающаяся здесь стройность композиции поистине удивительна. Подобные приемы, которые рассеяны на всем протяжении текста «Горя от ума», это подлинные приемы *композиции*, в том же самом смысле, в каком мы говорим о композиции в музыке, со свойственными ей тончайшими методами разработки отдельных тем, составляющими ближайшую аналогию тому виртуозному расположению языкового материала в стихотворных формах, какое мы наблюдаем у лучших поэтов. Здесь Грибоедов не только мастер драматургии, но именно также искуснейший поэт.

Следует также указать, что нередко в «Горе от ума» находим различного рода сочетания обоих описанных способов охвата реплик при помощи рифмовки. Так, один стих данной реплики может рифмовать с предшествующей репликой того же персонажа, а другой — с предшествующей репликой партнера, как например, II, 418: **Ч.** Помочь ей чем? Скажи *скорее*. [**Л.** Там в комнате вода *стоит*.] Стакан налейте. **Ч.** Уж *налит*. Шнуровку отпусти *вольнее*. Такое же построение в обратном порядке находим в II, 462: **С.** (не глядя ни на кого). Ах! очень вижу, из *пустова* — **А** вся еще теперь *дрожу*. [**Ч.** (про себя). С Молчалиным ни *слова*!] **С.** (по-прежнему). Однако о себе *скажу*, и т. д. Ср. еще I, 315—318; III, 514—517; IV, 176—179. Вто-

рой из приведенных здесь примеров интересен еще тем, что представляет собой лишь подробность в сложной системе приемов рифмовки, отчетливо связанной с взаимным сценическим положением действующих лиц. Нельзя не обратить внимания на то, что с того момента, как Софья очнулась от обморока и задала вопрос о Молчалине (II, 435): «Где он? Что с ним? Скажите мне», дальнейший диалог между Чацким и Софьей происходит таким образом, что ответные реплики Софьи содержат и рифмующие концы строк к предшествующим репликам Чацкого: **Ч.** Пускай себе сломил бы *шею*. [Вас чуть было не *уморил*.] **С.** Убийственны холодностью *своею*! [Смотреть на вас, вас слушать нету *сил*. [**Ч.** Прикажете мне за него *терзаться*?] **С.** Туда бежать, там быть, помочь ему *стараться* [**Ч.** Чтоб оставались вы без помощи *одне*?] **С.** На что вы *мне*? Здесь способ рифмовки, таким образом, соответствует самому направлению диалога, развивающегося от Чацкого к Софье. Но после того как Софья овладела собой («Ах! очень вижу, из пустова» II, 462), ее положение по отношению к Чацкому меняется. Направляет движение речи теперь она, а тот только комментирует ее в своих репликах [parte] и с этим связывается также то, что теперь именно репликами Чацкого подаются рифмы к репликам Софьи, ср. 470: **С.** Хоть нет великого несчастья от *того*, [Хоть незнакомый мне, до этого нет *дела*.] **Ч.** (про себя). Прощенья просит у *него*, что раз о ком-то *пожалела*.] В результате мы и здесь имеем право смотреть на подробности, при помощи которых приемы стихосложения формируют взаимную связь реплик, не просто как на механические явления языка и стиха, а как на осмысленные воплощения художественной идеи.

Относительно связи реплик остается указать еще на то, что эта связь имеет чисто метрический характер в случаях, если одна из реплик заканчивается ранее конца стиха и потому лишена рифмы, а другая составляет продолжение или конец того же стиха. Здесь существенное значение принадлежит тому, на каком месте стиха происходит смена реплик. Разумеется, что чем длиннее стих, тем большее число вариантов такой внутристиховой смены реплик возникает. Всего «Горе от ума» заключает 154 случая таких смен реплик внутри стиха, причем 87 из них приходятся на шестистопные стихи, 34 — на пятистопные, 28 — на четырехстопные и 5 — на трехстопные. Среди разнообразнейших вариантов всех этих междустиховых перерывов (всего их можно насчитать сорок) есть некоторые, особенно употребительные, именно те, которые связаны с цезурами классического шестистопного и пятистопного ямба и, следовательно, представляют собой непосредственное приспособление внутренних возможностей стиха к потребностям развертывания сценической речи. Именно, в шестистопных стихах имеем 53 случая смены реплик на цезуре, например III, 181: **М.** Татьяне Юрьевне! **Ч.** Я с нею не знаком; III, 419: **Х.** Спасибо, мой родной! **Ч.** Ну! тучу разогнал; IV, 237: **Р.** Какая чепуха! **Заг.** Об нем все этой веры; I, 464: **Ч.** Я не отгадчик снов. **Ф.** Не верь ей, все пустое и т. д. Надо заметить, что Грибоедов, как истинный представитель классической

школы стихосложения, ни в одном из этих случаев не нарушает цезуры, так же, как не нарушает ее и в случаях, в которых стих разбит на три или даже на четыре реплики, ср., например, IV, 381: **С.** Солжете... **М.** Сделайте мне[1] милость... **С.** Нет. Нет. Или III, 553: **Ф.** Четыре. **Х.** Три, сударь. **Ф.** Четыреста. **Х.** Нет, триста и др. Второй наиболее употребительный вид — это 23 случая внутристиховой смены реплик на цезуре пятистопного ямба, например I, 477: **Ч.** Как хороша! **Ф.** Который же из двух? IV, 301: **С.** Молчалин, вы? **Ч.** Она! она сама! I, 447: **Ф.** Вот и другой! **С.** Ах, батюшка, сон в руку! III, 236: **Н. Д.** Я замужем. **Ч.** Давно бы вы сказали! Также и в пятистопных строках в подобных случаях Грибоедов ни разу не допускает нарушения цезуры[2], причем это остается в силе и по отношению к стихам, разбитым на три и четыре реплики, например, II, 495: **Ск.** *Откланяюсь.* **С.** Прощайте. **Ск.** Ваш слуга. Или III, 447: **Г. N.** Ты слышал? **Г. D.** Что? **Г. N.** Об Чацком. **Г. D.** Что такое? Не излагая здесь остальных подробностей, связанных с формами внутристиховой границы между репликами, укажу, однако, на то что в «Горе от ума» автор воспользовался почти всеми их формами, возможными теоретически, то есть, например, и перерывом после первой и после пятой стопы в шестистопном стихе, как в I, 60: **С.** Что, Лиза, на тебя напало? Шумишь... **Л.** Конечно, вам расстаться тяжело? Или III, 467: **Заг.** Об Чацком; он сейчас здесь в комнате был. **Гр.-вн.** Знаю, также сходными перерывами после первого или перед последним ударным слогом и в пяти- и четырехстопных стихах, как в II, 408: **С.** Ах! Боже мой! упал! убился! **Ч.** Кто? III, 16: **Ч.** Все более меня? **С.** Иные. III, 249: **Н. Д.** Вот мой Платон Михайлыч! **Ч.** Ба! и т. д. Из теоретически возможных 26 видов разделения стиха между двумя репликами в «Горе от ума» находим целых двадцать три. Среди этих двадцати трех есть один, однократное употребление которого в тексте «Горе от ума» порождено вмешательством чужой воли. П. А. Вяземский в статье «Дела иль пустяки давно минувших дней» (1873) рассказывает, что ему принадлежит в тексте «Горе от ума» одна «точка». Именно, стих II, 452, по его словам, первоначально звучал так:

Желал бы с ним убиться для компаньи.

«Тут заметил я,— говорит Вяземский,— что влюбленному Чацкому... неловко употребить пошлое выраженье «для компаньи», а лучше передать его служанке Лизе. Так Грибоедов и сделал: «точка разделила стих на два»[3]. Таким путем возникло в «Горе от ума»

[1] Не касаюсь вопроса о том, в какой мере цезура деформируется энклитиками и проклитиками.

[2] Пятистопные бесцезурные стихи цельные, то есть не разбитые между разными репликами, в «Горе от ума» встречаются, например, II, 30: «Она не родила, но по расчету»; III, 29: «Спаси нас боже!.. Нет. А придерутся», III, 219: «С такими чувствами, с такой душою...»

[3] П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПБ, 1882, стр. 343. Показание Вяземского документально подтверждается рукописью, см. акад. изд. соч. Грибоедова, т. II, стр. 145, и Н. Пиксанов, Творческая история «Горя от ума», стр. 210.

деление пятистопного стиха вида ∪′∪′∪′∪|′∪′∪, которое не было бы представлено в тексте комедии ни одним примером, если бы не Вяземский и его поправка.

Само собою разумеется, что все подобные деления строки на части разных реплик, с точки зрения развития сценической речи, представляют собой не что иное, как новый и своеобразный вид связи смежных реплик. В данном случае реплики связываются тем, что границы их оказываются частями одного и того же стиха. Для уяснения художественной функции именно такого перехода от одной смежной реплики к другой, кроме сказанного выше относительно случаев скопления кратких реплик, достаточно принять во внимание хотя бы тот факт, что это один из лучших и наиболее выразительных способов передачи разного рода перерывов и остановок речи. В упоминавшихся уже случаях IV, 309: **Лакей**. Каре... **Ч.** Сс! (выталкивает его вон). Буду здесь, и не смыкая глазу...а также I, 48: **Л**. Да полноте-с! **Ф**. (зажимает ей рот). Помилуй, как кричишь,—разбираемый прием прямо мотивирован физическим насилием, к которому прибегает один персонаж над другим, чтобы заставить его замолчать. Ср., I, 126: **Л**. Осмелюсь я, сударь... **Ф**. Молчать! К этому близко подходит и отрывистый окрик, каким отвечает Платон Михайлович на обращение к нему Загорецкого в III, 343: **Заг**. Платон Михайлыч... **П. М**. Прочь! Вообще в ряде случаев таким переходом к новой реплике передаются разного рода быстрые, эмоционально-возбужденные или деловито-лаконичные реакции на слова партнеров, на новое сценическое положение, и т. п., как например, III, 249: **Н. Д**. Вот мой Платон Михайлыч. **Ч**. Ба! IV, 234: **Р**. Какая чепуха! **Заг**. Об нем все этой веры! [**Р**. Вранье! **Заг**. Спросите всех. **Р**. Химеры! I, 358: **С**. Где ж лучше? **Ч**. Где нас нет. I, 406: **Ч**. Он не женат еще? **С**. На ком? II, 420: **Л**. Стакан налейте. **Ч**. Уж налит. II, 425: **Ч**. Повеять чем? **Л**. Вот опахало. И многое другое.

III

Описанный прием — последний в ряду тех, которые следовало описать для того, чтобы составить себе представление о том, какими разнообразными и тонкими средствами осуществляется в «Горе от ума» взаимное сцепление реплик как элементов, создающих в своем последовательном присоединении связную сценическую речь комедии. На очереди изучение самих этих реплик в их собственном качестве отдельных единиц драматургического текста.

Первый вопрос, который следует обсудить в этой связи,— это вопрос о монологе. Понятие это нельзя считать вполне ясным. С упрощенной точки зрения монолог — это просто более или менее пространная реплика. Но это только один, и может быть не самый существенный, признак для характеристики отдельной реплики. Сколько-нибудь содержательное определение монологической реплики, естественно, можно получить только путем сопоставления ее с репликой диалогической. Строгих и абсолютных границ между

обоими видами реплик несомненно не существует. Однако в той мере, в какой можно говорить о таких границах, кроме относительно большой и относительно малой протяженности реплик, можно указать еще на три признака в их взаимных различиях. Во-первых, монолог отличается от диалогической реплики более или менее заметной композиционной сложностью, ощутимым построением речи внутри целого [1]. Во-вторых, монологическая реплика, в отличие от диалогической, обращена не вовне, а внутрь, то есть говорящий адресует ее не столько к партнерам, сколько к самому себе, и в связи с этим не непременно рассчитывает на словесную реакцию партнеров. В-третьих, монолог, в большей или меньшей мере, но всегда стремится выйти за непосредственные тематические границы разговора, захватывая собой более обширное содержание, чем то узкое и достаточно необходимое, каким довольствуется обмен репликами в диалоге. Отношение содержания монолога к ходу драматического действия может быть различно, и это создает разновидности монологической реплики. Собственно драматический монолог есть всегда раскрытие характера говорящего в его движении и выражает действие, протекающее в самом действующем. Возможен также монолог с эпическим оттенком, то есть такой, какой повествует о тех или иных не показанных зрителю событиях, которые так или иначе связаны со сценическим действием. Наконец, возможен также лирический монолог, по содержанию своему слабо связанный с ходом сценического действия и обычно обнаруживающий присутствие автора-драматурга в драматическом произведении, голос, жест, точку зрения автора[2]. Разумеется, во всех этих направлениях возможно множество переходных явлений, и все сказанное должно пониматься относительно. Помимо всего, не во всяком монологе должны присутствовать все эти признаки вместе.

Для монологов «Горя от ума» существенно прежде всего то, что подавляющее их большинство непосредственно участвует в сценическом диалоге и облечено в соответствующие внешние диалогические формы. Так, например, из всех монологов Чацкого только один представляет собой речь, обращенную к самому говорящему. Это его поэтичный, очень оригинальный по образности и языку, краткий монолог в начале IV акта («Ну, вот и день прошел...»). Почти все остальные монологи Чацкого адресованы к его партнерам, как например к Софье в I и III актах, к Фамусову и Скалозубу во II акте, к Фамусову, Софье и только отчасти к себе в завершительном монологе IV акта. При этом обычно эти обращения формальны, то есть самые монологи обращены к партнерам не своим содержанием, а только диалогиче-

---

[1] Ср. Л. Якубинский, ук. соч. стр. 144.

[2] Иное понимание лирического монолога в книге E. Ermatinder, Das dichterische Kunstwerk, L.—B., 1923, стр. 383. Автор понимает лирический монолог как своего рода лирическое стихотворение, вставленное в речь драматического персонажа, и приводит в пример знаменитый монолог Иоанны из «Орлеанской девы» Шиллера: «Простите вы, холмы, поля родные». Но этого рода лирика остается всецело драматической.

ской внешностью. Не случайно упрек, который делали Грибоедову по поводу характера Чацкого наиболее проницательные критики (Пушкин, отчасти Белинский), состоял в указании не столько на содержание речей Чацкого, сколько на то, *кому* он говорит все то, что заключено в его монологах. А то обстоятельство, что большинство монологов Чацкого — монологи лирические, то есть что Чацкий говорит в них преимущественно от имени автора, делает еще более ощутимым в самом способе ведения драматической речи в «Горе от ума» то несомненное противоречие, что *монологические* по природе темы излагаются здесь по преимуществу *диалогически*.

В монологах прочих персонажей «Горя от ума» это противоречие гораздо менее заметно вследствие того, что в этих монологах, даже при наличии диалогических форм и приемов, действующие лица говорят о себе самих или, если и касаются тем общих, как Фамусов, то со своей собственной, а не авторской точки зрения. Иными словами — это собственно драматические монологи, пусть и заключенные в диалогическую оправу. Таких монологов множество в мировой драматической литературе. Интересны с этой стороны обширные реплики Софьи в сценах с Лизой (I, 259) и с Чацким (III, 73). В них Софья, хотя и в форме непосредственного обращения к собеседникам, раскрывает себя самое и потому говорит в известном смысле также и для себя самой. С этим сходствуют и обширные реплики Чацкого во второй из указанных сцен. Такими же драматическими чертами отличается и мнимо-эпический монолог Софьи, в котором она рассказывает Фамусову о своем сне, тут же, по ходу разговора, придумывая его (I, 154 сл.). Из монологов Фамусова интересен с этой точки зрения монолог в начале II акта, по внешней форме представляющий собой беседу с Петрушкой, по содержанию же заключающий в себе то, что можно было бы назвать фамусовской философией. Но эта философия излагается в виде комментариев к текстам, диктуемых Петрушке для записей в календаре, и уже в этом выражено, что речь идет о конкретном характере именно данного действующего лица, о мотиве драматическом. И все же нельзя не отметить явного преобладания в «Горе от ума» диалогических приемов по сравнению с монологическими. Замечательно, что реплики, в которых речь обращена персонажем к самому себе, имеют в «Горе от ума» очень малый объем: ср., например, вступительную реплику Лизы и ее же сентенции, в I, 56; II, 564, заключительный монолог Фамусова в I действии, различные короткие реплики «в сторону». Монолог в беспримесно чистом виде, такой, например, как монологи «Ревизора», монолог Гарпагона в «Скупом» Мольера (IV, 7) или Фигаро в «Женитьбе Фигаро» Бомарше (V, 3), явно чужд стилю «Горя от ума», хотя поводы для подобных монологов в комедии Грибоедова есть.

Но зато одна из сторон монологической речи, именно та, которая связана с ее внутренним построением и композицией, разработана в «Горе от ума» с особой тщательностью и блеском. Здесь снова сказывается та виртуозность в подборе и применении разнообразных

комбинированных средств языка и стиха, какая не раз отмечалась в предшествующем изложении. Эта виртуозность проступает во внутреннем строении не только пространных, но и коротких реплик «Горя от ума» в той мере, в какой и им может быть свойственна известного рода законченность. Композиционная законченность кратких реплик, а также самые принципы композиции пространных реплик и монологов, естественно связаны в «Горе от ума» с стихотворной формой языка комедии. Так, среди кратких реплик «Горя от ума» нередко встречаем законченные двустишия и четверостишия (гораздо реже — шестистишия), то есть такие, которые обладают замкнутой рифмовкой и не зависят в этом отношении от соседних реплик. При более близком изучении этих реплик в ряде случаев можно наблюдать зависимость их композиции от той или иной формы связи между тремя элементами: строфической формой реплики, формой отдельных, составляющих ее стихов и расположением языкового материала внутри этих строфических и метрических границ. Так, например, совершенно несомненно, что смежная рифма, объединяющая два стиха одинаковой меры, в значительной степени содействует превращению соответствующей реплики в отдельную законченную сентенцию, в крылатое слово, в потенциальную цитату и поговорку, которыми, как известно, изобилует «Горе от ума». Разумеется, такая реплика должна обладать прежде всего соответствующим природе поговорки содержанием, но вместе с тем существует и особая форма поговорочной композиции, которая есть один из способов создания новых поговорок из подходящего языкового материала. Такой поговорочный стиль безусловно принадлежит, например, реплике Фамусова (I, 30). «Скромна, а ничего кроме] проказ и ветру на уме...», как и реплике Молчалина той же стихотворной формы (III, 213): «В мои лета не должно сметь [Свое суждение иметь». Эти реплики близко напоминают концевые двустишия онегинской строфы, в которых обычно сосредоточены в «Евгении Онегине» разного рода остроумные изречения, сентенции, афористические замечания и сходный поговорочный материал [1]. Близко подходит сюда и реплика Платона Михайловича (III, 357), отличающаяся от приведенных ранее только женскими окончаниями стихов: «Ох, нет, братец! У нас ругают везде, а всюду принимают». Сравни еще с женскими рифмами, I, 162: Ф. Ах! матушка, не довершай удара! [Кто беден, тот тебе не пара. В лингвистическом отношении приведенные примеры объединяются отсутствием форм с конкретным личным содержанием: вторые два не имеют подлежащего, нет его, с собственно грамматической точки зрения, и в первом, хотя здесь оно и дано в самой ситуации (но не в тексте!), — иначе говоря, во всех этих случаях дано или прямо, или как возможность, то обобщенное толкование смысла, которое необходимо для поговорки. Интересно, что лишены этого

[1] См. Леонид Гроссман, Онегинская строфа. Собр. соч., М., 1928, т. 1, и Г. Винокур, Слово и стих в «Евгении Онегине». «Пушкин». Сб. статей под ред. проф. А. Еголина, «Труды МИФЛИ имени Н. Г. Чернышевского», М., 1941, стр. 155 сл.

поговорочного стиля реплики в два шестистопных стиха. Их встречаем, например, в диалоге Фамусова и Скалозуба во II акте (218 сл.), где они повторяются несколько раз подряд, также в нескольких репликах III акта. В частности, обращает на себя внимание реплика Чацкого (III, 271): «Движенья более. В деревню, в теплый край, [Будь чаще на коне. Деревня летом рай»,— заключающая целые четыре предложения, симметрично расположенные парами в каждом из стихов по обе стороны цезуры. Каждое из этих четырех предложений в отдельности в своей структуре не содержит ничего, что противоречило бы возможности указанного обобщенно-поговорочного толкования, но, очевидно, четыре предложения — это больше того, что может уместиться в поговорке или цитате. Ср. другую реплику Чацкого, (III, 385): «Не поздоровится от этаких похвал. И Загорецкий сам не выдержал, пропал»,— где первый стих вполне цитатен, но второй уже лишен этого характера.

Интересно сравнить с этими двустишными репликами те, которые состоят из двух стихов разного объема, например I, 44: **Л.** Что встанет, доложу-с. [Извольте же идти; разбудите, боюсь... Нельзя не видеть, что здесь переход от трехстопного стиха к шестистопному находится в полной гармонии с соотношением лингвистического материала внутри двустишия, где два предложения противопоставлены одно другому так, что как раз в начале второго стиха происходит смена форм наклонения, поддержанная частицей *же*. Другой пример этого рода находим в одной из следующих реплик Лизы, представляющей собой сочетание четырехстопного стиха с шестистопным (I, 74): «Не наблюдайте, ваша власть,] А что в ответ за вас, конечно, мне попасть». В реплике Софьи (I, 350): «Да хоть кого смутят [Вопросы быстрые и любопытный взгляд...» сказуемое с примыкающими к нему членами предложения занимает первый, трехстопный стих, а два подлежащие с относящимися к ним определениями,— второй, шестистопный, т. е. как раз вдвое более долгий стих. В реплике Чацкого (III, 117): «Сатира и мораль смысл этого всего?] (в сторону) Она не ставит в грош его!» — переход от шестистопного стиха к четырехстопному стоит в связи не только со сменой предложения, но и с переходом от речи диалогической к монологической, обращенной говорящим к самому себе. Как видим, отношения между средствами языка и стихосложения в пределах разных реплик могут оказываться различными, а интерпретация этих отношений каждый раз должна быть совершенно конкретной и применимой именно к данному случаю[1], но самое наличие подобных отношений есть факт вполне несомненный.

Можно указать некоторые соответствующие примеры и в области реплик, представляющих собой четверостишия. Таких четверостиший, все четыре стиха которых были бы одинаковой меры, в «Горе

[1] Именно с этой точки зрения представляются мне лишенными конкретной убедительности частные приложения правильного, в общем, тезиса В. А. Филиппова (ук. соч., стр. 4 сл.), о том, что смена стихов в «Горе от ума» выражает «смену мысли».

от ума», в сущности, нет. Они возможны только в составе более пространных реплик. Есть случай, в котором реплика состоит из такого рода четверостишия, которому, однако, предшествует один шестистопный стих, рифмующий с предшествующей репликой (I, 352). Но и это четверостишие очень выразительно с точки зрения излагаемых здесь наблюдений. Так, в нем однообразие метрической формы находит себе полную аналогию со стороны синтаксиса, так как каждый из трех последних стихов реплики представляет собой однотипную антитезу — перечисление с повторением или параллелизмом соответствующих словарных средств по обе стороны цезуры в каждом из стихов: «Вчера был бал, а завтра будет два, [Тот сватался?— успел, а тот дал промах]. Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах». В нескольких случаях встречаем четверостишия, состоящие из шестистопного и трех четырехстопных стихов. Как всегда, при скоплении коротких стихов одинаковой меры, возникают в этих случаях потенциальные крылатые слова, запоминающиеся фразы, словно напрашивающиеся на роль цитаты или эпиграфа [1]. Ср., например, I,40: **Ф.** Скажи-ка, что глаза ей портить не годится. [И в чтеньи прок от не велик:] Ей сна нет от французских книг, [А мне от русских больно спится. Наглядный и острый параллелизм в последних двух стихах в еще большей степени придает им их эпиграмматический, афористический характер. Ср. II, 232: **Ск.** Довольно счастлив я в товарищах моих, [Вакансии как раз открыты;] То старших выключат иных, [Другие, смотришь, перебиты; или II, 251: **Ф.** И славно судите, дай бог здоровье вам] И генеральский чин; а там [Зачем откладывать бы дальше,] Речь завести об генеральше? Любопытную подрбность в наблюдаемых четверостишных репликах составляет частое их завершение стихом более коротким, чем предшествующий или предшествующие. Это параллельно с соответствующими синтаксическими явлениями создает впечатление полной замкнутости, стилистической отточенности реплики, придавая ей характер своеобразного микрокосма в связном потоке развивающейся сценической речи. Например, II, 560: **С.** Была у батюшки, там нету никого. [Сегодня я больна, и не пойду обедать.] Скажи Молчалину и позови его, [Чтоб он пришел меня проведать. С этими словами Софья уходит. Ср. еще IV, 223: **Заг.** Извольте продолжать, вам искренне признаюсь, [Такой же я, как вы, ужасный либерал!] И от того, что прям и смело объясняюсь, [Куда как много потерял! ср. пословичный оборот в конце такого четверостишия. Еще острее построены реплики Чацкого (III, 21): «Несчастные! должны ль упреки несть.] От подражательниц модисткам [За то, что смели предпочесть] Оригиналы спискам?» IV, 333: **Л.** А вам, искателям невест, [Не нежиться и не зевать бы,]Пригож и мил — кто не доест [И не доспит до

[1] «Стихи Грибоедова,— писал Белинский,— обратились в пословицы и поговорки, комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события вседневной жизни, неистощимым рудником эпиграфов» («Сочинения Александра Пушкина», VIII). Ранее Белинского выражение «рудник для эпиграфов» применил Полевой к «Евгению Онегину» («Московский телеграф», 1830, №6, стр. 241).

свадьбы. Замечательна этого же рода заключительная реплика Репетилова (IV, 271): «Куда теперь направить путь? [А дело уж идет к рассвету.] Поди, сажай меня в карету, [Вези куда-нибудь! (Уезжает.)». Но сходный эффект достигается и обратным построением, при котором четвертый стих длиннее трех предшествующих, например II, 486: **Ч.** Да-с, это я сейчас явил [Моим усерднейшим стараньем,] И прысканьем, и оттираньем, [Не знаю для кого, но вас я воскресил. Интересно и такое совпадение в смене формы стиха и оборота речи, как например II, 412: **Л.** Кому назначено-с: не миновать судьбы, [Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, А лошадь на дыбы,] Он об землю и прямо в темя, и др.

Естественно, что очень богатый и ценный материал этого рода заключен в композиции пространных реплик «Горя от ума». Исчерпать и представить весь этот материал в строгом систематическом порядке можно было бы только в специальной монографии. Здесь ограничиваюсь группой наиболее показательных извлечений из этого материала. Пространные реплики «Горя от ума» представляют собой прежде всего известную связь куплетов или строф, форма которых лишена большого разнообразия. В подавляющем большинстве случаев это четверостишия, гораздо реже — шестистишия или двустишия, и только в виде относительно редких явлений различаем в составе протяженных реплик строфы в пять или в семь стихов (семистрочная строфа типа aBBaCaC употреблена дважды, оба раза в монологах Чацкого [II, 373 сл.], [IV, 27 сл. 20 [1]]). Таким образом, как это ни кажется странным на первый взгляд, «Горе от ума» написано в сущности строфами,— да и вряд ли вообще возможно сколько-нибудь радикальное нарушение строфического принципа в драматическом произведении при условии употребления рифмованного стиха. Тем не менее строфичность речи в «Горе от ума», ощутимая, разумеется, только в более или менее обширных репликах, есть факт тем более реальный, что в тексте комедии сравнительно мало случаев междустрофных переносов, то есть случаев несовпадения синтаксической и строфической границ. В первом акте я нашел всего пять таких случаев, как, например: [I; 338 (конец одной строфы)—339 (начало другой): «Когда, бывало, в вечер длинный] Мы с вами явимся, исчезнем тут и там», или I,400—401: «Наш ментор, помните колпак его, халат, [Перст указательный, все признаки ученья...» С другой стороны, в том же I акте находим большой монолог Чацкого (I, 358 сл.), представляющий собою, если не считать первой строки, связанной с предшествующей репликой Софьи, построение из семи правильных четверостиший, каждое из которых обладает всеми признаками законченного куплета с резкой синтаксической остановкой в конце. Такое же впечатление строгости строфического рисунка, спорадичности отклонений от правильного и симметричного расположения языкового материала одинаковыми строфами оставляют и прочие наиболее крупные реплики «Горя от ума». В моно-

[1] См. Филиппов, ук. соч., стр. 14.

логе Чацкого о французике из Бордо мерное движение четверостиший прерывается только дважды: именно, после первых трех строф, составляющих как бы первое звено монолога, граница которого подчеркнута и внезапной сменой шедших подряд шестистопных строк короткой трехстопной («...Такой же толк у дам, такие же наряды... [Он рад, но мы не рады»), находим строфу в шесть строк, составляющую второе отчетливое членение монолога, опять-таки подчеркнутое укорочением последнего стиха, а также вводным характером самого предложения («...Урок, который им из детства натвержен. [Куда деваться от княжен!»). Далее, через четверостишие, встречаем строфу в пять строк, причем не случайно именно здесь пятая строка синтаксически тяготеет к последующему тексту («[Пускай меня объявят старовером.] Но хуже для меня наш север во сто крат...]»), а вся остальная часть монолога составляет последовательную цепь девяти четверостиший, из которых только одно незамкнутое и связано переносом с последующим (ст. 612—613). Большой, выдержанный в приподнято эмоциональной смене вопросительных и восклицательных интонаций монолог Фамусова в IV, 433 состоит из шести четверостиший и заключительной строфы в шесть строк, причем на протяжении всего монолога нет ни одного междустрофного переноса. Последний монолог Чацкого состоит из двенадцати четверостиший и двух шестистиший, образующих седьмую и десятую строфы монолога, причем во всем пространном монологе есть только один перенос (ст. 474—475: «Зачем мне прямо не сказали, [Что все прошедшее вы обратили в смех?») Отмеченные свойства пространных реплик, разумеется, не представляют собой случайности в общей стилистической системе «Горя от ума» со столь явными чертами классицизма в ней. Однако классичность строфического рисунка в монологах Грибоедов умел сочетать с интересными и разнообразными приемами с о е д и н е н и я строф, а также внутристрофного расположения материала. Необходимо привести несколько иллюстраций из этой области.

Останавливает на себе внимание то обстоятельство, что по большей части случаев на границах строф происходит смена метрической формы вольного стиха, сопровождающаяся параллельными явлениями со стороны синтаксиса, подобно тому как это мы наблюдали и при анализе коротких реплик. Реплика Лизы (I, 225) начинается так: Вот то-то-с, моего вы глупого сужденья [Не жалуете никогда:] *Ан вот беда*. [На что вам лучшего пророка?» и т. д. Третий стих реплики резко обособлен от остального текста своей двустопной формой, но также и синтаксически, представляя вывод, заключение из предшествующего, развиваемое дальнейшим текстом. В II, 161 Фамусов уговаривает Чацкого вести себя смирно в присутствии Скалозуба таким образом, что каждый раз, как только в его реплике появляется слово *пожало-ста*, стих употребляется шестистопный. В особенности интересно начало этой реплики, в котором между двумя шестистопными стихами, начинающимися словом *пожало-ста*, содержится четыре стиха меньшего размера (в 4, 5, 4 и 4 стопы), по-

священные характеристике Скалозуба. Целым рядом таких метрико-синтаксических поворотов характеризуется второй монолог Фамусова во II акте (ст. 262 сл.), например в самом начале: «Вкус, батюшка, отменная манера. [На все свои законы есть. *Вот, например,* у нас уж исстари ведется...», или «Будь плохонький, да если наберется [Душ тысячки две родовых, [*Тот и жених...*», знакомый уже нам фигурой конца (реплики или ее композиционного отдела) в виде короткого стиха. В дальнейшей части монолога интересны возвращения к шестистопному метру в анафорических моментах, например: «А наши старички? — Как их возьмет задор...», и далее: «А дамы? — сунься кто, попробуй, овладей» (в обоих случаях предшествующий стих пятистопный). Замечателен и конец этого монолога, завершаемого многозначительным шестистопным стихом после серии четырехстопных: «Французские романсы вам поют, [И верхние выводят нотки, [К военным людям так и льнут, [А потому, что патриотки. [Решительно скажу: едва] *Другая сыщется столица как Москва*». В следующем после этого монологе Чацкого особенно ярко применен тот же прием в двух местах. Во-первых, на границе первой и второй композиционной части монолога, с резким переходом от повествовательной интонации к риторически-вопросительной: «Не замечая об себе: [Что старее, то хуже.' [*Где? укажите нам,* отечества отцы...». Во-вторых, на границе между саркастическими строчками: «Амуры и зефиры все [Распроданы поодиночке!!!» — и следующей затем серией шестистопных стихов с восклицательной интонацией и анафорическим риторическим *вот*: «Вот те, которые дожили до седин», и т. д. Ср. еще III, 66: **Ч.** Как человеку вы, который с вами взрос, [Как другу вашему, как брату, [Мне дайте убедиться в том, [*Потом,* [От сумасшествия могу я остеречься... III, 361: **Х.** Час битый ехала с Покровки, силы нет; [*Ночь — света представленье* IV, 81: **Р.** Играл! проигрывал! в опеку взят указом! [Танцовщицу держал! и не одну: [*Трех разом*! IV, 200: **Р.** Барон фон-Клоц в министры метил [*А я* [*К нему в зятья.* На сходном приеме контрастного метра заключительного стиха построен также конец последнего монолога Чацкого «Карету мне, карету!», которому предшествуют три шестистопных стиха. Укажу еще на эффект такого вариантного построения, при котором последний укороченный стих отдается другому персонажу, как например в IV, 57: **Р.** Пускай лишусь жены, детей, [Оставлен буду целым светом, [Пускай умру на месте этом, [Да разразит меня Господь... **Ч.** *Да полно вздор молоть.* Вообще же случай наиболее резкого контраста этого рода, это смежное положение шестистопного стиха и стиха в один слог. Таких случаев в «Горе от ума» два: III, 637: **Ч.** ... И он осмелится их гласно объявлять, [*Глядь*], где имеем конец монолога, мотивированный его прерванностью, и III 327: **Заг.** На завтрашний спектакль имеете билет? [**С.** *Нет,* то есть в сочетании двух реплик.

В приведенной только что реплике Репетилова (IV, 57) обращает на себя внимание прием подчеркнутого подбора серии стихов одинакового метра, связанный с риторическим построением фразы («пус-

кай... пускай... да разразит»). Это не единственное место такого рода в «Горе от ума». Однако художественный смысл этого приема в разных случаях разный. Например, в III, 45 он также связан с риторическим повторением одинаковых оборотов речи и выражает крайний подъем чувств (карикатурой чего служит приведенное место в монологе Репетилова): «Чтоб кроме вас ему мир целый [Казался прах и суета? Чтоб сердца крайнее биенье [Любовью ускорялось к вам?» В II, 421: **Ч.** Шнуровку отпусти вольнее... и т. д., такое же сочетание нескольких стихов мерою в четыре стопы находится в ином отношении к формам синтаксиса: здесь каждый стих представляет собой отдельное предложение, но однотипное (*отпусти... потри... опрыскивай... смотри*), а все место в целом соответствует хлопотливой озабоченности Чацкого, старающегося привести в чувство Софью. Встречаем мы этот прием и в сатирических местах комедии. Например, в III, 427 Чацкий сравнивает Молчалина с Загорецким: «Там моську вовремя погладит! [Тут в пору карточку вотрет! [В нем Загорецкий не умрет!» Интересно, что выше в комедии дважды образ Загорецкого представлен смежным употреблением четырехстопных строк, именно III, 347: **П. М.** Как этаких людей учтивее зовут, [Нежнее? Человек он светский], Отъявленный мошенник, плут [Антон Антоныч Загорецкий, и III, 377, **Х.** А знаешь ли, кто мне припас? [Антон Антоныч Загорецкий. [Лгунишка он, картежник, вор...[1] Нередко видим в составе длинных реплик применение принципа двустиший из двух одинаковых коротких стихов с афористическим назначением, например II, 212: **Ф.** Один Молчалин мне не свой, [И то затем, что деловой...; или знаменитый поговорочный конец первого акта: «Что за комиссия, создатель, [Быть взрослой дочери отцом» и др.

Интересен случай мотивировки метрико-синтаксического перелома в реплике непосредственно психологией говорящего персонажа. Это рассказ Софьи о сне, начинающийся так: «Позвольте... видите ль... сначала] Цветистый луг; и я искала [*Траву*], *Какую-то*, не вспомню на яву». Выделение слова *траву* в отдельный стих и перенос определения к нему *какую-то* в следующий стих, несомненно, здесь показывают, что Софья сочиняет свой сон в самое время рассказа, не сразу решает, что именно она искала во сне, не находит подходящего определения к слову *трава* и т. д. Об этом свидетельствуют и многоточия первой строки, и переход от безглагольного предложения к предложению с прошедшим временем в качестве сказуемого[2].

[1] Вообще следует сказать, что совпадение оборотов речи в двух репликах, даже и тогда, когда эти выражения не имеют одного и того же повода, оставляют впечатление художественного единства мысли, стоящей за таким совпадением. Например, Наталья Дмитриевна (III, 237), говорит: «*Мой муж—прелестный муж:* вот он сейчас войдет...» Строение ее реплики вскоре повторяется Молчалиным, другим кандидатом в представители высокого идеала «московских всех мужей», «*Ваш шпиц прелестный шпиц*, не более наперстка», (III, 417).

[2] То, что в превоначальном (музейном) тексте деление было иное: «Искала я, мне чудилось, траву» и пр. (ак. изд. II, стр. III), может служить косвенным свидетельством сознательного изменения формы стиха при переделке этого места.

Исполнительница роли Софьи, во всяком случае, в формах языка и стиха в данном месте может найти для себя очень ценные указания. Но такая психологическая интерпретация имеет повод в тексте лишь в очень редких случаях. Для нашей темы существенно показать в первую очередь то, что язык и стих в комедии Грибоедова представляют собой слитное целое, и это в особенности видно на многочисленных явлениях подбора соседних стихов по синтаксическому принципу, даже независимо от метрической формы отдельных стихотворных строчек, хотя такая независимость проявляется, в сущности, редко. Софья говорит о Чацком (I, 268): «Потом опять прикинулся влюбленным,] [Взыскательным и огорченным». Здесь второй стих связан с первым не только метром и рифмой, но также тем, что представляет собой присоединение двух новых творительных предикативных к тому, который дан в первой строке, причем эти вторые два однородных члена составляют нечто цельное и отдельное по отношению к первому. Далее Софья продолжает: «Остер, умен, красноречив, [В друзьях особенно счастлив, [Вот о себе задумал он высоко». Первые две из этих строк объединены очевидным параллелизмом синтаксической функции: первый стих содержит три обособленных предиката, второй еще один такой предикат с зависимыми словами, а далее, с переменой метра, совершается переход к главному предложению. Фамусов в II, 301 характеризует московских дам сначала двумя пятистопными стихами, каждый из которых представляет собой предложение с повелительным наклонением и зависящим от него инфинитивом в центре: «Скомандовать велите перед фрунтом! [Присутствовать пошлите их в сенат!» и далее двумя шестистопными стихами, в каждом из которых по обе стороны цезуры два имени-отчества: «Ирина Власьевна! Лукерья Алексевна! [Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна!» В ряде случаев находим синтаксические связи между стихами, имеющие вид ритмической лестницы, как например III, 56: **Ч.** Бог знает, в нем... [**Бог знает, за** него что... [Чем голова его..., или III, 113: **С.** *Который* скор... *Который свет* ругает... [Чтоб *свет*... Ср. и другие виды подобных ритмико-синтаксических и ритмико-лексических фигур, например IV, 361: **М.** Швейцару, *дворнику*, для избавленья зла, [Собаке *дворника*, чтоб ласкова была. III, 534: **Княгиня...** Он химик, он ботаник, [Князь Федор, мой племянник. IV, 471: **Ч.** А вы! о боже мой! *кого* себе избрали, [Когда подумаю, *кого* вы предпочли! IV, 478: **Ч.** Которые во мне *ни* даль не охладила, [*Ни* развлечения, *ни* перемена мест. И многие другие.

Совершенно исключительный интерес представляет изучение этих связей языка и стихотворных форм в пределах отдельного стиха. И здесь встречаем широкое разнообразие отношений, в разработке которых тонкое мастерство Грибоедова сказалось особенно наглядно и убедительно. Дело заключается в расположении языкового материала сообразно внутренним членениям стиха, например тем членениям, которые создаются цезурой в шести- и пятистопном стихе, но также и в иных отношениях. Но это имеет и обратную силу, так

что можно сказать, что самый стих грибоедовской комедии создается умелым подбором и сопоставлением соответствующих категорий языка. Создающееся полное взаимопроникновение фактов языка и стиха могло бы быть описано исчерпывающим образом только в особом труде, специально посвященном этому вопросу. Здесь отметим самые важные и типичные явления этого рода, отправной точкой наблюдений избирая факты языка.

Прежде всего убеждаемся, что внутренние членения стиха представляют собой сплошь и рядом не что иное, как выражение тех синтаксических связей и противопоставлений, которые существуют как между предложениями, так и внутри одного предложения. Так, противопоставленные части стиха бывают заняты каждая самостоятельным предложением, например I, 68: **Л.** Ну что же стали вы? [Поклон, сударь, отвесьте... Или I, 311: **Ч.** Ни на волос любви! [Куда как хороши! I, 64: **С.** И свет, и грусть, [Как быстры ночи! То обстоятельство, что оба предложения при этом оказываются предложениями разных типов, создает лишний художественный эффект самого расчленения и делает его еще более выразительным в синтаксическом отношении. Прямое продолжение такого приема наблюдаем в расчленении стиха на два предложения, связанные известного рода зависимостью, преимущественно различными формами сочинения, или отнесением в одну часть стиха какого-либо обособленного оборота, вроде деепричастного, и т. д. Например, I, 45: **Л.** Извольте же идти; [разбудите боюсь. II, 445: **Ч.** Велите ж мне в огонь — [пойду как на обед. II, 489: **Ч.** Не знаю для кого, [но вас я воскресил. II, 91: **Ч.** Свежо предание, [а верится с трудом. I, 23: **Ф.** Не мог придумать я, [что это за беда. I, 62: **Л.** До света запершись, [и кажется все мало. Особенно интересны случаи разнесения по разным частям стиха разных частей внутреннего состава предложения, причем почти всегда это связано с перечислительной фигурой в одной части стиха, например I, 130. **Ф.** Берем же побродяг [и в дом, и по билетам..., где во второй части перечислительная фигура из двух обстоятельств с анафорическим союзом; ср. I, 160: **С.** Явился тут со мной; [и вкрадчив, и умен. I, 241: **С.** Мне все равно, [что за него, что в воду. II, 174: **Л.** Дочь выдавать [ни завтра, ни сегодня. II, 498: **С.** Зачем же ей играть, [и так неосторожо (без перечислительной фигуры), далее с перечислительной фигурой в обеих частях стиха: I, 340: **Ч.** Играем и шумим [по стульям и столам. III, 578: **Ч.** В Россию, к варварам, [со страхом и слезами. IV, 36: **Ч.** Все та же гладь и степь, [и пусто, и мертво и др. Здесь следует целая вереница самых разнообразных видов параллелизма, антитезы, лексического повтора, возникающих вместе с движением самого стиха. См., например, I, 24: **Ф.** То флейта слышится, [то будто фортепьяно. I, 54: **Л.** Чуть дверью скрипнешь, [чуть шепнешь. I, 59: **Л.** И барский гнев, [и барская любовь. I, 70; **Л.** Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. I, 141: **С.** Шел в комнату, [попал в другую. I, 223: **С.** Ни беспокойства, [ни сомненья. I, 395: **Ч.** Числом поболее, [ценою подешевле. II, 89: **Ф.** Упал он больно, [встал здорово. II,

90: **Ч**. Век нынешний, [и век минувший. II, 194: **Ф**. Кладите шляпу, [сденьте шпагу. II, 511: **С**. Хочу люблю, [хочу скажу. III, 148: **Ч**. Про ум Молчалина, [про душу Скалозуба. III, 522: **Ф**. Ученость— вот чума, [ученость — вот причина. IV, 4: **Гр-вн**. И не с кем говорить, [и не с кем танцевать. IV, 450: **Ф**. Не быть тебе в Москве, [не жить тебе с людьми, и многое другое. Лингвистическую классификацию всех этих случаев оставляю здесь в стороне. Но при исследовании взаимного положения составных частей этих параллелизмов и антитез особое значение должно принадлежать еще указанию на то, что самый рисунок, создаваемый сопоставляемыми частями предложений, может оказываться различным. Так, в одном случае сопоставляемые части предложения замыкают стих по границам, как например I, 67: **Л**. *Вертелась* перед ним, [не помню, что *врала*; в другом — сопоставляемые члены предложения встречаются в середине стиха, непосредственно по обе стороны цезуры, например, II, 98: **Ф**. А? как *по-вашему*? [*По-нашему*, смышлен! В третьем— наблюдаем комбинацию двух первых видов, например, II, 546: **М**. Снаружи зеркальце [и зеркальце внутри. III, 607: **Ч**. Рассудку вопреки,] наперекор стихиям и т. д.

Особо выделяются случаи, в которых сопоставляемые синтаксические члены имеют различное морфологическое выражение. В этих случаях самый параллелизм или антитеза приобретают эстетическую свежесть, сходную с той, какая принадлежит морфологически богатой рифме. Вот несколько примеров этого рода. В I, 72: **Л**. А в доме стук, ходьба, [метут и убирают... до цезуры находим два сказуемых, выраженных отглагольными существительными, а после цезуры — два глагольных сказуемых. В реплике Фамусова (I, 123): «Однако бодр и свеж, [и дожил до седин, [Свободен, вдов [себе я господин]», в обоих стихах до цезуры по два сказуемых, выраженных краткими формами имени прилагательного, а после цезуры в первом случае сказуемое в глагольной форме, во втором — в форме имени существительного. Такие же различные морфологически сказуемые видим и в I, 167: **С**. Бледны как смерть, [и дыбом волоса! I, 208: **Л**. В глазах темно [и замерла душа, [Грех не беда, [молва нехороша. I, 235. **Л**. И золотой мешок [и метит в генералы. II, 231: **Ф**. Давно полковники, [а служите недавно. III, 112: **С**. Который скор, блестящ [и скоро опротивит]. II, 11: **Ф**. То бережешься, [то обед и др. Но подобные соотношения возможны не только в области сказуемого (см., например, I, 330: **С**. Проездом, случаем, [из чужа, из далека] и др.

В иных случаях параллелизм и антитезы, расчленяющие стих, сопровождаются внутренней рифмой, и тогда возникает вопрос о том, где граница между стихом и полустишием в «Горе от ума». Так, например, В. А. Филиппов [1] видит не два, а четыре стиха в известной сцене Загорецкого и Графини-бабушки, (III, 481): «В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны. [Что? К фармазонам в клоб?

[1] Ук. соч., стр. 8, прим. 12.

Пошел он в басурманы?» Как раз в этом месте такое понимание, вполне законное с звуковой стороны, может оспариваться в силу того, что перед нами проявление традиционного приема классической комедии — смена реплик размером в одних стих, да притом представляющая своеобразную имитацию народных диалогов на тему о глухих, где обязательна смежная рифмовка реплик, ср., выше: «Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму. [Как? Чацкого кто свел в тюрьму?» То или иное решение этого вопроса мне не кажется, впрочем, существенным для дела. Однако необходимо отметить, что самый вопрос о том, сколько всего стихов в «Горе от ума», может возникнуть вовсе не только по одному данному поводу. Ср., например, I, 27: **Ф.** Вот то-то невзначай, за вами примечай. II, 301: **Ф.** К тому, к сему, а чаще ни к чему, — где нет никаких объективных спссобов доказать, что это один стих, а не три, или III, 371: **Х.** Да как черна! да как страшна! И т. п. Ср. сказанное выше по поводу II, 150: **Ф.** Тебя уж *упекут* [Под *суд*, как пить *дадут* и т. д. Здесь нужно указать на это явление как на звуковой прием, своеобразно оттеняющий те многочисленные ритмико-синтаксические параллели, которыми буквально дышит весь текст «Горя от ума».

Наконец, надо отметить и ряд случаев замечательной гармонии между синтагматическим строением стиха и его фактическим ритмическим звучанием, то есть реальным, а не полагающимся по метрической стопной схеме числом сильных ритмических мест в нем. Так, например, I, 115: **Ф.** Умна была, нрав тихий, редких правил... — есть стих с тремя ритмическими вершинами — на втором, шестом и десятом слогах, причем прочие ударения, которые возможны в этом стихе (на словах *была*, *редких*), по сравнению с здесь отмеченными представляются второстепенными, ослабленными [1]. С синтаксической стороны этому всецело соответствует то обстоятельство, что разбираемый стих заполнен тремя предикатами, причем такими, каждый из которых состоит из двух слов, вместе составляющих одну ритмическую вершину, и именно: составное сказуемсе с связкой прошедшего времени, именительный самостоятельный в виде существительного с определением и предикативный оборот в форме родительного падежа с определением. Таким образом стих членится на три части как в ритмическом, так и синтаксическом отношении. Проще такое соотношение в тех случаях, когда соответствующие синтаксические членения совпадают между собой морфологически, как например I, 333: **Ф.** И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам! Или I, 180: **Ф.** И черти, и любовь, и страхи, и цветы. IV, 65: **Р.** Я жалок, я смешон, я неуч, я дурак. В этих случаях четырем ритмическим вершинам шестистопного стиха соответствуют четыре синтаксические группы, тожественные в морфологическом отношении. Но в шестистопном стихе возможны и три такие ритмико-синтак-

[1] С разрешения автора пользуюсь здесь некоторыми положениями пока не опубликованной докторской диссертации С. М. Бонди «Вопросы ритмики русского стиха»

сические группы, например IV, 44: **Р.** Что пустомеля я, что глуп, что суевер, или III, 44: **Ч.** Но есть ли в нем та страсть? то чувство? пылкость та? Ср. такое же построение в пятистопном стихе: II, 326: **Ч.** Ни годы их, ни моды, ни пожары, или IV, 42: **Р.** Сердечный друг! любезный друг! mon cher! Или в четырехстопном (с незначительным морфологическим вариантом): IV, 452: **Ф.** В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов! И т. д.

Разумеется, не каждая реплика дает одинаково богатое и разнообразное собрание примеров для всех описанных ритмико-синтаксических построений. Как это и естественно для драматического произведения, особенно большое скопление их находим обычно там, где речь выдержана в риторическом тоне, перемежается частыми переходами от одного типа интонации к другому, полна проявлениями различных эмоций и т. д. Эти построения менее обильны и заметны в репликах спокойных, в которых нет к тому же остроумных пассажей, игры слов и т. д. Не удивительно, что страстные монологи Чацкого в особенности изобилуют такими приемами, а реплики Софьи дают меньше материала для этого рода наблюдений. Однако и Софья пользуется сложными ритмико-синтаксическими фигурами в тех случаях когда впадает в саркастический и обличительный тон, как например в III, 111 и др. Вообще же следует сказать, что все изложенные выше наблюдения относительно внутреннего построения реплик «Горя от ума» и композиционной связи в них форм языка и стиха в бóльшей степени характеризуют стиль комедии Грибоедова именно как драматургический стиль в целом, чем отдельные ее характеры или положения. Это не исключает любопытных совпадений в репликах одного и того же персонажа (ср., например у Хлестовой: «Да как черна! да как страшна!» (III, 371) и: «Да невзначай! да как проворно!» (III, 496), точно такого построения мы более в комедии не встречаем.

IV

Все предшествующее было посвящено изучению художественных свойств языка «Горя от ума», как они проявляются в самом движении комедии от реплики к реплике, от одной группы рифм к другой, от стиха к стиху. Этого требовала, во-первых, необходимость исследовать постепенно развертывающуюся сценическую речь комедии с точки зрения раскрывающегося в этом процессе движущего начала, а во-вторых, стихотворная форма языка комедии. Но, кроме того, есть и еще одна проблема, не имеющая прямой связи с стихотворной формой языка комедии и тем не менее очень существенная для изучения ее языка с собственно драматургической точки зрения. Драматическое произведение движется не просто сменой реплик, но также и сменой сценических образов. Индивидуальные свойства этих образов должны или по крайней мере могут отражаться не только в том, что делают и о чем говорят отдельные действующие лица на сцене, но также и в том, *как* они говорят. Выше попутно

обращалось постоянно внимание на индивидуальные черты в языке отдельных персонажей или сцен «Горя от ума», поскольку это выяснилось в процессе изучения общих примет реплики и отдельных явлений языка, связанных с явлениями стиха. Теперь следует остановиться на этом вопросе несколько подробнее.

На индивидуализацию отдельных драматических образов средствами языка в «Горе от ума» указывают все, кто касается этого предмета, но обычно эти указания не подкрепляются ясными и убедительными данными текста. Это, в частности, объясняется отсутствием строго разработанного метода, которому можно было бы следовать в изучениях такого рода. Так, например, нередко языковые различия между персонажами усматриваются почти исключительно в различии круга тем и предметов, которых персонажи касаются в своих речах. В ограниченном смысле такие наблюдения имеют свою цену. Язык Чацкого не похож на язык Хлестовой хотя бы потому, что Чацкий в своих речах называет такие предметы мысли, которых не касается и, может быть, вовсе не знает Хлестова. Да и помимо того, как естественное следствие разной значительности ролей и разного объема реплик и текста ролей в целом, словарь Чацкого обширнее и богаче словаря Хлестовой. Так, для примера возьмем монолог Чацкого «А судьи кто» и сразу же увидим в этом монологе много слов, которые не встречаются в репликах Хлестовой и, может быть, не встретились бы в них и при большем их объеме: *судья древность, свободный, вражда, непримиримый, сужденья, черпать, газета* и т. д. Ясно, однако, что результаты такого рода сопоставлений будут неизбежно скудными и что гораздо важнее было бы узнать, какие существуют различия в языке отдельных персонажей, н е з а в и с и м о от того, о ч е м они говорят. Нужно заметить, что прямолинейная индивидуализация отдельных драматических характеров в данном направлении положительными, резко разобщенными языковыми приметами, вовсе не всегда есть естественный путь драматического искусства. У Эрматингера есть интересное замечание о том, что индивидуализация языка персонажей, подобная той, какой добиваются натуралисты, приводит к тому, что единый, но внутренне антитетичный мир драмы распадается на множество разобщенных образов, и это ослабляет напряженность действий [1]. Что касается «Горя от ума», то мы, действительно, не находим такой грубой индивидуализации языковых портретов, режущей по живому телу общей для всего изображаемого мира языковой традиции и атмосферы. Такая общая языковая атмосфера, составляющая необходимое условие всякого высокого искусства, в «Горе от ума», разумеется, есть.

Все действующие лица «Горя от ума», от главного героя до самого второстепенного персонажа, живут и действуют в одной и той же атмосфере живого, идиоматически окрашенного, острого, бойкого и меткого русского слова. Трудно передать общее впечатление

[1] Ук. соч., стр. 385—386.

от художественных свойств языка «Горя от ума» лучше, чем это сделал более семидесяти лет тому назад Гончаров в своей статье «Мильон терзаний». «Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стих,— писал здесь Гончаров,— кажется, никогда не умрут как и сам рассыпанный в них острый и едкий, живой русский ум, который Грибоедов заключил, как волшебник духа какого-нибудь в свой замок, и он рассыпается там злобным смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное, затем кажется, чтобы их легче было удержать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка» [1]. Нет никакой надобности доказывать, что Гончаров, независимо от общей оценки, которую он дает «Горю от ума», выразил в приведенных словах общие чувства русского читателя и зрителя. Но можно указать на некоторые данные грибоедовского текста, в которых сказалась так хорошо переданная Гончаровым языковая стихия, подчиняющая себе всякого, кто приходит в соприкосновение с знаменитой комедией. Стоит указать хотя бы на тот простой, но значительный факт, что, несмотря на стихотворную форму комедии, в ней нет буквально ни одного славянизма [2], ни одной сколько-нибудь значительной уступки стиху со стороны языка, столь естественной и почти обязательной для любых стихотворных произведений грибоедовского времени [3]. При этом особенно важно здесь снова подчеркнуть, что участниками этой языковой стихии, совокупно творящими ее в процессе своей общей сценической жизни, предстают перед нами в с е действующие лица комедии, всем ансамблем.

Известно, какое большое значение принадлежит «Горю от ума» наравне с баснями Крылова в качестве творческого источника значительного числа новых русских пословиц и поговорок. «Пословица, — писал Гоголь,— не есть какое-нибудь вперед поданное мне-

---

[1] И. А. Г о н ч а р о в, Полное собрание сочинений, изд. 4, Глазунова, СПБ, т. VIII, 1912, стр. 129—130.

[2] Разумеется, речь здесь идет о славянизмах не в этимологическом смысле, а только как о параллельных вариантах к соответствующим средствам живой русской речи с полным совпадением грамматического или словарного значения, культивировавшихся или в качестве стилистического, или же в качестве версификационного приема.

[3] Вопрос об «удачности» или «неудачности» отдельных стихов «Горя от ума» здесь совсем оставляется в стороне. Под уступками стиху со стороны языка поэтому здесь понимается не более или менее удачное расположение слов в стихе, а разнообразные узаконенные традиции русского стихотворства, отступления от общей языковой нормы ради нужд версификации или требований стиля. В этом отношении «Горе от ума» почти совершенно свободно от искусственностей языка. Например, на весь текст комедии приходится только два случая так называемого усеченного прилагательного: I, 190: «Бывают *странны* сны» и IV, 99: «Вот меры *чрезвычайны*». По поводу усеченных прилагательных и других явлений этого рода в языке начала XIX в. см. Г. В и н о к у р, Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина. Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», 1941, стр. 508 сл.

ние или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной» [1]. В этом смысле лицо, творящее новую пословицу, поговорку, оборот речи, есть действительно представитель народа, от его имени воплощающий в слове итог общенародных наблюдений и размышлений. Пушкин предсказал, что половина стихов «Горя от ума» должна войти в пословицу,— что, впрочем, не так уж трудно было угадать. О дальнейшей судьбе «Горя от ума» в этом отношении также, пожалуй, никто не сказал характернее, чем Гончаров. «Грамотная масса,— говорит Гончаров,— разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишия, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала комедию до пресыщения»[2]. Но таково и было самое задание автора, и выше было указано на некоторые частные приемы, какими достигалось осуществление этого задания. Выше не было, однако, повода указать, что поговорочный материал в «Горе от ума» творится репликами в с е х действующих лиц, главных и второстепенных, положительного (Чацкого), нейтральных и отрицательных, так что он составляет своего рода естественную стихию, в которой развивается сценическая речь комедии. Чацкому принадлежит изречение о смеси языков французского с нижегородскими (I, 414); в его репликах находим далее следующие выражения, вошедшие с тех пор в общие запасы русского языка: *числом поболее, ценою подешевле* (I, 395); *служить бы рад, прислуживаться тошно* (II, 61); *свежо предание, а верится с трудом* (II, 100); *я глупостей не чтец, а пуще образцовых* (III, 208); *рассудку вопреки, наперекор стихиям* (III, 603); *и вот общественное мненье* (IV, 286); *не поздоровится от этаких похвал* (III, 385); *где оскорбленному есть чувству уголок* (IV, 521); из его реплики пошел в общее употребление перефразированный державинский стих «и дым отечества нам сладок и приятен» (I, 386), сам восходящий к гомеровскому образу. К репликам Софьи восходят выражения: *шутить, и век шутить* (III, 88); *счастливые часов не наблюдают* (I, 73); *шел в комнату, попал в другую* (I, 422); *герой не моего романа* (III, 132); из ее диалога с Чацким родилось афористическое заключение: *где ж лучше? где нас нет* (I, 358). Фамусовским репликам принадлежат поговорки, афоризмы, пословицы: *с толком, с чувством, с расстановкой* (II, 4); *подписано, так с плеч долой* (I, 205); *что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом* (I, 485); *нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок* (I, 84); *ну как не порадеть родному человечку* (II, 215); *в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов* (IV, 452); *к тому, к сему, а чаще ни к чему* (II, 292); *что станет говорить княгиня Марья Алексевна* (IV, 529). Лиза произносит общеизвестные выражения:

[1] Н. В. Г о г о л ь, Сочинения, изд 10, т. IV, М., 1889, стр. 1934.
[2] И. А. Г о н ч а р о в, Полное собр. соч., т. VIII, стр. 124—125.

минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь (I, 58); *грех не беда, молва не хороша* (I, 209); *она к нему, а он ко мне* (II, 565). Молчалину принадлежит выражение: *умеренность и аккуратность* (III, 170); он же не смеет *свое суждение иметь* (III, 213). К монологам Репетилова восходят выражения: *шумим, братец, шумим* (IV, 119); *взгляд и нечто* (IV, 148); *да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль* (V, 233); к репликам Хлестовой: *все врут календари* (II, 554); *не мастерица я полки-та различать* и т. д. Нет ничего удивительного в том, что даже такой строгий и придирчивый судья русской литературной речи, как Даль, открыл доступ некоторым грибоедовским выражениям в свое собрание русских пословиц. «Многие изречения писателей наших, — писал Даль в предисловии к своему сборнику, — по краткости и меткости своей стоят пословицы, и здесь нельзя не вспомнить Крылова и Грибоедова; но я включал в сборник свой те только из этих изречений, которые случилось мне слышать в виде пословиц, когда они, принятые в устную речь, пошли ходить отдельно»[1]. Надо еще добавить, что выше выписаны образцы наиболее бесспорные и очевидные в этом смысле, такие, которые действительно «пошли ходить отдельно», между тем как цитатой к случаю, материалом для подходящей ссылки на вошедший уже в народную память готовый оборот речи способен служить почти каждый стих «Горя от ума».

Точно так же все без различия персонажи «Горя от ума» несут в зрительный зал и более мелкие фразеологические и лексические элементы живой и характерной русской речи, участвующие в создании общего эстетического колорита языка комедии, как например: *нет мочи* (I, 316, Ч.; III, 564 Ч.; III, 278, Н. Д.; I, 65, Л.; III, 136, Ф.), причем особенно любопытны некоторые почти дословные совпадения в репликах разных лиц. Например, Фамусов говорит: «Терпенья, мочи нет, досадно» (II, 136), а Чацкий: «Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь» (IV, 37), ср. далее в речах Чацкого: *подписку дам* (I, 465); *куда как хороши* (I, 311), *ни на волос любви* (I, 311); *чуть свет* (I, 304); *похорошели страх* (III, 233); *все в голос повторяют* (IV, 278); *в ша́шеи прогнать* (IV, 99); *ври, да знай же меру* (V, 86); и далее отдельные слова, как *чай* (=вероятно, например, *чай, в клубе?* [IV, 92], *чай, приговаривал* [II, 117]); *давиче* (III, 431; IV, 469); ***коли*** *явился ты на бал,* ***так*** *можешь воротиться* (IV, 70). Ср. в речах Фамусова: *да, дурен сон,* ***как погляжу*** (I, 178); *да в полмя из огня* (I, 482); *забудется, того гляди* (II, 34); *в те поры* (II, 72); *как пить дадут* (II, 151); *на нас не подиви* (I, 271); *в ус никого не дуют* (II, 287); *ругает* ***наповал*** (II, 114); *не финти* (IV, 433); *ни дать ни взять* (IV, 424); *ленивую тетерю* (IV, 436); *нивесть* (II, 502); ***зелье****, баловница* (I, 28). Ср. в речах других действующих лиц

[1] «Пословицы русского народа». Сб. Владимира Даля, изд. 3, 1904, стр. 10. В сборнике находим: *Служить бы рад, прислуживаться тошно* (т. II, 233 и VI, 149); *Грех не беда, слава* (sic!) *не хороша* (VI, 288); *О том, о сем, а больше ни о чем* (IV, 133), по-видимому, восходящее к реплике Фамусова: *к тому, к сему, а чаще ни к чему* и др.

постоянные слова и выражения, вроде *тужите* ***знай*** (I, 65, Л.); *а больно не хитер* (I, 22, Л.); *нужен глаз да глаз* (I, 3, Л.); *приданого взял шиш* (IV, 210, *Р.*); *прах его возьми* (V, 214, Г.); *дал маху* (II, 411, Ск.); *час битый, света преставленье*; *ужо, черт сущий, туда же из смешливых, авось* (III, 361 и сл., Х.) и множество других. В том же направлении воздействуют на читателя и зрителя комедии некоторые морфологические явления, как например употребление известного рода частиц вроде *прок-от* (I, 41, Ф.), *поди-тка* (II, 60, Ф.), *положимте* (I, 333, Ч.), *оставимте* (III, 33, Ч.), частица *-с*, употребленная в комедии в разных функциях до 30 раз в репликах Молчалина, Лизы, Софьи, Чацкого, Натальи Дмитриевны, Загорецкого, Скалозуба, Фамусова, лакеев. Должны быть приняты во внимание также разнообразные проявления живого синтаксического строя, описание которых потребовало бы особого этюда и из которых укажу здесь только на повторное употребление предлога при определении, как например: *на листе черкни на записном* (II, 5, Ф.), *с людьми я знаюсь с умнейшими* (IV, 89, *Р.*); *без справок без иных* (I, 198, М.); *на съездах на больших* (I, 412, Ч.); также *у вдове у докторши* (в автографе перед вторым *у* нет запятой! II, 29, Ф.); далее на такие обороты речи, как: *мечусь* ***как словно*** *угорелый* (103, Ф.); ***я только что*** *спросил два слова* (II, 45, Ч.; здесь *только что*, разумеется, не означает «недавно», а равно по значению нашей ограничительной частице *только, лишь*), на безыскусственные типы построения и связи предложений вроде: *мне кажется,* ***так*** *напоследок, людей и лошадей знобя...* (I, 320, Ч.); *как будто не прошло недели, как будто бы вчера вдвоем мы, мочи нет друг другу надоели* (I, 308, Ч.); *а что в ответ за вас, конечно, мне попасть* (I, 75, Л.); *что встанет, доложу-с* (I, 44, Л.); *вчера просилась спать — отказ* (I, 2, Л.)[1] и т. д. Решаюсь высказать мысль, что все эти свойства языка «Горя от ума» с течением времени не только не утрачивают силу своего эстетического воздействия на русского читателя и зрителя, но и наоборот, становятся еще более в этом отношении действенными: в эпоху первого появления комедии они поражали аудиторию свежестью, остротой и смелостью выражения в сравнении с средним уровнем тогдашнего литературного языка, а впоследствии — в сравнении с обиходным языком интеллигенции, значительно удалившимся от его былой непосредственности. Во всяком случае, совершенно очевидным остается то, что значительная доля художественного обаяния «Горя от ума» имеет своим источником описанную здесь — по необходимости самым беглым образом — общую атмосферу сценического языка комедии [2].

Индивидуализация отдельных образов комедии средствами языка в описанных общих рамках имеет три разных направления. Во-

---

[1] Ср. в «Евгении Онегине»: «Буянов сватался: отказ» (VII, 26).

[2] Вольный стих, избранный Грибоедовым для своей комедии, по своим общим свойствам вполне соответствует описанной языковой атмосфере. Предшественником Грибоедова в применении вольного стиха в комедии был А. А. Шаховский. См. его комедию в одном действии «Не любо не слушай, лгать не мешай», СПБ, 1818.

первых, она отчасти сказывается, как уже отмечено, в самом объеме данных языка, заключающихся в репликах разных действующих лиц. Это прежде всего элементы такой литературности в репликах Чацкого и Софьи, которая чужда большинству остальных персонажей просто в силу их сценического характера, воплощаемого в их образах примитивного мировоззрения, их культурной отсталости и т. д. Но литературные элементы в языке реплик Чацкого и Софьи сами разной природы. Чацкий, поскольку он не совпадает в своем языковом поведении с остальными действующими лицами, говорит языком ораторства и публицистики, Софья — языком беллетристики. Поэтому литературность языка Чацкого проступает в формах или иронически-полемичных, как например *певец зимой погоды летней* (I, 378); *еще ли не сломил безмолвия печати?* (I, 422); *перст указательный* (I,401); *жертвовать затылком* (II, 113); *созвездие маневров и мазурки* (III, 7); или же риторических и патетических, как например: *ум алчущий познаний* (II,379); *к искусствам творческим, высоким и прекрасным* (II, 381); *мильон терзаний* (III, 564); *воспоминания о том, что невозвратно* (III, 144) и т. п. Иначе говоря в самом объеме средств речи, какими пользуется Чацкий, сказывается то, что он «славно пишет, переводит» и «говорит, как пишет», тогда как прочие действующие лица «Горя от ума» — «не сочинители». Что же касается Софьи, то она, по меньшей мере, читает книги и этим отличается от окружающей ее среды, вражда которой к книге засвидетельствована в комедии неоднократно. Оттого и речь Софьи отличается бóльшим объемом средств сравнительно с речью лиц, составляющих ее привычную среду, и это сказывается в употребляемых ею выражениях вроде: *не можете вы* ***сделать*** *мне* ***упрека*** (I,328); *играть жизнью* (II, 488); *печальное ничто на ум нейдет* (I, 200); *привычка... связала детскою нас дружбой* (I, 264); *враг дерзости* (I, 282) и др. Как уже сказано, однако, выше, все это в сущности не положительные характерологические приметы речи Чацкого и Софьи, а скорее естественное следствие разного круга предметов мысли, мотивов, которых касаются в своей речи главные персонажи комедии.

Другое дело собственно языковая характеристика отдельных сценических образов в «Горе от ума». В ряде случаев она достигается тем, что данному персонажу придаются свойства речи, в той или иной мере разобщающие его с остальными персонажами, причем принадлежащие ему как нечто постоянное и непременное, сопровождающие его в любом его поступке или жесте. Это такой метод языковой характеристики, который может быть назван методом я з ы к о в о й м а с к и, потому что здесь языком характеризуется персонаж как таковой, самый образ его, независимо от условий действия, в которых он развивается. Метод языковой маски применен в «Горе от ума» в нескольких случаях, например при изображении князя Тугоуховского, с его нечленораздельными репликами, которые в других случаях в комедии не повторяются. Языковой приметой, которая характеризует образ княгини Тугоуховской, как сказано было выше

по другому поводу, служит особого рода интонирование, внешне выраженное в разделении слов на слоги: *от-ставной, хо-ло-стой, бо-гат* и т. д. Подобной же приметой в образе Графини-внучки служит ее французская речь. Правда, отдельные французские слова мелькают также в репликах княжен Тугоуховских и Репетилова, где они в свою очередь имеют характерологическое назначение: *cousin* (III, 297), *mon cher* (IV, 196), *Alexandre* (IV, 106). Но Графиня-внучка — единственный персонаж комедии, произносящий целые французские фразы в двух случаях (III, 325 и 472). В рукописных текстах «Горя от ума» есть следы намерения придать характер языковой маски также образу Графини-бабушки. Именно это должна была быть маска фонетическая, состоящая в замене звонких согласных соответствующими глухими, наподобие того, как нередко изображаются немцы не только в русской, но также английской и французской литературах, например «Мой *т*руг, мне уши залошило! Скажи по*к*ромче... уж нет ли здесь по*ш*ара... пошел он в *п*усурманы... и он *пеш*ит» и т. д. (III, 475 сл.) [1]. Трудно сказать, имел ли Грибоедов в виду в этом случае этнографическую мотивировку такого произношения, или же этим способом он хотел передать произношение старческое. Возможно, что неясность замысла привела к тому, что он остался полностью не выраженным в тексте комедии. Однако наиболее ясным и отчетливым образцом языковой маски среди персонажей «Горя от ума» бесспорно является Скалозуб. Маска его заключается в том, что он переводит любое жизненное положение на язык привычной для него военно-служебной терминологии. Сюда относятся такие места в его речах, как: *мы с нею вместе не служили* (II,206); *а впрочем все фальшивая тревога* (II, 455); *дистанции огромного размера* (о Москве, II, 261); *фельдфебеля в Вольтеры дам* (IV, 193), в которых он выражениями из военного быта квалифицирует явления совершенно иного содержания. Эта манера говорить, сопровождающая все сценическое поведение Скалозуба, находит себе соответствие и в том, как отзываются о Скалозубе окружающие, например Софья: «и весело мне страх выслушивать о фронте и рядах» (I, 239), Репетилов: «все служба на уме» (IV, 196). Чацкий называет его, между прочим, «*хрипун*, удавленник, фагот» (III, 6). Из числа справок, какими мы располагаем для объяснения слова *хрипун*, ближе всего к нашему случаю то, что говорит по этому поводу Вяземский. По его словам [2], великий князь Константин Павлович, который «обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями», между прочим, был также автором слова *хрип*, которое «означало какое-то хватовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хлиплостью голоса». Разумеется, здесь идет речь о хватовстве офицерском. Это указание на насильственную хриплость, отсутствующее в некоторых иных пока-

---

[1] Эти особенности языка Графини-бабушки введены в основной текст «Горя от ума», в издании: Г р и б о е д о в, Сочинения, ред. Вл. Орлова, Л., 1940.

[2] Полное собр. соч., т. VIII, стр. 139—140.

заниях, тем более существенно для истолкования слов Чацкого, что в ремарках к репликам Скалозуба дважды отмечено: «густым басом» (II, 191), «басом» (III, 404) Не представляют собой в точном смысле языковых масок образы супругов Горичей, так как в их речах нет ничего, исключительно им принадлежащего, но все же нельзя не обратить внимания на навязчивость уменьшительно-ласкательных и вообще приторно-нежных обращений в репликах Натальи Дмитриевны (ср., между прочим, *мой ангел, жизнь моя, бесценный, душечка, Попошь* [IV, 7]), на настойчивое однообразие реплик Платона Михайловича (*да брат, теперь не так... теперь, брат, я не тот...* [III 276]).

Однако существо драматического произведения вовсе не требует того, чтобы отдельные действующие лица говорили непременно по-своему, не так, как говорят остальные, и имели свою собственную языковую маску. Задача индивидуализации изображаемого, выдвинутая в особенности драмой реалистической, в несомненно большей степени имеет своим предметом не столько п о р т р е т персонажа, сколько его х а р а к т е р, как он раскрывается в сценическом движении и в его отношениях к другим персонажам. В этом случае индивидуализация образа средствами языка состоит не в том, что персонажи говорят по-своему и обладают неизменной и им только свойственной манерой речи, а в том, что они говорят сообразно их характеру и положению в ходе сценического действия. Здесь индивидуализация образа сливается с индивидуализацией с ц е н и ч е с к о г о п о л о ж е н и я, и достигается она не применением каждый раз особых специфических средств языка, а только тем, что от случая к случаю одни и те же средства языка даются в новом сочетании, в иной формальной связи, в той комбинации, которая именно данным случаем порождается и оправдывается. В умении именно так индивидуализировать отдельные моменты развивающейся сценической речи заключается, несомненно, высшая цель того драматургического искусства, которое достигло такого высокого уровня в России в XIX в. и в преддверии которого стоит комедия Грибоедова. Но именно о таком индивидуализированном в отдельных его моментах и звеньях ведении сценической речи в «Горе от ума» и говорилось в течение всего предшествующего изложения, касалось ли дело различной протяженности реплик, отдельных случаев скопления однотипных реплик, перехода руководства диалогом от одного персонажа к другому однотипных или разнотипных реакций на реплики партнеров, связи между соседними репликами одного и того же персонажа, различных форм связи двух или нескольких соседних реплик при помощи рифмы, разного характера монологов, гармонии средств языка и стиха внутри реплик и т. п. Разумеется, то, что сказано до сих пор по всем этим поводам, не есть исчерпывающий и вполне адекватный ответ на вопрос о том, как изменяется язык «Горя от ума» и отдельных его персонажей на протяжении комедии по ходу ее действия. Но не подлежит сомнению, что ответа на этот вопрос следует искать именно тем путем, который ставит себе

задачей совокупный анализ конкретных данных языка и стиха в их внутренней связи с данным сценическим положением.

Мы не в состоянии пока решить вопрос о том, в какой мере все наблюдаемое в отношении языка в тексте «Горя от ума» может считаться принадлежащим индивидуальной художественной манере Грибоедова, так как для этого необходимы отсутствующие пока обширные сравнительные данные. Но мы во всяком случае можем утверждать, что рукой Грибоедова, как автора «Горя от ума», в известном смысле водил с а м р у с с к и й я з ы к в его общих свойствах и скрытых в нем бесконечных возможностях. Изучение языка «Горя от ума» с этой точки зрения увлекательно уже тем, что дает нам известную мерку для суждения о том, какие далекие художественные перспективы открываются русскому писателю, интимно чувствующему русский язык и творчески живущему в его стихии. Нередко возникавшие споры о том, в какой мере «Горе от ума» отвечает представлению об истинной сценичности, теряют свое значение и согласно умолкают в применении к языку «Горя от ума» как языку именно сценическому. Вне всякого сомнения «Горе от ума», как и целый ряд иных выдающихся произведений русской драматургии, есть в первую очередь т е а т р с л о в а. В таких произведениях, по глубоко верному суждению Гончарова, «исполнение должно быть не только сценическое, но наиболее литературное, как исполнение отличным оркестром образцовой музыки, где безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и в ней каждая нота». В этих произведениях «всякое прочее действие, всякая сценичность мимика, должны служить только легкой приправой литературного исполнения, д е й с т в и я в с л о в е. За исключением некоторых ролей в значительной степени можно сказать то же и о «Горе от ума». И там б о л ь ш е в с е г о и г р ы в я з ы к е: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово с неверной интонацией будет резать ухо, как фальшивая нота» [1]. Вот почему «Горе от ума» вечно будет служить одним из высочайших образцов не только для русской литературы, но и для русского театра, который по преимуществу воспитан энергией и художественной прелестью русского языка.

---

[1] Соч. И. А. Г о н ч а р о в, т. VIII, стр. 159—160.

ЯЗЫК «БОРИСА ГОДУНОВА»*

I

Драматический язык был одним из больных вопросов русской литературной жизни в первые десятилетия XIX в. Это было связано с общим кризисом русской драматургии. Трагедия классического типа сходила со сцены, доживая свой век под маской сентиментализма в сочинениях Озерова и в открытом, но бесплодном бою с эпохой в сочинениях Катенина. Но место умирающей классической трагедии оставалось ничем не занятым. Как указал Ю. Н. Тынянов в своей работе об «Аргивянах» Кюхельбекера, современники ставили упадок драматургии в начале XIX в. в связь с победой литературного направления, условно именуемого «карамзинизмом». Самый жанр трагедии был внутренне чужд карамзинизму. В частности, та теория литературного языка, которая объявляла идеалом язык светского общества, и была одним из наиболее ярких выражений карамзинизма, не давала почвы для обновления драматического языка. Отчетливую характеристику положения находим в известной статье Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» (1824). Здесь Плетнев пишет: «Повсеместное употребление в русских обществах французского языка остановило у нас усовершенствование драматической поэзии, которая заимствует лучшие свои обороты из лучшего только разговора. От бедности разговорного языка все возвышенное в трагедии кажется у нас напыщенным, а все простое в комедии становится низким. Озеров только там истинно хорош в своих трагедиях, где предмет позволяет ему говорить или языком поэмы, или языком лирической поэзии». Пушкин не признавал Озерова, но все же заметил, что «Озеров сделал шаг в слоге». Интересно, что этот шаг был сделан в сторону от собственно драматического языка, по пути к языку поэмы или лирической поэзии. Но основное противоречие в языке трагедии оставалось в силе. Как в классической трагедии, так и в трагедиях Озерова действующие лица не говорят, не беседуют, а д е к л а м и р у ю т. Классическая трагедия строится в принципе на монологе. Даже

* [«Борис Годунов» А. С. Пушкина», под редакцией К. Н. Державина, Л., 1936.]

спорадически появляющийся в классической трагедии частый обмен репликами сохраняет всю природу монологического строения речи. Так, например, излюбленным приемом классической трагедии, воспринятым русскими драматургами у французов (ср. у Расина «Britannicus», III, 8, «Iphigénie» II,2 и др.) является смена монологической формы чередованием реплик размером ровно в один стих, которыми обмениваются двое спорящих действующих лиц. Например, в «Аристоне» Сумарокова (V, 7):

Гикарн (*обращаясь к Федиме*).

И умираешь так, как в свете ты жила

Дарий

Тебе готова смерть стократно сей тяжеле.

Гикарн

Еще по сей я час не обвинен в сем деле

Дарий.

Разбойник! но не ты ль царевну умертвил?

Гикарн

Она жива, ее я здраву сохранил

К этому приему прибегает и Озеров. Например, в «Фингале» (II, 3):

Фингал

Остановите вы, о воины, его!

Старн

Иль ты пришел во храм над святостью ругаться?

Фингал.

Иль за крамольного Старн может здесь вступаться?

Старн.

Почти, Фингал, почти его священный сан!

Фингал.

К сплетенью ль хитростей ему был оный дан?

Особенно интересен спор Пирра с Агамемноном в «Андромахе» Катенина (IV, 6) классицизм которого был полемическим и потому приводил к намеренному подчеркнутому употреблению традиционного приема Здесь этот перебой однострочных реплик занимает целые одиннадцать стихов например:

Агамемнон

Как посмеюся я, когда падешь ты мертвый!

Пирр

Так, верно обречен один Аиду жертвой.

Агамемнон.

И тело я твое отдам на пищу псам.

Пирр.

Нет, прежде ястребов корыстью будешь сам. И т. д.

В сущности говоря, все это — однострочные монологи. Каждая реплика представляет собой какой-то законченный микрокосм речи. Реплики не сливаются одна с другой в один общий поток живого слова, а как бы выхвачены из этого потока и выставлены напоказ. Это те «французские стихи», те «стихи-выскочки», которые «лезут из толпы грудью вперед», превращаясь в легко запоминающиеся сентенции, и об отсутствии которых в «Борисе Годунове» Пушкина писал Вяземский («Архив бр. Тургеневых», VI, 48). Строгая метрическая замкнутость подобных реплик, их интонационный параллелизм, полная их синтаксическая самостоятельность, приводящая иногда к тому, что один собеседник произносит свою вторую реплику без всякого внимания к тому, что ему ответили на первую,— все это максимально удалено от подлинной природы диалогической речи.

«Борис Годунов» Пушкина был первой русской трагедией, в которой декламация перестает быть основным и главенствующим принципом драматического языка. «Орлеанская дева» Жуковского — вещь тоже по преимуществу декламационная. Эта декламация не монотонная, а взволнованная, лирическая, музыкальная. Пушкин живо чувствовал эту разницу. По поводу предстоящей постановки «Орлеанской девы» он писал: «Но актеры! актеры! Пятистопные стихи без рифм требуют совершенно новой декламации. Слышу отсюда драмо-торжественный рев Глухарева». О лирической стихии в языке «Бориса Годунова» нам еще предстоит говорить подробнее. Сейчас отметим то обстоятельство, что в трагедии Пушкина действующие лица действительно разговаривают, беседуют. Здесь реплики не замкнуты, не статичны, а даны в движении. При помощи различных лексических, синтаксических и интонационных средств осуществляется непосредственный переход конца одной реплики в начало другой. Одним из таких средств является повторение слов, составляющих вопрос одного из собеседников, в ответе другого из собеседников, например: «Как думаешь, *чем кончится* тревога? — *Чем кончится?* Узнать не мудрено».— «*Что скажешь ты?* — *Скажу*, что понапрасну | Лилася кровь царевича-младенца».— «*Нельзя ли* нам пробиться за ограду? — *Нельзя.* Куды! и в поле даже тесно».— «Да здесь, намедни, | Ты *помнишь?* — Нет, *не помню* ничего». Разумеется, это еще более органично в прозаических сценах: «И он *убежал*, отец игумен?» — «*Убежал*, святый владыко».— «Ведь это *ересь*, отец игумен?» — «*Ересь*, святый владыко, сущая *ересь*». Сходный смысл имеют и такие построения: «Весть важная! И если до народа | Она дойдет, то быть грозе великой».— «Такой *грозе*, что вряд царю Борису» и пр. Или: «*Пойдем* же, брат».— «И дело, друг, *пойдем*».

Такого рода переходы от слов одного действующего лица к словам другого являются не столько намеренным, сколько непроизвольным внешним выражением чисто с м ы с л о в о г о, а не декламационного принципа сочетания реплик. Вопросы, ответы, восклицания, возражения, приказания и прочие формы реагирования на речь собеседника в «Борисе Годунове» имеют реальную предметную опору в содержании речи (например, сцена Бориса и Шуйского, сцена Самозванца с пленником и др.), в том, что действующие лица трагедии не только по внешним условиям драматического строения произведения, но и по существу реально обращаются с речью друг к другу. Отсюда обилие специфически разговорных оборотов и интонаций в «Борисе Годунове», встречающихся на всем его протяжении и вступающих в сочетание с разнообразными лексическими элементами (архаическими, лирическими, фольклорными), образующими материальную ткань языка пушкинской трагедии. Приведу несколько наиболее отчетливых примеров такого рода разговорных формул. «*Полно, точно ль* | Царевича сгубил Борис? — *А кто же?*» — «Нечисто, князь.— *А что мне было делать?*» — «Не хвастаюсь, а *в случае, конечно,* | Никая казнь меня не устрашит». — «*Ведь* Шуйский, Воротынский, | *Легко сказать,* природные князья».— «*Что ж?* Когда Борис хитрить не перестанет...» — «Молчать! молчать! дьяк думный говорит; | *ш-ш* — слушайте!» — «*Ну, Что ж?* как надо плакать, | Так и затих!.. *Ну, то-то же*». — «*Что там еще*? — *Да кто их разберет?*» — «Ты угадал.— *А что?*» «Кто смеет | Противу их? Никто. *А что же?*» (ср. традиционно-риторическое «И что же?»).— «В то время | Ты, говорят, был в Угличе.— *Ох, помню*!» — «Каких был лет царевич убиенный? — *Да лет семи*».— «Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне | Из Кракова гонца прислал сегодня. *Ну*».— «Дворецкий князь-Василья | И Пушкина слуга пришли с доносом.— *Ну*».— «*Вот-на*! какая весть! Царевич жив! *ну* подлинно чудесно».— «Да *слышно* он умен, приветлив, ловок».— «Прав ты, Пушкин. | *Но знаешь ли?* Об этом обо всем | Мы помолчим до времени.— *Вестимо,* | *Знай про себя*».— «*О Шуйском что?*» — «Смешно? *а? что?* — что ж не смеешься ты?» — «*Ух,* тяжело!.. *дай дух переведу*».— «Да, да — *во что*! теперь я понимаю».— «*Ну — думал ты, признайся,* Вишневецкий, | Что дочь моя царицей будет? *а?*» — «Я только ей промолвил: «*ну, смотри*!» — «Что в ней нашел Димитрий? — *Как*! она | Красавица».— «*Да* в уголку *потянем-ка* вдвоем... Пойдем же, брат.— *И дело, друг,* пойдем».— «А хочешь ли ты знать, кто я таков? *Изволь*; скажу».— «Проснулся я и думал: | *Что ж?* может быть, и в самом деле бог | Мне позднее дарует исцеленье».— «*Ну, что в Москве? — Все, слава богу,* тихо».— «*Ну, войско что? — Что с ним?* одето, сыто».— «*Ну вот о чем* жалеет».— «А *где-то* нам сегодня ночевать» и т. д. На таких сгустках разговорной экспрессии, которая становится особенно заметной при сравнении с господствовавшей драматургической традицией, построена речь как реальное средство общения между действующими лицами в «Борисе Годунове».

II

Отход Пушкина от господствовавшей традиции и его самостоятельность по отношению к ближайшим предшественникам («Орлеанская дева») еще более резко сказались в том, что в «Борисе Годунове» сознательно поставлена цель внести р а з н о о б р а з и е в драматический язык. В известном письме к Н. Н. Раевскому Пушкин писал: «Слог трагедии смешанный. Он площадной и низкий там, где я должен был вывести простых и грубых людей». Говоря в другом месте о ниспровергаемых им трех классических единствах, Пушкин писал: «Кроме сей пресловутой тройственности есть и единство, о котором французская критика и не упоминает (вероятно, не предполагая, что можно оспорить его необходимость), единство слога — сего четвертого необходимого условия французской трагедии, от которого избавлен театр испанский, английский и немецкий. Вы чувствуете, что и я последовал столь соблазнительному примеру». Конечно, это отрицание единства слога и ввод «площадного» слога идут от Шекспира, но в русской драматургии эти стилистические критерии были совершенно новым словом. Русская классическая трагедия за все время ее истории была неприступной крепостью «высокого слога» в том понимании этого термина, какое сложилось во вторую половину XVIII в., и в этом отношении ни у кого из русских драматургов, при всех индивидуальных особенностях их стиля и языковой ориентации, не существовало ни сомнений, ни колебаний. Высокий слог, между прочим, означал полное однообразие языка в трагедии в качестве совершенно твердой, условной нормы, непосредственно прикрепленной к самому ж а н р у трагедии. Разумеется, дело не обходилось без теоретических указаний на принцип соответствия языка героев их характеру, возрасту, социальному положению и пр. На самом языке трагедии это, однако, никак не отражалось. Меркой для суждения об истинном положении вещей может служить одна из рецензий на «Андромаху» Катенина («Сын отечества», 1827, XIII), в которой, между прочим, говорится: «Г. Катенин весьма счастливо преодолел одну из важнейших трудностей в трагедии: он заставил говорить малолетнего Астианакса, говорить прилично его летам, и не уклонился от тона, в котором мы привыкли постигать древнюю трагедию». Между тем легко видеть, что собственно язык, которым говорит у Катенина мальчик Астианакс, меньше всего характеризует его возраст в отличие от других персонажей «Андромахи». Например:

Скажи мне, мать, почто один в гробнице сей
Я ныне заключен был волею твоей?
Почто я зрел в тебе боязнь необычайну?
Ах! ради Гектора открой сию мне тайну.

Или в другом месте:

Брегись, о мать, брегись, да брак сей не свершится.
Страшуся, тень отца им в гробе раздражится.
Но как противиться возможешь ты судьбе?

О, если бы уже я мог помочь тебе!..
...Почто ж о сем ты умолчала?
Иль мнишь, что в тайне слов твоих не соберегу? И т. д. (III, 2.)

Ни о каком правдоподобии здесь нет и речи.

Пушкин тоже говорил об «условном неправдоподобии» как неизбежном элементе драматического языка: «Филоктет у Лагарпа, выслушав тираду Пирра, говорит на чистом французском языке: «Увы, я слышу сладостные звуки греческой речи». Не является ли все это условным неправдоподобием?» Но далее Пушкин говорит: «Истинные гении трагедии всегда заботились только о правдоподобии характеров и положений». Следовательно, правдоподобие характеров и положений, «правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» остаются для Пушкина положительными требованиями драматического искусства. И очевидно, что язык не должен нарушать этих требований. «Условное неправдоподобие» для Пушкина является критерием оценки языка трагедии со стороны документальной и исторической, а не психологической и образной. Французская классическая трагедия могла и не содержать противоречий в последнем отношении — ее язык был образцовым языком французской поэзии, который Пушкин, как известно, ставил очень высоко. Другое дело — русская трагедия, язык которой является условным языком жанра, обособленным «высоким слогом», превращающим, по словам Плетнева, все возвышенное в напыщенное. «Все, как у французов,— говорит Греч о театре Сумарокова,— кроме одного, кроме того именно, что составляет главную прелесть и достоинство их трагедий, кроме прекрасных стихов» («Чтения о русском языке», II, 51). Это нужно непременно иметь в виду при оценке стремлений Пушкина выйти за тесные пределы стилистического материала, установленного традицией.

Эти стремления имели два направления. Заимствованный у Шекспира принцип чередования стихотворных и прозаических текстов подсказывал для прозы «площадной» гротескный материал, при помощи которого достигаются резкие драматические эффекты, состоящие в создании своего рода «языковых масок», то есть персонажей, драматический характер которых отчетливо воплощен в особенностях их речи. Такими персонажами в «Борисе Годунове» являются Варлаам и Маржерет. Смысл этих «языковых масок» не документально-бытовой, а прежде всего экспрессивный. Дело не в том, что беглый монах Варлаам произносит стереотипные церковные формулы вроде «прииде грех велий на языцы земнии» и что француз Маржерет говорит по-французски и коверкает русские слова. Самые церковнославянизмы Варлаама — лишь деталь, входящая составной частью в его театральный образ, который характеризуется словами Мисаила: «Складно сказано, отец Варлаам», дважды повторяемыми. Варлаам — балагур, прибауточник, сыплющий поговорками,— такова его «языковая маска». Точно так же и речь Маржерета важна не своей документальной стороной, хотя у нее есть

определенные документальные источники, а по своим экспрессивным качеством, потому что это французская речь в русской трагедии, да еще пересыпанная ругательствами. Что же касается исковерканного русского языка Маржерета, то его театральные качества не нуждаются в комментариях. Вместе с тем в прозаических сценах наблюдаются и некоторые элементы социальной характеристики действующих лиц по их языку. Сюда относится образ хозяйки корчмы, именно элементы ее языка вроде следующих: «мой кормилец», «недалече», «нынче» (замененное в печатном тексте на «ныне»), «ни лысого беса не поймают», «на чеканском *ручью*», некоторые синтаксические явления ее речи («*вор ли*, разбойник», ниже, в той же реплике, троекратный союз *а*). Пушкин, впрочем, вовсе не был склонен к увлечению экзотикой крестьянского просторечья. Кроме того, общая близость некоторых морфологических особенностей в языке самого Пушкина и его среды к крестьянскому языку заставляет быть особенно осторожным в этом отношении. Возможно, например, что отмеченный только что в речи хозяйки корчмы местный падеж на *-у* написан Пушкиным без художественной преднамеренности (ср. *в уголку* в речи Мнишка). Прямой ошибкой было бы предполагать преднамеренность в таких явлениях, как *взойдем* (по-видимому, вместо *войдем*, хотя речь может идти и о крыльце) в последней сцене, как слово *куды* (III сцена), встречающиеся у всех авторов классических трагедий, и пр. Речи мальчишек и старухи в сцене Юродивого, речи народа в заключительной сцене — не противоречат представлению о народном языке, но положительно охарактеризованы разве лишь такими нейтральными выражениями, как *як она звонит*, *бесенята*, или имеющими фольклорный характер, как *бедные дети*, *что пташки в клетке*, *яблоко от яблони недалеко падает* и т. п.

Иной способ преодоления единства слога находим в стихотворных сценах «Бориса Годунова». Языковых масок здесь вообще нет, что, конечно, не исключает возможности стилизации речи отдельных персонажей (например, Самозванца, Пимена [о чем ниже]) в определенном направлении. Вместе с тем нет и отчетливых признаков социальной характеристики героев по языку. В какой-то мере язык действующих лиц в «Борисе Годунове», конечно, дифференцирован, хотя бы уже потому, что это разные драматические характеры и лица, говорящие на разные темы. Но вместе с тем все они говорят одним и тем же языком, и именно в той мере, в какой они говорят поэтическим языком самого Пушкина. В стихотворной части «Бориса Годунова» проблема выхода за пределы единого слога заключалась для Пушкина не столько в типизации языка отдельных образов, сколько в общем преобразовании традиционного драматического языка в его материальных основах. Задача заключалась в том, чтобы заменить условный язык драмы, основанный на обособленном высоком слоге, общим поэтическим языком эпохи, как его понимал и создавал Пушкин, то есть внутренне богатым и разнообразным, совмещающим в себе материалы разного

качества и колорита, пестрым по составу, но цельным, стройным и законченным в своем последнем выражении. Это уничтожение обособленности драматического языка, которая была тем сильнее, что другие традиционные жанры высокого слога (ода) вымерли или переродились еще раньше трагедии, это вовлечение драматического жанра в общий поток русского поэтического слова пушкинской поры методологически важно проследить на том значении, которое принадлежит в языке «Бориса Годунова» церковнославянизмам сравнительно с другими драматическими произведениями эпохи.

III

В. В. Виноградов («Очерки по истории русского литературного языка», стр. 199) отметил количественный и качественный рост церковнославянизмов в языке Пушкина с середины 20-х годов, то есть приблизительно со времени «Бориса Годунова». Не входя в оценку общих причин и источников этого роста, укажем только, что в своем отношении к церковнославянскому элементу русского языка Пушкин был совершенно не похож на своих современников-«славянофилов», как старших, так и молодых. Поскольку речь идет о «Борисе Годунове», Пушкин в этом вопросе скорее является последователем Карамзина, имея, конечно, в виду «Историю Государства Российского». Дело в том, что Пушкин органически был чужд пониманию слога как какого-то отвлеченного начала, действующего в качестве независимого и непререкаемого закона. Вообще деление языка на какие бы то ни было «слоги» в духе замкнутых, жестких жанровых категорий есть нечто совершенно несовместимое с тем, что дал Пушкин русскому литературному языку. «На счет слога, кроме небрежного начала, мне не нравится слово: *рек*. Кажется, оно не свойственно поэме; оно принадлежит лирическому слогу». Так писал Пушкину Рылеев по поводу «Цыган» (под «лирическим слогом» здесь понимается слог оды). Вот тип оценки, на которую Пушкин никогда не был способен. Поэтому и в 20-х годах Пушкин ни в каком смысле не переходил на позиции «славянофилов», для которых «славенский язык» оставался именно такой замкнутой жанрово-стилистической категорией. Пушкина в славянизмах привлекает не «слог», а вполне реальные смысловые и экспрессивные качества каждого данного славянизма в каждом данном контексте. Условная жанровая мотивировка славянизмов, остающаяся в полной силе у Рылеева, Кюхельбекера, Катенина, у Пушкина уступает место их предметному и поэтическому оправданию. Несколько примеров покажут всю глубину различия в этом отношении между Пушкиным и его современниками — драматургами из лагеря так называемых «архаистов». Сопоставим, например, следующие строчки из «Аргивян» Кюхельбекера (явл. 3):

Коварная война погубит Аргос.
Коринфу нес он цепи, срам и смерть,
Но суд Кронидов праведным защита,
Се нас ведет в их город Афродита!

или такое место из «Андромахи» Катенина (I, 1):

И если верить мне предчувствиям душевным,
Се ночь последняя пергамлянам плачевным—

с следующим местом из предсмертного монолога Бориса Годунова:

Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще: внемлите вы, бояре,
Се тот, кому приказываю царство;
Целуйте крест Феодору...

Очевидно, что *се* в речи русского царя XVII в. и в сочетании с древнерусским юридическим термином *приказываю* в значении «завещаю по наследству», с выражением *целовать крест*, наконец, в обращении к боярам и «владыке патриарху» — качественно не имеет ничего общего с условным употреблением славенского *се* в сочетании с Кронидом, Афродитой или пергамлянами. Сравним далее другой отрывок из того же места «Аргивян»:

Отвергнул он коварный их совет;
Но с мудрою заботою сокрыл
Приход их ото всех, да подозренье
Не прервет в граде общей тишины;
Зане донос на сильного мгновенно
В народе будит зоркую боязнь —

со словами Пимена:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу

и далее:

И все кругом объяты были страхом,
Уразумев небесное виденье.
Зане святый владыка пред царем
Во храмине тогда не находился.

Как видим, и здесь преднамеренные церковнославянизмы *да*, *зане*,— иными, конечно, они не могли быть ни у Пушкина, ни у Кюхельбекера,— Пушкиным употребляются в контексте, вполне наглядно оправдывающем их с предметной стороны, тогда как у Кюхельбекера это просто высокий, торжественный язык, «приличный» жанру и формальным качествам темы, но не связанный ни с характером действующего лица, ни с фактической стороной избранного сюжета. Вспоминаются слова Пушкина о Кюхельбекере: «Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, славянорусскими стихами, целиком взятыми из Иеремия». Еще более далеко от Пушкина отстоит Катенин, классик и «славянофил»-полемист, который в своем славенском усердии и прямолинейной борьбе за воскрешение высокого слога как отвлеченного жанрового языка не довольствуется в «Андромахе» отдельными изысканными и диковинными славяниз-

мами вроде *страна* в значении «сторона» («Со всех чертоги *стран* окружены врагами», III, 1), дательного самостоятельного («И кто ж им воспретит, *вам сущим всем в бою*, восстать и отомстить за родину свою», V, 7), но вообще всю свою трагедию пишет на максимально славянизированном языке, так что в ней буквально каждое слово, имеющее славянский вариант, употреблено именно в этом варианте. У Катенина, например, невозможно встретить ни одного слова с полногласием вроде *город*, *борода* и пр. Не удивительно, что на этой почве иногда возникают и нелепости вроде употребления древней звательной формы в значении именительного падежа (II, 6):

Тогда я был твой раб, теперь *владыко* твой.

Таким образом, в ранг высокого славенского языка незаслуженно возведено явление, имеющее чисто бытовой источник, связанное с тем, что в обращении к известным духовным лицам старая звательная форма слова *владыка* сохранялась и в живом языке. Принципу разнообразия слога в «Борисе Годунове» отвечает то обстоятельство, что церковнославянизмы здесь являются хотя и заметной, но все же только ч а с т н о с т ь ю, о д н и м из элементов языкового стиля, окруженным различными другими формами пушкинского поэтического языка. С другой стороны, церковнославянизмы в «Борисе Годунове» и сами по себе разнообразны, неоднотипны, даны в различном художественном осмыслении. В первом отношении достаточно обратить внимание на тот простой факт, что в «Борисе Годунове» церковнославянские лексические варианты по большей части являются именно только в а р и а н т а м и, которые свободно терпят при себе варианты русские, так что рядом с *пред*, *глава*, *драгой*, *глас*, *младой*, *хладный*, *злато*, *глад*, *очи*, *зри*, *виется* встречаем также *перед*, *голова*, *дорогой*, *голос*, *молодой*, *холодный*, *золото*, *голод*, *глаза*, *гляжу*, *вьется* и пр. По большей части выбор того или другого варианта обусловлен контекстом. Интересно в этом отношении одно место в сцене «Краков. Дом Вишневецкого», где почти рядом находятся *глава* и *голова*. Но первый вариант находится в отвлеченно-риторической реплике Хрущова:

Мы из Москвы, опальные, бежали
К тебе, наш царь — и за тебя готовы
Главами лечь, да будут наши трупы
На царский трон ступенями тебе,

а второй — в реплике Карелы, в которой есть конкретные исторические подробности, а кроме того, в выражении, характеризующем социальные отношения русского средневековья:

К тебе я с Дона послан
От вольных войск, от храбрых атаманов,
От казаков верховых и низовых,
Узреть твои царевы ясны очи
И кланяться тебе их головами.

Рискованно, конечно, было бы утверждать, что буквально каждый лексический вариант этого рода мотивирован в «Борисе Годунове»

таким образом. Но во многих случаях это несомненно, а иной раз даже элементарно. Например, «*драгие* ветви» в молитве мальчика и «гости *дорогие*» в речах Бориса и Шуйского; «твой сладкий *глас*, твой вдохновенный гимн» в обращении Самозванца к поэту и «волшебной, сладкий *голос*» в словах того же Самозванца о Марине и т. п. В рассказе патриарха, выдержанном в церковном стиле, есть стихи:

Твой верный богомолец,
В делах мирских не мудрый судия,
Дерзает днесь подать тебе
свой голос.

Могло бы показаться, что здесь слово *глас* гораздо больше соответствовало бы общему тону речи, чем *голос*, тем более что ритмические условия вполне допускали бы такую замену. Но на самом деле выражение *подать глас* в смысле «заявить мнение» в церковнославянском языке невозможно. В «Словаре Академии Российской» специально отмечено (I, 1120), что соответствующее значение принадлежит только слову *голос*. Зато приведенные стихи могут служить ярким примером того совмещения церковнославянских элементов речи и общих материалов русского литературного языка, к которому Пушкину довольно долго приходилось приучать своих современников. В этом же рассказе патриарха на общем фоне церковнокнижной лексики («*раздрать*, *риза*, *зелие*, *тайное нашептание*, *кладязи* и пр.) находим:

В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: *встань*, *дедушка*, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья.
Там помолись ты над моей *могилкой*...

В словах Басманова «*Он сломит рог* боярству родовому» заменой глагола достигнуто опрощение традиционного выражения *сотреть* или *стереть рог*, идущего из библии, где *рог* является символом могущества и силы (это древнееврейский образ). Ср. «*вознести рог*»; у Ломоносова: «*Сотреть* врагов *взнесенный рог*»; у Озерова в «Димитрии Донском»: «Ордынцев *стертый рог*». Ср., с другой стороны, современный идиом *сломить себе рога.*

Следует также иметь в виду болезненную реакцию иных современников Пушкина на присутствие в его трагедии просторечных элементов, не только окрашенных в грубо экспрессивные тона вроде реплик Варлаама или восклицаний народа («вязать Борисова щенка»), но также более или менее нейтральных, как например *тошнит* в монологе Бориса, *мочи нет* в заключительной реплике Самозванца в сцене у фонтана и т. п. Очевидно, такие выражения представляли собой довольно резкое несоответствие с общим приподнятым тоном речей этих персонажей.

То обстоятельство, что славянизмы в «Борисе Годунове» представляют собой лишь отличительные, заметные места в рамках о б ы ч н о г о языка пушкинской поэзии, находит себе дальней-

шую иллюстрацию в галлицизмах, которых в трагедии Пушкина в общем немало. Некоторые галлицизмы в «Борисе Годунове» уже давно были указаны Коршем в его работе о подлинности окончания «Русалки», именно:

Доверенность младого венценосца
Предательством ужасным *заплатить*,

далее:

Я знал донцов, *не сомневался видеть*
В своих рядах казачьи бунчуки.

К этому можно еще присоединить указание на стих:

Я счастие твое не мог устроить,

далее на такие выражения, как «честь *храброму*» (*le brave*), «за чашею безумства», «свободы чадо», «*любви речей* не буду слушать я». Такого рода атрибутивное употребление родительного падежа от существительных с отвлеченным значением очень часто в языке Пушкина, например: «дева красоты», «дочь неволи, нег и плена» в «Бахчисарайском фонтане», «нога любви» в «Гавриилиаде», «любовь надежд, восторгов, упоенья» (Кюхельбекеру, 1817) и многие другие. Уже эти немногие примеры показывают, что Пушкин не делал насилия над своими обычными языковыми навыками в угоду жанру «Бориса Годунова». В черновике сцены в келье, правда, устранен один галлицизм, но он является таким резким, что, вероятно, Пушкин его не допустил бы не только в произведении на национально-историческую тему. Именно известные слова Отрепьева о Пимене сначала читались:

Ни на челе высоком, ни во взорах
Ничто *не изменяет мыслей*,

то есть не выдает, не обнаруживает (фр. trahir). Ср. в лицейских стихах: «Все юность изменяет» и пр. Но интереснее всего в «Борисе Годунове» такие галлицизмы, которые вступают в соединение с церковнославянизмами. Так, Борис Годунов говорит Шуйскому:

Послушай, князь: *взять меры сей же час*.

Это выражение (prendre les mesures) Марина повторяет в славянизированной форме:

А Годунов свои *приемлет меры*.

Известное затруднение для лингвистической интерпретации представляют два стиха в монологе Пимена:

Предстану здесь алкающий спасенья

и:

Прииду к вам преступник окаянный.

В этих стихах правомерно усматривать составные сказуемые с так называемым вторым именительным: *предстану алкающий* и *прииду преступник*. Первый из этих двух стихов, собственно говоря, даже и невозможно понимать как-нибудь иначе. Точный смысл этого стиха такой: «я приду сюда, желая [пожелав] спастись; я пожелаю спастись и приду сюда». Иоанн вовсе не хочет сказать, что он уже сейчас является «алкающим спасенья». Нет, «желанный день придет» — и он явится «алкающим» в монастырь. Таким образом, слово *алкающий* невозможно понимать как обособленное определение к подлежащему, как слово, означающее вневременной, постоянный признак. Это несомненный предикат, значение которого связано с временной формой глагольной части сказуемого. Думаю, что по аналогии правильнее видеть ту же конструкцию и в другом стихе, то есть понимать его в смысле: «я приду к вам преступником окаянным, «как» преступник окаянный, «в качестве» преступника окаянного». Может быть, не лишено значения, что ни в беловом автографе, ни в печатном издании эти вторые именительные не выделены запятыми, которыми обычно выделяются обособленные определения и приложения. Конструкции со вторым именительным звучат для нас теперь архаизмами. Но они, несомненно, не были сознательными архаизмами, в духе древнерусского синтаксиса, для Пушкина. Скорее это не подражание древнерусскому складу речи, а непроизвольные галлицизмы. Ср. еще: «Весь город был *свидетель* злодеянья», «Все то, чему *свидетель* в жизни будешь», где такое же совпадение древнерусской формы составного сказуемого с французской. С другой стороны, Борис Годунов при помощи ярких церковнославянизмов выражает мысль чисто европейского склада, вряд ли свойственную идеологии русского XVII в.:

> Мы смолоду влюбляемся и *алчем*
> Утех любви, но только утолим
> Сердечный *глад* мгновенным обладаньем... И т. д.

По этому поводу Булгарин писал: «В устах какого-нибудь рыцаря Тоггенбурга эти слова имеют силу и значение, но в устах русского царя, Бориса Годунова, это анахронизм! В XVII веке, после царствования благочестивого Феодора Иоанновича, в обществах, из коих исключен был женский пол, не знали и едва ли помышляли о мгновенных обладаниях!» Это подводит нас к вопросу о документально-исторических качествах языка пушкинской трагедии.

IV

Прежде всего необходимо считаться со словами самого Пушкина: «Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времен». Таким образом, Пушкин сознательно стремился к воспроизведению зани-

мавшей его исторической эпохи между прочим и средствами языка. Однако Пушкину был чужд метод прямолинейного документализма, чисто цитатный подход к материалу, так широко распространенный в литературных произведениях, имеющих своей задачей историческое изображение. Поэт в Пушкине постоянно побеждает стилизатора. Многочисленные заимствования Пушкина в «Борисе Годунове» из Карамзина и других источников имеют не столько документальный, сколько поэтический характер. Раньше чем ввести в свою трагедию тот или иной языковой материал, почему-либо представлявшийся ему исторически характерным, Пушкин пропускал его через свое поэтическое сознание, переживал его как материал поэтический, и в результате цитата, не теряя своей исторической колоритности, вместе с тем приобретала все типичные качества пушкинского поэтического слова. Вот почему трагедии Пушкина в такой большой степени присущ лиризм, остающийся главенствующей стихией пушкинской поэзии в любых жанрах. Пушкин сам засвидетельствовал свое лирическое отношение к исторически характерному языковому материалу своими словами о том, что он старался «угадать» образ мыслей и язык избранной им эпохи в летописях. Пушкин не копировал и не подражал, а именно у г а д ы в а л в своих источниках то, что ему было нужно как художнику, брал в этих источниках то, что был способен воспринять и пережить как поэт.

Характерным в этом смысле является эстетическое отношение Пушкина к Карамзину. Взяв у Карамзина, в особенности из его примечаний, почти всю фактическую основу своей трагедии, Пушкин в то же время широко пользуется не только примечаниями, но и самим изложением Карамзина в чисто литературном отношении: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофтегмами хронике... Нравственные его размышления своею иноческою простотою дают его повествованию в с ю н е и з ъ я с н и м у ю п р е л е с т ь д р е в н е й л е т о п и с и». Нет надобности полемизировать с этим идеальным воззрением на древнюю летопись. Но важно знать, что именно так смотрел на нее Пушкин и что он был склонен ставить знак равенства между изложением летописным и карамзинским. На то и на другое Пушкин смотрел глазами поэта. Погодин в предисловии к своей трагедии «Марфа, посадница новгородская» указывает, что в его трагедии «едва ль найдется несколько выражений, которых бы он [автор] не указал в памятниках того времени». Стоит сравнить эти слова с вышеприведенным заявлением Пушкина о его отношении к летописям, чтобы почувствовать разницу между документальным и поэтическим подходом драматурга к историческому материалу.

Интересно следить за переходом различных эмоциональных, патетических и лирических формул «Истории Государства Российского» в языковую ткань «Бориса Годунова» и за превращениями, которые они переживают на этом пути. Отсылая за подробным об-

зором этого материала к VII тому академического издания сочинений Пушкина, отмечу здесь только несколько характерных частностей.

Карамзин: «Патриарх... убеждал, требовал, и не мог поколебать его твердости, *ни* в сей день, *ни* в следующие —*ни* перед лицом народа *ни* без свидетелей,— *ни* молением, *ни* угрозами духовными». Пушкин:

Ни патриарх, *ни* думные бояре,
Склонить его доселе не могли.
Не внемлет он *ни* слезным увещаньям,
Ни их мольбам, *ни* воплю всей Москвы,
Ни голосу великого собора

Карамзин: «Но *давно* лишенные достоинства князей владетельных, *давно* слуги московских государей наравне с детьми боярскими, они не дерзали мыслить о своем наследственном праве». Пушкин:

Уже *давно* лишились мы уделов,
Давно царям подручниками служим.

Карамзин: «Но Годунов вторично ответствовал, что высота и *сияние* Феодорова трона ужасают его душу». Пушкин: «Его страшит *сияние* престола». Карамзин: «Для тебя *обнажено* мое сердце». Пушкин: «*Обнажена* моя душа перед вами». Карамзин: «Юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж *битвы и совета*...» Пушкин: «Великий ум! *муж битвы и совета*!» Карамзин: «Борис крушился тогда без лицемерия, и чувствовал, быть может, казнь небесную в совести, готовив счастие милой дочери и видя ее *вдовою в невестах*». Пушкин: «*В невестах уж печальная вдовица*».

Таким образом, Пушкин берет у Карамзина или готовые поэтические формулы, или сам придает такой характер цитатам из Карамзина, как например в последнем из приведенных случаев (*печальная вдовица*). Точно так же и многочисленные славянизмы «Бориса Годунова», даже там, где они непосредственно взяты из подлинников, имеют не столько цитатный, сколько лирический характер. Обратим внимание хотя бы на такой факт, как прикрепление известных словесных образов к определенному образу трагедии, например слов *отрок* и *убиенный* к образу царевича Димитрия, тень которого, по замечанию Ив. Киреевского, «царствует в трагедии с начала до конца, управляет ходом всех событий... и различным краскам дает один общий тон, один *кровавый* оттенок». Ср. вопрос Отрепьева: «Каких был лет царевич *убиенный*?» Слова Афанасия Пушкина: «Державный *отрок*, по манию Бориса *убиенный*». Слова Бориса: «Как я узнал, что *отрока* сего... Что *отрок* сей лишился как-то жизни». Слова Самозванца: «Не сей давно забытый миром *отрок*». Обратим далее внимание на контексты, которыми окружены славянизмы в «Борисе Годунове». В рассказе Пимена о кончине Феодора Иоанновича воспроизведены некоторые конкретные детали

подлинника, именно «Повести о честном житии» Феодора Иоанновича, написанной патриархом Иовом (Никонова летопись, VII, 347), например слова *одр, царю едину зримый* (в оригинале в ином контексте: «царя убо единого зряще и того зело изнемогающе»). Кроме того, из оригинала взята тема «мужа светла»:

К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел.

В летописном рассказе это выражение встречается дважды: «Видел некакова пришедша к нему мужа светла во святительских одеждах» и далее: «Зрите ли одра моего предстоит муж светел во одежди святительстей». Нет никакого сомнения ь том, что именно этот образ «мужа светла» поразил поэтическое воображение Пушкина — «*необычайно* светел»,— так что тема света проницает собой все это место в рассказе Пимена:

И лик его как солнце просиял.

Последнего в подлиннике нет. Вообще нет уверенности, что в подлиннике выражение «муж светел» имеет именно тот смысл, в котором воспринял его Пушкин. Упоминаемые в подлиннике «святительские одежды» дают возможность толковать *светел* как «одетый в праздничное одеяние, прекрасно, богато убранный» (см. Словарь Срезневского, III, 330). Независимо от этого становится очевидным, что знаменитое *зане*, которого также нет в подлиннике, но которое употреблено здесь Пушкиным, по словам Белинского, «очень ловко, кстати и на месте», порождено тем же «угадывающим» отношением к материалу, лирическим переживанием археологической темы. Подобные же нюансы можно отыскать в переложении письма Иоанна IV к Кириллу Белозерскому в том же рассказе Пимена:

И тихо он беседу с нами вел.
Он говорил игумену и братьи:
«Отцы мои, желанный день придет,
Предстану здесь алкающий спасенья.
Ты Никодим, ты Сергий, ты Кирилл,
Вы все — обет примите мой духовный:
Прииду к вам преступник окаянный
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святый отец, припадши.

Вот для сравнения подлинник, приведенный у Карамзина (IX, прим. 38): «... и пришедшу ми к вашему преподобию, и тогда со Игуменом бяше Иоасаф, Архим, Каменской, и Сергей Колычов, ты Никодим, ты Антоний, а иных не упомню, и бывши в сей беседе надолзе, и аз грешный вам известих желание свое о постриженнии... и вам молитвовавшим, аз же окаянный преклоних скверную свою главу и припадох к честным стопам Игумена, благословения прося». При всей текстуальной близости пушкинских стихов к подлиннику в них все же нет никакого привкуса документализма или стилизации. Все невозможное в обычном языке пушкинской эпохи

устранено. В качестве компенсации текст отягощен славянизмами *прииду, алкающий*. Слово *честный*, в подлиннике обозначающее «почтенный», «достопочтимый», взято Пушкиным в другом значении, именно «священный» («честная схима»). Перечисление имен с повторением местоимения второго лица, в подлиннике лишенное всякой стилистической или риторической нагрузки, под пером Пушкина приобретает характер необычайной поэтической торжественности. Наконец, весь отрывок дан в контексте типической лирической семантики Пушкина: «И *тихо* он беседу с нами вел», «*желанный день* придет», «*Задумчив, тих* сидел меж нами Грозный», «И *сладко* речь из уст его *лилася*», «И *плакал* он», «Его душе *страдающей и бурной*». Совершенно очевидно, что Пимен, персонаж, наделенный преимущественно лирической функцией, даже развивая чисто летописные темы, говорит языком, в котором сквозь черты монаха XVII в., носителя определенных черт национально-исторической идеологии, отчетливо проступают характерные формы семантики Пушкина-лирика.

Таким образом, основная функция церковнославянских элементов в языке «Бориса Годунова» — это осуществляемое через их посредство лирическое осмысление национально-исторической темы. Это вполне понятно, если принять во внимание значение истории в системе идей и образов, питавших идеологию Пушкина. Для Пушкина история была не просто «литературной темой», а источником решения основных вопросов его личной и социальной биографии, методологией его общественного и поэтического поведения. Здесь приобретала свои очертания феодальная утопия Пушкина, которую он противопоставлял ненавистной бюрократической монархии, и здесь же находил свежие краски его поэтический язык. Это удивительно хорошо было понято современником Пушкина Баратынским. Возражая против мнения, будто для Пушкина в «Борисе Годунове» образцом слога служила «Орлеанская дева» Жуковского, Баратынский писал Ив. Киреевскому: «Слог «Иоанны» хорош сам по себе, слог «Бориса» тоже. В слоге «Бориса» видно верное чувство старины, чувство, составляющее поэзию трагедии Пушкина, между тем как в «Иоанне» слог прекрасен без всякого отношения». Действительно, поэтическое восприятие истории, для которого «Орлеанская дева», разумеется, не давала условий, есть основное отличие конкретно лирического языка «Бориса Годунова» от абстрактно лирического языка «Орлеанской девы». Только при таком допущении становится понятным отсутствие прямой мотивировки — персональной, социальной, жанровой и пр.— у целого ряда церковнославянизмов в «Борисе Годунове». В ряде случаев она имеется — некоторые уже были приведены выше. Вполне понятны, конечно, в устах патера Черниковского такие слова, как *вспомоществуй* (по-видимому, взято из статьи Булгарина о Марине Мнишек), *небесная благодать, оглашенный свет*. Очевидно оправданы образом действующего лица выражения: «сосуд диавольский», «млад и неразумен», «врагоугодник» в речах патриарха (ср.

вышесказанное о рассказе патриарха о чудесах на гробе Димитрия). Официально-государственный тон речи Щелкалова к народу объясняет употребляемые им слова *воздвижится*, *взыдет*, *сирая Москва* и пр., где, однако, несомненным также является присутствие лирического тона. Более случайным кажется слово *никая* в устах Шуйского, речь которого вообще свободна от славянизмов, но, может быть, это канцеляризм, лексика приказного языка. Но зато уже чисто экспрессивными качествами наделены многочисленные настойчивые славянизмы в речах Самозванца. В немногих случаях они персонально мотивированы образом чернеца в сцене в келье (например, «бесовское мечтание»), но в последующих сценах они уже прямо прикреплены к политической или любовной риторике этого романтического и страстного авантюриста, например: «Хвала и честь тебе, свободы чадо», «Стократ священ союз меча и лиры», «Нет, не вотще в их пламенной груди», «Гордыней обуянный, | Обманывал я бога и царей», «Зри во мне | Любовника, избранного тобою». Общий риторический тон языка Самозванца позволил даже Пушкину вложить ему в уста употребление косвенных падежей от *иже* — «Благословится подвиг», | *Его ж* [т. е. который] они прославили заране», «Ты мне была единственной святыней, | Пред *ней же* [то есть перед которой] я притворствовать не смел», которые звучат в этих контекстах несколько неожиданно. Любопытно, что, по мнению одного из критиков-современников (Среднего-Камашева), вообще осуждавшего «излишний местами лиризм в разговоре действующих лиц» трагедии Пушкина, «вся почти сцена, где к Самозванцу подходят Курбский, Собаньский, Хрущов, Карела и наконец Поэт, дышит как-то, несмотря на изящество отделки, ходульною поэзией отцов-классиков». Наконец, нельзя не обратить внимания на обильные славянизмы в речах Марины: «приемлет меры», «набожный *приимыш* езуитов» (неверно печаталось до сих пор *приемыш*), «не мнишь ли ты» и пр. Ср. также старинное слово *клеврет* в устах Марины. Все это идет за счет общего духа, в котором написан «Борис Годунов».

V

Язык «Бориса Годунова» представляется своего рода лабораторией, в которой изящество, страстность, сладкогласие и простота языка пушкинской лирики (включая, разумеется, лирические поэмы и пр.) вступают в прочное соединение с элементами книжно-поэтического языка XVIII в., переосмысленными под углом зрения национально-исторического, «летописного» языкового мышления. Заслуживает внимания отзыв барона Розена, переводившего с согласия Пушкина «Бориса Годунова» на немецкий язык и написавшего очень обстоятельную и серьезную рецензию на пушкинскую трагедию. «Одной из выдающихся красот этого произведения,— писал Розен,—является его простой, благородный, истинно драматический язык, принадлежащий исключительно самому поэту. С тонким

художественным чутьем он создал этот язык, который при всей гладкости современного наречия носит на себе печать той исторической эпохи». Нет никакого смысла искать серьезных доказательств того, что «Борис Годунов» написан языком XIX столетия, а не XVII, но очень важно подчеркнуть, что в этой трагедии драматический язык подчинен нормам, выработанным лучшими образцами лирической поэзии начала XIX в. На протяжении всей трагедии, преимущественно в речах Бориса, Самозванца, Марины и Пимена, мы находим на фоне уже отмеченных раньше архаизмов лексические и синтаксические особенности, непосредственно перенесенные Пушкиным в его трагедию из его прежней поэтической практики, так что иногда это приводит даже к заметным языковым анахронизмам. Примером может служить слово *волновать*, которое если и употреблялось в древнем языке метафорически, то только в виде живой метафоры, то есть с сохранением первоначального значения, как например в приводимой Срезневским (I, 380) фразе: «Буря мя влънуетъ грѣховьная». С этой точки зрения слова Бориса:

О милый сын, ты входишь в те лета,
Когда нам кровь *волнует* женский лик —

конечно, являются анахронизмом и по теме и по языку. Особенно резко чувствуется это в словах Шуйского:

Умы людей не должно *волновать*
Нежданою, столь важной новизною.

Разумеется, не соответствуют изображаемой в «Борисе Годунове» эпохе такие выражения, как «черты лица», «терпимость», «вдохновенный гимн», «герои наши», «*прелестная* Марина»; правда, Самозванец говорит это, уже находясь в Польше, а в польских сценах есть даже «мраморная нимфа», чего нельзя не признать очень тонким приемом Пушкина. Непосредственно связывает трагедию Пушкина с его лирикой и поэмами несколько раз встречающийся в трагедии образ, прикрепленный к слову *кипеть*: «Нет, не вотще в их пламенной груди | *Кипит* восторг»; «Не юноше *кипящему*, безумно | Плененному моею красотой»; «Умы *кипят*... их нужно остудить»; в ином значении: «Внизу народ на площади *кипел*». Ср. «Мечты *кипят*» («Воспоминание»); «Как играли страсти | Его послушною душой! С каким волнением *кипели*» («Цыганы»); «Макарьев суетно хлопочет, *Кипит* обилием своим» («Путешествие Онегина»). Самозванец и Марина перекликаются и другими, ставшими для Пушкина характерными, словесными темами его поэзии. Ср. слова Самозванца: «Иль это дрожь *желаний* напряженных» и слова Марины: «Не как раба *желаний легких* мужа». Ср. в «Бахчисарайском фонтане»: «Порывы пламенных *желаний*». Образ *легкий* встречается еще в словах Пимена: «И сны твои видений *легких* будут | Исполнены». Ср. «Дни забав, | Мелькнувших *легким* сновиденьем» («Бахчисарайский фонтан»), «*Легкий* шум ее шагов» («Зачем безвременную скуку»).

Отметим далее постоянное употребление слов *безумный*, *безумство* «*Безумные* потехи юных лет» (Пимен); «*Безумны* мы, когда народный плеск | Иль ярый вопль тревожит сердце наше» (Борис); «*Безумно* | Плененному моею красотой» (Марина); «Ни в пиршестве за чашею *безумства*» (Самозванец); «К нему толпу *безумцев* привлечет Димитрия воскреснувшее имя» (Шуйский). Ср. в «Цыганах»: «Толпы *безумное* гоненье»; «О чем, *безумец* молодой, | О чем так сетуешь всечасно»; в элегии «Под небом голубым»: «С таким *безумством* и мученьем». Ср. далее: «Но что ж теперь *теснит мое дыханье*» (Самозванец); «У спящего *теснит дыханье*» («Цыганы»). Подобные сопоставления можно было бы умножить до бесконечности. Отмечу еще только некоторые специфически лирические сочетания значений в «Борисе Годунове», например «пыль веков» (Пимен), с чем просится в сравнение поразившее Вяземского выражение «в дыму столетий» в стихотворении «Жуковскому» (1818). Далее такие образы, как «темное владычество татар», «Восход его шумящей, бурной жизни», «Пью жадно воздух новый», «Душа сгорит, нальется сердце ядом», наконец необыкновенно выразительная строчка:

И я люблю парнасские цветы.

Но и в общих приемах композиции стихотворной речи «Борис Годунов» целиком совпадает с нормами, которые вырабатывались в поэзии Пушкина по мере его роста как писателя и поэта. Не вдаваясь в детальный сравнительный анализ этого вопроса, что потребовало бы слишком много места, отмечу только, что в «Борисе Годунове», как и всегда у Пушкина, отчетливо наблюдается стремление к гармоническому согласованию синтаксического ритма с ритмом стихотворным, так что границы речевых тактов в тенденции совпадают с стихотворным членением. Опорным пунктом отдельного стиха в «Борисе Годунове» является предикат, так что, когда предложение захватывает несколько стихов, стихи, не имеющие предиката, отчетливо группируются вокруг опорного стиха, как например в следующих параллелизмах:

Не внемлет он ни слезным увещаньям,
Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы,
Ни голосу великого собора.

Или:

Слыхал ли ты когда,
Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?

Многочисленные enjambements в «Борисе Годунове» почти все лишены резкости, вследствие чего деление речи на стихи не противоречит естественным синтаксическим связям между отдельными членами предложения. Члены предложения, синтактическая связь которых является особенно принудительной, например определяемое

и определение, только в редких случаях, обычно в особых стилистических контекстах, располагаются по обе стороны границы между стихами, как например:

Вы видели, что я приемлю *власть*
Великую со страхом и смиреньем.

То же можно сказать относительно членов составного сказуемого, в отношении которого такие стихи, как

И сны твои видений легких *будут*
Исполнены —

представляют собой ничтожное меньшинство. Чаще всего граница стиха раздвигает подлежащее и сказуемое, то есть члены предложения, обладающие наибольшей самостоятельностью, а также сказуемое и легко отделяющиеся обстоятельственные слова, как например:

И часто
Я угадать хотел, о чем он пишет.

Или:

Часто
Златый венец тяжел им становился

Этот тип соответствия между ритмом и синтаксисом является в «Борисе Годунове» господствующим. Ограничиваясь этими немногими примерами, в которых легко все же подметить их полную родственность стиху Пушкина в его других произведениях, укажу еще на то, что эти примеры особенно характерны для «Бориса Годунова» как произведения, написанного белыми стихами. Отсутствие рифмы, которая является не только важнейшим элементом звуковой гармонии, но служит также средством закрепления границы стиха, требует от поэта обостренного внимания к синтаксическим явлениям, связанным с ритмическими границами. Вероятно, в связи с этим стоит то обстоятельство, что в «Борисе Годунове» наблюдается отчетливая склонность к постановке глагола или иного вида сказуемого в конце стиха, что создает частые инверсии вроде «Давай народ искусно волновать», «Его дворец, любимцев гордых полный», «Романовы, отечества надежда» и пр. Стих как бы опирается на наиболее весомый член предложения, что, несомненно, является одним из следствий общей прозрачности и легкости пушкинского стихотворного синтаксиса. Интересно, что, по наблюдению Б. В. Томашевского, в рифмованном пятистопном стихе «Гавриилиады» сказуемое, наоборот, тяготеет к начальному полустишию, что и естественно. Все эти качества стихотворного синтаксиса в «Борисе Годунове» как нельзя более гармонируют с изложенным выше общим воззрением на язык трагедий Пушкина как на язык по преимуществу лирический.

VI

Все это, однако, не означает, что Пушкин решительно чуждался собственно археологического подхода к той задаче, которую ставил перед ним язык его трагедии. Вальтер-скоттовские мотивы в «Борисе Годунове» подмечались современниками Пушкина и, несомненно, сознательно культивировались им самим, однако с большим чувством меры и в ряде случаев снова с заметной лирической окраской. Воспроизведение «домашней» стороны истории, конкретных исторических деталей, того, что в общем замысле «Бориса Годунова» связано с концепцией «трагедии костюма», находит свое воплощение в некоторых элементах старинного делового и обиходного языка, рассыпанных отдельными островками на протяжении трагедии. Например, Борис Годунов говорит:

Мне *свейский* государь
Через послов союз свой предложил,
Но не нужна нам чуждая *помога*.

Ср. слова Афанасия Пушкина:

Король его ласкает
И говорят *помогу* обещал,

и Гаврилы Пушкина:

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою *помогой*.

Ср. еще слова Бориса:

Помочь
Нужна моим усердным всеводам

печаталось неверно *помощь*). Впрочем, *помочь* вместо *помощь*, может быть, является элементом собственного языка Пушкина; ср в «Дубровском» слова Маши: «Каким образом окажете вы мне *помочь*?» В обращении к сыну Борис говорит:

Все области, которые ты ныне
Изобразил так *хитро* на бумаге,
Все *под руку* достанутся твою.

Здесь слово *хитро* употреблено в старинном обиходном значении «искусно», а выражение *под руку* — одно из многих старинных выражений со словом *рука* в значении «власть». Выше было указано на обращение Карелы к Самозванцу («царевы ясны очи», «кланяться головами»). Интересен ответ Самозванца:

Мы *по старине*
Пожалуем наш верный, вольный Дон.

Гаврила Пушкин объясняет Самозванцу, что новые лица, которых тот видит в окружающей его толпе, пришли к нему «просить меча

и службы». Ср. старинную феодальную пословицу: «Твой меч, а наши головы» — обращение народа к князю. Укажем далее на выражения «бить челом», «собором положили», «Басманов в царской Думе теперь *сидит*», «чарка вина», «милостью, *раденьем* и щедротой», частый pluralis majestatis и пр.

Отдельно хочется остановиться на Воротынском, которому Пушкин двумя-тремя штрихами умел придать колоритный образ древнерусского боярина-чиновника, обломка униженных старинных родов. В конце первой сцены Воротынский говорит: «Давно царям *подручниками* служим». Следует заметить, что Пушкин не сразу нашел слово *подручник*. В черновой редакции этому месту соответствует: «Давно царям мы, как *дворяне*, служим». Нельзя не отметить, что эта замена *дворянина подручником* очень удачна. Слово *подручник*, означающее подчиненного, подвластного кому-нибудь человека (*под рукою* = под властью), в языке русского феодализма употреблялось приблизительно в том смысле, в каком на Западе слово *вассал*. Ср. противопоставление *князя* и *подручника* в Ипатьевской летописи: «Не акы к князю, но акы к подручнику и просту человеку». Очевидно, Пушкин почувствовал конкретно-исторический колорит этого слова, оказавшегося таким уместным в цитируемой реплике Воротынского и являющегося интересной деталью феодальных переживаний самого Пушкина. Значение этого слова в системе идейно-поэтических образов Пушкина выразительно иллюстрируется следующим черновым вариантом из «Езерского», который любезно сообщен мне С. М. Бонди:

Мне жаль, что домы наши новы,
Что прибиваем мы на них
Не льва с мечом, не щит гербовый,
А ряд лишь вывесок цветных.
Что мы в свободе беспечальной
Не знаем жизни феодальной
В своих владеньях родовых
Среди *подручников* своих.

Последний стих был сначала написан так: «Средь добрых *подданных моих*». Другой такой феодальной черточкой в языке «Бориса Годунова» является слово *витязь*. Самозванец трижды употребляет это слово в применении к Курбскому: «Я радуюсь, великородный *витязь*, | Что кровь его с отечеством мирится, О, *витязь мой*! завидую тебе» и «Где ж *витязь* мой?» Не требует особых доказательств, что для Пушкина слово *витязь* здесь имело значение русского эквивалента западному *рыцарь*. В «Руслане и Людмиле» Пушкин неоднократно называет своих витязей «рыцарями». Например:

Наш *витязь* мимо черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал —

а несколько ниже:

Над *рыцарем* иная машет
Ветвями молодых берез...

В черновиках поэмы слова *витязь* и *рыцарь* часто замещают друг друга, например песнь II, ст. 29: «И *рыцарь* пасмурный шептал» (Рогдай), а в печатном тексте: «*И витязь* пасмурный шептал». Самые характеры тех, кто произносит это слово в «Борисе Годунове» и к кому это слово обращено, свидетельствуют о том образе, с которым связывалось оно для Пушкина. Например, Марина Самозванцу:

Но чем, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? не именем ли бога,
Как набожный приимыш езуитов?
Иль честию, как *витязь* благородный,

а выше, с тем же эпитетом *благородный*:

У ног своих видала
Я *рыцарей* и графов благородных.

По-видимому, это словоупотребление было обычным. У Карамзина, например, говорится: «Тут Расстрига, как истинный *витязь*, оказал смелость необыкновенную». У Кюхельбекера встречается: «*Витязь* печального образа» (о Дон-Кихоте [«Мнемозина», II, 40]).

Отметим еще интересный момент стилизации старинного официального документа в сцене в корчме. Оглашаемый в этой сцене царский указ о поимке беглого еретика Отрепьева строго выдержан Пушкиным в духе старинного приказного языка. Это находит свое выражение прежде всего в синтактическом построении указа. Пушкинский текст, между прочим, гласит: «А по справкам оказалось, *отбежал* он, окаянный Гришка, к границе литовской». Переписчик, изготовлявший копию с автографа «Бориса Годунова», не разобрав почерка, вместо *отбежал* написал «*что* бежал», исказив таким образом употребленную Пушкиным бессоюзную конструкцию. Выправляя копию, Пушкин остановил свое внимание именно на синтактической, а не на лексической стороне этого искажения, ограничившись тем, что зачеркнул союз *что*, хотя *отбежал* в указанном археологическом смысле, конечно, более выразительно, чем *бежал*. Внимательное отношение Пушкина к синтактической стороне старого официального языка сказалось и в употреблении столь характерного начинательно-присоединительного союза *а*: «*А* лет ему вору Гришке от роду двадцать. *А* ростом он мал,— грудь широкая» и т. п. Ср. в речи пристава: «Не слыхал? ладно. *А* того беглого еретика царь приказал изловить и повесить». Любопытно, что Пушкин стилизовал царский указ даже в орфографическом отношении, написав здесь: «*Чюдова* монастыря» (согласно древнерусской орфографии).

С эпохой Годунова, как известно, связано происхождение пословицы «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Пушкин показывает эту пословицу в своей трагедии в ее рождении. Афанасий Пушкин говорит:

Вот Юрьев день задумал уничтожить.

и далее:

Попробуй Самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Но Самозванец в сцене в корчме произносит уже пословицу: «Вот тебе, бабушка, Юрьев день». Это один из примеров тесной связи, которая существует в языке «Бориса Годунова» между тем, что выше названо «археологической» струей и фольклором. Самый термин «витязь» отчасти связан с фольклором, тем более, что этот витязь обнажает меч «за своего надежу-государя». Но фольклорный материал в «Борисе Годунове» имеет разный характер, представляя собою известную гамму оттенков между полюсом лирики и полюсом грубоватого просторечья. К первому из этих полюсов тяготеет эпизод Ксении и мамки, стих из монолога Пимена «Волнуяся как море-окиян», песенка юродивого. Ко второму примыкают прибаутки Варлаама, песня, которую он поет. С другой стороны, просторечные элементы в «Борисе Годунове» также окрашены в известной степени археологически. Это засвидетельствовано прежде всего репликой Варлаама: «Сам же к нам навязался в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спесивится, может быть, *кобылу нюхал...*» Выражение «кобылу нюхал», в свое время разъясненное Ефремовым в его примечаниях к «Борису Годунову», означает «был сечен кнутом на кобыле», то есть на особого рода доске, специально приспособленной для этого наказания. В этом выражении, таким образом, наглядно сказалось совпадение тяготения Пушкина к историческому колориту и колоритному языку. Менее очевидным является это в другом случае. В печатном тексте Варлаам, вырывая из рук Отрепьева царский указ, говорит: «Отстаньте, пострелы! что я за Гришка». В рукописи Варлаам выражается гораздо более энергично: «Отстаньте, б... ы дети!» Впоследствии, устраняя «матерщину французскую и отечественную», Пушкин поправил: «сукины дети», как и печатается теперь это место. Однако первоначальный рукописный вариант вовсе не является, как можно было бы подумать, отвлеченным сквернословием и шекспиризмом. Источником этого грубого выражения послужил для Пушкина Карамзин, у которого (III, прим. 5) оно приводится по летописи в пример негодования, с каким летописцы говорят о «дерзости и непостоянстве новгородцев».

Итак, в национально-исторические тона у Пушкина окрашивались и славянизмы, и просторечные элементы языка. Последнее в особенности было воспринято от Пушкина Погодиным. В своих воспоминаниях о Пушкине Погодин говорит: «Мне представился образ Марфы Посадницы, о которой я давно думал, искав языка. Жуковского «Орлеанская дева» дала мне некоторое понятие об искомом языке, а «Борис Годунов» решил его окончательно». Зависимость драмы Погодина от «Бориса Годунова» сказывается и в некоторых текстуальных совпадениях, например у Погодина мятежные феодалы говорят:

Нам воли нет в своих землях наследных,
Холопа своего казнить не можем,

совсем как Афанасий Пушкин в «Борисе Годунове»:

Не властны мы в поместиях своих. И т. д.

Разумеется, в «Марфе Посаднице» нет и следа пушкинской поэзии, но известная «размашка» в слоге, оправданная заданием «народной драмы», придает произведению Погодина незаурядный историко-литературный интерес, и понятно, почему оно нравилось Пушкину. Погодин не избегает нарочитых, изысканных славянизмов, но каждый раз дает совершенно точный исторический адрес такого рода форм, как например в торжественно-официальной речи Иоанна в пятом акте:

Но те изменники...
Должны приять достойное возмездье,
И *кийждо* по делам своим поганым,
Как в особливом значится наказе.

Или в официально-фразеологичной реплике Шуйского:

Да сохранит тебя на многи лета
Отец небесный *с чады* и супругой!

Ср. также «О плоти помышляете, *слепии*» в речи Монаха; «*Даждь* им силу» в речи священника и т. п. Но основной тон в языке трагедии Погодина составляют встречающиеся в великом множестве выражения вроде «Обуха плеть *коли* перешибает»; «Против *рожна* нам *прати* невозможно»; «Они ж от робости, *с нечаю* что ли, | Оторопев, нас приняли не дружно»; «Так вот пошла *жарня*, и *в нос и в рыло*»; «Когда б с *десяток* — места | *С костей долой*»; «Держи *востре* оба уха» и пр. В этих выражениях сказывается несомненное стремление построить трагедию на исторически осмысленном просторечии. Этот элемент обладает у Погодина гораздо большей остротой, чем у Пушкина, но ученики всегда в той или иной мере заостряют методы учителей, делают их более рельефными, грубыми и примитивными. Не приходится удивляться суждению Греча: «Говорить ли о «Марфе Посаднице», написанной самым грубым, площадным языком черни, какой нетерпим и в гаерских фарсах» («Чтения», II, 80). Что касается Пушкина, то его просторечие гораздо более скромное и мягкое, опять-таки такое же, какое нетрудно найти и в других вещах Пушкина, как например: «кто этот удалец», «такая право притча», «я их ужо», «здорово, господа»,«нет, мудрено тягаться с Годуновым», «вечор», «впервой», «дворецкий *князь*-Василья» «так и пойдет потеха», «все это, брат, такая кутерьма» и т. п. Любопытным штрихом является также *али*, поправленное в рукописи из *или* в реплике Игумена: «Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову, *али* дьяку Ефимьеву». Во всяком случае, во всех этих примерах нет ничего нарочитого, и они вполне согласуются с нашим общим представлением об элементах

просторечия в живом языке самого Пушкина. Поэтому в «Борисе Годунове» находим все обычные для Пушкина просторечные особенности морфологии: «вокруг *его*», «противу *их*», «*волоса* рыжие», «казаки лишь только *селы* грабят» и пр. Замечательно, что в печатном издании «Бориса Годунова» все эти просторечные особенности были тщательно выправлены (очевидно, Плетневым). В том, что правщиком в данном отношении руководила определенная система, убеждает следующее обстоятельство. Следуя архаически-просторечному правилу согласования, Пушкин в «Борисе Годунове» несколько раз ставит глагол во множественном числе при подлежащем, имеющем значение количества: «Немного слов *доходят* до меня», «*Входят* несколько ляхов», «Где кучка казаков | *Смеются* им из-под гнилой ограды» В книге все это выправлено и напечатано; *доходит* (так печаталось до самого последнего времени), *входит*, *смеется*.

VII

Общий итог предложенного анализа состоит в том, что преобразование драматического языка, к которому стремился Пушкин в «Борисе Годунове», осуществлялось Пушкиным посредством замены условного жанрового языка классической русской трагедии поэтическим языком двадцатых годов в том виде, в каком этот язык создавался самим Пушкиным. В этом одновременно источник и живого разнообразия в языке «Бориса Годунова», и его мягкости, ровности, лиричности. Те с п е ц и а л ь н ы е языковые средства, которые привлечены Пушкиным для его трагедии и выделяются в ней на общем фоне ровного и простого лирического языка, во-первых, никогда почти не переходят границ, отделяющих поэтическое отношение к слову от чисто документального и этнографического, а сверх того, являются выражением интимно-заинтересованного, пристального внимания Пушкина к темам и образам, объединяемым символом «история». В последнем отношении «Борис Годунов» является исключительно важным этапом в эволюции поэтического языка Пушкина, как и вообще его идейного и художественного творчества [1].

[1] К сожалению, я не мог воспользоваться для этой статьи книгой В. В. Виноградова «Язык Пушкина», с которой ознакомился уже по окончании своей работы. В исследовании Виноградова специально славянизмам в «Борисе Годунове» посвящено несколько очень интересных страниц

НАСЛЕДСТВО XVIII ВЕКА В СТИХОТВОРНОМ ЯЗЫКЕ ПУШКИНА*

Настоящая статья имеет целью указать в произведениях Пушкина [1] те факты языка, которые могут быть поставлены в связь с поэтической традицией, созданной в XVIII в. и переданной Пушкину его ближайшими предшественниками и учителями. Как известно, именно в зрелых произведениях Пушкина особенно ярко отразилось окончательное разрушение этой традиции, ознаменовавшее собой жизнь русского стихотворства 20—30-х годов XIX в. Изучение роли Пушкина и его творчества в том перевороте, который произошел в русской стихотворной речи в эти годы, необходимо предполагает предварительное освещение вопроса о том, что́ Пушкин получил в данном отношении от предшествовавших ему деятелей русской поэзии и как он воспользовался этим наследством. В соответствии с так поставленной задачей в этой статье изучается не внутренний строй языка пушкинских произведений (точнее: русского

* [«Пушкин — родоначальник новой русской литературы», М.—Л., 1941.]

[1] Тексты Пушкина цитируются (в пределах появившихся уже томов) по новому академическому изданию (указывается том арабской цифрой и страница), а в остальном — по девятитомному изданию «Academia» (1935—1937) (указывается том римской цифрой и страница). Тексты других авторов, если не оговорено иное, цитируются по следующим изданиям: Батюшков — по изданию: Соч. К. Н. Батюшкова, изд. П. Н. Батюшковым, т. I, СПБ, 1887 (указывается страница); Державин — Сочинения Державина, ч. I—V, СПБ, 1808—1816 (том и страница); Дмитриев — Соч. Дмитриева, ч. I—III, М., 1810 (том и страница); Жуковский — Полн. собр. соч. В. А. Жуковского в 12 томах, под ред. проф. А. С. Архангельского, СПБ., 1902 (том и страница); Карамзин — Соч. Карамзина, т. 1. Стихотворения, изд. Отд. русск. языка и словесн. Акад. наук, П., 1917 (страница); Ломоносов — Соч. М. В. Ломоносова, изд. Акад. наук, СПБ, 1891 и след. (том и страница); Муравьев — Полное собр. соч. М. Н. Муравьева, ч. 1, СПБ, 1819 (страница); Нелединский-Мелецкий — Соч. Нелединского-Мелецкого, изд. А. Смирдина, СПБ, 1850 (страница); Василий Пушкин — Соч. Пушкина (Василия Львовича), изд. А. Смирдина, СПБ, 1855; Сумароков — Полное собр. всех сочинений А. П. Сумарокова, изд. 2, ч. I—X, М., 1787 (том и страница); Тредиаковский — 1) Сочинения Тредиаковского, т. III, изд. А. Смирдина, СПБ, 1849 (том и страница); 2) Тредиаковский, Стихотворения, под ред. акад. А. С. Орлова, 1935 (страница). В отдельных случаях цитируются тексты по «Собранию образцовых русских сочинений и переводов в стихах», изд. 2, СПБ, 1821, ч. 1 (сокращенно обозначается С. о. с.).

языка в тех его фактах, которые засвидетельствованы текстами Пушкина) со стороны фонетической грамматической и семасиологической, а только отражение в языке произведений Пушкина известных стилистических норм, созданных допушкинской стихотворной литературой. В какой мере Пушкин следовал этим нормам и какой вообще след они оставили в его произведениях,— таковы вопросы, которые здесь обсуждаются.

К обсуждению привлекаются при этом лишь факты стихотворного языка, а язык пушкинской прозы оставлен в стороне. Это ограничение продиктовано не только обширностью темы, но также и принципиальными соображениями. Дело в том, что язык пушкинской прозы не традиционен в том смысле, в каком это можно говорить о языке стихотворных текстов Пушкина. Общеизвестно, что XVIII век не создал устойчивой традиции прозаического стиля литературной речи. Это, разумеется, не исключает личной зависимости Пушкина как писателя от тех или иных его предшественников в области русской прозы, но стилистические нормы, отражавшиеся в прозаическом языке XVIII в., никогда не были для Пушкина живым фактом языковой культуры. Проза Пушкина относится к тому периоду его деятельности, когда новые точки зрения на нормы литературного языка уже сделали свое дело и их можно было применить к задачам прозаической речи как нечто готовое и данное. Какими бы частными свойствами ни отличался язык отдельных прозаических произведений Пушкина, он уже и в первой повести является в подлинном смысле слова пушкинским. Вряд ли такая проза была бы возможна без того богатого и длительного опыта в области разрушения старых и создания новых стилистических норм, который был приобретен Пушкиным в течение 10—20-х годов, когда он выступал почти исключительно как стихотворец. Единственное, что можно было бы сказать здесь по этому поводу, это что в своей защите так называемого «простонародного» языка, как основы русской литературной речи Пушкин находил себе поддержку в некоторых явлениях прежней литературы, в традиции так называемого «низкого слога», известной ему между прочим, и по прозаической литературе XVIII в., и прежде всего по классическим комедиям Фонвизина. Сюда относится часто цитируемый отрывок из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений», который, может быть, не лишне привести и здесь: «Если б *Недоросль*, сей единственный памятник народной сатиры если б *Недоросль* которым некогда восхищались Екатерина и весь ее блестящий двор, явился в наше время то в наших журналах посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы что Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью*, а себя сравнивает с *сукою* (!!!). «Что скажут дамы, воскликнул бы критик, ведь эта комедия может попасться дамам!» — В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать!» И т. д. (IX 134). Но, во-первых, подобную поддержку Пушкин находил не только в прозаических, но и в стихотворных

явлениях «низкого слога» (ср. отношение Пушкина к языку басен Крылова), а во-вторых, все это имеет значение вовсе не для одной прозы Пушкина, и даже не столько, может быть, для его прозы, сколько для его стихотворных произведений.

Совсем другое дело — поэтическая традиция, унаследованная Пушкиным от прошлого. Это была традиция сильная и богатая, ее язык был языком самого Пушкина (во всяком случае в первый период его творчества), и именно она в первую очередь явилась предметом преодоления в его работе по созданию новых норм русского литературного языка. В каких фактах языка стихотворных произведений Пушкина отразилась эта традиция, видно будет из дальнейшего. Но сначала надо отдать себе общий отчет в самом ее содержании.

I

Основания той традиции литературного языка, которую застал Пушкин и которую он усвоил как наследник литературного прошлого, были заложены около середины XVIII в. деятельностью зачинателей новой русской литературы. Главное значение в ее практической разработке и теоретическом обосновании принадлежало двум лицам — Тредиаковскому и Ломоносову. Языковая доктрина первого знаменовала полную ликвидацию средневекового, «церковнославянского» периода в истории русского литературного языка, так как передавала руководящую роль в языке новой литературы собственно русскому, живому элементу, хотя и ограниченному с социальной стороны рамками языка «изрядной компании» и «лучшего употребления» (ср. доктрину Вожлá и его принцип «bel usage»). Литературная и теоретическая деятельность второго окончательно закрепила за русской литературой право пользоваться живым русским языком, но притом указала разные формы употребления этого языка для разных литературных надобностей. Следствием этого явилось расслоение русского художественно-литературного языка на два стиля: простой и украшенный, причем второй из них, основанный на соединении элементов простого языка с различными языковыми средствами, заимствованными из церковнославянской традиции, был стилем господствующим и получил в течение XVIII в. особенно яркое выражение в высокой поэзии разных жанров русского классицизма [1].

Основной проблемой украшенного поэтического языка XVIII в. была проблема славянизмов. Тредиаковский начал с полного отрицания славянизмов (не на практике, а в теории), но уже в скором времени после этого перешел к защите славянизмов как необходимого средства русской литературной речи. Этот теоретический кризис, пережитый Тредиаковским на небольшом пространстве

[1] Подробнее в моих статьях «Русский литературный язык в первой половине XVIII в.» и «Русский литературный язык во второй половине XVIII в.» [см. соответственно стр. 111 и стр. 138 настоящей книги.— *Ред.*].

1730—1750 гг., явился следствием тех событий, которые переживала в это время русская поэзия. В 1730 г. Тредиаковский формулировал свой нашумевший лозунг о полном тожестве литературного языка и обиходного («я оную — то есть книгу — не славенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собой говорим») в предисловии к переведенному им с французского галантному роману «Езда в остров Любви». Но вскоре выяснилось, что центральная роль в русской литературе становится достоянием не романа, а торжественной оды. И тогда сам же Тредиаковский одним из первых понял, что «ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные» [1]. Ода на обиходном языке, разумеется, невозможна, а потому до тех пор, пока в русской поэзии существовали ода и прочие высокие жанры, в ней сохранялся и высокий стиль с его славянизмами. Уже гораздо позже, в эпоху полного распада классицизма, классик Катенин писал: «Знаю все насмешки новой школы над славянофилами-варягороссами и проч. Но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком писать эпопею, трагедию или даже всякую важную благородную прозу» [2]. Иным, не «варягоросским» языком в указываемых Катениным жанрах действительно нельзя было пользоваться даже и в это время, но дело в том, что самые жанры эти в 20-х годах XIX в. были пережитком и не давали новой значительной продукции. Но в течение всей второй половины XVIII в. указанные жанры были продуктивны, и это обеспечивало устойчивое употребление в литературном языке тех форм и слов, которые лежали в основании высокого стиля и генетически были связаны с церковнославянской традицией.

В самом понимании тех функций, которые должны принадлежать украшенному языку высоких жанров, могли обнаруживаться у разных литературных направлений и отдельных писателей разные точки зрения. Нет сомнения, что Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков осуществляли различные литературные задания при помощи славянизмов, составлявших основу высокого стиля литературного языка. Но одно остается общим для всех литературных направлений XVIII в.— убеждение в том, что существуют такие литературные задачи, которые могут быть разрешены только в высоких жанрах и что эти жанры требуют особенного, украшенного языка. Индивидуальная экспрессивная манера пользоваться средствами этого украшенного языка могла быть разной, но самый состав языка оставался в принципе тот же Личный стиль писателя не следует смешивать с объективными свойствами того или иного стиля самого языка. Для Ломоносова украшенный язык был прежде всего средством, в котором находили себе выражение его лирическое «парение», блеск, громкость, пышность его поэтической манеры. Ло-

[1] «Сборник материалов для истории Имп. Акад. Наук, издал А. Куник, ч. II, СПБ, 1865, стр. 456.

[2] «Сын Отечества», 1822, № 13, стр. 249.

моносов видит в украшенном языке наиболее удобное выражение для своих гиперболических образов, смелых и величественных картин, исполненных пламенного поэтического воображения и пафоса. Сумароков и его школа, пользуясь в общем тем же языковым материалом, то есть русским языком своей эпохи, очищенным от «низких» слов и украшенным при помощи славянизмов, ставят себе другие литературные задачи. В книжной лексике и фразеологии их увлекает не столько ее громкость и пышность,— наоборот, они ратуют за «простоту» стиля,— сколько ее абстрактность, «отрешенность», «идеальность». Литература русского классицизма, как показано Г. А. Гуковским в его многочисленных работах, имеет своим преимущественным предметом метафизические, идеальные сущности, вечные и незыблемые идеалы моральные, религиозные, философские и т. п., в той особой иерархической соподчиненности, в которой они представлялись рационалистическому сознанию классиков. В одном из последних своих исследований Гуковский пишет по поводу «Россияды» Хераскова следующее: «Самый принцип высокости славянизма не является признаком эмоционального ореола вокруг данного слова (так было отчасти у Ломоносова), а является результатом детальной классификации точных значений. Реальность изображаемого мыслилась не как эмпирическая реальность конкретных предметов, а как концептуальная реальность вечных и объективно данных идей. *Молодость*, *баран*, *смотреть* — эти слова были не просто словами иного эмоционального звучания, чем *младость*, *агнец*, *зрети*, а обозначали другие объекты: *молодость* относилась к фактам личной жизни отдельного человека, *младость* была общим понятием» [1]. Здесь очень метко охарактеризовано значение славянизмов для литературы русского классицизма — высокий стиль языка в этой литературе имеет своим источником не эмоциональное, а рассудочное отношение к слову. Но самый язык остается и здесь высоким и состоит из тех же славянизмов. Наконец, в последние десятилетия XVIII в. находим еще и третью разновидность высокой экспрессии — гражданственность. В произведениях Радищева, в «Вадиме» Княжнина, в некоторых произведениях Державина славянизмы высокого стиля несут в себе стихию гражданского витийства и политического пафоса, иногда окрашенную религиозным тоном (например, у Державина). Этот стиль в XIX в. отчасти был унаследован поэзией декабристов, и отзвуки его имеются также в некоторых произведениях Пушкина, о чем ниже. Таким образом, конкретные приемы использования высокого, украшенного стиля языка были различны, но во всех высоких жанрах поэзии XVIII в., независимо от частных тенденций, обнаруживавшихся в разработке этих жанров разными писателями и школами, находим один и тот же «высокий слог», прочно прикрепленный к этим жанрам. XVIII в. явился эпохой своеобразного жанрового закрепощения литературного языка.

[1] Гр. Гуковский, Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в., Л., 1939, стр. 239.

Но вот наступает в конце XVIII в. кризис русского классицизма. В той литературе, к которой переходит в это время руководящая роль, вместо рационализма находим субъективизм, вместо метафизического умозрения — чувствительность. Поднимаются протесты против «надутости» поэтического языка; самое понятие «высокого слога» начинает или осмысляться по-новому, или и вовсе отрицаться. С одной стороны, начинают утверждать, что слог зависит не от слов, а от мысли; с другой стороны, один из родоначальников сентиментализма — М. Н. Муравьев, несколько упреждая события, уже в 1783 г. заявляет, что «всякий имеет свой собственный слог»[1]. Вообще «слог» объявляется функцией писательской личности, «авторовой души», а не жанра. В связи с этим возникают два вопроса: во-первых, означали ли действительно подобные формулировки раскрепощение языка, то есть освобождение его от принудительной связи с жанром; и, во-вторых, какова стала судьба в составе поэтического языка тех элементов церковно-книжной речи, которые предшествующей традицией были узаконены как основание «высокого слога»?

Раскрепощения языка на самом деле не получилось, а только изменились формы его зависимости от литературных жанров. Жанры, которые разрабатывались сентименталистами в поэзии, это по преимуществу «средние» жанры с точки зрения поэтики классицизма, которые не имели в традиции XVIII в. точно формулированных языковых примет и в своем языке склоняются то к высокому, то к простому, неукрашенному стилю. Ставя вопрос о стилистической природе «легкого стиха», сложившегося в русской поэзии на рубеже XVIII—XIX вв., Гуковский говорит так: «Было бы справедливо распространившееся в последние годы представление о том, что карамзинисты культивировали средний слог, если бы стилистическая система «карамзинистов» (допустим на минуту этот неточный термин) не снимала представление о высоком, низком и среднем стилях вообще и с достаточной определенностью»[2]. Это замечание мне не кажется вполне удачным. Во-первых, высокие и низкие жанры продолжают еще жить в произведениях карамзинистов наряду со средними. Карамзин, Дмитриев (несмотря на свой «Чужой толк»), Жуковский еще писали оды, отличавшиеся всеми традиционными свойствами «высокого слога» в отношении языка; Озеров писал трагедии, которые, без всяких сомнений, являются еще трагедиями высокого стиля; Дмитриев, Жуковский, Батюшков еще пишут басни; но средние жанры — романс, баллада, элегия — все больше оттесняют высокие и низкие на второй план литературной жизни. Во-вторых, что особенно важно, хотя средние жанры действительно вытесняют остальные и претендуют, таким образом, на роль единственного, основного и не противопоставляе-

---

[1] Гр. Гуковский, Очерки, стр. 269.
[2] Там же, стр. 236.

мого ничему иному вида поэзии [1], они не теряют от этого своих жанровых признаков. Разные виды легкой поэзии — еще не просто поэзия, а все-таки жанр, хотя бы и «единственный» (в принципе). В этом глубокое противоречие всей литературной позиции «карамзинизма». Как очень хорошо показывает в другом месте Гуковский, установление зависимости стиля от авторской личности не делает все же эту поэзию индивидуальной в подлинном смысле слова, потому что образ поэта в ней наделен системой общеобязательных свойств. В центре поэзии здесь действительно личность, но что представляет собой эта личность,— известно уже заранее: это все тот же чувствительный и добродетельный человек. Таким образом, хотя слог и зависит от «авторовой души», но «душа» у всех авторов фатальным образом оказывается одинаковой (исключения, вроде Жуковского, поскольку они были, тем самым несли разложение всему этому поэтическому стилю). Поэтому жанры «теряют четкие очертания», все пишется «одним и тем же слогом» [2], однаково. Эта одинаковость мешает окончательному устранению жанровых признаков в том единственном, «среднем» жанре, который как победитель остался в русской поэзии того времени.

В результате столкновения старой системы «трех стилей» и новой системы «одного» стиля в литературе конца XVIII — начала XIX в. внутри каждого из основных литературных потоков устанавливается по два стилистических оттенка — более простой и более книжный. В низких жанрах, с одной стороны, находим Крылова (басни) и Шаховского или Грибоедова (комедии), с другой — Дмитриева и, например, Хмельницкого; в средних жанрах, с одной стороны, Катенина, с другой — Батюшкова и Жуковского; в высоких жанрах, с одной стороны, Озерова, с другой — например Шихматова или тех же Катенина и Грибоедова. В каждом из этих отделов литературы сказывалось нивелирующее влияние «карамзинизма», которое придавало некоторый налет «высокости» простому и «простоты» высокому. Теоретику басенного слога Измайлову слог басен Дмитриева кажется слишком высоким, потому что он находит в этих баснях слова вроде *почто*, *увы*, *воссяду*, а слог басен Крылова—стишком низким, потому что здесь находятся слова и выражения вроде *не моги*, *стеречи*, *гуторя слуги вздор*, *глядит-ко*, *но я пустова не трещу* и т. п. [3]. Критик Соц осуждает Загоскина за выражения вроде *сломил себе шею*, *дурацкая харя*; в комедиях Шаховского осуждаются выражения, вроде *брякнет*, *срежет голову*; наоборот, Загоскин иронически отзывается о лощеном слоге Хмельницкого [4]. Грибоедов заступается за Катенина против Жуковского,

---

[1] Ср. Ю. Тынянов, Архаисты и Пушкин («Пушкин в мировой литературе», 1926, стр. 232): «Низкий» и «высокий» штили и жанры — органически связанные между собою явления; «средний» же враждебен им обоим..

[2] Гр. Гуковский, Очерки..., стр 294

[3] А. Е. Измайлов, Соч., ч. II, СПБ, 1849, стр. 673 и сл.

[4] См. Ал. Слонимский, Пушкин и комедия 1815—1820 гг., «Временник Пушкинской комиссии», вып. 2, 1936, стр. 29—30.

не признавая существенными упреки в грубости слога, сделанные Катенину Гнедичем, и, наоборот, находя слог Жуковского слишком кудрявым: «В Ольге [Катенина] г. рецензенту [Гнедичу] не нравится, между прочим, выражение *рано поутру*,— пишет Грибоедов,—он его ссылает в прозу: для стихов есть слова гораздо кудрявее» [1]. Те деятели поэзии этого времени, которым принадлежала в ней руководящая роль, прежде всего Батюшков и Жуковский, держались в низком и среднем родах более «высокого», книжного оттенка, если отвлечься пока от шуточных и фамильярных жанров, а в высоком роде проявляли известную умеренность. Это приводит к ответу на второй из поставленных выше вопросов.

Стандартная лексика и фразеология высокого поэтического языка XVIII в., построенная на славянизмах, вовсе не исчезла из обихода русского стихотворства с победой «легкой поэзии» и «карамзинизма». Поэты нового направления, воспитавшиеся на традициях XVIII в., очень хорошо усвоили традиционный язык своих предшественников и широко им пользовались. Нечего и говорить о том, что этот язык отчетливо характеризует те произведения новой поэзии, которые принадлежат к высоким жанрам, практиковавшимся еще от времени до времени «карамзинистами». Так как язык этих произведений не составляет прямого предмета этой статьи, то ограничусь просто несколькими цитатами. Например:

Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга! величать,
Богиней Песни вдохновенный,
Твоей усладой удивленный?..
Дерзну ль игрою струн моих...
Хвалить красу твоих брегов,
Где грады, веси процветают...
Где враны трупами питались
Нещастных древних Россиян.

(Карамзин, 74.)

Се твой обет, о царь державный,
Сильнейший из владык земных!..
Беги ты громы для врагов,
Рази единое злодейство.

(Карамзин, 263.)

Воззри: сей велелепный храм
Воздвигнут в память всем векам.

(Карамзин, 274.)

Ко мне Евтерпа прелетает:
Я внемлю труб военных глас!
Кипяща в жилах кровь пылает:
Настал неустрашимых час!
Стремлюсь в средину бранна спора
На бой предводит Терпсихора:
Полигимнии глас в полках.
И се священная Паллада
Величием священна взгляда
Лиет благоговейный страх.

(Муравьев, 39.)

Мир праху твоему, Ермак!
Да увенчают Россияне
Из злата вылитый твой зрак,
Из ребр Сибири источенна
Твоим булатным копием!
Но что я рек, о тень забвенна!
Что рек в усердии моем!

(Дмитриев, I, 12.)

О, страшный вид попранных боем!
Тот зыблется в крови, с глухим кончаясь воем;
Тот, вихрем мчась, погиб бесстрашных впереди;
Тот шуйцей рану сжав, десной изнеможенной
Оторванну хоругвь скрывает на груди;
Тот страшно восстенал, на копья восхищенной,
И, сверженный во прах, дымясь, оцепенел.

(Жуковский, I, 43.)

[1] А. С. Грибоедов, Полное собр. соч., т. III, П., 1917, стр. 15. Возможно, что эта статья Грибоедова не осталась без влияния на заметку Пушкина 1822 г.: «Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу», в которой цветистому слогу прозаиков того времени Пушкин противопоставляет народное выражение *рано поутру* (IX, 30).

Все это разные поэтические стили, в различной мере приближающиеся к одическим образцам классицизма или удаляющиеся от них, но все это один стиль я з ы к а.

Однако и те жанры, которые с п е ц и ф и ч н ы для поэтов новой школы, вовсе не свободны от традиционного языка высокой поэзии XVIII в., но только ему принадлежит здесь иная функция. Снова перед нами знакомое положение: материал языка тот же, его экспрессивная функция иная. Вообще следует сказать, что хрестоматийное представление, будто поэзия «карамзинизма» отрицает славянизмы, совершенно не соответствует действительному положению вещей. По отношению, например, к Жуковскому об этом давно уже предупреждал Плетнев. «Жуковский,— писал Плетнев,— явился в кругу писателей тогда, когда многие из критиков приметно вступались за честь нашего разговорного языка, усиливаясь вытеснить из светской литературы тяжелый или книжный язык, за права чисто русского языка, нападая на церковнославянский. Так как школа этих преобразователей составилась из молодого поколения, которое доставило России несколько образцовых писателей, поэтому многие приняли убеждение, что и Жуковский по своему языку должен принадлежать к этой же школе. Но в этом мнении явная ошибка. У Жуковского в языке можно встретить более, нежели у кого-нибудь из русских писателей, выражений, даже оборотов церковнославянских и так называемых слов языка книжного» [1]. Все это остается справедливым и по отношению к Батюшкову, стихотворения которого изобилуют славянизмами, несмотря на все его «отвращение» к ним в теории. «Остриться насчет славянизмов», как выразился однажды Пушкин, литераторы и, в частности, поэты начала XIX в. стали в сущности лишь тогда, когда Шишков, борясь с «французским стилем» прозы «карамзинистов», стал пропагандировать такие славянизмы, как *непщевать*, *углебать*, *угобжать*, *любопрение*, *лысто*, *уне*, *ухание*, *прозябение* и т. п., то есть такие слова, которых и в XVIII в. почти никогда никто не употреблял в светской поэзии и которые даже и с точки зрения Ломоносова не должны были входить в русский литературный язык как слова «неупотребительные и весьма обветшалые» (IV, 227)[2]. Именно тогда и стали появляться разного рода насмешки над «варягороссами» вроде известных колкостей Василия Пушкина в послании «К В. А. Жуковскому»:

Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*...
К дружине вопиет наш Балдус велегласно:
«О братие мои, зову на помощь вас!
«Ударим на него и первый буду *аз*...
«И *аще* смеет кто Карамзина хвалить,
«Наш долг, о людие, злодея истребить».
(В. П у ш к и н, 7—9.)

[1] Соч. и переп. П. А. П л е т н е в а, т. III, СПБ, 1885, стр. 12.

[2] Тут же Ломоносов еще раз говорит о том, что «славенские» слова, привлекаемые для «высокого штиля», должны быть «Россиянам вразумительны» и «не весьма обветшалы».

Или в его же послании к Д. В. Дашкову:

Свободно я могу и мыслить и дышать,
И даже *абие* и *аще* не писать.
(Ib., 24)

Ср. его же шутку насчет слова *двоица* (пара) в «Опасном соседе» и т. п. Однако тот же Василий Пушкин, не обинуясь, признавался:

В славенском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварской гоню и ненавижу.
(Ib., 10)

Дело было именно в том, что изменились не столько с л о в а, сколько в к у с. Старым словам, обладавшим в прошлом разного рода «высокой» экспрессией — то эмоциональной «громкости» и «пышности», то рассудочной отвлеченности, то гражданственности,— теперь, под пером выучеников Муравьева и Карамзина, была сообщена экспрессия «сладостности», нежности, пластичности и музыкальности. Батюшков в своих письмах мог сколько угодно браниться по поводу «варваров», исказивших русский язык «славенщизною», и уверять своих корреспондентов в своей ненависти к «татарско-славенскому» языку [1], но кто же поверит, будто как поэт он был равнодушен к беспрестанно встречающимся в его стихах словам вроде *ланиты, чело, персты, десница, куща, длань цевница, трапеза, брашна алчный, бренный* и множеству других, не говоря уже о таких «внешних» славянизмах, как *глас, власы, брега, нощь, огнь, змия* и т. п. Ведь и почти одновременно с тем, как Батюшков в письме к Гнедичу изрекал эту хулу и на «рабский» и «мандаринный» церковнославянский язык, он писал своего «Умирающего Тасса», в котором пестрят слова вроде *стогна, багряница, кошница, игралище* и даже такие формы, как *на земли*, притом не в рифме, а в середине строки. Очевидно, это было все же нужно Батюшкову нужно именно как средство для создания до сих пор чарующей нас в его поэзии мелодической и пластической выразительности речи.

В упоминавшейся уже не раз работе Гуковского находим также очень выразительную и правильную характеристику того нового отношения к слову, о котором у нас сейчас идет речь и которое генетически возводится этим исследователем к Муравьеву. Суть

[1] Одно место в его письме к Гнедичу в октябре 1816 г., где содержатся эти выражения (Сочинения, т. III, 1886, стр. 409—410), возбуждает сомнение в исправности его печатного текста, именно «Чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх *искусства* (?) похищать древние слова и давать им место в нашем языке, которого грамматика, синтаксис, одним словом всё — противно сербскому наречию» Если «искусства» здесь не ошибка издателя и не описка Батюшкова, то из данной фразы можно было бы вывести очень интересное заключение: славянизмы, «похищенные» у древнего языка, то есть вырванные из общей атмосферы «славенщизны» и церковности, могут быть достоянием самого искусного русского поэтического языка. Иначе говоря, в этом случае мысль Батюшкова как раз заключалась бы в том, что нужно изменить э к с п р е с с и ю церковнославянских слов, б е з которых поэзия обойтись не может. Это была бы мысль Л о м о н о с о в а в новых условиях. Но не решаюсь держаться этого толкования ввиду сомнительности приведенного текста.

этого нового отношения к слову, по словам Гуковского, «не в адекватном отражении объективной для поэта истины, а в эмоциональном намеке на внутреннее состояние человека». «Поэтический словарь,— читаем далее,— начинает сужаться, стремясь ориентироваться на особые поэтические слова «сладостного» эмоционального характера, нужные в контексте не для уточнения смысла, а для создания настроения прекрасного самозабвения в искусстве»[1]. Поэт не столько именует предметы внешнего мира, сколько дает понять свое отношение к ним. Слово становится до дна субъективным, теряет точные очертания своих смысловых границ. Прекрасно говорит Гуковский, что у Муравьева *туманы* — «это не столько объективный факт пейзажа, сколько туманное переживание»[2]. И разве не то же говорил Плетнев о Жуковском: «Приступая к изображению увлекавших его предметов, он не думал, как Ломоносов, о внешней форме стихов и подборе громких выражений; он в образцах своих читал не отдельные слова в буквальном их смысле, прежде всего он глубоко проникался теми ощущениями, без которых нет жизни в поэзии, тем господствующим направлением души, которое сообщает верный тон произведению»[3], и т. д. Не случайно, разумеется, и то обстоятельство, что в поэзии сентименталистов такое большое значение приобрели различные качественные слова, о функциях которых вообще в литературном языке начала XIX в. интересные данные можно найти в книге В. В. Виноградова «Язык Пушкина» (1935).

На почве этого нового поэтического вкуса, исполненного чувствительности и субъективизма, слагается особый стандарт предметов и их качеств, словесные обозначения которых буквально затопляют стихотворную литературу данного времени, повторяясь от стихотворения к стихотворению, от поэта к поэту. Языковой материал для обозначения этих предметов и их качеств в значительной степени восходит к старым запасам «высокого слога» XVIII в., в котором, однако, «высокость» уступает место «сладостности». Но, разумеется, тут были и некоторые иные источники, в частности и западноевропейские, а также европеизированные слова античных языков, обозначающие этого рода стандартные «поэтичные» предметы. Это приводит в конце концов к тому, что самый вопрос о лингвистическом генезисе того или иного слова, обладающего экспрессией «сладостности», теряет всякое практическое значение, и по существу самая проблема славянизма в поэзии этого стиля не имеет

---

[1] Гр. Гуковский, Очерки..., стр. 277—278.

[2] Там же, стр. 282. Напрасно только Гуковский говорит о «полисемии» слова в применении к данному стилю. Значение слов остается в каждом данном контексте одно, но оно обрастает множественностью экспрессивных «обертонов», которые становятся важнее самого смысла. Вообще здесь дело не в семантике самой по себе, а именно в ее экспрессивной окраске, то есть в семантической стилистике слова.

[3] Соч. и переп., III, 10. (Подчеркнуто мной.— *Г. В.*).

уже никакого стилистического содержания; вот почему поэты данной школы могли так широко пользоваться славянизмами в своей писательской практике, осуждая их в теории. Они уже не ощущали соответствующие слова и выражения как славянизмы. Славянизм ли данное слово или нет, это безразлично,— важно, чтобы его можно было нагрузить соответствующими экспрессивными обертонами. С этой точки зрения такие слова, как, с одной стороны, *ланиты, чело, перси*, а с другой, такие, например, слова, как *розы, мирты, лилеи* или, с третьей, такие слова, как *роща, ручей, домик* и т. п.,— все это слова одного и того же стилистического качества, хотя бы первые были славянизмами, вторые — европеизмами, а третьи — русизмами. Все такие «измы» сами по себе уже не создавали особых стилистических категорий и звучали на один лад.

Закрепление этого стиля речи в поэтическом употреблении вместе с аналогичной победой средней линии (в несколько ином соотношении составных элементов и с иной экспрессивной мотивировкой) в новой прозе конца XVIII — начала XIX в. имело громадное положительное значение для последующей судьбы русского литературного языка. Именно в этой литературной атмосфере русская интеллигенция получила первый импульс к тому, чтобы перестать различать в сложном, исторически сложившемся составе русской общенациональной речи разного рода «измы» как цельные стилистические пласты со специальными выразительными правами, прикрепленными к каждому из них. Именно здесь, в этом сглаживании границ и переходов от «простого» к «высокому», в создании «средней» почвы для решения проблемы литературной речи, нашла себе продолжение та культура русского общенационального письменного слова, первые семена которой были посеяны Тредиаковским и Ломоносовым. Эта средняя линия явилась своеобразным и продуктивным синтезом доктрин, связанных с двумя этими именами. Молодые мечты Тредиаковского о гегемонии разговорного начала в языке литературы начали как будто сбываться, но это стало возможным только потому, что само по себе разговорное начало к этому времени успело пропитаться многими книжными элементами и практически осуществляло собой то с о е д и н е н и е обоих начал русского общенационального языка, которое было провозглашено ломоносовской доктриной «высокого слога». Учителя и предшественники Пушкина отрицали «высокий слог» как л и т е р а т у р н ы й п р и н ц и п, но не могли не продолжать пользоваться самим языковым механизмом этой традиции, который они лишь перенесли на почву «среднего слога». Не следует забывать, что лозунг «пиши, как говоришь» для культурного сознания эпохи был вполне равноправен с обратным: «говори, как пишешь» (см. статью Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов»). Нет сомнения, что именно эту же линию продолжал и Пушкин, когда писал в 1825 г.: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились и такова *стихия данная нам для сообщения наших мыслей*» (VIII, 20).

Это безусловно ломоносовский принцип, но применен он здесь не к «высокому слогу», а к общей стихии литературной речи в соответствии с условиями эпохи. Однако в это время, в 1825 г., во взглядах Пушкина на русский литературный язык существовало уже одно чрезвычайно важное, р е ш а ю щ е е отличие от соответствующих взглядов его учителей. Расхождение это касалось вопроса о том, что означает в этой системе взглядов понятие «простонародный язык». Своей интерпретацией этого понятия, всецело вытекающей из его реалистического и исторического воззрения на действительность и задачи русской литературы, Пушкин окончательно укрепил основания русского общенационального языка на н а р о д н о й почве и этим преобразовал всю систему отношений между русским языком и русской литературой. Но развитие этого положения не входит в задачи этой статьи.

Предложенный общий и, разумеется, очень схематичный очерк судеб русской поэтической речи в XVIII в. и в начале XIX в. необходим для того, чтобы можно было разобраться в вопросе о том, что связывает Пушкина с языковой традицией предшествовавшего ему прошлого. Подводя итог этому беглому обзору, можно сказать, что на рубеже XVIII и XIX вв. языковая традиция русского классицизма переживает сложную трансформацию, которая в общих чертах уже завершилась ко времени появления Пушкина в русской литературе, хотя еще не успела отойти в прошлое и сохраняла все свойства литературной новизны. Первые литературные впечатления Пушкина должны были быть неразрывно связаны с отголосками борьбы за новый стиль поэтического и общелитературного языка в начале XIX в. Но язык молодых произведений Пушкина принадлежит уже к этой трансформированной традиции и есть прямое ее порождение. Отсюда возникает важное методологическое требование, которое заключается в том, что в языке Пушкина наследство прошлого следует изучать именно в том виде, какой оно приобрело в обстановке указанной трансформации, связанной с именами Муравьева, Карамзина, Дмитриева, Батюшкова, Жуковского. Это была та литературная среда, которая служила для Пушкина своего рода передаточной инстанцией в его отношениях к более отдаленному прошлому (то есть к классицизму XVIII в.), из рук которой он получал наследство XVIII в. в той мере, в какой оно оказывалось живым для его непосредственных предшественников. В своей краткой биографии Пушкина Плетнев писал: «На стихотворениях его, начиная с произведений двенадцатилетнего возраста, нигде не обозначилось ни одного признака, который бы напоминал поэтов наших осьмнадцатого столетия. Язык Пушкина есть плод переворота, произведенного Жуковским в стихотворном языке и его формах» [1]. Плетнев здесь называет одного только Жуковского — очевидно, потому, что это имя было наиболее близко ему самому. Но он во всяком случае мог бы прибавить, что переворот,

[1] Соч. и переп., I, 368.

приписываемый им Жуковскому, тоже вырос на определенной исторической почве: поэтический язык начальных лет XIX в. впитал в себя известные элементы предшествовавшей поры и донес их в своеобразном преломлении до Пушкина.

Теперь обратимся непосредственно к текстам Пушкина.

2

В области внешних форм в языке стихотворных произведений Пушкина, с точки зрения намеченных выше задач, должны быть изучены прежде всего довольно многочисленные отступления от общих, преимущественно морфологических норм русского языка той поры, характерные именно для стихотворной речи эпохи и в самих условиях стихотворной речи получавшие свое оправдание. Сюда, например, относятся такие факты, как употребление косвенных падежей именных прилагательных вроде от *чиста сердца* (I, 50), окончание *-ыя* в родительном падеже единственного числа прилагательных женского рода, рифмы вроде *блажен — награжден* (I, 42), где во втором слове звучит под ударением звук *е* вместо *о* (то есть *награждён*), и тому подобные явления. Во всех подобных случаях мы имеем дело с отступлениями от общей нормы языка не только в сравнении с нашим современным языком, но и в сравнении с живым русским языком пушкинской эпохи, в котором, как это достоверно известно, не было косвенных падежей именных прилагательных, окончания *-ыя* в указанной категории, звука *е* вместо нашего *о* в соответствующих случаях и т. д. Это и с точки зрения самого пушкинского времени были условности стихотворного языка, но такие условности, которые имели своим источником не произвол стихотворца, а определенную традицию.

Речь идет о традиции, которая уже с самого начала возникновения новой русской поэзии, то есть еще в первой половине XVIII в., допускала в стихотворном языке употребление не свойственных живому языку форм на правах так называемых «поэтических вольностей». Самое появление этих «вольностей», конечно, было вызвано потребностью облегчить труд стихотворца, помочь ему справиться с версификационной задачей. Однако, раз возникнув, хотя бы из чисто технических потребностей неопытного еще стихотворства, соответствующие языковые привычки впоследствии могли получать и чисто стилистическое осмысление. Так как на правах вольностей обычно употреблялись разного рода архаизмы, а архаизмы вообще были основанием высокого слога, то условности, о которых сейчас идет речь, могли осознаваться как специфические приметы украшенного языка, например в одах, трагедиях и т. д. Но тот факт, что все такие условности на всем протяжении XVIII в. и первой половины XIX в. употребляются не только в высоких жанрах, но и в самых разнообразных видах стихотворной речи, вплоть до басни, эпиграммы и т. д., показывает, что они в сущности сохраняли и свое значение внежанровых примет стихотворно-

го языка вообще. Так, например, в притчах Сумарокова находим такие примеры этих условностей, как: «И безо *всяка* страху» (VII, 150); «И был он жертвою *голодну* псу» (VII, 215); в баснях Крылова находим факты вроде «Ходенем пошло *трясинно* государство» («Лягушки, просящие царя») и т. п. Следовательно, стилистическая мотивировка для соответствующих явлений языка была необязательна и представляла собой в сущности лишь частный случай в истории употребления «вольностей». Это необходимо помнить для дальнейшего.

Самый материал «вольностей», как уже сказано, представлял собой преимущественно разного рода архаизмы морфологии и произношения. Почему же именно архаизмы призваны были облегчить труд версификатора в эпоху становления русской поэзии? Разумеется, здесь дело не в самой архаичности того или иного языкового средства, а в том, что во многих случаях такие архаичные формы, известные из церковнославянской традиции, а иногда и из фольклора, представляли собой удобный версификационный в а р и а н т по отношению к соответствующей норме живой речи, например были на слог короче или длиннее, и это давало стихотворцу возможность в ы б о р а между более длинной или более короткой формой слова и т. д. Создававшаяся таким путем довольно обширная система неравносложных вариантов и доставляла стихотворцам помощь в разрешении версификационной задачи. Так было на первых порах, а затем право выбора вошло уже в традицию, и если, например, Державин, Батюшков или Пушкин пользуются еще «вольностями», то, конечно, уже не потому, что они иначе не справились бы с техническими затруднениями стихосложения, а просто потому, что традиция им это разрешала.

Наиболее раннюю формулировку самого закона «вольностей» находим у Тредиаковского в первом издании его книги «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735). Эта формулировка не оставляет сомнения в техническом, а не стилистическом происхождении «вольностей», что, впрочем, доказывается и самым смыслом этого термина. В главе «О вольности, в сложении стиха употребляемой» Тредиаковский говорит следующее: «Я разумею чрез вольность в стихе, которая у Латин называется Licentia, а у французов Licence, некоторыя слова, которыя можно в Стихе токмо положить, а не в Прозе. И хотя Российской Стих мало таковых Вольностей имеет, однако надобно из них некоторыя главныя здесь объявить» [1]. Из дальнейшего все же выясняется, что этих вольностей не так мало. Например, по словам Тредиаковского, в стихах можно сказать, *пишеши* вместо *пишешь*, *писати* вместо *писать*; *мя*, *тя*, *ся* вместо *меня*, *тебя*, *себя*; *будь*, *больш*, *иль*, *неж*, *меж*, *однак*, *хоть*, вместо *буде*, *больше*, *или*, *нежели*, *между*, *однако*, *хотя*; «по нужде» (очевидно, в данном случае в рифме) можно написать *довольны* вместо *довольный*, хотя и предлагается пользова-

[1] Цитирую по «Сборнику...» А. Куника, ч. I, 1865, стр. 31—32.

ться этой вольностью нечасто, «понеже она гораздо великовата»; можно, «смотря по нужде меры» или «для нужды в Стихе», написать то *счастие*, то *счастье*, то *сочиняю*, *воспою*, то *счиняю*, *вспою* и т. д. Интересен следующий параграф, наглядно показывающий, почему как раз архаизмы упрочивали себе доступ в новый стихотворный язык: «Многие звательные падежи, — говорит Тредиаковский,— которые у нас все подобны именительным... могут иногда в Стихах образом славенских кончится. Так вместо *Филот*, может положится: *Филоте*; что я и употребил в одной моей Сатире». Не случайно здесь речь идет о звательной форме мужского рода, потому что в женском роде старая звательная форма (*жено*) не создавала лишнего слога. Вот почему, например, в «Элегии о смерти Петра Великого» Тредиаковского рядом с «увы *цвете* и *свете*!» встречаем «увы моя *надежда*» (III, 738), а если в другом случае у него же в стихах находим «о великая *сило*!», то это объясняется наличием в рифме слова *было* (III, 738). В отдельных параграфах учения Тредиаковского речь идет также о некоторых чисто стилистических явлениях, как например о возможности употреблять фольклорные выражения вроде *тугой лук*, *бел шатер* и т. п., при условии, что «материя будет не важная и шутошная» [1], но это уже другой вопрос, которого сейчас касаться не будем.

Вопроса «вольностей» касается также Кантемир в своем «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских» (1744). Здесь особая (III) глава посвящена «вольностям рифм», а другая (V) говорит «о вольностях в мере стихов». В последней читаем: «*Для чего вольности нужны?* Кто не отведал еще стихи сочинять, почает, что не трудное дело несколько слогов вместить в одну строку. И правда, кто чает, что стих в том одном состоит, легко на одной стоя ноге их намарать может, но не тоже, когда дело идет, составлять порядочные, по правилам, и уху и уму приятные стихи. Трудность тогда не малая встречается так в соглашении здраваго смысла с рифмою, как и в учреждении слогов; для того стихотворцы принуждены иногда от правил удаляться, но таким образом, чтобы то отдаление было неважное и маловременное, а не конечное с ними разлучение, и то называется «вольностию». Самый источник «вольностей» указан Кантемиром с недвусмысленной ясностью: «Все сокращения речей, которыя славенской язык узаконяет, можно по нужде смело принять в стихах русских» [2]. Далее следуют конкретные примеры и правила, во многом совпадающие с материалом Тредиаковского, а иногда уточняющие и дополняющие его.

Из руководств пушкинской эпохи важное определение «вольностей» находим в «Словаре древней и новой поэзии» Остолопова, где читаем: «Вольность пиитическая, Licentia, есть терпимая неправильность, погрешность против языка, которую делают иногда

[1] «Сборник...» А. Куника, I, 32.

[2] Кн. А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избр. переводы, СПБ, т. II, 1868, стр. 18.

поэты для рифмы либо для меры в стихосложении; также под словом *вольность* разумеется употребление некоторых речений, кои только в стихе, а не в прозе — и то по крайней нужде — написать можно; например, *межь, иль, однак, хоть, коль*, вместо *между, или, однако, хотя, ежели*». Далее следуют некоторые примеры из русских поэтов, причем эти примеры сопровождаются повторными оговорками и предостережениями относительно необходимой умеренности в пользовании «вольностями», которые часто объявляются «близкими к погрешности в слоге». Как видно было, уже Тредиаковский и Кантемир оправдывают «вольности» только «нуждой» стиха и предостерегают от злоупотребления ими. Но особенно сильны эти ограничительные нотки в формулировках Остолопова. Это становится вполне понятным, если принять во внимание, что к концу XVIII в., в результате неизбежной эволюции языка и языковых привычек, самый состав «вольностей» значительно изменился, причем изменилось также и отношение к ним, ставшее гораздо менее терпимым. Многие «вольности», упоминаемые в трактатах Тредиаковского и Кантемира, к концу XVIII в. вообще вышли из употребления; некоторые другие особенности стихотворного языка, в эпоху Тредиаковского и Кантемира считавшиеся объективными фактами русской речи, устарели и потому могли оставаться в поэтическом употреблении только на правах новых «вольностей». Так, например, в эпоху карамзинизма уже не встретим в стихотворном языке звательной формы, местоименных форм *мя, тя, ся*, обильно представленных еще в сочинениях Сумарокова. Редкой стала и форма инфинитива на *ти*, неударяемое, хотя Карамзин ею пользовался еще неоднократно, например: «Нам воспевают вино, всех призывая им *утолять ти* скуку, заботы, печаль» (К Д, 15); «Зефир, напрасно мыслишь меня *развеселити*» («Анакреонтические стихи», 22); «Но есть ли ты намерен мне службу *сослужити*» (ib.); «детям груди не *сосати*, а большим ни *пить*, ни *есть*» («Граф Гваринос», 35). Но для Пушкина эта категория была уже совершенно мертвой. Если он и употребляет ее, то только в стилизациях, то есть с определенной стилистической мотивировкой, а не как версификационную условность, какой она является еще у Карамзина (см. особенно последний пример). Таковы примеры употребления этой формы в стихотворении «Как весенней теплою порою» (III, 253—256): *валятися, обниматися, боротися, кувыркатися* и далее:

Уж как мне с тобой, моей боярыней.
Веселой игры не *игрывати*,
Милых детушек не *родити*,
Медвежатушек не *качати*,
Не *качати*, не *баюкати*.

Здесь это уже не условный стихотворный язык русского писателя, а язык фольклора (инфинитив на *-ти* безударное еще и сейчас можно слышать в северновеликорусских говорах). Стилистически родственная этой форме архаичная форма повелительного наклонения с неударяемым *и* в тех случаях, где живой язык не имел тако-

го окончания, встречается у Пушкина в стихотворении «К другу-стихотворцу» (1814), но тоже с определенной стилистической мотивировкой, в тексте, представляющем собой церковную цитату:

Послушай, батюшка,— сказали простяки,
Настави грешных нас.. (I, 27)

К началу XIX в. почти вышла из употребления замена *-ся* на *-сь* в причастиях вроде *держащаясь*, *покоящась*, *катящеесь*, нередкая в XVIII в., но теперь лишь изредка, в качестве явного пережитка, встречающаяся, например у Баратынского в «Наложнице»: «Пред нею *вьющиясь* четы». Ср. «Дашь ли свободный мне вход под тихо *колеблющись* тени» (М у р а в ь е в, 50); «*Льющиесь* с эфира воды» (Д е р ж а в и н, III, 26) и т. п. У Пушкина таких случаев нет совсем [1], что вполне гармонирует с общей тенденцией эволюции его стихотворного языка, которую можно определить в общем так: постепенный отказ от всех условностей традиции и употребление только таких средств языка, имеющих своим источником эту традицию, которые могут быть мотивированы стилистически, то есть употреблены как выразители конкретного стилистического задания, осуществляемого данным произведением, а не как внешний признак стихотворной речи. Этой формулировке, разумеется, нельзя придавать абсолютное значение. Некоторые второстепенные и менее заметные условности, связанные с традицией «вольностей», встречаются на всем протяжении творчества Пушкина. Сюда, например, относятся те случаи, в которых версификационный вариант создавался пропуском или вставкой главного в известных категориях приставок, например: *сокрыться* при *скрыться*, *вображаю* при *воображаю*, *вспоминанье* при *воспоминанье* и т. п., или выбором церковнославянской основы вместо живой от таких глаголов, как *пить*, *лить* (*пиет*, *лиет* при *пьет*, *льет*), *мечтание* или *мечтанье* и т. п. Подобного рода варианты были в большом ходу в стихотворном языке предпушкинской и пушкинской поры (некоторые из них живут в поэзии до сих пор, например *мечтание* или *мечтанье*, *рукою* или *рукой* и т. д.), и произведения Пушкина не представляют в этом отношении исключения. Не только в лицейской поэзии Пушкина, но и в зрелых его стихотворных произведениях часто встречаем такие слова, как *сокрыться* (например, «Египетские ночи»: «И вот уже *сокрылся* день», 8, 416); *воспомнить* (например, в «Евгении Онегине»: «*Воспомня* прежних лет романы, *Воспомня* прежнюю любовь», 6, 24); *воздыхать* (например, в «Полтаве»: «Томилась тайно, *воздыхала*», IV 293); а с другой стороны — *бьясь* (в «Медном всаднике»: «И *бьясь* об гладкие ступени», IV,44); *сбираться* (например, там же: «*Сбираясь* свой убыток важный На ближнем выместить», IV, 442) и т. д. К числу таких же вольностей

[1] Единственный известный мне случай этого рода у Пушкина указан мне Б. В. Томашевским в неизданной черновой рукописи терции «В начале жизни школу помню я» (Майковское собр., 144), где читаем: «Ткань ветхая, *истершаясь* убого».

поэтического языка принадлежат и такие случаи, как например *грустию* (6, 224), *смертию* (6, 227); также *Дариял* (IV, 365); с другой стороны — *Дмитрев*: «И *Дмитрев* слабый дар с улыбкой похвалил» (1, 222); «И *Дмитрев* не был наш хулитель» (6, 621), хотя бы в последнем случае и можно было видеть отражение живой речи. Ср. у Василия Пушкина: «и в слоге *Дмитреву* стараюсь подражать» (7); «Явились Карамзин и *Дмитрев* — Лафонтен» (9). В отдельных случаях употребление подобных словообразовательных вариантов, накопленных поэтической традицией, в стихах Пушкина имеет отчетливый стилистический смысл. Это особенно ясно по отношению ко многим случаям выбора между вариантами типа *ветр—ветер*, *огнь — огонь* и т. п. Ср., например, *ветр* в стихотворении «Из А. Шенье» («Дунул *ветр*; поднялся свист и рев», III, 119) или *огнь* в «Полтаве» («Сквозь *огнь* окопов рвутся щведы», IV, 338). Ср. там же: «как *стекло* булат его блестит» (IV, 302) и т. п. Но очень часто выбор того или иного варианта из числа возможных в категориях этого рода лишен ясной стилистической мотивировки и, вероятнее всего, обусловлен чисто механическими причинами, сохранявшими свое значение и для Пушкина, как воспитанника определенной литературной традиции.

Подобного рода факты языка пушкинских произведений, обладающие относительно слабой выразительностью и, вероятно, редко обращавшие на себя творческое внимание Пушкина, не противоречат, разумеется, выставленному выше тезису об общем смысле эволюции поэтических вольностей в его творчестве. Чтобы обосновать этот тезис фактическим материалом, ниже предлагается обозрение нескольких наиболее типичных и выразительных явлений из числа «вольностей», завещанных Пушкину традицией.

I. «УСЕЧЕНИЯ» ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ

Тредиаковский, перечисляя в упоминавшемся трактате разные виды «вольностей», между прочим писал: «Не для чего, кажется, упоминать о прилагательных сокращенных, которыя понеже и в Прозе часто употребляются, то в Стихах могут употреблены быть, ежели надобно будет, и чаще» [1]. Речь здесь идет о таких формах прилагательных (и причастий), которые по внешности напоминают исконные формы именного склонения, хотя и не всегда с ними полностью совпадают в своем строении и очень значительно отличаются от форм именного склонения по своему грамматическому содержанию. Не имея возможности излагать здесь подробно генезис и структуру этих «усеченных», или «сокращенных», форм прилагательных и причастий, ограничусь лишь самыми общими указаниями, необходимыми для дальнейшего. Старое именное склонение прилагательных в русском языке было утрачено как цельная грам-

[1] «Сборник...» А. Куника, I, 32.

матическая категория еще в средневековый период и уже в XVII в. во всяком случае существовало лишь в виде отдельных пережитков [1]. Из всей системы этого склонения сохранился лишь именительный падеж качественных прилагательных, исключительно в предикативном употреблении (ср. современные так называемые краткие формы вроде *добр, тих* и т. п.). Тем не менее новая книжная поэзия (отчасти и проза) XVIII в. охотно пользовалась как архаизмами, заимствуемыми из церковнославянской традиции, или как «вольностями», формами, которые представляли собой старые именные формы, а в некоторых случаях были вновь созданы по подобию старых именных форм, путем отсечения местоименного окончания у так называемых полных форм. В ряде случаев новая, «усеченная» форма действительно ничем не отличалась от старой именной («краткой»), например у Тредиаковского: «*православна* вера» (III, 737), «убоявшеся *громка* крика» (III, 737), «начну на флейте стихи *печальны*» (III, 741), «небу *Российску*» (III, 741), где *православна* вместо *православная*, *громка* вместо *громкого*, *печальны* вместо *печальные*, *российску* вместо *российскому* и т. д. Но в ряде случаев искусственность «усеченных» форм обнаруживается в том, что они и в своем внешнем строении не походят на старые именные формы. Например, в них нередко наблюдается искусственное, невозможное в живой речи ударение. В тех случаях, когда по законам русского ударения, оно в именной форме переносится на окончание, в «усеченной» форме оно сохраняется на основе, то есть там, где оно существует в «полной» (местоименной) форме. Так, например, в живом русском языке при «полных» формах *го́рдая*, *голо́дная*, *чёрная* краткие формы, употребляющиеся только предикативно, звучат *горда́*, *голодна́*, *черна́*. Но у Сумарокова, например, читаем: «Старуха И *го́рда* муха Насытить не могла себе довольно брюха» (VII, 277); «поймала петуха *голо́дна* кошка в когти» (VIII, 299); у Державина находим: «Возтрепетала совесть *че́рна*» (I, 33) и т. п. Во мн. числе находим такие факты, как *хоро́ши* вместо *хороши́* и т. п. «Усеченные» формы употребляются и в значении субстантивированных прилагательных, хотя вся история русского языка показывает, что в субстантивированном значении с древнейших времен всегда употреблялись только местоименные формы [2], ср. у Тредиаковского: «все *животны* рыщут» (III, 771) вместо *животные*; у Сумарокова: «терпите, *поданны*!» (III, 392); у Ломоносова: «когда покоясь *смертны* спят» (I, 125) и т. п. (такие формы встречаются на всем протяжении XVIII в., причем особенно часто встречается слово *вселенна* вместо *вселенная*). В причастиях прошедшего времени страдательного залога, образованных посредством суффикса *-н-*, подлинные именные формы не удваивают этого *н* (например, *вознесенная* — *воз-*

[1] G. Gunnarsson. Recherches syntaxiques de la décadence de l'adjectif nominal dans les langues slaves et particuliérement dans le russe. Paris, 1931).

[2] Исключая, разумеется, такие древние случаи, как *зло*, *добро* и т. п., которые восходят к той поре, когда никакого местоименного склонения прилагательных еще не было.

несена), но «усеченные» формы обычно его удваивают по примеру «полных», например у Тредиаковского: «Да здравствует днесь императрикс Анна на престол седша *увенчанна*» (III, 735) вместо *увéнчана* и т. п. Все это ясно свидетельствует о том, что «усеченные» формы очень часто искусственно образованы от «полных», и в этом отношении поэты и теоретики с известным правом смотрели на них как на своего рода сокращение полных форм, тогда как в живой речи, наоборот, полные формы образовались от именных, и последние, без явной бессмыслицы, не могут почитаться «сокращенными»[1].

Совершенно ясны те причины, которые удерживали в стихотворном употреблении такие «усеченные» формы,— они представляли собой очень важный версификационный вариант, давая возможность стихотворцу начала XVIII в. выбирать из неравносложных видов одной и той же формы одного и того же слова тот вид, который более пригоден для данного стиха (ср., например, у Тредиаковского такой случай: «Где ни *зимня* нет, ни *летняго* зноя», III, 754). Следовательно, первоначально весь смысл «усечения» сводился к тому, что оно было на слог короче обычной, то есть полной, формы прилагательного. Однако о том, что «усечения» и позднее сохраняли свой технический версификационный смысл, красноречиво свидетельствует академическая «Российская грамматика» (изд. 2, 1809, стр. 87), которая, изложив правило о предикативном употреблении кратких прилагательных (в ее терминологии — «усеченных»), продолжает: «Стихотворцы нередко употребляют усеченные имена вместо полных. Сим способом избегают они излишества в числе слогов, к составлению стиха потребном, а иногда и рифма заставляет их прибегать к сей вольности...»

Замечательно, что в тех случаях, когда естественная именная форма не дает сокращения на один слог по сравнению с местоименной, поэты были принуждены создавать новые, вовсе уже небывалые «усечения», чтобы так или иначе добиться сокращения, нужного для выполнения версификационной схемы. Так, например, у Кантемира в числе дозволительных «сокращений речей», по его словам, «изрядно употребляемых в стихах русских», находим и *сладк* вместо *сладкий*[2], именно *сладк*, потому что естественная именная форма *сладок* имеет столько же слогов, сколько полная форма *сладкий*, и, следовательно, не дает версификатору никакого выигрыша. Что Кантемир в данном случае говорит от лица не только теории, но и практики, показывают такие строки из «Оды в похвалу цвету Розе» Тредиаковского:

---

[1] В лингвистической литературе «усечения» и именные формы до сих пор обычно смешиваются. Так, их не различает должным образом и Е. Будде в своем «Опыте грамматики языка А. С. Пушкина» (СПБ, 1904). Та же ошибка в новейшей статье проф. А. М. Лукьяненко «Архаизмы и их роль в языке А. С. Пушкина» в «Ученых записках Саратовского гос. пед. института» (вып. III, Саратов, 1938, стр. 34—35). Только один Востоков в своей «Русской грамматике» (1831) различает оба рода форм, хотя и не анализирует «усечения» подробно.

[2] Сочинения, II, 18.

Красн бы ты была цвет из всех краснейших,
Честн бы ты была цвет из всех честнейших.

(Стих., 162).

Подобные формы известны также в стихах Державина. Ср. замечание Я. К. Грота: «Когда прилагательное в общеупотребительной, даже и краткой форме не вмещается в стих, то Державин еще сокращает ее: «То *черн*, то *бледн*, то *рдян* Эвксин» [1]. Очевидно, это изобретение принадлежит не Державину Но замечательно, что такие искусственные формы прилагательного дважды употреблены и Пушкиным, притом в каталектике белого стиха, где в них, казалось бы, не было никакой нужды, потому что от употребления обычной краткой (именной) формы размер не пострадал бы и лишь мужское окончание стиха заменилось бы женским. Имею в виду стих 34 сцены 14 «Каменного гостя»: «... он был бы *верн* Супружеской любви» и стих 32 сцены «Днепр. Ночь» из «Русалки»: «Передо мной стоит он гол и *черн*, Как дерево проклятое» [2]. И здесь, очевидно, имеем дело с поздним и для языка Пушкина в данном случае совершенно не выразительным следом старой традиции.

Ближайшие предшественники Пушкина пользуются разными типами «усечений» в области прилагательного и причастия очень широко, хотя у них и наблюдается более редкое, чем у поэтов середины XVIII в., употребление наиболее искусственных форм этого рода (например, субстантивированных форм, форм род. и дат. пад. ед. ч. м. р.) Вот некоторые примеры из произведений тех писателей, на которых Пушкин воспитывался. Примеры заимствуются как из произведений, принадлежащих к высоким жанрам, так и из жанров «легкой поэзии», а также из таких стихотворений, которые являются стилизацией фольклорных мотивов и которые существенно не упускать из виду потому, что «усечения» могли осмысляться не только как архаизм или техническая условность стихотворного языка но также как элемент народной речи. Очень много «усечений» можно найти у Муравьева, например: «Се *ново* войско, новый флот» (7); «Взят и вождь *свирепа* нрава» (23); «Я преселяюся в *туманну* область сна» (29); в подлиннике очевидная опечатка: *переселяются*). Ср. ставшие знаменитыми по примечанию к «Евгению Онегину» строки: «В явь богиню *благосклонну* Зрит восторженный Пиит, Что проводит ночь *бессонну*, Опершися на гранит» (36). Из ближайших учителей Пушкина особенно много «усечений» дает Дмитриев, например: «На *красну*, *гордую* Москву, *Седящу* на холмах высоких» («Освобождение Москвы», I, 14); «Москва в плену, Москва уныла, Как *мрачная осення* ночь» (i b, I, 15); «О *сильна*, *древняя* держава» («Ермак», I, 8); ср. такое же совмещение в пределах одной синтагмы «усеченной» и обычной полной формы, особенно

---

[1] Цитируется стих из «Осени во время осады Очакова». См. Державин, Сочинения, т. IX, изд. Акад. наук, СПБ, 1883, стр. 344.

[2] Первый из этих стихов впервые правильно по автографу напечатан в VII томе нового издания акад. (1935, стр. 164), а второй — в новом варианте того же издания (1937, стр. 205).

наглядно обнаруживающее условно техническое значение «усечений», в оде Капниста «Ломоносов»: «Какою прелестью пленяет *Волшебна, райская* страна» (С. о. с., I, 76). Ср. далее у того же Дмитриева в легких жанрах: «Дамона к Лизе *жарку* страсть» (II, 41); «Смейтесь, смейтесь, что я щурю *Маленьки* мои глаза» (II, 57); «Дополз до степени *известна* человека» (II, 111); «Да! покажите мне *диванну*» (II, 114). Ср. в «Чужом толке» (II, 54): «Точь в точь как говорят *учены* по церквам». Ср. в баснях: «*восточны* жители» (III, 7), «*мелко* племя» (III, 15) и многие другие. Примеры из Карамзина: «Мать *святая, чиста* дева!» (35); «И в темницу *преисподню* Засадите вы его» (34); «Так, как буря *разъяренна*, К цели мчится сей Герой» (38); «*Кристальны* ручейки светлеют» (200). Вот пример из произведения в легком стиле: «О вы, которых мне *любезна* благосклонность Любезнее всего» («Послание к женщинам», 193). Пример «усечения» из высокого стиля: «Во дни его *благословенны* Умом Россия возросла» («На коронование Александра», 274). Пример в «народном вкусе»: «Взор его быстрей орлиного И светлее *ясна* месяца («Илья Муромец», 117). Нередки «усечения», разумеется, и у прочих сентименталистов, например у Нелединского-Мелецкого: «В *полдневны* летние часы» (20); «Взора убегал *прекрасна*» (31); «вверяяся стремлению *сердечну*» (83). Часто они встречаются и у Жуковского, например: «в *зимни* вечера» (I, 13); «Судьбы и счастия наперсники *надменны*, Не смейте спящих здесь безумно укорять» (ib); «О вы, *погибши* наслажденья» (I, 28), а также, конечно, у Батюшкова, например: «Помосты *мраморны* и урны злата *чиста*» (74); «Быстрый лет коня *ретива*» (225) и пр. Как раз по поводу последнего случая Пушкин на полях экземпляра «Опытов» Батюшкова отметил: «Усечение гармоническое» (IX, 566). В том же документе сохранилось и еще одно замечание Пушкина относительно «усечений». Именно по поводу перевода III элегии III книги Тибулла Пушкин заметил: «Стихи замечательные по счастливым усечениям — мы слишком остерегаемся от усечений, придающих иногда много живости стихам» (IX, 564). Касаясь этого замечания, Л. Н. Майков писал: «Эти слова могут служить примером того, как из наблюдений над стихом Батюшкова Пушкин выводил общие правила стихотворной техники» [1]. Может быть, это и так, но в своей собственной писательской практике Пушкин иногда подобным правилам и не следовал. Как раз в области «усечений» стихотворный язык Пушкина обнаруживает заметную несхожесть с тем, что находим у Батюшкова, так что положительное отношение Пушкина к «усечениям», формулированное им на полях «Опытов» Батюшкова, осталось, так сказать, платоническим [2]. Это видно из следующих фактов.

[1] Л. Майков, Пушкин, СПБ, 1899, стр. 301.

[2] В. Комарович («Литературное наследство», №16—18, стр. 896) допустил ошибку, приняв за еще одну формулировку положительного отношения Пушкина к «усечениям» известное место из его письма к Погодину по поводу «Марфы Посадницы» (ноябрь 1830 г.): «Вы... с языком поступаете, как Иоанн с Новым городом. Ошибок грамматических, противных духу его,— усечений, сокращений — тьма.

Общий объем написанного Батюшковым в стихах (по изданию 1887 г.) — 6248 стихов. Это только немного меньше того, что написал Пушкин за лицейский период (6640 стихов), и потому дает вполне подходящую мерку для сравнительной оценки тех фактов языка, которые отразились в лицейском творчестве Пушкина. Употребление усеченных форм прилагательных и причастий в стихотворениях Батюшкова и в лицейских произведениях Пушкина наглядно показано в следующей сравнительной таблице [1]:

	Батюшков	Пушкин
1. Им.-вин. мн. ч....	231	89
2. Вин. ед. ч. ж. р.....	47	45
3. Им. ед. ч. ж. р.....	42	22
4. Им.-вин. ед. ч. ср. р...	19	7
5. Род. [2] ед. ч. м. и ср. р..	11	1
6. Им.-вин. ед. ч. м. р...	2	3
7. Дат. ед. ч. м. и ср. р...	2	—
Всего	354 [3]	167 [3]

Приведу по одному примеру на каждую форму.

Батюшков

1. Воспомни, милый град, *счастливы* времена (65).
2. Льет в *хладну* кровь его отраду и покой (53).
3. Гора, *висяща* над горой (130).

Но знаете ли? И эта беда не беда». Знакомство с текстом «Марфы Посадницы» (1830) свидетельствует, что Пушкин имел в виду вовсе не усеченные формы прилагательного и причастия, которые в его глазах вряд ли были насилием над языком, а действительно невозможные эксперименты над языком, совершаемые Погодиным, который решался писать, например: «Хоть он не хочет слушать *перговоров*» (17), «Уж на меня косятся *подзревая*» (65), «От Рюрика всё *д'Иоанна* вычел» (39), «Молиться, воевать *з'одно* с Москвою» (47) и т. д. Замечательно, что, по мнению Пушкина, «и эта беда не беда!»

[1] Формы располагаются по частоте их употребления.

[2] Включая и родительный падеж вместо винительного при словах одушевленных мужского рода.

[3] Не принимаются во внимание очень частые у разных поэтов этого времени и частично живые еще и в современном поэтическом языке случаи «полупредикативного» употребления именной формы в именительном падеже, например у Батюшкова: «Сидит задумчивый беглец, *недвижим*, смутный взор вперив на мертвы ноги» (154); «Я, в думу *погружен*, о родине мечтал» (87). Или у Пушкина: «Но я, любовью *позабыт*, моей любви забуду ль слезы» (1, 208); «Так, до могилы, *грустен* (вар.: *грустный*), унылый, крова ищи!» (1, 110); «По улицам бежавший *бос* и *гол*» (1, 16) и т. д. Совершенно не считается с этим важным нюансом Будде, а потому его данными (см. «Опыт грамм. языка Пушкина») пользоваться невозможно. С другой стороны, присчитаны, хотя бы употребленные предикативно, формы причастий прошедшего времени страдательного залога с двумя *н* в основе вроде: «Их мысль на небеса *вперенна*» (Батюшков, 84). У Батюшкова таких случаев я отметил всего 11, у Пушкина — только два, именно в стихах: «На ложе роз, любовью *распаленны*, Чуть-чуть дыша, весельем *истощенны*, Обнявшися любовники лежат» (1, 15). Не принимаются во внимание также и притяжательные прилагательные, у которых была особая судьба.

4. Сестра, грешно терять *небесно вдохновенье* (130).
5. Из сердца *каменна* потек бы слез ручей (63).
6. На площадь *всяк* идет для дела и без дела (216).
7. Я видел, я внимал ее *сердечну* стону (69).

П у ш к и н

1. Вот *пышны* их дворцы, *великолепны* сады (1, 26).
2. С Жуковским пой *кроваву* брань (1, 73).
3. И *пламенна*, дрожащая рука (1, 13).
4. С госпожи сняв платье *шелково* (1, 68).
5. Что должен я, скажи в сей час, желать от *чиста* сердца другу? (1,50).
6. Стан обхватил Киприды б пояс *злат* (1, 17) [1].
7. ... Графону, ползком *ползущу* к Геликону... (1. 354) [2].

В этой таблице обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, отдельные морфологические категории в пределах «усечений», по степени их употребительности, у Пушкина и у Батюшкова являются в одинаковом соотношении (таково же в общем соотношение этих форм вообще в поэзии XVIII в.). Единственное исключение, представляемое тем фактом, что форма 6 у Пушкина оказалась более употребительной, чем форма 5 (у Пушкина три против одного, у Батюшкова два против одиннадцати), как увидим ниже, имеет существенное значение для эволюции поэтического языка Пушкина. Во-вторых, нельзя не обратить внимание на то поразительное обстоятельство, что уже в пору своего ученичества Пушкин значительно реже своего учителя Батюшкова пользуется усеченными формами. В самом деле, в общем объеме стихотворного наследства Батюшкова 5,65% написанных им стихов содержат усеченные формы, а у Пушкина этот итог снижается более чем вдвое, доходя только до 2,5%. Эти цифры в данном случае очень красноречивы, свидетельствуя о том, что даже в своем лицейском творчестве Пушкин начинает отказываться от условностей той традиции стихотворного языка, которую ему передавали его ближайшие предшественники и учителя. При этих условиях очень выразительным становится тот факт, что в одной из перечисленных в таблице категорий, отличающейся, кстати сказать, особенно заметной условностью усеченной формы, именно в родительном падеже ед. числа мужского и среднего рода, при одиннадцати случаях употребления этой формы у Батюшкова мы встречаем только о д и н случай ее у Пушкина. Нет сомнения, что косвенные падежи мужского и среднего рода раньше иных форм начинали выходить из употребления в русском стихотворном языке. Это, в частности, сказалось

[1] Ср. у Державина: «Сиял при персях пояс *злат*» (I, 62).

[2] Этот единственный случай дат. ед. ч. в лицейских произведениях Пушкина находится в одной из предварительных редакций послания «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит»). В основном тексте лицейских произведений примеров на эту форму нет совсем.

в том, что у Батюшкова форма дательного падежа ед. числа мужского и среднего рода употреблена всего два раза (у Пушкина ее нет совсем, если не считать первоначальную редакцию послания «К Батюшкову») [1]. Лицеист Пушкин перестает употреблять «усечения» и в родительном падеже ед. числа мужского и среднего рода, резко отступая в данном случае от своего учителя Батюшкова [2].

Зрелое творчество Пушкина представляет собой поучительную картину дальнейшего вытеснения «усечений» из практики русского стихотворства. Из всех усеченных форм прилагательных и причастий в творчестве Пушкина послелицейского времени относительно живучей остается только форма 1 (им.-вин. мн. всех родов), отличавшаяся наименьшей искусственностью и с внешней стороны. Более или менее употребительной, но все же заметно более редкой, чем предыдущая, остается у Пушкина и форма 2 (вин. ед. ж. р.); что же касается остальных форм, то они встречаются у Пушкина только в единичных случаях, причем почти всегда имеют ясную стилистическую мотивировку. В послелицейском творчестве Пушкина на 34 257 стихов всего отмечены 304 случая усеченных форм прилагательных и причастий, что дает всего 0,88% стихов с «усечениями». По формам эти «усечения» распределяются так: 1. 184 случая; 2. 63 случая; 3. 14 случаев; 4. 15 случаев; 5. 11 случаев; 6. 10 случаев; 7. 7 случаев.

Интересные данные в отношении эволюции «усечений» содержит уже «Руслан и Людмила» — первое крупное послелицейское произведение Пушкина. В «Руслане и Людмиле» на 2836 стихов встречаем всего 41 усеченную форму (не считая форм с полупредикативным значением). Из них 28 падают на именительный-винительный мн. числа; девять — на винительный падеж ед. числа женского рода, два — на именительный падеж ед. числа женского рода и по одному случаю на именительный падеж ед. числа среднего рода и дательный падеж ед. числа среднего рода. Обрисованные выше тенденции употребления этих форм у Пушкина сказались здесь очень отчетливо. Процент стихов, содержащих «усечения», падает, по сравнению с лицейским творчеством, с 2, 5% до 1,5%. Единственный случай дательного падежа ед. числа среднего рода находим в стихе 253 II песни: «К окну *решетчату* подходит», то есть в выражении, представляющем собой стилизацию фольклорного характера и этим мотивированном. Таким образом, уже в «Руслане и Людмиле» имеем возможность констатировать известный перелом в пользовании традиционной условностью стихотворного языка, находящий свое выражение, как увидим ниже, и в ряде других явлений. Последующее творчество Пушкина в отношении употребления «усе-

[1] Нужно, разумеется, считаться с тем, что дательный падеж практически в речи употребляется гораздо реже, чем именительный и родительный.

[2] Случай «Все от мала до великого» (1,63) не принят во внимание вследствие того, что он отражает фразеологический оборот *от мала до велика*; очень возможно, что «вольностью» здесь нужно считать слово *великого*, обусловленное дактилической каталектикой стиха.

чений» всецело развивается в указанном направлении, о чем можно судить по следующим данным и примерам. В «Евгении Онегине» находим всего 23 случая усечения на 5615 стихов, то есть здесь только 0,4% стихов имеет «усечения», причем 20 случаев из этих 23 приходятся на именительный-винительный мн. числа, два случая на винительный падеж ед. женского рода («*тайну* прелесть находила», 6,100; « и нечто, и *туманну* даль», 6, 35) и один — на именительный ед. числа мужского рода («*всяк* суетится, лжет за двух», 6, 198) — в слове, которое особенно часто употреблялось в прежней традиции в усеченной форме (оба случая у Батюшкова, два случая из трех — в лицейских стихах Пушкина). Данные по «Евгению Онегину» особенно показательны в силу большого объема произведения, но достаточно выразительны также данные и по другим произведениям послелицейского творчества Пушкина. Так, например, в «Кавказском пленнике» имеем всего три случая «усечения», все в именительном-винительном падеже мн. числа. В «Гавриилиаде» тоже три случая указанной категории, и один раз в выражении «во время *оно*» (IV, 162). В «Цыганах» семь случаев, из которых три относятся все к той же категории, три — в вин. ед. числа женского рода и один случай («за *сине* море», IV, 237), представляющий собой традиционное фольклорное выражение. В «Полтаве», несмотря на архаическую окраску ее языка, констатируем всего 12 усечений на 1487 стихов (0,8%), из которых шесть приходятся на именительный-винительный падеж мн. числа, причем здесь есть и столь явно мотивированные стилистически случаи, как, с одной стороны, «*русы* кудри» (IV, 292), а с другой — « в *оны* дни» (IV, 299), а остальные шесть случаев — на винительный падеж ед. числа женского рода [1]. Точно так же и в «Борисе Годунове», несмотря на частые в нем архаизмы языка, находим всего 18 случаев усечения, причем единственный случай косвенного падежа мужского рода («царю *едину* зримый») также достаточно определенно мотивируется с стилистической стороны обстановкой летописного повествования о смерти Федора Иоанновича. Во всех маленьких трагедиях находим всего семь случаев усечения (4 — в форме им.-вин. мн. ч.), в «Медном всаднике» — пять случаев (все им.-вин. мн. ч.) и т. д. Вполне естественны «усечения» в «Сказках» Пушкина (впрочем, ни в «Сказке о рыбаке и рыбке», ни в сказке о «Балде» их нет совсем) и в «Песнях западных славян», где в большинстве случаев они представляют собой, конечно, не просто техническую «вольность», а стилистически осмысленную (через фольклор) форму, как например: «С *синя* моря глаз не сводит» («Сказка о царе Салтане», III, 184, 191 и 188); там же (191 и 198): «у *синя* моря»; «На *добра* коня садяся» (173); «К *красну* солнцу, наконец, Обратился моло-

[1] По поводу стиха 433 песни I: «И договор, и письма *тайны*» Надеждин («Вестник Европы», 1829, № 8) иронически писал: «Верно, усечения опят входят в моду!» Никакого возврата к «усечениям» у Пушкина в «Полтаве», конечно, нет, но придирчивое (и совсем не объективное) замечание Надеждина наглядно доказывает устарелость самой категории для стихотворного языка эпохи.

дец» («Сказка о мертвой царевне», III, 239); «свет ты мой, *Красно* солнце отвечало» (ib, III, 239). Ср. в «Песнях западных славян» «*ворон* конь» (III, 54), «*красно* солнце» (III, 45), «*красны* девки» (III, 54), «*стары* люди» (III, 54). Замечательно, что в «Русалке» «усечение» находим только в имитации народной песни: «Как вечор у нас *красна* девица топилась, Утопая, *мила* друга проклинала» (7, 198). Что касается лирики, в которой употребление усечений вполне согласуется с данными, представляемыми поэмами и цельными циклами, то и здесь редчайшие случаи форм 3—7 (то есть за исключением им.-вин. мн. ч. и вин. ж. ед) почти всегда мотивированы стилистически или архаичным тоном темы и общего тона, или как фольклорное переживание, или же, наконец, как пародии. Ср., например, такие случаи, как в стихотворении «Мирская власть»: «по сторонам *животворяща* древа» (III, 145) или в стихотворении «Олегов щит»: «*Строптиву* греку в стыд и в страх» (II, 340), а с другой стороны, в «Оде гр. Хвостову» «вослед пиита *знаменита*»; «моляся кораблю *бегущу*» (II, 160), где пародийный смысл этих форм очевиден. Наконец, заслуживают быть отмеченными некоторые произведения, отличающиеся общей «высотой» и архаичностью тона, а также присутствием явно подбиравшихся архаизмов языка, в которых тем не менее совершенно нет «усечений». Таковы «Пророк», «Покров, упитанный язвительною кровью», «Как с древа сорвался», «Когда владыко ассирийский», «Странник» и пр. (В «Подражаниях Корану» находим всего один случай: «дает земле *древесну* сень», II , 143). Думается, что вся совокупность приведенных данных вполне подтверждает выдвинутый выше тезис о том, что условность стихотворного языка, какую представляли собой полученные Пушкиным от традиции «усечения», Пушкин или преодолевал окончательно (в громадном большинстве случаев), или же превращал в характерологическое стилистическое средство своей поэтической речи. Такова была судьба данной языковой категории в стихотворной практике Пушкина [1].

II. ОКОНЧАНИЯ *-ЫЯ (-ИЯ)* В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕД. ЧИСЛА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И МЕСТОИМЕНИЙ ЖЕНСКОГО РОДА

Отмеченная в предыдущем разделе основная тенденция Пушкина в использовании «поэтических вольностей» отчетливо проявилась и в употреблении этого окончания. Следует отметить, что для начального периода новой русской поэзии самая форма на *-ыя* в указанной грамматической категории, по-видимому, не была «вольностью» и представлялась нормальным средством литературного

[1] Неизвестно, на чем основано мнение Виноградова («Язык Пушкина», 123—124), будто «свободное употребление нечленных форм имени прилагательного, несколько ограниченное в конце 10 — начале 20-х годов, с половины 20-х годов Пушкиным реставрируется». Факты говорят совсем о другом. Отмечу и здесь неразличение «нечленных» и «усеченных» форм.

языка. Ни Тредиаковский, ни Кантемир не упоминают ее в числе «вольностей». В «Грамматике» Ломоносова, отличающейся, как известно, полным отсутствием церковнославянских форм в парадигмах склонения, изучаемая сейчас форма все же зарегистрирована, причем она как будто фигурирует здесь даже в качестве основной формы данного падежа, потому что окончание *-ыя* (*-ия*) становится Ломоносовым впереди окончания *-ой*, (*-ей*), например: Им. *истинная*. Род. *истинныя* или *-ной*, или: Им. *прежняя*. Род. *прежния*, *прежней* (IV, 78—79). Писатели XVIII в. очень часто употребляли эту форму и в прозе, причем в ряде случаев она является исключительной или почти исключительной формой родительного падежа ед. числа мужского рода прилагательных и местоимений [1]. Тем не менее литературный язык XVIII в. знал обе формы — как на *-ыя*, так и на *-ой*, и стихотворная речь, нуждавшаяся в неравносложных морфологических вариантах, не преминула воспользоваться этим дублетом в своих интересах. Уже стихотворения Тредиаковского дают достаточный материал для суждения об употреблении этого дублета в поэзии XVIII в. Ср. у него, с одной стороны, такие случаи, как: «в тебе не будет веры *двойныя*» (III, 741), « от *всея* вечности» (III, 767), а с другой: «Эпиграммы тот писал, ин же филипийки, Славны оперы другой *сладкой* для музыки» (Стих., 151), или «Зрите все люди ныне на отроковицы *Посягающеи* лице, *чистои* голубицы» (III, 744) и т. п. С течением времени форма на *-ой* становилась все более привычной для литературного языка и стала господствовать также и в стихотворной речи. Если для 30-х годов XVIII в. форма на *-ыя* была нормой и «вольностью» для этого времени скорее можно считать форму на *-ой*, то к концу века роли переменились. У ближайших предшественников Пушкина форма на *-ыя* встречается довольно часто, но нет сомнения, что для них именно эта форма была поэтической вольностью. Как и прочие факты морфологии, употреблявшиеся в стихотворном языке в качестве вольностей также и форма на *-ыя* могла в отдельных случаях получать стилистическую мотивировку или «высокого», или, наоборот, «народного» стиля, но сплошь и рядом она употреблялась и без такой мотивировки, как традиционная условность стихотворного языка. Приведу некоторые примеры употребления этой формы у ближайших предшественников Пушкина. Например, у Карамзина читаем: «Певцев *божественныя* славы» (12); «Чувствует хладную зиму *Ветхия* жизни» (40); «Над морем гордо возвышался Хребет *гранитныя* горы» (52). В «Илье-Муромце», в стихе: «над струями речки *быстрыя*» (118) видим пример употребления формы на *-ыя* в фольклорном духе, но этого, например, никак нельзя сказать про стих того же произведения: «Плыть от Трои *разоренныя*» (113). Ср. у Дмитриева: «Веселясь бы не встречала *Полунощныя* звезды» (II, 25); «И ждал час от часу от *милыя* жены Любови нового залога» (III, 58). У В. Пуш-

[1] Например, в ученых сочинениях Тредиаковского окончание *-ой* вовсе не употребляется.

кина: «розы *нежныя* листок» (76); «для *важныя* причины» (18); «И автор повести *топорныя* работы Не может, кажется, проситься в Вальтер-Скотты» (425). Конечно, очень часты такие случаи у Жуковского и Батюшкова, например у Жуковского: «*Всемощныя* судьбы незыблемы уставы» (I, 15); «Румянец *робкия* стыдливости терять» (I, 16); «Для души осиротелой Нет *цветущия* весны» (I, 92); у Батюшкова; «Над стогнами *всемирныя* столицы» (253); «На голос *мирныя* цевницы» (152); «Певец *прелестныя* мечты» (77, о Богдановиче). При этом, как и следовало ожидать, предшественники Пушкина без всяких затруднений соединяли разные формы этого рода, нормальную и «вольную», в одно целое. Буслаев указал несколько примеров такого рода в стихотворениях Жуковского, именно: «блещет купол *соборныя*, *величественной* церкви»; «он *слабыя*, *земной* руки созданье» [1]. Сказанного достаточно для того, чтобы признать форму на *-ыя* употребительной в общем средством русской стихотворной речи на рубеже XVIII—XIX вв.

Разумеется, должна была быть известна эта форма и Пушкину. Однако история употребления этой формы в стихотворных произведениях Пушкина делится на два периода, резко между собой в данном отношении несхожих, и во многом соответствует той эволюции языка Пушкина, которую мы наблюдали на примере «усечений». В лицейских стихотворениях Пушкина встречаем эту форму 16 раз: 14 раз в основном тексте и дважды в вариантах первого тома нового академического издания сочинений Пушкина. Вот эти случаи:

1. «С рассветом *алыя* денницы» («Кольна», 1, 30). 2. «Он *первыя* стрелы с весельем ожидал» («Осгар», 1, 37). 3. «С болтуном страны *Эллинския* » («Бова», 1, 63). 4. «Повесит меч войны средь *отческия* кущи» («На Рыбушкина», 1, 77). 5. «Когда под скипетром *великия* жены» («Воспоминания в Царском Селе», 1, 79). 6. «Падет падет во прах *вселенныя* венец» («К Лицинию», 1, 113). 7. «В дни резвости *златыя*» («Батюшкову», 1, 114) [2]. 8. «На верьх *Фессальския* горы» («Моему Аристарху», 1, 155). 9. «Итак *стигийския* долины Еще не видел он» («Тень Фонвизина», 1, 161). 10. «Надежды *робкия* черты» («К Живописцу», 1, 174). 11. «Но слово *милыя* моей Волшебней нежных песен Лилы» («Слово милой», 1, 213). 12. «Так сожалел я об утрате Обманов *милыя* мечты» («Стансы», 1, 249). 13. «Где ток уединенный *Сребристыя* волны» («К Делии», 1, 272). 14. «О Лила; вянут розы *Минутныя* любви» («Фавн и пастушка», 1, 279). Два случая в вариантах следующие: 1. «В лесах *веселыя* Цитеры» («Мое завещание», 1, 364) и 2. «Свидетели *беспечныя* забавы» («Осеннее утро», 1, 381).

Нужно оговориться, что в некоторых случаях возможны сомнения относительно того, действительно ли перед нами родительный падеж ед. числа или же именительный-винительный мн. числа. В приме-

---

[1] Ф И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, изд. 2, ч. I, 1863, стр. 247.

[2] В академическом издании напечатано *златые*, но это, по-видимому, ошибка.

рах 10 и 14 прилагательные *робкия* и *минутныя* по внешности могут показаться относящимися к *надежды* и *розы*. Но такое истолкование, по-видимому, было бы неправильно [1]. Для общего направления наших наблюдений это не существенно, потому что и без этих примеров очевидно, что стихотворения Пушкина-лицеиста в общем отражают в отношении употребления форм на *-ыя* норму стихотворной речи своего времени. Среди выписанных выше примеров есть такие (например, 5, 6, 9), в которых формы на *-ыя* могут рассматриваться как жанровые признаки высокого стиля, но немало здесь также случаев, где эти формы лишены самостоятельной стилистической характерности и употреблены просто как традиционное средство поэтического языка, обладающего «вольностями». Однако совсем иную картину дает нам в этом отношении послелицейское творчество Пушкина. Как и во многих других отношениях, 1817 год оказывается здесь годом резкого перелома в творческой эволюции Пушкина. Так, уже в «Руслане и Людмиле» мы не находим ни одного случая, в котором Пушкин употребил бы форму на *-ыя*, хотя арифметически, исходя из объема этой поэмы соотносительно с объемом лицейской лирики, мы могли бы ожидать четыре-пять случаев этого рода в «Руслане». Вообще на всем протяжении стихотворного творчества Пушкина послелицейской поры мы находим в его произведениях всего-навсего шесть примеров употребления этой формы, именно: 1. «У *пафосския* царицы Свежий выпросим венок» («Кривцову», 1817, I, 254). 2. «Подруги тайные моей весны *златыя*» («Погасло дневное светило», 1820, I, 306). 3. «Мне жаль *великия* жены» (1824, II, 131). 4. «И тайна *брачныя* постели («Евгений Онегин», 1825, 6, 95). 5. «И жало *мудрыя* змеи» («Пророк», 1826, II, 237). 6. «Средь *зеленыя* дубравы» («Сказка о мертвой царевне», 1833, III, 234). Легко видеть, что дело здесь не только в количественной, но также и в качественной стороне. Из шести случаев формы на *-ыя*, засвидетельствованных текстами Пушкина за целое двадцатилетие его творческого пути, три первые, несомненно, являются еще отзвуками прежнего, ученического стиля, а три последние представляются случаями, в которых эта форма отчетливо мотивирована стилистическими побуждениями. В «Пророке» и «Евгении Онегине» это художественно оправданные архаизмы, а в «Сказке о мертвой царевне» перед нами яркий образец фольклористического нюанса, которым Пушкин, как мы уже видели, нередко оживлял трафареты литературной традиции XVIII в. (правда, имея в этом отчасти образцы у своих предшественников). В итоге имеем возможность констатировать еще одно яркое проявление преодоления традиционных условностей стихотворной речи в творчестве зрелого Пушкина.

[1] В примере «Надежды *робкия* черты» Будде, очевидно, считал слово *робкия* определением к *надежды*, потому что не регистрирует этого случая в своем своде форм на *-ыя* (см. его «Опыт грамм.», II, 30—31). Наоборот, в случае «Где ты со мной делил души *младые* впечатленья» (Посвящение к «Кавказскому пленнику») я считаю невозможным видеть родительный падеж ед. числа

III. ЗВУК *Е* ВМЕСТО *О* ПОСЛЕ МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ В РИФМЕ

В церковнокнижной традиции русского средневековья звук *е* под ударением не перед мягкими согласными, уже очень рано заменившийся в живом русском произношении в этих условиях звуком *о*, сохранялся неизменным. Поэтому в таких словах, например, как *мед*, *лед*, *полет* и т. д., книжные нормы русского старинного языка не допускали произношения *мёд*, *лёд*, *полёт*. Поэтому и в современном русском языке во многих словах книжного происхождения произносится *е* вместо ожидаемого по фонетическому закону *о*; ср. *мертвенный* при *мёртвый*, *крест* при *крёстный*, *перст* при *напёрсток*, далее такие слова, как *пещера*, *жертва* и многие другие. Эта традиция была еще вполне живой в первой половине XVIII в. Как Тредиаковский, так и Ломоносов отдавали себе полный отчет в том, что в данном случае книжная, литературная норма расходится с живой речью, но никто из них не ставил себе целью устранить это противоречие. То обстоятельство, что нормальным произношением, по крайней мере для высоких родов литературы, в сознании писателей XVIII в. было произношение подобных слов со звуком *е*, а не *о*, иллюстрируется рифмами вроде *очес — вознес*, *погружен — стен*, *мед — нет*, *леса — утеса*, *полмертвой — жертвой* и т. д. Но все же уже и у поэтов XVIII в., особенно в последние десятилетия, наблюдаются иногда отступления от этой нормы в пользу живого произношения. Ср., например, у Державина рифмы вроде *зною — чещуею* (II, 89), *чещуей — белизной* (II, 220), *зелены — стоны* (I, 242); ср. у Карамзина: *слёзы — розы* (179), у Петрова: *челны — волны* (С. о . с., 85), у Мерзлякова: *Петром — царём* (ib, 100), у Капниста: *муравой — струёй* (ib, 172) и т. д.

Таким образом, живое произношение одерживало в течение XVIII в. частичные победы над произношением традиционно-книжным, и по мере того как эти победы становились более частыми, традиционное произношение постепенно переходило на положение поэтической вольности, то есть из обязательной нормы превращалось в допустимый вариант [1]. Необходимо помнить, что это во всяком случае был вариант книжный, искусственный. Лишь в некоторых отдельных случаях можно предполагать у грамотных людей того времени звук *е* в этом положении и в живом произношении, например в полных формах страдательных причастий прошедшего времени (о чем ниже), но это как раз такие формы, которые в живой разговорной русской речи вообще должны были употребляться очень редко. Иными словами, нельзя признать верным мнение, будто и в разговоре Карамзин, Жуковский или Пушкин могли произносить *мед* вместо *мёд* и т. п. Такого мнения держался, например, Будде,

[1] Формулирую здесь в тезисной форме вывод, основывающийся на многих наблюдениях, которые будут изложены в другом месте.

немало сделавший для истории русского литературного языка в XVIII—XIX вв., но совершенно не разбиравшийся в соотношениях между тогдашней живой речью и элементами литературной традиции в письменном языке той поры. Так, Будде писал: «Если в ранних произведениях Пушкин употребляет слово *полет* (с произношением *е*, а не *ё*) в рифме со словом *лет*, в рифме со словом *бед*, то это значит, что такое произношение было известно в его время в его кругу» [1]. На самом деле это значило только то, что в данном случае Пушкин поступает, как выученик традиции, допускавшей (первоначально же — требовавшей непременно) в стихотворной речи не живое русское, а старинное книжное, сохранявшееся еще как строгая норма в церковной речи, произношение *е* вместо *о* [2].

К началу XIX в. колебания между традиционным и живым произношением в стихотворном языке приняли уже довольно широкие размеры. У ближайших предшественников и учителей Пушкина наряду со старой, «правильной» рифмовкой на *е* наблюдаются многочисленные случаи, в которых рифма соответствующего типа построена на звуке *о*. Ср. со сказанным выше у Карамзина: *слез — небес* (71), *душею — моею* (96), *жен — сцен* (231), *моею — госпожею* (156), *поэт — живет* (304), но также: *богатырём — мотыльком* (189), *роз — слёз* (141), *цветок — василёк* (84), *весною — зарёю* (31), *душою*[3] *— тоскою* (107) и т. д. Ср. у Дмитриева: *поэмы — приемы* (II, 56), *нет — жнет* (II, 126), но *порта — чёрта* (I, 57), *цветочик — василёчик* (II, 26), *госпожой — рукой* (III, 54—55) и т. д. Ср. у Жуковского: *жен — плен* (III, 75), *серный — черный* (II, 55), но *поблёкла — Патрокла* (III, 74), *струёй — мной* (I, 48) и т. д. Именно в эту пору, на рубеже двух веков, появился и самый знак *ё*, который стал обозначать звук *о* в положении после мягкой согласной или йота. Замечательную реакцию на этот сдвиг в нормах стихотворного языка представляют рассуждения Шишкова в статье «Разговор о правописании», в которой, между прочим, читаем: «А. Недавно появилась еще новая, неизвестная доселе в словесности нашей буква *ё* с двумя точками. Б. Знаю, и в тех книгах, которые мне покупать случалось, почти везде сии две точки принужден я был выскабливать. А. Зачем выскабливать? Б. Затем, что сочинитель часто учит меня произносить слово так, как я произносить оное отнюдь не намерен. Зачем сочинитель насильно принуждает меня здесь произносить *Царіом?* Для чего отнимает у меня волю выговаривать согласно с чистотою языка *Царем?* На что при-

[1] Евг. Будде, Из истории русского литературного языка конца XVIII и начала XIX в., ЖМНПр., 1901, № 2, стр. 406—407.

[2] См. С. И. Бернштейн, О методологическом значении фонетического изучения рифм (к вопросу о пушкинской орфоэпии). Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова, М.—П., 1923, стр. 329 и сл.

[3] Написание *о* вместо *е* после шипящих и *ц* в отдельных случаях встречается уже в начале XVIII в.: так как звуки *ч, ш, ж, ц* — звуки не парные по мягкости — твердости, то здесь нарушение традиции было легче, а отсюда появлялось произношение типа *мечом*, причем, вероятно, и сам Карамзин не понимал, что это то же самое, что *мечём*.

неволивает меня говорить по-мужицки «моiô?» [1]. Далее Шишков называет «звук» *ё* «неизвестным и простонародным»: «Неизвестным (разумеется, в книжном или ученом языке) потому, что оного нигде нет: ни в азбуке нашей, ни в священных писаниях, ни в старинных летописях, ни в светских книгах, лет за двадцать или тридцать печатанных. Простонародным потому, что он начало свое имеет от безграмотных простолюдинов, и никогда писателями или учеными людьми не был принят»[2]. Особенно любопытны замечания Шишкова в его письме к И. И. Дмитриеву, содержащем разбор переведенных Раичем «Георгик» Виргилия (1821). По поводу стиха: «Там чужду влагу *пьёт* завистливый *овес*», Шишков пишет: «Для чего *пьёт*, а не *пьет?* Хорошо что выше стоит *лес*, так сказано *овес*, а ежели б выше стояло *нос*, так бы в рифму пришлось сказать *пьiôт*, *овiôс*. Прекрасен будет язык наш с такими нововведениями!». По поводу стиха «Но есть ли тучный лист кругом ее *облёк*». Шишков говорит: «Как? и такие важные слова, как *облекаю*, *облек*, можно для рифмы превращать в простонародные *облiôк*, подобно низким словам; таковым, как *клiôк*, *куliôк* и проч.?.. у нас коли рифма *ток*, так *облёк*, а коли *рек*, так *облек*». Наконец, в этом письме читаем еще и следующее: «Одно что-нибудь: или по книжному писать, или по разговорному. В первом случае давно известное *io*, но всегда изгоняемое из чистоты языка, нигде не писалось; во втором как бы вновь выдуманное и премудрым изобретением превращенное в *ё*, вводится в употребление; но зачем же оставляется старое произношение? для чего одно и то же слово пишется двояко *лен* и *лён*, *слезы* и *слёзы*? или одно *лён*, а другое *дождем*, а не *дождём?*» [3]. Сходная оценка новшества отразилась и в переписке Катенина: «Греч везде хвалит Раича, но сей Раич злодей. Читали ли Вы его переводы из Тасса размером Двенадцати спящих Дев? рифмы точно как у Зотова: *благовонный* и *испещренный*. Какой вкус!» [4] Приведенные оценки с непререкаемой ясностью свидетельствуют о том, что рифма на *е* стала для молодого поколения русских поэтов пережитком или, в лучшем случае, «вольностью», которой можно было пользоваться по своему усмотрению.

Процесс отмирания этой традиции очень ярко отразился и в творчестве Пушкина, причем имеются веские основания полагать, что как раз личный пример Пушкина мог в значительной степени содействовать упразднению старой нормы. Данный вопрос с большой обстоятельностью рассмотрен в названной выше статье С. И. Бернштейна. Эта статья построена на текстах Пушкина по изданию под редакцией С. А. Венгерова и потому сейчас нуждалась бы в дополнительной обработке на основании исправленных и новых текстов Пушкина, ставших доступными за последнее двадцатилетие. Тем

[1] А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., т. III, СПБ, стр. 25—26.
[2] Там же, стр. 26.
[3] «Русский архив», 1886, стр. 1618 и сл. или «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», т. II, Berlin, 1870, стр. 352 и сл.
[4] Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, СПБ, 1911, стр. 39.

не менее ее основные выводы остаются непоколебимыми, и ими можно пользоваться с полным спокойствием и в настоящее время. Самые существенные выводы Бернштейна сводятся к следующему. В одной грамматической категории, именно в полных («членных») формах страдательных причастий прошедшего времени, рифма на *е* была нормой для стихотворного языка Пушкина в течение всего времени его творчества (тип: *отдаленных — военных*). По подсчету Бернштейна на весь текст Пушкина приходится 93 случая такой рифмовки, причем обратный случай есть только один, именно *сонный — усыпленный* («Пирующие студенты», 1814, 1, 60, стихи 30—32). Наоборот, в кратких фомах тех же причастий произведения Пушкина отличаются резким преобладанием рифмы на *о*. В этой категории рифма на *е* встречается у Пушкина только семь раз, причем из них шесть относятся к лицейской поре, и только один — к послелицейскому творчеству (*вознесен — изменен*: в «Полтаве», IV, 305, стр. 425—428 [1] I песни, как замечает Бернштейн, «в контексте высокого стиля»), между тем как рифма на *о* встречается 71 раз (тип: *удивлён — он*). «В этом отношении,— пишет Бернштейн,— словоупотребление Пушкина совпадает с языковым usus'ом его младших по языку современников, например Баратынского и Тютчева, и отличается от языка поэтов предшествующего поколения, например от языка Батюшкова» [1]. Действительно, у Батюшкова рифма на *о* в кратких формах причастия отмечена лишь в двух случаях, а рифма на *е* — в семи. Далее Бернштейн устанавливает, что рифмы типа *взойдет — свет*, то есть с книжным произношением ударяемого гласного в окончании 3-го лица ед. числа настоящего времени глаголов первого спряжения, встречаются у Пушкина восемь раз, из них семь — в лицейских стихотворениях и один — в стихотворении 1821 г., а рифмы типа *уйдёт — забот*, то есть с живым произношением гласного в той же категории, встречаются 23 раза. Наоборот, у Батюшкова первый тип рифмы встречается 15 раз, а второй только четыре. Отсюда Бернштейн делает важный и совершенно справедливый вывод, формулируемый им в следующих выражениях: «Пушкину удалось в определенный момент своей поэтической эволюции — приблизительно в 1817 г., с окончанием лицейского периода, резко изменить систему поэтического произношения в сторону сближения его с разговорной речью... Конечно, сделать такой решительный поворот мог только великий поэт» [2]. И далее Бернштейн еще раз говорит о «резкости» и «почти мгновенности» сделанного Пушкиным перехода от одной системы поэтической утилизации языка к другой» [3]. Нельзя не отметить поразительного совпадения этих наблюдений с теми, которые изложены выше по поводу усеченных форм прилагательных и причастий и окончания *-ыя*

[1] С. И. Бернштейн, О методологическом значении фонетического изучения рифм, стр. 333—334.
[2] Там же стр. 342.
[3] Там же, стр. 343

в родительном падеже ед. числа прилагательных и местоимений женского рода. Во всех этих случаях наблюдаем одну и ту же картину: резкий перелом в отношении к традиционным условностям стихотворного языка старшей поры, происшедшей около 1817 г. Именно с этой даты и следует отличать собственно язык Пушкина от языка его ученических произведений, в котором можно наблюдать лишь количественное сокращение употребляемых традиционных условностей, то есть предуготовительную стадию к преобразованию системы стихотворной речи.

Тем не менее объективный анализ не может не считаться с тем, что окончательного освобождения от традиции, как и в рассмотренных выше случаях, язык стихотворных произведений Пушкина в отношении произношения *е* вместо *о* в рифмах еще не содержит. Эта традиция продолжает жить в стихах Пушкина пережиточно. Даже в зрелых и поздних произведениях Пушкина иногда встречаются подобные рифмы, например: *плаще — еще* в «Евгении Онегине» (6, 149), *лес — грез* («Не дай мне бог сойти с ума», 1833, III, 109) и т. п. Но общее движение Пушкина в сторону от традиции достаточно ярко засвидетельствовано, помимо прочего, и тем, например, обстоятельством, что, в то время как в «Руслане и Людмиле» из 57 возможных случаев в 14 случаях (главным образом в полных формах страдательных причастий прошедшего времени) имеется еще рифма на *е* при 43 случаях рифмы на *о* (здесь и такие рифмы, как *кругом — копием*, *языком — копием*, названные отсталой критикой «мужицкими»), в «Медном всаднике» нет уже н и о д н о г о случая рифмы на *е* (в рифме *отягощенны — утомленны* для Пушкина, вероятно, опорный гласный звучал, как *е*, но непосредственно в тексте это не выражено, и случаи этого рода, в которых приходится предполагать традиционно книжное произношение о б о и х рифмующих слов, следует обсуждать совсем особо: не приняты они во внимание и в приведенных цифрах, относящихся к «Руслану и Людмиле»). Наконец, серьезного внимания заслуживает и то обстоятельство, что «мужицкая» рифма на *о* встречается порой у Пушкина даже в таких произведениях, в которых, вследствие общей архаичности их языка, оправданной соответствующим замыслом, особенно легко было бы ожидать обратного. В этом отношении достаточно хотя бы такого примера, как рифма *полёт — ход* в «Пророке» [1], между тем как именно слово *полет* Пушкин-лицеист особенно часто рифмовал на *е* (ср. вышеприведенные слова Будде). Вообще же следует сказать, что случаи намеренного стилистического использования рифмы на *е* в зрелом творчестве Пушкина констатировать трудно. Можно предполагать, что для Пушкина эта категория в стилистическом отношении в зрелые его годы была совершенно мертвой, и он употреблял такой способ рифмовки большей частью вполне механически, именно в тех случаях, когда разговорная речь не доставляла ему нужного противопоставления, как это

[1] Б е р н ш т е й н, О методологическом значении... и т. п., стр. 332.

было с полными формами страдательных причастий прошедшего времени, остававшихся еще в первой трети XIX в. почти исключительно фактом книжного языка.

IV. ПОЛНОГЛАСИЕ И ЕГО ОТСУТСТВИЕ

Нет сомнения, что в известных пределах противопоставление таких старинных словарных дублетов русского языка, как *град — город, брег — берег, млат — молот* и т. п., осуществлялось в поэзии XVIII в. не по стилистическому , а по чисто техническому принципу. Разумеется, неполногласные славянизмы типа *град, брег, млат* и т. п. имели очень большое значение в формировании высокого слога в XVIII в. Но это обстоятельство нисколько не мешало подобным славянизмам служить также и чисто версификационным орудием в руках поэтов XVIII в., так как они создавали длинный ряд неравносложных вариантов, имевших, как уже указано выше, исключительно важное значение для выработки русской версификационной техники. В интересах истории русского литературного языка нужно настаивать на том, чтобы обе эти функции неполногласных лексических вариантов — стилистическая и техническая — изучались отдельно и не смешивались одна с другой [1].

Прежде всего почти не приходится сомневаться в том, что такие дублеты, как *брег — берег* и т. п., осознавались русскими писателями XVIII и XIX вв. не как р а з н ы е слова, а как разные в а р и а н т ы одного и того же слова. Эти варианты в их понимании обладали различным стилистическим весом — неполногласные варианты оценивались как «высокие» или старинные, а полногласные — как «простые» или современные слова. Например, в «Словаре Академии Российской» (СПБ. 1806, т. 1, столб. 1232) читаем: «*Град*, да с. м. 2 скл. Сл. (авенское), просто же *Город*», или (i b, столб. 1113): «*Глас, са.* в нынешнем же языка употреблении: *Голос*» и т. д. Однако в определенных условиях эти варианты легко могли употребляться один вместо другого без ощутимых стилистических различий, если этого мог требовать самый механизм языка, как это и было в стихотворной речи. Таким образом, с известной точки зрения мы вправе рассматривать историю употребления полногласных и неполногласных лексических вариантов как одно из явлений в ряду «поэтических вольностей», характеризующих русское стихотворство XVIII—XIX вв. Очень большой интерес в данном отношении представляет следующее рассуждение Тредиаковского: «Вольности во обще таковой надлежит быть, чтоб речение по вольности

[1] В интересном, хотя и не лишенном существенных недочетов исследовании: A. Paschen, Die semasiologische und stilistische Funktion der *trat/torot* Alternationen in der altrussischen Literatursprache, Heidelberg, 1933, S 6, между прочим, читаем: «Компромиссы в пользу церковнославянских форм здесь [то есть в «романтической поэзии XIX в.»] мотивированы частично ритмическими потребностями, частично же с точки зрения воздействия на эмоции (empfindungsmässig-emotional)».

положенное, весьма распознать было можно, что оно прямое Российское, и еще так, чтоб оно несколько и употребительное было. Например: *брегу́*, можно положить вместо *берегу́*; *брежно*, вместо *бережно*; *стрегу*, за *стерегу*; но *острожно*, вместо *осторожно*, не возможно положить» [1]. Здесь имеем образчик чисто технической интерпретации неполногласных лексических вариантов, которая находит себе полное оправдание во многих реальных фактах из истории русского поэтического словоупотребления. Так, например, уже и в одах XVIII в., несмотря на их естественное тяготение к славянизмам, узаконенное к тому же самой теорией высокого слога, полногласные варианты слов легко и свободно употребляются наряду с неполногласными. В «Оде на взятие Хотина» (I, 12 и сл.) Ломоносова находим такие слова, как *голов*, *болот*, *берегов*, *полон*, рядом с *брег*, *премена*, *пленил* и пр. В оде 1747 наряду со стихами «Как Нил народы напаяет И *бреги* наконец теряет» находим и такие: «Где солнце всход и где Амур В зеленых *берегах* крутится» (I, 150, 151). Таких фактов история русской стихотворной речи представляет множество. Ограничусь несколькими примерами из текстов ближайших предшественников Пушкина. В стихотворении Карамзина «Поэзия» (1787) читаем, например: «*Златый* блаженный век, *серебрянный* [2] и медный» (10), но также: «На лирах *золотых* хвалили песнь твою» (7). Здесь же, наряду с таким типичным для сентиментального стиля выражением, как «сидя на *бережку*» (7), находим «далеко от *брегов*» (10). В стихотворении «Берег» (1802) в тексте читаем «на *брегу*», «к таинственным *брегам*» (289), вопреки заглавию и вовсе не по стилистическим требованиям, так как стиль стихотворения не высокий. У Дмитриева в шуточном стихотворении «Обманывать и льстить» (1796) рядом с выражением «Там тятя, старый хрен!» читаем: «Вдовы от *глада* мрут, А театральны павы С вельможей дань берут! О времена! О нравы!» (Соч. 1893, стр. 185), но в то же время в «Ермаке» (1794), написанном по всем правилам строгого высокого стиля, находим: «Я зрю Иртыш, крутит, сверкает, Шумит, и пеной подымает Высокий *берег* и крутой», но далее: «Они вдоль *брега* потекли» (I, 9 и 12). Ср. в «Умирающем Тассе» Батюшкова: «И лавры славные, над дряхлой *головой*» (257), но несколько выше: «Ни в дебрях, ни горах не спас *главы* моей» (255). Ср. в стихотворении Батюшкова «На развалинах замка в Швеции»: «Ах, юноша, спеши к отеческим *брегам*» (191), но несколько ниже: «Суда у *берегов*». Ср. в «Моих Пенатах»: «кудри *золотые*» (133), но «локоны *златые*» (135) и т. д. У Жуковского в балладе «Поликратов перстень» находим: «А клики *брег* уж оглашали» (III, 91), но рядом: «от здешних близко *берегов*». В балладе «Кубок» (III, 85—87): «Бросаю мой кубок туда *золотой*»; «Он бросил свой кубок *златой*»; «И кубок у ног положил *золотой*»; «Мой ку-

[1] «Сборник...» А. Куника, I, стр. 33.

[2] Слово *серебро* восходит к древнему *сьребро* и потому по происхождению не есть пример «полногласия», но, несомненно, осознавалось как полногласное рядом с словом *сребро*, звучавшим как славянизм.

бок возьми *золотой*»; «Но царь не внимая, свой кубок *златой* В пучину швырнул с высоты». Эта баллада относится уже к 1831 г., но в гораздо более ранней «Светлане» (I, 69) находим такое красноречивое сочетание: «Черный *вран*, свистя крылом, Вьется над санями; *Ворон* каркает» и т. д. Последние примеры с достаточной убедительностью говорят о том, что в ряде случаев смена полногласных и неполногласных вариантов не мотивирована ни стилистическими, ни фразеологическими условиями.

Естественно, что и у Пушкина, притом особенно часто в более ранних его произведениях, найдем много таких же примеров совершенно безразличного употребления этих лексических вариантов. Укажу несколько наиболее ярких случаев этого рода.

Среди приятного забвенья
Склонясь в подушку *головой*.
(«Моему Аристарху», 1, 154.)
С *главой*, в колени преклоненной,
Захочешь в мире отдохнуть
И, опускаяся в подушку...
(«К Галичу», 1, 122.)

и ниже:

Ты вскочишь с бодрой *головой*,
Оставишь смятую подушку.
(ib)

Ср. в «Монахе»:

На *голове златой*.
(1, 10.)
С *главы* до ног облитый весь водою.
(1, 19.)

Особенно поучительные примеры употребления параллели *голова — глава* дает «Руслан и Людмила», где голова является действующим лицом. Разумеется, что действующее лицо должно называться именно *голова*, а не *глава*, что было бы стилистически несуразно. И действительно, Пушкин почти всегда называет это действующее лицо *голова*. Тем не менее, дважды на протяжении поэмы оно названо *глава*: 1) «Вдруг, изумленный, внемлет он *Главы* молящей жалкий стон» (IV, 65) и 2) «Всё ясно, утра луч игривый *Главы* косматый лоб златит» (IV, 77). Ср. далее:

Я Лилу слышал у клавира:
Ее прелестный, томный *глас*
Волшебной грустью нежит нас...
И я сказал певице милой:
Волшебен *голос* твой унылый...
(«Слово милой», 1, 213.)

В стихотворении «Кольна» представляют интерес такие параллели: «Источник быстрый Каломоны Бегущий к дальним *берегам*» (I, 29); «*берег* Кроны С окрестной рощею заснул» (1, 31); «Быстротекущей Каломоны Идет по влажным *берегам*» (103), но «Твой мшистый *брег* любила Кольна» (1, 29); «И с шумом на высокой *брег*»

1,30); ср. «*Златое* утро» (1, 30); «отчизны край *златой*» (1,32), но: «месяц *золотой*» (1, 32); «ратник *молодой*» (1, 32), но «*младой* воитель» (1, 32). В стихотворении «Мечтатель» (1, 124—125) читаем:

На слабом утре дней *златых*
Певца ты осенила.
Венком из миртов *молодых*
Чело его покрыла...
О, будь мне спутницей *младой*

и т. д. В «Воспоминаниях в Царском Селе» соответственно обращают на себя внимание такие случаи: «Увы! промчалися те времена *златые*» (1, 79), но «Часы беспечности я тратил *золотые*» (1, 81); «Грядет с оливою *златой*» (1, 82, здесь возможность неполногласного варианта оказалась обусловленной возможностью окончания *-ою*, вместо *-ой* в слове *оливою*), но «Греми на арфе *золотой*» (183; здесь такой возможности не было); далее: «*младая* ива» (1,78), «орел *младой*» (1, 79), но «ратник *молодой*» (1, 83). В стихотворении «Любовь одна» в стихе 1-м читаем: «Любовь одна — веселье жизни *хладной*», а в стихе 44-м: «Прервется ли души *холодный* сон» (1, 214—215) и т. д.

Немало аналогичных фактов можно привести и в послелицейском творчестве Пушкина, (преимущественно из первой половины 20-х годов, но не исключительно этой поры). Вот некоторые, особенно интересные примеры: «И быстрый *холод* вдохновенья *Власы* подъемлет на челе» (1, 268); «Счастливый *голос* ваших лир» (II, 11), но: «И вольный *глас* моей цевницы» (II, 12); «Твой *глас* достиг уединенья... И вновь он оживил певца, Как сладкий *голос* вдохновенья» (II, 13, с чисто стилистической точки зрения скорее можно было бы ожидать обратного: твой *голос*, но *глас* вдохновенья). Особенно замечательны следующие случаи:

Вы нас уверили поэты,
Что тени легкою толпой
От *берегов* холодной Леты
Слетаются на *брег* земной.
(II, 73.)

Далее: «Море.... Хлынет на *берег* пустой... И очутятся на *бреге*...» (III, 190); «Видит *город* он большой... Мать и сын идут ко *граду*» (III, 178—179); «Встает он и слышит неведомый *глас*... Но *голос*...» (II, 146).

В зрелых произведениях Пушкина (правда, не столь отчетливо, как в ранее разобранных случаях) проявляется все же знакомая уже нам тенденция к преодолению той условности стихотворной речи, которую часто представляло собой параллельное употребление полногласных и неполногласных лексических вариантов. Следы этой традиции заметны в произведениях Пушкина беспрерывно. Ср., например, в «Цыганах»: «Ужасен нам твой будет *глас*» (IV, 263), но «Имел он песен дивный дар и *голос*, шуму вод подобный» (IV, 241), где скорее, со стилистической точки зрения, можно

было бы ожидать обратного — употребления слова *голос* в применении к Алеко и слова *глас* в выражении, восходящем к ветхозаветному образу [1]. Вообще следует сказать, что в данном пункте традиция была особенно упорна и живуча. Это в значительной степени объясняется тем громадным удобством, которое она представляла для стихотворцев, давая им возможность разнообразить число слогов в слове без видимого нарушения естественных условий речи, так как здесь условным средством являлся факт лексический, а не грамматический. Тем не менее нетрудно видеть на ряде примеров, что Пушкин, по мере эволюции его творчества, стремится к тому, чтобы избавиться от этой традиции. Неполногласные славянизмы становятся в его стихотворном языке или все более редкими, или же стилистически осмысленными, отвечая внутреннему тону произведения и фразеологическим условиям и теряя свой технически версификационный характер. Это нельзя, разумеется, понимать как абсолютное правило для зрелых произведений Пушкина, но нет сомнения, что таково было самое н а п р а в л е н и е, характеризующее эволюцию его стихотворного языка. В известной статье Сенковского «Письмо трех тверских помещиков к барону Брамбеусу», между прочим, рассказывается следующее: «Будучи в Петербурге, я посетил одного литератора и застал у него Пушкина. Поэт читал ему свою балладу «Будрыс и его сыновья». Хозяин чрезвычайно хвалил этот прекрасный перевод. «Я принимаю похвалу вашу, сказал Пушкин, за простой комплимент. Я не доволен этими стихами. Тут есть многие недостатки».—Например?— «Например, полячка *младая*», — Так что ж? — «Это небрежность, надобно было сказать *молодая*, но я поленился переделать три стиха для одного слова» [2]. Нельзя, конечно, ручаться за достоверность этого сообщения Сенковского, сделанного к тому же в фельетонной форме, но оно в высшей степени правдоподобно, так как соответствует ряду наблюдений, которые могут быть сделаны над текстами произведений Пушкина. Так, некоторые неполногласные варианты совсем исчезают из практики Пушкина к концу 20-х годов. Сюда относится, например, слово *драгой*, которое нередко встречается в лицейских произведениях Пушкина, например: «славен родине *драгой*» (1, 79); «*драгие* куклы по углам» (1, 141); «я жду красавицу *драгую*» (1, 148); «О Делия *драгая*» (1, 155); «с образом любовницы *драгой*» (1, 194); «*драгой* антик, прабабушкин чепец» (1, 212); «ты хочешь ли узнать, моя *драгая*» (1, 219), но уже ни разу не употребляется в «Руслане и Людмиле» и в более позднюю эпоху употребляется Пушкиным только в совершенно определенных стилистических контекстах, например иронически, как в «Евгении Онегине» о Зарецком: «французам Достался в плен: *драгой* залог» (6, 119), или в стилизации старинного текста, как например в мо-

[1] Апокалипсис, на который по этому поводу ссылается Виноградов («Язык Пушкина», стр. 155), здесь повторяет ветхозаветное выражение, ср. например, кн. Иезекииля, 43,2. Ср. «*Голос* его возмущает волны и небо» (11, 97).

[2] С е н к о в с к и й, Собрание сочинений, СПБ, т. VIII, 1859, стр. 233.

литве, которую читает мальчик в сцене «Москва. Дом Шуйского» в «Борисе Годунове»: «Да здравием цветет его семья, Да осенят ее *драгие* ветви Весь мир земной» (7, 37) и т. д. Исчезают из пушкинского словоупотребления и такие слова, как *вран, глад, престать, премена, мраз, праг, пренесть, брегусь, стрегу* и т. д. В зрелых произведениях Пушкина слова этого вида встречаются лишь в единичных случаях и обычно оправданы стилистическим замыслом, например «в гортань геенны *гладной*» (III, 144); «В *пременах* жребия земного» («Полтава», IV, 340); «*Брегитесь* суетами света Смутить пророка моего» («Подражание Корану», II, 140); «*прагом* вечности» (II, 283); «*престал* ты быть пророком» (III, 103) и т. д. Вообще круг неполногласных слов, употребляемых Пушкиным (не считая, разумеется, таких, у которых не было полногласных соответствий в обиходном языке), становится очень узким и состоит из десятка с лишним наиболее ходких явлений этого рода, а именно: *хладный, младой, златой, глас, глава, град, брег, власы, врата, древо, здравие, чреда, праздный* (имеется в виду значение «порожний, пустой»). К этим тринадцати словам с некоторыми производными нужно еще прибавить предлоги *пред* и *чрез* (иногда встречающиеся еще и в современном литературном языке, притом не только стихотворном, например очень часто *пред* у М. Горького) — и это исчерпывает соответствующий круг лексических средств Пушкина. При этом рядом с ними почти всегда оказываются их полногласные варианты, и самое употребление тех и других вариантов изредка дифференцировано стилистически и тематически. Например, в «Медном всаднике», этом высшем достижении поэтического мастерства Пушкина, при шести случаях, в которых употреблено слово *берег*, только один раз употреблено *брег*: «Поутру над ее *брегами*» (IV, 435). Слово *город* употреблено в «Медном всаднике» четырежды, а слово *град* дважды, причем оба раза в прозрачном с стилистической стороны контексте: «Прошло сто лет, и юный *град*, Полнощных стран краса и диво» (IV, 430) и «Красуйся, *град* Петров, и стой Неколебимо, как Россия» (IV, 432). Кроме этих случаев, весь арсенал неполногласных лексических вариантов в «Медном всаднике» исчерпывается словами *блато* («Из тьмы лесов, из топи *блат*», VI, 430; единственный случай), *глава* (один раз: «того, Кто неподвижно возвышался Во мраке медною *главой*», IV, 445), *хлад* (один раз: «Дышал ноябрь осенним *хладом*», IV, 433) и *хладный* (два раза: «чело К решетке *хладной* прилегло», IV, 445 и тут же «*хладный* труп его Похоронили ради бога», IV 447). В последних трех случаях — такой же пережиток, как в слове *младая* в балладе «Будрыс и его сыновья». В целом имеем право утверждать, что Пушкин в значительной степени преодолел в своем зрелом творчестве традицию поэтических вольностей и в данном отношении. Может быть, не простой случайностью нужно объяснить, например, тот факт, что в «Домике в Коломне» на три случая слов с корнем *молод-* ни разу не встречается корень *млад-*, и в «Анджело» нет ни разу *глава* при целых семи случаях *голова*.

Все сказанное до сих пор ни в какой мере не исчерпывает того обильного материала по истории внешних форм русской стихотворной речи, который заключается в произведениях Пушкина. Подробное исследование этого материала могло бы составить предмет большой специальной работы, в результатах которой одинаково заинтересованы как история русского литературного языка, так и пушкиноведение. Предложенный выше предварительный общий обзор некоторых явлений в этой области имел своей целью прежде всего поставить самую проблему, не освещавшуюся до сих пор с этой точки зрения ни лингвистами, ни литературоведами, и, в частности, показать, что это проблема далеко не безразличная и для историко-литературного изучения Пушкина, так как ее исследование приводит к выводам, весьма существенным для понимания того исторического процесса, который представляет собой творческий путь Пушкина.

От изучения внешних форм пушкинской стихотворной речи перейдем теперь к описанию ее словарных и фразеологических особенностей, связанных с литературной традицией допушкинской поры.

3

Факты стихотворного языка Пушкина, рассмотренные в предыдущей главе, как уже указывалось, лишены непосредственной связи с поэтическими жанрами, так как их источником являются общие условия версификации. Те факты языка, к обзору которых приступаем теперь, наоборот, тесно и принудительно связаны с соответствующими поэтическими жанрами.

Стилистическая классификация слов русского языка, явившаяся результатом русского литературного развития в XVIII в., получила свой смысл именно вследствие того обстоятельства, что самая литература XVIII в. была литературой жанровой, в которой каждый отдельный жанр представлял особый, замкнутый идейно-художественный мир, подчиненный в своем существовании специфическим законам и правилам. Литературная теория XVIII в., в соответствии с жанровыми требованиями литературы, как известно, делила все слова на «высокие» и «простые», то есть «славенские» и общеупотребительные. При этом особо оговаривалась еще наличность в языке слов «низких», то есть отличавшихся фамильярно-домашним, вульгарным или провинциально-«простонародным» стилистическим колоритом, а потому считавшихся вообще словами нелитературными и допускавшихся к литературному употреблению только на особых правах и при специальных условиях, преимущественно в низких литературных жанрах. Как сказано уже в первой главе этой статьи, к концу XVIII в. в традиции русского сентиментализма самое понятие «высокости» претерпело существенные изменения. В качестве господствующего и претендующего на исключительное литературное значение в области поэзии выделился тот круг поэтических жанров (романс, элегия, баллада), в языке ко-

торых специфическим и созидательным элементом были слова с музыкальной, пластической и индивидуально-психологической экспрессией. Этими стилистическими нюансами оказались наделены как многие славянизмы, известные из более старой традиции, так и многие «простые» слова, а также и некоторые слова западноевропейского происхождения, ранее не имевшие специального стилистического колорита и употреблявшиеся преимущественно в теоретических, то есть нехудожественных, жанрах. Нужно добавить еще, что на втором плане поэтической жизни конца XVIII и начала XIX в. оживленно разрабатывались также те жанры легкой поэзии, которые отличались интимно-бытовыми, фамильярными и «домашними» признаками — разного рода шуточные жанры, эпиграммы, пародии, полемические произведения и т. п. В этих жанрах, общее историко-литературное значение которых для данной поры чрезвычайно велико, получили литературное крещение многие элементы «низкого» словаря, ранее считавшиеся внелитературными. Наконец, не следует забывать, что в поэзии сентименталистов пережиточно существовали также и высокие жанры классицизма, в частности, что особенно важно для Пушкина,— ода. Указанные обстоятельства поэтической жизни на рубеже XVIII—XIX вв. предопределяют план дальнейшего изложения с той стороны, что в нем раздельно должны быть рассмотрены три следующие основные категории традиционного стихотворного словаря: 1) словарь, который для краткости в дальнейшем будем именовать э л е г и ч е с к и м; 2) словарь ф а м и л ь я р н о-б ы т о в о й; 3) словарь о д и ч е с к и й. Каждый из этих трех словарных пластов, полученных Пушкиным от своих ближайших предшественников и учителей, оставил заметный след в стихотворных произведениях Пушкина, и каждым из них он сумел распорядиться по-своему в зрелую пору своего творчества.

I. ЭЛЕГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В данном отношении Пушкин зависит в пору своего поэтического ученичества больше всего от Батюшкова, элегический словарь которого с особой выразительностью, сильно действовавшей на молодое поколение, отразил типические устремления легкой поэзии в ее господствующих жанрах. Слова, входящие в эту стилистическую категорию, объединяются тем своим экспрессивным нюансом, который накладывает своеобразную субъективно-эмоциональную печать на любой предмет мысли, названный каким-нибудь из этих слов. С точки же зрения их предметного значения, слова этого рода могут быть разделены на несколько категорий, из которых в дальнейшем будут даны иллюстрации к следующим: 1) слова, означающие субъективное состояние и переживание (как сказано, соответствующий экспрессивный нюанс отличает вообще любое слово элегического словаря, но здесь речь идет о предметном

значении слова); 2) слова, означающие предметы эротические и эпикурейского быта; 3) слова, означающие предметы внешнего мира, преимущественно детали пейзажа; 4) слова, означающие жилище поэта и связанные с ним предметы. Разумеется, в большом числе случаев этот слозарь отражает не столько выбор слов поэтом, сколько выбор тем и мотивов. Но для нас существенно сейчас только то, что элементы этого словаря, независимо от той или иной их связи с предметами, которые ими обозначались, все равно получали соответствующий стилистический нюанс и тем самым становились словами «поэтичными», настраивавшими читателя на элегическое восприятие уже одними своими словарными качествами. В отдельных случаях будут сделаны ссылки и на типические явления словообразования и словосочетания. Рассмотрим соответствующий материал в намеченном порядке [1].

1) Слова, означающие субъективное состояние и переживание.

Этот лексический пласт может быть иллюстрирован следующими примерами:

безмолвный, безмятежный, беспечный, веселье, воображение, восторг, досуг, забвенье, задумчивый, игривый, кипящий, ленивый (*лень, лениться* и пр.), *мечтанья, надежда, наслаждаться, нега* (*нежный, нежиться*), *немой, отрада, печаль, пламень, покой, праздность, простота, пылающий, резвый, скромный, сладострастие, смиренный, сонный, тихий, тишина, томительный, томный, трепетанье, уединенье, унылый, упоенье* (*упоительный, упиваться*) и т. п.

Характерной чертой этого поэтического стиля является, между прочим, употребление подобного рода слов в разного рода олицетворениях вроде, например, «Приди о *Лень*»; «*Веселье* прибежит»; «посох томной *Лени*» и т. д. С этим связаны и такие словосочетания, в которых соответствующее абстрактное понятие передается не прямо одним из подобных слов, а по формуле: конкретное существительное плюс родительный падеж абстрактного вроде, например, *посох лени, чаша любви, воды забвенья, трава забвенья, одежда неги, чаша сладострастья, венок веселья, ланиты надежды* и многие другие. Это те «пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения *Труда, Неги, Покоя, Веселья, Печали, Лени* писателя и *Скуки* читателя», на которые в 1824 г. жаловался в своей нашумевшей статье Кюхельбекер [2] и которые действительно к 20-м годам превратились в ходячий трафарет модной русской поэзии.

2) Слова, означающие предметы эротические и эпикурейского быта.

Сюда относятся такие слова, как *венки, вино, власы* (*волосы*), *грудь, дыханье* (например, *воспаленное*), *кудри, ланиты, ложе, пре-*

[1] По условиям места, я вынужден отказаться от приведения всех собранных мною цитат, иллюстрирующих употребление перечисляемых ниже слов у Пушкина и его ближайших предшественников. Ограничиваюсь несколькими примерами из очень большого числа.

[2] «Мнемозина», т. II, 1824, стр. 38.

лести, *чаша* и т. п. Для изучаемого поэтического стиля в высшей степени характерны такие словосочетания, в которых соответствующие свойства, качества или состояния при помощи метонимии переносятся на неодушевленные предметы, как например *арфа сладострастья*, *ревнивый пол*, *стыдливый покров* («Снимаешь со груди ее *покров стыдливый*», Батюшков, 267) и т. п. Ср. и у Пушкина: «*завистливый* покров» (1, 34), «*ревнивые* одежды» (IV, 15), что восходит к «les jaloux vêtements» у Парни.

3) Слова, обозначающие предметы внешнего мира, преимущественно детали пейзажа. Этот лексический круг можно иллюстрировать такими словами: *берег* (*брег*), *вечер*, *воды*, *долина*, *зефир*, *дубрава*, *лилея*, *маки*, *мирты*, *мрак*, *роща*, *ручей*, *тишина*, *туман*, *струи*. Отдельные слова этого цикла связаны с предыдущими, так как могли употребляться как символические обозначения известных состояний или представлений (например, *маки*, *мирты*). Соответствующим предметам приписываются стандартные состояния, действия и качества, как например *шепот лесов*, *журчанье ручья*, *седой туман* и т. д. С словообразовательной точки зрения эта категория слов, так же как и следующая, характеризуется частым употреблением уменьшительно-ласкательных суффиксов, так что соответствующие поэтические произведения пестрят такими словами, как *ветерок*, *бережок*, *лесочек*, *цветочек*, *ручеек*, *струйки* и т. д. Пушкин уже в лицейскую пору пародировал этот стиль, когда, жалуясь на нескромность Дельвига, провозгласившего Пушкина великим поэтом, комически изображал возможное обращение к нему читателей со следующими словами:

Ах, сударь! — мне сказали —
Вы пишете стишки,
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, *ручейки*,
Конечно, *василечек*,
Иль тихий *ветерочек*,
И *рощи*, и *цветки*...
(1, 143.)

Насколько навязчивы были некоторые из этих словесных образов для поэтов конца XVIII — начала XIX в., можно судить по следующим немногим примерам употребления слова *мирт* и его производных (нередко в символическом значении, связанном с эпикурейски-эротическими представлениями):

Где ты, Прекрасная, где обитаешь?
Там ли, где песни поет Филомела,
Кроткая ночи певица,
Сидя на *миртовой* ветви?
(Карамзин, 50.)

Он подобен *мирту* нежному.
(Карамзин, 117.)

Поет и в страшный гром на *миртах* соловей.
(Карамзин, 133.)

На сосне розы производит,
В крапиве нежный *мирт* находит.
(К а р а м з и н, 168 [1].)

Под сению *миртов*
Таился Эрот.
(К а р а м з и н, 215.)

Лавры! вас я не ищу,
Я и *мирточкой* доволен,
Коль от милой получу.
(Д м и т р и е в, II, 37.)

Там *миртовой* кусток, там нежна мурава.
(Д м и т р и е в, II, 136.)

Под румяным, ясным небом,
В благовонии цветов,
Оживленных кротким Фебом,
Между *миртовых* кустов
(Д м и т р и е в, II, 94.)

Словесность русскую, язык обогащай,
И вечно с *миртами* ты лавры съединяй.
(В. П у ш к и н, Сочинения, 1895, стр. 116.)

Иль на чело его, в знак мирного венчанья,
Возложим мы венки из *миртов* и лилей.
(Б а т ю ш к о в, 102.)

Нежны *мирты* и цветы,
Чем прелестницы венчали
Юного певца...
(Б а т ю ш к о в, 42.)

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
И *мирт* душистый расцветает,
Склонясь к ее водам.
(Б а т ю ш к о в, 183.)

В карманы заглянул пустые,
Покинул *мирт* и меч сложил.
(Б а т ю ш к о в, 67.)

Любимца Кипридина
И *миртом* и розою
Венчайте, о юноши.
(Б а т ю ш к о в, 120.)

Ср. у Пушкина в лицейских стихотворениях (т. 1):

Темных *миртов* занавеса.
(165.)
Кругом висели розы,
Зеленый плющ и *мирты*,
Сплетенные рукою
Царицы наслаждений.
(230.)

[1] Так характеризуется волшебный дар поэта.

Слепой Амур, жестокий и пристрастный,
Вам терния и *мирты* раздавал.
(214.)

Вновь *миртами* красавицу венчай.
(254.)

В сенистых рощах и садах,
Где *мирт* благоухал и липа трепетала.
(82.)

Излюбленный Пушкиным-лицеистом образ маков, символизирующий сон, также восходит к поэтическому стилю его ближайших предшественников и учителей. Ср. у Батюшкова:

И нектаром любви кропит ленивы *маки*.
(Батюшков, 267.)

У Пушкина соответственно находим:

Когда ленивый *мак*
Покроет томны очи...
(103.)

На *маках* лени, в тихой час,
Он сладко засыпает.
(124.) И т. д.

4) Слова, означающие жилище поэта и связанные с ним предметы.

Сюда относятся, например, *сень*, *чердак*, *хижина*, *приют*, *шалаш*, *келья* (в значении «маленькая бедная комната»), *кров*, *уголок*, *садик*, *домик*, *хата*, *лачужка*, *огонек*, *калитка*, *кабинет*, *обитель*, *камелек* и тому подобные слова, символизирующие вдохновение и уютное отъединение поэта от общества и людей.

Специфической чертой элегического стиля является то, что многие типичные элементы его словаря принимали форму прилагательного. Приведу для примера несколько наиболее постоянных и, так сказать, стандартных эпитетов этого рода: *прелестный*[1], *сладостный*, *пустынный*[2], *потаенный*, *тайный*, *таинственный*, *златой*, *младой*, *хладный*, *милый*, *легкий*, *девственный*, *лилейный* и т. д. Вот несколько примеров модного тогда употребления слова *пустынный*:

...звон рогов
Вокруг *пустынного* залива.
(Батюшков, 225.)

[1] Это слово, означавшее в старом книжном языке «греховно соблазнительный», именно в данную эпоху изменило свое значение. Очень интересная запись об этом в издании: В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, т. 1, Л., 1939, стр. III—LIV): «Сегодня, когда прохаживался, матрос, из стоящих на карауле, взглянул на небо и воскликнул: «Какое *прелестное* небо!» «Лет за десять назад любой матрос в нашем флоте вероятно даже не понял бы, если бы при нем кто назвал небо прелестным... Как после этого еще сомневаться, что наш век идет вперед?»

[2] В значении «уединенный».

Прощаясь... с лесами
Пустынной родины своей.
(Батюшков, 231.)

И Делия не посетила
Пустынный памятник его.
(Батюшков, 232.)

У Батюшкова же встречаем «*пустынный* небосклон» (232), «*пустынный* источник» (115), «в *пустынных* краях» (115) и т. д. Ср. у Жуковского:

Как часто лилия цветет уединенно
В *пустынном* воздухе теряя запах свой.
(I, 16.)

На *пустынной* скале.
(III, 63.)

Ср. у Пушкина-лицеиста (т. 1):

Лаура не снесла разлуки
И бросила *пустынный* свет.
(85.)

Жилец полей *пустынных*.
(142.)

Теперь, когда в покое лень,
Укрыв меня в *пустыню* сень...
(167.)

Оставил я *пустынному* Зефиру
Уж навсегда покинутую лиру.
(215.)

Ручья *пустынный* глас
(216.)

и многие другие. К этому источнику восходит, разумеется, и «На берега *пустынных* волн» в «Поэте», где это трафаретное выражение, однако, переосмысленно и приобрело новую поэтическую свежесть и силу[1].

Вообще весь этот элегический словарь отражается, хотя, разумеется, и не полностью, очень долго в произведениях Пушкина. Однако стилистическая функция этого словаря в зрелых произведениях Пушкина, в связи с полным разрушением прежних жанровых соотношений в русской поэзии, стала совсем иной.

II. ФАМИЛЬЯРНО-БЫТОВОЙ СЛОВАРЬ

В этой области следует выделить прежде всего такие факты, которые представляют собой фамильярное или шуточное применение различных мифологических имен (личных, географических

[1] Ср. В. Саводник. К вопросу о Пушкинском словаре, «Известия. 2-го отд. Акад. наук», 1904, кн. 1.

и т. п.), пользовавшихся, как известно, очень широким распространением в поэзии классицизма. Разумеется, в русской поэзии конца XVIII и начала XIX в. подобные имена широко употреблялись и без шуточных и фамильярных контекстов. Так как и в поэзии классицизма мифологические имена не имели точного жанрового прикрепления и употреблялись решительно во всех жанрах, от оды до басни, то в поэзию сентименталистов они перешли, не изменив своей функции своеобразной поэтической условности. Поэтому и в лицейских стихах Пушкина находим во множестве случаев такие имена, как *Амур*, *Аониды*, *Ахерон*, *Вакх*, *Гименей*, *Грации*, *Ипокрена*, *Ком*, *Коцит*, *Морфей*, *Нимфы*, *Парнас*, *Пермесс*, *Пинд*, *Пиэриды*, *Помона*, *Феб*, *Феллона*, *Хариты*, *Церера*, *Цитерея* и т. д. Употребление подобных имен живет в стихотворениях Пушкина пережиточно и долгое время спустя, но становится очень редким и почти невыразительным. Однако в лицейских стихотворениях Пушкина видим и иное употребление этих имен — не как поэтической условности, а как элементов шутливой и фамильярной фразеологии Так, например, у Пушкина-лицеиста читаем: «Что за птица Купидон», «У граций в отпуску и у любви в отставке»; «с глупой музой»; «парнасский волокита»; «высот Парнаса боярин небольшой»; «Пегаса наездник удалой»; «Фебовы сестрицы»; «Служитель отставной Парнаса»; «вы Дядя мне и на Парнасе»; «парнасской бродяга»; «дюжий Аполлон»; «помилуй, Аполлон»; «С музами сосватал»; «братец Гименей» и т. д. Это, разумеется, не изобретение Пушкина, а использование традиции, созданной «сентименталистами», которые, как известно, были очень большими любителями каламбуров и всяческого иного остроумия, когда снимали с себя обязательный наряд чувствительности и меланхолии. Укажу два-три примера такого рода фразеологии в произведениях старших современников Пушкина. У Карамзина, например, читаем: «Кто о старом помнить будет, Лишится глаз, как «*циклоп*» (172), а в сноске к этому стиху разъясняется: «Русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон». Этот забавный случай хорошо иллюстрирует въевшуюся привычку все переводить на мифологическую терминологию, но в данном случае интересно то, что за трафаретным мифологическим образом скрывается русская поговорка, являющаяся яркой приметой обиходной русской речи. У Батюшкова читаем: «Был ветрен в Пафосе, на Пинде был чудак» (275). У В. Пушкина: «Амура в маклеры теперь же выбираю» (138); «Видно, мне кибитка не Парнас» (138). У Нелединского-Мелецкого: «Винный погреб — мой Парнас» (14) и т. д.

Далее, необходимо отметить те случаи, в которых содержится фамильярно-шутливое или ироническое употребление различных терминов литературы и поэтики, в прежней традиции пользовавшихся особым пиететом у поэтов и часто служивших предметом поэтического воспевания. Насыщенная полемикой и острой партийной борьбой литературная жизнь конца XVIII и начала XIX в. часто заставляла сторонников «нового слога» в очень непочтительной фор-

ме упоминать о литературных званиях своих противников и об их произведениях. Отсюда такие выражения, как например у Батюшкова: «Как он, на рифмы дюжий, Как он, головорез» (147); «Поэт, философ, педагог, Который задушил Виргилья, Алкею окоротил крилья» (79); «Кто ж ты, болтун? — я Мерзляков» (ib.); «Поэт присяжный, князь вралей» (81), или:

Я также член,
Кургановым писать учен;
Известен стал не пустяками,
Терпеньем потом и трудами.
Я есмь зело *Славенофил*.
(184.[1])

Отсюда и частые выражения такого стиля в полемических произведениях В. Пушкина, например: «*Стихомарателей* здесь скопище упрямо» (7); «Не песнопение, но *сущий только бред*» (8); «Я вижу весь собор *безграмотных* Славян» (ib.); «Кто пишет правильно и не *Варяжским слогом*» (23); «не люблю глупцов, Похвальных слов высокопарных И *плоских, скаредных* стихов» (Сочинения, 1895, стр. 83) и т. д. Отдал дань этой манере и Карамзин. См., например, в «Илье Муромце»:

Наши *стихо-рифмо-детели*,
Упиваясь *одопением*,
Лезут на вершину Пиндову.
(114.) И т. д.

Ср.: «Жестокие *врали* и прозой и стихами» («Соловей, галки и вороны», 91).

Очень много соответствующего материала дают стихотворения Пушкина-лицеиста, активно переживавшего борьбу своих учителей с представителями старого литературного поколения. Ср., например, такие выражения, как «рифмы плесть» (1, 26); «вперив в латинщину глубокой разум свой» (44); «Арист нам обещал трагедию такую, что все от жалости в театре заревут» (46); «Вельможе знатному с поклоном Подносит оду в двести строф. Но я, любезный Горчаков, Не просыпаюсь с петухами, И *напыщенными* стихами, *Набором громозвучных* слов, Я петь пустого не умею» (50); «Под стол холодных мудрецов» (59); «Под стол ученых дураков» (59); «довольно без него Найдем бессмысленных поэтов» (74); «намаранные оды» (101); «стихоткач» (99[2]); «за рифмой часто холостой» (152); «трестопный вздор», (153); «стихи *кропать*» (153); «Стихи текут *и так и сяк*» (154); «стансы *намарать*» (169); «над *славенскими* глупцами Смеюся русскими стихами» (180); «угрюмый рифмотвор» (121); «холодных од *творец*

[1] К истории слова *славянофил* см. И. В. Я г и ч, История славянской филологии (Э. С. Ф., т. 1), СПБ, 1910, стр. 160.

[2] Слово это дважды употреблено Сумароковым в его притчах: «какой то стихоткач, Несмысленной рифмач» (VII,50) и «Российской то сказал нам древности толмач И *стихоткач*» (VII,335). Таким образом, корни всей этой полемической фразеологии, как и следовало ожидать, старинные.

ретивый (121); «демон метроманов»; «пел вино водяными стихами»; «в бешеных трагедиях хрипят»; «стихи визжат»; «риторов безграмотных собор»; а отсюда потом и «Ванюша Лафонтен», и «фернейский злой крикун», и «болтун страны Эллинския» и многие другие.

В тесной связи с этим непринужденным и фамильярным «обыгрыванием» литературных понятий и терминов, в особенности стимулировавшимся обстановкой ожесточенной литературной борьбы, стоят и находившиеся в очень широком употреблении в эту эпоху разного рода насмешливые и оскорбительные клички, которые изобретались в лагере карамзинистов по адресу «славенофилов». Ср., например, у Батюшкова такие клички, как *Балдус*; *Бибрус*, у Милонова: *Балдус*, *Вздоркин*, *Ханжихин*, *Кокеткина*, *Вралев*, *Бессмыслов*, *Распутин* и т. п. Молодой Пушкин также отдал дань этому увлечению. Он употребляет по адресу высмеиваемых им представителей отмирающей литературы такие имена, как *Свистов*, *Безрифмин*, *Бестолков*, *Визгов*, *Глупон*, *Хлыстов*, *Рифманов* и т. д., следуя примеру своих учителей, среди которых, в частности, Батюшков в значительной степени содействовал распространению этой манеры своим «Видением на берегах Леты». Большую роль в этом отношении сыграл также «Арзамас» с его исключительным пристрастием к зубоскальству и издевательским церемониям разного рода.

Наконец, в соответствующих жанрах поэты господствовавшей на рубеже XVIII—XIX вв. школы вообще широко пользовались элементами фамильярного языка, до тех пор считавшимися нелитературными и употреблявшимися исключительно в «низких» родах словесности — в комедии, бурлеске, реже — в басне и т. д. Писатели-карамзинисты отчасти продолжают эту традицию «низкого» стиля, отчасти же переносят соответствующий языковой материал в те роды поэзии, которые ими в особенности популяризировались, как например дружеское или шутливое послание, игривые любовные стихотворения, эпиграммы и тому подобные «мелочи» и «безделки». Нужно сказать, что в наименьшей степени фамильярная лексика и фразеология была свойственна самому Карамзину, который как истинный мэтр, даже и в легком и шутливом роде умел сохранить вполне светский и «благородный» тон. Все же и в его стихотворениях можно отметить некоторые факты этого рода, идущие из непринужденного разговорного языка, например: «Вечно смотрит сентябрем» («Веселый час», 1791, 51); «быть *плаксивым* Селадоном» (132); «Кто дар воображать имеет В *кармане* тысячу рублей, *Копейки* дома не имея» (168); «Пусть, Хлоя, мой обширный лоб Подчас *украсится рогами*» (172); «*Украсить рогами* Лбы вечных богов» (215); «Один за другим Все были *рогаты*» (ib.); «*Амур* явится вдруг *с усами как — гусар*» (249); «Пыль в глаза пускал» (256); «Наш бурмистр несет пустое» (263); «Это не беда» (279); «Без смысла он желудком жил» (281) и пр. Красочнее соответствующий материал у Дмитриева, ср.: «Трях-трях, и инде рысью На старом рыжаке» (II, 52); «Ни то, ни се» (II, 117); «С последним словом *прыг* на шею, И *чок* два раза в лоб» (II, 118); «Гимен, то есть бог брака, Не тот, что пишется у вас

сапун, *зевака*, Иль *плакса*, иль *брюзга*» (II, 124—125); «Да *отвяжися ты*, лихая *пустомеля*» (III, 226); «Там тятя, *старый хрен*» (Сочинения, 1893, стр. 185) и др. Приведу два-три примера из Нелединского-Мелецкого: «Люблю *бутылкин взор*» (340); «Смотри-ко, *хват* какой! — Он ладит хоть подраться» (111—112); «матка»; «к хомутам головушки протянут»; «Ан лих не быть по твоему»; «уши прожужжала»; «попы машонки понабьют»; «ведь экой молодчина»; «и он знать вор детина» (111—112) и др. Нечего и говорить об «Опасном соседе» В. Пушкина, где встречаем выражения вроде «подтибрил», «лихо прокачу», «ракалью в зубы», и даже вполне непечатные для нас теперь слова. Ср. в «Послании к Дашкову» того же автора: «Четверкою лихою, Каретой дорогою И всем я щеголял!.. Транжирить я умел» (17). Обращаясь к Батюшкову, и у него находим фамильярные слова и выражения вроде «в карманы заглянул пустые» (67); «Попов слуга усердный, Чуме и смерти брат» (146); «Клянуся честью и *усами* Любви не изменить» (181); «Двуструнной *балалайкой* Походы прозвени» (133); «Ага, фон-Визин молвил братьям» (78) и т. п.

Таким образом, у Пушкина было достаточно образцов такого поэтического словоупотребления, которое снабжало санкцией «литературности», пусть шутливой и легкой только, но все же литературности, бытовые, обиходные, домашние элементы русской разговорной речи. Пушкин в своих лицейских стихотворениях широко воспользовался этой традицией, в иных случаях даже несколько утрируя ее, в качестве прозелита «нового стиля». Сказанное нетрудно иллюстрировать многими примерами, из которых обращу внимание на следующие слова и выражения, выбранные из лицейских стихотворений Пушкина и расположенные в хронологическом порядке:

«Любви не зная бремя, Я *живал*, *да попевал*» (5); «Смехи, вольность — *всё под лавку*» (5); «Целый день, *как ни верчуся*, Лишь тобою занят я» (6); «Дамам вслух того не скажет, А уж *так и сяк* размажет» (6); «Я — *по-свойски* объяснюсь» (6); «С хватской *шапкой на бекрене*» (6); «*по уши* влюбленный» (7); «Не представь и *немчурою*, *С колпаком* на волосах, С кружкой, пивом налитою И с *цыгаркою в зубах*» (7); «Коль совести хоть *капельку* имеешь» (10); «а дьявол *тут как тут*» (11); «Плешивый лоб с досадою чесал — *Стоя, как пень, и рот в сажень разинув*» (15); «Сердись, кричи, бранись, *а я таки поэт*» (26); «табак толченый — *Пихает в длинный нос*» (44); «Что прибыли *соваться в воду*, Сначала *не спросившись броду*» (50); «сиятельный *повеса*» (60); «повеса из повес» (61); «с тобой *тасуюсь без чинов*» (61); «*удалый хват, головорез*» (61); «для пьяных все ведь ладно» (61); «Два года все кружился *Без дела в хлопотах*» (95); «*ни на часок*» (95); «*вытолкал за дверь*» (95); «*седой шалун*» (97); «цари... *Играют в кубари*» (100); «но назову ль *детину*» (100); «*убирайся с богом*» (101); «В досужный мне *часок* У *добренькой старушки* Душистый пью *чаек*» (104); «Но тотчас и вестей Мне *пропасть наболтает*» (105); «Кого жена по моде *Рогами убрала*»(105);«*Антошка балалайку*

Играя разломал» (105); «хлеб-соль *откушать*» (105); «крючковатый *Подьяческий народ*» (106); «*уходим горе* За чашей круговой» (106); «Завью *в колечки* гордый ус» (122); «Партером *полноумным* Прославлен, оглушен» (135); «С *вертушкою* слепой Знакомиться желаешь» (то есть с Фортуной; 136); «за шаткий стол, *кряхтя*, засяду» (153); «с *миленькой* актрисой» (131); «И той волшебницы лукавой, Которая *весь мир вертит*» (169); «С *цыгаррой* дымною в зубах» (170); «Со вздохом *усачу* сказал» (178); «над *ухарским седлом*» (179) и многие другие. Ср. еще в «Монахе»: *кабаков, тюфяков, пуховик, девкою, юбчонки, девчонки, плешивый, поддеть святого с бока* и т. д. Ср. еще такие слова, как *частёхонько* (227), *дурачество* (228), *богиня-дура* (228), *плут* (259), *не рвусь грудью* (259) и т. д.

Было бы ошибочно видеть в этом свободном использовании фамильярно-обиходных слов и выражений какое-либо «преобразование языка» или вообще какое-либо новшество. На фоне приведенных выше примеров из произведений старших современников Пушкина становится совершенно ясным, что Пушкин-лицеист только следовал тому, на что ему указывали его учителя. В свою очередь и учителя Пушкина здесь пользовались материалом прежней литературной традиции, именно традиции низкого стиля, видоизменив ее в двух следующих отношениях: 1) освободив ее от некоторых чисто вульгарных, грубых элементов, а также от проявлений местной, областной речи и 2) переместив соответствующие языковые материалы в жанровом отношении, то есть пользуясь ими не только в освященных традицией жанрах бурлеска, пародии или басни, но также в легких светских жанрах послания, любовного объяснения и т. п. Так, известные элементы старой традиции «низкого слога», очищенные от «простонародных» крайностей, приобрели значение элементов с а л о н н о й речи и в этом качестве фигурировали в модных жанрах легкой поэзии, откуда перешли и в те лицейские произведения Пушкина, которые выдержаны в духе этих жанров.

III. ОДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

То обстоятельство, что фамильярный словарь Пушкина-лицеиста есть все же лишь воспроизводство традиции, а никак не новое слово в истории русского поэтического языка, ярче всего засвидетельствовано чрезвычайно прочной и нисколько не нарушенной связью его с ж а н р о м. Пушкин в лицейский период пользуется фамильярной лексикой и фразеологией не «вообще», а в таких только произведениях, в которых по условиям жанра это было возможно и до Пушкина. Это «Городок», «Монах», «Послание к Наталье» и тому подобные произведения. Там, где жанр основывался на языковых материалах иного рода, мы не найдем «низкого» словаря и у Пушкина в лицейских произведениях. Более того, там, где жанр требовал специфически «высокого» языкового материала, именно такой материал встречаем у Пушкина-лицеиста. Как уже говори-

лось выше, ближайшие предшественники и учителя Пушкина не чужды были одического стиля. Они написали немало од, построенных в общем близко к правилам поэтики классицизма, и все отличие их от писателей-одописцев середины XVIII в. заключалось только в том, что для тех ода была основным и самым важным явлением поэзии, определявшим собой всю физиономию русской литературы и русского образцового литературного языка, тогда как для Карамзина или Жуковского это был жанр пережиточный, продолжавший жить исторической инерцией, не дававший свежей продукции и вытесненный с руководящего литературного поста «поэзией чувства и сердечного воображения». Было бы в высшей степени странно, если б Пушкин, с детства окруженный атмосферой нового поэтического стиля, но в то же время усваивавший от своих литературных учителей всю литературную традицию целиком, не испробовал себя в годы своего ученичества и в «высоком роде». Такие произведения, как известно, у Пушкина-лицеиста есть, но их очень мало. Важнейшее из них — «Воспоминания в Царском Селе» (1814). Сюда относятся также «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.», «Принцу Оранскому» (1816), отчасти «Наполеон на Эльбе» (1815), «Безверие» (1816) и некоторые другие стихотворения. Уже по одному перечню этих произведений сразу видно, что сам по себе высокий жанр Пушкина-лицеиста мало похож на высокий жанр русского классицизма, а представляет собой образцы тех видоизменений, которые были внесены в данный жанр ближайшими предшественниками Пушкина — карамзинистами. Каковы бы ни были, впрочем, эти видоизменения, высокий жанр карамзинистов сохранил во многом характерные черты старого высокого поэтического языка. Вполне естественно, что эти характерные особенности старого одического языка, именно в их жанровом применении, мы находим и в стихотворениях молодого Пушкина.

Примеры одического стиля в первую очередь должны быть указаны в «Воспоминаниях в Царском Селе». Именно здесь находим, кроме отдельных слов и выражений одического происхождения, и цельные связные эпизоды, строго выдержанные в этом духе, например:

Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы Росской храм?
Не се ль Элизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Увы! промчалися те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

(1, 78—79.)

Ср. далее такие тирады:

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.

О, сколь он для тебя, Кагульский брег, поносен!
И славен родине драгой!
Бессмертны вы вовек, о Росски исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод.

(1, 79)

и т. д. В особенности ярко проявляется этот стиль в изображении военных картин. Ср.:

Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая Творца.
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престает в снегах реками течь;
Бегут и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит Россов меч.

(1, 82.)

В этой картине есть, между прочим, выражение, буквально совпадающее со следующим местом из оды Капниста «На разбитие египтян»:

Но что? Я зрю вас устрашенных
И обращающих хребет.
От воев кроясь разъяренных
И вождь, и ратник ваш течет,
Бежит *озреться не дерзает*,
Летает алчна смерть в полках.

(С. о. с., 107—108.)

Сказанное не следует понимать в том смысле, будто ода молодого Пушкина точно воспроизводит одический канон XVIII в. Нельзя не отметить, что в этой оде есть и такие элементы языка, которые вряд ли совместимы с строгим одическим стилем, как, например:

Чуть слышится *ручей*, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит *ветерок*, уснувший на листах

и пр., которые представляется более правильным связывать с господствующим элегическим стилем начала XIX в. Вообще весь склад оды молодого Пушкина сильнее всего напоминает стиль Батюшкова, а отчасти и Жуковского, которому она, в сущности, и посвящена:

О Скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй

и т. д. (намек на «Певца во стане русских воинов»). В качестве характерных признаков одического словаря в этой оде должны быть указаны еще и такие слова, как *чертоги* (строки 21, 128), *воззрев* (40), *вещает* (40), «над *злачными брегами*» (79), «ширяяся *крылами*» (43), *трикраты* (46), *длани* (69), *восстал* (бич вселенной; 71), *брани* (71), *дерзновенных* (91), *течет* (в значении «идет»; 99), *вспять* (106),

воитель (109), *зрак* (125), *низвергнуть* (151), *грядет* (156), *пиитов* (165), *влиял* (166), *взгремел* (167), *воссиял* (168) и т. д.

Соответствующий словарно-фразеологический арсенал находим и в других произведениях Пушкина-лицеиста, примыкающих к одическому стилю. Ср., например, в стихотворении «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году» (1, 140 и сл.): *брань* (1), *вотще* (6, 7), *восстал* (поднялся; 16), *россы* (26), *воспылал* (31), *почто* (40, 41, 44), *внемли* (61), *по стогнам* (64) и т. д. Следует, однако, иметь в виду, что одическая лексика и фразеология в употреблении сентименталистов, а следовательно и молодого Пушкина, вовсе не замкнута пределами собственно одического и примыкающих жанров. Вообще то, что здесь названо одическим словарем, представляет собой лексический пласт русской книжно-поэтической речи XVIII в., культивировавшийся поэтами XVIII в. при помощи церковнославянской традиции для надобностей высоких жанров. Разложение высоких жанров в конце XVIII — начале XIX в. означало не только проникновение инородных начал (например, элегических) в оду, но и обратно — проникновение некоторых элементов одического стиля в жанры собственно легкой поэзии, прежде всего — в элегию, иногда в послание и т. д. В особенности, например, близок к старой высокой поэзии по языку стиль «оссианической» элегии, представленный у Пушкина его вполне детскими произведениями вроде «Кольна», «Осгар» и т. д. Славянизмы классической оды, за отдельными и потому малозначащими исключениями, вообще стали достоянием различных «серьезных» видов в новой поэзии. Как сказано во вступительной главе этой статьи, экспрессивная функция славянизмов в наиболее типичных явлениях новой поэзии стала иной по сравнению с той функцией, которая им принадлежала в оде XVIII в., но немало можно найти также таких случаев, где славянизмы и у поэтов новой школы обладают традиционной «громкостью» и «высокостью». Этим объясняется, вообще говоря, очень значительное число славянизмов традиционного характера и в лицейской поэзии Пушкина. Слова вроде *грядет, зрю, могущий* (как прилагательное), *ложе, чело, приемлет, денница, персты, дерзновенный, днесь, багряница, пернатый, ток* и т. п. встречаются в лицейской лирике Пушкина на каждом шагу, но самый круг подобных славянизмов здесь, безусловно, уже того, что встречаем в оде XVIII в., в соответствии с тем ограничением, которому они подверглись в новых жанрах, возобладавших на рубеже XVIII—XIX вв. в русской поэзии.

Но есть у Пушкина также известное число таких случаев, в которых употребление «высоких» одических слов, по-видимому, обусловлено не той традицией, о которой у нас шла речь до сих пор, а особым направлением русской высокой поэзии, не воспринятым ближайшими предшественниками Пушкина и, следовательно, дошедшим до Пушкина без их посредства. Речь здесь идет о русской гражданской поэзии, определившейся как особый высокий жанр также в последние десятилетия XVIII в., но не в господствовавших

поэтических школах. Здесь прежде всего должен быть назван Радищев с его «Вольностью», затем «Вадим» Княжнина, некоторые произведения Державина и т. д. Вопрос об этой поэтической традиции, до сих пор в русской научной литературе не исследованный, ставится в статье Г. А. Гуковского, помещенной в сборнике «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». Статья эта показывает, что у Пушкина в данном отношении было перед глазами гораздо больше образцов, чем можно было думать на основании тех историко-литературных сведений, которыми мы обладали до сих пор. Гражданские произведения Пушкина, цикл которых открывается «Вольностью» (1817), приобретают, таким образом, совершенно новый историко-литературный смысл и находят свое законное место в ряду сходных литературных явлений, оставшихся до сих пор в тени. Нет никакого сомнения, что высокая лексика и фразеология «Вольности» и последующих опытов Пушкина в области гражданской поэзии вскоре, уже к первой половине 20-х годов XIX в., потерявшей для Пушкина значение самостоятельного и обособленного жанра, несмотря на громадный общественный успех этого рода его произведений, представляет собой своеобразное отражение именно этой, так сказать, «боковой» традиции в истории русского поэтического языка, усвоенной также поэтами-декабристами. Это объясняет пушкинские славянизмы с общественно-гражданственной экспрессией вроде, например, употребленных в «Вольности» (1, 261 и сл.): *воспеть* (9), *возвышенного* (10), *трепещите* (14), *мужайтесь и внемлите* (15), *восстаньте* (встаньте; 16), *гибельный позор* (в значении «зрелище гибели»; 19), *самовластительный* (57), *печать проклятия* (62), *врата отверсты* (83), *днесь* (89) и т. д. Соответствующая экспрессия гражданственности и общественно-политического пафоса сообщена в этой пушкинской оде (напомню, что «Вольность» названа так самим Пушкиным) и таким словам и выражениям, которые, несмотря на свое преимущественно книжное происхождение, сами по себе не несли на себе печати «славенского языка» в узком смысле этого термина в его тогдашнем употреблении, а также и словам, безусловно нецерковнославянским, но означавшим особенно типичные для гражданской оды предметы и явления. Ср., с одной стороны, такие выражения, как *святая вольность* («Где крепко с *вольностью святой* Законов мощных сочетанье», 26—27), *граждане* (31), *неподкупный* (35), *народ* (39), *свобода* (7), *закон* (много раз), с другой — *гимны смелые* (12), *тираны* (14) и т. п. Наконец, не случайными в этой оде являются и выражения: *и се* (55), *сими* (74) и т. п. Тот же стиль языка видим в «Деревне», в «Кинжале», а затем он как самостоятельная стилистическая категория в творчестве Пушкина пропадает вместе с самой гражданской поэзией, теряющей значение обособленного жанра и растворяющейся своими основными мотивами в общем потоке могучего и зрелого творчества Пушкина конца 20-х и 30-х годов.

Такова последняя связь языка произведений Пушкина с традициями XVIII в.

* * *

Преодоление традиционного поэтического языка в области лексики и фразеологии шло у Пушкина очень сложными путями и по существу должно явиться предметом другого исследования, которое поставило бы себе целью показать Пушкина как преобразователя русской литературной речи, а не только как автора произведений, в языке которых нашла себе то или иное отражение языковая традиция. Для темы настоящей статьи существенно, однако, отметить, что преобразование стилистических норм русской литературной речи, осуществленное Пушкиным в зрелый период его творчества, вовсе не непременно означало отказ от самих материальных средств языка традиционного. Нет никакого сомнения в том, что ряд явлений, отмеченных выше в области словоупотребления молодого Пушкина, в его зрелых произведениях уже не встречается или встречается только изредка, в меньших масштабах. Это относится в равной мере как к книжным, так и к фамильярно-разговорным элементам словаря Пушкина-лицеиста. Однако столь же несомненно, что значительная часть этого материала продолжает жить в произведениях Пушкина до самого конца, но только в новой функции. В этом отношении эволюция пушкинского словаря представляет собой картину, во многих отношениях сходную с той, какую мы наблюдаем в области внешних форм его стихотворной речи. И там тоже наблюдается исчезновение или резкое сокращение ряда традиционных языковых средств, но в числе этих средств, однако, есть и такие, которые употреблялись Пушкиным всю жизнь, но в измененной функции. Именно в изменении функций отдельных элементов языковой традиции и заключалась преимущественно роль Пушкина как преобразователя русского литературного языка. Пушкин не создавал никакого «нового» языка, он не придумывал новых слов, форм и т. п., вообще совершенно не занимался словотворчеством, но он резко изменил традиционное отношение к словам и формам и потому создал новые нормы словоупотребления. Притом особенно важно подчеркнуть, что эта преобразовательная роль Пушкина в области литературной стилистики была непосредственным следствием его преобразовательной роли в области самой литературы. Пушкин заботился о языке не просто как о языке, но как об органе литературы, обладающей определенными свойствами и находящейся в процессе определенного развития. Создавая новую литературу, он тем самым должен был создавать и новые нормы литературного словоупотребления.

Ближайшим посредствующим звеном для стилистической реформы была та коренная реформа, которая была осуществлена Пушкиным в сфере поэтических жанров. Дело заключается не только в том, что в зрелые годы Пушкин совершенно почти отказывается от традиционных жанров и создает новые (южные поэмы, «Евгений Онегин» и т. д.), но также и в том, что самое понятие жанра в пуш-

кинскую эпоху прежде всего благодаря самому Пушкину приобретает совершенно новое содержание. Самое важное заключается здесь в том, что оказалась разрушенной принудительная связь жанра и языка, возникшая в XVIII в., так что сам по себе жанр перестал быть определяющим началом для языка и эта роль перешла непосредственно к содержанию, теме, вообще — поэтическому стилю произведения. Вот почему Пушкин имел возможность пользоваться всеми традиционными средствами стихотворного языка своих предшественников и вместе с тем быть реформатором языка. Будучи освобождены от своего жанрового прикрепления, попадая в непривычную жанровую обстановку, старые средства начинали звучать по-новому. Это ясно уже на примере «Руслана и Людмилы». Общеизвестно, что вождям карамзинизма эта поэма не очень нравилась. Исследователи пушкинского стиля и языка пытаются объяснить эту реакцию учителей Пушкина на его поэму, в частности, тем, что в ней Пушкин, следуя внушениям «молодых архаистов», например Катенина, отошел от норм и средств салонной речи и, впадая в «левый уклон», позволил себе употребить такие выражения, как *тошно жить, молчи, пустая голова, ага дрожишь, всех удавлю вас бородою* и т. п.[1]. Нет сомнения, однако, в том, что сами по себе эти слова и выражения не заключали ничего небывалого в русской литературе. Более того, у некоторых из старших современников, например Дмитриева или Нелединского-Мелецкого, можно найти выражения гораздо более «простонародные» и «низкие»[2], и, следовательно, того же Дмитриева не могло в «Руслане и Людмиле» раздражать пушкинское «просторечие». Дело, очевидно, не в «просторечии» самом по себе, а в том, что оно попало в нетрадиционную обстановку, именно в б о л ь ш о й жанр, в такое произведение, которое, претендуя быть серьезным литературным произведением и конкурируя с традиционными величественными эпическими жанрами, тем не менее пестрит отражениями стиля салонной болтовни, возможными в традиционных представлениях только в легких жанрах «мелочей» и «безделок». Пушкинское «просторечие» не нравилось здесь прежде всего своей «неуместностью». В этой «неуместности» отдельных слов и выражений в произведениях Пушкина, со временем становившейся все более сильной и непривычной, и заключается один из главных путей отхода Пушкина от традиционных стилистических норм. Но детальный разбор относящихся сюда фактов выходит уже за пределы темы настоящей статьи.

---

[1] См. В. В. В и н о г р а д о в, Язык Пушкина, 412—414, ср. **Т ы н я н о в** Архаисты и Пушкин, ук. соч., 244 и след.

[2] В. В. В и н о г р а д о в, ук. соч., 411.

ПОНЯТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА *

I

Под поэтическим языком можно понимать прежде всего язык, употребляемый в поэтических произведениях.

В этом случае имеется в виду не какое-нибудь внутреннее качество языка, не какая-нибудь особая его функция, в сравнении с его функцией как средства обычного социального общения, а только особая традиция языкового употребления. Поэтический язык в этом смысле представляет собой особый стиль речи в ряду других: языка официального, научного, дипломатического, военного и т. д. Точно так же, как есть формы, слова, обороты речи, которые принято или не принято употреблять в языке науки или дипломатии, есть формы, слова, обороты речи, которые принято или не принято употреблять в поэтических произведениях. История того, как и почему изменялся состав языковых средств, принятых в употреблении в этой традиции, и есть, с этой точки зрения, история поэтического языка.

«Боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле «приехали»: покраснеют! «Пришли», а не приехали»,— так характеризуется, между прочим, морской стиль речи у Гончарова (Фрегат «Паллада»). В романе Л. Соболева «Капитальный ремонт» моряк смеется над военным, который произносит «мичманы» поморскому надо было бы «мичмана́». Совершенно так же Тредиаковский в 1750 г. упрекал Сумарокова за то, что тот написал *глаза* вместо *очи*, *взгляни* вместо *воззри*. Жуковский в начале XIX в. должен был изыскивать для себя оправдания в том, что в одном стихотворении написал *постель* вместо *одр*. Но Белинский уже иронизировал над теми, кто пишет *зане* вместо *ибо* или *потому что*. А в наше время мы стали бы недоумевать, если бы кто-нибудь, наоборот, не в стихах, а в обыкновенном разговоре сказал *лошажья*, как у Маяковского, вместо *лошадиная* или употребил краткую форму прилагательного или причастия вместо полной в роли второстепенного сказуе-

* [«Доклады и сообщения филологического факультета МГУ», вып. 3, 1947.]

мого, ср. хотя бы у Асеева: «И тополя, *темны и молчаливы*, Встают вдали, напоминая взрывы».

Не следует также упускать из виду, что самое различие между поэтическим стилем речи и общим обиходным языком образованной среды вообще не обязательно и в известных условиях может отсутствовать (ср. хотя бы некоторые лирические стихотворения Пушкина последних лет его жизни).

II

С другой стороны, язык, употребляемый в поэтических произведениях, может представляться связанным с поэзией не одной только внешней традицией словоупотребления, но и внутренними своими качествами, как язык, действительно соответствующий изображаемому поэтическому миру, выражаемому поэтическому настроению. В этом случае язык поэзии понимается нами как язык сам по себе поэтичный и речь уже идет о поэтичности как особом экспрессивном качестве языка.

Понятно, что такая поэтичность языка в свою очередь есть не что иное, как особого рода традиция. При соответствующих условиях «поэтичность» легко меняет свое фактическое языковое содержание или же и вообще становится смешным шаблоном, с которым в поэзии борются так же, как борются, например, с «театральностью» в истории театральной культуры. Критика выговаривала Пушкину за антипоэтичность по поводу известного места в «Бахчисарайском фонтане»: «Символ *конечно* дерзновенный» и т. д. В «Благонамеренном» писали: «*Конечно* принадлежит к таким словам, которые в поэзию вводить опасно». Но Пушкин, чем дальше, тем охотнее употреблял в своем стихотворном языке прозаизмы. Мы знаем также, какое большое место в журналистике 20-х годов XIX в. занимала борьба с шаблонными поэтическими выражениями вроде «златая беспечность», «милая нега» и т. п. Мы помним также выступления Маяковского, приветствовавшего Чехова за то, что тот внес в литературу «грубые имена грубых вещей» и вместо «аккордов» и «серебристых далей» заговорил словами «определенными, как *здравствуйте*, простыми, как *дайте стакан чаю*».

Таким образом и с этой стороны поэтический язык имеет свою историю. Ближайшим образом она отражает историю общественных языковых вкусов, социальную психологию языка. Как видно уже из нескольких приведенных примеров, чуть ли не решающее значение в этом отношении имеет история самой по себе поэтической темы: поэтичность или антипоэтичность языка в очень большой степени сводится к вопросу о том, о каких предметах считается возможным или невозможным писать в поэтическом произведении. «*Соловей* можно, *форсунка* — нельзя», как формулировал уже в наше время Маяковский.

III

Но есть и еще одно, и притом — гораздо более важное значение, принадлежащее выражению «поэтический язык». С ним имеем дело тогда, когда самое отношение между языком и поэзией мыслится не как связь того или иного рода,—традиционная или экспрессивная,— а как свое законное тожество, так что язык и есть сам по себе поэзия. Здесь уже возникает вопрос об особой, поэтической функции языка, которая не совпадает с функцией языка как средства обычного общения, а представляется ее своеобразным обосложнением.

Поэтический язык в этом смысле есть то, что обычно называют образным языком. Художественное слово образно вовсе не в том только отношении, будто оно непременно метафорично. Сколько угодно можно привести неметафорических поэтических слов, выражений и даже целых произведений. Но действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его буквальном смысле. Любой поступок Татьяны или Онегина есть сразу и то, что он есть с точки зрения его буквального обозначения, и то, что он представляет собой в более широком его содержании, скрытом в его буквальном значении: иначе это, действительно, было бы хроникой происшествий, а не поэзией. Основная особенность поэтического языка как особой языковой функции как раз в том и заключается, что это «более широкое» или «более далекое» содержание не имеет своей собственной раздельной звуковой формы, а пользуется вместо нее формой другого, буквально понимаемого содержания. Таким образом формой здесь служит содержание. Одно содержание, выражающееся в звуковой форме, служит формой другого содержания, не имеющего особого звукового выражения. Вот почему такую форму часто называют внутренней формой.

Недоверие к ученим о языке как внутренней форме нередко связано с тем, что такие учения прилагаются не к специально художественному языку, а к языку вообще. В этих случаях искусство объясняют по аналогии с языком, тогда как, наоборот, ту особую функцию языка, которую мы называем поэтической, следовало бы объяснять по аналогии с другими видами искусства. Отсюда и обычный идеализм учений о внутренней форме, которому не должно быть никакого места при правильном взгляде на отношения искусства и действительности. Но правильное понимание этого вопроса было чуждо как формалистам, отрицавшим внутреннюю форму и вместе с тем полностью разобщавшим «язык поэтический» и «язык практический», так, например, и Потебне, который всякое вообще слово считал поэтическим и потому превращал искусство в нечто как бы еще более реальное, чем сама реальная действительность.

Между тем поэтическое слово вырастает в реальном слове, как его особая функция, совершенно так же, как поэзия вырастает из

окружающего нас мира реальности. Буквальное значение слова в поэзии раскрывает внутри себя новые, иные смыслы совершенно так же, как расширяется в искусстве значение описываемого единичного эмпирического факта до степени того или иного обобщения. Роман А. Н. Толстого «Хлеб» — это не просто роман о хлебе в буквальном и будничном значении этого слова, а о крупном, героическом событии из истории гражданской войны. Но в то же время это непременно также роман и о хлебе, потому именно в этом образе открывает нам художник то, что увидел в летописи гражданской войны, а та же тема, раскрытая в ином образе, была бы уже темой другого романа.

Нет поэтому никакой необходимости следовать наивно этимологическому толкованию внутренней формы, для которого так часто дает повод Потебня. Для того чтобы понять смысл фразы: «Сегодня хорошая погода», нам и в самом деле нет надобности знать «ближайшее этимологическое значение» не только слова *хорошая*, по отношению к которому в науке есть ряд одинаково неубедительных этимологий, но даже и слова *сегодня*, ближайшее прошлое которого понятно почти всякому, говорящему по-русски. Но не зная, что значило слово «раньше», чем стать фактом поэтического языка, действительно, нельзя понять, что оно значит как поэтическое слово.

IV

Отсюда следует, что нет такого факта поэтического языка, каковой факт не был бы известен и вне поэтического контекста, как явление языка вообще. Но в этом новом, поэтическом качестве каждая языковая дата приобретает особые свойства, из которых здесь кратко указываются два следующих.

Во-первых, в поэтическом языке в принципе нет слов и форм немотивированных, с пустым, мертвым, произвольно-условным значением. В обычном языке есть слова, объяснимые через значение других слов с общей непроизводной основой: *певец* — это тот, кто *поет*. Но что значит *петь* — это можно только истолковать, а собственно языковым путем объяснить невозможно: это слово с основой непроизводной, первичной. Между тем в поэзии и слово *петь* не изолировано, а входит в соответствующий смысловой ряд в зависимости от того образа, которому оно служит основанием. Так, *петь* может оказаться связанным со словами, выражающими радостное состояние духа («душа поет», «кровь поет» и т. п.), поэтическое вдохновение («муза поет»), игру на музыкальном инструменте (ср. у Блока: «исступленно *запели* смычки») и т. д. Ср., например, обычную связь слов, обозначающих *слезы* и *дождь*: «Сквозь ресницы шелковые Проступили две *слезы*... Иль то *капли дождевые* Зачинающей грозы?» (Тютчев); «На родину тянется *туча*, Чтоб только *поплакать* над ней» (Фет); «И ничего не разрешилось Весенним *ливнем* бурных *слез*» (Блок); «Своими горькими *слезами* Над нами плакала *весна*» (он же) и т. д.

Это, конечно, касается и грамматических категорий. Слово, имеющее только множественное число, способно в поэзии, независимо от своего реального значения, быть носителем образа множественности, неодушевленное слово женского рода — носителем женского образа и т. д. Здесь разрыв между «техническим» и «живым» значением языковых фактов в принципе уничтожается.

Это было бы невозможно, если бы, во-вторых, в поэтическом языке не преодолевалось также различие между теми фактами, которые входят в самую с и с т е м у языка, и теми фактами, которые остаются достоянием внесистемной речи, так называемые г о в о р е н ь я («la parole»). Порядок слов в русском языке по большей части не создает различий, которые могли бы иметь чисто грамматическое значение. Но в поэтическом языке *веселый день* и *день веселый*, *смелый воин* и *воин смелый*, *бой идет* и *идет бой* — существенно различные синтагмы, потому что они могут быть применены для выражения различного поэтического содержания. Значение слова *чистый* не зависит от того, каков исчерпывающий список существительных, употребляющихся с этим прилагательным в общем языке. Здесь нужно избежать лишь смешения таких групп словосочетаний, как например *чистая вода*, с одной стороны, и *чистый вздор* — с другой. Но в поэтическом языке в принципе каждое слово есть член того или иного сращения, обладающего единством смысла: очевидно, что *туча плачет* и *душа плачет*, *скрипка плачет* и *весна плачет* это совсем разные образы, имеющие общее единое основание в буквальном значении слова *плачет*. Поэтому *чистая вода* и *чистая слеза* также могут представлять собой разные типы словосочетания в языке поэзии.

Конструкции, необязательные, «свободные» в языке общем, но потенциально обязательные, «несвободные» в языке поэтическом, также представляют собой явление внутренней формы, то есть отношение буквального и «более далекого» значений. Постпозиция или препозиция определяемого «буквально» имеет смысл одинаковый безразличный, но в данном поэтическом контексте она вместе с тем и не безразлична. В «буквальном» смысле сочетание форм без сказуемого, «не доведенное до точки», имеет смысл предложения незаконченного, но в то же время, например, занимая цельный стих или составляя иную соответствующую ритмическую группу, оно звучит, как если бы было законченным синтаксическим целым, и т. д. Таким образом, в том особом разделе лингвистики, который посвящен изучению языка как поэтического факта, совершенно иной смысл получают такие явления, как связь слов по словопроизводным гнездам, как отношения между системой языка и факультативными формами ее воплощения.

V

В тесной связи со всем сказанным стоит то свойство поэтического слова, которое можно назвать его р е ф л е к т и в н о с т ь ю, то есть его обычная обращенность на само себя. Сближая в тексте

слова, давно утратившие ту взаимную связь, которой они обладали в силу своего этимологического родства или даже и вовсе никогда этой связи не имевшие, поэт как бы открывает в них новые, неожиданные смыслы, внешне мотивируемые самым различным образом: то шуткой, то глубоким раздумьем.

Ср. в притче Сумарокова: «*Сокровище* мое! куда *сокрылось ты?*» В «Дикарке» Островского: «*Вешается* на шею женатому! У!! Повеса, право, *повеса*!» В «Дачниках» Горького: «О Марфа, Марфа! Ты *печешься* о многом — оттого-то у тебя всё *перепекается* или *недопечено*...» Замечательны слова Аркадия в «Отцах и детях»: «Не находите ли, что *ясень* по-русски очень хорошо назван? ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит в воздухе, как он». В особенности интересно следующее рассуждение Матвея Кожемякина у Горького: «Вспомнилось, как однажды слово «гнев» встало почему-то рядом со словом «огонь» и наполнило усталую в одиночестве душу угнетающей печалью.— *Гнев*, соображал он,— *прогневаться, огневаться*,— вот он откуда, *гнев* — из *огня!* У кого *огонь* в душе горит, тот и *гневен* бывает. А я бывал ли *гневен*-то? Нет во мне *огня*».

Излишне добавлять, что этимологически нет никакой связи между словами *ясень* и *ясно*, *гнев* и *огонь*.

Вспомним также разницу между e i n Fichtenbaum у Гейне и словом *сосна* в переводе Лермонтова. Аполлон Григорьев (первый, кажется, из указывающих на эту вольность лермонтовского перевода) тут же указал на аналогичное явление в одном стихотворении Случевского, у которого с *землей*, изображаемой словом ж е н с к о г о рода, прощается *ее* возлюбленная *лето*, изображаемая словом с р е д н е г о рода.

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

www.ruslang.ru

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

ФОРМА СЛОВА И ЧАСТИ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

[ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. НАПИСАНО В 1943 г.]

§ 1. Связная речь членится на отдельные единства, участвующие в передаче значений. Эти единства могут быть дробные или цельные, то есть такие, которые существуют только как часть более сложного целого, или такие, которые могут существовать и в отдельном употреблении и в составе более сложных единств. Примером дробного единства может служить морфема или незаконченная часть предложения, примером цельного — слово или предложение. Из сказанного следует, что цельное единство может входить в состав более сложных цельных или дробных единств, но может быть и таким, которое не выделяет уже в своем составе других цельных единств и разлагается только на единства дробные. Ниже речь будет идти именно о таких простых цельных единствах и входящих в их состав единствах дробных, то есть о слове и его составных частях.

Те цельные и составляющие их дробные единства, которые служат предметом предлагаемого рассуждения, могут представлять собой в русском языке какую-нибудь комбинацию звуков речи, например: *вода*, *ты*, *при*, *ой*, *желание*, *передать*, *столик*, *кускам*, причем такая комбинация в определенных условиях может и варьироваться в своем звуковом составе или относительно места ударения, например: *звать — зову — призывать*, *носок — носка*, *рука — руки — ручка*, *ходить — хожу — хаживать*. Исследуемые единства могут состоять и из одного отдельного звука речи, например: *а*, *и*, *пишу*, *шли*. Возможны также единства, представляющие собой нуль звука, то есть отсутствие его там, где он есть в параллельных случаях, например: *стол* — нуль звука при *стола*, *рук* — нуль звука при *рукам*, *шел* — нуль звука при *шла*. Все эти единства различаются одно от другого своим устройством, то есть материальным составом и способом соединения с другими единствами в речи, а в зависимости от этого — своей функцией, то есть ролью, которая принадлежит каждому из них в передаче значений. То или иное устройство единства, из которых состоит речь, отличающее его от других и выражающееся в том, как оно функционирует в речи, будем называть его формой.

§ 2. В современном русском языке выделенные нами для исследования единства различаются со стороны своей формы следующим образом.

Во-первых, различаем в них единства з н а ч а щ и е и единства т е х н и ч е с к и е. Под первыми понимаются здесь такие, которые сами по себе передают известные значения или по крайней мере принимают участие в передаче значения целого. Таковы, например, названные выше единства *вода*, *ты*, *передать*, *столик*, *кускам*. Под вторыми понимаются такие, которые сами по себе никаким значением не обладают и служат чисто механическими средствами соединения значащих единств между собой. Изъятие таких единств из состава целого не изменило бы ни с какой стороны значение целого, но нарушило бы его материальную структуру и свойственную ей закономерность. Такими техническими единствами являются, например, в русском языке звуки *о*, *е*, *у*, *а* в словах *пароход*, *кровеносный*, *полубутылкой*, *терпеть*, *писать*. Для большего удобства будем ниже называть значащие единства з н а к а м и, а технические единства — ф о р м а т и в а м и.

§ 3. Знаки в русском языке, как уже сказано, могут быть цельными и дробными. Цельные знаки, о которых здесь идет речь,— это с л о в а, то есть единства, которые обладают законченным устройством, и хотя и вступают в связной речи в соединение с другими такими же единствами, но принципиально в этом не нуждаются, так как составляют минимально достаточную величину, способную функционировать как целое. Таковы знаки *вода*, *пальто*, *хороший*, *бежать*, *везде*, *про*, *и*, *ой* и т. д. Дробные знаки — это м о р ф е м ы, то есть единства, которые не существуют отдельно от других и возможны только в том или ином сочетании с другими как части более сложных единств. Таковы знаки *стол*, *рук*, без нуля звука в конце этих слов, *чуд*-и-*ес* в слове *чудес*, *слад- ость* и нуль звука в слове *сладость*, *жен-ы* в слове *жены*, *пере-ход* и нуль звука в слове *переход*, *мы-ть-ся* в слове *мыться* и т. д. Морфемы имеют то общее с формативами, что и те и другие не существуют в языке сами по себе и являются только в тех или иных комбинациях с другими единствами, но разнятся от них тем, что наделены той или иной функцией в передаче значений, тогда как формативы не участвуют собственно в самом акте передачи значений и обладают только техническим назначением.

Из сделанного различия между знаками вытекает и другое, касающееся самих слов как цельных знаков. Очевидно, слова бывают н е р а з л о ж и м ы е и р а з л о ж и м ы е, то есть представляют собой в первом случае такое единство, в котором не выделяются никакие более дробные членения, например *пальто*, *везде*, *про*, *и*, *ой*, а во втором единство, в котором выделяются такие более дробные и далее уже неразложимые членения, например *вод-а*, *хорош-ий*, *чуд-ес*, *слад-ость* — нуль звука; *жен-ы*, *пере-ход* — нуль звука и т. д. В свою очередь и разложимые слова различны, что зависит от форм знаков, входящих в их состав.

§ 4. Знаки, входящие в состав разложимого слова, могут быть или сами по себе цельными неразложимыми знаками, например *пальто* в слове *полупальто*, *везде* в слове *вездеход*, *ах* в слове *ахать*, *по*, *при* в словах *пошел*, *пришел*, или же они могут быть морфемами. Эти последние возможны двух родов. Это, во-первых, о с н о в ы, то есть такие знаки, которые самим своим устройством принудительно требуют того или иного своего восполнения другими знаками и в этом обнаруживают свою неполноту и незаконченность. Таковы, например, основа *свин-* с ее чередующимися вариантами *свинj-*, *свинej-* в словах *свинья*, *свиней* (с нулем звука), ***свин**ский*, *по-**свин**ски*, ***свин**оводство*; основа *рук-* (без нуля звука) в словах *рук* (с нулем звука), ***рук**астый*, ***рук**оделие*, ***рук**оводство*. Особенность функции основ состоит в том, что они обладают не значением в строгом смысле этого понятия, а лишь его возможностью, которая реализуется так или иначе, в зависимости от того, какие знаки присоединяются к основам в качестве их восполнителей.

Во-вторых, различаем морфемы, восполняющие основы, то есть морфемы, которые, присоединяясь к основам, тем самым актуализируют потенцию значения, им свойственную. Таковы нуль звука в словах *стол*, *рук*, *свиней*, морфемы *-ов* в слове *облаков*, *-ск* и *-ий* в слове *свинский*, *-ес* в слове *чудес*, *-к-*, *-а* в слове *ручка* и т. д.

§ 5. Но далее и эти восполняющие морфемы бывают в русском языке двух родов, именно — а ф ф и к с ы и о к о н ч а н и я (термина «флексия», по многим основаниям неудобного, я здесь избегаю). Первые по своему устройству могли бы быть названы о д и н о ч н ы м и морфемами, вторые — к о м п л е к с н ы м и. Этим я хочу указать на то, что окончания присоединяются к основам как отдельные члены цельного комплекса, так что если дана восполняющая морфема *a*, то тем самым даны также восполняющие морфемы *b*, *c*, *d* и т. д. Между тем аффиксы присоединяются к основам каждый сам по себе, хотя, независимо от этого, могут входить в ту или иную систему знаков, объединяемых общим типом значения. Например тот факт, что слово *жена* разлагается на основу *жен-* и окончание *-а*, принудительно связан с тем фактом, что основа *жен-* соединяется также с окончанием *-ы*, *-е*, *-у*, *-ой*, *-ами*, *-ах* и т. д. и, кроме того, с тем, что тот же комплекс окончаний, как нечто цельное, возможен и при многих других основах вроде *стен-*, *голов-*, *рук-*, *баб-* и т. д. Подобные цельные комплексы морфем представляют собой, следовательно, своеобразное единство, во всей полноте своих членов переносимое от слова к слову, в пределах того же разряда, и создающее те цепи слов, которые именуются парадигмами. Но например, морфема *-ушк-* в слове *женушка*, хотя и может быть в известном отношении поставлена в один ряд с аффиксами, выделяющимися в составе слов *женщина*, *женский*, *жених*, тем не менее не образует с ними такого цельного комплекса знаков, переносимых как одно целое от основы к основе. Поэтому и само по себе слово *женушка* не есть еще свидетельство того, что остальные слова данного ряда существуют в языке в реальном употреблении или даже в

возможности, равно как не предполагает этого и в отношении слов *головушка, сторонушка.* Так, рядом со словом *дама* невозможно «дамушка», «дамщина», «дамих», но есть *дамский*, равно как при *сторонушка* нет «линиюшка», при *головушка* нет «рукушка», «ногушка». Зато при *рука* есть *ученька*, но рядом с *губа* нет ни «губенька», ни «губушка», а только *губка* и, при некоторых условиях, *губочка*. При слове *купец* есть *купчиха*, при *пловец — пловчиха*, но слова *делец, скупец, молодец, подлец* не имеют таких параллельных образований. При *село* есть *сельский*, но при *окно — оконный*, а не «оконский» при *полотно — полотняный*, а не «полотенский» и не «полотенный». При *сберегать* имеем *сберегательный*, но при *строгать — строгальный* и т. д. Вряд ли вообще в русском языке можно найти ряд таких аффиксов, которые бы все целиком, как парадигма, одинаково участвовали и в образовании однотипных слов от более или менее значительного числа основ. Какое-то количество подобных параллельных образований непременно должно быть, потому что иначе в языке не было бы и соответствующих морфем. Но сплошь да рядом наблюдаем или отсутствие ожидаемого образования от одних слов, при наличии его в других однотипных случаях, или же однотипные по функции образования, создаваемые разными аффиксами. Именно поэтому и невозможно сказать заранее, какие из таких образований действительно существуют в языке, а каких нет в употреблении и даже в возможности.

Между тем в случае комплексных морфем наличие хотя бы одного из членов комплекса служит вполне достаточной гарантией того, что в языке та же основа реально существует и в соединении с каждым другим членом данного комплекса порознь. Если какой-нибудь из таких ожидаемых случаев и отсутствует в языке, например отсутствие в употреблении первого лица единственного числа от глаголов вроде *победить* и т. п., то это есть своеобразное явление дефектности именно данного слова, чего никак нельзя сказать про отсутствие слова «дамих» при *жених* и тому подобные случаи.

§ 6. К этому основному различию в устройстве аффиксов и окончаний присоединяются и некоторые другие. Так, первые невозможны без вторых, но вторые возможны без первых. Иначе говоря, каждая основа, независимо от того, восполнена она аффиксом или нет, непременно должна иметь какое-нибудь окончание, то есть морфему комплексного типа. Далее, то, что здесь названо окончанием, уже и потому заслуживает такого названия, что непременно заканчивает собой разложимый знак, так что различие между аффиксом и окончанием заключается еще в том, что первый всегда предшествует второму. Затем аффиксы в русском языке могут как предшествовать основе (префиксы), так и следовать за ней (суффиксы), тогда как окончание может находиться только после основы. С этим связано и то, что аффиксов в слове может быть и несколько, но окончание — только одно. Наконец, аффиксы могут представлять собой и чередующиеся вариации звуковых комбинаций, например *сладок — сладка*, окончания же никогда не являются в звуко-

вых чередованиях. Зато окончания могут составлять и нуль звука, тогда как аффикс в виде нуля звука, если и возможен в исключительных случаях, то только в слиянии с нулем звука окончания. Таковы русские формы типа *погиб, вез*, где в нуле звука слиты суффикс и окончание (ср. *погибли, везли*).

§ 7. Это глубокое различие в устройстве обоих типов морфем, восполняющих основы, не есть какая-нибудь техническая деталь русского языкового строя, но связывается и с очень глубоким различием их функций. Общность функций аффиксов и окончаний, как уже сказано, состоит в том, что те и другие актуализируют потенцию значения, принадлежащую основам. Но эта актуализация в том и другом случае совершается по-разному и имеет различный смысл. В отличие от основ, аффиксы обладают значением не потенциальным, но вполне актуальным, зато таким, которое по самой своей природе всегда составляет известную ч а с т ь более сложного значения, а само по себе не существует. Сколь бы абстрактным ни были в известных случаях значения аффиксов, они не делаются более конкретными оттого, что присоединяются к значениям основ и принципиально от этих последних не зависят,— наоборот, они сами составляют условие полноты проявления значений основ. Значение суффикса *-к-* в словах *стирка* и *ручка* разное, но только в таком же смысле, в каком мы говорим, например, о разных значениях слова *стол* в выражениях *дубовый стол, питательный стол*. Однако каждое из двух значений суффикса *-к-*: 1) действие по глаголу (какому бы то ни было) 2) уменьшительность (чего бы то ни было), само по себе есть значение законченное и независимое. Все дело только в том, что в русском языке значения, передаваемые аффиксами, непременно входят составной частью в значения цельных разложимых слов, а самостоятельно, как отдельное значение, не существуют. Именно к этому сводится разница между значением уменьшительности, передаваемым суффиксом *-к-*, и тем же значением, передаваемым цельными словами: *малый, небольшой* и т. п. Смысл один, но выражен он различно, а потому и значения в данных двух случаях разные. В отличие от значений аффиксов, значения основ не могут рассматриваться только как части более сложных значений. Они возможны именно как отдельные и цельные значения, но это еще не подлинные значения, а только намек на значение, которое начинает жить полной жизнью в языке лишь при условии его воплощения в цельном разложимом слове того или иного типа.

Раскрытие и конкретизация этих намеков и составляет функцию окончаний. Окончания не дополняют значения основ, а лишь указывают способ их применения в каждом данном случае движения мысли. Сами по себе они собственно лишены значения, в подлинном смысле этого понятия, то есть они не указывают ни на какой мыслимый предмет действительности. Лишь в особых случаях, когда два разных окончания обладают совершенно одинаковым назначением и, следовательно, указывают на применение значения основы в одинаковом направлении, самое противопоставление этих окончаний при

одной и той же основе может приобретать способность передавать действительные значения, то есть означать нечто реально существующее в действительности. В прочих случаях роль окончаний состоит только в том, что они придают основам известные свойства, необходимые им для того, чтобы они могли функционировать применительно к данным условиям изложения, сообщения и т. д. Знак *-ы* в слове *жены* ничего не прибавляет к значению основы *жен-*, но придает ей свойства, какие ей необходимы, например, для того, чтобы можно было сказать *любовь жены*. Точно так же и знак *-у* в слове *пишу* есть необходимое свойство этого слова в сочетании *я пишу*. Нуль звука в слове *ножниц* имеет такую же функцию превращать основу в дееспособный член соединения *нет ножниц* и т. п. Но тот же нуль звука в слове *рук* в сопоставлении с окончанием *-и* в слове *руки* обладает уже не только этой функцией, но также и реальным значением множественности. Но первая его функция есть результат соотношения *рук* — нуль звука, а вторая — результат соотношения нуль звука — *и* при одинаковой основе *рук-*. В целом же окончания являются не знаками предметов мысли, а з н а к а м и з н а ч е н и й, то есть как бы знаками второй степени. Такой именно смысл принадлежит обычному, но вряд ли удачному термину «формальное значение» в применении к функциям окончаний.

Но в применении к аффиксам просто о формальных «значениях» говорить уже не приходится даже и тогда, когда имеем в виду аффиксы со значениями наиболее общего характера. Это остается справедливым, например, и по отношению к видовым аффиксам русского глагола, которые отличаются тем, что они одновременно являются знаками первой и второй степени. Так, если даже согласиться, что значение совершенного вида заключается в указании на известную границу в проявлении временного признака, то этим еще не сказано ничего о том, какая именно граница имеется в виду в каждом отдельном случае. *Запеть* есть совершенный вид к *петь* в точно таком же смысле, как *спеть*. Но в первом случае речь идет о возникновении временного признака, во втором — о его прекращении. То обстоятельство, что глаголы первого рода обычно толкуются в словарях при помощи выражений вроде «начать петь», а вторые оставляются без толкований и сопровождаются лишь указаниями типа «сов. к *петь*»,— есть явление определенной лексико-графической и грамматической традиции и не имеет никаких более веских оснований в самом существе дела. Вот эти-то элементы начала или конца, возникновения или прекращения и суть те дополнительные значения, которые вносятся в значения глагольных основ видовыми префиксами и которые в других случаях выражены чисто лексическими средствами например *брать — взять*, так что, если бы видовое значение русских глаголов всегда передавалось так, как оно передается в случаях последнего рода, то самое понятие вида было бы лишено всякого грамматического содержания.

Таким образом, восполнение основ аффиксами непременно сопровождается присоединением к потенциальным значениям основ

новых, дополнительных значений, входящих в значения целого как их части, не имеющие отдельного существования. Поэтому здесь всегда д в а значения: одно основное, но еще не раскрытое, не актуализированное, и другое — дополнительное, существующее лишь как часть и подробность целого. Значение целого здесь всегда больше, чем одно значение основы. Оно есть это значение основы плюс еще что-то. Но в случаях типа *жены*, *пишу* восполнение основы не придает ее значению никакого нового, дополнительного элемента, а только очерчивает границы и способ применения этого значения в условиях связной речи. Эта-то разница функций аффиксов и окончаний и находит свое выражение в описанном различии их устройств.

§ 8. В сравнительно немногочисленных случаях русскому языку известна своеобразная разновидность окончаний, которую можно было бы называть ч а с т и ц а м и. К ним относится, например, морфема *-ся* в глаголах вроде *купаться*, *ругаться*; морфемы *-те*, *-ка* в формах повелительного наклонения, например *подите*, *подите-ка*, *пойдемте*, *пойдемте-ка*, частицы *бы* в формах условного наклонения, частицы *то*, *ли* и др. От окончаний эти морфемы отличаются своей способностью наслаиваться одна на другую, в то время как окончание, согласно § 6, в каждом данном слове возможно только одно. От окончаний и аффиксов вместе эти морфемы отличаются тем, что, за очень редкими исключениями (например, *боюсь*), они присоединяются не к основам, а к уже законченным с л о в а м, превращая таким образом цельное само по себе слово в новое слово. В сущности и в таких случаях, как *боюсь*, основа *бою-* только случайно не есть отдельное цельное слово. Иными словами, по способу своего присоединения к другим знакам частицы составляют класс агглютинирующих морфем русского языка. По своим функциям это преимущественно знаки модальных отношений, во всяком случае— знаки, хотя и составляющие в русском языке обособленную группу, но все же близкие по природе к окончаниям как знакам второй степени.

§ 9. Что касается формативов (§ 2), то и в них можно различить две разновидности. Во-первых, они служат для соединения двух типов основ или для соединения основы и неразложимого слова внутри разложимого, например *пароход*, *полупальто*. Будем называть такие формативы с о е д и н и т е л ь н ы м и. Их очень немного, и самый распространенный из них есть так называемый соединительный гласный *о*. Во-вторых, они служат для присоединения окончаний к основам, точнее — для придания основе того вида, который нужен ей для того, чтобы к ней могло быть присоединено окончание, например *писать*, *лететь*, *пишешь*, *любишь*. Будем называть такие формативы т е м а т и ч е с к и м и, а те видоизменения основы, которые создаются присоединением тематических формативов,— т е м а м и, например *писа-*, *лете-*, *пише-*, *люби-*. Тематические формативы характерны для русского глагола, соединительные — для имени. В отличие от тем, основы, при которых есть

аффикс, в их отношении к окончанию могут быть названы производными, или вторичными, основами. Основы же без аффиксов и тематических формативов соответственно можно называть непроизводными, или первичными.

§ 10. Из предшествующего следует, что всякое разложимое слово в русском языке состоит по меньшей мере из основы и окончания. Слова, заканчивающиеся частицами, не меняют дела, так как этого рода слова являются словами и без частиц. К основе и окончанию, этим двум минимально необходимым и достаточным элементам русского разложимого слова, в его устройстве могут присоединяться также другие основы или неразложимые слова, формативы и аффиксы. На первый взгляд может показаться, что комбинации всех этих элементов внутри разложимого слова бесконечно разнообразны. Но здесь есть своя закономерность. Выяснение этой закономерности составляет основную задачу русской морфологии как науки о форме слова и его дробных составных частей в русском языке.

В соединении основ с аффиксами и окончаниями эта закономерность проявляется прежде всего в том, что одни основы предполагают аффиксы и окончания одного рода, другие — другого. В свою очередь и аффиксы предполагают тот или иной тип окончаний, с которыми они соединяются и без которых, согласно с предыдущим, они вообще не существуют. Выбор присоединяемого знака идет в направлении от основ к аффиксам и окончаниям. Основа обладает известным кругом возможных значений, при помощи аффикса и его дополнительного значения этот круг сужается до данной частной разновидности значения, которое в окончании получает наконец свою полноту актуализации и свойство, необходимое данному знаку как слову, участвующему в связной речи. Сами же по себе окончания, как наиболее бесплотная часть слова, ни в каком отношении не предуказывают того, что им предшествуют. Именно с них поэтому и должен начинаться анализ формы слова. Нужно сначала установить, какие типы окончаний существуют в русском языке, для того чтобы вслед за тем решать вопрос о том, какие основы, с аффиксами и без них, с какими типами окончаний способны соединяться.

§ 11. Все многочисленные окончания слов русского языка распределяются по трем типам комплексов, в зависимости от того, как соотнесены друг с другом окончания внутри образуемого ими замкнутого целого. Соотносительность окончаний внутри комплекса проявляется в том, каким образом окончания, входящие в данный комплекс, сменяют друг друга при одинаковых основах и какой способ «изменения» слова, как говорят в таких случаях, создается этой сменой. Надо оговориться, что отдельные слова, объединяемые в одну парадигму такой сменой окончаний и представляющиеся поэтому различным изменением одного и того же слова, отличаются одно от другого очень часто не только сменой окончаний, но также и некоторыми сопутствующими явлениями, например изменением звукового вида основы или переменой места ударения. Эти сопутствующие явления, как и материально разный состав самих окон-

чаний в пределах их различных комплексов, создают варианты и разновидности данного комплексного типа. Пока обратим внимание именно на те различия, которыми создаются сами типы комплексов и которые состоят в том, что в каждом из этих типов смена окончаний, независимо от остального, совершается по-разному. Три типа комплексов, различающиеся в данном отношении в русском языке, следующие.

Сначала различаем комплекс глагольных и комплексы именных окончаний. Существенная особенность глагольного комплекса заключается в том, что в нем объединены окончания разных типов, так что этот комплекс сам распадается на несколько комплексов меньшего объема — комплекс окончаний с временными значениями, комплекс модальных форм, образуемых частицами, комплексы форм залоговых и незалоговых и т. д. Именно эта сложность и пестрота состава данного комплекса окончаний, к которым, как указано, присоединяются, на правах членов того же комплекса, и частицы, несмотря на свою разнородность сохраняющих все же значение членов своеобразного единого целого, и служит его характеристикой. По этой своей примете данный комплекс окончаний может быть назван разнотипным.

В противовес ему, комплексы именных окончаний могут быть названы комплексами однотипными, так как в них нет характерных для глагола резких переходов от одного способа образования к другому, третьему и т. д. Здесь различия между словами, составляющими одну парадигму, создаются средствами, параллелизм и однотипность которых очевидны. Но внутри именных комплексов различаются два варианта однотипности, которые четко противопоставлены один другому и должны рассматриваться как два самостоятельных комплекса, образующих нечто единое только в противопоставлении глагольному. Самая существенная примета обоих именных комплексов та, что здесь окончания являются окончаниями падежа. Но эти окончания являются, во-первых, просто падежными, а во-вторых, падежно-родовыми, соответственно чему и различаем комплекс падежных и комплекс падежно-родовых окончаний. Форма окончаний первого из двух именных комплексов и образуемых этими окончаниями слов отличается тем, что это окончания одночленные, то есть сменяющие друг друга при восполняемой ими основе непременно поодиночке, а не парами, тройками и т. д., тогда как окончания второго из именных комплексов — это окончания трехчленные, сменяющие или по крайней мере способные сменять друг друга по три на каждой ступени изменения слова. Каждое из отдельных окончаний в пределах ряда *жена*, *жены*, *жене*, *женой* и т. д. противопоставлено каждому из остальных окончаний того же ряда порознь, так что на каждой степени изменения слова *жена* по падежам всегда наблюдаем одну форму. Думаю, что параллелизм окончаний единственного и множественного числа, имеющий черты синтаксического параллелизма, не меняет смысла этого указания на одночленный тип смены окон-

чаний в данном комплексе. Это все-таки только параллелизм, а не полное тождество. Иначе говоря, самая актуализация значения основы, в зависимости от того, осуществляется ли она только в пределах категории падежа или же также и в пределах категории числа, имеет в обоих случаях особое направление, так что в применении ко многим явлениям этого рода можно с известным правом говорить не о шести, а о двенадцати падежах русского имени. Поэтому с собственно морфологической точки зрения каждый падеж множественного числа есть как бы новый падеж в сравнении с тем же падежом единственного числа и новая ступень одночленного изменения слова. Это находит себе, между прочим, выражение в том, что есть много слов которые не изменяются по числам (*белье*, *ножницы*, *пять*), а также в разобщенности форм единственного и множественного числа в ряде других случаев (*час — часы*, *цвет — цветы*). Таким образом, к общей характеристике комплекса падежных окончаний следует добавить еще указание на то, что самое число окончаний, входящих в данный комплекс, может варьироваться между шестью и двенадцатью.

Иное дело — падежно-родовой комплекс. Здесь, в пределах каждого трехчленного ряда вроде *большой — большая — большого*, *большую — большое*, все три члена представляют уже не параллелизм, а прямое т о ж е с т в о, непосредственно данное в этом троичном виде. На фоне этой троичности совпадение звукового вида двух членов трехчленного ряда вроде *большому — большой — большому* представляется случаем омономии, а неразличение трех членов во вторых шести падежах, своеобразно сочетающееся с указанной выше автономностью этих падежей по отношению к первым шести, служит дополнительной характеристикой описываемого комплекса в целом. Таким образом, это комплекс, в котором в пределах категории единственного числа различаются по три или по два члена на каждой падежной ступени, а в пределах категории множественного числа каждая падежная ступень имеет только один общий член.

В зависимости от того, к какому типу комплексных морфем принадлежит окончание разложимого слова, различаются в русском языке разные морфологические к л а с с ы с л о в. Из предыдущего следует, что таких классов должно быть три. Это слова глагольные, падежные и падежно-родовые. Два последних вместе противопоставлены первому, как имена. Но внутри каждого из указанных трех классов есть свои подразделения и разновидности.

§ 12. Наиболее беден такими разновидностями первый из этих трех классов, состоящий из слов с глагольными окончаниями. Глаголы русского языка исключительно разнообразны по своей форме, но это разнообразие создается в них не системой окончаний, совершенно одинаковой у всех глаголов, а множественностью способов создания глагольных тем и производных основ с помощью формативов и аффиксов. Что же касается окончаний, то хотя они повторяются со всеми подробностями при каждом глаголе, самая их система,

как отмечено в § 11, очень пестра и разнотипна в своем внутреннем составе. Поэтому глагольные окончания сами по себе не создают разных классов глаголов, но внутри каждого глагола возникают зато обособленные группы форм с взаимно противопоставленными окончаниями и функциями. Эти группы форм следующие.

Во-первых, в составе глагольного комплекса выделяются формы с фиксированными, то есть неизменяющимися, и формы с изменчивыми окончаниями. Первые можно было бы назвать непарадигматическими, вторые — парадигматическими. К первым относятся инфинитив и деепричастия, ко вторым — все остальные категории русского глагола. Деепричастия представляют собой своеобразную тень парадигмы, но не более, чем тень, так как в практическом употреблении в современном русском языке чрезвычайно редко встречаются обе формы деепричастия, так называемые формы деепричастия настоящего и прошедшего времени, от одного и того же глагола. Нормальным же является соотношение типа *гуляя — погуляв*.

Во-вторых, в составе парадигматических форм глагольного комплекса, в процессе дальнейшего его расчленения выделяем группы форм залоговых и незалоговых. Залоговые формы — это причастия, в которых различаются формы действительного и страдательного залогов. Это формы падежно-родового типа (о которых см. § 14), характеризующиеся особыми аффиксами. Особая проблема русского залога, в подробное обсуждение которой здесь входить не место, заключается в том, что, наряду со страдательными причастиями, в качестве параллельных к ним форм в определенных условиях употребляются формы с частицей *-ся* (*читаемая — читающаяся*, *читаема — читается* и т. д.). Не мешает, однако, заметить, что за пределами этого соотношения глаголы на частицу *-ся*, независимо от их частных значений, вплоть до возвратного, не имеют никакого отношения к грамматической категории залога.

В-третьих, незалоговые формы расчленяются на группу форм модальных и группу форм временных. Особенность модальных форм, как уже было отмечено в § 11, состоит в том, что они образуются частицами. Сюда относится частица *бы*, создающая формы условного наклонения, и комплекс частиц нуль звука в чередовании с звуком *и*, и далее, *-те*, *-ка*, создающие путем присоединения к формам известного рода формы повелительного наклонения. Временные формы распадаются на группу форм прошедшего времени, характеризующиеся особым суффиксом с значением прошедшего времени *-л* и трехчленным родовым (но не падежным) окончанием, и группу форм с так называемыми личными окончаниями и подвижным значением времени, зависящим от видового значения глагольной основы. Замечательная черта русских глагольных форм без сомнения, есть та, что формы, взаимно противопоставленные внутри каждой из намеченных групп, противопоставлены и своими основами (*писал бы — пиши*, *писал — пишу* и т. д.). Что же касается самих основ, то в их образовании решающее значение принадлежит различным формативам, а в меньшей мере — аффиксам, исчисление и ана-

лиз которых, а соответственно и самое учение о классах русского глагола, включая учение об образовании видов, составляет уже конкретную задачу русской морфологии.

Этому членению глагольных форм, как явствует даже из сказанного, соответствует система принадлежащих им функций. Общая функция всех глагольных окончаний состоит в том, что с их помощью глагольные слова или присоединяются к именам, или присоединяют к себе имена и вследствие этой способности обозначают признак предмета, возникающий во времени. Но далее эта общая функция глагольных слов, в зависимости от намеченных выше формальных членений, через которые они проходят, получает известные модификации, смысл которых выражается в терминах вроде «инфинитив», «залог», «наклонение», «время». Так известный морфологический тип слова служит основанием его синтаксических свойств и вместе с последним — его семасиологической структуры.

§ 13. Общая функция слов с падежными окончаниями состоит в том, что эти окончания сообщают обладающим ими словам свойства, нужные им для того, чтобы к ним могли присоединиться глагольные или падежно-родовые слова, например *отец спит*, *старый отец*, или же для того, чтобы они сами могли присоединяться к другим падежным словам и глаголам, например *портрет отца*, *любить отца*. Слова, обладающие окончаниями падежного комплекса и приобретающие вследствие этого указанные свойства, независимо от значения своих основ, со стороны значения, принадлежащего им как целому, суть слова п р е д м е т н ы е в широком смысле этого термина. Иными словами, они обозначают то, что может функционировать в мысли как предмет и чему могут быть приписаны те или иные признаки. Эти синтаксические и семасиологические способности падежных слов претерпевают известные модификации вместе с модификациями самого морфологического типа, к которому они принадлежат.

Прежде всего падежные слова делятся на такие, в которых форма, создаваемая падежным окончанием, есть одновременно с этим также форма числа и рода, и на такие, в которых форма падежа не есть форма числа и рода. К первым относятся имена существительные, ко вторым — предметные местоимения и непорядковые числительные. О форме числа говорилось уже в § 11. Она создается в существительных противопоставлением окончаний синтаксически параллельных падежей, например *стола — столов*, и есть непременная принадлежность каждого существительного. Относительная автономность обоих чисел не устраняет того факта, что каждое существительное имеет ту или иную форму числа. У большинства существительных есть оба числа, у некоторых — только единственное, например *белье*, у других — только множественное, например *ножницы*. Противопоставлением вариантных окончаний одних и тех же падежей одновременно создается и форма рода, например *брата — жены* и т. д., также обязательная для каждого существительного. Разница, однако, в том, что это противопоставление почти

никогда не вносит дополнительного значения в значение основы, как это происходит при противопоставлении, создающем форму числа. За исключением крайне редких и совершенно непродуктивных параллелей вроде *супруг — супруга*, реальное значение рода в словах, обозначающих живые существа, то есть значение обладания признаками того или другого пола, принадлежит не форме падежа, а самой основе, производной или непроизводной (ср. случаи вроде *внук — внучка*, а с другой стороны — случаи вроде *слуга* и т. п.). Таким образом, различаем род, как понятие морфологическое, то есть как ту или иную группу вариантных падежных окончаний, складывающихся в парадигму и синтаксически связанных также с определенными окончаниями падежно-родовых слов, и род, как понятие семасиологическое, находящее себе выражение в определенных аффиксах или же только в синтаксических связях.

Прочие падежные слова, то есть слова, падежная форма которых не есть форма числа и рода, делятся на слова с неграмматическим значением рода и числа и слова без значения рода и числа. Первые — это личные местоимения *я*, *ты*, *мы*, *вы* и морфологически родственные им слова *себя*, *кто*, *что*, *некто* и др. Все эти местоимения удобно объединяются общим именем п р е д м е т н ы х местоимений. В них значения рода и числа принадлежат не самой по себе падежной форме, как у существительных, а самим словам, как понятию семасиологическому. Так как при этом с семасиологической точки зрения местоимения — это слова с так называемыми окказиональными значениями, то и свои значения рода и числа они заимствуют из обстановки речи (ср. *я* в устах Петра или Татьяны и т. д.). Не нужно, далее, доказывать, что *мы* не есть множественное число к *я* в том смысле, в каком мы говорим о числе существительных: *столы* — это много столов, *мы* — это никак не много *я*, потому что в каждый данный момент речи есть только один (одна, одно) *я*. Следует иметь в виду еще и ту особенность формы предметных местоимений, что их именительные падежи представляют собой неразложимые слова, то есть слова без окончаний, что связано с характерной для этих слов супплетивностью основ в их склонении. Особый случай представляет слово *он* и связанные с ним *она*, *оно*, *они*. Эти слова совершенно разобщены с предметными местоимениями в морфологическом отношении, так как относятся к классу падежно-родовых слов. Но и чисто семасиологически вряд ли можно связывать отношением полного тожества функции, с одной стороны, первые два лица, с другой — третье лицо, на что давно уже обращено внимание в лингвистике.

Остаются падежные слова без значения рода и числа, то есть непорядковые числительные. Отсутствие форм рода и числа у числительных не требует обширных пояснений. Слова *один — одна — одно — одни*, разумеется, не числительные и принадлежат к классу падежно-родовых слов, с которыми связаны и общностью функции, например *один человек сказал мне* и т. п. Тем не менее, по собственно семасиологическим основаниям, слово *один* способно функциониро-

вать в роли аналогичной роли числительных, однако без их синтаксических свойств, например *один рубль — пять рублей*. Эта способность свойственна только формам единственного числа слова *один*, а слово *один* функционирует как числительное только при существительных, не имеющих единственного числа, например *одни ножницы*. Что касается слов *два*, *оба*, то они действительно обладают формой рода, но не такой, как у существительных, и не такой как у падежно-родовых слов. От последних слова *два*, *оба* отличаются отсутствием формы среднего рода, причем в слове *два*, кроме того, наличностью форм рода только в именительном падеже, а в слове *оба* — наличностью этих форм во всех падежах (по крайней мере в книжном языке). Ни тот, ни другой случай невозможен ни в единственном, ни во множественном числе падежно-родовых слов. От существительных же слова *два*, *оба* отличаются тем, что их родовые различия принадлежат к одной и той же парадигме.

§ 14. Перехожу к словам с падежно-родовыми окончаниями. Общая функция этих окончаний состоит в том, что они сообщают слову свойство, нужное ему для присоединения к падежному слову. С семасиологической же стороны слова, обладающие падежно-родовыми окончаниями и обязанные этим указанной синтаксической способности, это слова, обозначающие признак предмета, не связанный с понятием времени, то есть признак, присущий или данный предмету. Также и эти общие свойства падежно-родовых слов испытывают известные модификации сообразно с наблюдаемыми внутри этого класса слов модификациями формы слова. Таких модификаций можно найти снова три.

К первой относятся падежно-родовые слова, обладающие трехчленным окончанием *-ой*, *— -ая — -ое* с его фонетическими вариантами. Это — непритяжательные прилагательные, которые сами распадаются на так называемые относительные и так называемые качественные, прежде всего в зависимости от того, обладают ли они так называемыми краткими формами или нет. Давно признано, что известной потенцией качественности, то есть способностью иметь при себе краткие формы, обладает в принципе почти всякое относительное прилагательное. Это тем более важно, что краткие формы, как известно, нередко стремятся к обособлению от соответствующих полных в качестве самостоятельных словарных единиц русской речи (*должен* при *должный*, *согласен* при *согласный* и т.п.). Степень этого обособления бывает разная, и в пределе становится абсолютной, например *рад*. По отношению к таким случаям можно говорить об изолированном предикативном употреблении падежно-родовой формы, сохраняющей, однако, свой основной морфологический признак принадлежности к данному классу слов — трехчленный падеж (хотя бы и единственный) и продолжающей обозначать признак, не связанный сам по себе с понятием времени. Что касается сравнительной степени, то это одна из форм, входящая в комплекс форм известного разряда непритяжательных прилагательных, создаваемая окончаниями *-е*, *-ее* и т. д. при соответствую-

щих явлениях чередования звукового вида основы. Значение этих форм, на мой взгляд, нельзя ставить в один ряд, как это часто делается, с значениями аффиксов, и окончания сравнительной степени — это такие же знаки второй степени, как и прочие окончания слов русского языка.

Непритяжательным прилагательным противопоставлены прилагательные притяжательные, то есть прилагательные, не имеющие окончания *-ой — -ая — -ое*. Притяжательные прилагательные делятся в свою очередь на два разряда, но все они, в их противопоставлении непритяжательным, характеризуются следующими общими чертами: во-первых, обязательностью специального суффикса с притяжательным значением; во-вторых, окончаниями именного типа, то есть нуль звука — *-а* — *-о*, в именительном падеже единственного числа и соответствующими окончаниями по крайней мере в некоторых других падежах. Первый класс притяжательных прилагательных обладает суффиксом -ij (орфографическое *-ий*) с беглым гласным *и*, отсутствие которого в прочих формах оставляет суффиксу только один звук -j, например: *козий, козья, козье*. Эти притяжательные прилагательные отличаются от прочих тем, что они обладают именными окончаниями только в именительном-винительном падеже всех родов и чисел и обозначают не индивидуальную, а родовую принадлежность. Притяжательные прилагательные с значением индивидуальной принадлежности обладают суффиксами *-ов, -ин* и именными окончаниями не только в именительном-винительном падеже всех родов и чисел, но также в родительном и дательном ед. числа мужского рода.

Всем прилагательным, вместе взятым, противостоят в классе падежно-родовых слов непредметные местоимения. Они характеризуются окончаниями именного типа в именительном-винительном падеже всех родов и чисел, однако с возможностью в именительном падеже ед. числа мужского рода окончания *-от* вместо обычного в таких случаях нуля звука (*тот, этот*) и, в отличие от прилагательных, звуком *е*, а не *и* в окончаниях твор. падежа ед. числа и косвенных падежей мн. числа (*тем, тех, теми*). Последнее, впрочем, не обязательно, например *самих, одних*, — так же, как *их*.

§ 15. Внутри каждого из рассмотренных трех классов слов и их подразделений существуют свои разновидности форм, выделяющиеся в разных случаях по разным основаниям. В именах существительных эти подразделения создаются материально разным составом падежных окончаний (типы склонений) и прикрепленным к каждому из таких составов ассортиментом аффиксов. Непритяжательные прилагательные, не различающиеся окончаниями, распадаются на отдельные разновидности в зависимости от того, производная у них основа или нет, а в первом случае — в зависимости от того, какими аффиксами восполнена их основа. Разновидности глаголов, как уже говорилось, также создаются не окончаниями, если только не считать случаев отсутствия известных групп окончаний, например залоговых, у известных глаголов, а

типами основ, в форме которых совершенно своеобразная роль принадлежит формативам различного рода, создающим глагольные темы разного состава. Известна также исключительная роль префиксов в словопроизводстве русского глагола и создании форм с видовыми значениями. Подробное описание всех этих разновидностей внутри отдельных классов слов с их функциональными характеристиками составляет конкретную задачу русской морфологии и к предмету настоящего рассуждения не относится.

§ 16. За пределами описанных трех классов разложимых слов остаются еще наречия. Здесь имеются в виду только те наречия, которые представляют собой разложимое слово. Этого рода наречия выделяются в особый, четвертый класс слов не своими окончаниями, а только потому, что их окончания как бы вынуты из тех комплексов, к которым они принадлежат, и потому создают слова с изолированной комплексной формой. Окончания наречий — это все-таки окончания, а не аффиксы. В словах вроде *зимой*, *хорошо*, *шутя* это очевидно уже по одному тому, что это, собственно, слова не какого-нибудь особого класса, а слова, принадлежащие каждое к одному из трех основных классов слов русского языка, но только поставленные в особые синтаксические условия, например: *приехал зимой* и *приехал поздней зимой*; *сочинение хорошо*, *мне хорошо* и *одет хорошо*; *шутя над товарищем* и *учится шутя* и т. д. Строго морфологически, то есть как известного рода ф о р м ы, слова *зимой*, *хорошо*, *шутя* составляют во всех таких контекстах одно и то же, и если бы все дело сводилось к разной синтаксической роли этих слов в разных случаях, то не было бы никаких оснований говорить вообще о наречиях как о каком-то особом разряде слов русского языка. Слово *учитель* может функционировать как подлежащее и как сказуемое, например: *учитель учит* и *он учитель* Но это обстоятельство никому не дает оснований видеть в обоих этих случаях разные «части речи» в слове *учитель*. Однако специфической способностью так называемого примыкания к прилагательным и глаголам и вследствие этого способностью обозначать признак признака в русском языке обладают не только такие слова, как *зимой*, *хорошо*, *шутя*, но также (оставляя пока в стороне слова неразложимые) многие слова, с гораздо меньшей легкостью вдвигаемые в ряд слов с тем или иным комплексным типом окончаний. В этом именно и заключается морфологическая проблема русского наречия.

Существо вопроса сводится к тому, что изоляция отдельной формы и разобщение ее с прочими формами того же комплексного ряда имеет разные степени. В простейшем случае такая изоляция не выходит за границы того, что может быть названо частным видом у п о т р е б л е н и я данной формы, нимало не изменяющим форму самоё по себе. Трудно понять, почему, например, слово *зимой* в сочетании *приехал зимой* есть наречие, а слово *зиму* в сочетании *зиму работал* мы продолжаем считать винительным падежом ед. числа от слова *зима*. Слабое оправдание этой интерпретации

можно было бы видеть в том, что винительные падежи вроде *зиму работал, ночь не спал* в современном русском литературном языке обычно не употребляются без определений *целую, всю, прошлую* и т. п. Но это соображение лишено всякой теоретической принципиальности. Не подлежит никакому сомнению, что пары *зимой — зиму, прошлой зимой — прошлую зиму* по внутренним отношениям между составляющими их выражениями представляют собой полные тожества. Итак, признаем в подобных случаях наречия *зимой, зиму*, соответственно и *хорошо, шутя* и т. п., разложимыми словами с окончаниями одного из трех комплексных типов, но словами синтаксически (а в ряде случаев и семасиологически) разобщенными с комплексом, к которому они принадлежат своей формой.

Следующую ступень изоляции находим в случаях, когда она сопровождается тем или иным видом фонетической деформации изолированной формы. Сюда относятся различные случаи дифференциации звукового состава или по ударению данной формы внутри и вне комплекса например: *кругóм — крýгом, здóрово — здорóво, спустив — спустя* и т. д. Еще более глубокой становится изоляция в тех частых случаях, когда прочие слова того же комплекса не употребляются в современном языке и намек на их возможность сохранился только в остающейся в употреблении, на правах наречия, изолированной комплексной форме, например: *пешком, исподтишка, спросонок, всмятку, настороже* и т. д. Все разнообразные явления этого рода, независимо от разной степени лексикализации каждого из них, представляют по своим окончаниям нормальные формы одного из трех комплексных типов при своего рода нулевом комплексе. Так например, отсутствие в употреблении комплекса слов, к которому можно было бы отнести слово *пешком*, не устраняет того очевидного факта, что в этом слове есть такое же окончание *-ом*, как в словах *столом, пером*, с которыми *пешком* связывается морфологически через ряд посредствующих явлений с меньшей степенью изолированности комплексной формы, как *крýгом* (при *кругом*), *градом посыпалось* (при *градом убило*) и т. д. Наконец, крайние степени изоляции находим в тех случаях, когда изолированная форма обладает неупотребительным вне наречной функции окончанием, как например в словах *мастерски, по-волчьи*. В подобных случаях слово оказывается лишенным своего комплекса уже не по своей основе, а по окончанию. И тем не менее это все-таки окончание, присоединяющееся на особых правах к обычному замкнутому комплексу падежно-родовых слов. Разумеется, намеченные здесь типичные случаи морфологии русского наречия далеко не исчерпывают всего, что можно было бы сказать по данному поводу при других условиях изложения. Но их достаточно для того, чтобы понять сущность разложимых наречий как особого класса слов современного русского языка.

В итоге, следовательно, различаем в современном русском языке четыре следующих класса разложимых слов: слова г л а г о л ь н ы е, слова п а д е ж н ы е, слова п а д е ж н о - р о д о-

вые и слова с изолированным окончанием одного из трех первых классов.

§ 17. Сверх этих четырех классов слов остаются слова неразложимые (§ 3) Все они вместе. независимо от принадлежащих им в речи функций, в известном отношении противостоят описанным четырем классам разложимых слов по характеру своего устройства. Тем не менее даже и чисто морфологический анализ не может не считаться с тем, что в числе неразложимых слов есть известное число таких, функции которых делают их соотносительными со словами разложимыми. В соответствии с этим неразложимые слова русского языка делятся на соотносительные и несоотносительные с разложимыми словами первых четырех классов. Примером неразложимых слов, соотносительных по функции с разложимыми глагольными словами могут служить слова вроде *бах*, *бух*, *хвать*, *шасть*. Примером неразложимых слов с функциями падежных слов служат слова вроде *пальто*, *кенгуру*, *боа*. Со словами падежно-родовыми соотносительны слова вроде *беж*, *аплике*. Неразложимые слова с наречными функциями многочисленны. например: *завтра уже*, *везде*, *когда*. Если не считать таких наречий обладающих преимущественно местоименными значениями, то общее число неразложимых слов функционально соотносительных с разложимыми в русском языке совершенно ничтожно. Нельзя не считаться и с тем, что подобные слова с именными функциями сплошь представляют собой относительно недавние иноязычные заимствования, не оказавшие почти никакого влияния на структуру русского слова и не создавшие в русской морфологии ни одного нового сколько-нибудь продуктивного типа.

Что же касается таких неразложимых слов русского языка, которые функционально не соотносительны со словами четырех классов разложимых слов то на них морфологический анализ прекращается вообще. Очевидно, что возможные различения в их составе должны уже зависеть исключительно от анализа синтаксического и семасиологического, который различает в них предлоги, союзы, междометия и пр по основаниям рассмотрение которых не составляет предмета настоящего рассуждения

§ 18. Все различения описанные до сих пор, могут быть сведены в следующей таблице:

А. Слова разложимые

1. Глаголы.
2. Имена
   1) Слова падежные: а) с формой рода и числа существительные;
      б) без формы рода и числа — предметные местоимения непорядковые числительные.
   2) Слова падежно-родовые: а) прилагательные непритяжательные качественные относительные;

притяжательные с родовой притяжательностью
с индивидуальной притяжательностью.
б) непредметные местоимения.

3. Наречия.

Б. Слова неразложимые

1. Функционально соотносительные с разложимыми:
   1) с глагольными функциями
   2) с именными функциями: а) с функциями существительных;
      б) с функциями прилагательных;
   3) с функциями наречий.
2. Функционально несоотносительные с разложимыми.

§ 19. Возникает вопрос об отношении предложенной схемы к делению слов русского языка на части речи. Вопрос этот очень сильно запутан в научной литературе, но все же, как мне кажется, не безнадежно. Нужно лишь согласиться с тем очевидным фактом, что классификация слов по их форме и та классификация, которая традиционно именуется «частями речи», разноприродны и составляют содержание различных научных проблем, причем вторая из этих проблем, именно проблема частей речи, предполагает первую, а не наоборот. Нет никакой надобности отрицать реальность так называемых частей речи, как живой и объективной данности языка, для того, чтобы считать себя вправе заниматься классификацией слов по основаниям, извлекаемым из анализа их формы. Но еще меньше оснований отрицать соответствие подобной классификации тому, что объективно дано в языке, из желания доказать реальность частей речи и необходимость их исследования,— меньше потому, что проблема частей речи явным образом не может быть решена, по крайней мере в применении к русскому языку, без предварительного анализа формы русского слова. Все дело заключается именно в том, что обе эти проблемы — разных планов. Установление морфологических классов слов — это только известная ступень в исследовании структуры языка, на которой необходимо прочно утвердиться для того, чтобы получить возможность различать синтаксические и семасиологические функции языкового знака. Что же касается проблемы частей речи, то она уже и в своем внутреннем содержании не есть проблема единого плана, так как решается посредством комбинации данных, доставляемых и морфологией, и синтаксисом, и семасиологией, но не в беспорядочном их смешении и скрещении, а в той строгой, иерархической их соподчиненности, которая объективно дана в языковой реальности, как диалектически расчлененном целом. Это целое представляет собой с т р у к т у р у, то есть такое соотношение форм, в котором мы проникаем через внешнее

во внутреннее. Исследуя, например, звуки русской речи, мы устанавливаем известное различие между гласным звуком, звучащим в конечном слоге слова *столом* и гласным звуком, звучащим в конечном слоге слова *паром*. Но исследование этих звуков нельзя считать законченным до тех пор, пока не будет сказано, что оба установленные звука несут на себе совершенно тожественную морфологическую функцию, то есть представляют собой функциональное тожество, ф о н е м у. При дальнейшем, собственно морфологическом анализе разность обоих звуков уже теряет всякую реальность, так как именно их тожество и составляет реальную плоть того, что изучается. Однако для того чтобы морфема *-ом* в словах *столом*, *паром* и, например, морфема *-ью* в словах *костью*, *степью* могли считаться исследованными до конца, необходимо предварительно установить синтаксическое тожество обеих морфем, которое и становится подлинным предметом исследования в синтаксисе, хотя бы для морфологии это были морфемы разные, объединяемые лишь функционально (не знаю, есть ли необходимость изобретать какой-нибудь особый термин для обозначения такого синтаксического тожества, состоящего из разных морфем, подобно тому как морфологическое тожество, состоящее из разных звуков, в так называемой фонологии именуется прививщимся термином «фонема»). Совершая подобное восхождение к ядру структуры языкового знака и снимая последнюю оболочку с того, что стоит за знаком, мы тем самым становимся обладателями целого, в котором все предварительные ступени содержатся как диалектически снятые моменты. Вопрос об этом целом и есть вопрос «частей речи».

Таким образом, признание тожественности функционирования слов *село* и *кенгуру*, признание, которое позволяет сказать, что и слово *кенгуру* «склоняется», но только так, что все его «падежи» звучат одинаково, не только не мешает признавать в этих двух словах морфологически разные классы слов, но и более того — приобретает свое действительное значение только после указания на то, что это синтаксическое тожество в данном случае имеет под собой морфологически дифференцированную почву. Точно так же и распределение слов русского языка по разным морфологическим классам вовсе не имеет, например, своим выводом, будто никаких предлогов или союзов в русском языке нет. Но оно полезно по крайней мере уже одним тем, что свидетельствует о разноприродности оснований, по которым мы отличаем, с одной стороны, глаголы от имен, с другой — предлоги от союзов.

§ 20. Великая распря, которая разметала русских лингвистов по разные стороны баррикады, состоящей из проблемы классов слов и проблемы частей речи, несомненно, имеет свои корни в разности научного мировоззрения. Но самый ход полемики по этим вопросам связан с целой цепью недоразумений, истинная сущность которых, к сожалению, все более плотно окутывается очень далекими от объективности исследованиями последнего времени, под флагом борьбы с так называемым формализмом, попу-

ляризирующими полное смешение основных понятий языкознания. Из двух основных направлений в разработке русской грамматики, к которым так или иначе могут быть возведены все многочисленные теории частей речи новейшей эпохи, именно — направления, созданного школой Фортунатова, и направления, выросшего в рядах последователей Потебни, первое имеет уже то неоспоримое преимущество, что дает возможность трактовать морфологию как лингвистическую проблему, не только подготовляющую материал для синтаксиса, но обладающую, независимо от этого, своим собственным автономным содержанием. Разумеется, что это вовсе не должно влечь за собой пренебрежение синтаксической проблемой, когда наступает ее очередь. Но тем не менее самая потребность эмансипировать морфологию от синтаксиса, с такой настойчивостью заявляемая и в новейшей западноевропейской грамматической литературе, остается нашей очередной задачей. Учение Фортунатова о форме слова и классах слов при всех недостатках, которые могут быть в нем вскрыты современной лингвистической мыслью, дает все же твердую отправную точку для решения этой задачи.

Укажу здесь на три пункта учения Фортунатова, которые в особенности нуждаются в уточнениях и переосмыслении. Во-первых, нельзя в этом учении признать правильным основной классификационный прием, согласно которому слова классифицируются отдельно «по форме» и отдельно «по значению». В действительности различия в значении опираются на различия в форме, и оба ряда различий нельзя считать взаимно несвязанными. Тем не менее драгоценным является самый принцип *независимой* морфологической классификации, наглядно демонстрирующий беспочвенность обычного смешения в одну сплошную массу различий того и другого рода. Во-вторых, при всей высокой содержательности того, что писал Фортунатов по поводу понятия формы слова, логически невыдержанным и противоречащим его же исходной точке зрения представляется разграничение между «формами словоизменения» и «формами словообразования». В том виде, как оно дано Фортунатовым, это разграничение основано на смешении морфологических и семасиологических оснований. Формы того и другого рода должны различаться прежде всего особенностями именно *формы* для того, чтобы уже *потом* можно было разглядеть различие их функций. Подобная попытка, в виде анализа форм комплексных и одиночных, содержится выше, в § 5. В-третьих, что имеет уже больше терминологическое значение, противопоставление слов «с формами» словам «бесформенным», само по себе безупречное, давало бы гораздо меньше поводов для недоразумений и бесплодной полемики, если бы бесформенность толковалась как известная разновидность формы, как это и есть в действительности. Оставляя в стороне менее существенную деталь, касающуюся возможности говорить о форме слова как об известной его «способности», известное определение формы слова

у Фортунатова, мне кажется, надо было бы исправить так, чтобы под формой слова понималась способность или неспособность слова выделять в своем составе морфемы определенного рода. Тогда разложимые слова были бы примером форм одного типа, неразложимые — примером форм другого типа и самый спор по данному вопросу стал бы значительно легче.

Эти беглые замечания следовало бы развить и обосновать гораздо более подробно. Но здесь я принужден от этого воздержаться, так же как принужден пока воздержаться и от критики ряда ходячих положений потебнианства, за которые, как я убежден, вовсе не всегда несет ответственность сам Потебня. Скажу только в заключение, что тот, кто взошел на первый этаж здания, но в силу каких бы то ни было причин не разглядел правильного хода из первого этажа во второй, все же гораздо ближе к истинной цели науки, чем тот, кто не умеет найти и самого входа в здание, но сразу зато мечтает проникнуть в верхний этаж прямо с мостовой или через крышу, чтобы оттуда блаженно созерцать лежащие внизу сплетения и скрещения переходов в их, хотя и заманчивой, но полной неразличимости.

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОМУ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ*

Предлагаемые заметки имеют целью поставить вопрос о том, каким образом в современном русском языке выражается членимость производных основ на выделяющиеся в них морфемы. Под морфемой при этом здесь понимается звуковое единство (то есть звук или сочетание звуков), наделенное той или иной функцией, притом единство дробного характера, то есть такое, какое не способно существовать независимо и всегда функционирует только как часть единства более сложного слова. Поскольку речь идет об основах производных, здесь имеются, следовательно, в виду морфемы двух типов: 1) основы непроизводные, первичные и 2) аффиксы, присоединение которых к первичным основам превращает их в основы производные. Вопрос заключается в том, как мы различаем самую производность основ этого рода, то есть тот факт, что данная основа представляет собой не одну, а две или несколько определенным образом сочлененных морфем того или иного рода.

Неискушенному взору умение расчленить данную производную основу на выделяющиеся в ней морфемы может казаться очень легким. Такому пониманию, между прочим, способен содействовать тот факт, что в сочинениях, исследующих материал словообразования, обычно отсутствует общая постановка вопроса о принципах, какими следовало бы руководиться при желании узнать состав морфем данной основы, как будто бы эти принципы представляли собой нечто само собой разумеющееся. Выделяемые морфемы преподносятся чаще всего в аподиктической форме, как если бы то или иное членение основы на морфемы было чем-то очевидным и не нуждалось ни в каких обоснованиях. Между тем это вовсе не так. При сколько-нибудь внимательном отношении к делу у читателя соответствующей литературы не может не возникать множества вопросов вроде, например, вопроса о том, действительно ли в глаголах *забываю, добываю* есть приставка и при том та же основа, что в глаголе *побываю* (Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, 185). Или, например, какие основания по-

* [«Известия АН СССР», Отделение литературы и языка, т. V, вып. 4, 1946.

нуждают нас констатировать словообразовательную форму *складывание* [1], а не *складыва-ние*, *пис-ание*, а не *писа-ние*, *младен-чик*, а не *младенч-ик*, *лук-авость*, а не *лукав-ость*, *пт-ичка*, а не *птич-ка*, *прост-ынка*, а не *простын-ка* и т. п. (Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 211—214). Или, например, действительно ли в словах *браковщик*, *сортировщик*, *весовщик* один и тот же суффикс *-овщик*, в словах *узорчатый* и *решетчатый* один и тот же суффикс *-чат*, а в словах *лежалый*, *устарелый* не один и тот же суффикс *-лый*, а разные: *-алый*, *-елый* (Виноградов, Современный русский язык, II, 78, 196, 201). То же или не то же самое суффикс *-ец* в словах вроде *голландец* и *немец* (там же, 53). Действительно ли есть суффикс *-ив* в слове *актив*, суффикс *-тет* в слове *факультет*, суффикс *-ерея* в слове *лотерея*, суффикс *-ист* в слове *артист*, суффикс *-ент* в слове *студент*, суффикс *-ат* в слове *акробат* и т. д.? (там же, 60, 61, 79, 57). Требование различать морфологию и этимологию, то есть анализировать строение слова с точки зрения тех соотношений, которые раскрываются между морфемами в пределах данной языковой системы, независимо от генезиса отдельных звуков и их сочетаний, составляющих слово как звуковую форму, уже давно стало общим местом лингвистической литературы. Это требование, сводящееся к указанию на необходимость различать разные эпохи в жизни языка и не совмещать как равнозначные разновременные языковые факты, не смешивать мертвые соотношения с живыми, не раз отчетливо формулировалось уже младограмматиками у нас в России — Фортунатовым, Бодуэном де Куртене, Крушевским и др. Однако, признавая силу этого требования в теории, ученые до сих пор плохо считаются с ним в практической работе. И это находит свое выражение уже в том факте, что исследователи обычно не считают своим долгом указывать на те основания, в силу которых, по их мнению, данная основа выделяет в своем составе именно такие, а не иные морфемы.

Это состояние вопроса заставляет ждать специальной работы, которая внесла бы ясность и отчетливость в самую методику нахождения истинной словообразовательной формы слова применительно к определенным языкам в определенную пору их истории. Скромную цель подсказать некоторые соображения и кое-какой подготовительный материал из области русского языка для такой специальной работы я ставлю себе в нижеследующем.

* *
*

Производная основа отличается от непроизводной иным отношением к предмету действительности, ею обозначаемому. Вообще отношение между словом, как «обозначающим», и самым «обозначаемым» (signifiant и signifié де Соссюра) может быть двояким: слово

[1] Там, где это не мешает делу, не отделяю суффиксов от окончаний.

может обозначать известный предмет действительности или непосредственно, или через установление той или иной связи между данным предметом действительности и другими. В первом случае слово служит таким обозначением соответствующей идеи, в структуре которого остается ничем не выраженной самая сущность этой идеи, как она обнаруживается в ее реальных связях. *Стол*, *коса*, *алый*, *нести* обозначают нечто, независимо от того, какие отношения существуют у каждого такого нечто с другими явлениями действительности. Все это нерасчлененные названия соответствующих предметов мысли, и вопрос о том, почему данные предметы мысли названы именно так, а не как-нибудь иначе, постоянно возникающий у всякого, кто размышляет над своим языком, будь то историк языка или просто любознательный человек, ни в малой степени не определяет функционирования языка как наличного орудия общения. И что бы ни думали специалисты по этимологии относительно корня слова *рыба*, понимание этого слова в живом акте речи совершенно не зависит от возможных по этому поводу догадок.

В отличие от этого, отношения между словом и обозначаемым им предметом мысли, в случаях вроде *настольный*, *косить*, *алеть*, *поднести*, обнаруживают такое обозначение идеи, в котором данная идея раскрывается в известной хотя бы части своих связей, формирующих ее в живой действительности. *Настольный* — значит «находящийся на *столе*, предназначенный для этого», *косить* — «работать *косой*», *алеть* — «быть или становиться *алым*», *поднести* — «совершить действие, обозначаемое словом *нести* в направлении полного приближения к чему-нибудь», и т. д. Иными словами, в этих случаях известная сторона отношений, существующих у данного предмета мысли, находит себе выражение в тех отношениях, которые существуют внутри самого слова.

Таким образом, есть слова, по структуре своей составляющие вполне условные обозначения соответствующих предметов действительности, и слова, составляющие в известном смысле не вполне условные, м о т и в и р о в а н н ы е обозначения предметов действительности, причем мотивированность этого рода обозначений выражается в отношениях между значащими звуковыми комплексами, обнаруживающимися в самой структуре этого рода слов. Эти слова и суть слова с производными основами. Вот почему значение слов с производной основой всегда определимо посредством ссылки на значение соответствующей первичной основы, причем именно такое разъяснение значения производных основ, а не прямое описание соответствующего предмета действительности, и составляет собственно лингвистическую задачу в изучении значений слов (ср., например, обычные приемы толковых словарей).

Практический вывод из сказанного состоит в том, что если по выделении из состава какой-нибудь основы известного звукового комплекса в остатке получится звуковой комплекс, не обладающий каким-нибудь значением, представляющий собой пустое звукосочетание, то выделение произведено неправильно, то есть не от-

разило реального факта языка. В известном смысле может показаться «естественным» в словах вроде *малина*, *смородина* выделить звукосочетание *ин* и приписать ему функцию обозначения ягоды. Но так как остающиеся после такого выделения звукосочетания *мал*, *смород* сами по себе лишены функции, ссылкой на которую можно было бы объяснить разницу между ягодами малиной и смородиной, то суффикса *-ин* в данных словах не существует. Ясно, что разница между названными ягодами, как известными предметами действительности, передана в языке разницей цельных слов *малина*, *смородина*, а не разницей комплексов *мал*, *смород*, которые сами по себе ничего не значат. На тех же основаниях отрицаем наличие суффикса *-ик* в словах вроде *брусника*, *клубника*, *гвоздика* (В и н о г р а д о в, 83), потому что *брусника* не есть ягода, характеризующаяся отношением к чему-либо, что можно было бы обозначить звуковым комплексом *брусн*, как *гвоздика* не есть цветок, имеющий отношение к гвоздю. Разумеется, вовсе не всегда подобные вопросы решаются с полной легкостью. Производная или непроизводная основа в слове *земляника*? Это зависит от того, входит ли в самое значение слова *земляника* отношение к земле. Узнать это, очевидно, можно только путем соответствующего ознакомления с опытом тех, кто данным словом пользуется. С этой точки зрения показательно, что в словарях современного русского языка (Ушакова, Стояна; в других толкование значения заменено ботаническим обозначением) значение слова *земляника* определено без упоминания слова *земля*, тогда как в толковании значения слова *черника* содержится упоминание черного цвета ягоды. (Разная степень авторитетности обоих словарей, и вообще их научное достоинство, в данном случае не имеет никакого значения, потому что здесь речь идет не о результате какого-либо научного лингвистического анализа, а просто о содержании сознания любого носителя русского языка.)

В слове *буженина* нет суффикса *-ин*, обозначающего мясо, потому что понятие мяса здесь обозначено словом *буженина* как целым. Между тем в словах *конина*, *свинина*, *осетрина*, *лососина* и других соответственных комплекс *-ин* означает не просто мясо, а непременно мясо того животного, которое названо в первичной основе. Такую функцию нельзя приписать комплексу *-ин* в слове *буженина* по той простой причине, что нет никакого животного, которое обозначалось бы в русском языке комплексом *бужен*. В таких словах, как *библиотека*, *фототека*, *фонотека*, *картотека* и пр., самой структурой слова показано, что речь идет о собрании, складе известных предметов, имеющих свои обозначения в языке, ср. *библиоман*, *библиология*, *фотография*, новейшее *фото*, и т. д. Но хотя слово *аптека* также обозначает известного рода склад, в этом слове нет отдельных значащих единств, самое отношение между которыми показывало бы, о складе чего именно идет в данном случае речь. Точно так же при глаголах *заныть*, *поныть*, представляющих собой по своему значению известную мо-

дификацию глагола *ныть*, встречаем непроизводную основу *унывать*, непроизводную потому, что значение ее неопределимо через значение глагола *ныть*. При глаголах *встать*, *отстать*, *пристать*, находящихся по своему значению в известном отношении к глаголу *стать*, этого отношения не находим в глаголе *перестать*. Таких глаголов с бывшими приставками, неотделимых уже от основы в объективной структуре современного русского языка, хотя и легко выделяющих эти бывшие приставки для этимологической рефлексии, очень много, например: *затеять*, *завещать*, *забавлять*, *обязать*, *ударить*, *настоять* (на своем решении), *восхитить* и т. д. (ср. Виноградов, 401). Тем не менее эти глаголы в современном языке в точном смысле слова непрефиксальные, и отсюда должны быть сделаны все нужные выводы.

То, что этимологическая рефлексия на слово есть нечто вполне реальное, отрицать нет никакого смысла. Однако это вовсе не основание для того, чтобы считать критерием для выделения или невыделения тех или иных морфем в основах сознаваемость или несознаваемость этих морфем в психологии говорящих. Указание на то, что известный комплекс звуков сознается или не сознается, «чувствуется» или «уже не чувствуется» как морфема, есть, собственно, не объяснение, а нечто, само по себе требующее объяснения: если уже «не чувствуется», то почему? Более того, можно согласиться, что в словах вроде *смородина* или *буженина* и в самом деле может «чувствоваться» суффикс *-ин*: ведь если бы не чувствовался, то, вероятно, никогда никем бы и не выделялся. С другой стороны, вполне может быть, что в словах *разуть* и *обуть* основа *-у-* говорящими по-русски не чувствуется, причем даже можно было бы объяснить, почему именно не чувствуется. Но тем не менее, как я постараюсь показать ниже, это основа вполне реальная, действительно существующая в современном русском языке. Вопрос о том, есть в данном слове то отношение, которое характеризует производную основу в отличие от непроизводной, и, следовательно, выделяются в этой основе какие-нибудь аффиксы или нет, должен и может решаться исключительно установлением отношений между значениями слов в наличной языковой традиции, и только в этом смысле может идти речь о лингвистическом сознании данной среды.

Неправильно поэтому было бы думать, будто морфологический анализ основ есть дело механическое, основанное исключительно на дроблении звуковой формы слова согласно звуковым тождествам, отыскиваемым для каждого соответствующего обрубка: *рамка* членится на *рам-ка* не просто потому, что для первой части находим звуковое тожество в словах *рама*, *подрамник*, *обрамление* и т. д., а для второй — в словах *ручка*, *ножка*, *шейка* и т. д., а потому, что *рам* в слове *рамка* значит то же самое, что *рам* в прочих словах этого ряда, и что слово *рамка* представляет собой известную модификацию значения, каким обладает слово *рама*. При этом это точно такая же модификация, которую находим в словах *ручка*,

ножка, шейка в их отношении к словам *рука, нога, шея*. В словах *барин, барыня, барич, барышня, барский, барство* и т. д. выделяется общая основа *бар-* и соответствующая цепь аффиксов. Но в слове *барышня* эта основа выделяется только до тех пор, пока это слово действительно обозначает дочь барина. Этого значения, очевидно, нет в выражении *телефонная барышня*, как обозначалась в дореволюционном русском разговорном языке телефонистка, а потому в таком употреблении самое слово *барышня* заключало в себе основу непроизводную. Да и сейчас еще в разговорном языке слово *барышня* иногда употребляется, но если и употребляется, то только в значении «девушка», то есть без всякого отношения к барину, а потому как слово, обладающее непроизводной основой.

Тот же принцип решает и вопрос о том, где именно лежит граница между первичной основой и аффиксом в основах, производный характер которых ясен сразу, но в которых неясной может быть самая эта граница. В словах вроде *разбойничать, развратничать, проказничать, халтурничать* правильно, на мой взгляд, обычно выделяют суффикс *-нича*, как средство производства отыменных глаголов. В таком случае самое значение глагола *разбойничать* толкуется как «заниматься разбоем», *развратничать* — «заниматься развратом» и т. д. Косвенным доказательством правильности такого членения служат образования вроде *лентяйничать, паясничать, либеральничать, повесничать*, не имеющие при себе и вовсе существительных на *-ник*, которые могли бы толкать мысль в сторону членений вроде *лентяйнич-ать, паяснич-ать* (ср. *разбойник* при *разбойничать* и т. п.). Ясно, что *лентяйничать* может означать только «вести себя лентяем», а потому бесспорно членится так: *лентяй-ничать*. Но это не значит, что всякий глагол, содержащий в конце звуковой комплекс *-ничать*, имеет именно этот суффикс. Так, нельзя видеть этот суффикс в словах *плотничать, греховодничать*, потому что в соотношении с этими глаголами являются лишь слова *плотник, греховодник*, а не *плот* или несуществующее *греховод*. Таким образом в двух последних глаголах формирующий их суффикс уже не *-нича-*, а *-а-*. Подобно этому выделение суффикса *-ствова-* в глаголах вроде *умствовать, заимствовать, ответствовать*, относящихся к существительным *ум, заем, ответ*, а не *умство* и т. п., не должно мешать нам видеть, что в глаголах *пиршествовать, чувствовать*, относящихся к *пиршество, чувство*, выделяется как глагольный суффикс только *-ова-*, а не *-ствова-* (ср. П а в с к и й. Филологические наблюдения, III, 44, 65).

Таким образом, может отсутствовать теоретически мыслимое или воображаемое посредствующее звено словопроизводственного процесса, но его первая ступень, его исходный пункт нельзя представить себе отсутствующим. Если такой исходный пункт и выпадает почему-либо из языковой системы, то на его место сейчас же становится ближайшее к нему образование, приобретающее функцию первичной основы. Поэтому каждый конкретный случай

подлежит индивидуальному истолкованию. Например, в слове *косточка* выделяется, по соотношению с *кость*, суффикс *-очк*. Но в слове *ниточка*, соотнесенным с *нитка*, а не с *нить*, выделяется суффикс *-к-*. Что же до соотношения *нитка* и *нить*, то первое из этих слов перестало уже, в сущности, быть уменьшительным ко второму, так как второе стало всего лишь фразеологическим заместителем первого в выражениях вроде *ариаднина нить*, *красной нитью* и т. п. Так *нитка* становится вместо *нить* исходным пунктом словообразовательного процесса и приобретает роль основы непроизводной. Возможно, что сходный с этим процесс, в первоначальной стадии его развития, переживает соотношение слов *село* и *сельский*. Связь этих слов со словами *селить*, *поселение* и пр. уже давно утрачена. Но в послереволюционный период, в результате изменений в административной терминологии, все более редким становится употребление слова *село*. Его преимущественно мы сейчас наблюдаем в некоторых фразеологических оборотах, как например *работать на селе*, между тем как слово *сельский* в значении «не городской, относящийся к деревне, колхозу» (например, *сельский Совет*) в известной мере начинает вести существование, независимое от слова *село*.

Разумеется, иллюстрации этого рода можно продолжать без конца, но не они составляют главную цель этих заметок. Они должны подтвердить лишь ту простую истину, что о п р о и з в о д н о й основе можно говорить лишь тогда и лишь до тех пор, пока есть соотнесенная с ней основа н е п р о и з в о д н а я. В связи с этим следует поставить и более общий вопрос о том, что, собственно, имеется в виду обычным выражением «значение того или иного суффикса». Говорится, положим, о том, что суффикс *-ин* в существительных женского рода имеет значение мяса, суффикс *-ец*, в существительных мужского рода — значение лица и т. п. Мне представляется такой способ выражаться хотя и понятным и в практической работе, при условии ясности общей точки зрения, допустимым, все же в строго теоретическом отношении не вполне точным. Никакой аффикс сам по себе не имеет значения в том смысле, в каком мы говорим о значении основ. Он обладает значением только в той мере, в какой он изменяет значение первичной основы в значение производной основы, вносит в значение первой ту или иную модификацию. Нельзя сказать, что значит звуковой комплекс *ин*, пока мы наблюдаем его изолированно, как некую фиктивную данность, фиктивную уже потому, что она не имеет в языке самостоятельного существования. Нельзя сказать также, что значит сам по себе этот звуковой комплекс, пока мы наблюдаем его в словах *хина*, *картина*, *витрина*, *малина*, *буженина* и др., потому что ему не принадлежит здесь функция модифицирования каких-либо значений, существующих независимо от данных образований в соотнесении с ними. Но мы можем сказать, что в слове *горошина* комплекс *ин* придает значению основы *горох* оттенок наличности в форме единичного зерна, в слове *конина* — тот оттенок,

вследствие которого значение основы *конь* модифицируется в значение «мяса коня» и т. д. Вообще функция аффикса состоит в том, что он дает возможность увидеть ту же основу в другой перспективе, в одном из боковых ее освещений, а потому и вообще аффикс может иметь какой-нибудь смысл только тогда, когда он применен к какой-либо основе, а не существует сам по себе.

В строгом смысле поэтому наши обычные формулы разложения производных основ на морфемы вроде *кон-ина*, *горд-ец*, *город-ской*, *ал-еть* и т. п. на самом деле выражают отношение не между первичной основой и суффиксом, а отношение между первичной основой и производной, то есть в действительности существуют отношения: *конь — конина*, *горд — гордец*, *город — городской*, *ал — алеть* и т. п. Констатирование именно такого рода соотношений наглядно объясняет происхождение практического приема, к которому прибегают в работах по словообразованию, когда для отыскания данной словообразовательной формы считается необходимым указать данную первичную основу хоть еще один раз в каком-нибудь другом слове данной языковой системы, то есть когда членение *кон-ина* обосновывается наличием слова *конь* и т. д. Как видим, это методическое правило не произвольно установлено, а отражает то, что существует на самом деле в языке. И можно лишь пожалеть о том, что это здравое правило соблюдается гораздо реже, чем этого требует наука.

С другой стороны, есть основания сомневаться в применимости того же правила в отношении к суффиксам. Можно задать вопрос, в самом ли деле не может существовать суффикса, встречающегося только в о д н о м слове, или это только кажется так? По-моему, это и в самом деле только кажется так. Если согласиться с тем, что производность основы *конина* есть результат соотношения *конь — конина*, то мы вправе смотреть на производную основу как на своего рода в а р и а ц и ю соответствующей непроизводной основы. Такие вариации могут быть регулярными, то есть повторяющимися от случая к случаю в одной и той же звуковой форме, например: *гордый — гордость — гордец*, *наглый — наглость — наглец*, *храбрый — храбрость — храбрец* и т. д., *писать — писатель — писательский*, *читать — читатель — читательский*, *любить — любитель — любительский* и т. д. Если данная регулярная вариация такова, что создаваемые ею словарные ряды неисчислимы, так как они всегда могут быть пополнены все новыми образованиями, мы говорим о п р о д у к т и в н ы х словообразовательных моделях. Если, наоборот, соответствующие образования ограничены, вообще — исчислимы, не возникают постоянно вновь, мы говорим о н е п р о д у к т и в н ы х типах словообразования. Так, например, можно говорить о непродуктивном, но все же регулярном словообразовательном типе по поводу соотношений *ходить — ходьба*, *косить — косьба*, *бороться — борьба* и т. д.

Но есть также соотношения не только непродуктивные, но и н е р е г у л я р н ы е. Сюда принадлежит, например, соотношение

пасти — пастух. Суффикс лица *-тух* в словах мужского рода можно было бы видеть еще в слове *петух* по соотношению с *петь*, но это соотношение, как я думаю, в современном русском языке нереально, так как хотя петух и поет, но петух все же не означает в нашем языке поющую птицу. Напряжение памяти подсказывает еще старое слово *питух*, сейчас если и употребляемое, то только на периферии системы литературного языка (в словаре Ушакова помечено, как «просторечно-фамильярное», и иллюстрировано примерами из Марлинского и Некрасова). Нет уверенности в том, что к такому же образованию относится *конюх*, потому что здесь уже не глагольная, а именная основа, да и самый суффикс звучит несколько иначе. В конце концов приходим к тому, что есть только одно несомненное слово в современном литературном языке, имеющее суффикс лица *-тух*, именно *пастух*. Но от этого данный суффикс не перестает быть суффиксом, а соответствующая основа, что самое существенное, не перестает быть основой производной.

Есть и другие подобные случаи. Невозможно отрицать производный характер основы *жених* по соотношению с *женить*, *жена* и пр., хотя других слов с суффиксом лица *-их* в словах мужского рода я указать не могу. Такой же природы суффикс *-унок* в слове *рисунок*, выделяемый по соотношению данного слова с словом *рисовать*. В слове *королева* снова констатируем производную основу, так как она соотнесена с основой *король*, хотя других аналогичных случаев словопроизводства и не существует. В этом смысле нет никакой разницы между словом *королева* и словами *королевич*, *королевна*, хотя для двух последних и имеются аналогии в словах *царевич*, *царевна*, *попович*, *поповна*. Но для слова *попадья* снова нельзя указать аналогии, а между тем основа в этом слове несомненно производная, и в ней выделяется суффикс *-адья*, ни разу более в русском языке не встречающийся. Точно так же и в слове *рукав* законно видеть производную основу по соотношению с *рука*, хотя я не знаю других слов, которые были бы образованы так же. Такие же единично встречающиеся суффиксы следует признать в словах *любовь* по соотношению с *любить*, *песня* по соотношению с *петь* (*басня* в современном языке, разумеется, не соотносительно с *баять* и потому обладает основой непроизводной), *вражда* по соотношению с *враг*. Важно то, что во всех подобных нерегулярных образованиях звуковые комплексы, могущие быть выделенными в них в качестве суффиксов, представляют собой подлинные звуковые единства, то есть имеют значения, устанавливаемые нами совершенно так же, как устанавливаются значения суффиксов в образованиях, построенных по продуктивным и регулярным моделям. Невозможно было бы, например, отвергнуть утверждение, что в слове *вражда* элемент *д* так же относится к элементу *враж*, как, положим, в слове *дружба* элемент *б* относится к элементу *друж*, в слове *служба* элемент *б* — к элементу *служ*, в слове *шутовство* элемент *овств* — к элементу *шут*, в слове *вдовство* элемент *ств* — к элементу *вдов* и т. д.

Но не всякий звуковой комплекс, механически отсекаемый от тожественной части двух слов, имеет свою функцию и может быть признан морфемой. Например, невозможно, на мой взгляд, расчленить слово *охота* в значении желания на *о-хота* и видеть здесь префикс *о-* по соотношению с словом *хотеть*, или слово *смерть* на *с-мерть* по соотношению со словами *мертвый*, *умереть* и видеть здесь префикс *с-*. Связь между словами *охота* и *хотеть*, *смерть* и *мертвый* совершенно несомненна. Но ни *о-* в слове *охота*, ни *с-* в *смерть* не обладают собственной функцией, и не эти звуковые элементы в данных случаях модифицируют значение соответствующих первичных основ. Следовательно, основы в словах *охота*, *смерть* должны быть признаны основами непрефиксальными, несмотря на их неоспоримую связь с основами, являющимися в словах *хотеть*, *мертвый*. В чем же в таком случае состоит эта связь?

Попытка ответить на этот вопрос приводит к заключению, что, помимо такого соотношения основ, из которых одна есть функциональная вариация другой, существует еще и такое соотношение основ, при котором эти основы представляют собой не две разные основы, а только два разные вида одной и той же основы. Хорошо известно явление, называемое чередованием звукового вида основ, как например: *враг — вражда*, *друг — дружба*, *свистеть — свищу*, *плакать — плачу*, *лоб — лба* и многие другие. Но под звуковыми чередованиями мы понимаем такую смену звукового состава морфемы, которая имеет регулярный характер и связана с чередованием определенных морфологических позиций. В случаях же вроде *охота*, *смерть* нет ни регулярности морфологических отношений, ни регулярности в смене звукового состава морфемы. Общего с чередованием звуков здесь только то, что морфема в ее разных звуковых видах обладает абсолютной тожественностью функции: *вараж-* так относится к *враг-*, как *охот-* к *хот-*. Не настаивая на предлагаемой терминологии, а только для того, чтобы как-нибудь отличить описываемое явление от звуковых чередований и других явлений, с которыми оно может быть смешано, назову такое нерегулярное видоизменение звукового состава основы в а р и а н т о м основы. Тогда в словах *охота*, *смерть* будем видеть варианты основ, выделяющихся в словах *хотеть*, *мертвый*.

Подобных вариантов основ в русском языке больше, чем может показаться. Так, например, прилагательное от слова *колодец* звучит *колодезный*. Ясно, что здесь основа представлена в двух своих вариантах: *колодец — колодез*. Другим примером может служить соотношение *паяц-* и *паяс-* в словах *паяц* и *паясничать*. Основа, представленная в словах *зависть*, *завистник*, *завистливый*, очевидно, представляет собой вариант основы, выделяющейся в словах *завидовать*, *завидный*. Ср. еще *синтаксис*, но *синтактический* (сейчас уже вытеснено из употребления образованием *синтаксический*), *скепсис — скептический*, *сифилис — сифилитический — сифилидолог*, *анализ — аналитический*, *паралич — паралитический*. Во всех подобных случаях имеем дело с заменой

одного звука другим в соотносительных формах. Но в принципе дело не меняется от того, что в известных случаях основа вырастает или убавляется на звук, как это мы видели в случаях *охота, смерть*. По-видимому, такое же соотношение вариантов основы мы должны видеть в цепи слов *тайна — тайный — таить — тайком*, так как лишнее *н* в существительном и прилагательном очень трудно признать суффиксом из-за невозможности приписать этому звуку какую-либо дифференцированную функцию. Вариант основы можно видеть также в случаях *до-зволить, по-зволить* при *из-волить, прине-волить*. Сюда же, очевидно, надо относить случаи вроде *нести — носить, везти — возить*. Впрочем, есть немало случаев, в которых нелегко установить различие между явлением вариантности основ и чередованием звуков и между вариантностью основ и присутствием общей, первичной основы исключительно в составе производных, при отсутствии ее в самостоятельном употреблении, о чем ниже.

Как бы то ни было, самое явление, названное здесь вариантностью основ, безусловно существует, и одна из задач учения о русском словообразовании, несомненно, заключается в том, чтобы привести в известность все случаи этого рода, установить их различные типы и дать им надлежащее истолкование в отношении их структуры и возникновения. Эта задача до сих пор в русском языковедении не ставилась. Однако параллельное явление в области суффиксов отмечалось уже давно. Именно хорошо известно, что как один из результатов так называемого морфологического переразложения, или, как это называют западные ученые, «перинтеграции», возникают вариантные формы суффиксов полностью совпадающие по функции, но отличающиеся своим звуковым составом, притом так, что известная часть звукового состава суффикса остается неизменной. Крушевский в свое время даже пытался установить общий закон о сокращении предшествующей морфологической единицы в пользу последующей (РФВ, 1880, ср. также «Очерк науки о языке», 1883), подобно тому как Бодуэн де Куртене выводил общий закон о сокращаемости основы в пользу окончаний (РФВ, 1902). Примером может служить хотя бы суффикс *-овник* в слове *садовник* наряду с суффиксом *-ник* в слове *хлебник*. Тожественность функции этих суффиксов просто доказывается пропорцией: отношение *сад — садовник* равно отношению *хлеб — хлебник*. Самый суффикс *-ник* в свою очередь представляет собой результат переразложения, так как звук *н* в нем отвлечен от основ прилагательного. Следовательно, первоначально *хлебник* должно было означать того, кто имеет отношение к хлебному делу. Посредствующей ступенью к изменению значения этого соотношения, в результате чего слово *хлебник* стало означать того, кто имеет отношение к хлебу, должна была служить субстантивация прилагательного *хлебное* (ср. Дементьев, «Ученые записки Куйбышевского пединститута», 2, 1939, и 5, 1942). Из старой литературы вопроса кое-что дает по этому поводу статья Анастасиева,

«Морфологический анализ слов» (ФЗ, 1887), где указывается на функциональную тожественность суффиксов *-оночек* и *-очек* в словах *бочоночек* и *цветочек* и т. п.

Однако было бы ошибкой думать, что всюду, где имеем звукосочетание, состоящее из первоначального суффикса и звукового комплекса, в известных случаях отходящего к суффиксу от основы, мы каждый раз должны видеть именно этот осложненный вариант суффикса. Каждый отдельный случай должен анализироваться в свете того конкретного соотношения, которое отыскивается для него в общем лексическом запасе языка. Так, несмотря на бесспорное наличие суффикса *-овщик* в словах *ростовщик*, *ламповщик*, где этот суффикс выделяется по соотношению с *рост*, *лампа*, в слове *кладовщик* сохраняется суффикс *-щик*, потому что это слово обозначает того, кто имеет отношение не к кладу, а к кладовой. Подобно этому, несмотря на наличие суффикса *-ник* в словах вроде *хлебник*, *грешник*, *бабник*, выделяемого по соотношению с *хлеб*, *грех*, *баба*, в словах *ударник* (производства), *отличник* суффикс все-таки *-ик*, а не *-ник*, то есть в данном случае существует соотношение не *удар — ударник*, а *ударный — ударник*, *отличный — отличник* и т. д. Поэтому и в вышеприводившихся примерах *браковщик*, *сортировщик* имеем суффикс *-щик*, а не его варианты *-овщик*, *-ировщик*, потому что *браковщик* соотносится ближайшим образом с *браковка*, а не с *брак*, *сортировщик* — с *сортировка*, а не с *сорт* и т. д. Поэтому в анализе слов, возбуждающих представление о такого рода «сложных суффиксах», как их иногда не вполне удачно называют, необходим тщательный анализ каждого индивидуального случая. Цель такого анализа должна при этом заключаться не столько даже в установлении того, какие именно звуки в составе каждого данного слова следует отнести к основе, а какие — к суффиксу, сколько в том, чтобы выяснить, с какой непроизводной основой соотнесена данная производная, в том, например, чтобы установить, относится ли слово *садовник* как производное к слову *сад* или к слову *садовый* и т. п. Вряд ли нужно доказывать, насколько важна именно последняя сторона дела для понимания словообразовательных и лексических отношений, из которых складывается данная языковая система.

Между тем нередко наблюдается склонность слишком поспешно относить к числу сложных суффиксов звуковые комплексы, в известных случаях действительно представляющие собой осложненные варианты суффикса, но одновременно в других случаях распадающиеся на две части, из которых первая относится к производящей основе, а вторая образует уже соответствующую производную основу. Одним из многих примеров может служить часто постулируемый суффикс лица в словах мужского рода *-енец*. Такой суффикс, несомненно, существует, например, в словах *младенец*, *первенец*. Но нельзя видеть именно этот суффикс в каждом слове, имеющем в конце основы именно такое звукосочетание. Например, Анастасиев видит этот суффикс в словах *приверженец*,

леденец. В последнем слове, по крайней мере для нынешнего языка, основа вообще непроизводная, но если представить себе то время, когда данное слово означало нечто производное от *лед*, то здесь суффикс был, действительно, *-енец*. Однако решительно нельзя согласиться с тем, будто именно такой суффикс заключает в себе и основа *приверженец*. Это слово сопоставимо только с *приверженный*, как своим исходным словообразовательным моментом, а потому здесь суффикс *-ец*. В списке слов на *-енец*, приводимом у Виноградова (54), не могу признать ни одного, кроме *беженец*, в котором действительно был бы этот суффикс. Особенно это очевидно на примере таких слов, как *иждивенец*, *просвещенец*, *пораженец*. Эти слова, вне всяких сомнений, входят в соотношение с соответствующими отглагольными именами на *-ение*, то есть реальны соотношения: *иждивение — иждивенец*, *просвещение — просвещенец*, *поражение — пораженец*, а потому здесь может идти речь только об образующем данные производные основы суффиксе *-ец*. У нас нет даже никакого другого слова, кроме *иждивение* (ср. древнее *иждити* или *иждивити*, то есть «потратить, израсходовать»), к которому можно было бы отнести как производное слово *иждивенец*. *Просвещенец* может никого и не *просвещать*, а просто служить по ведомству *просвещения*. *Пораженец* никого не *поражает* и никем не *поражаем*, а только стремится к *поражению* и т. д. Точно так же и слова вроде *лишенец*, *выдвиженец*, *движенец*, *непротивленец*, *невозвращенец*, *обновленец*, поскольку они соотносимы непосредственно со словами *лишение*, *выдвижение* и т. д., имеют суффикс *-ец*, а не *-енец*. Другое дело, как понимать тот факт, что данный суффикс присоединяется не к полному виду своей производящей основы, а к такому ее изменению, в котором отсутствует элемент *-ij*, то есть не к основе *лишениj-*, а к основе *лишен-* и т. д. Только в таких случаях, как *лишенец*, *обновленец*, мог бы еще стоять вопрос о том, что это образования к причастным формам *лишен*, *обновлен*, но это явно невозможно по отношению к большинству приведенных примеров, так как у нас нет причастий *выдвижен*, *непротивлен* и т. д. С другой стороны, не подлежит сомнению, что отглагольные существительные на *-ение* давно уже потеряли непосредственную связь с когда-то образовавшими их причастиями страдательного залога и сейчас соотносятся прямо с глагольной основой: *лишить — лишение* и т. д. Таким образом, в словах вроде *лишение* суффикс, конечно, *-ение*, а не два суффикса: *-ен* и *-ие*. Поэтому основы вроде *непротивлен-*, *выдвижен-* и т. п., к которым прибавляется суффикс лица *-ец*, можно понимать только как варианты основ *непротивлениj-*, *выдвижениj-*, в выше разъясненном значении термина «вариант основы», но уже в применении к основе производной. Поэтому убеждаемся, что можно говорить не только о «передней» вариации суффикса, как выражался Крушевский, но также и о к о н е ч н о й его вариации, типа: *-ениj— -ен*.

Суффикс *-ениj* является в именных образованиях от глаголов с основой на согласный, например *нести — несение*, и от глаголов

на *-ить*, например *лишить — лишение*. Однако далеко не всякое отглагольное существительное, имеющее в исходе звуковой комплекс *-ение*, содержит именно этот суффикс. Очевидно, например, что в слове *побеление*, соотносительном с *побелеть*, звук *е* перед *н* относится к основе производящей, а не производной, суффикс же имеет вид *-ниj*. Другое дело, суффикс *-ение* в слове *беление* как производное к *белить*. Точно так же фикцией, на мой взгляд, является часто выделяемый суффикс *-ание*, потому что звук *а* в большинстве таких случаев относится к составу производящей основы, как например *дрожа-ние, стряпа-ние, писа-ние, броса-ние*, что соотносительно с *дрожать, стряпать, писать, бросать*. Поэтому и в словах *сиделец, давалец, поилец* не три разных суффикса *-елец, -алец, -илец*, а один общий суффикс *-лец*, а предшествующий гласный принадлежит к составу производящей основы, ср. *сидеть, давать, поить*. Однако звук *л* в этих образованиях безусловно принадлежит к суффиксу, то есть суффикс здесь звучит не *-ец*, а *-лец*, потому что эти существительные соотнесены, разумеется, не с основой прошедшего времени на *-л*, с которой они связаны только этимологически, а с основой глагола, взятого в отвлечении от значения времени.

Не ставлю себе задачей исчерпать здесь вопрос о вариантах суффиксов. Приведу лишь еще несколько отдельных примеров. В слове *алгебраический* находим редкий, кажется единственный, случай суффикса *-аический*, составляющего вариант к хорошо известному суффиксу *-ический*. В слове *девчонка*, потерявшем прямое соотношение с *девка* и уже вместе с ним участвующем в общей цепи слов *дева, девочка, девушка* и т. д., в настоящее время выделяется вариант суффикса *-чонк-* вместо прежнего *-онк-*. В словах *буржуазия, буржуазный*, по соотношению с *буржуа*, наблюдаем также единично встречающиеся варианты суффиксов *-зиj, -зн*, вместо *-иj, -н*. Разумеется, в подобных случаях возможны споры (с моей точки зрения, беспредметные), нужно ли тот или иной звуковой элемент, создающий вариант данного суффикса, считать принадлежащим к составу именно суффикса и не следует ли его рассматривать как элемент, создающий вариант основы. Например, можно задать вопрос, действительно ли слово *буржуазный* распадается на *буржуа-зный*, а не на *буржуаз-ный*, слово *буржуазия* — на *буржуазия*, а не на *буржуаз-ия*, и не надо ли вместо вариантов суффиксальных *зн — н, зиj — иj* видеть здесь варианты основ *буржуа- — буржуаз-*. Подобные споры не имели бы никакого смысла. Суть дела выражается вовсе не в том, куда мы отнесем появляющийся здесь лишний звук, а только в том, что в данном случае соотношение двух основ, производящей и производной, принимает вид, который можно было бы выразить формулой: $\sim а/\sim азн$, $\sim а/азия$, и этого достаточно для понимания данного соотношения. Остальное — дело удобства номенклатуры.

Но совсем другое дело, если элемент, которым осложняется суффикс, в других случаях способен обладать самостоятельной

функцией, как например в образованиях типа *домовничать*. Здесь уже далеко не все равно, куда мы отнесем элемент *ов* — «направо» или «налево». Если в указанном слове элемент *ов* будем отделять от элемента *нича*, то тем самым станем первому приписывать значение самостоятельного суффикса, которое он часто имеет в глаголах на *-овать*, между тем как в составе сложного суффикса *-овнича-* комплексу *ов* уже никакого отдельного самостоятельного значения приписать, очевидно, нельзя. И в самом деле, *домовничать* так относится к *дом*, как *лентяйничать* к *лентяй*, *плотничать* к *плотник*, и здесь перед нами, несомненно, один суффикс в трех своих вариантах: *-а-*, *-нича-*, *-овнича-*.

Другим примером трудности провести различие между вариантом суффикса и вариантом основы могут служить соотношения вроде *баран — барашек*, *гребень — гребешок*, *карман — кармашек*, *камень — камешек*, *ремень — ремешок*, *плетень — плетешок*; ср. еще *Иван — Ивашка*, *болтун — болтушка* и т. д. Каков ни был бы ответ на вопрос о возникновении этих соотношений, они так или иначе должны быть поняты в их собственном морфологическом содержании. И здесь возможен двоякий ответ. Более простой заключался бы в том, что в данных случаях наблюдается своеобразное чередование звуков *н — ш*, ограниченное вполне ясными условиями, хотя и необязательное; ср. *день — денек*, *конь — конек*, *пень — пенек*, *игрун — игрунок* и пр. В этом случае мы были бы вправе смотреть на соотношения вроде *баран- — бараш-* как на один из случаев вариантов основ. Другое более сложное толкование состояло бы в том, что в подобных соотношениях наблюдаются варианты суффикса *-ок* и *-шок* одновременно варианты основ *баран- — бара-*. Второе из этих объяснений представляется менее приемлемым исключительно в силу своей большей сложности, по существу же оно не в меньшей степени отвечает действительности, чем первое, и спор о том, какое из этих объяснений точнее, был бы, на мой взгляд, схоластическим спором о словах, потому что вопрос заключается не в том, какую комбинацию звуков назвать основой, а какую — суффиксом, а только в том, каково реальное соотношение двух форм. Сущность дела и здесь может быть выражена формулой: $\sim$ *н*/ $\sim$ *шок*, а это только и важно.

Вопрос об исторической почве, на которой возникают вариантные виды суффиксов,— это очень большой вопрос русского словообразования, подлежащий особому монографическому изучению. Здесь я хочу все же подчеркнуть, что самое явление «переразложения» не должно рассматриваться как процесс механический. Конечные звуки основы могут отходить к составу суффикса лишь при определенных условиях. Важнейшее из них состоит, по-видимому, в том, чтобы отходящая к суффиксу часть основы в момент этого отделения сама по себе составляла известное звуковое единство, то есть была бы живой морфемой, а не случайным звукосочетанием. При этом условии отделение такого звукового комплекса от основы не разрушает ее, а лишь изменяет ее производный

характер и возвращает ее к предшествующему состоянию, например *хлеб*, *хлеб-ный*, (*хлеб-н*)-*ик* и затем *хлеб-ник*. Слово *лапчатый* возникло как производное к *лапка*, но при известных обстоятельствах (выяснять которые здесь не место) приобрело значение производного к *лапа*. Это и стало причиной возникновения суффиксального варианта *-чат*, и уже на этой почве стали возможны образования вроде *узор-чатый*, *матер-чатый* и т. д. Одного слова *лапчатый* здесь, конечно, было бы недостаточно, но такой же процесс должны были переживать и другие слова сходной структуры, ср. *дымчатый*, *коленчатый* и т. д., а вопрос о том, в каких именно словах и по какой причине этот процесс возник первоначально, может быть решен, естественно, только после специальных разысканий. Но, например, в слове *перепончатый* такого переразложения не наступило до сих пор, и именно потому, что в слове *перепонка* элемент *к* уже ранее того потерял значение суффикса и стал неотделим от своей, уже непроизводной, основы.

Как уже говорилось, каждый отдельный случай, в котором может быть заподозрен вариант суффикса, требует индивидуального анализа. Ничего нет поэтому удивительного в том, что в известных случаях возможна о м о н и м и я словообразовательной формы, то есть такое положение, при котором тожественная в звуковом отношении производная основа выделяет в своем составе не те же самые морфемы, членится по-разному, в зависимости от того, с какой производящей основой она соотнесена. Когда мы наблюдаем изолированное слово *учительство*, то мы не можем сказать, какие морфемы выделяются в этом слове, пока не установим, какое из двух значений, присущих этому слову, имеется в виду. Если *учительство* означает занятие того, кто учит, то в данном слове выделяется суффикс *-тельств-*, так как в этом случае соотносительная производящая основа есть *учи-*. Если же *учительство* имеет собирательное значение, то в нем выделяется суффикс *-ств-*, так как ближайшая производящая к нему основа в этом случае есть *учитель-*. Но проблема омонимии возникает не в том только случае, когда одно и то же звукосочетание то представляет собой одну цельную морфему то расходится по составам двух соседних морфем. Явление омонимии и вообще теснейшим образом связано с членением слов на морфемы. Нередко звуковой комплекс, в одном члене омонимной пары представляющий собой аффикс в другом члене пары оказывается и вовсе не выделим. Мне кажется, что это один из очень важных объективных признаков, позволяющий отличить омонимную пару от двух значений одного слова, и что этот признак в недостаточной степени учитывается нашей лексикографической традицией.

Так, например, то обстоятельство, что слово *завод* в контексте *завод у игрушки* имеет префикс *за-*, а в контексте *консервный завод* представляет собой основу непроизводную, лучше всяких других доводов объективно свидетельствует о том, что в данном случае мы имеем дело с омонимной парой, а не с двумя значениями од-

ного слова. В слове *славный* наблюдаем то производную основу к *слава*, например *славный полководец*, то непроизводную основу, например *славный малый*. В слове *наказать* есть префикс *на-*, если оно означает «дать наказ», и нет префикса, если оно означает «применить наказание». В слове *имение* основа непроизводная, а суффикс *-ние* в нем можно было бы выделить только в том случае, если бы это слово можно было бы употребить как существительное, означающее действие по глаголу *иметь*, но это, по-видимому, в современном русском языке невозможно. В слове *положение* выделяется префикс и суффикс только до тех пор, пока оно значит то, что значит, например, в выражении *положение во гроб*, то есть функционирует как обозначение действия по глаголу. Но в контекстах вроде *сидячее положение*, *отчаянное положение* и т. д. это слово представляет собой непроизводную основу. Думаю, что и слово *глухарь* как обозначение птицы представляет собой основу непроизводную, но когда это слово в производственном арго обозначает клепальщика, работающего внутри котла и глохнущего от сильного шума ударов, то суффикс *-арь* в нем становится несомненным. Уже и этих немногих примеров довольно для того, чтобы видеть, как тесно связан вопрос о выделении морфем в производных основах с вопросом об омонимии. Мне кажется, вообще можно утверждать, что слова с разной словообразовательной формой это безусловно разные слова. Но обратное, разумеется, было бы неверно.

До сих пор речь шла только о таком соотношении двух основ, в которых первичная, или — шире — производящая основа один раз дана внутри производной, а другой — в свободном, выделенном состоянии, без соответствующих аффиксов; ср. *сад-овник* при *сад*, *при-нести* рядом с *нести* и т. д. Но наряду с этим в русском языке есть очень много таких соотношений, оба члена которых представляют собой производные основы с общей производящей основой, но разными аффиксами. В этих случаях, следовательно, производящая основа выделима только путем соотнесения производных основ, а в свободном состоянии не существует. Такие основы, которые всегда даны только в соединении с теми или иными аффиксами, можно было бы назвать основами с в я з а н н ы м и. Ср., например, соотношение слов *при-выкнуть* и *от-выкнуть*, где выделяется первичная основа *вык-*, неизвестная в свободном от аффиксов виде. Ср. еще *при-быль* и *у-быль*, *при-бавить*, *до-бавить* и *у-бавить* или цепь слов: *озор-ство*, *озор-ник*, *озор-ничать*, при отсутствии слова, в котором основа представляла бы собой первичную основу *озор-* в чистом виде. Точно так же из соотношения *кис-лый — кис-нуть — с-кис-ать* и т. д. выясняется существование связанной основы *кис-*. Из соотношения слов *напрас-лина — напрас-ный* выясняется существование связанной основы *напрас-*. Слова *воин — война — войско — воевать* объединяются основой *вой-*, также известной только в связанном виде, но, очевидно, не так было в древнерусском языке, пока употребительно было слово

вой, равное по значению нынешнему *воин*. Непременно нужно считаться с наличием в языковой системе таких связанных основ, так как в противном случае многие явления словообразования получают неверные и сбивчивые толкования. Отсутствие той или иной основы в выделенном, свободном виде всегда есть известный шаг в сторону морфологической абсорбции, то есть к тому, что первоначальная непроизводная основа вместе с своим аффиксом превращается в новую непроизводную основу. Однако до тех пор, пока при данной первичной основе возможны все же разные аффиксы, а не только какой-нибудь один, полного срастания аффикса и основы не происходит. Тем не менее самое значение подобной связанной основы бывает затруднительно представить себе в отвлечении от значений, непременно сочетающихся с основой аффиксов, и это нередко создает впечатление невозможности выделить самую основу.

Так, например, встречаются утверждения, согласно которым основы в словах *обуть*, *разуть* должны быть признаны непроизводными. Хотя сопоставление обоих этих слов и дает основание выделить здесь первичную основу *-у-*, этому с трудом верится, так как неясно, что же, собственно, означает эта основа? На этой-то почве и возникают заключения о том, что подобная основа «плохо чувствуется», «слабо осознается» говорящими,— заключения, совершенно верные в психологическом отношении, но лишенные лингвистического содержания. Как сказано было выше, то обстоятельство, что известная морфема слабо осознается, «не ощущается» в своем качестве морфемы, есть не объяснение, а то, что должно быть объяснено. В применении к основе *-у-*, выделяющейся из соотношения *обуть — разуть*, указанное обстоятельство объясняется тем, что значение данной основы не существует вне сочленения с значениями приставок *об-*, *раз-*. Неправильно было бы думать, что значение основы *-у-* вообще неопределимо. Нет, оно определимо, но только так, что при любом его определении в самое определение непременно будет входить указание на то, что соответствующее действие возможно только в тех его модификациях, которые в языке обозначаются префиксами *об-*, *раз-*. Например, значение основы *-у-* можно было бы определить так: «совершить действие, в результате которого ноги будут снабжены одеждой или лишены ее». Так и в остальных случаях. Что значит *озор-* вообще — сказать невозможно, не сказав тут же, что значение этой основы всегда дано только вместе с какой-либо из модификаций, которые вносятся в него суффиксами *-ство*, *-ной*, *-ник*, *-ничать* и т. д. Другое дело, что такого рода соотношения, покоящиеся на ограниченном числе членов и притом выделяющие основу, бедную в звуковом отношении, как это имеем в случае основы *-у-*, очень неустойчивы и легко подвергаются изменениям. Так, например, в польских говорах старое *z-uč* (ср. старославянское *из-оути*) заменилось словом *z-zuč*, то есть конечный звук приставки повторился в качестве начального звука основы, а это повело далее к образованиям

вроде *ze-zuć*, *roz-zuć* — основа стала фонетически богаче. Интереснее другой путь, представленный польскими говорами, именно появление слов *o-buć*, *ze-buć*, обусловленных переразложением *obuć* → *o-buć* (пример заимствую у У л а ш и н а, Słowotwórstwo, § 6). Ср. в «Швамбрании» Льва Кассиля выражение мальчика Оськи: «на нем *набуты* кандалы», с тем же отнесением звука *б*, выделенного из приставки, к составу основы. Легко можно представить себе, что, сказав *на-буть*, в другой раз тот же персонаж мог бы сказать и *раз-буть*, а в соотношении *о-буть*, *на-буть*, *раз-буть* общая основа, повторяющаяся уже трижды, и притом более богатая материально, чувствовалась бы уже гораздо отчетливее. Уже одно то обстоятельство, что живое чувство языка стремится сделать основу более осязательной, превосходно свидетельствует о том, что такая основа существует как нечто вполне реальное.

Приведу теперь еще несколько примеров связанных основ. Такого рода основу мы находим, например, в словарных цепях: *комедия — комик — комический*; *трагедия — трагик — трагический*, где выделяются общие основы *ком-* и *траг-*. Значение этих основ будет представлять собой, очевидно, остаток от вычитания значений суффиксов *-едия*, *-ик*, *-ический* из значений соответствующих слов. Это значение будет представлять собой, конечно, известную абстракцию, но иначе и быть не может. Важно то, что в значении всех слов данной цепи присутствует с несомненностью известный общий элемент — он и составляет значение основы. В соотношении слов *волнение — волновать — волноваться* в контекстах *ему вредно волнение*, *ему нельзя волноваться* и т. п. будет общая основа *волн-*, несмотря даже на то, что слово *волна* при данном значении этих слов в этом соотношении не участвует.

В словах *максимум — максимальный*, *минимум — минимальный* имеем связанные основы *максим-*, *миним-*. В некоторых случаях можно колебаться относительно того, нужно ли видеть в данной цепи слов общую связанную основу или же — вариантные разновидности свободной основы. Примером могут служить соотношения вроде *вероятие — вероятный*, *велеречие — велеречивый*, *великолепие — великолепный* и т. п. С одной стороны, в первом члене подобных соотношений можно усматривать суффиксальную основу с суффиксом *-ij-*, и тогда в них будет выделяться и общая связанная основа *вероят-*, *велереч-*, *великолеп-*. С другой стороны, можно рассматривать основу *вероятij-* как основу непроизводную и представляющую собой вариант основы *вероят-* и соответственно выделять основы *велеречij-*, *великолепij-* в виде вариантов к основам *велереч-*, *великолеп-*. Опять-таки и здесь возможные разногласия были бы, по-моему, лишены серьезной почвы и свелись бы к спору о словах. Ср. еще *канцелярия — канцелярский*: наличие сходного соотношения *кавалерия — кавалерийский* толкает как будто бы мысль к тому, чтобы в *канцелярij-* видеть вариант основы *канцеляр-*. Однако и при таком взгляде на дело, при котором в основе *канцелярij-* выделяется суффикс *-ij* и оба слова *канцелярия — канце-*

лярский объединяются общей связанной основой *канцеляр-*, сущность словообразовательного отношения остается та же. Ср. и такое своеобразное соотношение, как *поэзия — поэма — поэт — поэтический*. И здесь можно видеть или общую связанную основу *поэ-*, означающую то, что отвлекается в этих словах от значений суффиксов *-зиj, -м, -т, -тический*, или общую непроизводную свободную основу, представленную в своих вариантах *поэзиj-, поэм-, поэт-*, но сущность дела в обоих случаях останется та же.

Классификация основ, известных только в связанном виде, построенная на их исчерпывающем описании, также составляет очень важную задачу учения о словообразовании, в особенности важную для истории языка, так как именно в этой области особенно легко найти материал, который иллюстрировал бы общие процессы, ведущие к преобразованию морфологического состава слова. В частности, и в этой области наблюдается много явлений, обнаруживающих живую связь между членением производных основ на морфемы и омонимией. Именно можно найти целый ряд случаев, в которых омонимность производящих основ будет выражаться в том, что один из членов омонимной пары будет представлен свободной основой, а другой — связанной. Например, в соотношении *двор-ня* и *двор-овый* выделяется основа *двор-*, омонимная по отношению к той основе *двор-*, которая выделяется в соотношении *двор — придворный*, и той, которая существует в слове *двор*, когда это слово употребляется в фразе вроде *На дворе резвятся дети*, и т. п. В соотношении слов *за-пасти* и *при-пасти* выделяется основа, омонимная к *пасти*, когда речь идет о слове, употребляемом, например, в фразе *пасти скот*. Справка о ближайшем прошлом русского языка показывает, что и в той словарной цепи, к которой сейчас принадлежат *запасти* и *припасти*, существовало слово *пасти*; см. в «Горе от ума»: «мы его на черный день *пасем*». В цепи слов *надеть — одеть — переодеть — раздеть* выделяется связанная основа *-деть*, омонимная по отношению к *деть*. Из сопоставления слов *схожий — похожий — походить* и т. д. выясняется наличие связанной основы *-ход-/- хож-*, представляющей собой омоним к той основе, которая выделяется в соотношении *ходить — приходить — походить*. Соответствующий анализ основ поэтому может служить важным доказательством в пользу того или иного решения вопроса, если возникают сомнения — омоним перед нами или то же слово в различных значениях. Так, в пользу высказанного однажды в устном докладе В. В. Виноградова мнения, согласно которому *стянуть* представляет собой два разных слова в случаях *стянуть* ч т о с ч е г о и *стянуть* ч т о ч е м, с непререкаемой ясностью свидетельствует то обстоятельство, что во втором случае перед нами связанная основа *-тя-/-тяг-*, а в первом — соответствующая свободная основа. Именно во втором случае наблюдаем соотношение *стянуть — перетянуть — затянуть — затянуться* и т. п., то есть такое соотношение, в котором искомая основа не существует без сочленения с префиксом. Между тем в первом случае наблю-

даем соотношение *тянуть — стянуть — вытянуть* и т. п., где искомая свободная основа налицо. Поэтому это основы разные, а оба слова *стянуть* — омонимы.

Специальный интерес представляют, далее, связанные основы, выделяющиеся из суффиксальных образований, между суффиксами которых существует своеобразная принудительная связь, отчасти напоминающая парадигматическую связь, наблюдающуюся в отношениях между формами словоизменения. Словообразовательные аффиксы вообще отличаются от окончаний тем, что наличие одного из них не непременно предполагает наличие другого или остальных. Наличие формы *плода* достаточно для того, чтобы иметь право утверждать одновременное наличие форм *плоду, плодом, о плоде, плоды* и т. д. Однако наличие основы *плод-овый* само по себе еще ничего не говорит о том, существует одновременно с этой формой в языке основа *плод-овитый* или не существует. Так, например, при основе *садовый* нет соответствующего образования на *-овитый*. Таких примеров, как понятно каждому, можно было бы привести множество. Однако не все суффиксальные образования находятся в таком свободном отношении один к другому. В некоторых случаях отношения между отдельными суффиксами являются настолько тесными, что, действительно, наличие одного из суффиксов с принудительностью свидетельствует о том, что в языке есть данная основа и с другим соответствующим суффиксом. Примером такой принудительной связи между суффиксальными образованиями может служить соотносительность форм мужского и женского лица, как например *учитель — учительница, ученик — ученица, китаец — китаянка, пловец — пловчиха* (спортивное) и многие другие. Разумеется, это связь вовсе не такая же, как например связь падежных форм, потому что это связь все же преимущественно не грамматическая, а лексическая, и потому здесь не может не сказываться власть реалий. Так, например, слово *бойчиха* при *боец* появилось совсем недавно, да и не стало (а может быть, и не станет) обыкновенным, так как до недавнего времени для такого слова не было оснований в самой действительности. Но если отрешиться от этих ограничений, вносимых реальными условиями исторической действительности, то с известным правом мы могли бы сказать, что всякое суффиксальное образование с значением мужского лица предполагает параллельное образование с значением женского лица. И вот в тех случаях, когда подобные параллельные образования мужского и женского лица представляют собой основы, производные по отношению к основе, невыделимой иначе, как только именно из этих же образований, эта основа уже совсем слабо «ощущается» как самостоятельная морфема с своим собственным значением. В самом деле, что значит основа *нем-*, выделяющаяся в таких производных, как *немец, немка*, и столь же неразрывно связанной с ними производной основе *немецкий*,— если только отрешиться от обычных этимологических представлений, в данном случае, по-видимому, совершенно неверных

(ср. Ильинский, Известия, XXIV, кн. 1)? Ср. еще отношения вроде *жрец — жрица — жреческий, сверстник — сверстница* и т. п. В принципе и такие основы определимы, но в сравнении с основой *-у-* в *обуть — разуть* это определение еще в меньшей степени будет свободно от привнесения в него элементов суффиксальных значений Разница значений суффиксов мужского и женского лица меньше разницы значений префиксов *об- и раз-*: ведь у этих суффиксов в сущности одно и то же значение, модифицированное лишь признаком пола. При этом надо считаться еще с тем, что основа, обозначающая мужское лицо, почти всегда может быть употреблена и в применении к женскому лицу; ср., например, выражения вроде *она — мой сверстник, она — жрец науки* и пр. В результате и возникает впечатление почти полной смысловой пустоты соответствующих основ, если пытаться отделить их от связанных с ними суффиксов. Тем не менее и такие основы представляют собой совершенно несомненную морфологическую реальность, правда, не того же типа, что основы в других случаях. Достаточно, например, чтобы при словах, обозначающих подданного и подданную какого-либо государства, существовало еще название самого государства с той же основой, чтобы значение этой основы сразу же получило гораздо более отчетливый характер; ср. хотя бы *голландец — голландка* при *Голландия* и т. п. Еще яснее выступает значение основы, если в обозначении государства она является непроизводной, как в случаях вроде *китаец — китаянка — Китай.*

Другим примером таких принудительно связанных основ, имеющих общую первичную связанную основу, служат многочисленные в современном книжном языке образования на *-изм, -ист, -истский* вроде *футуризм — футурист — футуристский, букинизм — букинист — букинистский* или *букинистический, баптизм — баптист — баптистский* и т. п. Конечно, это совсем не то, что *марксизм* или *ленинизм*, соотносимые непосредственно с именами *Маркс* и *Ленин*. В последних двух случаях и аналогичных им значение первичной основы совершенно прозрачно. Но что значат основы *футур-, букин-, бапт-*, или *футури-, букини-, баптиз*, что может быть точнее, при суффиксальных вариантах *-зм, -ст, -стский* и т. п.,— отрешаясь полностью от значений этих суффиксов, определить очень трудно.

В заключение считаю нужным остановиться еще на том, что производная морфема, выделяющая в своем составе несколько морфем, выделяет их не все сразу и одновременно, а так, что между ними обнаруживаются связи разных планов. Например, если от производной основы первой степени образуется новая производная основа второй степени, то три морфемы, образующие эту новую основу, связаны между собой не порознь, в виде одной сплошной цепи А+В+С, а так, что третья присоединяется к уже готовой комбинации первых двух, то есть возникает соотношение образца (А+В)+С; ср. *чит-а-ть*, но (*чит-а*)-*тель* или *бел-и-ть*, но *по-*

(*бел-и*)-*ть*. Иначе говоря, морфологическая структура русского слова такова, что внутренняя зависимость между производящими и производными основами разных степеней обнаруживается в последовательном, а не одновременном присоединении морфем, составляющих основу каждой новой степени по сравнению с предшествующей. Одной из очень важных задач учения о русском словообразовании, несомненно, следует признать указание точных приемов такого расчленения производных основ выше первой степени, которое отражало бы эту последовательность в присоединении каждой новой морфемы к уже существующим их сочленениям, являющимся в основах младших степеней.

Если принять это во внимание, то можно будет сказать, что каждая производная основа в принципе делится на две морфемы, из которых первая есть основа производящая по отношению к данной производной, а вторая — аффикс, посредством которого эта производная основа создана из производящей. Но в свою очередь данная производящая может быть производной от какой-нибудь производящей предшествующей степени, то есть снова может делиться на две морфемы, из которых первая есть основа, а вторая аффикс и т. д. Например, основа в слове *блуждающий* делится на производящую основу настоящего времени *блуждаj-* и причастный суффикс *-ущ-*. Но основа настоящего времени в свою очередь делится на общеглагольную основу *блужда-* и тематический согласный *-j*, а общеглагольная основа *блужда-* — на первичную основу *блужд-*/*блуд-* (ср. *за-блуд-иться*) и тематический гласный *а*. Если еще принять во внимание, что падежно-родовое окончание относится, как ясно само собой, не к одному суффиксу *-ущ-*, а к основе в целом, то получим следующую формулу морфологической структуры данного слова:

$$\{[(блужд—а)—j]—ущ\}—ий.$$

Соответственно морфологическая структура слова *сберегательский* выразится так:

$$<\{[(с—берег)—а]—тель\}—ск>—ий,$$

и т. д. К большому своему удовлетворению я встретился с точно таким же взглядом на дело в книге W. L. G r a f f, Language and languages (1932, p. 150 sq). Здесь, между прочим, читаем: «Как и сложное слово, производное слово представляет собой всегда бинарную конструкцию, то есть оно разложимо на две части. Если обе части представляются простыми единствами, как например beauti+ful, производство называют первичным; если один из двух элементов уже сам по себе представляет первичную морфологическую конструкцию, как например [(beauti+ful)+ly], его комбинация с другой частью называется вторичной. Слово вроде disagreeably = {[dis+(agree+able)]+ly} представляет собой третичный продукт, disagreeability будет четвертичной комбинацией и т. д.».

Новые производные основы создаются присоединением как суффиксов, так и префиксов, а отсюда в префиксально-суффиксальных образованиях могут встречаться отношения двоякого рода, в зависимости от того, образуется ли префиксальная основа от суффиксальной или наоборот. Например, вторичные основы несовершенного вида, заключающие в себе суффикс *-а-* или *-ыв (а)-*, в современном русском языке представляют собой образования, непосредственно соотносящиеся с соответствующими префиксальными основами с значением совершенного вида, которые в свою очередь соотносятся с соответствующими непрефиксальными основами, а эти сами могут быть суффиксальными. Например, суффиксальная основа [(*вор-ов*)-*а*]-*ть* превращается в префиксальную {*раз-*[(*вор-ов*)]-*а*}-*ть*, а эта — в суффиксальную {[*раз-*(*вор-ов*)]-*ыва*} *-ть* и т. д. В каждом конкретном случае внутренние связи между морфемами данной основы выясняются индивидуальным анализом основы со стороны значения ее составных частей.

Но возможны также случаи, в которых к данной производящей основе присоединяются сразу, в одном акте словопроизводства, как префикс так и суффикс. Таковы, например, образования вроде *побережье* к *берег*, *заречье* к *река*, *подножие* к *нога* и т. п. Такой префиксально-суффиксальный характер имеют также образования вроде *па-сын-ок* при *сын*, *па-дчер-ица* при *дочь*, хотя это образования совсем непродуктивные, а образования типа *побережье* очень продуктивны.

О СЛАВЯНИЗМАХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ*

При изучении словарного состава современного русского литературного языка обычно уделяется очень большое внимание славянизмам. Но при этом часто упускается из виду, что самое понятие «славянизм» может иметь два разных значения: одно — генетическое, другое — стилистическое.

В генетическом смысле наименование славянизма приложимо ко всем тем явлениям современной русской речи, которые имеют не русское, а церковнославянское происхождение. В этом смысле славянизмами признаем так называемые неполногласные слова, вроде *нрав*, *враг* (при русских *норов*, *ворог*), слова, в которых вместо звуков *ч* и *ж*, ожидаемых по фонетическим законам истории русской речи, находим соответственно *щ* и *жд*, как например *освещать* (ср. *свеча*), *невежда* (ср. *невежа*), слова, начинающиеся звуком *е* вместо предполагаемого фонетическими соответствиями *о*, как например *единственный* (при *один*) и т. д., хотя бы все это были совершенно обычные слова современного русского языка, всякому понятные, общеупотребительные в письменной, а также и в устной речи лиц, получивших хоть некоторое образование. С этой точки зрения к славянизмам можно причислить и такие слова, которые заключают в себе хотя бы один какой-нибудь элемент, восходящий к церковнославянскому источнику, как например наши действительные причастия настоящего времени, в суффиксе которых согласный *щ* есть церковнославянская параллель русского *ч*, например: *горящий* (при *горячий*), *текущий* (при *текучий*) и даже *телефонирующий*, *транслирующий* и т. д., то есть причастия от глаголов новейшего западноевропейского происхождения. Слова эти, именно как с л о в а, разумеется, без явной бессмыслицы, не могут именоваться славянизмами. Но звук *щ* в их суффиксе восходит к церковнославянскому морфологическому образцу, и в этом смысле и они должны быть признаны славянизмами. Иными словами, все то в современном русском языке, что перешло в него из церковнославянского источника и связано с этим источником по своему происхождению, есть славянизм.

---

* [Журн. «Русский язык в школе», 1947, № 4.]

Совсем другое дело славянизм в стилистическом смысле. Это есть славянизм не по происхождению, а по у п о т р е б л е н и ю. С первых же дней его существования в русском письменном языке стало обнаруживаться присутствие двух начал: народного русского и церковнославянского книжного. Так, например, тексты древнейших летописных списков изобилуют параллельными словарными средствами, вроде *борода — брада, голова — глава, перед — пред, волоку — влеку, ночь — нощь, один — един* и т. д. Однако с течением времени в силу разнообразных причин, на которых здесь останавливаться невозможно, значительное число таких словарных дублетов устранялось из употребления. Одним из средств устранения таких дублетов было вытеснение из употребления русского варианта, так что употребительным оставался только церковнославянский вариант. Например, древние памятники дают многочисленные примеры употребления слов *храбрый* и *хоробрый* в одном и том же значении. Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Наплънився ратного духа, наведе своя *храбрыя* плъкы на землю Половъцькую», а в другом месте: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово *хороброе гнѣздо*». Однако в литературном языке нового времени слово *хоробрый* уже не употребляется. Это слово полностью вытеснено из употребления церковнославянской параллелью *храбрый*, которая из письменной речи перешла в устную речь, сначала, вероятно, только книжных людей, а потом и всего народа. До тех пор пока в употреблении находились оба варианта, церковнославянское слово *храбрый* на фоне народного русского слова *хоробрый* должно было восприниматься как нечто стилистически инородное, как особая принадлежность именно письменной или поэтической речи. Но с того момента, как слово *хоробрый* окончательно вышло из употребления, оставшееся в употреблении слово *храбрый* неминуемо должно было утратить эту особую стилистическую окраску и войти в общий фонд русского словаря, превратиться в обычное русское слово, каким оно и является в современном русском языке. Иначе говоря, слово *храбрый* перестало быть славянизмом в стилистическом смысле этого термина, хотя генетически оно, конечно, остается славянизмом.

Был также другой путь устранения тех дублетов, о которых здесь идет речь. Именно нередко наблюдаем, что русское и параллельное ему церковнославянское слово, означавшие сначала одно и то же, постепенно начинают дифференцироваться по значению, то есть обозначать разные предметы мысли. Например, в современном русском языке значения слов *сторона* и *страна* не совпадают, т. е. это действительно разные слова. Сейчас нельзя ходить «по правой *стране*», как нельзя путешествовать «по европейским *сторонам*». Но иначе обстояло дело раньше. Например, в Лаврентьевской летописи читаем: «Слышавъ же князь великый рѣчь их буюю и повелѣ приступити ко *граду* со всѣ *страны*» (то есть со всех сторон). В одной из редакций «Сказания о Борисе и Глебе» находим: «Бяше поставлена [храмина] надъ землею на деснѣи *странѣ*]» (то есть на

правой стороне). Особенно интересны случаи вроде следующего, заимствуемого из I Новгородской летописи по так называемому Синодальному списку, где в пределах одного предложения сразу встречаем и тот и другой вариант слова в совершенно одинаковом значении: «И отъ часа нача злоба множитися: прибѣгше они на свою Торговую *сторону* и рѣша [сказали], яко Софѣйская *страна* хощеть на насъ въоружатися». В этом примере слова *сторона* и *страна* означают: «часть города, расположенная по один берег реки». Слово *страна* в значении нашего *сторона* нередко встречается еще в языке XVIII—XIX вв., в литературных произведениях высокого стиля, как например в «Оде на взятие Хотина» Ломоносова:

И дух свой к тем *странам* впери,
Где всходит день по темной ночи...

или у Жуковского в балладе «Вадим» (вторая часть «Двенадцати спящих дев»):

И что ж он видит? По стене,
Как тень уединенна,
С восточной к западной *стране*,
Туманным облеченна
Покровом, девица идет...

Остатком этого словоупотребления в современном языке является географическое понятие *страны* света, то есть север, юг, запад и восток. Ср., с другой стороны, в современном народном языке и фольклоре слово *сторона* в таких выражениях, как «на чужой *стороне*», «из далекой *стороны*» и т. д. В общем, аналогично тому, что сказано выше о слове *храбрый*, можем заключить, что пока слово *страна* могло означать то же самое понятие, что и слово *сторона*, оно было стилистическим славянизмом. Но оно перестало им быть, как только получило значение, обособленное от значения слова *сторона*. В современном языке слово *страна* уже не славянизм в стилистическом смысле, хотя остается словом церковнославянского происхождения.

Наконец, в тех (также немалочисленных) случаях, когда параллелизм русского и церковнославянского вариантов того же слова устранялся тем, что церковнославянский вариант вытеснялся русским, церковнославянское слово в той мере, в какой еще сохранялась известная возможность его употребления, оставалось не только генетическим, но и стилистическим славянизмом. Так, слова *глад*, *гладный* уже очень давно вышли из общего употребления, уступив свои права русским вариантам *голод*, *голодный*. Тем не менее возможность употребить их в отдельном случае для какой-нибудь специальной стилистической цели (для важности слога, для шутки, для имитации библейской речи и т. п.) все же оставалась, да и сейчас остается. Так, в поэме Валерия Брюсова «Конь блед» встречаем следующую стилизацию на библейский лад:

Люди! Вы ль не узнаете божией десницы!
Сгибнет четверть вас — от мора, *глада* и меча!

И вот именно потому, что *глад* для нас слово неупотребительное, что в обычной речи в этом значении употребляется только русский вариант *голод*, церковнославянский вариант этого слова в наших условиях есть славянизм и в стилистическом смысле.

Надо теперь сказать, что в таком качестве стилистического славянизма могут иногда выступать и такие элементы речи, которые по своему происхождению вовсе не принадлежат к числу исключительных особенностей именно церковнославянского языка и свойственны не в меньшей мере определенным стадиям развития самой русской речи. Один из случаев этого рода — широко распространенное еще в первой половине XIX в. в стихотворной речи произношение звука *е* вместо *ё* в словах вроде *слез*, как например у Батюшкова:

Зачем он шел долиной чудной *слез*,
Страдал, рыдал, терпел, исчез...

Или в слове *мимолетом* в стихотворении Тютчева «Я помню время золотое»:

И ветер тихий *мимолетом*
Твоей одеждою играл,
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал!

Или в слове *еще* в известном месте «Евгения Онегина» у Пушкина:

Ничтожный призрак, иль *еще*
Москвич в гарольдовом плаще...

Во всех этих случаях рифма указывает на произношение *е*, а не *ё*. Дело в том, что уже в очень раннюю пору жизни русского языка вместо звука *е* не перед мягкими согласными стал произноситься звук *о*, например: вместо исконного *веселый* стали произносить *вес'олый*, вместо *села* (мн. число от *село*) — *с'ола* и т. п. Однако в орфографии это изменение произношения отражалось только в редких случаях (например, после шипящих могло появляться написание *о*: *жолудь* вместо *желудь* и т. п.). Как общее же правило, новое (хотя и рано уже, вероятно, установившееся в живой речи) произношение *вес'олый*, *с'ола* оставляло в силе исконную орфографию *села веселый*. Уже в новое время стали вводить орфографические новшества для того, чтобы можно было передать и на письме звук *о* появившийся на месте старого *ё*. Одно время (в XVIII в.) употребляли для этого сложную букву *îо*, например в сатирах Кантемира (изд. 1762 г.): *врîотвъ*. *всîо* и др. Позднее Карамзин стал употреблять для этой цели букву *ё*, и она была признана обществом и школой, хотя и очень редко употреблялась на практике, и только в наши дни ее употребление становится более регулярным. Известно в то же время, как сильно действует на произношение письменный образ слова, особенно в такой среде, для которой письменный язык не есть постоянное, привычное дело, а нечто к чему прибегают только в особые минуты жизни. Точно так же, как современный школьник, приучаясь читать по складам, старательно, по буквам, выговаривает *его*, хотя до поступления в школу не знал иного произношения, кроме *ево*, и наши

предки, в своей бытовой речи произносившие *слёз*, *ещё*, старательно выговаривали *слез*, *еще*, когда читали книгу. Подобное двоякое произношение с течением времени должно было получить стилистическое значение. Буквенное произношение вошло в систему средств церковнославянского языка и стало признаком произношения высокого, ученого, как об этом, между прочим, свидетельствует Ломоносов, который в своей «Российской грамматике» писал,что «в чтении книг и в предложении речей изустных» произношение «к точному выговору букв склоняется». Таким путем произношение *е* вместо *ё* стало церковнославянским, то есть стилистически окрасилось совершенно так, как действительные славянизмы.

Важно, что, как и в прежних случаях, такие своеобразные, в генетическом смысле — мнимые, славянизмы могли иногда вытеснять из употребления параллельные явления живого произношения. Этим объясняется, например, почему мы сейчас произносим *хребет*, *крест*, *жертва*, а не *хребёт*, *крёст*, *жортва*. В других случаях книжный и живой варианты произношения могли дифференцировать значения слова, например: *небо* и *нёбо*, *вселенная* и *вселённая* и т. д. Произношение *нёбо* в значении современного *небо* существовало еще сравнительно недавно в бытовой речи образованного круга. Ср., например, замечание Шишкова (Собрание сочинений, т. III, стр. 35): «Мы в просторечии не говорим *мещет*, как, например, не скажем *с неба упал*, но *с нёба упал*». Существует такое произношение и сейчас в наших крестьянских говорах. До тех пор пока можно было произносить, без различия в значениях, *небо* и *нёбо*, произношение *небо* было стилистическим славянизмом. Но оно перестало быть им, как только произношение *нёбо* оказалось вытесненным из общего употребления и *небо* осталось единственно возможным произношением данного слова в данном его значении, так как *нёбо* закрепилось за другим значением — анатомическим.

Из сказанного видно, что церковнославянский язык, составивший один из основных элементов русской письменной речи, имел в России свою историю. В своем первоначальном виде церковнославянский язык есть язык, созданный деятельностью Кирилла и Мефодия в IX в. Но в русском употреблении состав этого языка изменялся. Некоторые его элементы входили в общее русское употребление, не только письменное, но и устное, и тем самым переставали быть принадлежностью церковнославянского языка в отличие от русского. С другой стороны, состав церковнославянского языка пополнялся разного рода явлениями, отмиравшими в общем русском употреблении. Очень долгое время, вплоть до Петровской эпохи, церковнославянский язык в России был не что иное, как русский книжный язык в отличие от обиходного. Но вслед за тем он обособился от общего русского языка на правах именно ц е р к о в н о г о языка, в каком качестве сохранился до наших дней в употреблении верующих (православных). Все то, что в каждую данную эпоху для говорящих и пишущих есть специальная принадлежность церковнославянского языка своего времени и в этом качестве способно функцио-

нировать как наделенный определенными стилистическими свойствами церковнославянский вариант общеупотребительного средства русской речи, и есть славянизм в стилистическом смысле слова.

Все сказанное далее обнаруживает известную общую закономерность в истории славянизмов в русском литературном языке. Эта история в своих подробностях, можно сказать, почти совсем не изучена, и не она составляет предмет данной статьи. То, что сказано до сих пор, должно служить только объясняющим кратким введением к нижеследующему, где будет идти речь уже исключительно о славянизмах в современном русском языке (под современным языком я здесь подразумеваю языковое употребление XX в.). Присматриваясь к тем элементам современной речи, которые генетически могут быть возведены к церковнославянскому источнику, мы обнаруживаем, что все они в их отношении к их русским вариантам могут быть сгруппированы в три следующих разряда:

I. Славянизмы, русский вариант которых сейчас неупотребителен, хотя и известен во многих случаях по старым памятникам или произведениям фольклора, а также может встретиться в диалектах. Примером может служить соотношение: *храбрый — хоробрый.*

II. Славянизмы, русские варианты которых также употребительны в современном языке, причем церковнославянский и русский варианты соответствующих слов различаются своими значениями, составляя сейчас два разных слова. Примером служит параллель: *страна — сторона.*

III. Славянизмы, не встречающиеся в настоящее время в общем употреблении, хотя и известные по письменным памятникам старших эпох истории русского языка, в то время как русский вариант соответствующих слов принадлежит сейчас к общему употреблению. Этого рода славянизмы сейчас пригодны только для целей стилизации. Примером может служить параллель: *глад — голод.*

Из предыдущего ясно, что только в третьем из этих случаев мы имеем дело в современном русском языке с стилистическими славянизмами, а в первых двух случаях речь идет о словах, утративших свою стилистическую обособленность и вошедших в общий фонд литературной русской лексики. Проверим эту группировку славянизмов в современном русском языке на конкретных примерах. Воспользуемся для этой цели тем материалом, который приведен в известной книге А. А. Шахматова, Очерк современного русского литературного языка (изд. 4, 1941, стр. 70—90), причем остановимся не на всех, а только на нескольких наиболее отчетливых и часто встречающихся категориях славянизмов в отношении особенностей их структуры.

1. ПОЛНОГЛАСИЕ ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИЕ

Известно, что полногласием называется явление, когда в русском языке встречаем в соответствии с церковнославянским сочетанием *-ра-* между согласными сочетание *-оро-*, в соответствии с церковно-

славянским *-ре-* между согласными — *-ере-*, в соответствии с церковнославянским *-ла-*, *-ле-* между согласными — *-оло-* (но после шипящих —*-ело-*), например: *град — город*, *брег — берег*, *млад —молод*, *влеку—волоку*, *шлем—шелом*. Нетрудно убедиться, что все неполногласные слова в современном языке действительно распределяются по трем указанным разрядам. Пользуясь списком слов, который приводится у Шахматова (указанное сочинение, стр. 72—74), группируем этот материал так[1]:

I разряд — тип: *храбрый — хоробрый*, *благо* (и однокоренные: *блаженный*, *поблажка*, *ублажать* и пр.), *возбранять*, *безбрежный* (*небрежный*, *пренебрегать*), *бремя* (*обременять*), *влага* (*влажный*), *владыка* (*владеть*, *совладать*), *область* (*облако*), *власяница*, *увлекать* (*развлекать*, *облекать*), *враг* (*вражда*), *привратник*, *превратный*, *возврат*, *вред* (*вред* — болячка — стало уже диалектизмом), *повреждать*, *время* (*повременить*), *главенство* (*заглавный*), *градоначальник*, *градоправитель*, *ограда* (*ограждать*, *преграждать*), *награда*, *возглас*, *согласие*, *приглашать*, *драгоценный*, *древесный*, *древонасаждение*, *жребий*, *здравствовать*, *златолюбие*, *зрачок*, *призрак*, *прозрачный*, *невзрачный*, *кратный* (*многократный*), *кратчайший*, *прекратить*, *сокращать*, *младенец*, *омрачать*, *млекопитающее*, *нравственный*, *нравиться*, *плен* (*пленить*), *праздный*, *праздник*, *пламя* (*воспламенить*); слова с приставкой *пре-*, например: *преступник*, *престол*, *прекрасный*, *прелестный*, и с приставкой *пред-*, например: *председатель*; *вопреки*, *прекословить*, *запрет*, *смрад*, *срам*, *средостение*, *сладкий*, *среда*, *странный* (*страница*), *стража*, *требовать*, *непотребный*, *употребить*, *трезвый*, *прохлада*, *храбрый*, *охрана*, *сохранный*, *член*, *расчленить*, *чревоугодие*, *учреждать*, *чрезмерно*, *чрезвычайно*, *шлем*.

II разряд — тип: *страна — сторона*, *власть — волость*, *влачить — волочить*, *совратить — своротить* (здесь сменяются не

---

[1]. Из этого материала исключаю сомнительные случаи вроде *врач* и ошибки. Например, выражение *бразды правления* заключает в своем составе вовсе не то слово *бразды*, какому в живом русском языке соответствует слово *борозды*, а слово, имевшее в древности вид *бързды*, которое следовало бы писать теперь *бразды*. Именно так писалось это слово еще в XVIII—XIX вв.

Ср., например, в Сочинениях Державина (1808, ч. II, стр. 166—167, ода «Колесница»):

Уж дым с их [коней] жарких морд валит,
Со ребр ліется пот рѣками,
Со спин над облаком летит,
Со *брозд* кровава пѣна клубом
И волны от копыт текут.

Ср. т а м ж е, (ч. I, стр. 99, «Изображение Фелицы»):

Чтобъ конь подъ ней главой крутился
И бурно *брозды* опѣнял.

Слово *брозды* значит «вожжи, удила», откуда и нынешнее *бразды правления*. В нынешнем написании этого слова отразилось его смешение со словом *бразды*, составляющим неполногласный вариант нашего *борозды*. Смешение это началось уже давно. Ср., например, в «Полтаве» Пушкина в изображении боя: «*Браздами*, саблями стуча», а с другой стороны, в первой сатире Кантемира (изд. 1762, стр. 8): «Когда по небу сохой *брозды* водить станут» (где речь, разумеется, о *бороздах*).

только *врат-* и *ворот-*, но также *со-* и *с-*), *отвратить — отворотить*, *развратт — разворот*, *врата* (только «царские», в церкви) — *ворота* [1], *глава* (в книге; *глава* правительства) — *голова*, *главный — головной*, *гражданин — горожанин* (с чередованием также *жд* и *ж*), *здравый* (ум) — *здоровый*, *краткий — короткий*, *мрак — морок* (редко употребляется в значении «дурман», например у Блока: «Темный *морок* цыганских песен»), *млечный* (только путь) — *молочный*, *нрав — норов*, *прах* (*прах* родителей, отряхнуть *прах* с ног, в пух и *прах*) — *порох*, *предать — передать*, *превратить — переворотить*, *преступить* (закон) — *переступить* (порог), *страна — сторона*, *страж* (только в фигуральных значениях) — *сторож*, *хранить — хоронить*. Как видно из приведенного материала, II разряд количественно беднее.

III разряд — тип: *глад — голод*. Шахматов не помещает, естественно, в свой список славянизмов таких слов, которые в настоящее время неупотребительны (стр. 74, впрочем, не всегда, ср., например, *прекосердие*). Однако в его списке попадаются некоторые русские слова, лишенные в современном общем употреблении неполногласных параллелей и потому относящиеся к данному разряду. Сюда относятся: *оборона* (также *оборонять*), *борозда* (о слове *бразда* см. примечание на стр. 449), *берег*, *берегу* (*беречь*, *бережливый*), *беременная*, *оболочка*, *волос* (*волосяной*), *проволочка*, *ворожить*, *переворот*, *заголовок*, *город*, *голос* (*голосистый*, *голосовой*), *дорогой*, *дерево*, *золото*, *коротать*, *молодой* (*молодец*), *мороз*, *обморок*, *морочить*, *молоко*, *норовить*, *порожний*, *перестать*, *перенять*, *передок*, *передний*, *поперек*, *середина* (*середка*), *сторожить*, *холод* (*холодный*), *похороны*, *очередь*, *черед*, *через*. К этой же серии слов относятся: *борода*, *ворон* и *ворона*, *корова*, *болото* и др.

Что касается соответствующих церковнославянских вариантов, то чем ближе к сегодняшнему дню, тем труднее отыскиваются примеры их литературного употребления, которое при этом всегда продиктовано специальным, каким-нибудь узким стилистическим заданием (подражанием языку прежних эпох, в частности нередко подражаниями языку Пушкина, стилизациями в тоне классицизма и в библейском тоне, шуткой и т. п.). Относительно легче найти такие примеры в стихотворных произведениях символистов, например у Блока в «Возмездии»: «От *берегов* родного моря» и «На отдаленный финский *брег*»; «Как будто в смутном сне душа его застыла *молодая*» и «Душа больная, но *младая*»; «Того, кто побыл на войне, порой пронизывает *холод*» и «Сквозь жар души, сквозь *хлад* ума» (не лишено значения, что здесь *хлад* употреблено фигурально). Ср. у Брюсова в стихотворении «Эней» («Пути и перепутья», т. III, 1909, стр. 120): «И ночь была над сонным *градом*»; у В. Иванова в «Подражаниях Платону» («Прозрачность», 1904, стр. 110): «Беспечные, вам чужд времен могильный *глас*» и т. п. Впрочем, и здесь мы найдем таких примеров немного. Все такие случаи по существу не отличаются от

[1] Новое слово *вратарь* (как футбольный термин), Шахматову неизвестное, относится к I разряду.

прямо противоположных по внешности, в которых употребительно слово, представляющее собой давно утраченный русский вариант славянизма I разряда, как например у Брюсова в стихотворении «Летом 1912 года» («Семь цветов радуги», 1916, стр. 11):

Что впереди? Обрыв иль спуск? Но общий *ворог*,
Стоит старуха смерть у каждого угла.

Разумеется, слова *ворог*, так же как слов *брег*, *град*, *глас*, в современном русском языке в строгом смысле нет. Они существуют только как заимствования из другой языковой системы для целей той или иной стилизации.

В общем приходим к выводу, что славянизмы в стилистическом смысле в современном русском языке употребляются редко.

К сделанному обзору неполногласных и полногласных слов следует сделать теперь два примечания. Во-первых, важно иметь в виду, что здесь речь идет именно о словах как отдельных и самостоятельных элементах словарного состава, а не о словопроизводственных гнездах слов. Размежевание русских и церковнославянских вариантов одного и того же слова имеет разную историю применительно к каждому отдельному слову. Поэтому то, что действительно для какого-нибудь слова в данном его словопроизводственном виде, может оказаться неприложимым к другому слову того же корня или с той же основой. Например, *возбранять* относится к I разряду, и при нем нет *возборонять*, но в III разряде при *оборонять* нет церковнославянского соответствия *обранять*. То же относится к параллелям вроде *бремя — беременная*, *враг — ворожить*, *древесный — деревянный*, *здравствовать — здоровяк*, *младенец — молодец*, *прохладный — холодный*. Следует обратить внимание на сложные слова, которые особенно часто оказываются в I разряде, например: *древонасаждение*, *градоначальник*, *млекопитающее*, *златокованый* и др (с другой стороны, ср. *золотоносный*) Вообще вопрос о связи между судьбой данного полногласного или неполногласного сочетания и морфологическим типом данного слова подлежит специальному изучению, но нет сомнения, что такая связь существует. Вполне естественной представляется разная судьба двух разных слов одного корня в том случае, когда имеем дело с образованиями, оторвавшимися одно от другого и потерявшими свою соотносительность, как например: *враг — ворожить*, *сберечь — пренебречь* (в современном языке в последнем слове уже не выделяется морфема с сочетанием *бре-*). С другой стороны, очень поучительны те случаи, в которых вскрывается разная судьба, наоборот, очень близких по значению образований, тесно зависящая, однако, от способа словопроизводства. Например, при слове *оградить* есть полногласная параллель *огородить* (II разряд). Однако несовершенный вид *ограждать* уже не имеет при себе прямого полногласного соответствия, так как к слову *огородить* несовершенный вид образуется иначе и звучит *огораживать*. Таким образом, *ограждать*, с точки зрения изложенной выше классификации, принадлежит уже к I разряду (ср. *отвратить — отвращать*,

но *отворотить — отворачивать*; *облечь* (из первоначального *обвлечь*) — *облекать*, но *обволочь — обволакивать* и многие другие). Иной случай представляет собой соотношение *короткий — короче*, но в значении превосходной степени возможно только *кратчайший*.

Последний пример дает повод перейти ко второму примечанию. Оно касается слов II разряда, то есть таких параллелей, каждый член которых обладает самостоятельным значением и в которых, следовательно, имеем дело уже не с вариантами одного слова, а с двумя в подлинном смысле разными словами. В этих случаях семантическая дифференциация не непременно должна быть абсолютной, потому что возможны и промежуточные ее формы. Дело может обстоять так, что один член параллели обладает тем же значением, что и второй, но сверх этого общего обоим вариантам значения имеет также и еще одно, свое. Вообще в некоторых сравнительно редких теперь случаях (в прежние эпохи они встречаются чаще) у обоих членов параллели могут быть некоторые общие значения, но при непременном условии разности отдельных значений. Так, например, как слово *краткий*, так и слово *короткий*, между прочим, означают «непродолжительный по времени», так что можно сказать: «на *короткий* срок» и «на *краткий* срок», «*короткий* разговор» и «*краткий* разговор» (см. эти слова в Толковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова, т. 1). Но *короткий* сверх того означает и «недлинный», например: «*короткая* палка», «*короткие* волосы», а *краткий* в этом значении приложимо лишь к слову *путь* (но не дорога!). Далее, *короткий* означает еще «отрывистый» («*короткий* удар грома»), «быстрый и решительный» («*короткая* расправа»), «близкий» («в *коротких* отношениях»). Со своей стороны, *краткий* означает «сжато изложенный» («к р а т к и й курс истории») и применяется для обозначения звуков речи, противоположных долгим («*и краткое*»). Этот пример показывает, что семантическая дифференциация слов II разряда возможна разных типов и степеней. Нужно сказать также, что очень часто эта дифференциация относительно слаба и проявляется лишь в том, что один член параллели представляет собой фигуральное употребление значения первого члена как например: *преступить* или *переступить*, *оградить* или *огородить*, *страж* при *сторож* и т. п.

Покажем теперь на нескольких примерах, что предложенная классификация слов церковнославянского происхождения в русском языке сохраняет свою силу и в применении к другим типам славянизмов. Разница будет лишь в том, что в III разряде будем наблюдать все меньшую возможность употребления славянизмов в современном русском языке.

2. СЛОВА С ЗВУКАМИ *Щ* И *ЖД* ВМЕСТО *Ч* И *Ж*

Известно, что русскому *ч* в ряде случаев в церковнославянском соответствует *щ*. Это бывает, во-первых, там, где наше *ч* и церковнославянское *щ* находятся на месте доисторического сочетания *tj*,

как например в словах *освещать* (ср. *свеча*), *лежащий* (ср. *лежачий*); во-вторых, там, где упоминаемые звуки заменили собой доисторическое сочетание *kt* перед гласными переднего ряда, как например в русском слове *печь* — церковнославянском — *пещь* (из *пек+ти*, ср. *пеку*), *ночь* — *нощь* (на первоначальный вид корня указывает, например, латинское слово *nox*, *noktis*). Нетрудно убедиться, что те русские слова, в которых находим *щ* вместо ожидаемого по законам русской исторической фонетики *ч*, распределяются по трем разрядам вполне аналогичным тем, которые рассмотрены выше. Иными словами, в I разряд отнесем слова с звуком *щ* указанного происхождения, при которых в настоящее время нет в общем употреблении русских параллелей со звуком *ч*, ко II разряду — такие, при которых есть русский вариант со звуком *ч*, но употребляющийся в ином значении, к III разряду — те, которые в нынешнем употреблении вытеснены русскими параллелями и могут употребляться главным образом для целей стилизации. Вот примеры (их гораздо меньше, чем в области слов с полногласием и без полногласия):

I разряд — тип: *пещера — печера*. Кроме этого слова (см., например, в Лаврентьевском списке летописи: «Ископаша *печеру* велику, и церковь, и кѣльи, яже суть и до сего дне в *печерѣ* подъ ветхымъ манастыремъ»), сюда же относятся из приводимых Шахматовым (ук. соч., стр. 76): *общий* (*общество*), *овощь*, *всенощная*, и затем слова, в которых звук *щ* является в определенных морфологических положениях, именно в инфинитивах глаголов несовершенного вида на *-ать* и в 1-м лице настоящего времени и страдательных причастиях прошедшего времени соотносительных глаголов совершенного вида на *-ить*, а также в связанных с ними отглагольных существительных на *-ение*, как например: *возвращать — возвращу — возвращён — возвращение*, *укрощать — укрощу — укрощён — укрощение*, *запрещать — запрещу — запрещён — запрещение*; то же в случаях *сокращать*, *освещать*, *освящать*, *поглощать*, *посещать* и пр. Слово *сообщать*, которое Шахматов зачисляет в этот же ряд, на самом деле сюда не относится, так как здесь в исходе основы современного вида не *т* в чередовании с *щ* (ср. *возвратить — возвращу*), а только *щ* (*сообщить — сообщу*), и о нем следует говорить в связи с упомянутым выше словом *общий*. Далее, сюда относятся такие параллели, как *роптать — ропщу*, *трепетать — трепещу*, *клеветать — клевещу*. К числу слов, в которых *щ* церковнославянского происхождения поставлено в определенное морфологическое положение, относятся еще причастия действительного залога настоящего времени на *-ущий*, *-ющий*. Из них к I разряду относятся те причастия этой категории, при которых нет параллели с звуком *ч* в значении прилагательного, то есть, например, *читающий*, *пишущий*, *гуляющий* и т. д.

II разряд — тип: *горящий — горячий*. Сюда относится некоторое число упомянутых только что причастий, при которых, наоборот, есть параллель с звуком *ч* в значении прилагательного. Кроме *горящий — горячий*, это *ходящий — ходячий*, *сидящий — сидячий*,

лежащий — лежачий, висящий — висячий, бегущий — бегучий, текущий — текучий, могущий — могучий. Ср. у Пушкина в «Песни о вещем Олеге»: «Незримый хранитель *могущему* дан», где *могущий* употреблено, в согласии с языковой нормой того времени, в значении нашего *могучий* и, следовательно, является славянизмом и в стилистическом отношении. Кроме того, к данному разряду можно отнести еще такие параллели, как *вращать — ворочать, помощь — помочь* (в сельском быту), *мощь — мочь* («во всю *мочь*», «нет *мочи*»). Вообще же здесь примеров немного.

III р а з р я д — тип: *нощь — ночь.* Число русских слов с звуком *ч* указанного происхождения, к которым не существует в общем употреблении варианта с звуком *щ*, очень велико. Сюда относятся все инфинитивы на *-чь*, например: *беречь, жечь, лечь, мочь, волочь, печь, помочь, сечь, стеречь, стричь* и пр., далее *печь* (сущ.), *дочь, свеча, плечо, отвечать, хочу* и многие другие. В то же время почти невозможно себе представить в современном употреблении такие слова, как *свеща, хощу, пещь* и пр. Ближе к современному языковому сознанию слово *дщерь*, представляющее собой своеобразную параллель к *дочь*; однако и это слово в строгом смысле современному русскому языку неизвестно и может быть употреблено лишь как цитата из иной языковой системы для целей стилизации (в фамильярной речи оно иногда употребляется с шутливо-ироническим оттенком).

Соответственно тому, как доисторическое сочетание *tj* заменялось звуком *щ* в церковнославянском языке и звуком *ч* в русском, сочетание *dj* заменялось в церковнославянском сочетанием *жд*, а в русском — звуком *ж*. Как видно из дальнейшего, слова современного русского языка, в которых есть *жд* или *ж* данного происхождения, также распределяются по трем указанным разрядам

I р а з р я д — тип: *надежда — надёжа.* Слово *надёжа* нам хорошо известно, но оно явно не принадлежит к лексической системе литературного языка. Таково же соотношение между словами *одежда* и *одёжа*, где, однако, нелитературный (областной, просторечный) характер варианта с звуком *ж* выражен гораздо более слабо. Совсем не имеют вариантов с звуком *ж* (хотя имели их в древности) слова *между, прежде, жажда, вождь, наслаждение, побеждать, порождать, убеждать.* Ср. в древней летописи (по Лаврентьевскому списку): «Люди изнемогоша водною *жажею* и предашася», или, например, в «*Хожении* игумена Даниила» (XII в.): «Не возможно безъ *вожа* ходити». Как и в предыдущем случае, сочетание *жд* является в морфологизованном виде в тех же глаголах несовершенного вида на *-ать*, однако с той разницей, что в 1-м лице настоящего времени от соответствующих глаголов современного вида на *-ить* будет не *жд*, а *ж*, например: *порождать — порожу — порождён — порождение, предупреждать — предупрежу — предупреждён — предупреждение.* На *-жду* кончается 1-е лицо настоящего времени в случаях *стражду* и *жажду*, но случаи эти совсем особые, не имеющие отношения к только что упомянутым. *Стражду* есть случайно уцелевшее архаическое образование к *страдать*, как *жажду* к старинному *жадать*,

которое, в силу аналогии с основой настоящего времени, заменилось образованием *жаждать*. Так или иначе, но у всех перечисленных здесь слов нет параллельных образований с *ж* вместо *жд* в современном языке.

II разряд — тип: *невежда — невежа*. Кроме этой параллели, сюда относятся еще *гражданин — горожанин* (двойное чередование: *ра —оро* и *жд— ж*), *рождать* (только в фигуральном употреблении)— *рожать*, *провождать* (тоже только фигурально, но уже устарело) — *провожать* (ср., однако, у Пушкина в «Метели»: «Мысль, что уже в последний раз *провожает* она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце»; мы бы сказали сейчас *проводит*; в современном *проводить* слилось два слова: 1) совершенный вид к *провожать* и 2) несовершенный вид к *провести*), *чуждый — чужой*. Вследствие относительной близости значений двух последних слов при чтении старых текстов легко ошибиться, приняв одно из этих значений за другое. Например, в стихах Пушкина («Цыганы»):

И смертью *чуждой* сей земли
Неуспокоенные гости —

чуждой значит, несомненно, «чужой», а не то, что мы теперь обозначаем словом *чуждый*, то есть здесь *чуждый* есть еще стилистический славянизм, каким это слово перестало быть для нас.

III разряд — тип: *вижду — вижу*. Здесь приходится с еще большим основанием применить сказанное относительно III разряда слов с звуком *щ* вместо *ч*: почти невозможно представить себе в современном употреблении такие слова, как *межда, сажда, освобожду, хужде, твёржде*, вместо *межа, сажа, освобожу, хуже, тверже*, тем более что и в старшие периоды истории русского языка подобные славянизмы употреблялись крайне редко. Дело в том, что церковнославянские слова на *жд* вместо русского *ж* были усвоены русским языком на несколько столетий позже других церковнославянских слов, и еще в первые десятилетия XVII в. они были относительной редкостью. Еще и в это время даже в самых высоких жанрах письменности постоянно употреблялись такие слова, как *рассужение* (а не *рассуждение*), *гражане* (а не *граждане*), *вожь* (а не *вождь*). Позднее вторжение этой категории славянизмов в русский язык объясняет то обстоятельство, что слова данной категории сразу же размежевались с соответствующими русскими вариантами путем или вытеснения их из употребления, или же семантической дифференциации. Таким образом, им почти совсем не пришлось побывать в русском языке на правах славянизмов стилистических, так как тот момент в жизни русского языка, в течение которого можно было одновременно употреблять параллельные образования вроде *рассужение — рассуждение, вижу — вижду* и т. п., был чрезвычайно короток. Вот почему в наше время славянизмы с сочетанием *жд*, относящиеся к III разряду, попросту практически невозможны почти ни в каких условиях употребления. Независимо от этого, самое число русских слов на *ж*, попадающих в эту категорию, вообще очень незначительно.

Таким образом, подтверждается в новой форме уже сделанное выше наблюдение относительно того, что современный русский язык в целом мало пользуется славянизмами как стилистическим средством и за самыми редкими исключениями обходится без них.

3. СЛОВА СО ЗВУКОМ *Е* ВМЕСТО *О*/ *Ё*/ НЕ ПЕРЕД МЯГКИМИ

О происхождении таких параллелей, как *небо — нёбо* и т. п., сказано выше. Относящиеся сюда явления также распределяются по намеченным трем разрядам.

I разряд — тип: *надежда — надёжа*. Сюда относятся слова, в которых возможно только церковнославянское произношение, выступающее в них или совместно с другими признаками церковнославянского языка, например совместно с *жд* в слове *надежда*, совместно с *щ* в слове *пещера* (ср. название реки *Печора*), или без такого сопровождения, как например в словах *хребет, крест* (ср. *крёстный*), *жертва, предмет, щедрый, жезл, пекло, скверна* (также *скверный*), *мерзость, дерзость* и др. (ср. Шахматов, ук. соч., стр. 78—79). Сюда же отнесем *одежда — одёжа* с той оговоркой, что *одёжа* употребляется в живом просторечии, что, однако, не делает еще слово *одежда* стилистическим славянизмом.

II разряд — тип: *небо — нёбо*. Кроме данной параллели и названной выше *вселенная — вселённая*, сюда можно отнести еще *падеж* (в грамматике) — *падёж* (скота), *крестный* (ход) — *крёстный* (отец), *совершенный* (прилагательное) — *совершённый* (причастие), *истекший* (например, срок) — *истёкший* (причастие от *истечь*); такое же соотношение в случаях *почтенный — почтённый, несравненный — несравнённый* (от *не сравнить*) и др.

III разряд — тип: *веселый — весёлый*. Здесь следовало бы перечислить громадное число слов современного русского языка, в которых произносится гласный *о* после мягкой согласной и при которых нет церковнославянского варианта с произношением *е* вместо такого *о*, то есть, например, *ёлка, тётка, грабёж, чёрный, весёлый, мёртвый, идёт* и множество других. Произношение *е* вместо *ё* в таких словах представляется совершенно невозможным в современном языке, но было широко распространено в стихотворном языке первой половины XIX в., как об этом свидетельствуют рифмы вроде *веселый — смелый* и т. п. Есть тем не менее и сейчас возможность двоякого произношения некоторых немногих слов вроде *наемник* (с производными), *современный*: для тех, кто произносит *наёмник современённый* (оставляю здесь вопрос об орфоэпичности такого произношения, оговорившись лишь, что мне самому такое произношение чуждо), произношение *наемник, современный* должно казаться устарелым и потому, при надлежащих условиях, способным стилистически функционировать в качестве славянизма. Легко, впрочем, видеть, что возможность стилистического славянизма в данном разряде

сводится в конце концов к нулю, и это вполне соответствует аналогичным наблюдениям относительно III разряда в других рассмотренных выше категориях.

Такое распределение славянизмов по трем разрядам возможно и во всех прочих случаях. Оно сохраняет свою силу и по отношению к таким славянизмам, которые в составе русского языка выделяются не по внешним звуковым показателям, а путем собственно исторического исследования условий, при которых они вошли в русское употребление. Так, например, мы знаем, что слова *риза*, *истина*, *лобзать* вошли в русский язык из церковнославянского. Но первое из них, означавшее в языке-источнике одежду вообще, на русской почве получило специализованное значение (облачение священника при богослужении) и в этом значении не имеет при себе никакой русской параллели. Следовательно, это славянизм I разряда, переставший быть славянизмом в стилистическом смысле, так как слово это употребляется не вместо какого-нибудь русского, как его стилистический заместитель, а само по себе, как прямое название известного предмета мысли. Иначе обстоит дело со словом *истина*. Оно тоже не есть сейчас стилистический славянизм, но при нем есть русская параллель в слове *правда*, до сих пор сохраняющем характер синонима к слову *истина*, однако не совпадающем с этим словом полностью по своему значению и фразеологическим свойствам. Это есть явление, аналогичное до известной степени тем, которые мы выше наблюдали во II разряде славянизмов в их соотношениях с русскими вариантами того же корня. Наконец, что касается слова *лобзать*, то вполне очевидно, что это славянизм III разряда. Это слово, в общем, вытеснено из русского употребления русским словом *целовать*. Но если бы сейчас кто-нибудь употребил его ради той или иной цели стилизации, то его употребление имело бы точно такой же стилистический смысл, как употребление слова *глад* вместо *голод*, *дщерь* вместо *дочь* и т. д.

Так как здесь речь идет о славянизмах, которые, пользуясь выражением Шахматова (ук. соч., стр. 93), обличают свое церковнославянское происхождение не своей внешней формой, а только самими значениями своими и своей культурной историей, то в составе современной русской речи легче всего из их числа выделить те слова, которые принадлежат к III разряду. Это происходит потому, что такие слова обособлены от основного запаса русских слов именно своей неупотребительностью, в то время как прочие славянизмы слились с русским словарем до конца и для их выделения требуются специальные историко-лингвистические разыскания. Поэтому не нужно больших усилий для того, чтобы усвоить, что такие слова, как например *рек* (сказал), *перст* (палец), *ланита* (щека), *чело* (лоб) и т. д., имеют церковнославянское происхождение, но по отношению к таким словам, как *истина*, *питать*, *секира*, это еще нужно доказывать. Кстати замечу, что в таких словах, как *рек*, *перст*, церковнославянское их происхождение вполне гармонирует с их книжным произношением (*е* вместо *ё*). Поэтому же в известной строчке Тютчева: «Мысль *изреченная* есть ложь» — произношение *изречённая* стилистически

совершенно непереносимо, несмотря на общий закон, по которому в современном языке в причастиях всегда имеем *ё*, а не *е*, ср. *вселённый*, *совершённый*, *почтённый* и т. д. Нужно добавить еще, что отдельные значения одного и того же слова могут занимать разное место в системе современного языка и попадать в разные разряды славянизмов. Например, в выражении *воистину* мы имеем дело с славянизмом III разряда, точно так же как в следующем употреблении слова *риза* у Пушкина:

И *ризу* влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Надо, далее, указать, что славянизмы могут быть не только лексические, но также и морфологические. Сюда относятся, например, многочисленные устарелые окончания в формах склонения и спряжения, долгое время употреблявшиеся в русском письменном языке на правах стилистических славянизмов и в послепетровское время постепенно вышедшие из литературного употребления, вроде *руцѣ* (дат. ед.), *на крылѣхъ* (предл. мн.), форм аориста и имперфекта, форм причастий вроде *создавый* (то есть создавший), и многие другие. Всё это формы в современном литературном языке невозможные, и они должны быть зачислены в наш III разряд. Только изредка некоторые из подобных явлений могут быть употреблены теперь с какой-нибудь нарочитой стилистической целью (ср. ироническое *телеса*, *словеса* вместо *телá*, *словá*). С другой стороны, слова *небеса*, *чудеса* представляют собой морфологические славянизмы I разряда, так как при них нет никакого варианта основы. Ср. еще такое соотношение глагольных основ, как *стражду — страдаю*, *внемлю — внимаю*, *движу — двигаю* и т. п. Сюда можно отнести еще слова вроде *боже* (по происхождению — звательный падеж), *вкратце* (предлог *в* с предложным падежом от слова *кратко*), *воочию* (предлог *во* с предложным падежом двойственного числа от слова *око*) и некоторые другие. Наконец, ко II разряду отнесем параллели вроде *служивый — служивший*, *посевы табака — понюшка табаку* (если следовать верной мысли Шахматова о том, что родительный падеж ед. числа на *-а* удерживался у нас в употреблении в соответствующих словах под церковнославянским влиянием) и др. Примеров здесь немного, и они не всегда выразительны, но закономерность та же.

Остается добавить, что только при одном условии сохраняются в современном употреблении славянизмы III разряда разных типов как лексические, так и морфологические, именно — в поговорках, цитатных выражениях, фразеологических сращениях. Так, мы и сейчас говорим: «устами младенцев *глаголет* истина», «беречь что-нибудь, как *зеницу ока*», «*глас* вопиющего в пустыне», «*денно* и *нощно*», несмотря на то, что слов *глаголет*, *зеница*, *око*, *глас*, *нощно* в отдельном употреблении у нас давно не существует. Точно так же мы говорим: «работать *в поте* лица своего», «*сыны* родины», «темна вода *во облацех*», хотя вне подобных закрепленных выражений можно сказать только *в поту*, *сыновья*, *в облаках* и пр. Но указанный случай употребления славянизмов только подтверждает все предшествую-

щее. В данных случаях речь идет о явлениях, как бы вынутых из общей системы современного языка и существующих в языковом употреблении только на правах извлечений (хотя бы и ставших привычными) из иной языковой системы, принадлежащей иной обстановке речи.

Самый важный вывод из всего указанного до сих пор заключается в том, что в современном русском литературном языке славянизмы не составляют уже живой и действенной стилистической категории. В этом, между прочим, очень важное различие между языком современной художественной литературы и языком художественной литературы начала и середины XIX в., особенно литературы стихотворной. В стихах Пушкина, его предшественников, сверстников и ближайших преемников славянизмы III разряда представлены очень обильно. Наконец, в том же факте почти полного отсутствия в современном языке стилистических славянизмов находит себе прекрасную и исчерпывающую иллюстрацию старая мысль, что в составе современного русского литературного языка вошедшие в него книжные и живые элементы русской речи слились в одно неразличимое целое.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

ОРФОГРАФИЯ КАК ПРОБЛЕМА ИСТОРИИ ЯЗЫКА

[ПЕЧАТАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ НАПИСАНО В 1945 г.]

Историки языка обычно очень пристально изучают орфографию памятников, но преимущественно с той целью, чтобы этим путем разгадать звуковой строй речи, отражаемой данным памятником. Между тем орфография может и должна изучаться не только как ключ к фонетике, но так же и как самодовлеющее явление языка среди прочих других его явлений — фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики и т. д. Иначе говоря, возможна и необходима особая лингвистическая дисциплина, имеющая своим предметом орфографию как таковую. Эта дисциплина должна изучать орфографические факты в их взаимной соотносительности со стороны образуемой ими системы, как она вообще обнаруживается в фактах истории языка.

Надо оговориться, что здесь идет речь об орфографии не непременно нормализованной. Этимологическое значение самого слова «орфография», к сожалению, таково, что мешает мыслить орфографию в отвлечении от принципа упорядоченности языкового употребления. К тому же орфография — это чуть ли не первое в языке, на что обращается нормирующее внимание человеческого общежития. И тем не менее можно и должно изучать орфографические факты в их объективной данности, независимо от того, какими правилами употребления они продиктованы и в какой степени они вообще отвечают тем или иным правилам. Может быть, нужно было бы условиться называть с данной точки зрения эти факты как-нибудь иначе. Но сейчас я не хочу придумывать новых терминов в надежде, что сделанная оговорка достаточна для предупреждения возможных недоразумений.

Имея в виду эту оговорку, попытаюсь наметить теперь некоторые общие положения которыми, как мне кажется, может быть охарактеризована постулируемая здесь наука об орфографии как особом и специфическом явлении истории языка.

I. Все орфографические различия, наблюдаемые в истории языка, могут быть прежде всего сведены в две следующие основные категории:

1) Орфографические различия, прямо отражающие соответствующие звуковые различия. Это орфограммы, выступающие как знаки

звуков речи в их различиях и связях. Такие орфографические различия могут быть поэтому названы служебно-орфографическими различиями.

Они могут отражать:

а) различия фонем, например: *трáвы — вóды, травá — водá* или же

б) различия разных положений одной и той же фонемы (вариантов), например: *вадá — вóды, тровá — трáвы.*

Разумеется, самое качество звука ни в какой орфографии никогда прямо не отражено и может быть установлено только исследованием соответствующей произносительной традиции, откуда бы это исследование ни черпало нужные ему для этого данные.

2) Орфографические различия, не зависящие от различий фонетических. Этого рода различия в свою очередь могут быть двух родов:

а) орфографические различия, обладающие дифференцированными функциями, грамматическими или лексическими. Соответственно их можно называть функционально-орфографическими различиями. Сюда относятся, например, различия в употреблении строчных или прописных букв, различия слитных и раздельных написаний вроде *не даром — недаром.* В известный период древнерусской письменности существовали такие орфографические различия данной категории, как например *рабомъ* (твор. ед.) — *рабѡмъ* (дат. мн.), соответственно *конемъ — конѣмъ.* Мелетий Смотрицкий учил различать *ꙗзыкъ* в значении «народ» и *ꙋзыкъ* в значении «удъ тѣлесный». Сюда же отнесем различия вроде *сѣлъ — селъ* в стихотворной традиции XVIII в., *ѣли — ели, миръ — мíръ* и т.п. в орфографии досоветского времени. Ср. известную цепь подобного рода написаний во французском языке: *cent, s'en, sang, sens, sans.* Это явления, отчасти родственные явлениям идеографии, хотя и не вполне того же характера.

Сюда же могут быть причислены и случаи вроде *варение — варенье*, где разница написаний выражает разницу между nom. actionis и nom. acti, но не непременно разницу произношения, которое может оставаться одинаковым в обоих случаях;

б) орфографические различия с тожественностью функции, например: *вѣроу — вѣрѫ* , *търгъ — трѣгъ — тѣрѣгъ* в древнерусском языке, *мѣлъ — мелкíй* в досоветской орфографии, *добрый — милой* в орфографии хотя бы пушкинского времени и т. д.

Это различия с о б с т в е н н о орфографические, то есть такие, за которыми не стоят никакие различия иного рода. Конечно, без помощи фонетики, грамматики и лексики невозможно установить, имеем ли мы дело с различиями собственно орфографическими или орфографическими различиями другой природы. Но ведь так и всегда бывает в науке о языке. Например, без помощи морфологии невозможно установить, две разные фонемы или два варианта одной и той же фонемы представляют собой чередование *д* твердого и *д* мягкого в словах *вода — воде.* Однако от этого фонетика не перестает быть наукой с самостоятельным объектом.

II. Последняя из отмеченных групп орфографических явлений представляет тот специфический интерес, что относящиеся к ней орфографические факты бессодержательны, точнее — исчерпываются исключительно лишь своим орфографическим содержанием. В истории языка подобные орфографические различия с течением времени или вовсе устраняются, или же получают различные функции.

Пример первого рода — устранение дублета *оу* — *ѫ* в течение XII в., *-ой* — *-ый* в окончании именительного падежа ед. числа прилагательных мужского рода в течение второй половины XIX в., устранение *ъ* в XX в. Что же касается возможных дифференциальных моментов в истории различий, первоначально имевших чисто орфографическое содержание, то по этому поводу можно заметить следующее:

1) Наступающая дифференциация может быть морфологического содержания. Примером может служить наметившаяся к концу XVIII в. двоякая дифференциация написаний *-ый* — *-ой* в окончании именительного падежа ед. числа родовых слов в мужском роде: а) *-ый* — общее окончание родовых слов в указанной форме, а *-ой* — только слов непричастных, то есть одинаково возможно *писаный* — *писаной*, но только: *написанный*; б) *-ой* — общее окончание прилагательных и местоимений в данной форме, а *-ый* — только прилагательных несубстантивированных, то есть создается противопоставление типа *доброй, малой* — *добрый, малой*, но невозможно: «добрый, малый».

2) Исследуемая дифференциация может быть словарного содержания. В этом случае каждый из членов дублетной орфографической пары прикрепляется к определенному кругу слов. Такова история отношений между *ѣ* и *е* в словах вроде *мѣлъ* — *мелкій*, *сѣдла* — *села* и т. д.

3) В иных случаях такая словарная дифференциация может быть осложнена стилистическим моментом. Это бывает тогда, когда конкурирующие написания распределяются между разными словами в зависимости от придаваемого им узусом стилистического веса, например: *-ый* в окончании славянизмов, *-ой* в окончании просторечных слов, то есть *гибельный*, но *ветхой*. Это то, что может быть названо словарно-стилистической дифференциацией дублетных орфограмм.

4) Наконец, соответствующие различия могут быть и сами по себе дифференцированы стилистически, независимо от круга слов, в составе которых они встречаются. Иначе говоря, они могут придавать различный стилистический вес одному и тому же слову, одной и той же форме, как например: *добрый* — *доброй*, *сладкій* — *сладкой*, из каковых написаний первое трактуется как книжное, правильное, славенское, другое — как просторечное и т. д. (*-ій* после задненебных есть, разумеется, не что иное, как позиционный вариант орфограммы *-ый*). Это будет случай дифференциации собственно стилистической.

(Вопрос о том, не сопровождалось ли различие написаний *-ый — -ой* в известную пору также произносительным различием и каким именно, разумеется, остается, но здесь может не рассматриваться как посторонний для основной темы настоящих заметок.)

Вообще же надо заметить, что всякое упорядочение орфографии стремится не столько к дифференциации, сколько к полному устранению орфографических дублетов.

III. Не всегда легко решить, куда относятся отдельные факты, если твердо помнить, что за одним и тем же написанием могут скрываться множественные явления фонетики, грамматики и лексики. Например, разница написаний *верьхъ — первый* в некоторых памятниках XVIII—XIX вв. может быть отражением разницы произношения *v'êr'x — p'ervyj*, но может быть и чисто орфографическим различием, предполагая одинаковое произношение *v'êr'x* и *p'êr'vyj* и даже *v'erx* и *p'ervyj*. Вообще человек может писать *верьхь* и произносить *v'erx*, но может писать *верх* и произносить *v'êr'x*, как произносят это слово многие грамотные русские до сих пор. В практическом исследовании историк языка так или иначе выходит из этих затруднений, критически сопоставляя различные данные, строя те или иные гипотезы и т. д. Но принципиально — всё возможно, и этого достаточно, чтобы помнить о необходимости очень настороженного и осмотрительного отношения к фактам орфографии при изучении вопросов фонетики, так как даже очень искушенный лингвист легко может смешать букву и звук.

Вообще такого рода исследования, бывшие столь модными и обильными во время Шахматова, Леонида Васильева, нельзя не признать делом исключительно неблагодарным.

IV. Относительно причин, вызывающих изменения в орфографии, ограничусь следующими немногими замечаниями.

1) Появление новых фонетических различий может (но, конечно, не должно) вызывать появление и новых орфографических различий первого (служебного) характера, как например *водá — вóды* > *вадá — вóды*.

2) Устранение существовавших фонетических различий может превращать орфографические различия служебного характера в собственно орфографические различия (тип 2). Сюда относится, например, история букв *ѣ* и *е*.

3) Такие же орфографические различия могут возникать в случае заимствования орфографии из языка, в системе которого есть фонетические противопоставления отсутствующие в заимствующем языке. Таков, например, параллелизм орфограмм *оу — ѹ* в русских памятниках XI—XII вв.

Данный случай разнится от предшествующего только тем, что здесь наличие и отсутствие известного фонетического противопоставления характеризуют две различные языковые системы, тогда как раньше шла речь о двух стадиях развития одной и той же системы. Например, если бы русская письменная речь сложилась в эпоху, когда в русской фонетике существовали носовые гласные, то никакой

разницы не было бы между историей букв *ѣ* и *е*, с одной стороны, и историей орфограмм *оу* и *ѫ* — с другой.

История языков знает, однако, положения, когда в одном и том же языке в одно и то же время сосуществуют две языковые системы. Так было до известного времени в истории русского языка, где долгое время сосуществовали система языка славенского и система языка собственно русского, правда, имевшие, наряду с различиями, очень много и общих элементов. В первой из этих двух систем, между прочим, отлагались такие явления, которые в прежних стадиях развития языка составляли общий элемент обеих систем, но со временем утрачивались второй из них. И тогда могли возникать такие орфографические противопоставления, которые сразу подходят под обе последние из установленных здесь рубрик. Например, орфографическое противопоставление окончаний *-ый —-ой* могло поддерживаться тем, что в одной из сосуществовавших фонетических систем существовало и соответствующее ф о н е т и ч е с к о е различие, поддерживаемое традицией, хотя бы в другой системе этого фонетического различия не было, причем данное орфографическое различие вполне могло уживаться именно со второй из этих языковых систем.

Конечно, всякий признает, что истории русской орфографии еще не существует даже и в сколько-нибудь оформленном замысле. Для будущего может быть не лишне подчеркнуть, что это наука, изучающая не язык вообще, а только п и с ь м е н н ы й язык в его специфических явлениях. Поэтому орфографической науке должно принадлежать выдающееся значение в изучении истории русского литературного языка как особой специфической проблемы русской лингвистики.

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТРЕДИАКОВСКОГО*

I

Научная литература, посвященная деятельности Тредиаковского, как известно, в течение последних десятилетий заметно возросла. Но основное лингвистическое сочинение Тредиаковского, именно его «Разговоръ между чужестраннымъ человѣкомъ і россійскімъ объ ортографіі старінной і новой і о всемъ что пріналежітъ къ сей матеріі» (1748), к которому не раз обращались исследователи языковых отношений XVII—XVIII вв. (например, Я. К. Грот, Л. Л. Васильев, В. В. Виноградов), не вызвало все же пока ни одной специальной работы, в которой была бы сделана попытка более или менее подробно разобраться в содержании этого сочинения и дать ему историческую оценку. В предлагаемой статье я рассчитываю показать, что «Разговоръ» Тредиаковского заслуживает во всяком случае более подробного разбора, чем это было сделано до сих пор.

Известно, что Тредиаковский придавал своему орфографическому трактату очень большое значение и много над ним трудился. Самый текст трактата ему пришлось составлять трижды. Первоначально он написал свое сочинение в форме ученого рассуждения на латинском языке, но вслед за тем решил изложить его в более доступном виде, и наконец Тредиаковский написал наново свое сочинение уже по-русски, в форме диалога «между двумя пріятелямі» (стр. 4)— русским и иностранцем.

В 1747 г. Тредиаковский получил разрешение напечатать свой труд в Академической типографии на свой счет[1]. Но когда начало сочинения уже было отпечатано, на квартире Тредиаковского произошел пожар, уничтоживший все его личное имущество, книги в том числе и большую часть рукописи «Разговора». Таким образом, автору пришлось еще раз восстанавливать свой труд в бóльшей его части. По-видимому, с этой задачей он справился очень быстро, несмотря на значительный объем труда (464 стр. in 8°), так как в 1748 г. книга уже была отпечатана.

---

* [«Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»,т. VII, вып. 2. 1948.]

[1] Пекарский, История Академии наук, II, стр. 120 и сл.

Средства на напечатание этого труда Тредиаковский добыл при помощи лотереи, которую устроили его покровители (имена их неизвестны). В библиотеке М. П. Штокмара есть экземпляр «Разговора» с надписью на обороте второго титульного листа, раскрывающей имя одного из участников, но, по-видимому, не организаторов этой лотереи.

Надпись эта настолько характерна, что позволяю себе привести ее здесь дословно. Она составлена в виде примечания к тому месту предисловия, в котором Тредиаковский благодарит за помощь устроителей лотереи, и гласит следующее: «Rem. Василея Лаврентьевича Соловова 5 рублевъ к нещастію его въ сію лот-употребленныя, жалуются на него, что они не отъданы лутче нищимъ».

Да и вообще надо думать, что у сочинения Тредиаковского читателей было мало, а поклонников, вероятно, и совсем не было. Нельзя не согласиться с биографом Тредиаковского Пекарским [1], что в этом виноват сам автор, который «именно этою разговорною формою сделал рассуждение свое невыразимо скучным, потому что уснастил его довольно тяжеловесными шутками..., присловьями, поговорками и прибаутками, часто нисколько не идущими к делу. Все это с первых же страниц «Разговора» в состоянии надоесть самому терпеливому читателю и отбить у него охоту к дальнейшему чтению».

Не приходится спорить против того, что как литературное произведение «Разговор» Тредиаковского очень неудачен. Однако непопулярность его у современников объясняется не только его неудачной литературной формой, но также и самим его содержанием. Мысли Тредиаковского об орфографии были для его времени настолько непривычны и в такой степени расходились с общим направлением в развитии русского письменного языка, что они неизбежно должны были вызвать к себе отрицательное отношение со стороны тех немногих, кто имел терпение прочесть его «Разговор» до конца или был профессионально заинтересован в предмете книги.

Тем не менее для историка русского языка и русской лингвистической мысли «Разговор» Тредиаковского сохраняет до наших дней все свое значение чрезвычайно содержательного и поучительного исторического памятника.

По своему содержанию «Разговор» распадается на три части. В первой дается систематическое описание старинной, то есть церковнославянской, орфографии.

Во второй церковнославянская орфография подвергается подробной критике с точки зрения ряда принципов, которые Тредиаковский объявляет руководящими для решения орфографических вопросов, и тем самым намечаются основания для новой орфографии. При этом Тредиаковский несколько раз оговаривается, что свою новую орфографию он предлагает не взамен церковной, а в качестве поправки к орфографии, установившейся в новейшей, гражданской печати, но

[1] Пекарский, История Академии наук, II, стр. 129.

недостаточно освободившейся от церковной орфографической традиции.

В третьей части содержится заключительная характеристика новой орфографической системы в связи с анализом физиологии звуков речи и фонетической системы русского языка.

Ко всему этому надо добавить, что в своей книге Тредиаковский не только излагает свою орфографическую теорию, но осуществляет также опыт ее практического применения: вся книга целиком написана по той орфографии, которую отстаивает Тредиаковский.

II

В дальнейшем я не буду пересказывать содержание книги Тредиаковского подряд, а сосредоточу свое внимание на основных вопросах, поднимаемых в этой книге, и на том, как они в ней решаются. Сделать это проще всего, изложив для начала руководящие принципы, которые Тредиаковский кладет в основание своего рассуждения. Эти принципы содержатся в числе одиннадцати «оснований», которые Тредиаковский перечисляет во второй части книги (стр. 107 и сл.) как отправной пункт для критической оценки орфографии церковных книг. Из них для нас в первую очередь важны следующие:

1) Каждый знак алфавита должен обладать своим собственным, ему одному принадлежащим значением, которым он должен отличаться от всех других знаков (о с н о в а н и е I).

2) В алфавите не должно быть лишних букв, то есть таких, функции которых дублируются другими знаками (о с н о в а н и е II).

3) В орфографии не должно быть «связных» букв, то есть таких, которыми обозначается сочетание двух звуков и которые поэтому заменимы сочетанием соответствующих двух знаков, как, например, буквы ѕ, ѱ, щ (=шч) (о с н о в а н и е III).

4) Прописной и строчной варианты каждой буквы должны иметь одинаковую графическую форму (о с н о в а н и е VI).

5) Русская орфография должна следовать собственной природе русского языка и не считать для себя обязательными правила орфографии других языков (о с н о в а н и е X).

6) Новая русская азбука должна, сколько возможно ближе, походить своим внешним видом на латинскую, а не на греческую, так как именно ради этой цели она и была изобретена и введена в жизнь Петром I (о с н о в а н и е XI).

Прочие пять «оснований» Тредиаковского имеют более частный характер и вытекают из перечисленных здесь общих принципов, а потому будут указаны ниже. Однако для того чтобы была до конца понятной та критика, которой подвергает Тредиаковский церковную орфографию, нужно указать, что одного, притом самого общего своего орфографического принципа Тредиаковский раздельно не формулирует, считая его, очевидно, само собой разумеющимся.

Между тем именно здесь — самое резкое его расхождение с принципами церковнославянской орфографической традиции. Оно заклю-

чается в решительном непринятии того принципа «графической грамматики», которая так характерна была для орфографии русских церковных книг. С точки зрения этого принципа знаки письма могут передавать не только звуковые, но также и непосредственно грамматические и лексические различия.

Непригодность этого принципа, отчасти родственного идеографии, не есть нечто очевидное; наоборот, в известной мере он осуществляется всякой орфографией (ср. хотя бы наши раздельные и слитные написания предложных конструкций в прямом и адвербиализованном употреблении, различия строчных и прописных букв и т. д.). Но ясно, что если полностью отвергнуть этот принцип, то лишится всякого смысла многое такое, что в рамках этого принципа имеет свой смысл. Тредиаковский в соответствующих пунктах своего рассуждения и пытается всякий раз опорочить практическое применение этого принципа, но не опровергает его в общем смысле, по-видимому не усматривая самой возможности возведения соответствующих практических приемов к какому-либо общему принципу не звуковой, а грамматической или лексической орфографии.

Впрочем, в одном месте своего рассуждения, именно — излагая свое X основание, касающееся независимости русской орфографии от чужеязычных традиций, Тредиаковский вскользь и частично касается и затронутой здесь стороны дела. Здесь он пишет (стр. 119—120):

«. . .ортографія не касается, какъ токмо до буквъ, і складовъ, а до целыхъ словъ ні мало, потому что ортографія есть правільное положеніе буквъ въ склады, а складовъ во слова, ізображая для глазъ токмо, по проізволенію, ізвѣстні гóлоса нашего звоны, і звоновъ разныі способы; а целыя слова не значатъ звоновъ ні іхъ способовъ, но самыя вещчі імі ізображаемыя, по общчему всего какóво нібудь народа согласію».

Но обратимся к «основаниям» Тредиаковского и к тем практическим выводам, которые он из них делает. Ясно, что наиболее существенные выводы он должен был сделать из своих I и II оснований, по которым в орфографии не должно быть никаких параллельных средств для обозначения звуков речи. Самый очевидный недостаток церковной орфографии он как раз и усматривает в том, что в ней очень много подобнозначных средств — «одногласных и несвязных» букв, по его терминологии.

К одногласным буквам относятся: 1) *в* и *ѵ* в качестве согласного знака в греческих словах; 2) *е* и *ѳ*; 3) *ѳ* и *ѣ*; 4) *ѕ* и *з*; 5) *и* и *і*; 6) *и*, *і* и *ѵ*; 7) *о*, *Ω*, *ѡ*; 8) *ѳ* и *у*; 9) *ф* и *ѳ*; 10) *ѧ* и *ѧ*. К числу «одногласных» Тредиаковский относит также *ж* и *ю*, оговариваясь при этом, что *ѕ* уже вышел из употребления.

К числу связных он относит: 1) *ѡ*, 2) *щ*, 3) *ѯ* и 4) *ѱ*. Из связных букв особого замечания требует только *щ*, которую Тредиаковский заменяет сочетанием букв *шч*, каково именно, по его словам, звуковое значение этой буквы. (Значение этого показания Тредиаковского для русской исторической фонетики здесь я оставляю в стороне.)

Интересно, однако, что такое произношение *шч* Тредиаковский считает «испорченным», так как на основании графического анализа самого знака и на основании данных других славянских языков первоначальным произношением в данном случае он считает *шт*. Что касается «одногласных» букв, то здесь большинство указаний Тредиаковского понятно само собой. Особого замечания требует, однако, то, что говорит Тредиаковский по поводу знаков *е*, ѥ, ѣ. Смысл пространных рассуждений Тредиаковского по поводу этих трех знаков сводится к следующему: буквы ѥ и ѣ являются «одногласными» всегда, представляя собой знаки «двугласные», то есть знаки йотированных гласных (как увидим далее, Тредиаковский не отдает себе отчета в том, что в действительности представляют собой «двугласные»). Знаки же *е* и е являются «одногласными» лишь иногда, именно в тех случаях, когда *е*, знак чистого гласного, употребляется вместо ѥ, знака «двугласного», или наоборот, что бывает, например, в случаях вроде: *спаніе*, *единь* (здесь е=е, или *творцемъ* в dat. pl., где е=*е*, лишь графически отличая dat. pl. от instr. sing.: *творцемъ*).

Иными словами, из утверждений Тредиаковского следует, что знак *е* обозначает гласный нейотированный, перед которым согласный произносится твердо. Поэтому же он решительно отрицает необходимость для русской азбуки знака э. А знак ѣ обозначает *е* йотированное, перед которым согласный произносится мягко.

Вопрос о звуке ѣ в русском языке XVII—XVIII вв., как известно, имеет большую литературу и толкуется разными исследователями различно. Большинство исследователей последнего времени склонны признавать, что в это время ѣ еще не имел того же качества, что *е*. В. В. Виноградов, вслед за Шахматовым, считал возможным думать, что ѣ в это время звучал как *іе*. Между прочим, он ссылался при этом на встречающиеся у Тредиаковского написания *новоманѣрныя*, *пѣса*; из них бóльшую силу, естественно, имеет второй из этих случаев. Здесь я не ставлю себе задачей детально обсуждать этот вопрос; он в сущности выходит за рамки моей темы.

Но замечу, что, с моей точки зрения, вполне достаточных оснований для признания дифтонгического произношения ѣ у нас нет. Ведь если не считать таких единичных орфограмм, как *пѣса*, то вывод о дифтонгическом произношении ѣ основывается преимущественно на интерпретации исторических свидетельств, к числу которых принадлежит и книга Тредиаковского (она подробно разбирается у Виноградова). Однако все эти свидетельства таковы, что в них очень трудно различить указание на *іе* от указаний на *'е*.

Другой точки зрения, согласно которой ѣ означал *'е*, а *е* — гласный, не смягчающий предшествующего согласного, держался Л. Васильев. Эта точка зрения мне представляется более правдоподобной, главным образом потому, что она связывает вопрос об ѣ с вопросом об *е* и считается с показаниями, согласно которым (как это следует и из показания Тредиаковского) *е* не смягчает предшествующего согласного. Принятию мнения Васильева всегда мешало его явно необоснованное желание подкрепить свою гипотезу указания-

ми на будто бы очень поздний факт смягчения согласных перед *е* в средневеликорусских говорах. Несостоятельность доказательств, которые приводит Васильев в пользу этого последнего утверждения, совершенно справедливо отмечена Виноградовым. Однако, на мой взгляд, Васильев ошибался лишь в том смысле, что принимал устанавливаемое им развитие *ъ* и *е* за факт живой речи, тогда как перед нами, несомненно, факт произношения искусственного, книжного.

Надо сказать, что общий недостаток работ этого замечательного исследователя истории русских звуков заключается в том, что, оперируя очень богатым и цельным материалом, он никогда отчетливо не ставил перед собой вопроса о различии между книжным и живым произношениями. В пользу интерпретации Васильевым различия между *ъ* и *е*, как различия книжного и живого произношения, в особенности свидетельствует, мне кажется, его ссылка на наблюдавшееся им лично старообрядческое произношение.

Так или иначе, но для Тредиаковского, во всяком случае, знаки *е* и *ъ* находились в соотношении, равном соотношениям: *а=я*, *о=іо*, *у=ю*, о чем он сам несколько раз говорит с полной ясностью. Но при этом у *ъ*, с его позиции, оказывался дублет в виде буквы ѣ. Так как одно из основных требований Тредиаковского состоит в том, что лишних букв в алфавите быть не должно, то ему надлежало исключить из алфавита или *ъ*, или ѣ. В первом случае это приводило бы к написаниям вроде *ехать*, *вера*; во втором—к написаниям вроде *мнѣніѣ*, *твоѣму* и т. п.

Однако Тредиаковский не пошел ни по одному из этих двух путей. Он сам признает, что ему следовало бы исключить из азбуки *ъ*, и именно потому, что ѣ более соответствовала бы его XI постулату как буква, более похожая на латинскую по форме, чем *ъ*. Но так как ѣ уже в существующей орфографии употреблялась то как знак *je*, то как *е*, Тредиаковский боялся, что повсеместное ее употребление вместо *ъ* будет сбивать читателей, которые часто будут выговаривать ее как *е*, и отсюда, как он выражался, «гібель учініться въ премногіхъ словахъ чістому выговору...» (стр. 197).

Эта осторожность в практических выводах вообще очень характерна для Тредиаковского. Он, однако, никогда не закрывает глаза на конфликты между требованиями отвлеченной разумности и живой общественной практикой, пытаясь в этих случаях находить тот или иной компромисс, как мы увидим не раз и в дальнейшем. В конце концов в данном пункте в орфографии Тредиаковского остается непоследовательность, им самим сознаваемая: в составе средств этой орфографии сохраняются дублетные буквы *ъ* и ѣ. Однако дублетность *е* и ѣ им рационально устраняется взаимной дифференциацией этих букв как гласных знаков нейотированного и йотированного.

Что касается прочих дублетных букв, то основания для устранения этой дублетности и для выбора одного знака из числа двух или нескольких в каждом отдельном случае совершенно ясны и логичны; ѵ и ѳ Тредиаковский отвергает потому, что эти буквы традиция велит употреблять лишь в сознаваемых лексических заимствованиях. Это,

с точки зрения Тредиаковского, есть вторжение в русскую орфографию чужеродных орфографических принципов. S он предпочитает *з*, *і* — *и*, *о* — ѡ и Ѯ, *у* — ѵ как знаки, сходные с латинскими. Отдаленное сходство с латинским он видит и в *Я*, считая его перевернутым *R*, и это дает ему основание предпочесть букву *Я* букве ѧ. При этом Тредиаковский в нужных случаях делает возражения против чисто грамматической или лексической дифференциации *е* — ѣ, *о* — Ѯ — ѡ и т. п., встречающейся в церковном письме, постоянно проводя свою точку зрения на орфографию как на средство исключительно звукоразличительное.

К тому же общему принципу, согласно которому в орфографии не должно быть ничего лишнего, восходят по существу те требования Тредиаковского, которые касаются исключения из русской орфографии знаков придыхания, ударения и титлов. Эти требования излагаются им в «основаниях» VII, VIII и IX.

Здесь интерес для нас представляет лишь то, что касается знаков ударения. Тредиаковский вооружается не столько против самого обычая ставить ударение на каждом слове — наоборот, в этом обычае он видит даже своеобразное достоинство церковной орфографии,— сколько против излишних различий в знаках ударения, скопированный с греческих ̀ ́ ͂. Ставить ударение в русском письме, по мнению Тредиаковского,— вещь не излишняя в силу подвижного характера русского ударения,— а его он ясно различает, противопоставляя в данном отношении русский язык французскому и польскому языкам. Впрочем, Тредиаковский настаивает на постановке знаков ударения только в случаях графического омонима, например, *снáкомъ* в отличие от *знакóмъ* и т. п. (стр. 237). Однако знак ударения должен быть единый, притом все равно какой, лишь бы каждый пишущий всегда пользовался одним и тем же избранным им знаком. Сам Тредиаковский употребляет ′, при этом только в графических омонимах.

Всем сказанным не затронут принцип Тредиаковского, согласно которому строчные и прописные буквы не должны различаться рисунком. Ясно, что этот принцип в лингвистическом отношении гораздо менее существенный, чем прочие. К тому же Тредиаковский его очень слабо придерживается в своем собственном письме. В конце концов его применение сказывается лишь в том, что в письме Тредиаковского совпадают формы строчных и прописных букв для *е* и ѣ, в то время как остаются нетронутыми различия *Аа*, *Бб* и др. Создается впечатление, что сам этот принцип понадобился Тредиаковскому только для того, чтобы не помешать нужному для него различению ее.

Остающиеся два «основания» (IV и V) касаются знаков *й*, ъ и ь. Первый из них Тредиаковский толкует как знак гласного, произносимого к о р о ч е гласного *і*. Так как для последнего избран знак *і*, а не *и*, то, по словам Тредиаковского, следовало бы и вместо *й* ввести *ї* (стр. 93—149). Но, не желая создавать не вызываемых насущной необходимостью новшеств, Тредиаковский оставляет в своей орфо-

графии *й*, еще раз свидетельствуя этим, что для него существенна не столько графическая догма, сколько различительная способность знаков. Всем этим Тредиаковский рекомендует себя как человек с подлинным лингвистическим чутьем.

Последнее превосходно отразилось и во всем том, что пишет Тредиаковский о буквах *ъ*, *ь*. Надо знать, что обе эти буквы, равно как и букву *й*, Тредиаковский не считает в собственном смысле буквами. В отличие от букв он их называет з н а к а м и, так как буква для него всегда должна обладать собственным звуковым содержанием. Разумеется, *й* с одной стороны, и *ъ*, *ь* — с другой, в этом отношении суть «знаки» в разном смысле этого понятия, и понимание этого сказывается у Тредиаковского в том, что первый и вторые два знака он анализирует особо, в раздельных параграфах.

Во всяком случае, нельзя не считать примечательным для деятеля первой половины XVIII в., что он не только не принимает в данном случае, как и во всех остальных, букву за звук, но и прекрасно разбирается в объективном содержании корреляции «твердость — мягкость» согласных в русской фонетической системе (правда, только в применении к конечному положению). Так, Тредиаковский вполне осознает, что *ъ* для русского письма в сущности не нужен. Он хотя и называет его знаком «отолшченія», но при этом постоянно прибавляет: «сушчественного отолшченія»,— что, по его собственному разъяснению, означает указание на природное, естественное свойство согласных во всех языках. Тредиаковский хочет этим указать на то, что «отолшченіѣ», о котором он говорит, не есть результат какой-либо дополнительной артикуляции к основной артикуляции согласного звука, не предполагает какой-либо специальной работы органов речи.

Однако Тредиаковский считает нужным оставить *ъ* в русской азбуке и орфографии вследствие того, что эта буква играет также роль того, что мы сейчас называем «разделительным знаком». А уж если оставлять ее в середине слов, как например *объявить* и т. п., то лучше оставить ее в привычном месте и на конце слов. (Разумеется, отсюда никак не должно следовать, будто Тредиаковский считает непременно твердыми все согласные перед *j* в случаях типа *объявить*,— в этом он, по-видимому, не разбирался.) Правда, говорит Тредиаковский, можно было бы заменить букву *ъ* в таких случаях, как *объявить*, каким-нибудь другим знаком, например — или ' (!); но так как это было бы непривычно, то есть новшеством без особой нужды, то он этого не рекомендует.

Зато он решительно возражает против мнения, по-видимому высказанного кем-то из его собеседников, что можно было бы исключить букву *ь*, оставив только *ъ*, и т а к и м способом различать твердость и мягкость конечных согласных. Тредиаковский возражает против этого именно потому, что «отолшченіѣ» есть нечто «сушчественное», тогда как «отонченіѣ» он так никогда не квалифицирует, то есть понимает его именно как следствие дополнительной артикуляции.

III

Во всем описанном до сих пор речь шла преимущественно о составе алфавита и значениях отдельных его знаков. Однако, как явствует уже из одной вышеприведенной цитаты, орфография состоит для Тредиаковского не только из обозначения «звонов», но также из правил, по которым из букв образуются «склады» и «слова». Значительная часть труда Тредиаковского посвящена также и этим, собственно орфографическим вопросам.

Характеристика церковной орфографии у Тредиаковского не ограничивается указанием на имеющиеся в ней лишние и связанные буквы, излишние знаки придыхания и ударения, титлы и чужеязычные приемы письма. Она включает в себя также указания на то, что мы сейчас назвали бы морфологическим, или — точнее — фонологическим, принципом правописания. Тредиаковский выражает это в следующих словах: «Iзвѣсно вамъ, что есть словá, первобразныя, і отъ нихъ производныя. Въ сіхъ послѣднихъ, чтобъ храніть тѣмъ самые характерістическіе (знаменательные) буквы, которые находилісь въ среднихъ складахъ, і въ другихъ прочихъ іногда у первобразныхъ, писателі по сей ортографіі весьма тщатся о семъ, і думаютъ, что оні погрѣшаютъ, ежелі гдѣ, по случаю, сего не учінятъ» (стр. 93).

Например, поясняет дело Тредиаковский, в слове *сладкій* пишут вопреки произношению *д*, а не *т*, так как первообразное слово *сладость* «імѣетъ характерістическую букву въ срединѣ (*д*)». Этому правилу, продолжает Тредиаковский, противоречат случаи вроде *пішѫ* при *писаніе*, где *ш* сменяется на *с*, несмотря на то, что эти два слова также связаны словопроизводственными отношениями между собой. Тредиаковский не понимает разницу между обоими случаями. Он берет своим лозунгом положение Квинтилиана: «sic scribendum quidque indico, quo modo sonat» — «так писать надлежітъ, какъ звонъ требуетъ» (стр. 190, 277), и указанное правило «старинной ортографіі» считает «не іспрaвным».

«. . .Древняя наша ортографія,— говорит Тредиаковский,— не можетъ всегда наблюдать характерістическіхъ буквъ въ производныхъ словахъ. Можетъ лі она напісать *возмогность* отъ *возмогу*, не мѣняя (г) на (ж) *возможность?* Всякъ изъ насъ скажетъ, что не можно такъ напісать, чего жъ радіі? ібо звонъ требуетъ буквы (ж), а не (г). Что жъ больше? Такъ пісать надлежітъ, какъ звонъ требуетъ» (стр. 277—278).

Нам сейчас совершенно ясна теоретическая ошибка, допущенная здесь Тредиаковским. Она состоит, разумеется, не в том, что он в данном случае становится на платформу фонетического письма. Сам по себе этот принцип с чисто лингвистической точки зрения нельзя считать ошибочным: дело лишь в том, какую оценку мы даем этому принципу с точки зрения практической и культурно-исторической целесообразности; ведь существуют же орфографии, построенные на этом принципе (например, белорусская, сербская, испанская).

Однако ошибка Тредиаковского состоит в отожествлении таких соотношений, как *сладость — слаткій*, с одной стороны, и *пішу — пісаніе* — с другой. Иными словами, Тредиаковский не отличает позиционных фонетических изменений (*д*>*т* перед глухими) от морфологизованных звуковых чередований (*ш*/*с*, *ж*/*г*), представляющих собой застывший результат былых фонетических процессов. Именно это отожествление — по существу неправильное, но тем не менее очень любопытно характеризующее лингвистическую пытливость и наблюдательность Тредиаковского,— и лежит в основе выдвигаемого им фонетического принципа в русской орфографии.

Развивая свое положение, Тредиаковский высказывает попутно некоторые интересные мысли и делится с читателями наблюдениями, которые представляют несомненную ценность в историческом отношении. Так, например, он решительно восстает против этимологического принципа в правописании, в чем нельзя ему не сочувствовать.

«Что мнѣ нужды,— пишет Тредиаковский,— что proisведенія корень віденъ не будетъ». «Старается лі о кореняхъ все обшчество пішущіхъ» (стр. 270). Корни, по словам Тредиаковского, нужны только ученым, и они их все равно сумеют найти, как ни написать слово.

Беда Тредиаковского заключалась лишь в том, что морфологический, точнее — фонологический, принцип в русской орфографии в большом числе случаев совпадает с этимологическим и именно этим последним и удержан в русской правописной традиции. Таким образом, «органическая ортографія» Тредиаковского, как он ее называет, оказалась в противоречии с объединенными силами принципов этимологического и фонологического.

Очень важно проследить, как именно осуществляет свой принцип «письма по звонам» Тредиаковский практически. При ближайшем рассмотрении выясняется следующее:

1) Требования «писать по звонам» имеет у Тредиаковского далеко не безусловный характер. Тредиаковский готов к очень большим уступкам установившемуся обыкновению и потому очень категоричен лишь в формулировании самого принципа, им отстаиваемого, но не в установлении соответствующих практических орфографических правил. Так, он готов считаться с теми возражениями против «органической» орфографии, которые основываются на неизбежном появлении графических омонимов в случае последовательного применения принципа, как например «*ротъ*» — *genus* и *os*, *плотъ*— *fructus* и *rabis* и т. п.

Правда, по мнению Тредиаковского (по-видимому, справедливому), таких омонимов не может быть много. Но раз такие случаи все же есть, то Тредиаковский готов изъять их из общего правила: «Того ради,— говорит он,— пускай оні пішутся для разлічія, не по звону». По мнению Тредиаковского, эта его уступка не имеет принципиального значения. «Я не весьма толь грубъ,— говорит он,— чтобъ

всему обшчеству не хотѣлъ угождать; однако не такъ, чтобъ я сію [т. е. привычную] ортографію почиталъ праведною: я ея отдаю на волю каждому пісателю, да і самъ себѣ подобныя жъ прошу вольности для того, что я і самъ многія ешче слова пішу не по звону, но по обыкновенію».

Тредиаковский считает это ограничение принципа в р е м е н н ы м. Он совершенно убежден, что рано или поздно его принцип все равно восторжествует, и хочет способствовать этому п о с т е п е н н ы м внедрением в практику фонетических написаний.

2) Из всего сказанного следует, что уже и в собственной своей орфографической практике Тредиаковский непоследователен в отношении применения защищаемого им принципа «органической» орфографии. Действительно, даже и в области соотношения глухих и звонких согласных, которой он охотнее всего иллюстрирует свой принцип письма по звонам, в целом ряде случаев Тредиаковский сохраняет в своей орфографии традиционные написания.

Во-первых, он н и к о г д а не отражает в своей орфографии о г л у ш е н и я к о н е ч н ы х з в о н к и х. Во-вторых, он не отражает оглушения звонких в середине слов в ряде случаев, из которых некоторые оговаривает сам, например: *обшчій*, *предпочітаю*, *средство*, *сродство* (стр. 282). Список таких исключений можно заметно расширить при помощи наблюдений непосредственно над текстом Тредиаковского, например: *обстоятельствахъ* (14), *обшчеству* (14), *предпріятый* (14), *подпорою* (18), *убавку* (27), *положівші* (45), *молодцы* (12), *подтверждаемо*, *здравствовать*, *бывші* (13) и др. В частности, обращает на себя внимание, что на протяжении всей книги Тредиаковский ни разу не пишет *ф* вместо *в* в положении перед глухими.

Нет надобности искать этому какого-либо специального объяснения — например, можно было бы думать, что это стоит в связи с южновеликорусским происхождением Тредиаковского, в говоре которого *в* в закрытом слоге звучало как *w*. Нет Тредиаковский прекрасно понимает, что *в* > *ф*, и даже говорит, что в строгом соответствии с принципом надо было бы писать *Петрофъ* (стр. 410).

Таким образом, отмеченные непоследовательности в написаниях Тредиаковского, который сам считал их непоследовательностями, объясняются исключительно его своеобразной орфографической п о л и т и к о й, то есть стремлением п о с т е п е н н о приучить публику к «органической» орфографии и не отпугивать ее массовым применением непривычных написаний.

3) Самое число тех фонетических положений, в отношении которых Тредиаковский применяет свою «органическую орфографию», очень невелико. Кроме отражения на письме оглушения звонких и озвончения глухих, Тредиаковский допускает еще следующие орфограммы фонетического характера:

а) он не пишет знака зубного взрывного согласного в положении между фрикативным и сонорным зубным, например: *щчаслівый*, *празникъ*, *ізвѣснѣе*, *бесхітросныхъ* и т. п. Сюда же он, по этимологи-

ческой догадке и в противоречии с общей его антиэтимологической тенденцией, относит *строгій* вместо *строгій*. Такие написания Тредиаковский считает своей индивидуальной привычкой и не настаивает на том, чтобы ему следовали в этом другие (стр. 283);

б) в ограниченном числе случаев Тредиаковский передает через *ц* сочетание *дс*, *тс* в положении перед согласной, например: *швецкій*. Ср., однако, *пріятство*, *готского*;

в) в словах *лехкій* и *мяхкій* и производных Тредиаковский пишет *хк*. Но — *кто*, *что*;

г) нередко он передает в орфографии *чн*>*шн*, например: *нарошно*, *статошное*, *прошно* и т. д.

4) Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что орфографические нововведения Тредиаковского ограничиваются исключительно областью консонантизма и ни в одном пункте не касаются вокализма (если не считать вышеизложенных его рассуждений по поводу ъ). Это, разумеется, не случайно и находит себе объяснение в орфоэпических воззрениях Тредиаковского.

5) Неправильно было бы предполагать, будто Тредиаковский не отдает себе отчета в несоответствии орфографии и звуков речи в области гласных звуков. Наоборот, в книге Тредиаковского содержится большой и очень точный по-своему материал наблюдений по физиологии звуков русской речи, несомненно характеризующий автора как самого крупного знатока вопроса в его эпоху.

Ниже я остановлюсь более подробно на этом материале, а сейчас замечу, что далеко не все то, что замечал Тредиаковский в живой речи, он считал принадлежащим к составу правильного, литературного русского языка. В связи с этим стоят его довольно пространные рассуждения по вопросу об «употреблении», в котором он различает разные стороны и оттенки. Так, например на странице 295 он говорит о необходимости различать простонародный, или «подлый», язык от такого, «которому надлежитъ быть благороднѣе и чiшче, для того, что сей послѣдній долженствуетъ употребляемъ быть въ пiсменныхъ і ученыхъ сочiненiяхъ»

На странице 307 читаем: «Умѣюшчій человѣкъ нѣсколько чужiхъ языковъ, знаетъ, что въ каждом языкѣ жiвушчемъ есть два способа, какъ iмъ говорiть. Первый употребляютъ люди знаюшчіі сiлу въ своемъ языкѣ; а другой въ употребленіі у подлости і кресьянъ».

На странице 312 читаем: «Я вѣдаю что есъ знаюшчіі і незнаюшчіі нынѣ твердятъ Употребленіе а въ чемъ оно состоiтъ; і сколько власть его надъ языкомъ долженствуетъ почiтаема быть законною, того нiкто у насъ не опредѣляетъ. Ежелi твердiть одно только употребленіе; то і блiннiково употребленіе долженствуетъ быть важно».

Далее, формулируя свое понимание употребления в ряде специальных параграфов написанных от лица самого употребления, в одном из них (VI) Тредиаковский пишет так:

«Понеже мужiцкій і гражданскій языкъ некоторыі также мною однiмъ употребленiемъ неправо называютъ, то я объявляю, что то токмо употребленіе, которое у бо́льшія і искуснейшія части людей,

есть точно мною рожденное; а подлое, которое не только меня, но і імені моего не разумѣетъ, есть не употребленіе, но заблужденіе, которому родный отецъ есть незнаніе» (стр. 325).

Все это хорошо согласуется и с другими аналогичными заявлениями Тредиаковского, например с его полемическим письмом против Сумарокова в 1750 г., в котором, между прочим, Тредиаковский писал: «У Автора и сельское употребление, есть правильное и красное: его жерновы, по присловію, толь добры, что все мелютъ» [1]. Очевидно, мы имеем дело не со случайным заявлением, а с выношенным, установившимся мнением.

А вот и конкретный пример того, как эта теория употребления отражается на орфографической теории Тредиаковского. Утверждая, что дамы «больше наблюдают звоны в составленіі словъ своіхъ», Тредиаковский продолжает: «хотя нѣкоторые ізъ ніхъ і проізводятъ за надлежащчіі предѣлы сіі звоны тѣмъ, звоны ставятъ точнаго подлінно своего выговора, какімъ оні составляютъ нѣкоторыя слова́, но составленіе сіе бываетъ іногда не ісправное, напрімѣръ, *міласлівая* вместо *мілостівая*; і прочая» (стр. 283).

Это замечание Тредиаковского с предельной ясностью показывает, что принцип письма «по звонамъ» не распространяется на такие явления фонетики, которые в его сознании представляются фактами языка не литературного, но принадлежащего к «лучшему употреблению».

Разумеется, не только явления вокализма изымаются Тредиаковским из действия законов «органической ортографии», но также и известные явления консонантизма, не относящиеся к языку лучшего употребления. Но это еще не значит, что Тредиаковский не замечает соответствующих явлений живой речи; он их лишь относит к дурному, не литературному, не ученому произведению.

«Многіі,— пишет он (стр. 329),— не токмо говорятъ, что простітельнѣе но і пішутъ: *просітца*, *молітца* вмѣсто *просітся*, *молітся*, ее вмѣсто ея; *ево*, вмѣсто *его*» и т. д. Здесь несомненна ориентация на книжный, буквенный выговор, а потому здесь нет и никакого противоречия с принципами «органической ортографии», потому что если и можно мириться с уклонениями от книжного выговора в самом произношении, в устной речи, то письмо во всяком случае должно отражать произношение образцовое, лучшее, то есть книжное.

6) В книге Тредиаковского содержится также немало указаний на отдельные орфографические проблемы, не связанные с звуковой стороной языка, например о написаниях со строчных или прописных букв, о правилах переноса, о слитных и раздельных написаниях адвербиализованных предложных конструкций (Тредиаковский здесь высказывается за написания слитные) и т. д. На этих вопросах, имеющих второстепенное значение, я останавливаться здесь не буду (см. стр. 283—288), а прямо перейду к заключительным положениям книги Тредиаковского.

---

[1] «Сборник. .» А. Куника, II, стр. 470 и сл.

IV

1. Все существенное в орфографической теории Тредиаковского изложено в первых двух частях его книги. Как мы видели, здесь Тредиаковский излагает свое орфографическое учение, отталкиваясь от церковнославянской орфографической традиции и подвергая ее критике с точки зрения некоторых исходных положений, основанных на критерии «разумности».

Однако в заключительной, третьей части своего труда Тредиаковский ставит себе задачей формулировать законы русской орфографии уже положительным образом, независимо от критики церковнославянской традиции. Оставляя здесь уже полностью в стороне вопрос о том, что неудовлетворительно в наличной орфографической традиции и как следовало бы ее изменить, Тредиаковский в заключение говорит уже просто о том, что представляет собой, как известная система, постулируемая им орфография в ее отношениях к звуковой системе русского языка. Это заставляет его войти в подробности физиологии звуков русской речи и русской фонетики и представить соответствующие факты языка, которых до сих пор он касался лишь вскользь и попутно в систематическом изложении.

Эта заключительная часть книги Тредиаковского хотя, собственно, и не содержит уже чего-либо нового в чисто орфографическом отношении, тем не менее представляет собой большой исторический интерес, и именно как один из самых ранних опытов по русской фонетике в применении к русскому литературному языку современного типа. Без преувеличения можно сказать, что в этой части своего труда Тредиаковский предстает перед нами как пионер русской фонетики, стоящий намного выше всех своих современников.

Из их числа он, по-видимому, многим был обязан своему общению с Вас. Овд. Адодуровым, сначала студентом, а впоследствии — адъюнктом академии по математическим наукам и далее куратором Московского университета. Судя по скудным данным, которыми мы обладаем об Адодурове, его следует причислить к числу лучших представителей русской научной интеллигенции первой половины XVIII в. Будучи математиком, Адодуров в то же время занимался и языковедением. В частности, историки русского просвещения XVIII в. единогласно считают его автором известного сочинения «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache», приложенного к большому немецко-латинско-русскому словарю Вейсмана 1731 г.

Тредиаковский познакомился с Адодуровым приблизительно за год до того, по возвращении своем из-за границы, и жил некоторое время у него на квартире. По некоторым признакам можно судить, что это было не просто знакомство, но своего рода интеллектуальная дружба, взаимно оплодотворявшая обоих.

2. В области физиологии звуков речи, естественно, находим у Тредиаковского некоторые недоразумения, но наряду с этим также и много верно наблюденного и истолкованного. Тредиаковский не разобрался как следует в вопросе о том, что обозначают, с чисто

физиологической стороны, йотированные гласные знаки. Буквы *я*, *е*, *ѣ*, *іо*, *ю* он считает всегда знаками простых гласных, но только произносимых, как он выражается, с огущением, и ниже, чем гласные, обозначаемые буквами *а*, *е*, *о*, *у*.

Как бы ни понимать это «огушченіе»: как указание на наличие *j* перед гласным,— а этому противоречат настойчивые утверждения Тредиаковского о том, что это гласные простые, состоящие из одного звука,— или как указание на палатальный характер предшествующего согласного,— а это не в ладу с тем, что различия здесь Тредиаковский всегда приписывает гласным, а не согласным, а также с тем, что в йотованных гласных Тредиаковский отмечает наличие элемента *і*, ясно, во всяком случае, что двоякого значения этих знаков Тредиаковский не понимает.

Дело осложняется еще тем, что в эту же систему соотношений Тредиаковский вдвигает и отношение *і* — *ы*, считая *ы* «огушченным» звуком *і*, то есть придавая ему функцию своеобразного *і* йотированного (*ы*, по его мнению, есть двойное *і*). Интересно, однако, что это неумение разобраться в физиологии звуков речи в сущности не помешало Тредиаковскому разобраться в функциональных отношениях между соответствующими парами букв и звуков, так что как фонетист Тредиаковский часто свободен от упреков там, где его можно упрекнуть как наблюдателя физиологии звуков речи.

Не понял Тредиаковский некоторых деталей и в общей системе гласных звуков русского языка, хотя один из самых важных вопросов этого рода, именно — различаемость гласных по подъемам, для него в принципе, по-видимому, был ясен. Тредиаковский различает гласные по степени открытия полости рта; он даже предлагает своему собеседнику по диалогу воспользоваться для проверки своих утверждений зеркалом: «Відіте,— пишет он,— что знакъ (а) самымъ большімъ отверстіемъ устъ проіsносится; а знакъ (у), почітай самымъ меньшимъ. Посему громогласнѣйшая всѣхъ буквъ есть (а), а всѣхъ гласныхъ глушае есть (у)» (стр. 367).

При этом Тредиаковский превосходно определяет взаимные отношения гласных, устанавливая пропорцию, согласно которой *а* так относится к *е*, как *о* к *у*, однако так, что *а* и *о* находятся на разных ступенях. В этой пропорции Тредиаковский, между прочим, видит причину того, что *а* во многих языках изменяется в *е*, тогда как *о* — в *у*. Однако Тредиаковский не сумел понять, что *е* и *о* находятся на одинаковой ступени, и отсюда его недоумения по поводу перехода *е* в *о*.

Отдавая себе отчет в аканье, на которое указал ему Адодуров (стр. 148—149) и которое он считает чертой специально московского говора, произношение *іо* на месте *е* Тредиаковский характеризует как «всего народа ніскій, і почітай могу сказать самый простый выговоръ». И далее Тредиаковский не сумел найти в своей системе надлежащего места для гласного *і*, который он помещает между *е* и *о*, так что вся гамма пяти гласных представляется ему последовательностью одного направления.

Своеобразно мнение Тредиаковского о физиологии согласных. Он их считает не самостоятельными звуками, а лишь способами, какими приводится в действие гласный звук. Соответствующее определение встречается в первый раз уже в самом начале книги (стр. 20), где говорится, что буква может означать не только «звонъ», приходящий от голоса, но такие, быть знаком «растворенія» какімъ въ нѣкоторый способъ пріводітся тотъ нашего голоса звонъ».

Сущность этого взгляда состоит в том, что согласные звуки считаются вообще безголосными и могли бы быть характеризованы, как шумы, добавляющиеся к голосу и этим его своеобразно каждый раз окрашивающие. Вот почему, превосходно различая звонкие и глухие согласные в их соотношениях, Тредиаковский, несомненно в соответствии с терминологией своего времени, называет их м я г к и м и (звонкие) и т в е р д ы м и (глухие).

Так как мягких и твердых согласных в н а ш е м смысле Тредиаковский не различает, за исключением их положения в конце слова, относя различие между ними на счет соседних гласных, то у него получается 6 пар звонких и глухих, именно: *б — п*, *в — ф*, *г — х* (то есть *γ — х*), *д — т*, *ж — ш*, *з — с*, причем *к* остается звуком в данном отношении непарным (стр. 378).

В особый разряд «средних» он относит *л — р*, *м — н* и аффрикаты *ц — ч*. Замечательно, что сонорные *л — р*, *м — н* Тредиаковский противопоставляет попарно, но отдает себе полный отчет, что это противопоставление совсем не такое, как противопоставление звонких и глухих.

К «мягкости» и «твердости» эти противопоставления, по его словам, не имеют никакого отношения; противопоставляются же они потому, что «ізъ каждыя пары въ простомъ поврежденномъ выговорѣ, одна за другую подмѣняется», то есть здесь имеются в виду а к у с т и ч е с к и е замены типа с е к л е т а р ь, М и к и т а и т. п.

Аффрикаты попали в «средние», разумеется, потому, что они не имеют противопоставлений по звонкости и глухости, а объединены в пару вследствие того, что Тредиаковскому известны их взаимные замены в диалектах (*цадно — чадно*, *цасто — часто*, *цепець — чепець*) (см. стр. 357—358).

В целом, как видим, у Тредиаковского получается строго выдержанная система согласных, которая для своего времени должна быть признана очень разумной. Добавляю, что отсутствие в этой системе парных звуков *щ — ж* объясняется тем, что *щ* Тредиаковский трактовал как сочетание *шч*; как он произносил соответствующий парный звонкий согласный остается, к сожалению, неизвестным, так как орфографическая традиция не дала ему, вероятно, повода обратить внимание на эту сторону дела.

Толкование буквы *г* как знака звука фрикативного в руководствах по языку XVI—XVIII вв.— вещь обычная. В согласии с прочими филологами этого времени Тредиаковский замечает: «Сіѣ безъ всякого есть спóра, что всѣ мы россіане нашъ (г) произносімъ, как

латинскоѥ (h). . .Слѣдовательно, хоть у насъ ісъ согласныхъ такія, которая бъ сходствовала съ латінскімъ (g) передъ (a) (o) (i)» (стр. 380—381).

Из дальнейшего, однако, выясняется, что дело сложнее и что речь идет здесь не столько об отсутствии з в у к а, сколько об отсутствии б у к в ы. Такую букву Тредиаковский считает для русского алфавита необходимой, и это потому, что, как признает Тредиаковский, в противовес только что сделанному заявлению о фрикативном произношении *г*: «впрочемъ въ нашемъ велікороссійскомъ проіsношеніі давно, ілі ешче ісстарі уже она употребляѥтся: ібо нікто у насъ сего слова гусь, і бесчісленно многіхъ другіхъ, не проіsносітъ такъ, как оно напісано чресъ (г), то ѥсть, какъ чресъ (h) латінскоѥ по нѣмецкому і польскому проіsношенію, но какъ чресъ (g) латінскоѥ ж: такъ напрімѣръ, gусь. Однако все такіе слова пішем мы чресъ (г) в противность проіsношенію. Можно сказать по французскому прісловію, что подліннікъ сея буквы находітся у насъ безъ копіі» (стр. 381—382). На мой взгляд, все это имеет очень большое значение для понимания истории звука γ в русском литературном языке.

К сожалению, единственный источник для изучения истории этого звука в литературном языке, сверх того, что мы можем находить в современном произношении, это только показания современников, так как на письме оба звука в гражданской печати не различались. (В церковной различались *г* для звука фрикативного, и г для звука взрывного, откуда заимствуют свою идею Адодуров и Тредиаковский.)

Именно, можно думать, что собственно в л и т е р а т у р н о м русском произношении, если его не отожествлять полностью с церковным,— а это уже и для петровского времени, вероятно, было бы неверно, не говоря уже о середине XVIII в.,— фрикативное γ вместо взрывного *г* не было уже чисто ф о н е т и ч е с к и м вариантом, но в известной мере представляло собой вариант только лексический, так как не всякое слово могло иметь двоякое произношение. На основании свидетельства Тредиаковского можно заключить, что известная часть лексики произносилась с γ, а другая — с *г*.

Вопрос здесь заключается лишь в том, можно ли оба эти лексические круга считать элементами одной и т о й ж е с и с т е м ы я з ы к а, то есть можно ли считать *гусь* словом тогдашнего л и т е р а т у р н о г о языка, а например, слово *благо* — словом так называемого «просторечия». Но вряд ли могут быть сомнения, что хотя бы ограниченный круг слов мог слышаться в двояком произношении, в зависимости от условий речи.

Таким образом, схематически можно было бы наметить следующие стадии в истории звуков *г*=γ в литературном языке:

I. Всякое слово произносится с γ, если попадет в контекст литературной речи (*благо* —*гусь*).

II. Литературное слово с γ, просторечие с *г* (*благо—гусь*).

III. Всякое литературное слово произносится двояко; просторечие с *г*[*благо* (*благо*)], *гусь*.

IV. *Благо* сокращается до *боγ* (бок!), гусь.

Думаю, что замечания Ломоносова в его «Российской грамматике» ведут к тому же выводу. Он, как известно, указывал на произношение γ только для ограниченного круга лексики.

Вот все существенное, что можно извлечь из труда Тредиаковского в отношении физиологии звуков речи. Гораздо точнее Тредиаковский в том, что относится собственно к фонетике, то есть к действующим в языке живым фонетическим законам. Здесь несомненен его научный приоритет в истории русской фонетики по целому ряду пунктов. Последнее он, ревнивый к своим заслугам, отмечает и сам, оговаривая, однако, случаи, в которых он повторяет чужое наблюдение — именно наблюдение, относящееся к аканью.

Соответствующие правила, излагаемые Тредиаковским, следующие:

1) В московском произношении неударяемое *о* произносится как *а*, например, *малакó*. Выше мы видели, что хотя Тредиаковский и признает социально-культурное значение московского выговора, все же такое произношение он не склонен считать п р а в и л ь н ы м.

2) В некоторых случаях (ближе Тредиаковский их не определяет) неударяемое *а* «в п р о с т о м в ы г о в о р е» произносится как *е*, например: *чесы*.

3) В «с а м о м п р о с т о м в ы г о в о р е» *е* произносится как *о*. Стремясь понять физиологическую подкладку *е>îо*, Тредиаковский догадывается, что такой переход предполагает мягкость согласного перед *е*, и потому приходит к заключению, что там, где этот переход имеет место, вероятно этимологически нужно предполагать ѥ, то есть йотированный гласный, а не *е*. Так, на основании *совіотъ* вместо *советъ* Тредиаковский приходит к мысли, что первоначально, вероятно, было *совъѣтъ* (стр. 398 — 399). Нельзя не признать, что эти рассуждения Тредиаковского характеризуют его как мыслителя-лингвиста с самой лучшей стороны.

4) Вместо *і* преимущественно неударяемого «часто в нашем выговоре» слышится *е*. Здесь имеется в виду просторечное произношение *пѣвчей*, *начінаней* вместо *пѣвчіі*, *начінаніі*. Как и предыдущий, этот пункт относится не к живым действующим законам, а к соотношению двух произносительных систем — книжной и живой.

5) *Я*, преимущественно неударяемое, в «нашем нынешнем выговоре» заменяется через *ъ* (!), например, *лъдунка*, *кнъгіня*.

6) Е>*і* в «простонародном выговоре»: *повелъваітъ*, *сказываітъ*.

7) Нет ни одного слова, начинающегося с *ы*.

Тредиаковский заключает: «іsъ сіхъ наблюдений втораго, третіяго, четвертаго, пятаго, шестаго, седьмаго и осьмаго я могу назваться первымъ прімѣчателемъ, для того я ні у кого іsъ нашіхъ понынь о семъ не слыхалъ» (стр. 399—400).

Что касается фонетики согласных, то Тредиаковский сводит ее к следующим правилам:

а) звонкие (мягкие) сочетаются с звонкими, глухие — с глухими;

б) звонкие в конце слов становятся глухими, независимо от их мягкости или твердости;

Эти два правила Тредиаковский называет главными и генеральными. Далее следует:

в) сонорные «лучше соединяются» с звонкими, а *ц*, *ч*,— с глухими, хотя это правило и не всеобщее. То есть Тредиаковский понимает независимость звонких и глухих перед сонорными: *влага — флигъ*, *врагъ — прахъ*, но с аффрикатами он запутывается .

Так как в его системе аффрикаты объединены с сонорными в общий класс «средних», то он думает, что звонкие глухие ведут себя и в сочетании с аффрикатами так как в сочетании с сонорными, и для этого переставляет порядок звуков. Например, словом *офца* иллюстрируется преимущественно склонность аффрикатов сочетаться с глухими а словом *цвѣтъ* — обратное;

г) зубные сливаются с последующими шипящими в долгие шипящие: *вошшествіе*, *пріежжій*. Сюда же относит Тредиаковский сочетание зубных с аффрикатами: *молоцца*, *пріччa(!)*;

д) *gs*, *gc*, *ms*, *mc* перед согласной «isчезаютъ, а вмѣсто себя оставляютъ *ц*: *егіпецкій*, *персіцкій*»;

е) *жч*, *сч*, *зч*>*шч*: *возмошчі*, *безчінie*, *шчастіе*; тут же о *шн*: *прошно*, *нарошно*;

ж) в предлогах *к* перед *к* і г>*х*: *хъ кому*, *хъ королю*, *хъ грамматамъ!*;

з) *ж*, *ч*, *ш* не соединяются с двугласным і *ь* (Тредиаковский не различает *ж*, *ш* от мягкого ч), — а потому *е*>*о*, а не *іо* (сам так пишет иногда: *учоный*, *жонка*, *решоточка*).

Как видим, только в очень немногих пунктах Тредиаковский не сумел разобраться в реальных звуковых отношениях, или в отношениях между буквами и звуками. Особенно ценно то, что Тредиаковский, оставаясь сторонником розни между языком литературным и живым, тем не менее проявил подлинно научный интерес к явлениям н о в о й фонетики и сумел уловить целый ряд очень существенных ее явлений.

Описав эти явления, он, естественно, не мог в заключение не поставить еще раз вопрос о тех выводах, которые должны следовать из описанной фонетической системы для орфографии. Когда «чужестранец», выслушавший все фонетические объяснения автора, констатирует, что в таком случае современная орфографическая практика не «органична» и состоит в изображении не произношения, а «произведения», то автор торжествующим тоном заключает: «Но дѣйствительно пішутъ інако, а говорятъ інако, вы предлагаете. Пішутъ, да не должно такъ пісать, я отвѣтствую» (стр. 411).

Что касается непоследовательности своих требований в отношении органического характера правописания, то Тредиаковский извиняет ее необходимостью «снисходительства» к установившимся обычаям: «с людьмі надо жіть по людскі» (стр. 414). Однако угождение обычаям не должно быть «льстивым»: «В моемъ случаѣ, —пишет Тредиаковский,— угожденію сему должно состоять въ попушченіі,

пiсать нѣкоторыя слова по кореню, которыя ешче не пiшутся по органу: iбо много ужѐ iхъ, но і у насъ нынѣ пiшутся по органу. Однако всегда твердiть, что способъ пiсанiя по проiзведенiю есть, не толь iсправенъ, коль оный, который по органу».

Разумеется нужно считаться еще и с тем, что, как я не раз указывал, Тредиаковский не распространяет своего «органического» принципа на такие явления произношения, которые он считает местными (московскими), «низкими», «простыми», «поврежденными» и т. п.

V

1. Такова орфографическая теория Тредиаковского. Какова же должна быть ее историческая оценка? Мне кажется, она должна быть сведена к следующим положениям:

1) В своем орфографическом трактате Тредиаковский засвидетельствовал свое подлинное лингвистическое чутье, в особенности — умение фиксировать свое внимание на р а з л и ч и т е л ь н ы х моментах в языковой системе. Большинство его положений, касающихся фонетики, оказывается соответствующим действительности, причем надо непременно иметь в виду то, что в установлении этих положений Тредиаковский не имел предшественников и был подлинным пионером науки. Естественно, что менее совершенными являются его положения в области физиологии звуков речи, но иного было бы и трудно ожидать от русского деятеля первой половины XVIII в. Думаю, что не погрешу против истины, если скажу что даже и при всех несовершенствах, которые ей объективно присущи, излагаемая Тредиаковским физиология звуков речи для эпохи ее появления — вне конкуренции.

2) В собственно орфографической программе Тредиаковского есть ряд положений, совершенно разумных и теоретически вполне допустимых. Сюда относятся, например, его предложения об исключении лишних букв из алфавита. Не совсем в той форме, как это хотелось бы Тредиаковскому, но многие его положения в конце концов были практически реализованы в последующем ходе истории русской орфографии. Что касается самой формы, то предпочтение буквы *і* букве *и*, как известно, поддерживалось и многими позднейшими деятелями русского просвещения. Ничего худого не было бы, если бы из двух конкурирующих букв *s* и *з* в нашей орфографии сохранилась бы первая — своей победой вторая обязана лишь тому, что она была более употребительна и в древности. Короче, в вопросах с о с т а в а р у с с к о г о а л ф а в и т а все предлагаемое Тредиаковским с чисто лингвистической точки зрения неоспоримо, и если не все из его предложений исторически осуществилось, то по основаниям не чисто лингвистического характера.

3) Что касается правил правописания в узком смысле понятия, то программа Тредиаковского характеризуется двумя противоречиями, подрывающими ее в основе:

а) Тредиаковский не сумел различить позиционно фонетических изменений от чередования звуков;

б) по условиям эпохи он не мог стать на точку зрения полного отожествления языка литературного, ученого, с языком общества, хотя бы только в пределах образованной, культурной его части.

Никаких упреков в этом втором отношении Тредиаковский, разумеется, не заслуживает, и не только как сын своего времени, но прежде всего потому, что, как мы теперь хорошо знаем, такое отожествление стало возможно только после того, как живая речь общества сама прониклась известными элементами языка литературного и тем способствовала процессу слияния обеих разновидностей языка в нечто цельное.

Более того, Тредиаковский отличается от других деятелей XVIII в. именно тем, что уже и в то время склоняется в известной мере к такому слиянию и его, так сказать, исторически предчувствует — отсюда и его острый интерес к явлениям живой фонетики. Однако в середине XVIII в. не было надлежащих условий для осуществления подобного слияния, и в этом — одно из важных объяснений противоречивости позиции Тредиаковского.

4) Указанные противоречия в теории Тредиаковского не во всем имели отрицательный и одинаковый результат. То, что он продолжал отличать книжную речь от живой, мешало ему идти к ясным и последовательным заключениям только в отношении букв *е* и *ѣ*. Именно, мнение о различном характере звуков *е* и *ѣ* и оценка звука *о* на месте в под ударением после мягких как выговора «низкого» и «. . .самого простого» позволили ему прийти к выводу, что если здесь и нужна дифференциация двух каких-либо знаков — все равно *е=ѣ* или *е=*в,— то для различения не простого гласного и двугласного, а звуков *е* и *о*. Именно такое различение установилось много позднее в форме *е=ё*.

Справедливость, однако, требует отметить, что хотя в ряде случаев различение *е=*в у Тредиаковского и не совпадает с нашим различением *е=ё*, например, *зоветъ — мо*в, или *пей — скорѣй*, то во многих других случаях оба различения оказываются совпадающими, например, *зоветъ —мо*вей, *медъ—вѣра* и т. п. С другой стороны, то, что Тредиаковский удержался от внесения фонетических написаний безударного вокализма, исходя из того же принципа книжного выговора, что его фонетический принцип не распространен им поэтому на такие написания, как *-ться* в инфинитиве и многие другие положения, привело, безусловно, к положительному для него результату с точки зрения исторических судеб русской орфографии, то есть с точки зрения утвердившегося в ней как господствующего — ф о н о л о г и ч е с к о г о принципа.

5) Этот фонологический принцип зато жестоко пострадал вследствие первого из отмеченных противоречий в системе Тредиаковского. Здесь его орфография не выдерживает суда истории русского языка. Фонологическая основа русской орфографии есть в конце концов результат случайности, именно — результат глубокого воз-

действия на русский письменный язык церковнославянской орфографии.

Помимо всего того, что можно сказать и что говорилось уже не раз о громадном положительном значении церковнославянского влияния на русский литературный язык в области лексической и морфологической, с особой силой мне хотелось бы сейчас подчеркнуть значение этого влияния для судьбы русской орфографии. Ему мы обязаны тем, что русская орфография независимо от ряда частных ее несовершенств, сохранения в ней, например, ряда чисто исторических написаний вроде *-ого* и т. п., в основе своей фонологична, а потому очень удобна и покоится на прочном структурном фундаменте. Исторический урок, который можно извлечь из изучения орфографической жизни Тредиаковского, заключается в том, что отход от этого фонологического принципа в русской орфографии есть неизбежно вместе с тем отход от церковнославянского предания, и обратно.

Под конец жизни Тредиаковский испытывал значительные колебания в своих орфографических взглядах. Писать по своей «органической ортографии» он перестал довольно скоро, а в известном предисловии к «Телемахиде», между прочим, писал: «Преважная сія задача, правѣе ль орфографіи быть по кореню, или по произношенію, и понынѣ еще не рѣшена, а м. б., что и во вѣки разрѣшена не будетъ. Разумъ поборает по Выговору и доказательства его всѣ превесьма тверды: но мудрованіе Грамматіковъ стоитъ такъ — сякъ за корень».

Теоретик орфографии не умирал в Тредиаковском, и — что бы мы ни думали о практическом значении его трудов в этой области,— долг историка русской культуры мне кажется, состоит в том, чтобы с почтительной благодарностью помянуть старейшего русского лингвиста, пионера русской фонетики, который так мало знал радостей в своей неудачливой жизни и для которого справедливый суд потомства задержался так надолго.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ ПЕЧАТНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ РАБОТ Г. О. ВИНОКУРА[1]

I ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

1. «Культура языка. Очерки лингвистической технологии», «Работник просвещения» М. 1925, 216 стр., изд. 2 испр. и доп., «Федерация», М., 1929. 336 стр.
2. «Маяковский — новатор языка». «Советский писатель» М., 1943 136 стр.
3. «Русский язык», Исторический очерк Гослитиздат, М., 1945. 190 стр.
4. «Русское сценическое произношение», с вступительной статьей Вл. Филиппова, Всесоюзн театр. об-во М. 1948, 84 стр.
5. Толковый словарь русского языка под ред. проф. Д. Н. Ушакова, тт. 1—4, М., 1934—1940 (один из составителей).

II СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ, СБОРНИКАХ И КНИГАХ

1. «Революционная фразеология». (Один из вопросов языковой политики). «Леф». 1923 № 2.
2. «О пуризме». «Леф», 1923, № 4.
3. «Культура языка». (Задачи современного языкознания), «Печать и революция» 1923, кн. 5.
4. «Язык нашей газеты», «Леф», 1924, № 2.
5. «Глагол или имя?» (Опыт стилистической интерпретации.) Сб. «Русская речь» под ред. проф. Л. В. Щербы III новая серия, «Academia», Л., 1928.
6. «Проблема культуры речи» «Русский язык в советской школе», 1929, № 5.
7. «Язык «Бориса Годунова»». В кн. «Борис Годунов» А. С. Пушкина», под ред. К. Н. Державина. Л., 1936.
8. «Пушкин и русский язык», сб. «А. С. Пушкин. 1837—1937», Учпедгиз, М., 1937.
9. «О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии». «Труды Московского ин-та истории, философии и литературы», т. V, М., 1939.
10. «О задачах истории языка». «Ученые записки Московского гор. пед. ин-та, кафедра русского языка», т. V, вып. 1. М., 1941.
11. «Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина». В кн. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». Сборник научно-исследовательских работ, под ред. Д. Д. Благого и В. Я. Кирпотина, М.—Л., 1941 (АН СССР, Институт мировой литературы имени А. М. Горького).

---

[1] В библиографию не включаются литературоведческие и технологические работы, а также лингвистические статьи и рецензии, опубликованные в газетах, в энциклопедических словарях.

12. «Орфография и язык Пушкина в академическом издании его сочинений. Ответ В. И. Чернышеву». В кн.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. VI, 1941.
13. «Слово и стих в «Евгении Онегине»». В кн. «Пушкин». Сб. статей, Гослитиздат, М., 1941.
14. «Русский литературный язык в первой половине XVIII века». В кн. «История русской литературы», т. III, М.—Л., 1941, АН СССР, Институт литературы (Пушкинский дом).
15. «Русский литературный язык во второй половине XVIII века». В кн. «История русской литературы», т. IV, М.—Л., 1947 АН СССР, Институт литературы (Пушкинский дом).
16. «Заметки по русскому словообразованию», «Известия Акад. наук СССР. Отделение литературы и языка», т. V, вып. 4, 1946.
17. «Понятие поэтического языка». Доклады и сообщения филолог. фак-та Московского ун-та, вып. 3, 1947.
18. «Чередование звуков и смежные явления в современном русском языке». Доклады и сообщения филолог. фак-та Московского ун-та № 12 вып 2, 1947.
19. «О славянизмах в современном русском литературном языке», «Русский язык в школе», 1947, № 4.
20. «К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII века». Словарь Академии Российской, 1789—1794 «Вестник Московского ун-та», 1947, № 5.
21. «Заметки по фонетике одного украинского говора (дер. Макарки Бельского уезда)». Бюллетень Диалектол. сектора Ин-та русского языка АН СССР, вып. 1, 1947.
22. «Горе от ума» как памятник русской художественной речи» «Ученые записки Московского гос. ун-та. Труды кафедры русского языка», вып 128. кн. 1, 1948.
23. «Орфографическая теория Тредиаковского», «Известия Акад наук СССР. Отделение литературы и языка», т. VII, вып 2. 1948
24. «Любопытный памятник XVIII в. («Анекдоты древних Пошехонцев» Василия Березайского»)». Доклады и сообщения Ин-та русского языка АН СССР, вып. 2, 1948.
25. «Словарь языка Пушкина». В кн. «Проект словаря языка Пушкина», изд. АН СССР, М.—Л., 1949.

БИБЛИОТЕКА
Института
Языкознания
АН СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Проф. Г. О. Винокур 3

История русского литературного языка.

Русский язык. Исторический очерк 11
Глава первая. Славянские языки . . . . . —
Глава вторая. Русские диалекты 17
Глава третья. Происхождение русского литературного языка . . . 23
Глава четвертая. Памятники истории русского языка 30
Глава пятая. Строй древнерусского языка 36
Глава шестая. Русский литературный язык в первую эпоху письменности 44
Глава седьмая. Русский литературный язык в XV—XVII вв. 57
Глава восьмая. Зарождение общерусского национального языка . . . 67
Глава девятая. Литературный язык эпохи классицизма 77
Глава десятая. Создание общенациональной нормы 85
Глава одиннадцатая. Русский литературный язык в XIX—XX вв. . . 99
Русский литературный язык в первой половине XVIII в. 111
Русский литературный язык во второй половине XVIII в. 138
К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII в. 162
Пушкин и русский язык 189
О задачах истории языка 207

Язык художественной литературы. Язык писателя.

Об изучении языка литературных произведений 229
«Горе от ума» как памятник русской художественной речи 257
Язык «Бориса Годунова» 301
Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина 328
Понятие поэтического языка 388

Современный русский язык.

Форма слова и части речи в русском языке 397
Заметки по русскому словообразованию 419
О славянизмах в современном русском литературном языке 443

Проблема изучения орфографии.

Орфография как проблема истории языка 463
Орфографическая теория Тредиаковского 469

Приложение. Библиография основных печатных лингвистических работ Г. О. Винокура 490

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Проф. Г. О. Винокур 3

История русского литературного языка.

Русский язык. Исторический очерк 11
Глава первая. Славянские языки . . . . . —
Глава вторая. Русские диалекты 17
Глава третья. Происхождение русского литературного языка . . . 23
Глава четвертая. Памятники истории русского языка 30
Глава пятая. Строй древнерусского языка 36
Глава шестая. Русский литературный язык в первую эпоху письменности 44
Глава седьмая. Русский литературный язык в XV—XVII вв. 57
Глава восьмая. Зарождение общерусского национального языка . . . 67
Глава девятая. Литературный язык эпохи классицизма 77
Глава десятая. Создание общенациональной нормы 85
Глава одиннадцатая. Русский литературный язык в XIX—XX вв. . . 99
Русский литературный язык в первой половине XVIII в. 111
Русский литературный язык во второй половине XVIII в. 138
К истории нормирования русского письменного языка в конце XVIII в. 162
Пушкин и русский язык 189
О задачах истории языка 207

Язык художественной литературы. Язык писателя.

Об изучении языка литературных произведений 229
«Горе от ума» как памятник русской художественной речи 257
Язык «Бориса Годунова» 301
Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина 328
Понятие поэтического языка 388

Современный русский язык.

Форма слова и части речи в русском языке 397
Заметки по русскому словообразованию 419
О славянизмах в современном русском литературном языке 443

Проблема изучения орфографии.

Орфография как проблема истории языка 463
Орфографическая теория Тредиаковского . . . . . 46[illegible]

Приложение. Библиография основных печатных лингвистических работ Г. О. Винокура. 490

10 p. 3016